
Олесь
Гончар
ТАВРИЯ
•
ПЕРЕКОП

Вечны в памяти народной завершившие гражданскую войну легендарный Перекопский штурм и прославленные в песнях бои у Каховки.

«Таврия» и «Перекоп» Олеся Гончара — художественная летопись этих исторических событий. Два романа, связанные общностью темы и судьбами героев, образуют идейно-художественное единство, в котором «Таврия» составляет как бы пролог к историко-революционному произведению «Перекоп».

Волнующий драматизм отличает сюжетные линии романов, повествующих о героической роли трудящихся-украинцев в революции, о их дружбе с русским народом.

Художественно-историческое повествование Олеся Гончара несет читателю правду о нашей социалистической революции. «Таврия» и «Перекоп» по праву входят в число лучших произведений советского эпоса.





Библиотека
исторических
романов
народов
СССР



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» • МОСКВА • 1963



Олесь Гончар

ТАВРИЯ
ПЕРЕКОП

С (укр.) 2
Г 65

Послесловие М. ПАРХОМЕНКО

Художник С. ХИНСКИЙ



Таврия

роман

Авторизованный перевод
с украинского Л. Шапиро





Ранними веснами, когда на заболоченном Полесье еще не принимались сеять, когда на Суле, на Псле и на Ворскле, распускаясь первым, нежнейшим цветом, сияли белые вишневые сады,— над открытыми степями юга проносились страшные черные бури. По всей степи, от Ногайска до Каховки, встречали их с молитвами, с хоругвями. Многолюдные крестьянские процессии выходили в тучах пыли навстречу стихии, падали на колени, молили, чтоб утихло.

Страшный суд творился тогда среди голых, беззащитных таврических степей. Жгло травы, заметало колодцы, с корнем из-под ног у людей вырывало посевы.

Голосили хоры в полях, в отчаянии метались люди среди черной вьюги. А возле тех, кто стоял на коленях, мгновенно наметало барханы пыли.

Трудно было двигаться, не видно было, в какую сторону креститься. На восток? Но где тот восток? Как раз оттуда и надвигалось самое страшное, мрачное, бушующее. Секло, как градом, сбивало с ног, непроглядной сухой мутью бушевало повсюду — от земли до неба. За сплошными тучами сорванных. поднятых на воздух летучих грунтов стояло посреди неба солнце, маленькое, мрачное, тусклое, как при затмении. От неестественных дневных сумерек становилось жутко всему живому. Тревожно ревел по селам скот, завывали собаки, птицы на азовских берегах прятались в норы. И только люди метались среди туч в полях, и напряженно бились над ними иссеченные песком хоругви.

Потом, когда затихало, степи — полосами через целые уезды — лежали опустошенные, как бы прикрытые серым смертельным пеплом. Крестьяне принимались отгребать лопатами песчаные наметы от своих облупленных мазанок, как зимой отгребают на севере снег. Взбудораженное море по всему побережью выбрасывало на песок остатки разбитых во время шторма рыбацких суденышек.

Еще азовские женщины оплакивали погибших мужей-рыбаков, еще запыленные чабаны разыскивали в степях разметанные бурей отары, а по всем шляхам, по свежим следам урагана, словно черные его янычары, уже неслись на Каховку многочисленные, по-ярмарочному одетые наниматели из помещичьих экономий и столыпинских хуторов. Со звоном вылетали на гладко выметенные бурей тракты грациозные таврические тачанки, разрисованные ради праздника красными яблоками по черному лаку. Как на праздник, как за добычей, спешило отовсюду в Каховку хищное степное воронье.

На тачанках, в шарабанах, фургонах, верхом... Хоть камни с неба, а на весеннего Николу надо быть там!

На весеннего Николу в Каховке открывалась знаменитая «людская ярмарка» — новый невольничий рынок, снабжавший рабочей силой весь юг страны. Из приморских степей, из Крыма, даже с далекой Кубани съезжались сюда наниматели.

Батраки валом валили из северных губерний. Добирались, кто как мог. Висли на поездах, спускались в дубах и батрацких чайках по Днепру через бушующие грозные пороги, а больше всего — проверенным способом — пешком. Брели, согнувшись под тяжестью узлов, изможденные, худые, почерневшие от обжигающих встречных ветров, пробиваясь в Каховку, как в землю обетованную.

Не спрашивали их в селах — куда? Грех спрашивать об этом несчастных. Издали видно: в Каховку на ярмарку.

Шли за сотни верст полтавские, киевские, черниговские, братаясь по дороге с курскими, воронежскими, орловскими... Шли, разбивая ноги в кровь, неся неугасимый огонек надежды в глазах. Где же та Каховка? Скоро ли она покажется на золотых днепровских песках?

После черных бурь, в погожие, залитые солнцем дни плыло перед ними весеннее марево. Пожалуй, нигде не было таких красивых миражей, как на юге, в безводной степи. Словно чистые, неугасимые мечты, струились они по целым дням, не приближаясь, не отдаляясь, серебристыми реками поперек сухих батрацких дорог...

:

Каждую весну поднималась криничанская голытьба на заработки. Во многих хатах в великий пост матери шили своим сынам и дочерям на дорогу батрацкие торбы. Пришло время и старой Яресьчихе взяться за это горькое шитье. Шила дочери Вусте, что была уже на выданье, а Данько — самый младший — привязался, заладил в одну душу:

— Пошейте и мне!

Сжалось у матери сердце. Куда он пойдет такой, кто его возьмет? Только тринадцатый год парню — волу до рогов не достанет...

— Дойдешь ли ты, сынку, в ту таврическую даль?

— Пошейте, мамо. На край света дойду!

Подумала, посоветовалась с дочерьми да с соседями — почему бы и в самом деле не пошить? Разве мало ходит на заработки таких, как Данько? В конце концов

чем не погонщик? Сметливый, расторопный, веселый... Прохарчится лето в людях, еще и на домашнюю бедность что-нибудь принесет... Пусть идет! Пусть с малых лет привыкает к батрацким странствиям, которых ему — рано или поздно — все равно не миновать.

Из года в год, одно за другим, поколения криничан топтали весенние тропы на юг. Как голодные птицы, пускались они в простор по своим привычным, хорошо изученным батрацким маршрутам. Шли чаще всего за речку Самару, в синельниковские степи, а там уже и разбредались кто куда на все лето, до первых осенних заморозков.

Этой весной партия сезонников подобралась большей частью из молодежи, свежей, крепконогой, готовой идти хоть до самого моря в поисках лучшего найма. Решено было не рассыпаться, как раньше, по самарским хуторам, не останавливаться в колониях, а пробиваться дальше, в глубь Таврии, достичь Каховки, легендарной батрацкой столицы.

Через ярмарочных людей — то из Голтвы, то из Решетиловки, то из Турбаев — все чаще докатывались о Каховке разные слухи: одни хулили ее, другие, наоборот, уверяли, что только в Каховке настоящие вольности, что там дают за человека то, чего он стоит. Правда, Каховка была где-то на краю света, из глухих Криничек дороги туда толком никто не знал, но разве это преграда для молодых? Язык доведет! Доводит же паломников до Киева, доведет и сезонников до Каховки!

Наслушавшись от взрослых разговоров о Каховке, Данько щедро окутывал ее дымкой собственных ребячьих мечтаний. Каховка представлялась ему белым, веселым городом-ярмаркой, в пышной зелени, в каруселях, в весенних цветистых радугах, под которыми каждому везет, под которые стоит лишь ступить, как в карманах у тебя зазвенят легендарные таврические червонцы. Сквозь надпечное оконце, еще разрисованное морозом, Каховку можно было видеть какой угодно. Пролизав языком наледь на стекле, Данько уже видел свою Каховку городом счастья, где все люди ходят в новых сапогах, где вместо ячменных лепешек едят булки да куличи и никто никого не обижает... Каховские вольности, о которых слыхал парень, рисовались ему как неограниченная свобода,— в ней он уже чувствовал туманную, неосо-

знаииую потребиость — этим больше всего маннла его Каховка. Не будет там нн сельской расправы, нн податей, нн кутузки, ие будет проклятых кулаков Огиенко и господскнх прнказчнков, к которым мать ходит вязать за шестой сноп.

Трижды иа дню виделась Даиьку вымечтаниая им Каховка. Захмелел, забредил ею пареиь. Считал дни, боснком выскакивал по утрам иа Псел послушать, ие трещнт ли, ие ломается ли лед. Хоть бы скорее пригрело солнце по-весеннему, тогда торбу на плечн — и айда в ту вольготиую обетованную Каховку!

Осеиью Даиько должен вериуться из Каховки богачом. Еслн сестра иадеется заработать там за лето на корову, то он заработает по крайней мере хоть иа телеика. В доме он еднйнствеииый мужчнна, и его обязаниость — заботиться о достатке семьн. Пусть он порой еще схватывает от матери подзатыльинк, он уже заслужнл и соответствующее уважеиие как хозяиин двора. В сочельиик, когда крииичаискне старики выходят звать мороз ужинать, мать и Вутанька посылают на улицу и Даиька.

— Мороз, мороз, иди к нам вечерять! — зовет он баском, иаравие с самыми уважаемымн старикамн села. В этот вечер Даиька сажают в красный угол, на сено, и ои первый пробует кутью. Мать и сестра терпелнво, торжествеиио ждут, пока юиый хозяиин благословит праздничиый ужнн.

Отца своего Данько помиит плохо, но виднт его во сне, чаще всего на лодке, в тнхнй, звоикнй предвечеринй час, когда отец выезжал, бывало, ставить веитери н пел песию о турбаевской Марьяиу́ше. Поет весело н смело, мощиым чудесиым голосом, крнничаиские дядькй грустио слушают его, стоя у плетней, а урядник грозит ему с берега... Если кто-инбудь из кулацкой детворы осмелится теперь дразиить Даиька тем, что его отец был будто бы разбойинком, то таким Даиько сразу дает отпор. Нет, не стыдится он своего отца, н если иа сельских престольиых праздииках кто-иибудь иезнакомый спросит его, чей ои, то пареиь с дерзкой гордостью отвечает, что ои сыи Яресько Матвея. Это действует, как выстрел.

Настороженность у одиих, искреннее уваженне н восторг у других вызывает отцовское нмя. Знают его во

всех окрестных селах, известно оно по Пслу и по Хоролу до самой Сухорабовки и славных Турбаев.

...Глубокой осенью девятьсот шестого года самосудом был казнен в Криничках Яресько Матвей. В ненастную ночь, в ноябрьскую стужу вооруженные дробовиками богатеи вывели его за село, привязали к крылу ветряка, пустили на волю стихии.

— А ну подннмайся, Яресько, лети за черные тучи, догоняй свою бунтарскую правду!..

Глухо гудели в ту осень леса вдоль Псла, озаренные сполохами пожаров, каждую ночь рдели тучи над экономиями по Запселью...

Потом потемнели леса, осталась Яресьчиха с тремя детьми: две дочери и сын, по-домашнему Данько́, по святцам — Данило. Старшая — Мокрина была уже девка на выданье, меньшая — Вустя — годилась кому-нибудь в няньки, а Данько мог разве только гусей пасти, да гусей у Яресьчихи не было.

Рос парнишка, как гусенок на воде, без особого присмотра, некому было с ним возиться. Вустя все лето нянчила чужих детей, а мать с Мокриной не вылезали из поденщины. Когда Данько стал терять молочные зубы и с нетерпением ждал настоящих, попыталась было Яресьчиха пристроить его пастушком к богачам. Повела его к резным крылечкам, под железные крыши, предлагала то одному, то другому, но никто не захотел брать.

— Исподлобья он у тебя глядит, Мотря... Отцовским нераскаявшимся взглядом.

— Да нет, это он только перед вами почему-то такой... Дома, бывает, что-нибудь как выкинет, так всех насмешит...

— Видны уж его выдумки: отцовским кресалом забавляется... Ишь игрушку себе нашел!

Забраковали богачи Данька. Однако вскоре он сам нашел способ помогать семье: с наступлением весны промышлял рыбой, а осенью ходил с ровесниками по лесам Запселья и драл хмель с деревьев.

Как-то после покрова Яресьчиха, вернувшись вечером из экономии, с удивлением узнала, что ее сын уже школьник: пошел и сам записался в школу.

— Где ж тебе, сынку, теперь обувку брать?

— Не беспокойтесь, мамо... Только бы учитель поз-

волил босиком входить в класс. Я и босой зиму перебегаю!

Две зимы пробыл Данько в школе, а потом мать сказала:

— Хватит, не на что книжки покупать. Читать, писать научился, а в попы все равно не выйдешь...

Через два года выдала Яресьчиха Мокрину за молодого кучера в лесничество. Сидя в красном углу, вооруженный колючей куделью, продавал Данько сестру. Кинул жених серебряный полтинник на тарелку, думал — на том и сойдутся, но парень, насупившись, потребовал за сестру такой выкуп, что гости ахнули.

— Этот умеет постоять за сестру!

— Требует, как за царевну!

Развеселившись, гости сообща стали упрашивать Данька, чтоб не упирался, чтоб не оставил Мокрину век сидеть в девках... Сама Яресьчиха слез наглоталась вволю на дочерней свадьбе: горькой она была. Вместо настоящего отца однодневный «отец» хозяйничал за столом, званый, свадебный...

Выдала одну Яресьчиха и не успела оглянуться, как вторая вошла в пору, надо было и для Вусти о приданом заботиться. В свои семнадцать весен Вустя уже была красавицей, пела в церковном хоре, да так, что парубки даже из соседних сел, вдруг став удивительно богомольными, каждый праздник толпами набивались в криничанскую церковку. Но что соловьиный голос Вусти, если скрыня пуста? Всю зиму в хате жужжали прялки, тарахтел станок, а полотен в скрыне не прибавлялось — все на сторону, все кому-то... Где взять, как нажить?

Выход был один: в Таврию на заработки.

Надеждами на Каховку согревалась теперь хата Яресьчихи. Вечерами, при каганце, под монотонное жужжанье прялок думы вдовы летели в далекий степной край, куда вскоре направятся ее дети в бурлацкой ватаге.

II

Вначале предполагали добираться в Каховку по воде, наняв в складчину дуб где-нибудь на Днепре, как делали это иногда сезонники из других полтавских сел. Но очень скоро выяснилось, что далеко не каждый

из криничан в состоянии внести свой пай на лодку. После тщательных подсчетов договорились идти пешком:

— Подошвы свои, не купленные!

Быть вожаком, или, как их еще называли, атаманом, согласился Нестор Цымбал — вечный батрак, добродушный криничанский неудачник, единственное богатство которого состояло в куче детей, мелкой и голопузой династии Цымбалов; среди них было два одноименца: Степан первый и Степан второй. Сбились кумовья со счету, когда несли крестить самого последнего, нарекли наугад Степаном, и только потом выяснилось, что один Степан уже лежит в люльке, спокойно пуская пузыри.

Были у Цымбала свои слабости, над которыми каждому в Криничках разрешалось посмеиваться. Завзятый голубятник, он мог часами бегать с ребятней по селу за голубями, улюлюкая в небо, спотыкаясь о каждое бревно. Однако Нестор обладал и неоспоримыми для вожака достоинствами. Пожалуй, никто лучше, чем он, не знал всяких батрацких обычаев и правил, приобретенных им за долгие годы батрацких скитаний. Пожалуй, никто не умел лучше, чем Нестор, при соответствующих обстоятельствах намолоть сорок бочек арестантов, а это имело немалое значение при переговорах с жуликами приказчиками.

Слоняясь зимой по окрестным ярмаркам, Цымбал внимательно прислушивался к разговорам и приносил потом в Кринички всякие новости о южных краях. Именно из его уст услыхали впервые в Криничках притчу о каком-то решетиловском батраке, якобы сильно разбогатевшем в Таврии — если верить прасолам — просто... на воде. Вот как может повезти человеку! На радостях за неизвестного счастливца Нестор в тот день одним духом выпил возле монопольки четвертинку и, разойдясь, грозил в сторону панской экономии, что останется она, дескать, без поденщиков, потому что всех он, Цымбал, поведет в этом году в Каховку, пусть-ка пан за ними вдогонку скачет, пусть попробует их в Каховке нанимать.

— В Каховке мы станем в десять раз дороже! — выкрикивал Цымбал на выгоне возле мельниц до тех пор, пока наконец подосланные матерью цымбалята не потащили его за руки домой.

Для криничанских молодаек была одна неясность в несторовской притче об удачливом решетиловце. Как это можно наживаться на воде? Или в тамошних колодцах и вода какая-то особенная, дорогая, панская?

Данько воспринимал это по-своему: счастливый, чудесный край, где даже вода может приносить человеку доходы!

В Криничках на воде еще никто не разбогател, хотя Псел протекал под боком и родники били из-под круч на каждом шагу. Больше того, именно от обилия воды криничане терпели порой настоящее бедствие. В иную весну Псел, выйдя из берегов, затопляет всю нижнюю часть села, и плывут тогда по улицам челны-душегубки, причаливая к перелазам, заходя прямо во дворы. Стон стоит тогда над селом, тревожные переклики катятся над водами. У одного половодье последнюю охапку сена утащило, у другого хату размывает. Трудно голыми руками крестьянину бороться с капризной речкой. У кого есть родственники на горе, тот перебирается на время с детьми к ним, а большинство не трогается с места, терпеливо пересиживая лихую годину в своих раскисающих ковчегах. Хлеб и домашний скарб — на чердак, детей — на печь, от стола до порога настелют доски, не топят, не варят еды, так и живут, пока речка не утихомирится, пока вода не спадет.

Наделал шума Псел и этой весной. Неожиданно разлившись ночью, залил в погребах картошку и квашенину, утопил кое-где в загонах овец. Хаты на нижней улице из белых сразу стали темно-серыми, мрачными, раскисли до застрех. Все утро крик стоял над селом. В школу, которая очутилась вдруг на острове, набилось полно людей с подушками, ягнятами и телятами.

Как раз во время разлива сезонники выходили в дорогу. Сбор был назначен на выгоне, у тех самых ветряных мельниц, где когда-то кулачье подняло на крыле своего непримиримого врага Яресько Матвея, мстя ему за то, что он якшался с кременчугскими бунтарями и тайно читал крестьянам афишки против царя.

На восходе солнца в душегубках подплывали к выгону отходники в сопровождении матерей, детей, родственников. Навзрыд плакало село. Далеко над рассветными порозовевшими водами стлались материнские причитания.

Первым, как и подобало вожаку, появился на выгоне высокий, долговязый Нестор Цымбал со всем своим выводком и беременной женой. Вслед за ним потянулись к месту сбора Яресьчиха с дочерью и сыном; супруги погорельцы Персистые, отправлявшие свою старшую дочь Олену; безродные, забитые сестры Лисовские, обе с таким румянцем во всю щеку, что странным казалось — откуда он мог взяться у них, вскормленных на ячменных лепешках и на квасе. За Лисовскими спустилась с подгорья пышногрудая сельская красавица Ганна Лавренко в сопровождении своих дядек — Оникия и Левонтия Сердюков, которые лишь в последний момент присоединились к уходящим; каждому из них было уже за сорок, но они считались почему-то парубками. Последним приплыл со своими друзьями Федор Андрияка, отчаянный сорвиголова с разодранной губой: каждое лето он дрался на сельских престольных праздниках с хуторским кулачьем, иногда и сам падал замертво, оглушенный шкворнем, так что приносили его потом старой Андриячихе на рядне. Сейчас Федор с друзьями тоже прибыл на выгон, как на праздник: навеселе, с песнями.

Никого, однако, не веселили сегодня их песни. Всхлипывали матери. Испуганно жались к Цымбалу его цымбалята, слушая утешения матери, что принесет, мол, им батько осенью из Каховки корову в узелке... В задумчивости сидел Цымбал, наблюдая как бегают его Степаны — Степан первый и второй — по выгону, уже босиком, пуская с ладони божьих коровок.

— Куда божья коровка полетит — в той стороне и Каховка!

Будто в последний раз смотрели, не могли наглядеться загрустившие батраки на родное село, на его садки и вербные шатры левад, охваченных уже первым весенним светло-зеленым туманцем... Утро быстро светлело, наполнялось блеском солнца, неба, воды. Стояли в воде разбухшие надпслянские леса. Сверкало половодье на огородах тихими зеркальными плесами. Перебивая запах раскисшей глины хат, могуче тянуло отовсюду крепкими запахами весны, свежих вод, набухших вербных почек... Пьянящий сочный дух шел от живой, распаренной земли, а высоко над выгоном уже перелетали на север вереницами птицы, звонкоголосые, чуткие, весенние...

— Они домой, а вы... из дому! — причитали матери.

Умылась слезами и измученная Яресьчиха, очутившись со своими возле огиенковского ветряка. Заклятое, мученическое место! Здесь у нее забрали мужа, и здесь же должна она расстаться с сыном и с дочерью, живьем отрывая их от сердца.

— Отца замучили и вас на край света гонят, — тужила Яресьчиха, поправляя котомки на детях. — Чтоб им и Таврия и перетаврия, окаянным... Не для них, загребущих, растила я вас, ночей не спала...

— Мамо, не надо, — горько успокаивала мать Вустя. — Не в неволю идем, не навек же!..

Понурился, сгорбился Данько, как старик. Потускнели на миг его юные, светлые мечтанья. Все меркло в сравнении с матерью, измученной горем, изможденной, самой милой, самой лучшей из всех людей на свете... одна она такая, и нигде второй такой он не найдет!.. Не стыдясь людей, припал к натруженной руке матери, поцеловал — впервые в жизни.

А в верхней двери своего ветряка стоял Митрофан Огиенко с сыновьями и, глумливо усмехаясь, смотрел, словно пан, с балкона на прощанье отходников. Когда в лямки мешков стали впрягаться сестры Лисовские, вечные огиенковские поденщицы, не утерпел хозяин, зацепил:

— У своих, значит, надоело, к чужим подадитесь? В татарщину за длинным рублем? Ой, глядите, девчата, не прогадали б!

— Вряд ли, — ответила снизу за Лисовских Вустя. — Уж горше похлебки, чем у вас, дядя Митрофан, верно, нигде не варят.

— Ну, идите, идите... Там вам наварят. Боюсь только, что еще не раз вспомните.

Чья-то добрая палица просвистела в этот момент в воздухе, громко ударила в огиенковский балкон. Отшатнулся хозяин, побледнел.

— Это ты, Андрияка? Попомни ж...

— Попомню!

С тем и пошли криничане — медленно, угрюмо, вытянувшись цепочкой, в тот край, откуда все эти дни с весенним криком высоко летели перелетные голодные птицы.

III

И вот идут они теперь день за днем навстречу неведомой Каховке. Далеко за бродами, за паромами остались родные Кринички, залитые до краев весенней полой водой.

От Псла и дальше за Самару Цымбал вел партию уверенно, бодро — не раз бывал он в этих краях,— а как вышли дальше в степи, то и атаман помрачнел, перестал шутить, подавленный величием незнакомых просторов. На привалах все чаще отводил душу словами лирницких, слышанных на ярмарках песен.

Як став брат найменший, піший-піхотинець, на полівку ізбігати,
На степи високі, на великі дороги розхідні...
Нема ні тернів, ні байраків, ніяких признаків!

Вместо беленьких, нарядных полтавских сел пошли другие, редкие степные селения, голые, как бубен, неуютные, ободранные сквозными ветрами. Низкие и рыжие мазанки вросли в землю, как арестантские этапы, придавленные сверху плоскими глиняными крышами, на которых растет бурьян...

— Почему не делаете повыше? — обращались девушки к местным крестьянам.— Почему соломой не покрываете?

— Разве здесь солома удержится? — мрачно отвечали степняки.— Ветры у нас вечно...

Чем глубже в степь, тем мрачнее становятся криничане, тем острее чувствуют свою бездомность. Безлюдная, безводная земля вокруг утомляет взор своим однообразным, неприветливым простором. Где те рощи и сады пропали, куда те речки растеклись?

Дóма в это время Псел, переполнившись, заливает огороды, размывает хаты, а тут ни пруда, ни озерка в поле...

Земля и небо. Сухие ветры летят и летят навстречу. Идешь и за весь день деревца нигде не увидишь, хворостину не из чего выломать. Если б не запаслись дома палками, нечем было б сейчас даже от собак отбиваться... А сколько их, клыкастых, растревожили криничане за эти дни!

«Заботу» о собаках, особенно самых злющих — хуторских, охотно брал на себя Данько, которому страх как

нравилось поднимать на хуторах шумную кутерьму. Шагая с палкой впереди группы, он дерзко заглядывал в кулацкие дворы, готовый, казалось, схватиться хоть с волком. Но то, что развлекало отчаянного парня, для девушек было мукой, пытками. Неумело отбиваясь от обезумевшей собачни, испуганно пробираясь сквозь неистовый собачий лай, они вырывались из хутора, как из пекла. И даже здесь, очутившись снова в безопасной светлой степи, осыпанные со всех сторон мирным звоном певучих жаворонков, они еще долго не могли перевести дух. Раскрасневшиеся, со слезами на глазах, они прежде всего торопливо осматривали свои юбки — целы ли, будет ли в чем показаться на Каховской ярмарке. Кто знает, может, оборванных там и вовсе не захотят нанимать?

— Вы икры берегите, а не юбки,— поучал девушек Цымбал.— Потому что, если укусят, то пиши пропало: много не пройдешь.

— Отбиваться надо, а не прятаться друг за дружку,— напускался на девушек Данько.— Не визжи, не мотай перед ними подолом, а норови палку всадить в глотку, чтобы аж клыки треснули!

Девушек мало утешали такие советы. Испуг проходил, но еще долго оставалось на душе тяжелое, обидное чувство батрацкой своей бесприютности. Чем они в конце концов провинились перед богом, что, покинув близких и родных, вынуждены идти куда-то с котомками за спиной, дразнить чужих собак? Разве от добра идут они сейчас по белому свету? Черная, беспросветная нужда выгнала их из родных домов. С детства каждая из них работала не жалея сил. Совсем еще тоненькими ручонками, какими только в куклы играть, уже скручивали они толстые свясла на поденщине. Еще не было видно их, подростков, в высокой конопле, а они, ловкие, уже угорали там, в густых горячих зарослях, доставая для кого-то дерганцы. Не ленивыми выросли, любую работу умеют делать эти девичьи руки: свяжут сноп — будет, как узелок; выведут нитку — зазвенит струной; вышьют рушник — гореть будет на нем, как живая, ветка калины! Столько уже успели за свои семнадцать весен переделать, что, кажется, озолотиться могли б! А где оно, это золото? Все ушло на подати, да на долги, да за аренду. В чужих сундуках лежат их полотна, а они, бесприданницы, сидят сейчас на краю дороги, грызут свои камен-

ные батрацкие сухари, смоченные слезами. Кара? Но за что?!

А в степях воды не допросишься, ночевать не достучишься. Редкие таврические села переполнены сезонным людом, в каждом дворе непременно застанешь ночлежников. У бедняков еще, правда, встретишь сочувствие, а в богатые дворы, к хуторянам, хоть и не стучись. Никого не пускают под свою черепицу, боятся, что будут курить парни ночью, красного петуха пустят...

На что уж Нестор был мастер просить, но и ему сплошь и рядом показывали дорогу дальше: не верили хуторяне, что его ребята не курят.

Хорошо, что хоть ночи были теплые да не весь прошлогодний курай собрали крестьяне на топливо, можно было подстелить под бока.

— Это еще ничего,— рассуждал в таких случаях Цымбал.— Мы хоть на земле, на курае отдыхаем, а как же тому голубю, который иногда всю ночь протрепыхается в небе, держась только на собственных крыльях?.. Бывает, выпустишь их под вечер, а они на радостях пойдут вверх такими винтами, что уже едва видны в небесах. Шея заболит за ними следить... Ставишь тогда корытце с водой и, присев возле него, смотришь, как в зеркало... Полное корытце синевы небесной!.. А в ней где-то глубоко-глубоко мотыльком трепещет маленькая точка: это он и есть, голубь!.. Особенно с молодыми хлопот не оберешься. У нас уже сумерки под лесом, а он и не думает спускаться, потому что ему там вверху светло... Когда спохватится, то в Криничках уже темень, уже и голубятню не найдет... Должен тогда там и ночевать, в небе, держась на крыльях с вечера до рассвета...

Бывало так или это просто придумывал Нестор, лежа на колючем курае, но после его историй всю ночь Даньку снились голуби. Легко было парню в их компании, сам будто взлетал птицей в высоту, набираясь сил для нового дня... А утром опять, как бесконечные серые полотна, разворачивались вдаль большие шляхи-дороги.

Шляхи шляхи.. Были они по-весеннему топкими вначале, стали кочковатыми, колючими потом, а сейчас уже перетерлись в пыль под неисчислимыми батрацкими подошвами. Маленькими казались люди среди этих необозримых просторов. Роились возле степных колодцев,

муравьями темнели на шляхах, двигаясь отовсюду в одном направлении — к солнцу, на Каховку. Иногда другие группы обгоняли криничан, иногда, наоборот, сами криничане обгоняли путников, отдыхавших на обочине... Все такие же измученные, оборванные, разморенные далекой ходьбой... Некоторые с тыквами для воды, с рубанками через плечо, с косами.

Как-то на девятый день путешествия обогнали криничане партию своих полтавских земляков-опошнянцев. Эти тоже тащились в Каховку на ярмарку. Со скрипом, на возах, на волах везли в Каховку свои прославленные изделия, звонкую и яркую посуду, известную всей Полтавщине своей красотой и мастерской художественной росписью.

— Так говорите, земляки, не святые горшки обжигают? — весело задирал опошнянцев Андрияка.

— Разучились уже святые,— в тон ему отвечали земляки.— Теперь нам это дело передоверено...

— Ого!

— А ты думал!

Девушки на ходу, как лисицы, заглядывали в возы, осторожно вынимали из половы посуду, брали в руки на пробу.

— Боже, как хорошо!

— А узоры!

— А звон!

Глаза вбирали в себя расписанные цветастыми узорами миски и тарелки, тонкие глечики и макитры, крученые куманцы и веселые барильца... В Криничках хорошо знали опошнянскую посуду, и сейчас не одна девушка тайком вздохнула, любуясь ею. С такой посудой у каждой связывалась мечта о счастливом замужестве, о сладких семейных заботах, о достатке в хате, в которой сама хозяйкой... Но будет ли так, осуществится ли когда-нибудь? Может, навек по чужим краям, по людским ярмаркам, покуда и косы поседеют и краса увянет...

— Не продавайте, дяденьки, пока я не разбогатею,— просила опошнянцев Ганна Лавренко.— Все у вас тогда закуплю!

— Ой, долго ждать, пожалуй, придется, дивчино... К тому времени мы лучшую сделаем.

— Не надо мне лучшей, придержите эту! — горячо упрашивала Ганна, и трудно было понять, шутит она

или говорит серьезно.— Разве мое счастье так уж далеко закатилось? Чует душа — где-то близко оно!..

Поскрипывали ярма, медленно катились возы, навевая на девушек невеселые думы. Вскоре криничане оставили земляков позади, ушли, тая надежду на лучшие времена...

Чем дальше в степь — реже попадались колодцы. Все сильнее страдали криничане от жажды. Пока дойдешь от села к селу, от колодца до колодца, во рту пересохнет. Хуторяне и колонисты охотились за людьми и, перехватывая сезонников на каховских шляхах, соблазняли их в первую очередь водой.

— Нанимайтесь к нам, люди добрые!— зазывали они.— У нас вода не гнилая, будете свежую пить все лето!

Нестор охотно вступал в переговоры, подробно расспрашивал об условиях, о ценах на сезон.

— Мало, мало,— упрямо вертел он головой,— мы большего стоим!.. Гляньте, какие девчата, какие хлопцы! Как на подбор, как перемытые!

И вел своих «перемытых» дальше — глотать дорожную пыль.

Густо, до блеска загорели криничане в дороге, опаленные сухими встречными ветрами. Одну лишь Ганну Лавренко солнце почти не тронуло. Защищалась от него девушка, как могла, спасалась, будто от лютого врага. Всю дорогу шла, закрывшись платком до самых глаз, старательно оберегая лицо от солнца. Кровь с молоком, нежные лепестки яблони — вот какие у нее были щеки. Дома, превозмогая нестерпимую боль, Ганна каждое лето срывала загар горькими жгучими молочаями, зимой умывалась хлебным квасом, а весной росами, чтоб только быть белой, белее всех панночек из экономии! Почему-то уверенная в том, что именно нежная кожа лица больше всего придает девушке красоту, Ганна ради этого всю дорогу задыхалась под платком, готовая претерпеть любые муки, лишь бы не открыться солнцу.

Открывалась лишь вечером, когда зной спадал.

— Ха! Панночка в свитке! — не раз пытался досадить ей Данько.— Не успела сухарь изгрызть, уже перед зеркальцем вертится!

«Панночка в свитке» не обращала внимания на это. Что этот мальчишка понимает! У других полные сундуки

полотен, а у нее, кроме красоты, ничего нет. За другими стоят отцы в чумарках, с волами и коровами, а Ганна своего даже не помнит... Говорят, будто она девичья дочь, прижитая матерью с лесником... Кто за нее заступится, кто позаботится? Не дядьки ли Оникий и Левонтий, которые бессовестно объедают ее всю дорогу? Сама должна позаботиться о себе, о единственном своем девичьем богатстве. Может, как раз этими тонкими бровями, этим лицом удастся ей когда-нибудь привлечь свое бесприданное счастье. Панночки от нечего делать заботятся о своей красоте, а для нее красота — и приданое и единственная защита в жизни!

Легко им быть белыми в светлицах, попробовали б уберечься здесь, на ветрах, под беспощадным ливнем солнца... Хоть бы тучка появилась на небе, хоть бы дождик пробился... Но здешние люди, кажется, испокон веков не видели туч, не знают, что такое дождь...

Вода! Вокруг нее в этих краях все разговоры, из-за нее ссорятся, на ней богатеют, она считается здесь основой благополучия.

Впервые поняли здесь криничане страшную силу и власть воды. Впервые услышали, что водой торгуют, что за нее люди убивают друг друга, что в села бочками доставляют ее за много верст...

— Пить! — молил весь край, изнемогая от жажды.

— Пить! — шелестел иссохшими губами сезонный люд на шляхах.

У хуторян все колодцы на замках. В некоторых селах устраивают под водосточными трубами специальные цементированные ямы-бассейны для дождевой воды: на несколько месяцев делают запасы.

— Да разве можно на такой воде жить?

— Мы уже привыкли... Летом, когда отстоится, становится чистая, как слеза... Правда, нагревается сильно и головастики разводятся, но они на дно оседают...

— И пищу на ней варите?

— И пищу варим... Только в борщ надо луку и чесноку побольше, чтоб затхлость перебить... А пьем ее, как водку: залпом, не нюхая.

Так здесь жили.

Вместо воды только ее призрак — чистое, прозрачное марево изо дня в день дразняще струилось над степью. Вот-вот, кажется, догонят его, припадут к нему, утолят

жажду... Обманные, лживые реки! Близкие, почти ощутимые, бегут и бегут под солнцем, то исчезая на мгновение, то возникая вновь...

— Есть и нету. Куда оно девается? — удивлялся Данько, не в силах оторвать глаз от марева.— Дядько Нестор, как бы до него дойти, как бы его догнать?

— Эх,— вздыхал Нестор,— на крыльях к нему надо лететь, парень.

— Если бы наш Псел да мог бы потечь сюда за нами...— мечтали, изнывая от зноя, девушки.

Как-то во время короткого отдыха, лежа навзничь у дороги, Данько задремал. Что это был за сон, чарующий, незабываемый! Приснилось ему весеннее половодье в Криничках, затопленные кудрявые левады, белые расцветшие вишняки по пояс в сияющей, праздничной воде... И сам он, Данько, плескаясь, бредет с ребятами по счастливым ясным водам, и голуби Цымбала стайкой вьются над ним, и волна льнет к нему, ласковая, теплая, ускользающая, а он пьет ее всласть, пьет и никак не может напиться...

Сестра Вустя разбудила его, и парень какое-то время с удивлением смотрел на ее большие, тоскливые глаза, на ее губы, обожженные ветром...

— Вставай, пора идти...

Потом сестра отошла в сторону, и на том месте, где она стояла, как продолжение сна, открылось небо, сухое, высокое, капустного цвета, а посреди него — птица, висящая неподвижно, распластавшая над степью серые могучие крылья. Дома Данько никогда не видел таких огромных птиц, они водятся, видно, только в степях... Ястреб это или какой-нибудь другой гигантский хищник? Птица висела прямо над парнем, будто целилась ему в грудь, в самую душу.

Данько порывисто вскочил на ноги, охваченный чувством тревоги.

— Ты! — погрозил парень палкой хищнику. Птица, плавно взмахнув крыльями, спокойно поплыла стороной над степью.

— Орел-могильник,— пояснил Цымбал.

— Почему могильник?

— На высоких степных могилах — курганах — он чаще всего садится...

— Если бы мне ружье...

Привычно подцепив палкой мешок, Данько перекинул его — на батрацкий манер — через плечо.

Пить хотелось нестерпимо. Все, казалось, пересохло, горело у него внутри.

Двинулись, и марево опять задрожало впереди, как вчера, как третьего дня. Настоящие реки, такие, как Псел или Ворскла, Орел или Самара, через которые довелось Даньку переправляться, были где-то далеко, как в детстве. Вместо них потекли ненастоящие, призрачные, лукавые, сотканные из горячего степного воздуха. И хотя парень смотрел на них с жадностью, он уже не верил им.

Измученные жаждой, девушки все чаще роптали: завел их Цымбал, наверное, уже на край света! Исчезли реки, не растут деревья. Небо где-то раскололось и свистит навстречу голыми палящими ветрами. Изо дня в день. И нет им, неутихающим, никакой преграды среди открытых беззащитных равнин.

Где же та заповедная Каховка? Скоро ли вынырнет она из-за горизонта живой голубизной своего Днепра, могучим разливом не миражных, а настоящих вод, к которым можно припасть?

Даже Данька, которому Каховская ярмарка дома мерещилась трижды на день и который до сих пор верил в свою батрацкую звезду, пожалуй, сильнее, чем любой из криничан,— даже его в последнее время все чаще стали одолевать тревожные раздумья и сомненья. В самом деле, кончится ли когда-нибудь эта безводная дорога? И вообще, существует ли на свете она, его вымечтанная счастливая Каховка? Что, если это тоже всего-навсего мечта, степная сказка, батрацкая легенда?

IV

Глиняная, полузанесенная песками Каховка, ничем не примечательное, заштатное местечко Таврической губернии, во время ярмарки превращалась в город со стотысячным населением, становилась сердцем всего Юга.

За несколько дней до открытия ярмарки Каховку уже трясла лихорадка. С утра до ночи скрипели под окнами возы, ржали кони, лопотали торговки, стучали по всему

местечку топоры плотников. Как из-под земли вырастали рундуки, балаганы, карусели.

Всюду шум, гам, толкотня... Мещанские дворы полны постояльцев. На пристани и у трактиров, прислушиваясь к гомону баграцких толп, уже кружатся нездешние, важно надутые стражники, которые приезжают на ярмарку раньше всех, вместе с конокрадами.

Днепровский берег под кручей быстро заселяется сезонным людом. От главной пристани и до самых плавней снует вдоль воды растревоженный людской муравейник. Те, кому не хватает места у воды, устраиваются наверху, на кручах, захватывают холодок под конторами нанимателей, в закоулках между магазинами или оседают прямо вдоль улиц, под известковыми, серыми, будто из костей заборами.

Со стороны степи каховские окраины — как в осаде. Словно навалилась откуда-то орда кочевников и, разметавшись, встала под местечком. Все здесь перемешалось: чумацкие мажары и телеги старообрядцев, татарские арбы и немецкие фургоны, конокрадские дрожки и грациозные таврические тачанки... Сколько хватает глаз стоят таборами в песках приезжие, белеют палатки и шатры, торчат, как мачты в высохшей гавани, поднятые в небо оглобли.

А с трактов накатывается все новыми и новыми валами ярмарочный прибой. Со звоном проносятся тачанки, обгоняя вереницы пешеходов, которые мрачно бредут по обочине, вдоль дороги. С величественным спокойствием выплывают из-за горизонта, словно из глубины веков, крутороги серые волы — прирученные потомки могучих степных туров. Кое-где покачиваются над ними еще не привычные для глаза высокие горбатые верблюды, как бы неся на Каховку дыхание далеких безводных пустынь.

Под вечер накануне ярмарки по Мелитопольскому тракту въехал верхом в Каховку и Савка Гаркуша, молодой приказчик из фальцфейновской Аскании. Въехал, как всегда, не один, а с приятелями, толстомордыми сынками новотроицких хуторян. Расступались перед Савкой каховские лавочники, знали его норов. Ухмыляясь, перегнется с седла и, как бы шутя, так вытянет нагайкой вдоль спины, что только взвоешься.

— Свербит разве? Ха-ха-ха... Какой же ты, казаче, тонкокожий!..

Едет Гаркуша, картинно откинувшись в седле, привлекая взгляды раскормленных каховских бубличниц... Маленький, но бравый: манишка во всю грудь, сизый смушек на голове, глаза с хищноватыми раскосинами, как у татарина из-за Перекопа.

Знают бубличницы, где будет фальцфейновский приказчик желанным гостем, в чьи ворота завернет его усталый конь. Экономия имеет в Каховке свою собственную контору, но Савка редко ночует там. На время ярмарки он предпочитает арендовать себе окно на площадь в доме солидного каховского прасола Лукьяна Кабашного. Оттуда, как из засады, будет настороженно подстерегать приказчик ярмарочную добычу, пересиживая жгучий обеденный зной в холодке, в то время как под окном у него будут шумно толпиться батрацкие атаманы — грудь нараспашку, размахивая своими пропотевшими, выпоротыми из засаленных шапок паспортами...

Клок сена висит на воротах у Лукьяна, бочки холодного кваса стоят у Лукьяна в погребах. Нацедит квасу Настя, веселая наймичка деда, напоит гостя из собственных рук, пока будет шаркать старый Кабашный с костылем по двору.

Гудит, клокочет растревоженная Каховка. Сидит дед Кабашный на завалинке, равнодушно слушает, как звонят к вечерне. Большой колокол на каховской колокольне треснул, и звук он издает короткий дребезжащий, не такой, как когда-то. Не идет старик к вечерне, сидит, словно еретик, на завалинке, положив бороду на костыль. Неможется прасолу. В молодости плечом приподнимал мажару с солью, а теперь... Постепенно изменяют силы, с каждым днем разрушается его ширококостное, кряжистое тело. Вот так подкралась старость... Слабы стали руки, плохо носят ноги, неповрежденным осталось только зрение — взгляд у старика пристальный, тяжелый, неподвижный, как у степного ястреба, который видит свою добычу с поднебесья...

Видит, но схватить уже не в силах! Чужими возами заполнился двор, равнодушные к деду хозяйчики в чумарках ходят по двору с прасолами под руку, шушукаясь, сговариваясь, нацеливаясь на завтрашний день. Без Лукьяна рассчитывают выгоды, без Лукьяна замышляют какие-то сделки.

Его время уже прошло. Ухаживать за приезжими поручил распутной своей любовнице Насте, а сам досиживает жизнь на завалинке, насупленный, обрюзгший, безнадежно больной водянкой.

С дедов-прадедов живут Кабашные в этих местах. Был у них когда-то самый большой в Каховке заезжий двор, в Бериславе держали для чумаков собственные паромы... Просторно здесь было тогда Кабашным. Дикие кони — тарпаны — еще водились в здешних степях, табунами проносились мимо Каховки на водопой... Еще отец Лукьяна держал на конюшнях пойманных диких жеребят, стараясь их приручить, но так ни одного и не приручил: то погибали, то, вырвавшись, с седлами исчезали навсегда в степи... Что это были за времена! Паромы приносили неслыханные прибыли, по три шкуры можно было драть с чумаков за перевоз... Весной, направляясь на крымские озера за солью, тысячами сбивались они у бериславской переправы со своими скрипучими мажарами, в полотняных штанах и рубахах, густо пропитанных дегтем, чтоб чума не пристала... Широкий Днепр перед ними, полноводный — на руку Кабашным! Вплавь не переплывут его чумаки и домой порожняком не вернутся: что запросишь, то и должны платить... Позже, когда появилась пароходная компания и отбила у паромщиков перевоз, перенесли Кабашные всю свою деятельность в Каховку. Стали прасолить, торгуя лошадьми и другим товаром...

Однако очень грешным, видно, было наследство Кабашных, не пошло оно Лукьяну в руки: вылетело в трубу.

Не знаешь, кого сейчас и упрекать: то ли предков, то ли черную бурю, то ли самого себя, за то, что не доверял банкам, а прятал деньги по старому обычаю в дымоходе, за вьюшкой, придавив камнем сверху... Как-то во время черной бури, проносившейся над Каховкой, прибежала к Кабашному соседка-перекупщица:

— Одолжите, дядько Лукьян, червонец до завтра, с процентом верну!..

Искусила, шельма, его тем процентом. Не было близко червонца, полез Лукьян в свой тайник... Кто же знал, что эта разиня за собой дверь не прикрыла как следует? Ветер оказался проворнее Лукьяна, словно только и ждал, когда старик снимет камень с денег... Дунуло из-

за спины, потянуло в трубу, засвистело по-черному — закружились ассигнации Лукьяна по ветру где-то над Каховкой... Лови!

Кое-что удалось перехватить, а об остальном хоть и не спрашивай: каждый божился, что не подбирал. Жаловаться? Но кому? Судиться? Но с кем? С ветром, человече, не посудишься!

Затаил с тех пор Кабашный злобу на каховских торговцев: несло его ассигнации как раз в их сторону, кружило их больше всего между лавками, над ярмарочной площадью. Не один там погрел руки, загребая чужое, как свое собственное... Иного, правда, Лукьян и ждать от них не мог: сам стоял на том, что в Каховке человек человеку волк.

Непоправимый то был удар. Зачахла после этого случая Лукьяниха, похоронил вскоре, а сам с горя загулял, стал ездить по монастырям, пьянствовать с монахами, завел себе любовниц...

Старея, строил всякие химеры, все чаще мудрствовал: не удастся ли как-нибудь вернуть утраченное. Не подать ли, к примеру, жалобу на высочайшее имя? Разве не могли бы там пожалеть его? Разве не он в девяносто пятом ходил вместе с Кириллом Гаркушей по Каховке впереди разъяренной толпы, усмиряя врагов трона, утверждая тяжелой рукой православие?! Летит вдруг из столицы к губернатору казенная бумага — возместить Лукьяну сыну Свиридову Кабашному все его убытки, понесенные из-за стихии, предоставить ему льготы... Хотя бы в виде исключительного права на торговлю водой по всему Крымскому тракту!

Немало наживаются некоторые степняки на воде. У кого хороший колодец, тот и господствует. Хочет — торгует сам, хочет — сдает в аренду за большие деньги. Главное — выбрать бойкое место, чтоб дорога не дремала ни днем, ни ночью, чтоб другой воды поблизости не было. Кирилл Гаркуша, давний приятель Лукьяна, угадал, где ему угнездиться. Вырыл колодец у самого тракта, и уже выросли у него от того колодца и хутор, и ветряк, и добрый гурт овец...

За такими мыслями застал Кабашного Савка Гаркуша, крестник Лукьяна. Хитер этот похожий на татарина Савка, но учтив: соскочив с коня, за руку здоровается со стариком, передает от отца поклон.

— Расседлывай, заводи,— покряхтывает Кабашный, довольный вниманием.

— Есть куда?

— Твоему, Савка, всегда место найдется.

— Спасибо, Лукьян Свиридович... Но со мной еще дружки!

— Поместим и дружков. Где они?

— Послал по одному делу. Сейчас будут.

Пока Савка ставит коня, Настя уже выносит из дому кувшин с водой, печатное мыло, рушник. Глаза Насти возбужденно блестят, играют Савке навстречу.

— Становитесь здесь, Саввочка, я вам солью.

Щедро сливает Настя, расплескивает.

— Не дорожите вы здесь водой,— замечает Савка, отфыркиваясь.— А у нас в степи... каждую ночь крадут. Отбоя от них нет.

— От кого нет отбоя? — заинтересовавшись, подходит поближе к гостю старик Кабашный.

— Воду, говорю, крадут крестьяне из экономских колодцев... Уже и объездчиков новых выставили — все равно не страшатся... Особенно там, в Присивашье.

— Видно, солоно едят, оттого много пьется,— оживившись, пошутил дед.— Соль у них там хорошо родит, на Сивашах.

Скомкав рушник, гость медленно вытирает им свое крепкое, скуластое, словно из кирпича, обожженное лицо, растирает крутой, налитый кровью затылок, топчется перед дедом, приземистый, мускулистый, как годовалый бычок. Вот-вот, кажется, боднет деда головой в бок.

— Солоно или не солоно — это нас в конце концов не касается. У нас, сами знаете, каждая капля на учете: своим гуртам еле-еле хватает.

— Известно, в степи... вода на вес золота. Пошли в дом.

Лукаво перемигивались заезжие под возами, наблюдая, как ведет Кабашный молодого приказчика в дом. Там, в горницах у Насти, место Гаркуши. Кивнет кто-нибудь вслед, слегка кашлянет, подмигнув соседу, да и то, чтобы Гаркуша не заметил. Кому охота связываться с Гаркушей и его компанией? У старика ястребиный взгляд — пусть сам за своими любовницами смотрит.

— Жарко у тебя, Настя,— заметнл прнказчик, очутившнсь в комнате.

— Сегодня во всей Каховке жарко,— виновато улыбнулась Настя.— Печн день и ночь топят, жарят и шкварят, всякие крендели пекут... Чтоб до конца ярмарки хватнло.

— Ты тоже напекла?

— А я что? Разве заработать не хочу?

— Кто чем может, тем н промышляет,— пояснил Кабашный.— Вы — людьми, цыгане — лошадьми, а мы уж... хоть кренделями.

— Не прибедняйтесь, Лукьян Свиридовнч!

— Не прибедняюсь, Савка, но и с вами, молодымн, тягаться мне уж не под снлу... Подкосило меня раз и навсегда.

— То-то и беда наша, что деньги в кубышке держим, банков бонмся. Вместо того чтоб самим ими заправлять... Правда, банки тоже иногда вылетают в трубу.

— Да пусть уж... Вылетел бы, да не один.

— Конечно, вместе веселее,— улыбнулся Насте Гаркуша и отошел к своему откупленному у деда окну.

Дед, наказав Насте готовнть ужин, тоже вскоре подошел к окну, выходившему прямо на ярмарочную площадь, уже людную, растревоженную, окровавленную вечернным солнцем.

— Не комнату смеха строят? — заметнл Гаркуша.

— Нет на них управы,— сказал Кабашный, как бы оправдываясь.— Принесла их нелегкая чуть ли не под самые окна с теми кривыми зеркалами.

— Это ничего,— благодушно ответил приказчик.— Будет людно, а где людно, там и доходно. Разве не так?

Уже и сейчас на площади косякамн ходилн приметные средн прочего люда сезонникн. В заплатанных свнтках, худюшие, сгорбленные, с давно не стриженымн чубами, торчавшимн из-под брылей и помятых шапок... Толпились возле еше не достроенной комнаты смеха, заглядывая друг другу через плечи, вытягивая худые, жилистые шен — где-то там устанавливали для них большне кривые зеркала.

— Ну, уважаемые земляки,— весело промолвил Гаркуша, нмея в виду сезонников,— какими вы себя там видите, в зеркалах? Что касается меня, то я уже вижу вас... по десятку на веревочке!

— И сколько ж таких десятков думаешь в этом году нанизать? — спросил Кабашный.

— Мне маловато перепало... Двести чубов поручено пригнать. А всего Фальцфейны будут набирать больше трех тысяч.

— Это куш,— причмокнул старик.— Три тысячи... А говорили, будто ваш панич из Америки машин много выписал, на машины хочет переходить...

— Машины своим порядком... Сам панич махнул в Америку с шерстью, выберет и машины на месте... Правда, знатоки наши подсчитали, что для хозяйства живая каховская «машина» пока что выгоднее, чем фабричная.

— Еще бы не выгоднее... Хорошего сезонника, Савка, ничем не заменишь... А какие на него затраты? Сущие гроши... Ишь сколько приплыло!

— Будет, будет улов, Лукьян Свиридович. Будем брать их завтра голыми руками!

— И с каждой весной все больше... Расплодилось народу — деваться уже ему некуда.

— Пусть размножается — найдем дыры!

— О, не говори, Савка... Скоро их столько будет, что и земля не прокормит... И нас с тобой проглотят... Великий мор надвигается на нас, Савка. В писании прямо сказано...

— Что там писание... Не верит ему наш панич. ,

— Доучился!

— А что ж... Все европы прошел, а теперь еще и Америку пройдет.

— Думаешь, Америка его научит, как черные бури обуздать, как дожди вызвать?

— Может, и научит.

— А я тебе скажу, Савка, что все это кара божья. Все грешные, на всех ее пошлет, а начинает с нашей Таврии. Да иначе и быть не могло, потому что содом у нас тут, сборище всяких еретиков... Там басурман, там духобор, там немец-лютеранин. Кому здесь стоять за православие? Потому с нас и началось... Бураны, засухи, недороды, вода пошла вглубь. Были когда-то в степи и реки, и озера, а где они сейчас? Попрятались, повысохли, мертвые пески надвигаются...

— Это потому, что земля стареет, Лукьян Свиридович.

— Кара, Савка, кара... За грехи наши ниспослано все это на нас. Зимой снега не увидишь, летом — бездождье египетское. В давние времена тут, говорят, леса шумели, а сейчас, куда ни глянь, пустыня до самого моря светится. Также птица и зверь... Еще на моей памяти сайгаки, тарпаны в степях водились, а сейчас где они? Где байбаки, что свистели по всей степи? Неспроста они покинули Таврию, первые гибель почуяли...

— Тарпанов колонисты уничтожили,— возразил Савка.— За то, что их кобыл покрывали.

— Колонисты колонистами, а кара карой... Ну, прошу к столу.

Только сели, как ввалились два приятеля Савки, те, которых он посылал по какому-то делу.

— Чего же вы стоите, лоботрясы? — обратился Гаркуша к приятелям, которые, мрачно поздоровавшись, переминались с ноги на ногу у порога.— Садитесь... Это Гнат, сын Ивана Сидоровича Рябого, а это Андрущенко Тимоха с горностаевских хуторов,— отрекомендовал Савка приятелей, когда они, погремев стульями, наконец уселись за стол.— Ну, есть?

— Есть...

«Лоботрясы» добыли из карманов черные пузатые бутылки и молча выставили их на стол.

— Ты меня обижаешь, Савка,— запротестовал Кабашный, веселея.— Разве ж у меня не такая? Может, скажешь, у деда водой разбавлена?

— Это перцовка, Лукьян Свиридович... Задолжал мне здесь один человек... Садись и ты, Настя,— распорядился Гаркуша, наливая чарки.— Чувствуй себя с нами не наймичкой, а хозяйкой в хате... Итак, за то, чтоб хорошо ярмарковалось... Будьмо!

V

Ходит, раскрасневшись, Настя вдоль стола, убирает объедки, меняет посуду, касается как бы ненароком дедова крестника своей пышной грудью. Савкины плечи словно не чувствуют этих прикосновений. Не до баловства ему сейчас. Сидит над жареным поросенком, глушит, не пьянея, чарку за чаркой, разглагольствует.

Самое большое наслаждение для Гаркуши за столом — чтоб дали ему всласть наговориться, чтоб было кому его слушать и чтоб сидели при этом у него по праву и по левую руку покладистые поддакиватели. Здесь все это было. Правда. Гнат заикается уже больше обычного, а второй подручный, Андрущенко, растрепав кудри, все нахальнее подмигивает посоловевшими глазищами в сторону Насти Зато старик Кабашный слушает гостя серьезно, как на суде.

— Случается, к примеру, оказия в Каховку ехать, сезонников набирать,— говорил Гаркуша, обращаясь главным образом к деду.— Что нам скрывать — доходная, золотая поездка. Магарычи, хабаренция и всякое такое прочее... Каждый рвется поехать. Помощники управляющего — эти само собой, их право. А когда доходит очередь выбирать в поездку приказчика, тут и начинаются споры... Как только не старались они опозорить, оттереть меня в этом году! «Савка и смушки тащит, Савка и фураж уполовинивает, возами к отцу на хутор возит...» Ничто не помогло. Управляющий, конечно, тоже рад бы меня в ложке воды утопить, но остерегается, знает, что паныч Вольдемар дорожит Гаркушей...

— То-то и оно,— проскрипел дед, празднично поблескивая при свете лампады своим вспотевшим черепом.— Покровительство — великое дело.

— Верите, я и сам иногда удивляюсь, за что меня паныч так выделяет среди других приказчиков,— продолжал Гаркуша.— Если подумать, так что я для него, для нашего степного миллионера? Фальцфейнову шерсть знает весь мир, в сенате у него рука... Что ему, казалось бы, от Савки Гаркуши, от этого гречкосея, от которого дегтем разит, который реверансов не умеет делать? Однако ценит, держит на виду...

— П-потому, что ты у нас г-голова,— заикаясь, льстит Гаркуше Гнат Рябой и мрачно лезет целоваться.— Д-дай я тебя чмокну.

Савка слегка отстраняет приятеля:

— Не дыши на меня луком. Будь здоров!

И, допив свою чарку, Савка с хрустом заедает ее луком.

— А зачем он в ту Америку подался? — спрашивает Настя о паныче.— Родственники у него там или, может, любовницы?

— Угадала, Настя,— улыбнулся Гаркуша.— У Фальцфейнов с Америкой давняя любовь. Водой не разольешь.

— У них там тоже ярмарки есть? — поинтересовался дед.

— Еще какие! Человеческий товар у них издавна в ходу. Они себе вместо сезонников негров-арапов навезли на кораблях из Африки, столько нагребли, что на весь век хватит... А в руках как умеют держать! Со своими они не цацкаются, как мы здесь. Чуть что — петля на шею и на дерево, вот и весь разговор.

— У нас для этого и дерева путного нету,— пошутил Андрущенко.

— При таких обычаях и дурень каши наварит,— опять заговорил приказчик.— А нашего тут пока уломаешь, семь потов с тебя сойдет. Не зря паныч Вольдемар старается подбить себе таких, как я. Думаете, нет у него здесь своего расчета? Знает, что Савка умеет подойти к сезоннику, сумеет стреножить его... На ярмарке не до реверансов, здесь как раз Савкин деготь подавай! В Каховке ему и присказка пригодится и шутка поможет. Поеду — наберу за такую цену, что другие потом глаза вылупят. А все потому, что я сам гречкосей, с людьми не гордый. Знаю, с какой стороны подойти, по какой струне ударить... «А, полтавчане! Братцы! Земляки!»

Распалившись, Гаркуша произносит последние слова таким тоном, будто стоит уже где-то на площади посреди толпы батраков. Гнат Рябой, который, видимо, задремал, при восклицании Савки вскочил как ошпаренный:

— Кто? Где? Какие земляки?

Захохотала добродушно вся компания.

— Не кидайся казаче,— успокоил Гната Кабашный.— Здесь не те земляки, что тебе мерещатся.

— Были раньше и у меня промахи,— продолжал Гаркуша,— но батько, спасибо им, научили, как надо ярмарковать... Теперь я держу линию не на мужиков, а больше на девчат и на подростков. Набираешь их за полцены, а работу спрашиваешь, как со взрослого мужика. Молодые, дешевые, здоровые, сил у них хватит, сумей только вытянуть. И бунтарей среди них меньше. Покапризничают, покричат, а чеченцами пригрозишь — и замолкнут.

— Почем же вы девчат набираете? — спросила Настя, поводя спиной, как от щекотки.

— За красоту — червонец надбавки,— выпалил Андрущенко.— Панич только Савке доверяет горничных набирать...

— Тимоха, не спотыкайся,— оборвал его Гаркуша, который давно уже поджидал случая осадить приятеля, слишком уж распоясавшегося. Думает, наверное, что Гаркуша не замечает, как он, втиснув Настю между собой и соседом, то и дело пристает к ней с чаркой, чтоб пила, и как она иногда, сдерживая смех, дергает плечом, будто кто-то ее тайком щекочет. Все замечал, все запоминал Гаркуша, не собираясь ничего прощать... Но всему свое время.

— Скажите, какие же служаночки ему нравятся?— поинтересовалась Настя.— Чернявые или белявые?

— Определенно не такие, как ты,— буркнул дед,— потому что иначе давно была б уже там.

— Ну да, чтоб динамит подложили! Это ж правда, что у вас там какую-то дивчину насмерть завалило? — обратилась Настя к Гаркуше.

— Да это тот придурковатый Густав придумал... На что другое, так у него десятой клепки не хватает, а на это хватило.

— Из-за ревности все?

— А из-за чего другого? Горничную Серафиму наметил себе, а Фридрих Эдуардович отбил ее у него... Ну Густав и решил им подстроить. То ли динамиту, то ли чего другого подложил, только весь флигель, в котором они легли, в воздух среди ночи подняло.

— Подумать только,— вздохнул Кабашный,— брат на брата из-за девки пошел!

— Вся Аскания проснулась от грохота. Сбежались сторожа, пожарники, а подойти боятся: может, еще рваться будет? Потом все-таки кинулись, вытащили из-под обломков голого Фридриха Эдуардовича, стали откачивать...

— А дивчина все там? — ужаснулась Настя.— Пана откачивают, а ей что — пропадать?

— Кто же знал, что она там... Уже когда пана откачали, признался он, что и девушка была с ним, сказал, чтоб искали... Вытащили, да поздно! Зато уж и повелел он похоронить ее с почестями, белый камень поставил

с золотыми буквами... И родителей вызвал, полсотни овец им отвалил, чтоб молчали... Теперь поехал куда-то в Швейцарию лечиться.

— А Густаву что?

— Заслали в отцовский Дорнбург, живет теперь там вурдалаком.

— А говорили, что его в желтый дом отправили...

— Собирались, но потом на семейном совете решили, что много шуму будет, еще больше опозорятся.

— Позора боятся,— задумчиво промолвила Настя.— Белым камнем откупились... А что дивчине век укоротили, то ничего...

— Брат на брата,— снова покачал головой Кабашный и, помолчав, обратился к Гаркуше: — Ты мне вот что, Савка, посоветуй... Что, если подать прошение на высочайшее имя?

— Это по тому делу?

— По тому же.

— Гм, тонкая пряжа, Лукьян Свиридович, тонкая. Вряд ли что выйдет.

— Я многого не прошу... Пусть бы предоставили льготу пробивать колодцы до Перекопа... Ведь стоял я за веру, за батюшку царя... А то разве мыслимо: с потрохами вылетел в трубу.

Андрущенко, не удержавшись, коротко хохотнул под стол, будто чем-то подавился.

— Ишь, смеются сейчас, как над блаженным... Смейтесь, заслужил!

Притих Тимоха, почувствовав себя неловко.

— Плакать здесь надо, а не смеяться,— неожиданно озверел Гаркуша.— Это как раз нас и губит! Мало того, что другие над нами смеются, давайте мы еще сами над собой.

— Простота,— сокрушенно покачал бородой Кабашный.

— Арапником надо выбивать из нас эту простоту! Нерасторопные, темные, недружные мы... Готовые капиталы, вместо того чтоб в дело вкладывать, в дымоходы затыкаем... Девок щекочем да затылки чешем, а другие тем временем нас на четвериках обскакивают!

— Ну, положим,— буркнул Тимоха, развалившись на стуле, как в тачанке.— У кой-кого из нас тоже четверики, как огонь...

— Дурень ты божий,— криво усмехнулся Гаркуша.— Слышишь звон, да не знаешь, где он... Сестра моя книжки из «Просвиты» выписывает, послушали б вы ее Вся наша история там описана. Раздарила наши земли Екатерина графам да князьям, своим полюбовникам... И немцам, и грекам и перегрекам — всем досталось, только нам, коренным, не попало!

— Так уж и не попало?— ехидно заметила Настя.— Кажется, есть где коня попасти...

— Помолчи! — прикрикнул на наймичку дед,— не твоего ума дело...

— Говорили когда-то батько: «Вырастай, Савка, большим псом, потому что маленькая собачка — до конца дней щенок». Так оно и есть... Они полжизни по столицам да по заграницам, а мы тут должны с отарами, с чабанами, с черными бурями... Из седла не вылазишь, плетки из рук не выпускаешь, сколачивая им богатство. Разве ж не осточертеет? Неужели нам до самой смерти вот так все на побегушках быть у других, жить под чужими вывесками!..

Речь Гаркуши внезапно оборвалась на самой высокой ноте из-за досадного недоразумения, которое произошло на том углу стола, где между Андрушенко и Кабашным, разомлев, сидела Настя: Тимоха, дав под столом волю своим ручищам, вместо Насти спьяну ущипнул за колено деда.

— Настя,— возмутился дед,— не собаки ли завелись у нас под столом? То все по ногам топтались, а сейчас уже кусаются...

Гаркуша, разъярившись, поспешил выставить Тимоху за дверь:

— Поди на коней погляди... Понял?

Кое-как удалось замять конфуз.

Настя сидела пристыженная, сердитая, готовая к ссоре. Только Гнат Рябой спокойно дремал, клюя носом в тарелку.

— Трое братьев нас на один хутор,— вернулся погодя Савка опять к своему.— В гору растем, а вширь... Тесно уже нам становится!

— Так скажите своему Вольдемару, может, подвинется,— ужалила приказчика Настя.— У них же сто тысяч десятин.

— Придет время, Настя, и скажу, и подвинется. А может, и совсем с места сгоню!

— Дай боже нашему теляти...

— Ты у меня посмейся... Прорежутся и у нас зубы, дай срок... Не всегда нам у чужих в приказчиках ходить... Еще приеду я в Каховку не кому-нибудь наинмать сезонников — себе сотнями набирать буду... А сейчас только и слышишь: то Фальцфейны, то Штиглицы, то Аскании, то Дорнбурги, а где ж наш рундук, где Украина, я вас спрашиваю?

— Ох, если б услыхал паныч, что его приказчик замышляет!

Гаркуша на мгновение растерялся. Простое предположение Насти немало обеспокоило его.

— Ты, Настя, гляди,— как-то сразу протрезвел Савка.— Что слыхала, то забыла. Ясно?

— Об этом, Савка, не тревожься,— вмешался старик.— Это она с жиру сегодня бесится...

Гаркуша успокоился, но разговор после этого уже не клеился.

Вскоре в дом ворвался Андрущенко, растрепанный, встревоженный.

— Слыхали стрельбу?

— Какую стрельбу? — с ненавистью посмотрел на приятеля Гаркуша.

— Пальба где-то внизу, возле пристани... Будто из револьверов садят!

Компания притихла.

— Из револьверов, говоришь? — поднялся дед.

— Как будто... Шум, и собаки брешут.

— Это, наверное, опять фабричных ловят,— высказал догадку старик.— Повадились из Херсона наших пильщиков бунтовать. В страстную пятницу сотские уже совсем было схватили одного, да... удержать не смогли. Сами пильщики и матросы отбили.

— В Конских плавнях у них маевка была,— сказала Настя злорадно.

— Что-что? — переспросил Гаркуша.— Маевка?

— Это у них праздник весенний такой,— объяснил Кабашный.— Выезжают на лодках в плавни, вроде погулять среди зелени, пиво попить... А потом сразу выбрасывают красную хоругвь и речи под ней говорят...

— Опять, значит, поднимают голову,— нахмурился Гаркуша.— Мало им в пятом крови пустили... Так в стороне пристани, говоришь?

— Где-то там... И собачня брешет...

Вышли вместе во двор, стали прислушиваться. Храпели под возами заезжие, лошади хрупали сено. Никакой стрельбы уже не было, местечко спало. Чуть-чуть выступали из темноты силуэты окружающих площадь домов, магазинов, амбаров. Кое-где светились на столбах керосиновые фонари, отбрасывая слабые отсветы на землю. Всюду, куда достигали их тусклые отблески, вся земля была устлана народом. Разлегшись на свитках, подложив под голову узлы, вповалку спали сезонники.

Неожиданно прогудел на Днепре пароход — басовито, грозно, заставив Гаркушу вздрогнуть.

— Это какой?

— Херсонский...

И снова воцарилась тишина. Было тепло. Спала Каховка, разметавшись под звездами, под Млечным Путем, проходившим прямо над ней.

VI

В первые дни криничане ходили по Каховке, как в чаду. Голова кружилась от нестихающего шума этого вавилонского столпотворения. Выкрикивали водоносы, пиликали шарманки, заливисто ржали кони, охрипшими голосами перекликались наниматели... Все сливалось в горячий, одурманивающий гул.

Не было, кажется, такой вещи на свете, которую нельзя было купить на этой огромной ярмарке. Штуки самых ярких материй развертывались перед глазами ошарашенных батраков. Огромными белоснежными пластами таяло на кулацких возах сало. Груды лакомств, диковинных кавказских фруктов и ароматных крымских табаков проплывали перед ошеломленными северянами. Новехонькие гармоники и резные ярма, посуда и упряжь, переливающиеся, как волны, шелка, косы самой лучшей стали — всего было вдоволь в этой переполненной, по-южному яркой Каховке, все горело на солнце, дразня иссушенное жаждой воображение, возбуждая страсти. Бери, покупай, если только есть на что!

Однако не очень разгонялся покупать сезонный люд, больше ротозейничал, бесплатно пользуясь зрелищем многочисленных ярмарочных соблазнов.

Признак безработицы тревожил людей, вынуждал атаманов все время держаться настороже. Народу силища сошлась этой весной в Каховку, никогда еще, кажется, не сходилось столько... Давно уже прошли те времена, когда сезонники были здесь нарасхват, когда, написав мелом цены на своих потрескавшихся пятках, они могли по целым дням отлеживаться в холодке, ожидая более или менее приличного найма. Придет наниматель, пусть посмотрит сначала на пятки, а зря человека не тревожь, не буди,— он, может, наперед высыпается за все таврические ночи, что придется недосыпать летом...

Прошли те золотые времена. Раскалились ныне каховские пески, не улежишь на них спокойно: жгут. Толпами ходят атаманы за приказчиками... А нанимателям этого только и надо: всюду, словно сговорившись, предлагают одинаково ничтожные цены.

Временами то в одном, то в другом месте поднимается драка, сами сезонники публично чинят расправу над теми, кто, пренебрегая обычаями батрацкого товарищества, соглашается наниматься за бесценок. Если сам не умеешь дорожить собой, так тут гуртом научат, кулаками разъяснят, чего ты стоишь. Жестоко бьют несчастных, споенных приказчиками новичков. Чтоб не лез в ярмо за полцены, чтоб не сбивал тем самым цену другим!

Криничанам в Каховке удалось осесть на берегу Днепра, у самой воды. С ними соседствовала большая артель батраков, прибывших откуда-то с Орловщины. Между обеими партиями быстро установились добрососедские, дружеские отношения. Орловцы, которые уже не впервые приходили на Каховскую ярмарку, охотно делились с криничанами опытом, предостерегая их от возможных промахов. Имея таких соседей, криничане сразу почувствовали себя в Каховке более уверенно.

— Надо держаться этих людей,— убедительно говорил своим Нестор Цымбал после знакомства с орловцами.— Они бывалые, с ними не пропадем.

Ощущая потребность в добром совете и поддержке, Нестор быстро побратался с вожаком орловцев — приветливым бородачом лет пятидесяти, которого все называли Мокеичем. Курени, стоящие рядом, общая батрац-

кая доля и веселые характеры — все сближало их. Особенно нравилось Цымбалу в Мокеиче то, что на него как будто совсем не действовала общая лихорадочная тревога, что в своих лаптях и истлевшей рубахе он ходил по ярмарке с таким видом, словно звенели у него в кармане веселые червонцы. Силой веяло от Мокеича, от его распахнутой загорелой волосатой груди. Не уступал дороги богачам на ярмарке — сами они обходили его. А где проходил широкоплечий Мокеич, там уже легко мог протиснуться и сухощавый, жилистый Цымбал.

Криничанские девушки, очутившись в Каховке, вначале совсем было оторопели перед этим взбудораженным ярмарочным морем. Боялись отходить далеко от берега, а если и отходили, то не иначе, как крепко взявшись за руки, чтоб не потерять друг друга, не заблудиться в толпе. Встревоженные страшным, никогда не виденным наплывом безработных людей, они порывались наняться немедленно, за любую цену. Им казалось, что Цымбал действует слишком вяло, рассудительно, что за своими разговорами он все прозевает, оставит их без работы. Без работы на все лето! Об этом даже подумать страшно. Куда им деться тогда, что с ними будет? Мокеич брал Цымбала под защиту.

— Не горячитесь, девчатки, не дергайте своего атамана,— спокойно сдерживал он сезонниц.— В первый день всегда так, мы уже знаем этих живодеров. Они нарочно панику нагоняют, мутят воду, чтоб удобнее было в ней карасей ловить...

— А что, если совсем на работу не станем? — встревоженно восклицала старшая Лисовская.— Гляньте, сколько рук ищут сегодня работы! И какая же это работа нужна, чтоб хватило на всех!

— Имейте выдержку, девчата! — весело твердил Мокеич.— Нас сюда сошлись тысячи, но ведь и им тысячи нужны!

Стали постепенно успокаиваться, подбодрились девушки.

— В самом деле, разве это конец? — первая повеселела Вустя.— Не станем на срок — поденно пойдем куда-нибудь... Ведь устроились наши ребята бревна из Днепра таскать... Нагонят и на нашу долю плотов,— закончила она шуткой.

Федору Андрияке и его приятелям действительно по-

счастливилось: лесной пристани дополнительно потребовалось некоторое количество грузчиков для срочных работ, и криничанские парни, без колебаний метнувшись вместе с орловцами на зов, попали в число отобранных. Пусть хоть на день, хоть на полдня, зато свежий, уже каховский заработок!

Девушки тем временем привели себя в порядок у воды, принарядились в воскресное.

— И охота вам была эти наряды в узлах тащить,— удивлялся Нестор, не без удовольствия осматривая своих умытых, посвежевших криничанок, которые в белых вышитых сорочках, в аккуратно залатанных сапожках павами прохаживались возле воды.

По крайней мере хоть в этом повезло криничанам: вода своя. Хорошее, выгодное было место там, где они поставили свои курени, в одном ряду с сотнями других батрацких куреней, тянувшихся, сколько хватал глаз, по берегу — то больших, то меньших, сложенных из нарезанных в плавнях прутьев ивняка, покрытых где сермягами, где армяками, а где заплатанными свитками... Особенно выгодным было это место сейчас, в нестерпимую ярмарочную жару. Наверху, где-то на песках, за ведро воды деньги дерут, а здесь пей бесплатно, плескайся сколько хочешь.

Данько Яресько, добравшись до воды, сразу кинулся купаться, жалея, что не захватил из дому рыбачьи снасти, а то мог бы еще и рыбы наловить.

Прекрасно было здесь, на Днепре! Широко, на много верст, раскинулся он, спокойно проплывая под солнцем к морю. Празднично сверкают чайки над небесно-чистой водной равниной, белеют парусники, снуют шаланды, подходят плоты... Несметная сила воды, чистой, свежей, сладкой, течет и течет куда-то к морю. Богат ею Днепр, богаче любого царя. Вся ярмарка, изнемогая от жажды, черпает из него пригоршнями, кружками, тысячами ведер, а в нем воды нисколько не убавляется — полные берега! Самые ловкие пловцы не могут достичь дна в его холодных глубинах. Как хорошо, что принадлежит он всем, одинаково приветливый и щедрый для каждого... Купаются в нем птицы, купаются люди, далекие плавни лежат на воде, распустив по волнам свои весенние, пышнозеленые стебли... В глубину — глубокий, в ширину — широкий... Чуть виден его противоположный берег

с мрачными ветряками на холмах, с золотыми маковками бериславских церквей.

Каждый пользовался Днепром по-своему. Тот гнал по нему плоты, тот купался, а Ганна Лавренко смотрелась в него как в зеркало, вместо разбитого в дороге. Сидела на камне, наклонившись над водой, любовалась собой, вдевала в уши серебряные ландыши сережек.

— Что ты, Ганна, все прихорашиваешься, не женихов ли ждешь? — спрашивал Цымбал.— Хоть бы одну удалось выдать, может, на свадьбу позвала б, чарку поднесла...

— Отвяжитесь вы, дядько Нестор, не стойте тут...— досадливо отмахивалась Ганна.— Без вас есть кому над душой стоять.

Правду говорила Ганна: было кому стоять у нее над душой. Она имела в виду своих дядек — Оникия и Левонтия Сердюков, тех самых, которыми в Криничках матери пугали детей и с которыми она пришла на заработки. Черные, заросшие, мрачные, как два разбойника, они и в дороге держались в стороне от других криничан. Недолюбливала Ганна своих дядек, но вынуждена была слушаться их во всем: мать, провожая ее в Каховку, передала братьям полную власть над нею, поручила им беречь девушку от всяких напастей. За дорогу дядьки достаточно опротивели Ганне. Не раз стыдилась она перед односельчанами за своих нелюдимых опекунов, за их скаредность и даже за их огромные потрескавшиеся пятки, растоптанные от дальней ходьбы.

Очутившись в Каховке, Сердюки вдруг проявили неожиданное проворство, показав, что не такие уж они простоватые, какими раньше казались криничанам. Метнулись в один конец, кинулись в другой, вернулись вскоре с кучей нужных новостей, оживившиеся и уже как будто не такие черные. Порывшись в своих мешках и проверив, все ли на месте, кинулись опять куда-то наверх и через полчаса вернулись запыхавшиеся и не с пустыми руками: принесли в полах «яблоки» — сухие конские кизяки,— заблаговременно позаботились о топливе на вечер. Ссыпав это добро возле шалаша, отозвали племянницу в сторону, забормотали, как заговорщики.

— Тут есть где денежки зарабатывать,— говорил Ганне Оникий.— Тот самый решетиловский наймитюга,

о котором болтал когда-то Нестор, в самом деле мог здесь сбить капитал...

— А чего же... Наши ребята уже, видите, устроились грузчиками на лесную пристань.

— Что там ребята,— энергично возразил Левонтий, который вообще не терпел Андрияку за его насмешки.— Повытаскают бревна — и опять без работы... Тут если б ведра раздобыть и заделаться на время ярмарки водоносами... Что ни ведро — то и пятак! Наверху там только и слышишь: «Кому воды, кому воды!»

— Я этого не умею,— отрезала Ганна, догадавшись, куда гнут дядьки.

— Научилась бы, Ганна! Здесь стыд отбрось. Подумай только, какой дурняк попадется: возле Днепра Днепром торгуют...

— Дядя Оникий, я сказала: хотите — торгуйте, а я не могу.

— Ладно, воля твоя, только видишь... ведер нам не на что купить,— поддержал Оникия Левонтий.— Мы уже советовались между собой... Что, если бы ты продала свои сережки? Зачем им в ушах торчать? Один блеск и лишняя приманка для цыганчат: где-нибудь в тесноте они их у тебя с мясом вырвут.

— Не вырвут.

— Лучше, когда наторгуем, другие тебе купим.

— Не надо мне ваших других... Это у меня от крестной память.

Впервые Ганна так резко разговаривала с дядьями. Почувствовала вдруг, что здесь, в Каховке, она может смелее вести себя с ними, меньше внимания обращать на их опекунскую власть. Если каждый живет здесь только сам для себя, не заботясь о других, если нет перед жестокими законами ярмарки ни брата, ни свата, так почему она должна кого-то слушаться, позволять кому-то, пусть даже и родственникам, обманывать себя? И легче ли ей будет оттого, что ее обманут не чужие, а родные люди? Какие могут быть родственные отношения на этой ярмарке, где всех и всё продают, где никто никому не доверяет!

Не удалось дядьям оставить племянницу без сережек, обернуть девичье украшение на свои делишки. Получив отпор от Ганны, Сердюки попытались было выманить капитал у самого младшего из сезонников —

у Данька Яресько. Знали они, что при деньгах парень, имеет за душой серебряный полтинник, тот самый, который достался ему в свое время на свадьбе, как выкуп за сестру. Несколько лет берегла Яресьчиха в скрыне на самом дне сыновнее серебро. Достала его только в день проводов, торжественно положила мальчику в руку:

— Это тебе, сынку, на счастье...

И вот теперь Сердюки вспомнили о том полтиннике. Покружив некоторое время вокруг парня, дружно приступили к нему с двух сторон:

— Одолжи...

Данько в ответ дернул головой, засмеялся:

— Не могу! Это ж мне на счастье!

Сестра Вустя, услыхав переговоры, налетела сразу, напустилась на Сердюков:

— Стыдились бы выманивать у мальчика последнее! Не слушай их, Данько, не давай... Лучше побеги, разменяй в рядах и хоть бублик себе купи!

— Что бублик! — вмешался в разговор Нестор. — Это такое: кругом объешь, а середину выбрось... Чего-нибудь более существенного надо. Я б на твоем месте добрый ломоть ржаного хлеба умял с горячим борщом...

Данько решил, не теряя времени, воспользоваться этими советами. В самом деле, не солить же ему свой капитал! Всё впроголодь да впроголодь. Надо ж хоть раз когда-нибудь наесться вволю! Было, правда, как-то неудобно менять монету, данную ему на счастье, но, с другой стороны, разве не счастье после постной дороги, после сухарей и лука, от которых у него уже живот присох к спине, наглотаться, наконец, вкусной горячей еды, набраться сил, без которых человека ветром собьет в этой бурлящей Каховке! Конечно, Данько не такой, чтоб истратить свои деньги только на себя, он и сестре что-нибудь купит...

— Что тебе купить, Вустя?

— Мне... Мне лучше сдачу принесешь.

— Ладно.

Заложив полтинник за щеку, Данько вприпрыжку кинулся ярмарковать.

— Смотри ж, не заблудись! — крикнула вдогонку сестра.

— Если собьешься, — громко добавил Цымбал, — сразу смотри, где Днепр, в ту сторону и пробивайся!

Взобравшись на кручу, парень на мгновенье застыл ошарашенный. Что здесь делалось, что творилось! Шум, гам, жаркая адская теснота... Вся ярмарка плывет, движется, торопится куда-то как на пожар. В неудержимом движении бушует взволнованное людское сборище, без конца двигаясь неведомо куда, обливаясь потом, захлебываясь сухой пылью... Как безумные, толпятся люди, толкаются, налетают друг на друга, сослепу пробираясь зачем-то дальше вперед, растекаясь во все края, и в то же время их никак не становится меньше; вся ярмарка, многолюдная, шумливая, остается на месте, кружась, словно в бешеном бессмысленном танце, на этих раскаленных песках, под этим высоким, разогретым куполом неба.

Оторопев, стоял парень на высоком берегу, не отваживаясь броситься стремглав в страшный людской круговорот, который, заполнив площади, улицы, огороды, равнодушно топтал Каховку, шагая по ней, как по бесконечному заколдованному кругу. Что им всем до Данька? Если зазеваешься, тебя в одно мгновенье сомнут, затопчут, даже не заметят. Возбужденные, распалившиеся, о, если бы они могли посмотреть на себя со стороны! Куда они торопятся, куда спешат, обгоняя друг друга? Разморенные зноем, очумевшие от собственного крика, они сами уже хотели бы, кажется, вырваться из этой толкотни, облегченно вздохнуть, но какая-то сила не отпускала их отсюда — они как бы обречены были ярмарковать до конца, до полного изнеможения.

VII

Солнце жгло, как в пустыне. Ослепительный воздух, прозрачный, чрезмерно наполненный светом, больно резал глаза. Со звоном в ушах, со страхом в сердце стоял Данько с глазу на глаз с ярмарочной растревоженной Каховкой. Наконец, собравшись с духом, он метнулся в плывущую толпу, вошел, как иголка в сено.

Пожалуй, в тесноте ему оттоптали бы ноги, но на его счастье большинство здесь было таких же босых, как и он сам. Остерегаться надо было только богачей, ярмарочной знати, которая носила сапоги с подковами на подборах.

Вскоре Данька прибило, словно волной, к неподвижной, застывшей в напряжении группе людей, которые, горбясь, плотно окружили какого-то страшного на вид одноглазого рябого верзилу.

— Получай утешение, если в кармане деньги есть! — стоя посреди толпы, то и дело выкрикивал одноглазый хриплым басом. — Десять проиграет, один выиграет, на-а-летай!

Проскользнув между столпившимися, Данько неожиданно очутился возле рулетки.

Некоторое время он внимательно следил за игрой. Очень интересно было здесь. Со свистом вертелся разрисованный круг, отчаянно позвякивало серебро и медь, дружно проявляла свои чувства нависшая над рулеткой толпа, смеясь над неудачником и хором приветствуя того, кому повезло.

Рулетка постепенно увлекла Данька. Вначале ему было просто интересно следить за игрой, угадывать, кому посчастливится, а кому нет, а потом, поняв сущность игры, он грешным делом подумал, не испытать ли самому это рискованное, отважное наслаждение? Конечно, здесь легко проиграть, но ведь можно и выиграть!

«Один-разъединственный раз. В шутку. Для пробы,— говорил он мысленно, словно спрашивал у кого-то разрешения: не то у матери, не то у сестры, не то у самого себя. — Раз — и больше не буду. Просто так, чтобы проверить свое счастье!»

В самом деле, взрослые ведь играют, некоторые уже одалживают друг у друга, ставят последнее, почему же ему нельзя? Игра притягивала его, как таинственная пропасть, все больше искушая опасностью и риском. Глядя на проигрыши и выигрыши других, Данько постепенно проникался почему-то уверенностью, что ему повезет.

«А, будь что будет!»

Тут же разменяв полтинник, Данько поставил свою долю на кон. Решительность парня развеселила взрослых.

— Ну-ка, ну-ка, докажи,— подзуживали его со всех сторон.— Получай, человече, утешение... Отсюда либо паном, либо без штанов уйдешь!

Засвистел диск, залопотало по металлическим зубчикам гусиное перо, тоненькое и легкое, как Даньково

счастье. И парень и все присутствующие приумолкли, посапывая, напряженно следя за движением пера.

— Один выиграет, десять проиграет! — зловеще каркнул рябой над самой головой парня.

Стоп!

Данько вначале не поверил собственным глазам... Выиграл!!

Ошеломленный, стоял и молча смотрел на чудесное перо, которое как бы чувствовало, где надо было остановиться. Радость Данька была так искренна, так чиста и наивна, что она передалась другим присутствующим, и даже его противники, которых он только что обыграл, не злились на свою неудачу.

— Забирай выигрыш,— сказал хозяин рулетки, но Даньку еще и сейчас не совсем верилось, что вся куча денег, лежащих на кону, отныне законно принадлежит ему. Не дождавшись, пока парень придет в себя, хозяин рулетки сорвал с него картуз и, свалив туда медяки и серебро, сунул все это счастливцу в руки. Картуз был тяжелый.

— Еще играешь?

Данько подумал, что отказаться сейчас от игры было бы нечестно.

— Играю,— ответил он глухо.

Азарт присутствующих нарастал. Данько, растрепанный, лопоухий, одеревеневший от напряжения, стоял с картузом в руке перед рулеткой и ясно чувствовал, как где-то под рубахой, за худыми ребрышками трепещет его сердце.

Завертелась рулетка, зазвенело перо, ахнули хором присутствующие: второй раз выиграл Данько!

— Э, так это счастливчик! — воскликнул один из игроков, подозрительно оглядев парня.— Нам с ним играть не с руки!

Качнулась толпа, зашумела, посыпались шутки, в которых кроме веселья слышались и удивление и страх:

— Берегитесь, хлопцы, счастливец среди нас!

— Ну-ка, где он, покажись!

Задние протискивались вперед, чтоб хоть взглянуть на необычного, редкостного для Каховки счастливца. А он, зажимая картуз, стоял возле рулетки, худющий, смущенный, в своей вылинявшей полотняной рубашечке и таких же штанишках, выкрашенных домашним спо-

собом — бузиной. Роса выступила у счастливца на облупленном широком носу, на выгоревших висках русой, давно не стриженной головы. Ничем вроде не приметный парнишка, обычный сельский пастушок — тонконогий, гибкий, как лоза, с ушами, прочно отдавленными картузом, с непокорным вихром на темени... Такой незавидный, и такая легкая рука у него!

— Забирай! — показал на выигрыш рябой.

На этот раз Данько, осмелев, уже сам сгреб в картуз свою выручку.

— Еще играешь?

Еще б не играть! Теперь только и играть... Но не успел Данько объявить о своем согласии, как чья-то рука цепко, по-батрацки, схватила его за шиворот, и знатный игрок мгновенно очутился за толпой, сопровождаемый взрывом общего хохота.

— Надо, парень, и меру знать! — прозвучало ему вслед.

— Удирай лучше, пока не поздно!

— Тут, брат, везет-везет, да и перекинет!..

Сконфуженный, застыл в стороне Данько, выслушивая насмешливые назидания незнакомых сезонников. Но только что пережитый конфуз нисколько не уменьшил ощущения сказочной радости, переполнявшей его. Верил и не верил своему неожиданному счастью, не зная, как ему поступить со своим выигрышем. То сжимал, то снова раскрывал картуз, чтоб убедиться, что его казна на месте, что все это настоящее.

Что он теперь сможет купить? Ржаного хлеба? Борща? Бубликов? Все может, всю ярмарку закупит! Но нужно сначала рассортировать выигрыш, отделить серебро от меди, надежно рассовать в разные места... Часть в карман, другую за подкладку картуза, а остаток — узелком в платочек и за пазуху... Он теперь богач, ему надо остерегаться ярмарочной публики, особенно уркаганов Но пусть только попробуют вырвать у него добычу! Руки перегрызет, а свое, законное, не отдаст.

Приводя в порядок свою казну, со счастливой настороженностью оглядываясь вокруг, Данько заметил поблизости подростка своих лет, который, видимо, уже некоторое время внимательно следил за ним. Внешне парнишка ничем не напоминал уркагана. Стоял одиноко, аккуратненький, чистенький, тонкобровый, в форменной

тужурке и форменном картузике с кокардой, на которой были изображены крест накрест коса и грабли. Почему грабли? Почему коса? Никогда Данько не видел ничего подобного на кокардах. Безусловно, парнишка этот не из босяков, скорее он похож на гимназиста. Но почему он так внимательно, с тоской в глазах следит за Данько? Что ему нужно?

— Ты чего? — с вызовом обратился к парню Данько.

Густо загоревшее, по-девичьи красивое лицо незнакомца дрогнуло в горьковатой усмешке.

— А что?

— Чего смотришь, спрашиваю?

— Глаза есть, вот и смотрю.

— Может, выиграть охота?.. Так иди, играй, там никому не запрещается.

— Играл уже я... раньше тебя,— снова горько усмехнулся парнишка.

Это заинтересовало Данька.

— Проигрался?

— Невезучий я... Да здесь и редко кому везет... Ты вот один, пожалуй, счастливый объявился на всю Каховку... Дважды подряд...

— У меня рука легкая,— уверенно пояснил Данько.— Я бы еще играл, да побоялся, не дали... За ушко да на солнышко! — засмеялся он счастливо.

— Это они тебя пожалели... А я трижды подряд прогорел. Зарекся — больше не играю..

Ребята помолчали.

— Что это у тебя за кокарда? — ближе подошел к собеседнику Данько.

— Эмблема нашей школы... Я в агрономической школе учился... Двенадцать верст отсюда по Мелитопольскому тракту.

— Закончил уже?

— Не закончил, а так... Наладили меня... Должны были выпустить агрономом, да передумали: агрономишкой выпустили. Наниматься пришел.

— За что же тебя?

— Да ну его,— махнул рукой агрономишка,— долго рассказывать...

Данько вдруг пожалел ровесника.

— Слушай, давай пообедаем! Может, я и твои деньги выиграл... Знаешь, где здесь борщи продают?

— Как не знать... Можем пойти, покажу.

Вскоре ребята, пробившись сквозь толпу, очутились на широком песчаном пустыре, где под открытым небом кипели подвешенные на треногах котлы, а рядом, под кустами, раскинулись самые дешевые батрацкие ресторации в виде узеньких засаленных столиков, за которыми обедал непритязательный ярмарочный люд. Те, кому не хватало мест за столиками, а таких было большинство, устраивались с мисками прямо на песке, не отходя далеко от котлов.

Как вкусно здесь пахло! Какие борщи кипели, танцевали над кострами, стекая наваристыми красными потеками по котлам! Дородные торговки похаживали возле них с половниками, словно казаки с пиками. Слонялись поблизости и собаки, бездомные, ласковые, тихие, те, что смотрят на каждого заискивающе, не бросаются со злым урчанием, как хуторские цепные... Все тут нравилось Даньку. Стоял, втягивая широкими ноздрями запах вкусной поджарки, глотая то и дело набегавшую голодную слюну.

— Здесь у них на выбор,— объяснил Даньку его новый знакомый.— Можно заказывать или порцию, или «от пуза». Порция стоит три копейки...

— А «от пуза»?

— Это — гривенник.

Данько решил есть «от пуза».

Получив плату вперед, тетка налила ребятам по полной миске, дала по доброму ломтю паляницы. Присев неподалеку под чахлым кустом ивняка, зажав миски между колен, ребята дружно принялись уплетать.

Данько хлебал так, что и за уши его не оттянуть: соскучился по горячей пище. Новый приятель Данька вначале залюбовался, глядя, как тот артистически работает: откусит паляницу, взглянет на кусок (большой ли еще?) и пойдет молотить с прихлебом, пришелкивая языком, раздувая ноздри, энергично двигая крепкими челюстями. Проглотит хлеб, опять откусит и опять покосится на кусок — много ли осталось. Не часто, верно, видит этот полтавчанин кусок паляницы в своих руках...

Но и сам новый товарищ Данька не очень-то отставал. Даром что дует в ложку каждый раз, а уже выхлебал миску до половины... Неприверелдивые попались торговкам едоки. Муху заметят — выплеснут. Песок трещит на

зубах — перетрут и песок!.. Еще бы не трещать здесь песку: ветер гуляет над пустырем, крутит в воздухе пылищу и ярмарочный мусор, заносит в миски и торговкам в котлы, чтоб больше было.

Опьянел от еды Данько. Сидел, и даже покачивало его. Должен был отдохнуть; прежде чем браться за добавку... Может, и довольно уже, но ведь заказал «от пуза»!

Вспотели оба, жарко. А оттого, что кухарки подкладывали поблизости под котлы камыш, становилось еще жарче.

Утолив первый голод, ребята разговорились. Хрупкий агрономишка, расстегнув тужурку и отказавшись от добавки, неторопливо рассказывал о себе. Зовут его Валерик, фамилия Задонцев. Родом он из Гурьевки, из приморского рыбацкого поселка, который, между прочим, славится тем, что из него вышло много первоклассных матросов и капитанов для Черноморского флота. Во всех портах мира знают гурьевских капитанов.

Очень туманно помнит Валерик своих родителей... Мать его была дочерью отставного боцмана, выучилась в городе на фельдшерицу и, приехав в Гурьевку работать, вышла там замуж за простого рыбака. Работая фельдшерицей, она в свободное время помогала мужу, нередко даже выходила с ним на баркасе в море, далеко за Тендру. Валерик был еще совсем маленьким, когда над их краем пронеслась черная буря страшной силы. Много гурьевцев погибло тогда в море. Погибли и родители Валерика.

Так он осиротел.

Несколько лет жил у своего деда, работавшего на маяке, а потом, когда земство открыло в степи под Каховкой агрономическую школу и стало свозить туда сирот со всей Таврии, очутился и Валерик в числе школьников, будущих агрономов (ибо, как известно, помещикам Юга нужны не только темные батраки, но и батраки образованные, интеллигентные). Правда, с малых лет он мечтал стать капитаном дальнего плавания, но быть агрономом — это тоже хорошо. Именно от агрономов он впервые услыхал, что с черными бурями человек может бороться, и решил посвятить этому всю свою жизнь. Учился только на высокие баллы, лучше всех тех ябедников-своекоштников, приказчичьих сынков, которые толь-

ко и знали, что бегали к смотрителю с доносами на других.

К счастью Валерика, среди учителей школы подобралось немало честных, неподкупных людей, прекрасных агрономов, которые умели привить своим воспитанникам любовь к науке, и с некоторыми во время практических занятий где-нибудь в степи или на опытных делянках можно было поговорить обо всем открыто, душа в душу, и услышать от них такое, чего в классах никогда не услыхать.

Но за это начальство невзлюбило школу, возненавидели ее и окружающие хуторяне, называли рассадником крамолы. Вместо агрономов она, дескать, снабжает Таврию одними агрономишками-недоучками с волчьими билетами... Земство уж не радо было, что открыло ее на свою голову. В последнее время повадились в школу жандармы, делали обыски в общежитиях и даже на квартирах у некоторых преподавателей. В прошлом году нашли у старшеклассников под матрацами запрещенные книжки и листовки, напечатанные на тайной машинке, которая называется гектограф..., Вот шуму было! Одним — волчьи билеты в зубы, и катись на все четыре стороны, других, во главе с преподавателем истории, под конвоем повезли в Симферополь.

— А этой весной докатилось и до младших,— рассказывал Валерик.— Узнало начальство через какого-то навуходоносора, что группа воспитанников собирается в воскресенье на Днепр вроде купаться, а на самом деле на маевку в Конские плавни. «Ах вы ж, казанские сироты! Земство вас воспитывает, кормит, одевает, а вы все в лес смотрите? Захотелось вам митинговать с каховскими пильщиками? Ну идите ж, митингуйте всю жизнь!..» Пришлось уходить... Так я очутился в Каховке,— невесело закончил Валерик.

Его рассказ заинтересовал Данька. С раскрытым ртом слушал он своего опального приятеля. Черные бури... Села, которые дают капитанов для всего света... Митинги... Маевки!.. Обо всем этом Данько слышал впервые, не все было ему до конца понятно, однако своей необычностью и полутаинственностью еще больше очаровывало парня, а Валерик, только что выплеснутый из той среды, представал пред ним сейчас в новом свете, почти в героическом ореоле.

— Я еще никогда не видел черных бурь,— признался Данько.— У нас их не бывает.

— Лучше б их никому не видеть,— вздохнул Валерик по-взрослому.— Это так страшно! Будто ночь вдруг наступает среди дня, каганцы надо в домах зажигать... Гудит, рвет, мечет...

Стали серьезными, задумались юные батраки над судьбой хлебороба. Невдалеке от них обедали с водкой какие-то мужики, которые, видимо, только что получили за себя задаток. Их шумный разговор невольно привлек внимание ребят.

— Ох, не прогадать бы нам,— жаловался один из компании, пожилой, изможденного вида крестьянин.— Кабы нам этот смех да после боком не вышел!..

— Завел: «Если бы да кабы...» — недовольно сказал другой, оборванный, как арестант.— Теперь пятиться поздно, увязли,— и стал пробовать на зуб только что купленную косу.

— С чем ждать? — вмешался коренастый парень с засученными по локоть рукавами.— Сухари вышли, махорки ни крошки, ветер в карманах гуляет... Да и непохоже на то, чтоб завтра наш брат дороже стал!

— А если дождь? — снова заговорил тот, который боялся прогадать.— Дай сюда дождя — цены сразу подскочат!..

— Да будет вам! — принялся утихомиривать их сухощавый веселый старичок, опускаясь на колени перед бутылкой.— Дождь, он издавна глухой: не идет, где просят, а идет, где косят... Давайте лучше разговеемся вот этой каховской, чтоб срок нам без напасти отбыть, а больше в нем и вовсе не быть!.. Так, ребятки? — подмигнул старичок Даньку и Валерику, заставив их смутиться.— За ваше счастье, сыночки, за ваше будущее...

Собутыльники старика молча посмотрели в сторону ребят и снова принялись за свое.

— Интересно, что нас ждет? — промолвил погодя Данько, начисто облизывая по домашней привычке ложку после еды.— Может, когда мы вырастем, цены на нас будут вдесятеро выше?

Валерик загадочно улыбнулся:

— Может, тогда уже совсем не будет людских ярмарок, этих невольничьих рынков...

— А как же?

— А так,— засмеялся Валерик, сверкнув своими мелкими, как белые искры, зубами.

Тетка крикнула, чтоб поскорее возвращали миски.

Обед можно было считать законченным. На закуску Данько заказал еще по кружке воды и, напившись, почувствовал себя прекрасно.

— Ты знаешь,— доверчиво обратился он к товарищу,— я тебя вначале чуть было не принял за уркагана.

Валерик покраснел, но не обиделся.

— Тут их хватает... Во время ярмарки сюда даже одесские добираются...

— А сам ты их видел?

— Ого, сколько раз...

Данько выразил желание посмотреть на ярмарочную босячню, о которой он немало слыхал на берегу. Узнав от товарища, что это нетрудно сделать, он ощупал свои капиталы, надежно рассованные по тайникам, и решительно поднялся:

— Покажи!

— Только с ними надо быть настороже... Это такая публика, что на ходу подметки рвет...

— Ну, мне за свои подметки бояться нечего,— засмеялся Данько, подняв вверх босую костлявую ногу.— Пошли!

У этой ярмарки была своя быстрина, свои водовороты, и тихие заводи, и лиманы. В одной из таких заводей — в душном тупике, где вскоре очутились наши герои,— стояли рядами парусиновые, похожие на маленькие карусели грибки, а под ними за столиками чаевничали, спрятавшись в тень, местные воротилы, захожие монахи, торговцы и барышники. Они, правда, больше пьянствовали, нежели чаевничали, однако самовар для вида шумел на каждом столе.

— По нашему обычаю пьют водку до чая! — выкрикивал, обращаясь к торговкам, какой-то осоловевший усатый барышник, потрясая бутылкой над самоваром.

— Ты! Тише там,— разморенно усмирял его становой пристав, который, расстегнув мундир, солидно чаевничал неподалеку за отдельным столом.

Господин пристав тут же чинил суд и расправу. То и дело стражники выхватывали из ярмарочной гущи и подводили к нему то пойманных с поличным карманников, то залетных аферисток, то самоуверенных херсонских

жуликов, державших себя с приставом свободно, почти запанибрата. Странные, забавные разговоры происходили между ними и господином приставом!

Выслушав, как полагается, донесение стражника о сущности вины того или иного мошенника, пристав останавливал на виновнике свой тяжелый оловянный взгляд.

— Ну-с, ты! — начинал пристав распекать преступника.— Попался уже... Наколобродил... Красный теперь?

— Нет,— отвечал тот спокойно.— Не клюнуло. Сегодня синею.

— Ах ты, подлец, еще хочешь? Шутить со мной надумал? Красней, говорю тебе!

— Господин пристав, рад бы! Я для вас... завтра покраснею, а сейчас разрешите синеть...

Поспорив, померявшись упрямством, они неожиданно быстро мирились.

— Ладно,— говорил пристав.— Синей, черт с тобой... Но помни: завтра не покраснеешь — в тюрьме сгною.

И, утершись рушником, уже давал стражникам знак этого отпустить и подводить следующего.

— С ума они сошли, что ли? — вполголоса спрашивал оторопевший Данько своего приятеля.— По-какому они разговаривают? Ничего не понимаю!

Оглянувшись, Валерик тихо пояснил:

— Господин пристав требует у него «красненькую», то есть десятку, а тот дает только «синенькую» — пятерку...

Данько засмеялся. «Вот это суд!» — подумал он, незаметно отходя от этого места, потому что, как ему показалось, некоторые торговки, собственницы самоваров, уже и на них стали поглядывать подозрительно. Такие толстухи, чего доброго, могут и его ни за что ни про что схватить и потащить на расправу — «синеть» и «краснеть»!

— Вот тебе и уркаганы всяких сортов! — сказал Валерик, когда они отошли подальше от судилища.— Понравились?

— Ну их к черту!

Коротко посоветовавшись, ребята нацелились на карусель.

Яркая, летящая, полная музыки, она уже давно привлекала внимание Данька, манила, звала к себе изда-

лека. Как же не манить, как же не пленять! Карусель была настоящей вершиной этой огромной, необозримой ярмарки. В сиянии, в цветистом сказочном вихре мелькали там люди, летая на волнах музыки. Весь день летели они куда-то, как гордые, счастливые птицы, летели стремглав, оставаясь в то же время на месте.

Впервые в жизни, Данько получил возможность испытать такое дорогое, редкое, неземное наслаждение. Видели бы его криничанские ровесники, как он, вольная птица, гуляет сегодня в Каховке! Играет на рулетках, обедает «от пуза», огромная, в звоночках, в бахроме, карусель — к его услугам... Он может сесть на коня или на лебедя, летать на нем хоть до вечера, и никто его не сгонит, и никто на него не накричит, потому что он уже сам себе господин!

Ребята выбрали себе пару добрых больших коней с красными гривами. Очутившись высоко над толпой, Данько на мгновение почувствовал, что он и босой, и нестриженый, и лопоухий, и что штанишки на нем куцые (полотно село от дождей), и что крашенная бузиной рубашка истлела у него на плечах, там, где пролегали лямки от мешка. Конечно, для такого торжественного случая и одежда полагалась какая-нибудь другая, дорогая, необычная — как у запорожцев, что ли. Однако никто на Данька и на его вид внимания не обращал, другие сезонники, которые толпились здесь, тоже были не в шелках, да и он сам скоро забыл о своей внешности. Музыка уже играла, ретивый карусельный конь уже летел, и Данько, забывая обо всем и обо всех, в увлечении пришпорил его босыми запыленными ногами.

У Данька перехватило дыхание от неизведанного доселе полного счастья... Мелькало перед глазами движущееся море людских голов, поблескивало где-то далеко внизу сверкающее крыло Днепра, а навстречу полотняной истлевшей рубашонке с музыкой и ветерком, с нежным чарующим шуршанием летело небо праздничным голубым шелком.

VIII

Ночевать Данько затащил Валерика на берег, к своим. Разве там места не хватит? Разве подстелить нечего? Круча — под голову, Днепр — в ноги, а небом накроются!

По нраву пришлись ребята друг другу, решили не разлучаться — наниматься на сезон вместе.

В этот день вся ярмарка наблюдала, как заходит солнце. Может, «за стену»? Может, закат предскажет дождь этой жаждущей, забытой богом земле?

Но солнце, как и вчера и позавчера, снова садилось на сушу, опускаясь в мглисто-кровавое гнездо где-то за плавнями, за голыми заднепровскими холмами.

Вздыхали люди, стоя на каховских кручах, овеянные сухим багрянцем ярмарочной пыли. Было удивительно и страшно: столько дней с утра и до ночи свистят из-за горизонта ветры, но ни одной тучки не могут пригнать на таврическое небо. Освещенное закатом, оно было и сейчас от края и до края пустынно-чистым.

По дороге к своим Данько купил несколько связок бубликов и обвязался ими крест-накрест. Хотел угостить сестру, одарить девушек — пусть знают, что он гуляет сегодня.

К криничанам Данько явился героем дня. У Сердюков руки задрожали, когда парень зазвенел своим капиталом.

— Где ты... Данило... откуда?

— Угадайте,— дразнил их Данько.

— Казну ограбил или черту душу продал?

— Ни казны не грабил, ни души не продавал. В рулетку выиграл!

Это окончательно доконало Сердюков:

— Такая даровщинка!

— Счастливый ты у нас, Данько,— щебетали девушки, похрустывая бубликами.— В сорочке родился!

Подсчитали Даньковы медяки, их оказалось довольно много: около четырех рублей. Посоветовавшись с сестрой, парень решил, что завтра же пошлет свой выигрыш матери в Кринички.

— Порадуем маму: пусть знают, что не умерло в Каховке наше счастье!

Формальности, которые надо было выполнить на почте, Валерик брал на себя.

Валерик понравился криничанам.

— Какой хорошенький мальчик,— сказала Ганна Лавренко при встрече.— Жаль только, что загорел сильно, почернел, как цыганенок. А может, ты и в самом деле цыганенок?

Валерик вспыхнул.

— Он агрономчик,— объяснил Данько, считая, что тем самым возвеличивает друга.— Видите, кокарда? Он в агрономической школе учился... Пол-«Кобзаря» на память знает!..

— Девчата, гляньте! — воскликнула вдруг младшая Лисовская.— Кого-то бьют!

Драка происходила неподалеку, за орловскими куренями, люди со всех сторон уже сбегались туда. Побежали на шум и криничане.

На берегу, у самой воды, ватага разъяренных сезонников-киевлян жестоко избивала пожилого сутуловатого крестьянина, своего атамана, который якобы продал их сегодня за магарыч, пропил с нанимателями в трактире. Никто не заступался за предателя-вожака. Наоборот, некоторые из толпы, в том числе и Сердюки, выкриками подзуживали парней, чинивших расправу. Валерик тоже считал, что односельчане карают вожака по заслугам, но сама по себе сцена вызывала у него ужас и отвращение. Тяжело было смотреть, как вожака топтали в песке, как он отползал к воде на четвереньках, помятый, окровавленный, еще как бы не веря, что его отпустили живым, оглядываясь на своих преследователей затравленным, одичало-виноватым взглядом. Дотянувшись до воды, он припал к ней и стал жадно, по-собачьи хлебать.

— Вот, дядя Нестор, смотрите... Не пропейте нас,— обратилась Ганна Лавренко к Цымбалу, когда криничане возвращались к своим шалашам.

Нестор, неожиданно обидевшись, ответил бранью на ее неуклюжую шутку, за которой чувствовалось и серьезное предупреждение.

Солнце закатилось, но было еще светло. По всему берегу сновали люди, встревоженно гудели толпы сезонников. Еще с полудня среди них то в одном, то в другом месте стали появляться днепровские матросы, грузчики и какие-то энергичные парни в кепках, призывая батраков держаться дружнее, противопоставить нанимателям свою силу. Их призывы еще больше подогревали общее возбуждение, царившее в толпах сезонных рабочих. Было от чего волноваться: совсем ничтожные цены выставили наниматели в этот первый день ярмарки.

— Круговой сговор у них! — звучали возмущенные голоса.— Пользуются тем, что нас много пришло, за бесценок хотят набрать!..

— Проучить их надо, людоедов! Они против нас сговариваются, а мы разве не можем против них?!

Грозное дыхание батрацкого берега постепенно докатывалось и наверх, к конторам наинмателей. По берегу стали все чаще расхаживать мобилизованные на время ярмарки сотские с бляхами на груди. Им было приказано выявлять и по возможности вылавливать «подстрекателей», но они возвращались наверх ни с чем, насупленные, уверяя, что подстрекателей найти невозможно, потому что их покрывает весь берег.

С заходом солнца пронеслась по шалашам весть о том, что на лесной пристани собирается совет атаманов Каховки. Кто созывает его, было неизвестно, но всем батрацким вожакам предлагалось немедленно явиться на сбор, где они смогут посоветоваться и сообща решить, как им держаться на ярмарке завтра.

Это было уже нечто новое, неслыханное для Каховской ярмарки.

Нестор Цымбал вначале даже немного растерялся: идти или не идти на совет? Никогда еще ему не приходилось принимать участие в таких важных (и, надо думать, опасных) сходках. Что из этого выйдет и кто все это затеял? Фабричные и грузчики с пристани поговаривали, что сходка будет иметь для сезонников немалое значение, что там якобы должна выступить с речью какая-то учительница из Херсона, как говорят, «правдистка». Что это за правдисты и какая у них вера? Стоять за правду? Неужели есть еще где-то на свете люди, которые могут сочувствовать простому народу, думать о каких-то несчастных кринычанах? Неужели действительно кому-то не безразлично, за какую цену Цымбал со своими впряжется в сезонное ярмо?

Сомнения обступили Нестора. Когда защищают имущих — это понятно: это выгодно. А кому какая выгода от крыничан, чтобы вдруг ни с того ни с сего брать их под защиту?

Мокеич уже собрался идти и ждал только Нестора, а тот все еще мялся, застряв в своем шалаше, разыскивая среди торб вчерашний день. Девушки взволнованно подгоняли его, требовали, чтоб шел, если зовут.

— Мокеич идет, другие атаманы идут, и хлопцы наши где-то там, на пристани... Чего же вам бояться? — горячо подбадривала вожака Вустя.— Чем вы у нас хуже других? Ну, довольно вам стоять тут на карачках, светить заплатами на весь Днепр!

— Погоди, Вустя, дай подумать...

— Дорогой подумаете, а не в курене! Вылазьте, а не то вытащим...

Цымбал вылез, почесал за ухом.

— Давай, давай, земляк! — весело подгонял его Мокеич.— Без тебя схода не начнем.

Девушки, перемигнувшись, подхватили своего атамана под руки, шутливо толкнули его вперед:

— Идите! Не отвиливайте... Вас вон Мокеич ждет!

Несколько молодых матросов, проходивших в это время мимо криничанского куреня, тесной группой остановились поблизости, наблюдая с веселым любопытством, как девушки воюют со своим атаманом, выталкивая его на сход.

— Так его, девчата, так, поддайте старику паров! — смеясь, подзуживал девушек приземистый лобастый матросик в бескозырке.— Пусть идет и постоит за свой интерес! Не дрейфь, атаман, ложись на курс, коли что — мы поддержим! — И, повернувшись к товарищу, который стоял рядом с гармонью через плечо, матросик добавил: — Ударь, Леня, марш атаманам, чтоб с притопом пошли!

Вустя не отрываясь смотрела на матроса, которого только что назвали Леней. Какой богатырь! Стоит среди товарищей, как красавец дуб среди маленьких дубков... Как будто уже видела его где-то, как будто уже давно ждала этой улыбки, этого юношеского задумчивого взгляда, удивительно близкого ее сердцу... Может, он когда-нибудь присниился ей?

— Ну сыграйте же! — не сдержавшись, попросила матроса Олена Персистая и весело, нетерпеливо повела плечом.

Леня слегка развернул свою новехонькую гармонь, и она обратилась к Вусте живым, проникновенно чарующим голосом. Между тем Цымбал решил, что это музыка в его честь.

— Иду уже, иду! — засуетился он и, сдвинув шапку на затылок, сказал Мокеичу: — Так тому и быть, Моке-

ич, не отстану от тебя... Куда одна нога — туда и другая.

Пошли атаманы, двинулись и матросы вдоль берега, неся свою музыку другим девчатам.

Что-то похожее на ревность шевельнулось в сердце Вутаньки.

Вот-вот скроются за куренями матросы,— может, никогда и не встретит их. Стало почему-то так тоскливо на сердце!..

Словно догадавшись, о чем думает девушка, гармонист оглянулся на ходу, улыбнулся. Кому он улыбнулся? Девушки радостно переглянулись: кому?

— Вутанька, ох приглянулась ты матросу!

Вустя стояла в задумчивости. Верно, никогда уже больше им не встретиться, так и разминутся навсегда в шумной, многолюдной Каховке, но за эту прощальную улыбку она будет всегда благодарна ему. Хоть это останется с нею, хоть эта улыбка, похожая на стремительную весеннюю ласточку, которая, словно заблудившись, с разгона влетела девушке прямо в душу...

Пошли атаманы. Жаль было в эту минуту Даньку, что он не атаман, что его не зовут и даже будто бы не пускают туда маленьких... А как хотелось ему пойти вместе с атаманами на лесную пристань, послушать, как они там будут держать совет против нанимателей!

Однако скоро его внимание было привлечено другим. Где-то за Днепром, ниже Берислава, неожиданно рассыпался в небе праздничный фейерверк. Ганна Лавренко первая заметила его и восхищенно ахнула при виде такого дива.

— Ой, гляньте, сколько светляков в небе! Девчата, вы видите? Белые, зеленые, красные... Что это такое?

— В Казацком бенгальские огни пускают,— спокойно объяснил Валерик, ничуть не пораженный роем разноцветных светлячков, казавшихся маленькими на расстоянии, какими-то мелкими на фоне еще светлого Днепра и непогасшего неба.— Наверное, именины у князя, а может, просто так развлекаются... У них там управляющий немец Шмидт, он все и выдумывает... Он для своих батраков даже намордники придумал.

— Как это — намордники? — повернулась к Валерику Вустя.— Намордники на людей?

— Ну да... Из парусины и таких планочек. Прилаживается по выкату шеи и завязывается крепким шнурком. Это для тех, которые работают осенью на сборе винограда, чтоб не ели дорогих сортов.

— А как же, если пить, к примеру, захочется? — поинтересовался Оникий Сердюк.

— Если пить надо, то идете к приказчику, он развязывает на время шнурок, а когда напьетесь — опять завязывает.

Ужаснулись девушки, услыхав, что кроется за панскими светляками.

— Умерла б, а не надела! — сказала Вустя возмущенно.

— Подумаешь, какая важная! — мрачно заметил Оникий.

Спасаясь от комаров, густо звеневших над головами, принялись раскладывать костры. Вдоль берега запылали огненные купины, запахло кизяковым дымом. Развели костер и Сердюки. В их мешках нашлось даже несколько сахарных бурачков, которые они тащили от самых Криничек и собирались сейчас испечь себе на ужин.

— Интересно, какого размера эти намордники? — копошась у огня, рассуждал Левонтий Сердюк.— Может, он не на всякую морду налезет?

— Это Шмидт предусмотрел,— усмехнулся Валерик.— У него их полная кладовка. И на большого и на малого, всех размеров там есть...

— Сгорели б они все! — сказала Ганна Лавренко.

— Зачем все? — возразила Вустя.— Один намордник надо бы приберечь... Такой, чтоб пришелся на самого Шмидта.

— Верно,— поддержала Вустю Олена Персистая.— Сам придумал — сам пусть и носит!

— Как теленок! — засмеявшись, добавил Данько.

Представив себе вдруг панского управляющего в виде теленка в наморднике, вся компания развеселилась, беззаботно зазвенел девичий смех, привлекая к костру людей из соседних партий — любителей повеселиться. Молоденький бакенщик, который зажег бакены и проплывал мимо, свернул в этом месте и ткнулся своей лодочкой в береговой песок.

— Можно, девчата, прикурить от вашего огня? — не выходя из лодки, промолвил бакенщик.

— А чего ж... Огня не жалко...
— Тоже бакенщик — без спичек!..
— Или у вас фонари сами собой зажигаются?
— Конечно, сами...

Улыбаясь, парень достал из кармана спички и стал закуривать. Постепенно с шутливого разговора перешли снова на Таврию, на условия найма и жизни сезонного люда.

— К Шмидту, девчата, не становитесь,— предупреждал бакенщик,— но и к тем, что в чумарках, тоже не торопитесь... На хуторах вам будет еще хуже, чем в имениях. В экономии хоть воскресенье есть, хоть ночью не заставляют работать, а у кулаков и по ночам, как в пекле. Он и сам не уснет и другому не даст. Особенно в жниво: днем в поле до седьмого поту выжмет, а наступит ночь — заставит на току при луне каменные катки таскать, молотить до зари или намолоченное веять...

— Кругом живодеры,— переговаривались девушки.— Кары на них нет...

— А новички,— разохотившись, продолжал бакенщик,— как раз чаще всего и попадают в ловушки к хуторянам. Потому что при найме он ходит по Каховке, как лис, человеком перед вами прикидывается. С тем пошутит, а с тем чарку выпьет, полтавские песни споет. Ну, думают, это свой, у него будет легче... Не верьте! Потому что он такой только до тех пор, пока к себе на хутор не заманит, пока резное ярмо не наденет, а тогда уже будет прижимать хуже татарина, все ваши песни забудет!

— Таких мы хорошо знаем,— вставила старшая Лисовская.— От резных ярем и сюда удрали.

— А у татар как? — допытывались Сердюки.— Какие у них харчи? Правда, что они сала совсем не потребляют?

— И к татарам лучше не попадать,— оттолкнувшись от берега, крикнул парень,— и в монастыри не нанимайтесь...

— Боже! — с болью воскликнула Ганна,— к кому же нам тогда наниматься? И здесь печет, и там горячо!..

Притихли, задумались криничане. Не большой был у них выбор!

Разгорался костер, меньше становилось комаров. То здесь, то там уже звенели первые батрацкие песни, постепенно нарастая, будто раскачиваясь. В одних слышалась печаль, тоска по дому, в других, наоборот, прорывалось что-то молодецкое, радостно-грозное, неудержимо рвущееся ввысь... Пели русские, украинские, молдавские песни. Людей в сумерках почти не было видно, и только по множеству костров и по песням можно было догадаться, как много их, обездоленных, собралось здесь, на берегу Днепра. Заслушались девушки, а некоторые и сами стали тихо подпевать...

Данько тем временем нашел себе интересную забаву: надумал перескакивать, как на Купалу, через огонь, вызывая своим баловством недовольство Сердюков.

— Куда тебя несет? — ворчали они, шарахаясь от огня, когда парень, разогнавшись с обрыва и едва коснувшись земли у самого костра, пружиной взлетал в воздух и перепрыгивал через огонь, легкий, весь облитый ярким пламенем, как чертенок.

— Брось эти шутки,— не без тайного любования братом сказала Вустя.— Сожжешь свои хромовые, как тогда с тобой быть?

— Не сожгу,— весело отвечал парень, повыше засучивая штаны.— Ну-ка, давай и ты, Валерик, попробуй. Это совсем не страшно. Только ботинки сними, да штаны подверни, да разбегись хорошенько...

Неожиданно где-то в районе лесных складов пронзительным хором залились полицейские свистки. Группы сезонников настороженно повернулись в ту сторону. Что случилось? Почему свистят?

Весь берег загудел, поднялся на ноги.

— Совет атаманов разгоняют!

— Не имеют права!

— Выручать!

Народ с шумом двинулся к месту тревоги. Данько и Валерик стремглав бросились на свистки.

Когда они прибежали к лесной пристани, от плотов как раз отчаливал освещенный фонарями парусник; вдоль борта выстроилось несколько казаков с обнаженными саблями, а за ними, между поднятыми парусами, стояла высокая растрепанная женщина с бледным, очень взволнованным лицом. Она сопротивлялась. Разъяренные казаки, видимо, пытались утихомирить ее, с руганью

и угрозами толкали женщину, а она всякий раз опять вырывалась. И на фоне парусов, гневная, вдохновенная, устремлялась на берег, запруженный атаманами, грузчиками, пильщиками и только что нахлынувшим батрацким людом.

— Вот как они с нами обращаются! Слова не дадут сказать!— обращалась она к людям.— Но не сдавайтесь! Вас много, вы — сила! Держитесь организованно, и они с вами ничего не поделают!..

На берегу уже началась потасовка. Команда стражников, наступая от причаленных плотов, с хрипом лезла на людей, оттискивая их от берега, надсадно требуя: «Разойдись!» Некоторые стражники уже побывали в Днепре, и это им, мокрым, забрызганным грязью, еще больше придавало злости. Они лезли сослепу, беспрерывно свистя, били нагайками кого попало.

— На Лене нас расстреливают, в Каховке нами торгуют! До каких пор это будет? Доко-оле? — взывала женщина с парусника, который уже удалялся к обозначенному бакенами фарватеру.

Растревоженная толпа, отхлынув к лесным складам, вдруг уперлась, не подаваясь дальше, обороняясь от ненавистных держиморд. В ход пошли доски, брусья, пылающие факелы... Данько, вскарабкавшись с Валериком и другими подростками на гору кругляков, тоже не замедлил ввязаться в общую суматоху, донимая стражников со своей труднодоступной позиции едкими, глумливыми насмешками.

— Эй ты, свистун! — кричал он одному из них, который, раздувая щеки, в самом деле рассвистелся внизу больше других.— Гляди, глаза на лоб вылезут!

Стражник, задетый, видимо, за живое, вдруг полез на бревна.

— Ты на кого «тыкаешь», сопляк? — хрипел он снизу.— Не видишь, что царь меня пуговицами утыкал?

Данько, конечно, не имел желания попадаться в лапы такому медведю и, юркнув с Валериком в темноту, через минуту поднялся уже на другом конце бревен, легко балансируя на них.

В конце концов стражники, выбившись из сил, решили, видимо, на все это махнуть рукой. Изредка пересвистываясь, они потянулись обратно к берегу, и шум стал спадать.

Освещенный парусник тем временем отплывал все дальше и дальше, вниз по Днепру. Данько, стоя с Валериком на бревнах среди толпы, восторженно следил за ним. Смотрел и наглядеться не мог! Есть, оказывается, люди, которые ничего не боятся и смело, всенародно упрекают власть имущих, заступаясь за таких, как он. Что они с ней сделают, куда отправят теперь?.. А как она смотрела на Данька, как рвалась через обнаженные сабли к нему, взволнованная, бледная, но непокоренная, бесстрашная, как мать, защищающая своих детей... Вырывала из глубины своего сердца удивительно правдивые, запрещенные всюду слова и бросала их прямо в сердце Даньку, словно свежие зерна, и парню было так хорошо от этого, что терпкий холодок пробегал по спине... «Вас много, вы — сила! Держитесь...»

Сейчас ее уже не слышно, далеко-далеко отплыл парусник за бакены, а ее прекрасные слова словно звучат еще над берегом.

— Валерик, это она и есть, учительница из Херсона?

— Она не просто учительница, Данько... Боевая! Это, видно, настоящая революционерка, правдистка!

— Куда они ее упрячут теперь? В острог, в Сибирь?

— Наверное... А может, товарищи вызволят...

— Если бы!..

Не только Данько и Валерик — весь берег в это время следил за парусником с революционеркой. Он проплывал вдоль сотен шалашей, и люди были возбуждены до предела. Они выхватывали из костров пылающие головни и, назло стражникам, размахивали ими, приветствуя арестованную правдистку. Стражники бесились, но ничего не могли поделать. Не под силу им было сдержать эту стихийную факельную демонстрацию батрацкого берега, который, разрывая темноту весенней ночи, расцветал и уходил своими огнями вдаль, казалось — до самого моря.

...Устроившись с Валериком среди криничан, лежавших вповалку, подстелив под головы каховские кручи, Данько долго не мог уснуть в ту ночь.

Смолкли последние голоса. Богатырски захрапел Федор Андрияка: он весь вечер болтал с орловскими ребятами, с которыми вместе таскал бревна из Днепра, вместе купал стражников возле плотов и сговаривался идти завтра вместе выбирать гармонь. Вот уже притих и Не-

стор Цымбал, перестав хвалиться перед соседями, как он сегодня якобы осмолил факелом усы какому-то настырному сотскому. Все затихало вокруг, погружалось в дремоту, а ребятишки, до предела взволнованные бурными событиями вечера, все еще вертелись под Даньковой свиткой, никак не могли уснуть. От Днепра тянуло свежей прохладой, плавни молодо пахли весной, звезды струились с небесной высоты тонким голубоватым светом. Размеренно плескалась внизу днепровская волна, где-то в камышах покрикивал коростель.

То, что пережили в этот вечер Данько и Валерик, еще больше сблизило и сроднило их.

Революционерка!

Это слово звучало для обоих как «орлица», было в нем что-то могучее, безгранично прекрасное, такое, что встречалось до сих пор разве только в песнях... И вот они видели ее сегодня вблизи, слушали ее жадно, когда она обращалась ко всем, и как бы к ним в отдельности, через ненавистные казачьи сабли... Вырасти бы таким, как она, следовать ее примеру во всем!

Сейчас, после встречи с ней, обо всем, даже самом сокровенном, можно было говорить свободно, искренне, по-человечески, никого не боясь, открываясь друг другу с полным доверием, с каким-то облегчением. В наплыве откровенности Валерик признался товарищу, что и сам он в школе был причастен к кружку, собиравшемуся тайно на квартире у молодого преподавателя истории Глеба Афанасьевича Введенского. Как и эта женщина, Введенский был, видно, тоже правдистом, потому что твердо стоял за трудящийся люд, и даже газета, которую он давал читать кое-кому из воспитанников, называлась «Правдой»... В прошлом году забрали его симферопольские жандармы; наверное, зазвенел уже Глеб Афанасьевич кандалами в Сибирь, но те семена, которые он посеял среди учеников степной школы, живут, набухают и рано или поздно взойдут!

У Данька уши вытягивались от напряженного внимания, с которым он слушал товарища. Броненосец «Потемкин», Ленский расстрел, газета «Правда», выходящая где-то в далеком Санкт-Петербурге... Обо всем этом он слышал впервые, перед ним как бы наяву вставал рассвет, и новый мир раскрывался перед сельским парнем во всем своем сказочном величии... Какие-то особенные, бесстраш-

ные, небудничные люди действовали там, в этом незнакомом мире, и все они были похожи на эту сегодняшнюю женщину, отважную и правдивую, и все носили гордое имя революционеров и готовились к революции, в которой Даньку слышалось что-то героическое, крылатое и вместе с тем грозное, тревожное, как набат среди ночи в Криничках. И днепровский парусник, и факелы вдоль берега, и гул криничанских колоколов, бьющих на сполох,— все это перекликалось, сплеталось между собой в распаленном ребячьем воображении, в призрачном мареве первой полудремоты, навеянной размеренным переплеском волн... Постепенно звездное таврическое небо затянулось пылающими тучами, по-осеннему застонали где-то леса, а он, еще совсем маленький, припав с сестрами к окну, смотрит туда, где пылает Псел. Тревожно бьют колокола, шумит освещенный заревом пожаров лес, а мать всхлипывает, потому что отец где-то там, в бунтарских ночах, в кровавом зареве Заречья...

IX

На следующий день криничане нанялись.

Даже легче стало сразу на душе: уже не будут стоять на распутье, не будут биться в сомнениях, отныне их дорога определена. Теперь, когда их спрашивали, не наймутся ли, говорили с достоинством, что уже нанялись, когда спрашивали, куда, Цымбал коротко отвечал за всех:

— В Новые Искания.

Почти все другие партии тоже нанялись в этот день, к тому же за довольно сносную цену: вчерашний совет атаманов, хотя и разогнанный полицией, все же напугал нанимателей, сказавшись в какой-то мере на общей ярмарочной ситуации. Самый факт созыва совета уже был серьезным предостережением. Тревога среди нанимателей усилилась еще и оттого, что кто-то из батраков распустил по ярмарке слух, будто в Каховку с часу на час должны прибыть наниматели с Кубани, которые, кстати сказать, не раз уже перехватывали у таврических помещиков рабочую силу. Достоверность этих слухов никто не брался проверять — не до того было напуганным приказчикам Каждый торопился обеспечить сезонными рабочими прежде всего себя, чтоб и в самом деле не оказаться в дураках.

Набор батраков происходил в этот день не совсем обычно. Необычным было хотя бы то, что утром никто из батрацких вожаков не побежал наверх к конторам нанимателей, пришлось самим нанимателям спускаться к Днепру, вести переговоры на месте. Это уже кое-что значило! Одно дело, когда ты, запыхавшись, бегаешь за приказчиком или, напрягая все жилы, тянешься к его окну, и совсем другое дело, когда он сам, как ищейка, спешит к тебе на берег, а ты стоишь с приятелями-атаманами у воды, спокойно куришь и поплевываешь...

В числе первых нанимателей появился в это утро на берегу и Савка Гаркуша в сопровождении своей поредевшей свиты, состоявшей сейчас, собственно, из одного Гната Рябого.

Об Аскании среди сезонников, особенно среди молодежи, впервые пришедшей в Таврию, уже ходило много разных слухов. Одни ругали, даже не побывав там, другие — с чужих слов — хвалили. Удивительное будто бы имение, ничем не похожее на другие таврические экономии. Среди безграничной голой степи вдруг, словно из марева, встает перед вами роща, но это не мираж, а настоящая зелень зеленеет, настоящие дубы шумят под степными ветрами... В этой роще — вода свежая, артезианы бьют, черные лебеди в прудах плавают, райские птицы поют в листве!.. Правда, заморские птицы, как известно, поют прежде всего для господ, но и тебе не воспрещено будет послушать вечером на досуге! Пусть птицы — это развлечение, но свежая вода, зеленый холодок во время зноя— все это для сезонника немало... Кроме того, и цену асканийский приказчик давал не хуже, чем другие.

Прохаживаясь вразвалку между шалашами, Гаркуша оптом закупил несколько партий, и в то время, когда очередь дошла до криничан, у него уже было человек полтораста улова. Очутившись перед криничанскими девушками, приказчик не в силах был сдержать свой восторг.

— Ну и крали! — воскликнул он, картинно отставляя ногу с выглядывавшей из-за голенища кисточкой нагайки.— На таких покупатель найдется!

Здесь и в самом деле было на что поглядеть — на всю ярмарку был приметен этот яркий венок криничанских бесприданниц. Когда они, взявшись за руки, протискива-

лись в ярмарочной толпе, то у всех парней невольно поворачивались головы в их сторону. Когда они проходили, казалось, что кто-то проносил снопы свежих, ярких, покрытых росою цветов. Такими стояли они и сейчас, выстроившись полукругом, только что умытые днепровской водой, принаряженные, веселые. Особенно выделялась нежнолицая, словно из яблоневого цвета, Ганна Лавренко, в сверкающих сережках, в черных свяслах кос, переброшенных на грудь. Сравниться с ней красотой могла бы разве только Вустя, Данькова смугляника-сестра, хотя Вустя была красива другой красотой, той, которая наливается, как вишня в июне, и не боится ни ветра, ни горячего солнца, а оно в награду щедро кладет на девичьи щеки золотисто-вишневый загар, ложится мягким бархатцем на выточенную девичью шею, искрится живыми лукавыми искорками в карих очах... Ганна, привыкнув уже к тому, что на нее обращают внимание, и сейчас стояла спокойно и гордо, как на выставке. Вустя же едва сдерживала в себе природную веселость, смех все время дрожал у нее на губах, вот-вот готовый вырваться наружу. А когда она улыбалась орловцам через голову нанимателя, то улыбалась сразу вся — и губами, и бровями, и золотистыми ямочками на щеках.

— Вы, девчата, вижу, при здоровье, при красоте!.. Тьфу-тьфу, не сглазить бы часом,— весело сказал приказчик и сплюнул через плечо на Гната Рябого.— Откуда такие будете? Миргородские, наверное, или решетиловские?

— Мы криничанские,— поджав губу, серьезно ответила Ганна Лавренко.

— Полтавцы, одним словом,— сразу определил Гаркуша, вкладывая в слово «полтавцы» свой особый, нанимательский смысл. Для него, как и для других каховских нанимателей, полтавчанами были и киевляне, и черниговцы, и выходцы из других губерний — все, кто доверчивее других попадал в ловушки, кого легко можно было обмануть.— Для нас, где самые дешевые и самые певучие,— это и есть полтавцы, это и есть земляки,— засмеялся Гаркуша.

— Тогда мы вам не земляки,— сказала Ганна строго.— Потому что мы хоть и любим петь, но и цену себе знаем.

— О, какие вы гонористые, ей-богу!.. С вами и по-

шутить нельзя... Но я от вас не отстану, не хочу чтобы вы к татарам попали... Задатка еще ни у кого не брали?

— Еще не брали.

— В Асканию найметесь? Рай — не поместье, лучшего, девчата, вам во всей Таврии не найти. Лес, тень, вода артезианская, живые жар-птицы в саду... Пойдете — не прогадаете...

— Нам хоть бы к кату, лишь бы за хорошую плату,— усмехнулась Вустя.

— Насчет платы мы уж как-нибудь договоримся... Где ваш атаман?

Девушки указали на Цымбала и на Мокеича, которые стояли в стороне, внимательно прислушиваясь к разговору. Как ни прискорбно было Гаркуше, но переговоры пришлось вести не с одним, а сразу с двумя вожаками, потому что криничане и орловцы заявили, что они очень близкие земляки и решили наниматься только вместе. С одним иметь дело всегда легче, чем с двумя, да еще с такими настойчивыми, как эти... Крутой был разговор. Несколько раз приказчик, выведенный из терпения их веселым упрямством, порывался уйти, но наниматели-конкуренты кружили поблизости, девушки цвели возле шалашей, как пионы, и Гаркуша вскоре возвращался снова, злобно уговаривая неподатливых атаманов, набавляя по рублю или по два, пока не сошлись наконец на той сумме, которую требовали сезонники. При осмотре Гаркуша не забраковал никого, все были здоровы, полны сил. Лишь Валерик вызвал у него подозрение.

— Что за хлюст? Ты зачем примазался к честным людям? — напустился он на парня.— Знаем вас, волчебилетников, знаем, за что вас из школы выгоняют! Не агрономы, а сорвиголовы там растут... Не возьму!

Так и не взял бы, но девушки дружно вступились за Валерика: если, мол, не всех берет, так они сейчас к другому наймутся. Выругавшись, приказчик вынужден был в конце концов уступить:

— Ладно... Твое счастье... Но смотри мне!

Через час Нестор уже вернулся из конторы с задатком. Предупредил, что сегодня кончается их ярмарочное житье.

— Идите, нагуляйтесь вперед на все лето! Завтра на рассвете выступаем.

Цымбал с Мокенчем остались около куреней, а молодежь разошлась ярмарковать. Федор Андрияка вместе со своим новым другом орловцем Прокошкой и другими взрослыми парнями пошел пробовать ярмарочные гармонии, а подростки, отделившись от них, двинулись разыскивать ученическое хозяйство Валерика, которое он на время ярмарки оставил на хранение у одного из своих каховских знакомых, какого-то корзинщика Баклагова.

По словам Валерика, Дмитрий Никифорович Баклагов был чудесный человек. Землемер по образованию, он некоторое время был пасечником при земской школе (там с ним и познакомился Валерик), занимаясь в то же время укреплением алешковских песков. Впоследствии он и сам поселился где-то на песках, принялся их укреплять лозами, а оставшись без копейки, вынужден был перебраться в Каховку и заниматься теперь плетением корзин из вербной лозы, наглядно доказывая своим ремеслом пользу от посадок лозы в алешковской песчаной пустыне. В уезде о Баклагове ходила слава, как о чудаке, который борется с привидениями, но Дмитрий Никифорович на это не обращал внимания, плел свои корзины, продолжая проводить на песках всякие опыты, которые, кроме убытков, ничего ему не давали.

— Баклагов — настоящий рыцарь науки,— говорил Валерик с глубоким уважением.— Жаль только, что господа из Алешковского земства этого не понимают, не оказывают ему помощи... Бьется как рыба об лед.

Жил Баклагов где-то на восточной окраине Каховки, на песках, подступавших к самому городу. Пробираясь к Дмитрию Никифоровичу, ребята наткнулись возле городского кладбища на так называемый ярмарочный лазарет.

Это было страшное зрелище. Под крестами, под чахлым кустарником, во рвах, прямо в пыли валялось множество больных, заболевших по дороге сюда или схвативших малярию и желудочные заболевания уже в самой Каховке. Один лежал, скорчившись, подтянув колени к груди, другой пытался подняться, становясь на четвереньки, третий стонал, глядя в небо опустошенным взглядом... Из всех жертв беспощадной ярмарки их положение было самым ужасным. Многолюдная толпа шумела возле них с утра до вечера, но никто не спешил им помочь. Со всей ярмарки стягивали их сюда, поближе к кладбищу, и до-

рога у них оставалась отсюда разве только что под эти покосившиеся кресты, на которые многие из них уже смотрели равнодушным, обреченным взглядом. Зеленые мухи роились над лазаретом, тяжелый смрад стоял вокруг.

Лежали вповалку, валялись во рвах, изможденные, покрытые струпьями, несчастные, зная, что все уже потеряно, что для ярмарки они теперь уже ничего не стоят: кто их наймет таких? Кому они нужны? Ни родных, ни близких нет на сотни верст кругом. Оставалось лежать и умирать, биться в корчах под беспрерывный гул страшной в своем равнодушии ярмарки, которая вертелась, веселилась, гремела бубнами, завывала шарманками, мелькала перед глазами неистово яркими, как в бреду, красками.

Сердобольные сезонники помогали больным, чем могли: приносили им напиться, клали возле них краюхи хлеба... Но разве это могло спасти? «Наняться бы! — вот чего жаждали больные.— Выбраться б как-нибудь отсюда!..»

Никто, конечно, и не думал нанимать лазаретников, приказчики сюда и не заглядывали. Ярмарка не хотела знать больных.

С гнетущим чувством пробирались ребята вдоль кладбищенского рва, заполненного умирающими людьми. Впервые в Каховке Даньку стало по-настоящему страшно, когда он представил себе, что и сам мог бы оказаться в таком положении... Разве долго до этого? Хорошо, что у него здесь сестра, что все они держатся вместе, а если бы он пришел в одиночку и подхватил лихорадку? Что тогда? Ложись и помирай.

В одном месте, под наметом песку, на самом солнцепеке лежала прикрытая серяком женщина, сухая, черная, с глубоко ввалившимися глазами. Склонившись над нею, сидела девочка лет двенадцати с маленькими косичками, с большой глиняной кружкой в тоненькой руке. Она, видимо, только что поила мать водой.

Когда ребята остановились поблизости, девочка, подняв голову, взглянула на них с таким отчаянием, с таким безграничным диким горем в глазах, что оно, казалось, уже переходило в ненависть ко всему на свете. «Как помешанная!» — подумал Данько, отступая.

Женщина время от времени поднималась на локте и, сдерживая стон, щелкая зубами, как от холода, цеплялась за прохожих, просила нанять ее дочь хотя бы за харчи.

— Она у меня такая работящая,— нежно расхваливала она девочку.— И гусей пасти, и детей няньчить, и заплатку положить — все умеет... Не смотрите, что она такая худенькая и вроде слабая,— поглаживала женщина девочку по голове.— Она у меня быстренькая, послушная, наймите, люди добрые!..

И падала в изнеможении, а через минуту опять силилась подняться.

— Мне уже недолго мучиться, а ее наймите, люди добрые, сжальтесь над сиротой, чем она виновата? Она уже не маленькая и все умеет делать... Наймите, наймите, люди добренькие!..

Казалось, камень могли бы растопить эти материнские предсмертные мольбы... У ребят сердца разрывались от жалости, от собственного бессилия. Какая-то пожилая сезонница, проходя мимо, бросила в кружку девочки монету. Ребята, сразу вспомнив, что и у них кое-что есть, не считая сыпанули в кружку тяжелую медь и серебро и бросились как можно скорее бежать отсюда, стыдясь своей маленькой подачки, оба с глазами, затуманенными от горячих слез... Стиснув зубы, брели куда-то среди холмов, шагая в песках, как в белом сыпучем огне. Не хотелось ни о чем говорить. Было больно, жгло их обоих слепой, удушливой злостью...

X

Баклагова они застали за работой. Сидя в холодке у хаты, он заготовлял лозу для своих изделий. Умело, уверенно поблескивал нож в его руке. Казалось, его руки делают работу сами собой, независимо от воли хозяина, который в это время, видно, витал мыслями где-то далеко от ярмарки, далеко от лозы, от мазанки, от всего, что его окружало.

Данько представлял себе Баклагова не таким, он надеялся увидеть человека более приветливого и молодого. Вначале парню было даже непонятно, что общего мог иметь Валерик с этим пучеглазым, строгим на вид человеком, совершенно лысым, с усами Тараса Бульбы, с косматыми бровями какого-то темно-серого цвета. Когда Баклагов хмурился, о чем-то думая, то казалось, что весь его череп сдвигается наперед.

Тут же возле хаты-мазанки красовались и готовые изделия, выставленные для продажи,— аккуратные кошелки, сапетки и даже плетеные вазы и блюда. Однако торговать Баклагов, видимо, был не мастак, а может, просто не хотел. Со случайными покупателями, подходившими осматривать его товар, он разговаривал таким независимым тоном, словно хотел поскорее от них избавиться и опять остаться наедине с самим собой. Создавалось впечатление, что плетет он свои корзинки не столько для ярмарки, сколько для собственного удовольствия.

Валерика Баклагов встретил несколько любезнее, чем других. Спросил, почему тот не приходил ночевать, нанялся ли, поинтересовался затем судьбой двух других волчебилетников, с которыми Валерик заходил к нему накануне.

— Синицын устроился поваренком на пароход, а Чирва родственников встретил,— рассказывал Валерик,— к ним на лето нанялся... Теперь мы вот с ним,— указал он на Данька.

Баклагов внимательно посмотрел на парня.

— Полтавчанин?

— Полтавчанин.

— С Ворсклы, с Хорола?

— С Псла я...

— Знаю. Бывал там. Хорошая речка.

Перебросившись словами, они некоторое время помолчали. Данько осматривал местность. Пески и пески... Рыжая, облупленная ветрами мазанка, без ограды, без ставен, поставленная на самом юру, лицом к Днепру, плечами к пескам, разбитым за эти дни тысячами ног и колес... Три молоденькие акации перед входом, песчаные наметы под самыми окнами... Не роскошно живет человек!

— Нанялись, говорите? — сказал Баклагов, не прекращая работы.— Куда же вы нанялись?

— К Фальцфейнам,— ответил Валерик задумавшись,— в Асканию.

— Что ж... ни пуха вам ни пера. Кстати, там приятель мой садовничает, Мурашко Иван Тимофеевич. Встретишь — кланяйся.

— Спасибо,— сказал Валерик, и они снова помолчали, однако их молчание было каким-то естественным, не тягостным ни для кого и даже сближало всех троих.

Потом, заметив, что Даиько заинтересованно следит за его работой, Баклагов ожнвился н с неожнданио доброй улыбкой покосился на парня.

— Научиться хочешь? Это вещь нехитрая... У вас там, вдоль Псла, лозы хватает, там ей легче приходится, не то что здесь... Виднш, какую силу должна сдерживать,— кивиул Баклагов в сторону хаты, на кучи наметенного песку.— До самой Каховки уже дошли.

— Кто? — не понял виачале Данько.

— Пески. Пескн, пареиь, на нас идут.

До сих пор Даиько иикогда не слыхал, чтоб пески куда-то шли, вместо того чтоб лежать на месте, как лежат оии испокон веков в Крииичках над Пслом.

— Разве пески ходят?

Простодушиое ребячье любопытство, видимо, понравилось Баклагову.

— В том-то н дело, друже,— заговорил он, набивая трубку,— что пески бывают разиые. У вас они лежат, потому что там леса, а в иаших краях онн летают, тучами передвигаются с места иа место... Взять хотя бы этот песчаный пустырь, что перед иами... Бархаиы, как в пустыие! Пустыия и есть, ио пустыия эта еще молодая, под пластами наносного песка здесь родючая земля спрятаиа. Когдато на этом месте, возможно, хлеба шумели, виноград наливался, а сейчас и молочай не выдерживает, все свертывается, горит...

— А в ноги печет, терпеть нельзя! — прнзнался Даиько.

— Еще бы не печь... В такой зной, как сегодия, голый песок раскаляется градусов до шестидесяти, стаиовится вдвое горячее, чем воздух. В нем сейчас яйцо можио вкрутую запечь. Известно, что существование растения прн такой температуре иевозможио. И учтите, что перед вами только один кусок, крайиий мыс так иазываемой Каховской ареиы летучих песков, а такнх ареи несколько, простираются оии одна за другой до самого моря... Полгубернии замело, а мы ярмаркуем...

— В Чолбасы, говорят, опять какая-то комиссия заявилась,— ввериул Валерик насмешливо.

— А, те комиссии! — вздохнул Баклагов.— Онн приедут и уедут, а пески иаплывают деиь ото дня, разливаются все дальше, заметают поля и колодцы, заиосят села, угрожают городам...

— Что же делать? — воскликнул пораженный Данько, который до этого даже не подозревал, что пески могут быть такими опасными.— Куда от них бежать?

Баклагов горько усмехнулся в усы.

— Никуда от них не надо бежать. Надо помериться с ними силой, попытаться укротить их.

— Укротить? Такое чудовище? Но как?

— Песок страшен, пока он движется,— объяснил Баклагов,— пока течет, как вода, пересыпаясь волнами по направлению господствующих ветров... Все дело в том, чтобы остановить пески.

— Верно! — подхватил Данько, удивляясь, как такая простая и ясная мысль не пришла ему в голову.— Так почему же их не остановить?

— Пробуют, сынок, закрепить, но это нелегкое дело...

— Дмитрий Никифорович уже много лет занимается посадкой лозы,— с гордостью сказал Валерик.— Один на один воюет против всей Каховской арены.

Баклагов помрачнел.

— Мои лозы, Валерик... Жизнь положу, а остановлю!..

Ребятишки смотрели на него, сияя от восторга.

У Данька от первого впечатления о корзинщике не осталось и следа. За это время Баклагов как бы стал шире в плечах, налился силой, и Данько удивленно заметил, какая у него крутая шея, какие мускулистые руки. В какого-то необычайного богатыря превращался на глазах этот лысый человек с выпуклыми глазами, с упрямым большим черепом, человек, который, живя в убогой своей мазанке, занесенной чуть ли не по самые окна сыпучими песками, зарабатывая себе на жизнь плетеными корзинами, все-таки не отступает от своего, борется, как рыцарь, один против целой армии грозных летучих песков!

Одним из самых своих заклятых противников Баклагов считал Гришу-семинариста, юродивого из Алешек, которого в Каховке знал и стар и мал. Давно, в годы своей молодости, Гриша-семинарист тоже якобы ломал себе голову над алешковской проблемой, насеял было в песках желудей и даже дождался как будто всходов; но при первой буре, несмотря на щиты, Гришины посевы замело так, что и следа от них не осталось. После этого несчастья и вызванного им потрясения Гриша, по

выражению алешковских молодок, «свихнулся умом». Отпустил бороду, завел патлы до плеч и пошел топтать таврические степи своими черными, как бы чугунными, ногами, проповедуя на папертях церквей, кружа по южным ярмаркам, с пеной у рта шельмуя каждого, кто пытался бороться с летучими песками. С диким упорством сеял он среди людей отчаяние и неверие, пугая их, страша их мрачными апокалипсическими картинами будущего, и то, что он сам пытался когда-то бороться с песками, теперь придавало его проповедям особую убедительность и зловещую силу.

— Это черный ворон Каховской ярмарки,— презрительно бросил Баклагов, когда Валерик завел было разговор о Грише-семинаристе.— Если б он проповедовал только против меня, с ним можно было бы не считаться. Но он проповедует... и против всех вас.

С Гришей-семинаристом ребятам довелось случайно столкнуться на этой же Каховской арене, когда, распрощавшись с Баклаговым и захватив хозяйство Валерика, в основном состоявшее из узелка с книгами, они пробирались между возами, чтобы выйти напрямик через пески к Днепру.

Солнце уже повернуло на запад, открытые холмы были еще полны вязкого зноя, скотина заплывала потом, сено, сбруя, шины колес — все было горячее, горячими были даже деревянные грядки телег. Это был час той общей послеобеденной дремоты, когда ярмарка, парализованная зноем, несколько сдерживала свой бешеный круговорот, когда люди, вконец утомленные, прятались в тень, спасаясь от солнечного удара. В этот час на песках, несмотря на убийственный зной, толпа мрачных степняков, в широкополых соломенных брылях, окаменев среди возов, жадно и терпеливо слушала своего юродивого вещуна, который витийствовал перед ними, притопывая на чьей-то тачанке своими чугунными ногами.

Страшен был семинарист. Черные патлы тряслись, рассыпавшись гривой по плечам, глаза горели фанатическим огнем. Речь его лилась привычно и уверенно, усиленная всем его видом,— каждым движением растопыренных рук, желтым оскалом зубов, землистым, костлявым лицом, которое то и дело сжималось в судорожной, болезненной гримасе.

— Как-то проходил я по улицам древнего и очень богатого города,— рассказывал семинарист.

«Давно ли основан этот большой город?» — спросил я одного из горожан.

«Действительно, наша столица огромна,— ответил мне горожанин,— но мы не знаем, с какого времени она существует».

Через пятьсот лет я опять проходил там же, но на этот раз от цветущей столицы не осталось никаких следов. На ее месте лежали горы песка и пастух пас верблюдов.

«Давно ли разрушена ваша столица?» — спросил я пастуха.

«Ты, видно, юродивый,— ответил он мне.— Про какую столицу спрашиваешь? Ни деды наши, ни прадеды не помнят о ней. Тут всегда была пустыня».

Шелест прошел среди возов. Еще больше помрачнели степняки, впитывая страшную проповедь семинариста... Всяко бывает на свете... Все — тлен и суета.

— Через пятьсот лет я опять пройду здесь,— трубным голосом вещал семинарист,— и не найду уже следов этой многолюдной ярмарки... Желтая пустыня, сплошная арена мертвых песков будет лежать вокруг. Ни вас, ни вашей сатанинской Каховки не будет и в помине!

Какая-то тетка громко всхлипнула из-за телеги:

— О горечко, о боже!

И высморкалась в передник.

— Заметет деревья, заровняет плавни... Не будет дождей с неба, сухие черные бури вечно будут носиться над этим краем. Днепр? Искать буду Днепр — не найду. О, проклятый в веках, увижу я пустое ложе Днепрово! Увижу, как на самой его середине потомки ваши ломами будут пробивать криницы!

Мороз пробежал у Данька по коже. Криницы посреди Днепра? Типун тебе на язык!

— Ворон... ворон и есть,— шептал Валерик побледневшими губами.— Скрючило б тебя!..

Как от черной напасти, кинулись отсюда ребята по пескам, торопясь к своим, в сторону Днепра. Под гнетущим впечатлением от карканья семинариста им, до предела взволнованным, казалось, что любимому Славутичу в самом деле угрожает опасность. Только очутив-

шись наконец на одной из береговых круч, ребята снова посветлели, облегченно вздохнули: Днепр сиял перед ними, как и прежде,— живой, могучий, во всей красе весеннего половодья.

XI

На рассвете следующего дня криничане собирались в дорогу. Умывались, разбирали шалаши, укладывали пожитки в узлы.

Зарумянился Днепр, слегка подернутый свежим легким туманцем: всходило солнце. Прощально куковали кукушки в далеких плавнях. Все меньше оставалось на берегу шалашей, просторнее становилось возле воды. Партия за партией поднимались сезонники по стежкам наверх, на дороги.

На шляху за Каховкой уже стояла наготове — ярмами в степь — длинная вереница асканийских мажар. Несколько приказчиков, в том числе и Гаркуша, гарцуя вдоль нее верхом на конях, отдавали распоряжения:

— Мешки в арбы, а сами — пешком! Быстрее, пока жара не ударила! Разбирайся, двигай!..

Заскрипели одна за другой мажары, плавно закачались в воздухе воловьи рога.

Пролетая мимо криничан, Гаркуша скользнул по ним таким чужим взглядом, словно видел их впервые. Чуть было не затоптал конем Данька, который не успел посторониться,— из-под коня выхватил парня вожак орловцев Мокеич.

— Бандюга! Прямо на людей прет,— выругалась Вустя вслед приказчику.— А вчера, как шут, кривлялся, через плечо плевал, чтоб не сглазить...

Орловцы и криничане, сложив свои пожитки на одну мажару, шли теперь вместе, перемешавшись, коротая путь в дружеских разговорах. Веселый Прокошка, завзятый гармонист без гармони, смешил девушек рассказами о том, как они с Федором Андрийкой промышляли вчера в музыкальных рядах в поисках таких еще не существующих на свете гармошек, которые были бы им по плечу. Весь день они выбирали, перепробовали все гармошки, какие были на ярмарке, но так ничего и не выбрали.

— Все не по плечу? — смеялись девушки.— Ни одной подходящей не нашлось?

— Изредка попадались,— отвечал Прокошка.

— Почему ж не купили?

— Из-за пустяка: купила в карманах не хватило. Зато напробовались досыта, наигрались от души!

— Теперь поститься придется,— грустно промолвила Олена Персистая.— Видно, уж до самой осени гармошки не услышим.

— Услышим,— подбодрил девушку орловец.— Мы там, в гармошечных рядах, с одним матросом познакомились... Он тоже в Искаиниях, машинистом у них работает... Как раз приезжал на ярмарку трехрядку себе выбирать. Будет, говорит, музыка!

— Может, это тот, кого мы на берегу видели? — насторожилась Вустя, как птица.— У него была новехонькая...

— Может, и тот,— не стал возражать орловец.— Какой он из себя, Вустя?

Вустя просияла:

— Да как тебе сказать... парень, как солнце!

— Ну, если как солнце, так это он! — воскликнул Прокошка, и молодежь в ответ на его шутку дружно засмеялась.

В нескольких верстах от Каховки, недалеко от дороги, возвышался седой, поросший серебристым чернобыльником курган. Поравнявшись с ним, Данько крикнул Валерику:

— Айда!

Ребятишек словно ветром вынесло на самую вершину кургана.

Незабываемая картина открывалась отсюда! По всем шляхам во всех направлениях от Каховки разлетались тачанки, ползли мажары, брели неисчислимые вереницы людей... Только сейчас Данько по-настоящему увидел, чем была Каховка для этих бескрайних, залитых утренним солнцем степей, для ненасытных властителей юга. Что б делали они, если бы Каховка вдруг встала на дыбы и не дала им людей? Что эта степь, эти просторы без человека? На целые версты растянулись по дорогам батрацкие партии, взбивая пыль. Скачут вдоль них приказчики на сытых конях, словно после страшного побоища гонят в плен тысячи невольников. Рассасывается по-

немногу ярмарка, оголяются каховские площади и прикаховские пустыри-пески... Кончается торжище. Одни — в степи, топчут босыми пятками тракты, другие, кто нанялся за Днепр,— на паромах, на пароходах туда, на бериславские голые высоты.

Притихнет, совсем опустеет вскоре Каховка, все лето будет дремать над Днепром, ожидая осени и новой разгульной ярмарки...

— Когда-то по этим шляхам,— промолвил Валерик,— только татарва гнала в неволю наших людей, а теперь...

Он не договорил. Приказчик, окликнув их снизу, погрозил нагайкой, чтоб не отставали. Догнав своих, ребята понуро побрели за арбами.

Жара усиливалась, уже припекало ноги. Данько попытался было уцепиться сзади за арбу, но погонщик, выполняя приказ Гаркуши, согнал его кнутом.

Встречный ветер обжигал, бескрайние степи утомляли взор своим открытым, гнетущим простором.

— Сколько земли гуляет!..— переговаривались на ходу сезонники.— Если бы на эти просторы да воды вдоволь...

Даньку припомнилась вчерашняя встреча с семинаристом.

— Валерик, как ты думаешь, может когда-нибудь быть такое, как тот семинарист говорил?

— Врал он нам, Данько... Никогда не пересохнет Днепр, пока светит солнце, не будут копать люди в нем криниц... Тарас Шевченко другое пророчил...

И, словно сквозь сон, неожиданно мягким, мечтательным голосом Валерик заговорил в сторону необъятной степи:

І дебр-пустиня неполита,
Зцілющою водою вмита,
Прокинеться: і потечуть
Веселі ріки, а озера
Кругом гаями поростуть,
Веселим птаством оживуть...

— Святые слова...— послышался поблизости задумчивый голос Мокеича.

Все больше нагревался сухой воздух. Все чаще батраки поглядывали вперед, высматривая колодец.

Марево потекло над степью.

Через час-другой из-за пригорка вынырнуло массивное белое строение с разными хозяйственными пристройками, поднимавшимися над зеленью молодого, аккуратно распланированного парка. Это была та самая земская школа, в которой еще недавно учился Валерик. Словно недоступные помещичьи палаты, стояла она одиноко посреди открытой степи, невдалеке от дороги, окруженная парком и прилегающими к нему лесопитомниками, обнесенная (неизвестно против кого) каменным забором с белой капитальной аркой, выходившей прямо на дорогу.

Увидев знакомый двор, Валерик просиял, но тут же помрачнел... Сладкими радостями и горькой полынью повеяло на него оттуда, от родной школы! Светом первых детских сияний, болью первых незаслуженных обид, щемящей тоской безвозвратности растревожила она сейчас его чуткую душу. Матерью была или мачехой — разве это сейчас важно? Щедрой была на все, и на том спасибо... Этот молоденький парк он сам в позапрошлом году сажал с ребятами, вот в тех питомниках еще весной, совсем недавно, прививал молодые абрикосы, под этой аркой столько раз свободно проходил... Теперь ему туда, под родную изогнутую арку, вход запрещен, школьный звонок звенит уже не для него. Почему? За что? Только за одно намерение пойти в плавни, за отвращение к фискальству, за те «крамольные» чтения, которые одни и могли осветить перед ним дремучие дебри жизни?

С веселым безразличием смотрела школа на своего опального пасынка. Он приближался к ней в толпе обшарпанных невольников, с запыленной школьной кокардой на лбу. Коса и грабли крест-накрест — коси и сгребай теперь, парень, до самого горизонта!

Валерик надеялся, что около школы они остановятся напиться — школьное начальство тоже не зевало, промышляло водой. Однако Гаркуша отдал приказ: не останавливаться, двигаться дальше до хуторов, потому что в школе, дескать, вода тухлыми яйцами воняет. Какую-то женщину, которая кинулась было под арку к колодцу, приказчик перехватил на полпути, завернул, пригрозил плеткой:

— Хочешь, чтоб колики напали? Не для того я тебя нанимал!

— Ишь, все-таки заботится о нас приказчик,— сказал кто-то удивленно,— беспокоится о нашем батрацком здоровье...

Но бывалые сезонники объясняли заботу Гаркуши совсем иначе:

— К отцовскому хутору будет гнать, чтоб папаша мог больше на воде заработать...

В школе был как раз перерыв. Ученики, столпившись под аркой, с интересом осматривали сезонников, которые проходили мимо.

— О! Поглядите! — вдруг крикнул кто-то из школьников.— Задонцев наш там! Эгей! Валерик! Ты куда?

Валерик, горько улыбнувшись, помахал одноклассникам на прощанье рукой и ответил уже по-батрацки:

— В Новые Искания!

XII

В белом атласном платье сидит Софья Фальцфейн в парке, в беседке, принимает гостей.

Беседка стоит на высоком холмике, насыпанном в одном из самых живописных уголков ботанического сада, вблизи большого пруда, обрамленного по берегам искусственными гротами и зарослями тропически широколистой пышной зелени. Дикие утки, магеллановы гуси спокойно плавают на водах пруда. Грациозной группой застыли на островке фламинго. Отраженные водой, они как бы залюбовались своими тонкими шеями, длинными, стройными ногами. По дорожкам парка свободно похаживают надутые фазаны, сверкая на солнце тяжелым пурпуром, горячим золотом оперения придавая всему окружающему налет фантастичности.

Отсюда, из высокой беседки, виден почти весь асканийский парк. С востока над парком, как зубчатый бастион, мощно вздымается кирпичная водонапорная башня, выстроенная в стиле средневековых рыцарских замков. Утопая в зелени, белеет господский дом с открытыми окнами в сад, за ним, словно гигантские черепахи, поблескивают черепицей другие строения экономии — контора, флигеля для гостей, экипажные сараи... Сквозь ветвистые деревья светится под солнцем слегка взволнованное ветром необозримое море ковылей.

В степи бушует весна. Цветет ковыль, звенят-переливаются жаворонки. Над Асканией плывет аромат степи, цветов, трав, окутывая беседку словно фимиамом.

Сегодня у Софьи Карловны гостят мадам Шило, жена бериславского городского головы, и преподобная Лукерья, игуменья Заднепрянского монастыря. Обе были на ярмарке в Каховке, и оттуда занесло их в Асканию — прибыли навестить своего кумира — Софью Карловну.

Монотонно шумит поблизости искусственный водопад. Журчат фонтаны. Гостьи, лакомясь жареным миндалем, чинно беседуют с хозяйкой, главным образом на духовные темы.

— Хотела я вам, Софья Карловна, одну вещь посоветовать,— говорила дородная, пышно одетая мадам Шило.— Вместо того чтоб жертвовать им тысячи на колокола, лучше приобрели бы нашу бериславскую церковь Вознесения. Старинная, хорошо отделанная, историческая.

— Не такая уж она историческая, сестра,— недовольно отозвалась игуменья. Суровая, с птичьим носом, она похожа на петуха.

— Кому же лучше знать, историческая она или нет,— слегка обиделась мадам Шило.— Ведь вам хорошо известно, что муж мой происходит из запорожской старшины, и я сама из рода Скоропадских. Историческая, что вы там ни говорите! Еще во времена матушки Екатерины перевезли эту церковь на плотах по Днепру из Переволочины, из-под Кременчуга, и поставили там, где царица повелела. С тех пор и стоит в Бериславе на холме. А зачем ей там стоять? Разве в нашем Бериславе кто-нибудь по-настоящему разбирается в старинной украинской деревянной архитектуре? Купите, ей-богу, купите, Софья Карловна! Для вашей прелестной Аскании такая церковка будет только украшением.

— А как же ее перевозить по степи? — промолвила после паузы Софья Карловна, обмахиваясь веером.

— На волах,— живо объяснила мадам Шило,— в разобранном виде...

— Растрясут, переломают,— грустно ответила Софья Карловна.— Разве за ними углядишь? Такой народ пошел, что только и норовит, как бы тебе досадить.

— Истинно так, сестра,— подхватила игуменья.— Не боятся ни греха, ни кары... Сущие антихристы... На

вербной неделе приходит к нам в монастырь какой-то парнишка, учтивый на вид, смирный. «Я маляр-художник, нет ли у вас работы?» Надо было кое-что подкрасить перед пасхой — взяла. Ладно. Просит дать ему кого-нибудь для подсобной работы, дескать... И попутал меня в ту минуту нечистый! Сама направила к нему послушницу Наталью, молоденькую, диковатую, смазливую лицом. Проходит день, и два, и три — как будто ничего, рисуют... Потом вдруг доносят мне: согрешила Наталья с художником! Мы все в гнев, в крик: немедленно выгнать негодницу прочь из обители! Выгнать, но на прощанье покарать нашим монастырским судом! Ну, известно, как мы караем: кладем грешницу, как в сельской расправе, на скамью ничком, одна сестра садится ей на шею, другая на ноги, а остальные, проходя мимо, должны розгами как следует стегать виновницу по оголенному телу. На сей раз сестры мои особенно злились: как же, даже не разговевшись, перед самой пасхой посмела! У, брызгала б она кровью, бесовка, на куски рвали б ее белое тело — я уж их знаю. Старые девственницы особенно злы на грех, сами ходили в плавни резать прутья. А он, босяк, стоит себе да посмеивается. «Не имеете, говорит, права карать, потому что она уже не ваша, она — моя!» Потом любовницу свою под руку — и был таков...

Мадам Шило, не удержавшись при этих словах, засмеялась, Софья тоже развеселилась. А игуменья смотрела укоризненно, видимо не понимая причины их оживления.

— Это варварский способ так наказывать,— сказала погодя Софья.— К тому же вы сами и виноваты: зачем было молодую девушку подвергать таким соблазнам? Ведь не каждая в ее годы может устоять против искушения настоящей любви... По-моему, надо было кого-нибудь из старших приставить к художнику.

— Поди угадай, что он за штука,— буркнула игуменья.— Нет, сечь их надо, сечь! — закончила она решительно.

— Да что вы хотите от художника,— сказала мадам Шило.— На то он и художник... Вы лучше посмотрите на своих братьев из мужского монастыря: ходят выпивши по Каховке и сезонниц щупают...

— Мадам Шило! — воскликнула Софья.— Как вы выражаетесь...

— Простите...

— Прошу, продолжайте...

— Ах, я уже забыла!

— Про монахов, про сезонниц...

— Ага: самых красивых стараются нанять. За красоту — червонец надбавки...

— Ужас! — сказала Софья.— Что только там творится, на ярмарках...

— Вакханалия, Софья Карловна, настоящая вакханалия,— понизив голос, быстро заговорила мадам Шило, ставши вдруг похожей на болтливую торговку.— Берег бунтует, полиция с ног сбилась: агитаторов развелось, как не перед добром... А в балаганах тем временем вино целыми ночами льется, музыканты не умолкают, прасолы и крымские мурзы гопака отбивают с гулящими девками... На что уж солидные люди — и те с ума посходили... О Лукьяне Кабашном слыхали?

— Это тот, что в трубу вылетел?

— Он самый... Напился, нанял себе ораву детворы, приказал, чтоб дурнем его публично дразнили... И смех и грех. Нацепил через плечо торбу с лакомствами, идет по ярмарке, как апостол, а каховская ребятня со всех сторон на него: «Дурак Лукьян, что чурался банков!», «Дурак Лукьян, что прятал деньги в дымоходе!» Каждому крикуну дает пригоршню конфет, а кто громче других выкрикнет — тому две.

— Спасен будет тот, кто держится дальше от этого сборища нечестивых...— подняла очи горé игуменья.— Да не проникнет языческий дух каховского торжища в вашу благословенную Асканию. За сие молюсь.

— Не напрасно, Софья Карловна, вашу Асканию называют земным раем,— подхватила мадам Шило.— После каховской толчеи здесь и в самом деле отдыхаешь душой, забываешь о всех мирских тревогах... Не понимаю тех святых отшельниц, которые выбирали для своих молитв разные пещеры и пустыни... По-моему, буйная эта зелень, журчащие фонтаны и таинственные гроты вашей милой Аскании не меньше располагают к божественности...

Поднимая хозяйку над святыми отшельницами, мадам Шило била прямо в цель: она знала, что Софья

Карловна тоже мечтает стать святой. С некоторых пор об этом не совсем обычном намерении Софьи Фальцфейн заговорила вся помещичья Таврия. Желание стать святой зародилось у Софьи после того, как она отпраздновала свое пятидесятилетие и убедилась, что самые лучшие парижские белила уже не скроют морщинистой шеи, не вернут моложавость обрюзгшему лицу.

...Как-то в засушливую пору Софья, посмотрев на барометр, выехала в степь. На глазах у крестьян она стала бить поклоны, моля небо послать дождь на таврические земли. В тот же день как раз выпал дождь, и слухи о том, что его вымолила Софья, разнеслись по всем окрестным селам и хуторам.

Монастыри Юга, подхватив эти слухи, охотно пошли навстречу Софье в осуществлении ее странного каприза. Кому же быть святой, как не ей? Лютеранка, принявшая православие, раздает налево и направо пожертвования... Властительница степной империи, самая богатая и самая распутная в этих краях, она, переборов на склоне лет многочисленные земные искушения, целиком отдалась ревностному покаянию и молитвам. Правда, злые языки поговаривали, что совсем недавно Софья нажила себе с каким-то иностранным туристом дурную болезнь и вскоре заразила ею — одного за другим — нескольких своих кучеров. Дело темное — поди проверь,— но если даже и так, то разве это может служить препятствием для Софьи Карловны в достижении ее благолепной мечты? Наоборот! Выходит, что она еще и мученица к тому же!.. Заднепрянский женский монастырь, которому Софья подарила ореховый, разукрашенный чистым золотом иконостас, первым взялся объявить Софью святой и воздвигнуть ей каменный склеп под самым алтарем.

Софье не очень нравились разговоры о монастырском склепе. Не хотела она лежать и в асканийском фамильном склепе рядом со своими предками-лютеранами. Она хотела быть похороненной романтично, где-нибудь на высоком древнем кургане среди своих владений, в шелковой заповедной степи. Пусть бы приходили к ней, романтической таврической святой, красивые молодые пилигримы откуда-то из Рима и Парижа и у ее могилы испытывали различные метаморфозы, которые в православии называются чудесами... А вообще больше всего

хотела Софья нигде не быть похороненной, как-нибудь обойти эти идиотские склепы и приобрести лавры святой еще при жизни.

Однако в последнее время переговоры о причислении Софьи Фальцфейн к лику святых затихли. Уже не только монастыри, но и церкви претендовали на ее капиталы, требуя от будущей святой все новых и новых пожертвований, в частности на церковные колокола, которые, расколовшись во время грозных набатов 1905 года, до сих пор дребезжали и в Чаплинке, и в Каховке, и во многих других селах и местечках Таврии. С колоколами Софья не торопилась, заявив, что она вряд ли будет в состоянии заменить их по всей Таврии, да и где в конце концов гарантия, что неугомонные степные сорвиголовы не расколют их снова?

Где-то в церковных верхах дело встретила неожиданное сопротивление, но желание стать святой так и не оставило Софью. А сегодняшние гостьи, преданные ее оруженосцы, заинтересованные в будущей святости Софьи, как раз всячески поддерживали ее притязания на золотой нимб.

— Земной рай! — вздохнула Софья Карловна.— Вы чересчур щедры в своих комплиментах, мадам Шило... Для меня Аскания не столько рай, сколько тяжелая ноша, которая требует много усилий, нервов и истинно христианского терпения... К сожалению, все меньше становится людей, на которых можно положиться... Представьте себе, что даже табунщиков мы вынуждены теперь набирать исключительно из конокрадов. Парадоксально, но факт... Только бывалый конокрад, хорошо знающий уловки своей братии, может надежно уберечь табун.

— Мудрый расчет,— заметила игуменья.

— А если и не устережет, то быстро потом разыщет — знает, где прячут... У них один способ прятать: свяжут стригуна или молодую кобылицу — и со всех четырех в ковыли...

Гости знали слабость Софьи: издавна любила лошадей. До сих пор разъезжает большей частью в карете или просто в тачанке, оставляя новинку техники — автомобиль — на утеху сыновьям.

— Но я далека от того, чтобы жаловаться на свой крест,— смиренно продолжала Софья Карловна.— Даже

за горести, за муки, которые она мне причиняет, я люблю ее, нашу милую Асканию... Есть в ней и в самом деле что-то умиротворяющее, такое, что направляет мысли в вечность... В последний раз, будучи в Париже, я почему-то особенно остро почувствовала себя степнячкой... Поверите, из Парижа, с набережной Сены, меня тянуло сюда, в дикое Присивашье, в наши украинские прерии.

— Прерии! Как это романтично сказано! — в восторге воскликнула мадам Шило.— А то — «степи» да «степи»...

— В слове «степь» мне всегда слышится что-то вульгарное, скифское, чабанское... Но в Париже я тосковала даже по «степи», по чабанской каше... Там, в большом городе, не чувствуешь природы, не видишь, как заходит солнце. А что может быть прекраснее, чем наши степные закаты!

— Это трогательно, то, что видишь в вашей, гм... степи, сестра,— сказала игуменья.— Дикая антилопа, пугливая лань доверчиво пасутся по соседству с могучим бизоном и зубром... Вашими заботами воистину уже как бы осуществляется евангельское единение разных созданий, которые мирно, без всякой вражды, пасутся рядышком...

— Посмотрите, вот ведут нашего Чарли на прогулку,— указала Софья Карловна вниз, где проходил молодой слуга с ручным леопардом.— Иван, веди его сюда, покажи гостям.

Иван, белобрысый добродушный парень, не замедлил ввести зверя в беседку. Встревоженная игуменья на всякий случай отодвинулась подальше в угол, мадам Шило заметно изменилась в лице.

— А он... н... н... не кусается?

— Что вы! — успокоила гостей Софья Карловна.— Наш Чарли такой умница... Погладьте его!

Но гостьи, видимо, не собирались гладить зверя. Лишь после того как это проделала сама Софья, они тоже стали по очереди гладить леопарда, далеко вытягивая руки, внутренне замирая. Чарли выгибал перед ними свою пятнистую спину, жмурился, а мадам Шило и игуменья подобострастно улыбались ему перекошенными, пересохшими от испуга губами Иван наблюдал эту сцену с явным наслаждением. Под конец он слегка

сжал Чарли шею, и зверь глухо зарычал. Женщины испуганно отшатнулись.

— Прекрати свои шутки! — закричала госпожа на Ивана.— Ты не можешь без этого... Чего смеешься? Выведи его вон!

— Пошли, Рябко! — добродушно обратился Иван к леопарду.

— Не смей называть его собачьим именем! Сколько тебя надо учить?.. Такие они все,— утомленно промолвила хозяйка, когда Иван вывел зверя из беседки и уже разговаривал с ним где-то внизу.— Что у воспитанника, что у воспитателя — один норов. Ты его гладишь, приучаешь, а у него свое на уме...

— У меня даже вот здесь похолодело, когда он рыкнул,— положив руку на живот, призналась мадам Шило и тут же пустила шпильку в игуменью: — Вот вам и евангельская пастьба рядышком... Дружба волка с овечкой!

Игуменья сердито засопела.

— Скажите, мадам Шило,— через некоторое время промолвила Софья Карловна, мечтательно опершись на руку.— Вам приходилось читать произведение Гоголя «Тарас Бульба»?

— Это там, где чернявый запорожский рыцарь влюбляется в шляхтичку? Помню, читала когда-то в гимназии.

— Как он изумительно воспел наши степи, наши украинские прерии! — сказала Софья.— Но мне почему-то не верится, что все это было. Трудно даже представить себе, что здесь было что-нибудь до нас... Тысячный топот коней, взблески сабель в воздухе, героическое, храброе казачество в ярких своих мундирах... Не было этого, мадам Шило! Не могло этого быть!

— Почему? — оторопела мадам.— У нас до сих пор еще хранится в сундуке жупан прадеда... только моль поела.

— Боевые знамена, величественные походы...— медленно говорила Софья, не слушая гостью.— Прекрасные рыцари со странными мужицкими именами... Ха-ха!.. Откуда они могли взяться до прихода сюда первых Фальца и Фейна? Что им было делать тогда в этом забытом, безлюдном и безводном крае?.. Одна фантазия. По-моему, если были бы тогда, то были бы и сейчас.

остались бы хоть в виде резервации, как остался этот кусок первобытной, заповедной степи у нас... А где они? Вместо них одно мужичье кругом, обшарпанное, оборванное, темное, грубое... Согласитесь, мадам Шило, что такая среда не могла породить столько прекрасных рыцарей и героев... А если не она, то логично будет спросить: кто же их мог породить? Откуда они могли прийти?

Молчала мадам Шило, не находя ответа. Молчала и игуменья, время от времени пожевывая губами.

В это время сквозь густую зелень неожиданно донесся откуда-то с окраины парка звонкий девичий голосок:

— Идут!

По степи, из-за солнца, со стороны Каховки шли батраки.

XIII

Чуть сощурясь, Софья взяла со стола маленький серебряный колокольчик и позвонила. Молодая горничная, дежурившая внизу возле пруда и коротавшая время за вышиванием, вскочила, разбежалась было к беседке.

— Принеси бинокль,— остановила ее госпожа.— Да поскорее!

— Быстро они дошли,— заметила мадам Шило, тоже щурясь — на хозяйский манер — в сторону степи.— Когда мы их обогнали, они плелись еще возле Титаревых хуторов...

— К воде спешат,— сказала Софья.— Это для них сейчас единственный стимул... Боже, как они пьют! Как лошади!

— Напрасно вы их в этом не ограничиваете,— с легким осуждением сказала игуменья.— Они злоупотребляют вашей мягкостью, Софья Карловна... Дорвется сгоряча до холодной, нахлещется, а потом — какой из него работник?

— Болезни к ним не пристают,— ответила Софья.— Порой смотришь: подойдет такой разгоряченный, будто из самого ада, напьется артезианской, самой холодной, пусть хоть лед в ней плавает... утерся и пошел.

Принесли бинокль. Приставив его к глазам, Софья стала рассматривать партию батраков. Вначале ничего

не видела, кроме круторогих красавцев волов, шедших прямо на нее, серых, грудастых, тяжело переступавших с ноги на ногу и поводивших головами в ярмах. Потом в панораме бинокля появился сгорбленный Гаркуша на коне, и, наконец, повалила толпа сезонников. Вон выступает впереди бородач гренадерского роста, с дерзко распахнутой грудью... С такими бывает особенно трудно говорить... Идут толпой парни, девушки... Както ребятишки бредут, едва заметные в ковылях, что переливаются вокруг них, как шелк, достигая до плеч... И зачем этот Гаркуша набирает детей! С ними одни неприятности. Ставит их на тяжелые работы, а потом они хнычут, надрываются, иногда перед гостями бывает неудобно: могут подумать, что здесь, у Фальцфейнов, какая-то Индия... И вообще Софья недолюбливала детей, интуитивно чувствуя в них своих потенциальных недругов. Ведь ребенок — это загадка, живой сфинкс, никогда не можешь сказать наверняка, что из него вырастет!

Пришел главный управляющий поместьями Густав Августович, высокий сутулый немец, спросил, будет ли Frau Wirtin [1] присутствовать при осмотре первой партии.

— Густав Августович! — притворно разгневалась Софья, показывая гостям свое хозяйское рвение.— Ведь я еще пока здесь хозяйка, не так ли?

Управляющий молча поклонился. Софья, извинившись перед гостьями и пообещав вскоре вернуться, стала спускаться по ступенькам. Забегая вперед, управляющий предложил было ей руку, но Софья отказалась. Густав Августович был незаменимым служакой, однако имел неприятную привычку, разговаривая, забываться и брызгать слюной на собеседника. Поэтому госпожа старалась разговаривать с управляющим на расстоянии, не подпуская близко.

— Когда вы думаете разводить их по таборам? — спросила Софья по-немецки.

— Завтра утром начнем... А впрочем, как вы прикажете, Frau Wirtin...

— По-моему, это лучше сделать еще сегодня... С вечера, по холодку... Потому что за ночь они так завоняют усадьбу, что потом неделю будет слышно...

---

[1] Госпожа хозяйка *(нем.)*.

— Хорошо, начнем с вечера...

В поместьях Фальцфейнов издавна существовало правило: осматривать новых сезонников выходят не только управляющие, но и сам хозяин, которому надлежит показаться в этот день новым людям, чтоб знали, перед кем им все лето ломать шапку. Не Софье Карловне было нарушать этот порядок, хотя встречи с батраками становились для нее с каждым разом все тягостнее: то ли потому, что она постарела и нечем уже ей красоваться перед пришлыми каховскими парубками, то ли потому, что из года в год сезонники становятся все хуже, все строптивее... Как жаль, что нельзя обойтись вовсе без сезонников! Это было бы лучше всего, это был бы настоящий рай!

Глубокое презрение и постоянный страх вызывало в Софье это племя. Сколько живет, никак не может с ним сговориться. Такое упрямое, такое коварное!..

Ах, если б знали ее заграничные приятельницы, кто ее здесь окружает! В своих письмах они называют Софью царицей украинских прерий, а многочисленные асканийские сезонники представляются им какими-то добрыми, вежливыми, живописными ковбоями... Наивные представления! Конечно, она, Софья, не жалела сил, чтобы как-нибудь приобщить своих упрямых туземцев к культуре, перелицевать их в своеобразных украинских ковбоев, но все напрасно. Пока поучаешь его при чеченцах, он слушает, а только ушел с глаз, уже насмехается над тобой, дает тебе всякие издевательские прозвища, с которыми потом вынуждена ходить всю жизнь. Дай такому лассо в руки, он захлестнет его на твоей же шее!

Самых вульгарных насмешек, чего угодно можно ждать от них, только не благодарности, не джентльменского отношения... Настроили против хозяйки даже своих козлов, которые водят на пастбищах отары. Стоит появиться перед таким козлом, скажем, в костюме амазонки, как он уже несется на тебя зверем, не знаешь куда деваться...

Однако, несмотря на горести, которые Софье причиняла ее степная империя, она не согласилась бы променять свои владения ни на какие другие. Этот край, видно, пользовался протекцией самого всевышнего. Нигде в мире нельзя так быстро и легко богатеть, как здесь.

Что хвалеиый американский Клондайк по сравиеиию с ее украинскими прериями! Тут все буквально само плывет к тебе в руки, богатства твои растут, как на дрожжах, пожалуй, даже без твоего участия, без всяких усилий с твоей стороны. Разумеется, все это явилось результатом энергии, изобретательности, культуры, ну и, конечно... счастья трех поколений Фальцфейнов. Да, имеино счастья — это несомненно.

Тощими колонистами, без дворянских гербов прибыли сюда, в Присивашье, первые Фальц и Фейн. Породиившись, они стали Фальцфейнами и занялись разведением овец. Разбогатев, они стали благородными, могучими степными крезами, перед которыми теперь заискивают даже губернаторы. Фортуна! Блестящая фортуна плюс плодородие земли, иесравненные пастбища, породнстые овцы — все это в совокупности принесло Фальцфейнам их миллиоиы, их славу и могущество.

Правда, в последнее время в экономиях все чаще звучат голоса разных крамольников, будто бы фальцфейновские миллионы происходят совсем не от овец, а что нажиты они позориым плантаторскнм способом, кровью и потом сезонных рабов, египетским трудом нескольких поколений каховского батрачества, самого выносливого и самого дешевого в мире... Странные претензии! Сами ианимаются и сами же потом жалуются! И вообще, при чем тут плантаторы, при чем рабы? Можио подумать, что их здесь линчуют. Между тем каждому известно, что в Аскании уже несколько лет работает поваром молодой негр из Сенегала и его иикто до сих пор не линчевал и не собирается линчевать.

Самым обидным для Софьи было то, что большинство таких горланов выходило как раз из ее собственных поместий, из многочисленных скотных дворов н батрацких казарм, из темных недр вечно недовольного батрацкого племени... Хитрая, варварская порода! Клеймит, высмеивает, компрометирует на все лады своих благодетелей... И это вместо того, чтоб до конца дней благодарить великодушных Фальцфейнов, которые, как отважные конквистадоры, ступив на эту нетронутую землю, посеяли на ней зерна прогресса, завели английских скакунов и французскую кухню, ввели лакеев во фраках и американский способ стрижки овец...

С американцами Фальцфейны издавна поддерживали довольно тесные связи. Из Америки выписывали баранов-производителей, оттуда же завезли в Асканию последних на земле гигантов бизонов, почти полностью уничтоженных за полстолетия на американском континенте. Младший сын Софьи, Вольдемар, поехал на мировую выставку шерсти в Чикаго и сейчас путешествует где-то в Соединенных Штатах. Из-за океана нередко наведывались в Асканию разные закупщики, туристы и пронырливые корреспонденты — для них Фальцфейны не жалели подарков, и газетчики потом разносили по всему миру славу о властителях украинских прерий. Захлебываясь от восторга, они наперебой описывали роскошные степные пикники, катанье на тройках, ночевки под открытым небом в целинной степи «со всеми аксессуарами жизни цыганской, таборной...» В их щедро оплаченных дифирамбах Аскания выступала романтическим островом, твердыней западной культуры среди разбушевавшегося варварского моря, а хозяйка Аскании была «чудесной амальгамой парижского воспитания и бурного скифского (бог с ним — пусть даже скифского!) темперамента».

О тысячах тех, кто выпасал для Фальцфейнов отары, молотил хлеб на токах, насаждал парки, сооружал в Аскании бассейны, рыл искусственные озера, переворачивая горы земли,— об этих людях разбитные вояжеры-корреспонденты сообщали значительно более скупые сведения. О сезонниках им было известно только то, что приходят они откуда-то с севера через какую-то экзотическую свою Каховку, что любят они ходить всегда босиком, что могут выпить одним духом ведро воды и что там, где они работают, летом очень жарко. Там уже кончается цивилизованный рай асканийских вольеров и начинается настоящая украинская Сахара!

Бережно хранила Софья пожелтевшие вырезки из американских газет, как и письма своих эксцентричных заморских приятельниц, с которыми она когда-то прожигала жизнь в парижских ресторанах и варьете. В этих письмах до сих пор слышались ей далекие отзвуки молодости, той, что и в самом деле звенела бешеными тройками в степи, пенилась шампанским при лунном свете на копнах сена...

Был у нее законный муж, но она никогда не чувствовала себя его женой, есть у нее дети, но она не чувствует себя матерью.

Это, верно, наказание за те хмельные грехи молодости! Не в силах примириться со своей старостью, она не получает радости и от детей. Старший сын, самый умный, который считается основателем асканийского зоопарка, лечится сейчас где-то в Швейцарии и интересуется в письмах не столько настроением матери, сколько своими любимыми зверями; средний родился дефективным и, засев в Дорнбурге после скандальной истории со взрывом, угрожает оттуда матери и братьям новыми дебошами, а младший, этот тоже... бьет баклуши где-то в Америке. В этом году она осталась одна на всю Асканию, вся тяжесть власти на ней.

И уже разменяла шестой десяток... Покрылась морщинами шея, обрюзгло лицо, не помогают парижские кремы...

— Может, тачанкой воспользуетесь? — перебил меланхолию Софьи управляющий, когда они проходили мимо экипажного сарая.

Софья Карловна восприняла это как обиду.

— Вы считаете меня уже такой слабой?

— Что вы! Простите, госпожа хозяйка! Я совсем не хотел...

— Довольно, довольно... Пройдусь пешком. Я так редко вижу нашу Асканию с этой стороны...

С этой, южной, стороны экономия выглядела не совсем привлекательно. Кончились сады и вольеры, потянулся голый вытоптанный пустырь, за которым сбились мрачной группой вынесенные подальше в степь ободранные батрацкие казармы. Господствуя над районом казарм и рабочих халуп, густым черным дымом дышал в небо кирпичный завод. Клубы дыма показались Софье зловещими на фоне открытой степи и чистого неба.

— Как тут неуютно! — поморщилась Софья Карловна.— Дети, козы, пылища, дым...

Неподалеку от казарм, возле так называемого «черного водопоя» (каким в отличие от «белого», господского, пользовались только батраки и скот), уже вкусно пахло едой, варилась, клокотала в огромных чанах пища для сезонников. Тридцать выбракованных ветеринаром баранов были зарезаны к их приходу! Бараньи шкуры

и рога так и лежали здесь неубранными, чтоб каждый мог, увидев их собственными глазами, убедиться в щедрости асканийской хозяйки, чтоб потом и летом, когда обычно начинаются жалобы на харчи, можно было заткнуть недовольным глотку напоминанием об этих тридцати нагульных баранах, без сожаления убитых в день прибытия первой партии сезонников.

Потянуло пылью, по́том, заскрипело, затопало... Передние мажары, огибая Асканию, уже въезжали на выгон.

Запыленные толпы сезонников, увидев колодец, с ходу бросились к нему (кроме воды, для них сейчас ничто не существовало). Гаркуша, соскочив с коня, подбежал к хозяйке, стал докладывать. Софья, перебив его, приказала выстроить прибывших для осмотра.

Нелегкое было дело — выстроить эту разношерстную массу. Одни толпились возле колодца, другие разбирали с мажар котомки, некоторые же, напившись, разлеглись, как паны, и не хотели подниматься. Однако Гаркуша вместе с подгоняльщиками, пустив в ход весь свой опыт, вскоре кое-как выстроил батраков в длинную шеренгу, которую он постарался даже выровнять по-солдатски, но она так и осталась выпуклой, дугообразной, как поднятая и застывшая волна.

Софья в сопровождении управляющего и приказчиков двинулась осматривать людей. В шуршащем платье, в белой панаме, шла она походкой королевы вдоль шеренги, милостиво улыбаясь запыленным, пропотевшим людям. Батрачки не умели так улыбаться. Улыбка хозяйки была для них каким-то фокусом: пока смотрит на тебя, улыбается, а только отвела взгляд в сторону управляющего, уже погасла улыбка, и вместо нее появилось черствое выражение скуки или настороженного напряжения. Потом и это быстро гаснет — госпожа снова обращается к людям, и снова губы ее складываются в привычную улыбку.

Иногда Софья останавливалась, заговаривала, спрашивала, довольны ли, что попали в Асканию.

— Нам хоть в ад, лишь бы харч богат!

— А баня будет?

— А в зверинец нас пустят?

— А в сад?

Хозяйка все обещала.

Около Данька и Валерика она тоже задержалась и как будто даже обрадовалась встрече с этими юными батраками.

— Какие милые мальчики! — томно воскликнула она.— Густав Августович, обратите внимание, какие у них умные, интеллектуальные лица! Я всегда чувствую в себе какую-то подсознательную тягу к детям, к их чистоте и непосредственности... Вы их назначьте, пожалуйста, на легкую и приятную работу. Вообще я приказываю всех детей и подростков назначать только на легкие, посильные для них работы... Оставьте их,— добавила она по-немецки,— хотя бы при складах... шерсть перебирать.

Елейный голос Софьи и выражение веселого радушия и ханжеской сдержанности, лежавшее на ее лице, девушкам сезонницам не понравились с первого взгляда.

— Злюка, наверное,— перешептывались батрачки.— Яга!

— Улыбается, а сама аж посинела... Отчего это? От злости, конечно!

— А духами какими надушена!.. Несет от нее, как конским потом...

— Да еще стриженая в придачу... Будто парни ей косы отрезали.

Софья не слыхала этих замечаний по своему адресу и, продвигаясь вдоль шеренги, одаривала сезонников улыбками, которые казались ей безупречными.

После осмотра разрешено было пить и есть. Криничанские Сердюки, увидев бараньи шкуры, заговорщицки подмигнули друг другу и расхохотались: вот где налопаемся!

— Как ваше мнение, госпожа хозяйка, о нынешнем наборе? — спросил Густав Августович, когда Софья, оставшись с ним посреди выгона, наконец перестала улыбаться.

— Не знаю, что завтра другие приведут, а от этих впечатление не очень утешительное,— процедила Софья.— По сравнению с прошлогодними среди этих, по-моему, значительно больше дерзких, разбойничьих физиономий... Не так ли?.. К тому же среди девушек уж слишком много писаных красавиц. Я, кстати, заметила это за Гаркушей — он всегда таких приведет, что хоть выставку устраивай... Хотела б я знать, чью волю

в данном случае он выполняет? Объясните, пожалуйста, ему, Густав Августович, что мне нужны прежде всего скотницы, доярки, вязальщицы с крепкими хребтами, а не яркие полтавские красавицы, которые все лето будут крутить с батраками романы, отвлекая их от работы.

Густаву Августовичу было точно известно, чью волю выполняет Гаркуша. Этот хитрый пройдоха-приказчик знает, на кого ему делать ставку. Перед Софьей он сгибается лишь для видимости, а весь расчет его на паныча Вольдемара. И хотя управляющий ненавидел Гаркушу, все же разоблачить перед хозяйкой фаворита молодого Фальцфейна не мог и не хотел, тем более что и сам в деле с красавицами чувствовал себя в какой-то мере соучастником Гаркуши. Управляющий, конечно, не мог сейчас сказать обо всем этом Софье. Однако хотя бы для вида, надо было накричать на Гаркушу, проучить его немедленно, чтоб госпожа видела. Позвав приказчика, Густав Августович взял его за локоть и, отведя в сторону, стал читать нотацию.

— Доннерветтер,— раздраженно ругнулся Густав Августович.— из-за тебя мне нагоняй... Зачем столько красавиц набрал?

— А ну их к черту! — выругался в ответ Гаркуша, держась перед управляющим довольно нахально.— Они все там красавицы!

— То не есть резон... Пани недовольна!

— Лучше б она не совалась в эти дела, ваша пани...

— Ну ты, Гаркуша, осторожней на поворотах... Пока панын путешествует, она тебя еще может... э-э... в рог скрутить!

— Выкинштейн может? — оскалился приказчик.— Не очень вы меня этим пугайте! Что я — себе их набирал, гаремы у меня тайные, что ли? Сами хорошо знаете — куда и кому подбирается товар!

Пока они переругивались, Софья Карловна стояла одна посреди выгона, следя из-под панамы за толкотней у колодца.

Сезонники пировали: пили воду, отдышавшись, снова пили, как самый лучший, самый сладкий в мире напиток. Девушки тут же умывались, прихорашивались, расчесывали свои тяжелые волнистые волосы, не обращая внимания на госпожу.

О, как их сейчас ненавидела Софья! Молодые, пышущие здоровьем, налитые горячей, сочной силой... Нахлынули толпой, завладели ее двором, ее водой, затмив ее самое... Только что пришли откуда-то из-под солнца, из Каховки, словно древние рабыни с восточных невольничьих рынков, и уже не чувствуют себя рабынями, держат себя здесь, как дома. Боже, какие у них фигуры, какие пышные, упругие бюсты, сколько естественной неосознанной грации в каждом движении... Плавно, как русалки, расчесывают косы, стали в ряд вдоль корыт и моют ноги, высоко подбирая юбки, не стыдясь своих белых, не загоревших икр, своего упругого, молодого, прекрасного тела...

Глубоко вздохнула Софья.

Нет, не хотела б она быть святой, молодой хотела бы стать!

XIV

Горячая духота стоит в сараях. Пышет над головой раскаленная черепица. Воняет шерсть. Воздух тяжелый, густо насыщенный запахом овечьей серы, скипидара, дегтя, которым заливают пораженные коростой места на коже и свежие кровоточащие порезы на только что остриженных овцах.

Сидят мальчики полукругом в душном углу, перебирают шерсть. Немудреное это дело — перебирать грязную, вонючую «обножку», забитые репьями и овечьим пометом отходы, падающие под сортировочный стол... Быстро овладели Данько и Валерик новым ремеслом. Пожалела их пани, приказала поставить на легкую работу... Дышалось бы ей так легко, как им! Засадить бы ее, рыжую ведьму, в это вонючее пекло, где угораешь от серы, где от блеянья овец туманится голова... Ребята так наслушаются за день овечьего блеянья, что потом в казарме всю ночь им овцы снятся.

Стрижет овец специальная артель стрижеев-маячан, прибывших сюда, как цыгане, целыми семьями. Раскинули возле амбаров шатры для детей, пустили лошадей на пастбище (выговорили себе такое право на время работы), а сами с утра до ночи в сараях, не разгибаясь, снимают тяжелые руна с мериносов, цигаев, линколь-

нов. Верховодит стрижеями тетка Варвара, дебелая, напористая, горластая, ее слово для артели — закон.

— Бросай работу!

И все бросили.

— Начинаем!

И все начали.

Тетку Варвару побаивается даже долговязый немец-надсмотрщик. Его зовут Фридрих Фридрихович, но она упрямо величает его Фидриком Фидриковичем или просто Фидриком. Фидрику, видимо, впервые приходится иметь дело с женщиной-атаманом, и он еще не всегда догадывается, как вести себя с нею в том или ином случае.

В обязанности надсмотрщика входит покрикивать на людей, взвешивать шерсть, а также выдавать стрижеям маленькие медные бирки за каждую остриженную овцу. Если у выхода, где Фидрик осматривает овец, между ним и каким-нибудь молодым стрижеем возникает спор, то зовут тетку Варвару, чтоб рассудила. Грудастая, с красным лицом, с ножницами в руке, в рабочих парусиновых штанах, подходит она к спорщикам спокойной атаманской походкой.

— Что тут у вас? Опять не дает бирки?

— Да не дает же... Порезал, говорит. А разве это порез? Так, царапина!

Осмотрев овцу, атаманша некоторое время глядит на немца, который торчит перед нею полуголый, в одних трусах, с кисетом бирок на жилистой шее.

— Ты, Фидрик! — наконец говорит атаманша, угрожающе подбочеясь.— Приходилось тебе в жизни остричь хоть какого-нибудь завалящего барана? Снял ты руно хоть с одной овцы? А через мои руки тысячи их прошли, и от такой царапины еще ни одна не погибла.

— Но, фрау Барбара...

— Какая я тебе фрау? Что я — детей с тобой крестила? Выдай бирку и не морочь парню голову...

— Но ведь...

— Выдай, иначе сейчас же бросим работу!

Припертый к стене немец в конце концов достает из своего кожаного кисета несчастную копеечную бирку, без которой работа стрижеям не засчитывалась вовсе.

На овцах, выходивших из под рук самой тетки Варвары, порезов почти не было, хотя овец она остригала

за день больше, чем другие. Ее место в сарае было против Данька, и парень не раз восторженно любовался ее работой.

— Посмотри, Валерик, как ловко у нее выходит. Словно руно само отделяется от тела...

— Она, верно, знает какое-то слово к овцам,— переговаривались поблизости женщины, сшивавшие мешки для шерсти.— Другим приходится спутывать, держать, а у нее овца спокойно лежит развязанная, как младенец в купели...

— Тетка Варвара, чем вы ее привораживаете, что она под вами ни мекнет, ни брыкнет?

— Лаской,— коротко отвечала атаманша.

В самом деле, несмотря на то, что работу свою она выполняла как бы поневоле, с сердитым выражением налитого кровью лица, в каждом ее движении было столько красоты, столько ласки, что овца даже жмурилась от удовольствия. Бессловесное животное, лежа на боку, как бы понимало, что тетка Варвара, осторожно снимая с него тяжелый и жаркий тулуп, не замышляет никакого зла, а, наоборот, хочет избавить его от лишней тяжести, без которой ему будет легче ходить в степи.

Мягкие сплошные руна (грязные, серые сверху, они были снизу как сливочное масло!) одно за другим летели из Варвариных рук на сортировочный стол. Там их разбирали на первый и второй сорта, потом взвешивали, и немец, вынув из-за уха карандаш, делал запись в своей книге. Потом этим белым мягким руном набивали огромные мешки, которые раскачивались по всему сараю, подвешенные на веревках к стропилам. Утаптывать шерсть ставили тяжелых, шестипудовых мужчин, но иногда и Даньку с его птичьим весом удавалось заняться этим, похожим на забаву делом — покачаться в мешке, окунувшись в шерсть по плечи.

Сколько этой шерсти! Горами уже навалены возле дверей зашитые наглухо мешки, обозначенные черными таврами.

Любопытство разбирает Данька.

— Тетка Варвара!

— Чего тебе, племянник?

— Куда ее будут девать, всю эту шерсть? Куда отправят?

— На мажары и в Каховку.

— А потом?

— А потом наткут из нее дорогих тонких сукон, и будем мы с тобой носить из тех сукон красивые праздничные одежды...

— О, если бы!.. Тетка Варвара, когда это будет?

В задумчивости стоит возле мешков атаманша, поправляя тяжелую, уже седеющую косу, рассыпавшуюся во время работы.

— Не будет этого здесь... Это я так, шучу,— мрачно говорит она.— Повезут шерсть в Каховку или в Хорлы, оттуда на пароходах за море — на фабрики заграничные... Там, далеко, перепрядут-переткут ее в тонкие сукна, и будет носить кто-нибудь наглаженные костюмы из шерсти, что овцы нагуляли в таврических степях...

— А нам?

— А нам с тобой — светить дырками в истлевших ситчиках, круглый год ходить в суровых полотнах...

Атаманша ударила себя ладонью по колену, прикрытому парусиновыми штанами, и снова отошла к станку.

Отары еще не стриженных овец подгоняют к сараям прямо из степи. Прошло уже несколько дней, как Данько и Валерик в Аскании, в самом сердце Таврии, а степи по-настоящему еще и не видели. Да и как увидеть ее сквозь удушливый серный смрад, сквозь эти грязные, потемневшие от времени стены сарая, в котором они угорают, как в огромной клетке...

Дыхание широкого степного царства приносили с собой чабаны. Подогнав отары, они заходили в сараи, от них пахло ветром, солнцем, травами, душистой степной зеленью. Пусть на них заскорузлые постолы, бурдюки с водой за спиной, пусть их бараньи шапки иссечены непогодой,— но как умеют держаться эти коренные обветренные степняки, как независимо ведут себя, вызывая у Данька искреннее уважение и восторг! С людьми разговаривают приветливо, мальчиков расспрашивают о доме, а немца-надсмотрщика ни во что не ставят, смело пересмеиваются, стоя перед его засунутым за хрящеватое ухо карандашом со своими чабанскими палками с загнутым концом, которые они называют герлыгами.

Герлыгами орудовали чабаны мастерски.

— Без герлыги,— шутили они,— чабан, как без коня.

Самую увертливую овцу можно подцепить этим крючковатым посохом, выхватить из отары, подтянуть к себе. Ни одна не перехитрит чабана, не спрячется в тесноте от его меткого орудия. Вот, словно ловкий стрелок, нацеливается он куда-то в гущу совершенно одинаковых овечьих ног — раз! — повел стремительно понизу герлыгой — и уже тянет-вытягивает именно ту, которая ему нужна.

Были у чабанов свои, только им присущие повадки, обычаи, свои шутки, даже ругательства свои. И все это нравилось Даньку. Иногда, выпросив у какого-нибудь чабана герлыгу, парень сам пробовал орудовать ею, перенимая чабанские замашки, но у него ничего не выходило.

— Не густо, видать, у тебя дома овец,— весело смеялись чабаны, потешаясь над промахами Данька.— Признайся, по правде, парень: больше воробьями занимался, чем мериносами?

— Для него еще пока все овцы одинаковы: не ту тянет, которую хочет, а какую может...

— Вот это бонитёр!

Парень еще больше потел и на их шутки отвечал только тем, что упрямо старался овладеть мудрым мастерством герлыги. Усердие Данька в этом деле было чабанам явно по душе.

— Не все еще, значит, чураются нашего ремесла, не перевелся еще чабанский род!..

Как-то один атагас, старый солдат с георгиевским крестом, притянул Данька к себе, прижал к груди, как родного, и на мгновенье застыл так, склонившись над вихрастой головой мальчика. Задумался старик. Крупные слезы, как алмазы, покатились по его широким, обожженным солнцем щекам.

— Внука встретили, Мануйло, что ли? — дивились чабаны, наблюдая эту волнующую сцену.

— Внука...— задумчиво сказал атагас.

Сам он был потомком тех славных бунтарей, которых переселил когда-то пан Каховский — по приказу царицы — из Турбаев, с Хорола в безводные таврические степи...

Немец, появившись на пороге сарая, уже пристал к Даньку, угрожая штрафом за то, что тот без разрешения

оставил работу. Надо было идти опять перебирать шерсть.

— Вот как довелось встретиться...

Отпустив мальчика, атагас проводил его до сарая пристальным, скорбным взглядом.

Через некоторое время Мануйло появился в сарае, уже успокоенный и чем-то более родной Даньку, чем все другие чабаны. Статный, высокий, он медленно двигался вдоль станков, поблескивая своим георгием на полотняной пропотевшей рубахе. Возле станка Варвары остановился, заглядевшись на ее работу.

— Талант у тебя, Варвара, к этому делу... Недаром твои руна на мировую выставку повезли.

— Может, хоть на этот раз Фальцфейны магарыч поставят,— насмешливо промолвила Варвара.— Вам за то, что выпасли, мне за то, что настригла.

— Куда там! Держи карман шире! Магарычи они и без нас выпьют. Кто пас, кто стриг, а похвалиться паныч и сам сумеет.

— Говорят, ему еще две медали за шерсть присудили, за мытую — малую, за немытую — большую.

— Разве за шерсть только? За руки твои, Варвара, тебе бы золотую медаль!

Атаманша стрижеев ничего не ответила на это. Еще ниже склонилась над полураздетой овцой, светившей снизу своим неподвижным удивленным глазом, выпуклым, радужным, как самоцвет.

Мануйло подошел к группе подростков, перебиравших отходы.

— Еще не угорел, земляк? — обратился он к Даньку.

— Да здесь недолго,— понурился парень.

— Слушай-ка, что я тебе скажу... Зачем тебе изнывать здесь, как на гауптвахте, среди этих вонючих обножков? Не пошел бы ты, гей, ко мне арбачом? В степь, на простор!

У Данька от радости похолодело сердце.

— А что это такое... арбач?

— С арбой ходить. За провизией по пятницам ездить... Кашу чабанскую нам варить.

— Так я ж не умею!

— Э, была бы охота, всем артикулам научим. А там глядишь, и до высшего чина дослужишься. Чабаном ле

вой рукн, чабаном правой руки, а когда подрастешь, может, и в атагасы пронзведут...

Атагасом! Самым старшнм чабаном, самым опытным, самостоятельным, независимым, с которым даже паны вынуждены считаться!.. Об этом Данько мог только мечтать.

В конце концов, что ему в этих сараях? Что он здесь забыл? Ннкого своих поблизостн не осталось: сестра Вустя сейчас за много верст от Асканин, в таборе Кураевом, куда после распределення попало большннство крнничан и орловцев. В первый же вечер их, как этапников, отправилн дальше, не дав даже переночевать в главном поместье. Поплелись, кто на Бекир-сарай, кто на Джембек-сарай, кто в табор Кураевый, кто в Камышовый... Недолго слушалн в Аскании райских птиц, что посулил Гаркуша при найме! Правда, в главной экономнн застрял Нестор Цымбал, который, охромев в дороге, не мог идтн дальше, его назначнли на страусятннк. Но с Нестором Данько мог встречаться только в казармах. Из свонх оставался, собственно, однн Валернк. С ним Данько не хотел бы разлучаться! Что, еслн попросить атагаса — может, он согласится и Валернка взять?

Атагас прнветливо смотрел на Данька своимн светло-серымн, как бы от природы прнщуренными глазами (наверное, оттого, что давно чабанствует и всегда ему приходится быть в степи, где много света н солнечного блеска!).

Его власть казалась Даньку безграничной.

— Это товарищ мой,— начал Данько, указав на Валернка.— Возьмите и его арбачом!

Чабан улыбнулся:

— Всех вас я рад бы, ребятки, забрать отсюда. Но не в моей это воле! При отаре арбач один... Дружка твоего, может, кто другой возьмет... Поспрашнвайте.

Валернк, осыпанный шерстью, покраснел, как ягода, и поспешил положнть конец неловкому заступничеству Данька.

— Чего ты за меня просишь, может, я совсем и не хочу к отаре? — выпалил он, взволнованный.— А тебя, еслн берут, иди... Горше каторги, чем здесь, нигде не будет.

Горячий комок сжал горло Даньку. Ему стало безгранично жаль товарища.

— Я, Валерик, без тебя не хочу...

— Иди, Данько,— уже мягче стал уговаривать Валерик своего побратима.— Там хоть ветром надышишься, степи наглядишься. А по пятницам будем встречаться.

— Конечно,— поддержал Валерика атагас.— Каждую пятницу будешь приезжать сюда на верблюдах за пшеном. А в воскресенье он сможет навещать тебя на пастбищах.

Как ни горько было Даньку разлучаться с товарищем, он в конце концов вынужден был согласиться в надежде на то, что со временем найдется и для Валерика какая-нибудь работа возле отар... Тогда они будут соседями в степи!

— Ладно! — вскочил Данько.— Только где мне герлыгу вырезать?

Он готов был хоть сейчас двинуться в степь.

— Погоди с герлыгой,— сдержал его атагас.— Мне еще нужно о тебе с управляющим сторговаться. Сегодня у нас суббота. Вот в понедельник я тебя и заберу. Пригоню кусок достригать и заберу.

На том и порешили. Стал бы этот день праздником для Данька, если бы не омрачило его одно неожиданное событие. Незадолго до обеденного перерыва в амбар ввели новую партию детворы, очевидно отобранной из последней партии сезонников. Среди новичков Данько сразу узнал несчастную девочку, у которой мать умирала в ярмарочном лазарете. Девочка с тех пор еще больше похудела и вытянулась — у нее, казалось, остались только большие испуганные глаза и тоненькие хвостики косичек за спиной. Она вошла в сарай, как в пекло, и на мгновенье оцепенела перед его высокими темными стенами, перед незнакомыми людьми, которые, обливаясь потом, копошились в шерсти и возились с овцами, жалобно блеявшими и дергавшимися под страшными ножницами. Удушливый запах серы, овечьего жира и пота стоял в помещении. Подойдя к работавшим в углу и заметив Данька и Валерика, девочка вдруг отшатнулась, как бы защищаясь от кого-то обеими ручонками. Лицо ее перекосилось от боли и ужаса.

— Чего ты, глупая? — с лаской в голосе сказал ей Данько. Странно: ему показалось, будто девочка в это мгновенье чем-то отдаленно напомнила ему ту взрослую незнакомую учительницу из Херсона, которая обращалась к людям с парусника через обнаженные сабли.

— Ну, чего ждешь? — прикрикнул на девочку надсмотрщик.

Придя в себя от этого окрика, девочка опустилась на корточки перед горой шерсти, в стороне от других, и стала слушать объяснения, как и что надо делать. Слушая, она покорно кивала головой, но видно было, что она мало понимает и все это ей глубоко безразлично.

Только окрики пугали ее, при каждом блеяний овцы она вздрагивала всем телом. А работала вяло, невнимательно и оставалась глуха к советам, которые ей время от времени сочувственно подавали ровесники и ровесницы.

Неожиданно Данько поймал на себе ее взгляд — далекий, ясный и зоркий, как у птицы. Потом глаза ее вдруг налились слезами, и она торопливо склонилась над работой. Данько тем самым как бы поговорил с ней. Ему сразу стало понятно, что она пришла одна, что мать она оставила в Каховке навсегда.

Вскоре девочка взмокла, как цыпленок, пот катился по ее лицу и ручонкам густыми ручьями, даже странным казалось, откуда его столько на этом восковом прозрачном личике.

Занятые своей работой, подростки уже меньше обращали внимания на девочку. И вдруг она наклонилась вперед, словно для поклона, и молча упала лицом в кучу шерсти.

— Да она ж сомлела! — вскрикнула одна из женщин, сшивавших поблизости мешки.— На воздух ее, скорее!

Данько и Валерик первые сорвались с мест, подхватили девочку и бросились с ней на воздух. Она была удивительно легкой: легче, чем охапка шерсти, была как перышко.

Ребята положили ее на спину, кто-то плеснул на нее водой из бурдюка. Через минуту девочка вздохнула, открыла глаза, и они показались Данько на солнце необычайными, небесно-синими, нежно-голубыми — девочка смотрела в небо.

Вокруг девочки собралась толпа.

— У нее мать умерла в Каховке,— грубовато объяснил Данько.— Возле кладбища, в ярмарочном лазарете.

Для присутствующих слова Данька оказались последней каплей, переполнившей чашу терпения. Толпа гневно загудела. Чабаны, стрижеи, женщины-работницы заговорили все сразу, угрожающе обступив надсмотрщика.

— Отправьте отсюда детей!

— Пусть уж нас, а их за что мучаете?

— Не будем стричь овец! Пусть барыня сама стрижет!

Фидрик Фидрикович, не на шутку струсив, побежал за управляющим.

Тем временем девочка, придя в себя, попыталась приподняться на локте. Тетка Варвара свирепо схватила ее в охапку.

— В шатер к своим заберу, пусть одной больше будет. Тут живьем доконают, людоеды!

И, широко шагая, понесла девочку за сарай, в свой шатер.

Вскоре, в сопровождении двух чеченцев, появился щеголеватый помощник управляющего в суконных бриджах на английский манер.

— Что тут случилось?

— Девочка вот несчастная сомлела...

— Ну и что же?.. Вы ведь не сомлели? Айда работать!

— Не будем работать! — закачалась толпа.— Сгорела б она, эта работа!

— Детей не мучайте, ироды!

— Чем они перед вами виноваты?

Успокоились рабочие только после того, как помощник управляющего пообещал с понедельника распределить детвору на другие работы — на свежем воздухе.

Ударил гонг на обед.

...Это была победа, пусть небольшая, но их победа, победа батраков, и Данько с Валериком, чувствуя себя в какой-то мере ее участниками, шли от сараев, напоенные хмелем собственной воинственности, разгоряченные огнем первой борьбы.

XV

Нахлебавшнсь иа скорую руку батрацкого кулеша и зиая, что до иачала работы у ннх в запасе почти час, ребята от иечего делать броднлн возле ботаннческого сада, который сейчас, в обеденную жару, особенно привлекал нх своей недоступной зеленью, свежестью и прохладой.

Там, за металлической сеткой, отделявшей ребятишек от сада, бушевало зеленое царство. Могучне ветвистые деревья навнсали над оградой, как тучн, местамн распирая ее изиутри свонми ветвямн. Сочная, густая листва иепокорио лезла наружу сквозь горячую от солнца сетку, лнзала шершавымн зеленымн языками рукн и лнца мальчнков. Живой влажной прохладой иесло оттуда, настоящими леснымн запахами. К ннм Данько привык с детства, н здесь, на граннце горячей, окутанной маревом степн, оии казалнсь еше более острыми, еще более пьянящнмн, чем в лесах за Пслом...

Средн деревьев, теснившихся в парке, было миого незнакомых Даиьку; платаны и крымская ель вызывалн у иего искреииее удивленне, ио еще больше было здесь родных, испытанных друзей его детства.

— Вот это дубы так дубы! — с восторгом восклицал Данько.

А сколько веселых птиц порхало, переклнкалось в листве!.. В верхушках деревьев уверенно галделн черные грачи, шумя над свонмн огромнымн гнездами. Ннже иастранвал голос невиднмый соловей, отзывалась славка, перепрыгнвалн с веткн на ветку синицы н даже лесиая неутомимая мелкота — королькн! Даньку и самому захотелось стать сейчас вот такнм корольком, чтоб не возвращаться больше к вонючей шерстн, чтоб жить, прыгая в ветвях, среди чнстой, свежей зелеии...

В парке было безлюдно. Вдоль аллей стоялн скамьи, иа которых ннкто ие сндел. Таинственный теннстый сумрак окутывал густо обвнтую плющом водоиапорную башню с окованной железом дверью, на которой внсели пломба и замок велнчниой с добрый мужской кулак. Невдалеке от башни иа открытом месте поблескивала фнгура юношн, отлнтая из темиого металла.

— Смотрн, какой Геркулес! — сказал Валернк, обращая вннманне Даиька иа статую.

Темным блеском лосилось мускулистое тело Геркулеса, которое вначале показалось Даньку живым. Богатырски поднимаясь над кустами подстриженного жасмина, юноша в радостном напряжении раздирал пасть уродливой гидры. Из пасти тяжелой изогнутой струей била вода — такая чистая, свежая, прекрасная, что ребятам сразу захотелось пить.

Вода с неумолкающим шумом падала вниз, теряясь среди кустов, откуда брали начало оросительные канавы, расходившиеся вдоль тропинок в глубину парка.

— Вот то, что всему дает здесь жизнь,— задумчиво промолвил Валерик, заглядевшись на сияющий водопад.

Данько измерил взглядом массивную кирпичную башню. Поднявшись над деревьями, она уходила к самому небу, обвитая-перевитая зеленым плющом.

— Кто ее построил, Валерик?

— Люди, конечно...

— Слушай, как бы туда пробраться? — Плутовато оглянувшись, Данько потрогал руками сетку.— Нигде ни души, все на обед разошлись...

— Неудобно,— заколебался Валерик.— Что, если попадемся в руки самому садовнику Мурашко? А я еще должен ему привет передать от Баклагова...

Вдруг Данько, который, вцепившись в сетку, уже было распластался на ней, одним махом соскочил на землю и настороженно присел:

— Кто-то идет!

Через секунду из-за кустов вышел, направляясь к фонтану, совершенно черный пучеглазый парняга в белом поварском колпаке. Не замечая ребят, он приблизился к изогнутой струе и, наклонившись, стал жадно пить. Темное, потное, словно измазанное дегтем, его лицо лоснилось точно так же, как тело металлического Геркулеса, который стоял над ним и весело раздирал обеими руками челюсти гидры.

— Арап! — удивленно прошептал Данько.

— Это, верно, тот Яшка-негр, о котором нам говорили,— догадался Валерик.— Тот, что поваром на белой кухне работает.

— Черный какой, чернее любого цыгана! Точно в дымоходе побывал, сажу трусил... А белками так и блестит! Ну как есть арап!

Валерик стоял, впившись взглядом в негра. Человека черной кожи он, как и Данько, видел впервые. Правда, ему приходилось много читать о знаменитых путешественниках, о целых негритянских племенах в тропических лесах Африки... Все это сейчас всплывало в памяти, и могучий асканийский парк, который сам по себе был уже невиданным дивом в степи, с появлением в нем живого негра еще больше поразил Валерика своей экзотичностью... За спиной дышала зноем степная Сахара, а впереди, пронизанные солнцем, бушевали зеленые недра тропической Африки!

— Отчего они такие черные, эти арапы, Валерик?

— Наверное, от солнца... У них там еще сильнее печет, чем здесь... А они с детства работают голыми на плантациях...

— Ох и печет, видно! Так поджарились, что уже и не сходит с них...

Напившись, негр выпрямился и заметил ребят. Он приветливо сверкнул в их сторону белоснежными зубами.

Данько, воспользовавшись случаем, не замедлил вступить с ним в переговоры. Считая почему-то, что с негром можно договориться только жестами, он стал тут же перед сеткой изощряться на все лады, довольно красноречиво показывая, как им обоим хочется сейчас пить и как будет хорошо, если повар отопрет калитку, находящуюся поблизости, и впустит их в сад, к воде.

Негр, которого выдумки Данька искренне развеселили, неожиданно обратился к ребятам хоть и на ломаном, но вполне понятном языке.

— Хочешь пей вода? Иди...

И, не переставая улыбаться, направился прямо к калитке. Данько принял все это за шутку, хотя калитка была прикрыта всего лишь на засов и открыть ее изнутри не стоило труда. Но когда засов в самом деле щелкнул, дверцы, ведущие в рай, открылись и сад свободно распахнулся перед ребятами уже в новой, доступной своей красе, они, отскочив назад, застыли в нерешительности. «Не ловушка ли здесь какая-нибудь?» — взглядом предостерег Данько товарища. Но в мирной фигуре негра, в выражении его веселого лица было столько добродушной, искренней приязни, что ребята успокоились и прониклись доверием к нему.

— Хелло... Не бойся меня,— мягко и как-то печально промолвил негр. Это окончательно подкупило ребят.

Они вошли в парк.

Очутившись у фонтана, они долго пили, пили взахлеб, теряя дыхание, лишь бы только доказать повару, что их сюда привело не пустое любопытство, а действительно жажда.

За этим занятием и застал их старший садовник ботанического сада. Сухощавый, энергичный, в сандалиях на босу ногу, в легкой парусиновой тужурке, он подошел к ним быстро, почти бесшумно, так, что ребята увидели его, когда он остановился уже возле, здороваясь с негром за руку. Валерик почему-то сразу решил, что это Мурашко. Глаза полны горячего блеска, лицо волевое, суровое... Курчавая, чуть седеющая шевелюра, зачесанная набок, губы сжаты, почти прикушены...

— Гнезда разорять пришли? — спросил садовник, внимательно глядя на ребят. Говорил он баском, смотрел серьезно, но его черные, с золотинкой усы лежали так, что придавали всему лицу — тонкому, интеллигентному — улыбчивое выражение.

— Нет, мы гнезд не разоряем,— поспешил заверить Данько, отступая к негру.

— Не разоряете? Гм.., Напрасно...

Ребята насторожились: что он говорит?

— Но только грачиные,— предупредил садовник, — другие — упаси бог, а сорок и грачей гоняйте. Сколько веток обломали на гнезда, яйца полезных птиц пьют... Да вы, оказывается, свежаки здесь, не принимали еще участия в наших грачиных войнах?

— Из Каховки мы,— взволнованно сказал Валерик.— А вы... Мурашко?

— Он самый... Мурашко, Иван Тимофеевич, собственной персоной.

— Вам Баклагов кланяться велел...

— А, Дмитрий Никифорович! Ты что, знаешь его?.. Спасибо! — Мурашко сразу стал мягче, как бы посветлел.— Как же он там, на своей арене?

— Да ничего... Так себе... Корзины плетет.

— Корзины...— задумался Мурашко. Потом, обращаясь к негру, пояснил:— Друг у меня есть в Каховке... Золотой человек, Яша! Гнет его жизнь, как черная буря,

а сломать не может... Занесет у него лозы песком, а он отряхнется, поворчит и другие сажает...

Данько жадно оглядывался вокруг. Лес! Только нет ни круч, ни бурелома, ни грибов... А тропинки и стежки, как в настоящем лесу. Затененные густыми ветвями, они разбегались в глубь парка, придавая ему еще больше таинственности. Куда они ведут, к каким новым дивным дивам протоптаны?

Вскоре Яшка-негр, весело помахав ребятам на прощанье своим поварским колпаком, пошел вдоль ограды в сторону господских хором, а Мурашко, присев на корточки возле водораспределителя, стал внимательно разглядывать какие-то линейки, торчавшие в воде.

— Нет, вы уже свою порцию получили,— заговорил он,— теперь напоим других... им тоже хочется.

И, засучив рукава, садовник принялся вытаскивать камни из одной канавки, которая была до сих пор перекрыта, и гатить ими другую, в которую потоком шла вода.

Данька рассмешило, что садовник с серьезным видом строит какие-то игрушечные плотинки, точно так, как детвора в Криничках на улицах после дождя.

— Для чего это он? — шепотом спросил Данько товарища.

Валерик кое-что знал об ирригации и стал вполголоса объяснять веселому северянину, в чем тут дело.

— Хочет перевести воду с одного участка парка в другой... Видишь, там гатит, а туда направляет...

— О, ты сразу узнал во мне стрелочника,— услыхав разговор, весело взглянул Мурашко через плечо на Валерика.— Переведу на лесостепь и на питомник... Там у меня все уже кричит: «Воды!»

Обеими руками, по-рабочему, он копался в иле, как в тесте. Ребята принялись ему помогать. Работали охотно, дружно, словно играли.

— В земской учился? — кивнул Мурашко через некоторое время на кокарду Валерика.— Выгнали? За что же тебя выгнали?

Валерик не стал таиться перед ним, рассказал всю правду.

— Так... Митингуй, значит, всю жизнь,— в сочувственной задумчивости сказал Мурашко, выслушав парня.— Это теперь модно... А на кого же они там свои

надежды возлагают? На сынков управляющих? О, эти им обогатят науку!..

Вода вскоре ринулась в новую канавку, которая до этого была суха. С мелодичным журчаньем помчалась все дальше и дальше вдоль стежки, торопясь в тенистую чащу зеленых владений Мурашко. Удовлетворенный результатами работы, садовник вместе с ребятишками весело следил за неудержимым бегом воды.

— А что горит без пламени, а что бежит без повода? — загадал Данько загадку Валерику.

— У нас она здесь на поводке бегает,— улыбнулся Мурашко.— Бежит не куда захочет, а куда арычок ее поведет...

— Ловко придумано,— похвалил Данько.— Но неужели такого ручейка хватит, чтобы весь этот лес напоить?

— Странно, правда? Маленькая какая-то канавка, курица ее перешагнет, а какую силу несет в себе!.. Десятки тысяч ведер в сутки получает парк из таких ручейков... Вот башня перед вами, ребятки... Это — сердце нашего парка, а жилы его — арыки, весь парк пересечен ими... Пульсируют, журчат день и ночь, разнося по всем направлениям животворную влагу... Перестань биться водокачка, и все тут замрет, все сгорит...

— Если бы по всей степи расставить такие водокачки,— размечтался Валерик.— Чтоб люди больше не боялись засухи...

— Водокачки по степи? — внимательно посмотрел на парня Мурашко.— Ой, без штанов останемся. Другой выход надо искать!..

Ударил гонг, ошеломив ребят своим медным грозным гулом. Звал на работу. Сразу пахнуло на них спертым, серным воздухом сараев, заблеяли, как недорезанные, овцы, вынырнул перед глазами плюгавый надсмотрщик с карандашом за ухом...

— Нам надо идти,— сказал Валерик смущенно.

— Погодите... Вы где работаете?

— Мы в сараях,— бодро сказал Данько.— Я, правда, с понедельника иду арбачом в степь к отаре, меня атагас Мануйло берет, а ему,— показал Данько на Валерика,— еще в сараях придется ишачить.

— Что же вы там делаете? — спросил Мурашко, насторожившись.

— Шерсть перебираем,— покраснел почему-то Валерик.

— Мы бастовали сегодня,— засмеялся Данько.— Там одна девочка в обморок упала!..

— Ах, варвары! — в сердцах воскликнул Мурашко.— Знаю я эти амбары... Там не то что девочка, там в жару и взрослый потеряет сознание.

— Обещают с понедельника на другие работы растыкать...

— Обещают...— задумался Мурашко.— Вот что, хлопцы, не идите вы больше в этот дантов ад...

— Забастовщиками назовут,— снова засмеялся Данько.

— Пусть называют как хотят,— спокойно промолвил садовник.— Но туда вы больше не пойдете. В случае чего я возьму все на себя. Ты,— обратился он к Даньку,— и так имеешь право до понедельника гулять, а тебя, друже, я возьму сюда, себе в помощь... Ладно?

У Валерика уши запылали от счастья.

— Но у меня диплома ведь... нет.

— Кокарду твою с косой и граблями я приму вместо диплома.

Отзвучал гонг. Звал, гнал их к шерсти, а они не пошли. Страшновато и радостно было им оттого, что слыхали и не пошли, остались в саду, где чистый и сладкий воздух, где журчит-поет вода, где зелень, как рута.

Сверкающий в пятнах солнца Геркулес дружелюбно улыбался ребятам и, как бы приветствуя их, принялся еще сильней раздирать пасть своей металлической гидры.

— Папка! — вдруг зазвенел совсем близко тоненький серебряный голосочек.

Иван Тимофеевич, просветлев, обернулся на голос.

— Я здесь, доченька... Что тебе?

Из-за кустов жасмина, улыбаясь, выпорхнула девочка лет десяти. С первого взгляда видно было, что растет она при матери: чистая, аккуратная, умытая, причесанная... С бантиком на голове, в крутых кудряшках до плеч, как в золотых пшеничных колосьях... Легкая была, как скрипочка, и Данько, который любил давать людям прозвища, невольно окрестил ее в мыслях скрипочкой.

— Ну как тебе не стыдно, папка? — щебетала девочка, видимо, с материнского голоса.— Опять забыл про

обед!.. Вот так всегда у него,— обратилась девочка уже к ребятам, как взрослая.

— Подожди, Светланка, ты сначала познакомься с молодыми людьми. Не бойся, не бойся, подай им руку. Это мои коллеги, мы вместе здесь отводку делали.

Первым познакомился Валерик, учтиво назвав себя, а потом гряхнул девочке руку и Данько, который сейчас почему-то назвал себя Данилой.

— Покажи теперь, хозяйка, гостям парк,— посоветовал Иван Тимофеевич, когда церемония знакомства была закончена.— Можете сорок и грачей попугать, пусть хоть половина разлетится... А я пойду, в самом деле, пообедаю... Ты, Валерик, выходи послезавтра прямо сюда, с управляющим я сам поговорю.

Ребята остались одни. На некоторое время смущение сковало обоих кавалеров.

— Вы из первой партии, да? — спросила девочка, смело оглядывая ребят.

— Из первой,— ответил Валерик серьезно.

— А я увидела вас, как только вы показались в степи... Я люблю высматривать, когда идут из Каховки... Выхожу на опушку и смотрю. Хотите, пойдем на опушку?.. Оттуда так далеко видно!

Ребята согласились. Данько готов был сейчас идти куда угодно, лишь бы не переминаться с ноги на ногу перед этим созданием, которое росло, верно, на одном молоке, не зная ни в чем недостатка. Беленькая, слегка тронутая загаром девочка так непринужденно разглядывала Данька, что у парня отнялась речь. Этот бантик, похожий на бело-розовый полевой вьюнок, эти вымытые золотые волосы!.. Рядом со Светланой Данько как бы заново увидел себя со стороны, почувствовал цыпки на ногах, и бузиновые штаны, сбежавшиеся складками чуть ли не до колен, и торчащие граммофонными трубами уши, которые у него сейчас огнем пылали...

Двинулся куда-то по тропинке, словно в зеленую пещеру, и жизнь леса снова увлекла Данька. Птичье царство разговаривало с ним на понятном языке, из-под кустов продиралась навстречу знакомая ежевика, цепляясь за штаны. В родную стихию попал парень — отроду лесовик! Местами сквозь деревья просвечивали веселые солнечные поляны, поросшие буйными травами,

на которых хотелось поваляться. Светлана вскоре вывела ребят на одну из таких полян, просторную, живописную, как зеленое лесное озеро. Солнце на мгновенье ослепило всех. Данько как-то сразу отрезвел от лесных чар. Почувствовал, что лес этот вовсе не бескрайний, что он здесь лишь какое-то чудо, островок и вокруг — вон там, за поредевшими деревьями,— пышут и пышут зноем на тысячи верст открытые беспощадные степи, в которых сгорают его сестра Вустя и другие сезонники...

На поляне буйствовала сочная трава, почти по пояс ребятам. Раздвигая руками травостой, Валерик пробовал разыскать знакомые по занятиям в школе степные виды. Их почти не было. Зато Данько то и дело попадал на земляков.

— Заячий ячмень! — выкрикивал он из травы.— Лисохвост, чистотел!..

— Это травы все лесные,— радостно размышлял Валерик над находками товарища.— В наших степях таких нет. Ишь что делает лес! Где сам поселился, там уже и помощников своих поселил!

— Папка их подсевает каждый год,— объяснила Светлана.— А некоторые просто ветрами наносит...

— Ветром вряд ли занесет,— возразил Валерик.— Наверное, вместе с саженцами сюда перебрались...

— А что у тебя за кокарда с косой и граблями? — подошла к нему Светлана.— Разве на косарей где-нибудь учат? Ну-ка, дай и я побуду в кокарде!

Оказавшись «в кокарде», Светлана сразу изменилась — всю ее серьезность как ветром сдуло. Защелкала звоночком, запрыгала в траве, барахтаясь в ней, как в воде.

Ребятам сразу стало легче. Пусть забавляется кокардой, если не знает, сколько горя хлебнул из-за нее Валерик.

— Скажите, кто из вас видел море? — спросила Светлана, несколько успокоившись.— Только не Сиваш, потому что это не настоящее море, оно — Гнилое!

— Я видел настоящее,— мрачнея, сказал Валерик.— Черное... А над ним полно в небе чаек и бакланов...

— Ой, как хорошо! — воскликнула Светлана, всплеснув руками.— Оттуда они и к нам залетают, чайки-хохотуньи... Но редко-редко... Садятся на Внешних прудах... А ты что видел, Данило?

Данько насупился. В самом деле, что он видел в своих Крнничках?

— Я видел... лес,— вздохнул он.— Во сто раз больше, чем этот ваш высаженный... Конца-края ему нет: с хмелем, с дичками, с боярышником!..

— А я видела только степь,— промолвнла Светлана с некоторым сожаленнем.— Я здесь родилась и все время здесь... Но н степь бывает очень краснвой, особенно весной, когда цветет... Знаете что? Давайте завтра пойдем в степь, далеко-далеко... Ладно?

Ребята, переглянувшись, ответнли согласнем.

— Степь... море... лес,— ласково шептала Светлана и вдруг воскликнула: — Давайте будем нграть... в степь— море — лес!

Данько отказался, заявив, что не умеет в это играть. Валерик тоже не умел. Светлана задумалась.

— Лес... степь... море...

В задумчивостн стояли они рядом, и каждый посвоему представлял себе то, чего никогда не вндел.

— Давайте лучше грачиные гнезда драть,— сказал Данько после молчания. Спутники его поддержали.

Это было, наконец, настоящее дело! Даньку давно уже не терпелось махнуть на какую-нибудь верхушку дерева, повоевать с грачами. Они, разбойникн, должны были заранее дрожать перед Даньком, перед его железной натурой, закалявшейся в беспрерывных войнах с воробьями! Когда он, ударив картузом оземь, метнулся, как кошка, на самый высокий вяз, Светлана раскрыла ротик и застыла в величайшем удивленин: ей казалось, что этот лесной Данила, карабкаясь все выше и выше, каждый раз выпускает когти из рук и ног.

Наделал шуму Данько на всю Асканню! Растревоженные грачи вскоре подняли над парком такой страшный галдеж, что сбежались сторожа.

Переговоры с ними взяла на себя Светлана.

— Он грачей дерет,— объяснила она с достоинством.— Ему папка разрешил.

До самого вечера встревоженно галдели грачи над парком, с треском и хрустом летели вниз их гнезда, шлепаясь о землю, а Данько ходил по верхушкам, где-то под самым небом качался на ветвях, весело выделывал там опасные фнгуры, перекликаясь с Валериком и Светланой, смотревшими на него сннзу, как на чертенка.

XVI

Утро в воскресенье выдалось удивительно чистое, налитое прозрачным солнцем. Необъятная степь шумела и шумела впереди ковыльными шелками — то молочными, то золотистыми, то со стальным отливом.

Шли они втроем, взявшись за руки, в ту сторону, где, по их мнению, должно было быть море, которое представлялось каждому из них по-разному.

Степь цвела. Нетронутая, испокон веков не паханная, высокотравная...

Что это было за зрелище! Обладая красотой моря и его величием, блеском и обилием света, тая в себе могущество леса и его тихие, вековые шумы, степь, кроме того, несла в себе еще нечто свое неповторимо степное, свойственное только ей,— шелковую ласковость, что-то нежное, мечтательное, девичье...

Ковыли, ковыли, ковыли... Вблизи тускло-стальные, а дальше, под солнцем — сколько хватает глаз — сияющие, как молочная пена. Перекатываются легкими волнами, плывут, разливаясь, до самого неба...

Благословенная тишина вокруг. Лишь зашуршит где-нибудь сухая зеленая ящерка, пробегая в траве, брызнут в разные стороны из-под ног скакуны-кузнечики, да жаворонки журчат в тишине, пронизывая ее сверху донизу, невидимые в вышине, как ручейки, что текут и текут без устали, прозрачные, родниково-звонкие. Кажется, поет сам воздух, поет марево, которое уже поднимается и струится кое-где над ковылями. Может, и эта плывущая, мечтательная степь тоже только марево, которое проплывет и исчезнет? Нет! Каждый стебель впился корнями в сухую, местами уже потрескавшуюся землю; окунешься по пояс в золотистые, слегка покачиваемые ветром шелка, и они не исчезают, а остаются; бредешь в этих шелках среди птичьего щебета и чувствуешь на душе, очищенной от всего горького, только отстоявшуюся радость, только освобожденное от всяких пут небесно-легкое счастье. Раскрываешься душой для самого лучшего, досягаемого и недостижимого, распускаешься навстречу самому морю, что вот-вот брызнет из-за горизонта, из-за ковылей.

Мягкие, пушистые метелки ковылей ласкают руки, касаются щек. Плывут стройные цветущие стебли тон-

конога. Среди золотистого их разлива густо рассыпаны в ложбинках озерки цветов, туманятся кое-где, как бы покрытые инеем, сизые островки степного чая. Изредка виднеются над ковылями шарообразные кусты верблюжьего сена, кермека и молодого курая, которые осенью, отломившись от собственного корня, станут перекати-полем.

— Вы знаете, здесь даже зимой, если пригреет солнце, поют жаворонки,— сказала Светлана.

— И отары пасутся? — спросил Данько.

— И отары...

— Всю зиму?

— Всю зиму... если нет буранов.

Далеко, у самого края неба, паслись небольшим табунком ветвисторогие олени, зебры и антилопы, изредка маячили в направлении Сиваша столбы степных колодцев.

— Знаете, кто их роет? — опять обратилась к ребятам Светлана.— Есть такой дядька — Оленчук Мефодий. Говорят, что он колдун, потому что видит сквозь землю все подземные озера, пруды и реки... Их тут много течет под степью... Но барыня не может их видеть, ей это «не дано», а Мефодий видит, потому что он чародей, поэтому барыня нанимает его копать в степи колодцы...

Так они шли, разговаривая, изредка останавливаясь, чтобы осмотреть в траве гнездо стрепета или сорвать какой-нибудь особенно красивый цветок, и снова шли дальше, свободно вдыхая аромат весны, настоянный на тёплых, душистых травах.

Потом они стояли перед древним степным маяком — каменной массивной бабой с острой монгольской прорезью глаз. После радостного бодрого юноши Геркулеса, который раздирал в саду пасть гидры и поил весь парк водой, эта саженная, захлестанная ветрами бабаяга показалась ребятам зловещей, как привидение пустыни, как сама вещунья засух... Сложив на обвислом животе руки, она загадочно усмехалась степи вечной каменной усмешкой.

— Чего она расплылась до ушей? — обратился Данько к Валерику.

— Не знаю... И никто не знает.

— А что у нее в руках?

— Одни говорят, что светильник, другие — что книга...

— А по-моему, это больше на камень похоже...

— Какая противная! — сказала Светлана.— А барыня их стягивает со всей степи и ставит, как жандармов, в ряд под своими окнами.

И, взявшись за руки, они снова нырнули в шелка навстречу морю, ясному, чудесному.

А впереди до самого края неба разлеглась бестравная бурая земля, ровная, в пятнах солончаков, сухая до звона. Вскоре, словно сквозь мигание расплавленного стекла, далеко-далеко на горизонте выросло несколько голых, рыжих, словно покинутых людьми, халуп. Понизу, обтекая их, быстро двигалось могучее марево, и странным казалось, что оно до сих пор еще не размыло эти глиняные приземистые мазанки, похожие на татарские сакли.

— То уже табор Солончаковый,— остановилась Светлана.— А дальше там где-то будет Строгановка на Сиваше. Там живут те крестьяне, что воду крадут... У них воды мало, так они ее крадут ночью из господских колодцев... Недавно объездчики пригнали двоих... Руки за спиной скручены, лица в крови...

Все трое долго молча смотрели в ту сторону.

XVII

Чабанствует Данько в степи.

Уже привыкли к нему верблюды, которых сам он запрягает в арбу, не гоняются за ним вожаки отары — высокомерные козлы со звоночками на шеях, полюбили Данька даже строгие приотарные собаки — белые лохматые овчарки украинской породы, для разведения которой Фальцфейны держат целый собачий завод.

Вначале было много хлопот у юного арбача с верблюдами. Сколько идешь, всё ревут и ревут, задрав головы к небу. А как лягут посреди дороги, так — хоть плачь — никак их не сгонишь, пока сами не поднимутся. Кроме того, у них была плохая привычка сворачивать в любой двор, как домой. Когда Данько поехал в экономию за продуктами, завернули его канальи верблюды под самые окна Софьи! Остановились и давай реветь, будто с них

шкуры живьем сдирают! Хорошо, что вовремя сбежались другие арбачи, оттащили поскорее экипаж Данька подальше от панских окон, не то не миновать бы ему расправы...

Атагас Мануйло терпеливо поучал хлопца, как приноровиться к верблюдам, как за ними ходить.

— Ты их не бей, Данило... Они хоть и верблюды, а шкура у них нежная, как у человека: видишь, от батога сразу трескается... А потом — забыл я тебе сказать — соли ты им даешь?

— Соли?

— А как же... Ему соль — как коню овес... Дома, в оренбургских степях, он на солончаках вырос, и без соли ему здесь не житье...

Метнулся Данько к арбе, принес торбу, насыпал каждому, наверное, по фунту:

— Ешьте, только не ревите!

Набрали верблюды полные рты соли, принялись разжевывать ее, как зерно, благодарно поглядывая на арбача.

— Странные они: едят курай и молочай, а солью закусывают!

— Вот так угощай их каждый день... Чего-чего, а соли хватит: под боком, на Сиваше растет...

После этого признали, наконец, верблюды своего погоныча, перестали реветь.

Остальными своими обязанностями Данько овладел значительно легче. Просты они: утром наварить каши, к водопою отары натаскать воды из степного колодца, налить в желоба... Сделаешь это, спрашиваешь атагаса, где будет отара вечером.

— Там,— махнет атагас рукой в степь,— за той вон могилкой... Видишь курганчик?

Сложив хозяйство, двигаешься на новое место. При переездах не любит Данько сгибаться в своем шатре — чаще видит его степь верхом на одном из верблюдов, запряженных в двухколесную кибитку. Хорошо в степи, привольно! Поют жаворонки, синеет небо, текут марева... Ни тебе панов, ни приказчиков, ни дикой чечни. Редко они появляются здесь.

Плывет Данько, спокойно покачиваясь на верблюде, напевает и вспоминает далекие Кринички... Ехать бы да ехать бы вот так верхом до самой Полтавщины, до

самых Криничек!.. Выбежала б навстречу, радостно всплеснула б руками мать, все село сбежалось бы встречать диковинного всадника...

— Кто ж это к нам приехал на таком звере? — кричит вдруг Данько на всю степь пронзительным голосом криничанской попадьи.

И тут же отвечает басом:

— Да это ж Данько Яресько верхом на верблюде!

— Ишь куда забрался, дьяволенок! — гримасничает Данько, продолжая разговор в лицах.— И не упадет и не боится, что верблюд стиснет его своими горбами!..

— Откуда же он путешествует, откуда завернул к нам в Криничкн?

— Да, видно, издалека, если на таком звере, что ни конь и ни корова!

— Наверное, из пустыни!

— Слышите, люди? Из самой пустыни прибыл молодой Яресько!..

Свободно витали над степью призрачные мечты Данька, не раз побывал он под материнскими окнами на своем горбатом верблюде...

Добравшись до места, указанного атагасом, парень пускает верблюдов пастись, а сам принимается расставлять треноги, готовить ужин чабанам. В первые дни не удавалась Даньку чабанская каша, слишком отдавала дымом, а теперь, кажется, овладел: выскребывают чугунок до дна.

Вечером из степи медленно приближается отара. Выровняв овец «в струнку», Мануйло неторопливо ведет свое войско, уступая овцам пастбище шаг за шагом, время от времени командуя подпаскам, чтоб аккуратнее «подбирали зады», не растягивали отару. Сам Мануйло выступает с герлыгой впереди овец, как полковник, прямой, стройный, с браво поднятой головой, с георгием, который издали сияет на его затвердевшей, просоленной десятью потами рубашке.

Приблизившись на расстояние голоса, атагас окликает Данька:

— Эгей, каптенармус! Как там у тебя?

— Готово! — докладывает Данько.

— Пшено разопрело?

— Разопрело!

— Ложка не падает?

— Торчит!

Если ложка в чугунке торчит, не падает, это вершина — высшей похвалы для каши быть не может.

С атагасом Данько в дружбе, у такого человека есть чему поучиться парню. Был Мануйло на японской войне, прошел огонь и воду. Беспощадно швыряла его судьба по разным землям, часами может он рассказывать о далекой и таинственной стране Маньчжурии, куда он был послан, как он говорит, «передразнивать японцев».

Трубачом был Мануйло в полку. Когда это было, а еще и сейчас все помнит: муштру знает назубок, всякие воинские сигналы умеет передавать на своей чабанской сопелке.

Вот он подошел к арбе, сбросил накинутую на плечи свитку, снял пустой бурдюк... Данько уже ждет от него какого-нибудь веселого номера.

— А ну, гренадеры,— гремит Мануйло своим подпаскам, довольно мешковатым парням,— разомнемся перед ужином! И ты, Данило, становись на хланг... Подтянуть животы... За мной... Живо! Ать-два! Ать-два!

И пошел выделывать такие упражнения, такие закручивать артикулы, что только поспевай за ним. Вся отара в это время с удивлением смотрит на своего атагаса. Он то присядет, то подпрыгнет, то отшатнется, то ринется вперед... Нет у него ни усталости, ни одышки. Герлыга превращается в его руках в штык, чабанская баранья папаха сидит на нем чертом, и сам он становится удивительно легким, бравым и молодым!

Старательно выделывает Данько перед пораженными баранами ефрейторские артикулы, но с еще большей охотой перенимает парень от Мануйла науку трубача — сигналы военной тревожной музыки. Когда Данько, впервые сыграл зорю, атагас его похвалил:

— Учись... Может, еще спасибо мне когда-нибудь скажешь...

Самое лучшее время для Данька наступает после ужина, когда степь словно отдыхает, остывая, мягко окутываясь душистыми сумерками. Темнеет поблизости отара, охраняемая овчарками, обложившими ее со всех сторон. Монотонно стрекочут кузнечики в траве, изредка широко мигают сухие зарницы на горизонте. Сидит Мануйло над притихшим костром, расправив плечи, без шапки, подставив голову под звезды. Тихо, спокойно, как

широкая река, течет его рассказ... В такие вечера любит Мануйло рассказывать о своей родной степи Чаплинке, основанной в Присивашье турбаевскими бунтарями, «еще когда тут не было никаких ни фальцев, ни фейнов».

О турбаевском восстании Данько слышал еще дома, в Криничках, но там его отзвуки жили больше в песнях о Марьянуше, которыми голытьба допекала богатеев и которыми часто отводил душу Даньков отец-рыбак. В устах же Мануйла вся история Турбаев выступала жестокой живой былью, он знал ее в таких подробностях, словно сам был участником тех суровых и славных событий старины.

...Неподалеку от Данькова Псла, на речке Хорол, стояло когда-то большое живописное село Турбаи, входившее в Остаповскую сотню Миргородского полка. Не посполитые, не чьи-то подданные жили в нем, а вольные казаки. Турбаевские казаки были образцовыми воинами, принимали участие во многих походах на турок, верой и правдой стояли за родную землю. Но ненасытная казацкая старшина, богатея и наживаясь, все чаще посягала на вольности простых казаков. Первым катом для турбаевцев оказался их земляк, миргородский полковник Данило Апостол, который впоследствии стал даже гетманом. Этот ясновельможный силой превратил турбаевских казаков в своих подданных. Но после смерти Апостола новый миргородский полковник Капнист, враждуя с родом Апостолов, снова вернул турбаевцам их прежние вольности. Вдова гетмана Апостола, имея на руках царскую грамоту, подтверждавшую за ней право на Турбаи, пожаловалась на действия Капниста в генеральную войсковую канцелярию. Однако гетманша вскоре умерла, и лишь правнучка Апостола — Екатерина Битяговская, к которой перешли права на Турбаи, возобновила иск, и суд генеральный постановил: быть турбаевским казакам в подданстве Битяговской. Битяговская продала Турбаи богатому сотнику Ивану Базилевскому, который со своим братом Степаном и сестрой Марьяной стал еще туже затягивать на Турбаях петлю крепостничества. Таким-то оно было «свое», «родное» украинское панство!

На редкость жестокими эксплуататорами оказались помещики Базилевские (были они Василенки, но чтоб

сильнее несло от них шляхтой, сменили свою фамилию на Базилевских). Кроме барщины на поле должны были турбаевцы выполнять бесплатно и другие тяжелые работы. Обжигали кирпич на панских заводах, вымачивали до самых морозов коноплю, рубили лес, ткали полотна... «Не то пряли наші жінки — пряли й наші дітки»,— пелось в тоскливой турбаевской песне тех времен.

Между тем мечта о возврате казацких вольностей ни на мгновение не покидала вольнолюбивых турбаевцев. Их тайные ходоки добрались из Хорола до самого Петербурга, высуживая себе казачество. В Сенат был подан иск на Базилевских. Несколько лет тянулось дело. Наконец иск турбаевцев увенчался успехом: за ними была признана их казачья природа и казацкие права.

Вскоре в Турбаи выехал с воинской командой Голтвянский нижний земский суд. Судебные чиновники поселились в доме Базилевских, пили с ними и гуляли и в конце концов приняли решение, что в Турбаях, дескать, выявлено всего с полтора десятка казацких родов, а остальные — все мужики, посполитые, больше того — среди них якобы есть даже беглые крепостные с Курщины, которые самовольно именуют себя казаками.

Приговор был оглашен под вечер. Выслушав на площади решение пьяного суда, крестьяне в один голос заявили:

— Неправда! Мы все как один — казаки!

Заволновалась площадь, зашумели турбаевцы, грозно обступив своих обидчиков.

Как раз во время перепалки с судебными чиновниками на площадь прибежало несколько встревоженных сельских пастушков:

— Караул! Стадо угоняют...

— Кто? Где?

— Есаулы Базилевских!

Это была искра, упавшая в порох. Налетев на воинскую команду, турбаевцы мгновенно обезоружили и связали ее. Кинувшись в другую сторону, разгромили помещение суда и, до беспамятства отлупцевав панских прихвостней — судей и подсудков, двинулись всем селом к усадьбе Базилевских.

Задрожало панское отродье, увидев, как надвигается на него с угрожающим гулом многолюдная разгневанная толпа, как среди цепов и кольев поблескивают турбаев-

ские косы, пики и сабли! Казацкое, в боях с чужеземцами освященное оружие лежало в тайниках, ожидая своего часа. И вот он настал, этот час, и, как бы выросши из-под земли, оружие засверкало в воздухе мстительной сталью, играя над растревоженным валом грозной толпы, блестя и кровавясь под лучами вечернего солнца — последнего солнца для Базилевских!

Со звоном посыпались стекла из окон, кольями высадили двери, темная волна турбаевского гнева ринулась в панские покои. На месте были растерзаны палачи-сотники, вытащили турбаевские молодицы и волчицу Марьянушу из-под перины...

> Ой, у тої Мар'януші та й у косах стрічка,
> Куди тягли-волочили — кривавая річка!

Запылали в ту ночь на взгорье хоромы Базилевских.

На всю Украину легли отблески непокоримого турбаевского пламени. Заметалось панство в близких и далеких поместьях, заволновались Криничкн, Остапье, Сухорабовка...

— Мы тоже не родились крепостными! Мы тоже хотим воли!

Расправившись с Базилевскими, турбаевцы избрали самоуправление, определили кордоны, выставили вооруженную стражу на шляхах, чтобы никто не мог въехать в село без их ведома. Правительство со своей стороны выставило на кордонах всего Голтвянского уезда усиленную стражу против турбаевских бунтарей. Правда, пикетчики, стоявшие в карауле, сочувствуя турбаевцам, часто удирали со своих постов, но, так или иначе, село жило в осаде, с пиками на страже своих нелегких вольностей.

Тем временем царица вела переписку по поводу Турбаев с князем Григорием Потемкиным, генерал-губернатором харьковским, екатеринославским и таврическим. Переписка эта была полна тревоги. Как их прибрать к рукам без особого шума? Двинуть против них войска? Но не получится ли хуже, не раздуют ли подобные действия новую Пугачевщину? К тому же Польша под боком гудит от недовольства, во Франции — революция...

Решено было, откупив турбаевцев в казну, переселить их с Хорола на свободные, не заселенные земли Юга. Высочайшим указом дело это было поручено вести пра-

вителю екатеринославского наместничества генерал-майору Каховскому.

С наследниками Базилевских Каховский договорился без особых затруднений, помещики уже и сами рады были избавиться от беспокойных Турбаев, быстрее перепродать их в казну. Наследники шли даже на то, чтобы вместо денег получить плату натурой, «солью таврической», за каждую турбаевскую душу. Но с самими турбаевцами Каховскому не удалось так легко и полюбовно сговориться. Оказалось, что никуда переселяться они не хотят, что без пана им и в Турбаях хорошо.

«К переходу в степи не имеем желания,— писали они Каховскому,— да так, что хотя бы и смертью пострадать в Турбаях готовы».

От старых казаков, побывавших в крымских походах, турбаевцы немало слыхали о южных безводных степях, знали, чем они могут встретить крестьянина...

Решили держаться до последнего, не сдаваться ни на угрозы, ни на уговоры.

Тогда, с согласия царицы, Каховский снарядил против турбаевцев карательную экспедицию.

Не в открытом бою — хитростью были взяты славные Турбаи, по коварному плану, заранее разработанному Каховским. Цель похода даже от самих солдат держалась в полнейшей тайне. Им говорилось, что совершают, мол, они переход в город Гадяч, что останавливаются под Турбаями лишь для того, чтоб починить обозы и напечь хлеба. Под вечер, когда турбаевцы, доверчиво пустив войска на постой, сами принялись помогать им варить ужин и чинить обозы, была дана команда: хватать старого и малого, сгонять, запирать в амбары.

Утром приехал из Гадяча суд, наехали палачи со своими инструментами.

Зверскими были царицын суд и расправа! Вожаков — к смертной казни, других — кого под батоги, кого под плети, но всех подряд — взрослых и детей, женщин и стариков. Покраснел от крови турбаевский майдан. Тем, которые должны бы умереть под батогами, но благодаря крепкому здоровью не умерли, повырывали ноздри, повыжигали железом на лбу В, на щеках — О и Р — и в Сибирь на пожизненную каторгу, остальных — в степи на поселение, что равнялось самой тяжелой ссылке.

Всего нужно было переселить более двух тысяч душ.

Разделили турбаевцев, как невольников, на партии: часть конвоиры повели за Буг, к Днестру, другую — в безводные степи Присивашья...

В мае офицер на коне вывел турбаевцев на черную дорогу... Опустели их хаты, обезлюдели сады и огороды над родным Хоролом...[1]

Тяжелой была дорога на юг. С каждым днем таяли на возах запасы пищи и воды. Падал непоеный скот, черные, как земля, плелись люди, обессилевшие, разбитые невиданной жарой, высматривая на горизонте спасительные озера... Дорожили каждой каплей, искали на рассвете росу на травах, но и росы в этих краях не было... Дети, один за другим, умирали в дороге, угасая на руках у измученных жаждой матерей. Весь скорбный путь с Полтавщины до Присивашья был обозначен холмиками — могилками турбаевских детей...

— Колодцев здесь и сейчас мало, а в то время их и совсем не было,— рассказывал Мануйло.— Однажды, уже в глубокой степи, наткнулись турбаевцы на озерко... Сами, может, и не заметили б, да птицы помогли... Среди огромных равнин лежала чуть заметная впадина, заросшая буйными травами... Разные птицы летали над ней, цапли стояли в траве... Подошли поближе, смотрят: понизу — среди травы — водичка светится! Осталась тут, видимо, еще от снега, с весны... Турбаевцы так и назвали это место Чаплями, а всю впадину — Чаплинским подом... Вода в степи! Какая ни есть, а все-таки вода... Хотели уже и селиться вокруг озерка...

— Оно было ничье? — спросил Данько, напряженно слушая.

— Ничье, как это небо... Вольно было кругом... Но не разрешили турбаевцам селиться возле воды, погнали

[1] Со временем на месте опустошенных Турбаев выросло новое село под названием Скорбное. Владели им побочные потомки Базилевских, один из которых дослужился до высокого камергерского чина. В 1849 году он публично был высечен на сельской площади крепостными Скорбного и, спасаясь от позора, выехал навсегда за границу. Однако ему и там не удалось скрыть следы турбаевских розог. Герцен в «Крещеной собственности» пишет: «В прошедшем году, переезжая С.-Готар, я взял в одной гостинице книгу записей, в ней большими буквами стояла русская фамилия. Под нею другой путешественник написал мелким шрифтом по-французски: «Тот самый, которого дворовые люди высекли». Этот высеченный крепостными пан и был камергер Базилевский. *(Примечание автора).*

дальше. Потому что для поселения им были отведены другие места: то на безводном Каланчаке, то по Перекопскому тракту — на месте теперешней Чаплинки... Хоть село свое назвали Чаплинкой в память о тех цаплях, которые первыми встретились им в степи и порадовали было водой[1]... В Чаплинке паны тоже не забывали турбаевцев: прежде всего поселенцам было запрещено копать колодцы, чтоб не переманили чумаков от казенных платных водопоев. Это была кара из кар. Переселенцы вынуждены были бочками — за сорок верст — возить воду из Днепра, должны были лед заготовлять зимой в погреба. С мыслью о воде ложились и вставали, и так — всю жизнь... Потом стали тайком по ночам рыть в сараях колодцы. Свежую землю мешками выносили далеко за село, пригоршнями развеивали по степи, чтоб не видели следов приставленные для присмотра должностные лица... Кто знает: может, оттуда, из этой колодезной земли, ночами рассеянной в полях, как раз и родилось наше марево, вечно текущее, светлое и чистое, как реки слез...

— А Чапли те, с озерком., кому отошли?

— Озерко высохло, а Чаплинский под со всеми окрестными землями позже был продан... Царь Николай Первый продал их — пятьдесят тысяч десятин — какому-то пришлому герцогу Ангальт-Кетенскому... По полторы копейки за десятину... А герцог, основав в Чаплях экономию, дал ей название Аскания-Нова, потому что одна Аскания уже была у него где-то в Пруссии. Впоследствии он прогорел здесь, как швед, и должен был перепродать все земли колонистам Фейнам...

Только теперь Данько понял, почему атагас все время называет Асканию не иначе как Чапли: «Поедешь в Чапли... Приедешь из Чаплей...»

— По полторы копейки,— задумался парень.— Такую землю!..

— Ну да, такой был хозяин...

Допоздна текут воспоминания, легенды, предания о степной жизни. О чем только не услышишь у ночного чабанского костра! И о батрацких скитаниях, и о самодурстве ленивого пана, услышишь даже о том, как один богатей здешний не на лошадях, не на волах, а на кабанах любил проехаться через весь Мелитополь, получал

[1] «Чапля» по-украински — цапля.

величайшее удовольствие от того, что до самого здания банка подкатывал в кабаньей упряжке...

— А то еще такую быль рассказывают. Собрался жениться один из степных магнатов. Ехал он в подпитии из Херсона или еще откуда-то и потерял пачку ассигнаций. Нашел чабан. Сорок тысяч! Что делать? «Построю, думает, церковь». И дело хорошее, и грех можно замолить, бог простит. «Да нет,— думает немного погодя,— лучше я хутора всем трем сыновьям построю, чтобы не были такими бездомными, как я».

Однако и это не удовлетворило его: мучит совесть. Думал, думал, да и решил-таки... вернуть деньги. «Ежели из этих сорока тысяч пан выделит тысяч пять, и то заживу». Понес свою находку в главное имение, а там как раз свадьбу играют. Паныч и принять чабана не желает. Наконец невеста услышала, что какой-то там чабан добивается, упросила паныча: «Прими!»

Велел пан пустить чабана в хоромы. «Что? Сорок тысяч? Так, по-твоему я такой дурак, что деньги по степи сею? Не мои! Ну да, впрочем, раз уж принес, так давай, а тебе, скажи, пускай дадут веревку, чтобы ты мог повеситься».

Шутки ради панские слуги дали чабану веревку. Взял ее чабан, пришел в степь к арбе, печалился-кручинился до ночи, а потом взял да и повесился на перекладине арбы...

Словно бы из страшной книги, где все записано, взято на заметку о панских издевательствах над людьми, вычитывает Мануйло свои степные легенды и были.

Даже когда дремота одолевает парня, и тогда он, сквозь убаюкивающий треск кузнечиков, слышит суровые слова о пане Саливоне да о Марьянуше. Это атагас Мануйло, опершись на герлыгу, гудит, поет степи свою думу...

XVIII

В пятницу утром, едучи в Асканию за харчами, догнал Данько в степи босого высокого крестьянина с котомкой за спиной. Путник попросил парня подвезти его.

— Садитесь вот там, на передке,— указал Данько путнику место в арбе. Сам он, как всегда, восседал на верблюде, болтая от нечего делать ногами.

Ехали некоторое время молча. Тяжкое горе, видимо, угнетало Данькова пассажира. Костлявый, худющий, кривоносый, он сидел на передке, устало опустив плечи, как старый степной орел на копне сена. Молча, со скорбным равнодушием, смотрел он на проплывающую, затканную маревом степь с виднеющимися кое-где колодцами, издали похожими на виселицы: два столба с перекладиной...

— Наниматься, наверное, в Асканию? — первым нарушил молчание Данько.

— Да нет... Сына вызволять...

— А зачем он там, сын ваш?

— Возле колодца ночью объездчики застали... Мало того, что на месте до крови избили, еще и в каталажку бросили: выкуп давай...

Слово за слово — разговорились. Выяснилось, что это однополчанин Мануйла по японской войне, строгановский житель Олейчук Мефодий. Имя показалось Даньку знакомым, и парень стал припоминать, где он мог его слышать.

— Ага! Так это вы тот, что колодцы кругом копаете?

При упоминании о колодцах крестьянин заметно оживился.

— Копал когда-то, а теперь уже в отставку вышел: ноги очень крутит... Для колодезного дела железное здоровье нужно, парень... Пока был моложе, оно и ничего: поднимешься раз в день на поверхность, выпьешь залпом полкварты, чтоб согреться, и опять туда, вглубь, до самого вечера. Наверху солнце, жара, трава свертывается, а там, на глубине каких-нибудь двадцати саженей, как в леднике. Земля из тебя все тепло вытянет... Так натопчешься за целый день по колени в ледяной жиже, что и кости онемеют.

— Еще бы, после такого да ногам не крутить,— искренне посочувствовал Данько.

— Хорошо, если угадаешь, где начать, а то бывает, бьешь неделю, бьешь месяц, глины уже повыбросил гору, а воды... нет. Пропал даром труд, заваливай здесь, переходи на другое место. Такая-то наша работа, хлопче... Много их перекопал, да все по чужой степи: мои вон виднеются до самой Преображенки. И ноги, считай, навек застудил, и нос вот по-ястребиному перекосило, ведром перерубило... Сорвалось над головой и рубануло

пария, чтоб отметный был. Зато и отблагодарила меня на старости лет Фальцфейниха кровавыми своими пенсиями! За бочонок воды сына замучили, еще и выкуп давай... А где его взять, выкуп-то?

Грустно вздохнул Данько, сидя на верблюде. Каторжная жизнь! Бедствуют люди в Криничках, погибают в каховских ярмарочных лазаретах, мучаются и здесь... Чья степь, того и право, того и отары, того и колодцы. Собственными руками выкопал человек колодец, а воду брать не смей, потому что она уже не твоя и не сына твоего... Поймают, изобьют, еще и вором сделают, в арестантскую швырнут!

И так должно быть? Чтоб трутни пановали, а рабочий человек не вылезал из беды? Взять хотя бы стрижею тетку Варвару, или атагаса Мануйла, или этого Мефодия — перебейноса, колодезника... Что против них Фальцфейниха, почему она правит ими всеми? А что, если б ее за патлы, да по степи, как турбаевскую ту Марьяну?!

— Думал было хоть солью от нее откупиться, да сейчас и на соль уже лапу наложили,— жаловался Мефодий.— Живешь, как в петле, со всех сторон веревка затягивается... Мы здесь, в Строгановке, издавна солью промышляем, живем больше с того, что Сиваши пошлют... Этим летом соль как раз не плохо уродила, можно было б хоть немного дырки залатать...

— Дяденька,— удивился Данько,— а разве соль родит?

— А как же... Родит, парень, да не всегда... Бывает, что лето пройдет — не найдешь и крошки. Зато в урожайный год нарастает ее сразу миллиарды пудов...

— Вот туда бы мне со своими верблюдами! Пусть бы наелись до отвала!..

— Все зависит от погоды,— говорил Оленчук.— Когда поднимется ветер с Азова, погонит воду на Сиваш, зальет его до самого, считай, Перекопа, тогда у нас, парень, виды на урожай. Вот ветер повернулся, вода бежит назад в море, остается ее на дне Сиваша не больше как на палец... Тут еще солнце пригрело, и рассол уже кипит, все Гнилое море перед тобой «замерзает» солью, затягивается ею...

— Это она вон там белеет? — загляделся Данько вдаль.

— Мне отсюда не видно. А с верблюда, стало быть, видать?

— Белеет, даже сияет... Будто снег среди лета выпал!

— Вот видишь, то за неделю наросла... И правда, весь Сиваш в эти дни лежит, будто первым снегом покрытый... Идешь ночью, море покалывает в ноги: все соль да соль. Ничего, что разъедает ноги, зато облегчение душе: пройдешь с гребком полосу — стаиет за тобой вал соли. Когда луна светит, всю ночь не ложимся спать. Нагребешь валы, сгребешь их потом в кучи. С верхушки вода постепенно стекает книзу, ветерок обдувает, соль просыхает — глядишь, уже стоят в Сиваше, как лебеди, сугробы твоей соли!..

— А живые лебеди там есть?

— Живых... нету.

— А рыба?

— И рыба не водится... Мертвая у нас вода, парень... Кроме соли, считай, ничего в ней нет... А теперь уже и на соль запрещение вышло. Арендаторы крымских соляных озер подали губернатору жалобу на нас: запретите, дескать, присивашским селам сгребать соль на Сиваше. Губернатор, понятно, стал на сторону арендаторов, где же ему быть? Мы с братом Иваном три ночи вот мешками носили, кагат возов на пять выложили в камышах, а вчера явился урядник с понятыми и все замерил, описал... Теперь или хабар давай, или штраф плати...

— А какое их дело вмешиваться? — возмутился Данько.— Разве они и море ваше арендуют?

— Море-то не арендуют, море — людское... И соль все равно зря пропадет: никто ее сгребать не станет, если мы не сгребем...

— И сам не гам и другому не дам?.. Нелюди!

Не таким представлял себе Данько этот край, собираясь в Каховку. Думал, что здесь все люди живут в достатке и никто никого не обижает... Солнечной, ласковой и щедрой рисовалась ему Таврия сквозь надпечное, расшитое белыми морозными цветами оконце! Растаяли цветы — растеклись наивные Даньковы мечтания... После многочисленных каховских впечатлений, осиянных образом правдистки, после разговоров в вонючих овечьих сараях, после чистых, спокойных, как легенды, историй Мануйла он заметно повзрослел, перед ним как бы открывалась новая, уже совсем не детская ступень понима-

ния мира, всюду одинаково несправедливого. Сама жизнь все чаще толкала его на размышления, на поиски какого-то просвета в будущем. «Вы — сила!» — вспоминались ему слова правдистки, сказанные в Каховке. А разве, в самом деле, не показали тогда сезонники свою силу, объединившись хоть ненадолго? Выкупали-таки стражников в Днепре! А сейчас разбрелись по таборам, распылились по степи... Кто их тут объединит, кто соберет?..

Асканийские грачи, видимо, до сих пор еще помнили Данька: когда он въехал на главную улицу, птицы подняли страшный галдеж. Парень повеселел:

— Не забыли!..

Арбачи останавливались на просторном дворе между Зеленой конюшней и мастерскими, где находились также и продуктовые склады. Сюда и завернул свою колесницу Данько, высадив перед этим Оленчука у конторы. Среди арбачей парень уже приобрел веселую славу — его появление было встречено возгласами, шутками:

— Вот и наш гурбаевец, тот самый, что заворачивает верблюдов под Софьины окна!

— Любит заглядывать в панские спальни!

— Как же ты сегодня их обманул?

— Сегодня окна уже занавешены,— грубовато откликнулся Данько.

— Заметил все-таки! Говорят, напугалась пани чабанского наезда, метнулась куда-то, аж в Преображенку, на целый день...

Пятница для Аскании в самом деле была шумным, беспокойным днем. Пыль, собачий лай, рев верблюдов, скрип арб... Целая ярмарка стоит возле мастерских. Прибывшие из степи арбачи и молодые чабаны, соскучившись за неделю возле отар, ведут себя в этот день в поместье, как моряки, которые после долгого плаванья сошли наконец на берег. Пренебрегая запретом, горланят песни, задирают служанок, устраивают собачьи бои или сами борются на поясах перед мастерскими.

Данько старался ни в чем не отставать от других арбачей, с которыми он был уже запанибрата. Распрягши верблюдов и заняв очередь за продуктами, подходил к собравшимся, здоровался, с размаху ударяя по ладоням, затем, по примеру взрослых, принимался вертеть цигар-

ку из махры. Пусть не подумают, часом, приятели, что он уж и затянуться не умеет. И затягивался так, что в глазах зеленело.

Потом его можно было видеть где-нибудь в центре толпы, где он ходил перед товарищами на голове или, лежа где-нибудь в холодке, точил лясы насчет распущенности Софьи, насчет ее прежних наездов в степь с приятельницами и шампанами на чабанскую кашу и на голодную чабанскую любовь.

Получать продукты помогал Валерик. Разбираясь хорошо в весах, он и Данька учил, как надо за ними следить, чтоб кладовщики не обвешивали при выдаче.

На этот раз Валерик застал своего друга в мастерских, где непоседа-арбач, окруженный кузнецами, огромной кувалдой пробовал свою силу на наковальне.

— Будет, будет из него толк,— поблескивали зубами черные, как негры, кузнецы.— Три таких удара, а еще пальцы не отбил...

— Он уже и сейчас лягушку подкует... А вырастет, так подкует и саму Фальцфейниху...

Заметив товарища, Данько бросил молот и поспешил к нему. Валерик за эти дни посвежел, принарядился.

— Здоро́во, друг!

— Здравствуй, Данько!

Ребята радостно пожали друг другу руки.

— А я уже подумал, не загордился ли ты, чего доброго, там, в своем саду. Светлана не пришла?

— Она сказала, на шлях выйдет, когда в степь будешь ехать...

— Оно и лучше, что сюда не пришла... Мы тут, бывает, такое говорим, что девочке и слушать рано... А ты все поливаешь?

— Поливаем понемногу... Вот и сейчас бегу на водокачку узнать, в чем дело... Что-то не подают воду на башню, наверное, перевели на Внешние пруды...

Водокачка была тут же, за мастерскими, и ребята пошли к ней вместе.

— Ну, ты уже привык к своим... кораблям пустыни? — улыбнувшись, спросил Валерик, когда они проходили мимо верблюдов.

— Уже как шелковые... Ты знаешь, почему они ревели? Их надо солью каждый день кормить, а я не знал... Ох и едят же! А пьют после этого — страх...

В это время на улице послышались крики, ругань. Ребята оглянулись. Два чеченца верхами гнали куда-то высокого старого крестьянина, который, защищаясь от нагаек, прикрывал лицо рукой.

— Олейчук!..— воскликнул Данько.— Куда они его?

— За межу, наверное,— мрачно ответил Валерик, двигаясь дальше.

Возле водокачки внимание Данька привлекли два огромных цементных круга, стоявших рядом и поблескивавших на солнце огромными стеклянными колпаками.

— А что тут, в этих шеломах?

— А это же... колодцы водокачки.

— Колодцы... и под стеклянными шапками?

Валерик засмеялся.

— Тут, брат, вода — всему королева, и наряжают ее, как королеву... Для нее в саду построили из кирпича эту красивую башню, увитую плющом, для нее — фонтаны, статуи, гроты... И тут, видишь, какими коронами увенчали ее...

Остановившись у одного из колпаков, Данько заглянул через стекло в колодец. Мрак! Вначале — солнце на круглых каменных стенах, а глубже — темень, железо, мазут, какие-то механизмы и, кажется, люди около них...

— Верно, насосы ремонтируют,— сказал Валерик.— Видишь, все там...

— Как же они туда пробрались?

— Там сбоку ход есть... Хочешь — спустимся?

— А нас не чертыхнут?

— Нет, меня ведь Привалов знает...

— Какой Привалов?

— Механик водокачки. Хороший дядька. Его асканийская детвора называет Водяной Механик или просто Водяной...

В помещении водокачки было сумрачно. Закопченные стены, черная паутина в углах и опять какие-то механизмы, замасленная тяжелая сталь, маховики, ремни, белые циферблаты приборов... И хотя все сейчас стояло без движения, Данько потрясла эта затаенная, как бы насторожённая мощь машин, впервые увиденных им так близко.

— Это газогенератор,— объяснил на ходу Валерик,— он работает на каменном угле, на антраците... Ой как

раз и двигает своей силой все насосы... Ну, а теперь нам сюда...

Узкие и темные ступеньки вели глубоко вниз. Сам Данько, конечно, ни за что не отважился бы туда спуститься! Но Валерик уже пошел вперед, и Даньку ничего не оставалось, как двинуться вслед за ним. Осторожно ощупывая стены, пригибаясь, он лез и лез за товарищем куда-то во влажную темноту, словно молодой черт, который после земных странствий возвращается к своему пеклу в подземелье.

Наконец блеснул какой-то просвет, и Валерик с кем-то заговорил:

— Иван Тимофеевич послал узнать...

— Не утерпел! Приревновал уже, наверное, нас к зоопарку?

— Нет, к Внешним прудам...

— Я так и знал... Сейчас будет, уже кончаем...

Здесь была целая подземная мастерская. На мокром настиле из грубых досок при скупом свете, падавшем сюда с высоты сквозь отверстие колодца, работали расположившись в различных малоудобных позах, люди, замасленные, полуголые, но веселые и бодрые. Тот, кто разговаривал с Валериком (Данько догадался, что это и есть сам Водяной), был небольшого роста, но крепкий, узловатый, быстрый в движениях, с искристым взглядом серых глаз, пронизывающих и в то же время приветливых. Заметив за плечом Валерика оторопевшего Данька, он сразу угадал в нем человека степного, далекого от всей этой механики.

— Там у вас проще: веревку через барабан — и «гей!» в простор,— пошутил механик, когда Валерик познакомил его со своим другом.— А мы тут полжизни, браток, под землей... Но ничего, духом не падаем! Иногда и рыба попадается, днепровских сомов выкачиваем...

Данько даже рот раскрыл:

— А разве вы днепровскую качаете?

— А то как же!.. Днепровская, браток... От самой Каховки идет сюда по жилам под землей... Ну, готово, ребята?

Вытирая руки паклей, механик посмотрел вверх. Оттуда упал на него скупой свет, даже не похожий на солнечный.

— Павка! — скомандовал Привалов кому-то наверх.— Давай! Лудло — на башню!

Было в его последних словах столько радостной энергии и властности, что Даньку и самому захотелось быть таким, как механик, умелым и боевым.

— Пошли! — тронул его за руку Валерик, и они стремительно кинулись вверх по ступенькам.

Здесь все уже пришло в движение, размеренно, мощно гремело, мелькало маховиками, высвистывало пасами, дышало на Данька непривычным машинным теплом...

Насосы работали.

— Ну и Водяной! — восторженно воскликнул оглушенный Данько, пробираясь к двери.— Один знак из-под земли, и все кругом загремело!..

Выскочили на воздух. После влажной темноты подземелья колодцы как-то особенно пышно сверкнули на ребят своими стеклянными коронами. Невдалеке от колодцев, в неглубокой, тоже застекленной яме, копался, склонившись над трубами, русый, блестевший от пота юноша.

— Павка,— обратился к нему Валерик,— перевел?

Юноша, выпрямившись в яме, улыбнулся:

— Уже пошла... не догонишь!

— Здесь распределитель,— объяснил Валерик товарищу.— Вон та труба идет на зоопарк, та — на Внешние пруды, эта вот — к нам на башню...

— А что такое лудло?

— Это вентиль, клапан, система такая... Открыл — и уже погнало воду по трубам в парки, в пруды, уже для всей Аскании праздник!..

— Вот черт!.. Сказал — и все ожило... Всю силу в себе держит!..

Мимо сверкающих, полных света колодезных корон, между груд искристого антрацита ребята снова выбрались к стоянке арбачей, к кибиткам и рыжим, выгоревшим на солнце верблюдам, которые дремали, лежа в пыли, или тоскливо высились вдоль заборов, словно живые привидения пустыни...

Возле продуктовых амбаров чабаны громко ссорились с кладовщиком, поблизости грызлись чьи-то здоровенные овчарки, но Данько, еще полный впечатлений от водокачки, ничего этого не слыхал. Остановился посреди

стойбища, поморгал глазами... Потом, закинув голову, вдруг раскатисто, полной грудью выкрикнул:

— Лудло — на башню!

И застыл, радостный, возбужденный, мечтательно заглядевшись в чистую небесную синь...

XIX

Хутор Кураевый возник и разросся в степи возле нескольких землянок, в которых издавна зимовали со своими семьями чабаны. Теперь землянки были почти незаметны за кошарами, воловней и другими хозяйственными постройками. Воловщики, кузнецы, доярки — все, кто постоянно работал на хуторе,— получали место в низком, с покоробленными стенами бараке, всех же прибывших на сезон не мог вместить никакой барак. Для сезонников заранее обносилась оградой небольшая площадка, примыкавшая к кошарам, сваливалась туда арба соломы — и гнездитесь...

Сюда после распределения попали криничане и коекто из орловских ребят (большинство орловцев, в том числе и Мокеич, были назначены еще дальше — на Джембек-сарай). Загородка и солома под открытым небом — это было все, что мог предложить сезонникам Гаркуша, приведя их в табор.

— Под открытым небом? — увидев ограду, воскликнула Ганна Лавренко так, словно всю жизнь спала в обитых бархатом спальнях.

— А что же,— засмеялся Гаркуша.— В компании да вповалку, чтоб к осени с приплодом были!

Ганна уставилась на него своими прекрасными большими глазами:

— А если дождь?

— Ха, дождь!.. Наловим рыбы — будет борщ!..

Так началась их жизнь в таборе Кураевом, который в конторских книгах значился фермой Кураевой. Аскания отсюда была чуть видна — стояла далеко в степи, как синяя туча, высунувшаяся краем из-за горизонта и застывшая на все лето в неподвижности. Фантастическим, несбывшимся сном промелькнула она перед сезонниками, со своей могучей зеленью, с крылечками и палисадниками, со светлыми прудами и журавлями крас-

цами на окраине парков... Все это предназначалось кому-то другому, прежде всего той рыжей ведьме с бураковым лицом и отвислым подбородком, которая, щурясь, осматривала их из-под своей панамы. Им же, сезонным невольникам и невольницам, надлежало прожить лето в далеком полевом таборе, не защищенном ни одним деревцом, открытом всем ветрам. По одну сторону от табора тянулись поля, по другую — лежала гладкая, как море, испокон веков не паханная степь, тысячи десятин сенокосных угодий... И то и другое принадлежало Фальцфейнам. Хлеба в этом году выдались слабосильные, зато травы, успев вымахнуть на зимней влаге, накатывались теперь из степи на табор тяжелыми валами.

С первых дней сезонники попали на сенокос. Ежегодно у Фальцфейнов заготовляли сотни скирд сена, чтоб хватило для нужд собственных экономий, а также на продажу. Самое лучшее степное сено, сухое и зеленое, как чай, прессовалось в таборах в тюки и отправлялось на Каховскую пристань.

Но перед этим его нужно было накосить, сгрести, сложить чьими-то руками...

...До восхода солнца поднял Гаркуша людей на сенокос. Похаживал в загородке, весело пощелкивал сезонниц по пяткам:

— Ну-ка, хватит отлеживаться! Поднимайся, которая хочет заработать к осени на чепец!

Косарям приказчик пообещал выдать вечером по чарке, если не будут лениться.

Вскоре у кладовых зазвенела батрацкая сталь: косари подбирали себе косы, пробовали бруски. Девушки разбирали вилы и грабли.

Выведя людей за табор, приказчик поставил косарей лицом в степь и торжественно снял картуз:

— Помогай бог!

У девушек пока не было работы, они разбрелись, искали цветы в траве.

— А нам как? — крикнула приказчику Олена Персистая, когда Прокошка-орловец первый, богатырски развернувшись, со свистом углубился в травостой.— Ждать, пока накосят?

— О, какая усердная,— усмехнувшись, повернулся к ней Гаркуша.— Видать, не ленивой матери дочка!..

Сейчас найду и вам работу девчата... Оставьте пока свои инструменты здесь, а сами давайте за мной!

Собрав девушек, Гаркуша загадочно улыбнулся и повел их по траве дальше в степь.

— Куда вы нас ведете? — удивленно спросила Ганна Лавренко.— Вперед косарей заворачиваете. Хотите, верно, чтоб ноги нам порезали?

— Отсюда начнем,— остановился наконец приказчик.— Растягивайтесь, девчата, в одну линию... Будете идти перед косарями и... птицу сгонять, чтоб не порезали. Раздвигайте руками траву, смотрите, может, где гнездо... Если гнездо — сразу подавай знак косарю, чтоб обошел...

— Жаворонков пасти,— засмеялась Вустя Яресько.— Такая работа нам по душе. Может, так все лето здесь пробудем...

— А вы думали как? У нас хозяйство культурное, заповедное, не то что там, на Джарылгаче... Есть у нас, девчата, недалеко коса Джарылгачская, птица тучами на ней садится, гнездо к гнезду... Так, верите, едут и пудами оттуда яйца нагребают... свиньям своим на корм!

— Кто едет?

— Да кто же... всё хуторяне,— буркнул Гаркуша, промолчав, однако, что набеги на Джарылгач и на Чурюк чаще всего устраивают как раз его братья с отцовского хутора.— А у нас насчет этого строго... Фридрих Эдуардович из самой Швейцарии телеграмму прислал: смотрите, мол, во время сенокоса за гнездами... Так-то... Каждая птичка под охраной, каждую насекомую жалеем... Ну, айда, девчата, вон косари уже приближаются...

Поблескивая мускулистыми икрами, девушки двинулись в открытую степь. В самом деле, по душе, видимо, была им эта работа! Ступали осторожно, раздвигали траву, как воду, мягко, ласково, и казалось, не из травы выпархивают перед ними жаворонки, а прямо из их ловких рук...

Гаркуша был доволен новым набором. Прекрасно работали новые сезонники, не приходилось подгонять. Мужчины, раздевшись по пояс, шли друг за другом, как тридцать три богатыря из сказки... Брали усердно, на всю руку, нагребали с размаху покосы, как волны...

Радовался втайне приказчик, наблюдая сенокос: будут и похвалы, будут и премии!

Удачный, радостный день для Гаркуши был украшен еще и румяными щеками Олены. Аппетитная, полная девушка и, кажется, не такая строптивая, как другие: еще в Каховке приказчик приметил ее... Своим присутствием Олена оживляла сегодня для Гаркуши весь сенокос. Голова Гаркуши невольно все время поворачивалась туда, в сторону Олены: она шла третьей в длинной линии девушек, которые брели и брели все дальше в степь... Не остановятся, не оглянутся... Однако куда их понесло? Шутят или поиздеваться вздумали над приказчиком? Словно далекая туча, на горизонте синеет среди ослепительной степи Аскания, а они на ее фоне как джарылгачские чайки...

Зови — не дозовешься... Пришлось на коне догонять.

— На Асканию собрались, что ли? — крикнул Гаркуша, прискакав без седла к беглянкам.

— Еще дальше,— ответила Вустя, поддержанная дружным смехом девушек.— До самого моря хотели!..

— Поворачивайте назад! А то вы, наверное, и в самом деле подумали, что вас сюда на баловство наняли, жаворонков пасти... Сено вон уже надо шевелить!

Гоня своих веселых беглянок по степи назад, Гаркуша все время ехал рядом с Оленой, заговаривал с ней о том, о сем. Девушки насмешливо перемигивались: подлаживается приказчик к Олене, осоловел, чего доброго в кухарки переведет...

— Гонят вон наших арестанток,— встретили девушек шутками косари.— По всей степи, верно, птицу подняли?

— На орлиное гнездо в одном месте наткнулись,— весело рассказывали девушки.— С яичками.

— Почему же вы не махали?

— Зачем махать? Далеко! Пока вы туда докосите, уже и орлята из гнезда вылетят!..

— Разбирайте вилы, девчата,— приказал Гаркуша.— Пора за дело!

— Разве уже не пойдем больше? — насмешливо обратилась к нему Олена.

— Хватит с них,— махнул рукой приказчик.— Показались в степи, и довольно... Теперь пусть хоть всех птиц перережут, я свое сделал...

Разошлись девушки с вилами по сенокосу, заняла себе Олена Прокошки-орловца покос...

Дружно кипела работа до самого обеда, не было на кого покрикивать Гаркуше: вилы так и сверкали в руках у девушек, напевно посвистывали косы в траве. За полдня обгорели косари, спина и грудь у них покрылись свежим загаром, покраснели на жаре так, что, казалось, и ночью, в темноте, рдеть будут.

Во время обеда настроение приказчика было в значительной мере испорчено. Началось с молока. Наиболее дотошные сезонники стали вдруг допытываться, почему это им вместо обещанных вначале галушек с цельным молоком дают какую-то бурду со снятым? Кто же, мол, вершки слизывает? За море идут? А разве за морем коровы не доятся? Или, может, там работа тяжелее, чем здесь?

Все знали, что молока на Кураевом много, тысячами струек звенит оно ежедневно в оцинкованные подойники. Распухали пальцы у доярок, пока выдоят стада. Была на хуторе даже удивительная машина для молока — сезонницы уже ходили накануне гуртом на нее смотреть. Хитрая та заморская машина — сепаратор; снятое оставляет в Кураевом, а сливки гонит куда-то далеко, в свои загребущие края. Вначале их в бидонах отправляют в Каховку, там сбивают из них масло и, оставив пахту каховчанам, отправляют готовое масло еще дальше, за море, к тем, кто прислал Фальцфейнам молочную веялку.

Не хотел Гаркуша с первого дня ругаться с сезонниками, пытался все свести к шутке:

— Много родственников у нашей пани Софьи по заграницам, да все, видно, католики... Никаких постов не признают, едят скоромное и в петров день!..

Но сезонники не принимали приказчичьих шуток, они шутили по-своему. Только покончили с молоком, как уже перешли к хлебу, недопеченному, мокрому. Одни лепили из него лошадок, другие верблюдов, а третьи, налепив жавороиков, принимались тут же учить их летать. Один такой жаворонок, выпорхнув из-за чьей-то спины, просвистел над самым ухом Гаркуши, вызвав среди батраков всеобщий хохот... Ну и народец!

После обеда работали уже не с таким усердием, как в первой половине дня, однако в общем хорошо. Ого-

лили до вечера степь, лежали покосы на версту от табора.

Вечером опять недоразумение: стали сезонники охапками тащить свежее сено в свою загородку. Пытался останавливать, перехватывать Гаркуша — куда там, лучше посторонись!

Навалили, разлеглись, как господа.

— Желаем на духовитом сене спать!

Пригрозил приказчик, что накажет за такое своеволие, обещанной чарки не даст.

— Ну и не давай, черт с тобой!

— Хоть залейся ею!

И лежали, развалившись на сене, как их благородия.

XX

Потянулись дни за днями. Ложились покосы, подимались густыми рядами валы, перерастая затем в большие копны. Гудело от усталости тело, и во сне косили — двигали руками косари. Обгорели на огненных ветрах девушки, до крови потрескалась у них на лицах молодая кожа. Ганна Лавренко работала, закрывшись до самых глаз, задыхаясь под платком, а вечером, добыв у доярок ложечку сливок, мазалась ими на ночь, лечила на губах кровавые трещины.

— Врут, не обгорю, не почернею,— говорила она подругам.— Буду белая, как эти сливки.

Сама не знала, для чего белизну наводит, для кого бережет свою красоту, но все-таки белилась, берегла. Наедине жаловалась Вусте:

— Что это такое? Возле Олены, и особенно возле тебя, ребята все время вьются, а меня как будто чураются, обходят. Скажи мне правду, Вустя, разве я не красивая?

Голос ее звенел искренним беспокойством.

— Не потому это,— ответила Вустя подруге.— Красивая ты, может, даже слишком красивая, но как-то не по-нашему, не простой красотой... К тебе, как к панночке, мужицкими руками и прикоснуться страшно.

В самом деле, Ганна казалась здесь многим белой вороной, ее холодная неприступность и ослепительная красота отпугивали даже приказчика, который, считая, что этот «квас не для нас», все упорнее домогался ласки

другой криничанки, Олены Персистой. Однажды за обедом Олена, смеясь, рассказала, как приказчик ухаживал за ней на сенокосе.

— Хвалился, что придет сегодня ночью попугать.

— За загородку? — удивленно спросила Ганна.

— А куда же...

— И тебе... смешки?

— А почему нет? — опять засмеялась Олена, влюбленно посмотрев на орловца, сидевшего рядом с ней.— Может, кухаркой сделает, если не буду ломаться...

— Ну тогда, Олена, чтоб снятого молока для нас не жалела: по ведру на брата,— заметил Прокошка, и все засмеялись.

В ту ночь Гаркуша действительно долго кружил возле батрацкого сеновала. Сезонники уже храпели, а приказчик, не находя себе места, все мыкался поблизости в темноте, как волк. Ни с того ни с сего заговаривал со сторожами (сторожили в таборе Сердюки), то ласкал собак, то просто торчал где-нибудь под кошарами, прислушиваясь к малейшему шороху.

Взбунтовалась приказчичья кровь, водит, не дает спать!.. Сторожа, догадываясь, в чем дело, старались держаться подальше от сеновала. Пусть лезет, пусть уж кладет себе под бок ту, которую сумел уговорить!..

Было уже за полночь, когда Гаркуша, проскользнув наконец за загородку, двинулся на цыпочках вдоль батрацких пяток, прислушиваясь к храпу сезонников. Постояв некоторое время возле девичьих рядов, он решительно опустился на четвереньки и осторожно полез в темноте на сено.

Олена спала на своем месте. Найдя ее в темноте, удивленный приказчик вдруг почувствовал, как девушка, поймав его руку, стала сжимать ее совсем не с девичьей силой. Еще не успел он опомниться, как Олена другой рукой уже крепко схватила долгожданного любовника за загривок и встряхнула его, точно добрый дядька. Тем временем появилась откуда-то и третья Оленина рука за нею — четвертая, пятая! Ловко накрыв Гаркушу сверху какой-то попоной, все эти руки начали молча толочь его.

Сопело сено, хрипело, хекало, но не кричало. Железные кулаки Олены, которых становилось все больше, дружно месили Гаркушу со всех сторон, не давая ему

опомниться. Все шло кувырком. Надсадно дышали сверху железные Олены махоркой, прыскал где-то в стороне девичий смех, стучали в колотушки, расхаживая по табору, сторожа, не подозревая, как летят тут перья от их приказчика. Подать голос, кричать караул? Но ведь тогда другие приказчики насмерть его засмеют, выживут из имения!

Наконец те же многочисленные руки Олены, подняв измолоченного Гаркушу на воздух и крепко раскачав, швырнули с сеновала за ограду.

— Проклятый серко! — послышался вслед чей-то басовитый, явно измененный голос.— Мне показалось, что волк лезет!..

— Это не серый,— возразил другой голос, тоже измененный до неузнаваемости.— Это, видно, цепной с хуторов забежал: шея начисто вытерта...

Пробейголовы, они еще глумились над ним!..

На другой день Гаркуша ходил запухший, в синяках, но — никому ни слова. Управляющему, который, приехав осматривать сенокос, заодно поинтересовался и шишками приказчика, Гаркуша невнятно пробормотал что-то об осиных гнездах и поспешил перевести разговор на другое.

Приказчик не без основания подозревал, что среди тех, кто тузил его, первыми заводилами были орловец и Андрияка... Он их угадывал по железным кулакам. Против них затаил глубокую злобу и потому решил, что кого-нибудь из этих верховодов надо непременно переманить на свою сторону, чтоб расколоть, обессилить батрацкую верхушку. Выбор пал на Федора Андрияку.

— Слушай, Федор...— начал однажды Гаркуша, подойдя к парню, когда тот клепал во дворе косу.— Давно хочу поговорить с тобой как земляк с земляком.

— Какие же мы с вами земляки? — удивился Федор.— У вас тут хутор и, наверняка, землишки десятин двести, а у меня торба блох там, на сеновале, лежит...

— Уж ты начнешь сразу... Это тебя, наверное, тот орловский научил... Ну чего ты с ним дружбу водишь, скажи мне, Федор? Что он тебе, брат или сват? Подумай, куда он тебя заведет? В острог да на каторгу, не иначе! Брось ты его, Федор,— зашептал над самым ухом Гаркуша,— добра тебе желаю, правой рукой, подгоняльщиком своим сделаю!..

— Эх, приказчик, приказчик! — презрительно усмехнулся Андрияка, ставя горчком перед собой недоклепанную косу.— Если ты за три копны куплен, так думаешь, и каждого можно купить? Руки мои ты в Каховке действительно купил, а на душу не замахивайся! Непродажная она, самому нужна, слышишь? Земляк?.. Какой ты мне, к чертовой матери, земляк? Что я, под одной свиткой с тобой на каховском берегу спал или, может, мы бревна вместе из Днепра таскали?

— Федор, дружба ваша...

— Ой, лучше отойди, приказчик, пока не поздно, потому что, ей-богу, могу ударить за такие слова! А как я бью — ты уже должен бы знать!..

Положив косу на клепало, Андрияка ударил по ней молотком как будто и не сильно, как будто слегка, но сталь зазвенела на весь двор.

Больше Гаркуша не возвращался к этому разговору. Зато стал еще придирчивее. Приказчик давал теперь выход своей мести в штрафах, для которых в экономии не существовало никаких ограничений. По малейшему поводу — за сломанные грабли, за испорченную косу или за растоптанный кем-нибудь валик сена — рвал и метал Гаркуша. Штрафы посыпались на сезонников, как из мешка.

— Это он норовит,— объясняли батракам дворовые,— чтоб вы свои штрафы осенью, после срока, остались отрабатывать.

— А, дудки! — коротко ответила на это Вустя Яресько.

Единственной отрадой для батрацкой молодежи оставалась песня. Вечера настали светлые, лунные, вся степь торжественно серебрилась под мглистой лунной фатой. После работы на сеновал приходил с гармошкой молодой таборный машинист из матросов — Леонид Бронников, тот самый, с которым орловец и Андрияка познакомились еще в Каховке на ярмарке, в гармошечных рядах, тот самый, который улыбнулся на берегу какой-то из кринничанских девушек. По сердцу пришелся Леонид сезонникам, а особенно юным сезонницам: веселый, светловолосый, как солнце, с белыми бровями вразлет, как крылья чайки в полете.

О машинисте говорили как о человеке бывалом, грамотном, знающем себе цену. Еще подростком начав

работать на торговых судах, он будто бы уже успел побывать в далеких плаваниях, но потом за какой-то пьяный дебош был списан с корабля и вот уже второй год глотает сажу на сухой суше, в фальцфейновской степи возле паровика. На дебошира Бронников был совсем не похож. Всегда веселый, спокойный и сдержанный, он ни к кому зря не придирался и, казалось, был вполне доволен своим сухопутным положением. По сравнению с другими Бронников хорошо зарабатывал — профессия машиниста в южных экономиях считалась довольно дефицитной. Очевидно, помня об этом, Гаркуша никогда не осмеливался кричать на матроса, избегал стычек с ним, да и Бронников в свою очередь старался не подавать поводов к ссоре. Работа у него шла исправно, и, пользуясь славой хорошего машиниста, Бронников разрешил себе держаться на хуторе так, словно вообще не замечал приказчика, который к тому же совершенно ничего не понимал в паровиках.

На сеновале матроса встречали всегда с радостью. Особенно сдружились с ним два неразлучных побратима — Федор Андрияка и Прокошка-орловец, которым машинист пришелся по душе еще с Каховки. Для них, завзятых гармонистов без гармони, Бронников был образцом, и хотя оба отродясь не видели моря, стали выкалывать и себе якоря на руках. Матрос же, будучи человеком исключительно товарищеским, не только доверял ребятам свою гармошку с перламутром, но и сам учил их новым песням, чаще всего матросским.

О девушках же и говорить нечего: не одной из них казалось, что матрос зачастил на сеновал ради нее, что, играя, подмигнул вчера вечером именно ей... Придет Леонид — и сразу исчезает дневная усталость, девушки уже готовы танцевать хоть до зари, успевай только поливать площадку панской водой, чтоб меньше пылило на гармониста! А он сидит в своей тельняшке, светлее луны, по-морскому принаряженный, задумчивый, словно видит перед собой все те Цейлоны и Сингапуры, в которых побывал... Все в нем какое-то необычное, могучее, привлекательное, как сказка, как само синее море, никем из девушек до сих пор не виденное... Чего стоит хотя бы одно движение, когда матрос, откинувшись с красивой небрежностью, растягивает гармонь, властно ведя пестрые мехи через свою полосатую, как у моло-

дого тигра, грудь и посылая их куда-то дальше вверх, за плечо! Ах, не знает матрос, что одним этим своим движением не цветистые мехи он растягивает, добывая чарующие звуки,— душу девичью вытягивает из груди!

Порой просили его девушки:

— Расскажи нам, Леня, что-нибудь про море, про далекие края...

Улыбнется, посмотрит на небо, усыпанное звездами...

— Да... Немало довелось походить по морям, на разных бывал широтах... Но таких звезд, девушки, как в нашей Таврии, нигде видеть не приходилось...

— В самом деле, какие-то очень яркие, крупные, полные они здесь...

— Крупнее, чем где бы то ни было... А знаете почему? Воздух слишком сухой, испарений нет в атмосфере...

И все заглядятся на звезды, расцветшие в сухой небесной степи, притихнут до тех пор, пока матросские пальцы снова не побегут по певучим ладам...

Стали в последнее время замечать девушки, что особенно часто заводит матрос любимые песни Вусти. Тишина стоит кругом, травы пахнут, а ему все «По долині вітер віє, а на горі жито половіє...» Тихо, задушевно, нежно вдруг начнет наливаться в лунной тишине матросское жито, как первая юношеская любовь. И уже не лунная ночь, а июньский полдень вдруг сверкнет вокруг золотыми нивами-разливами... А Вустя стоит в задумчивости, разгоряченная, взволнованная, ощущая трепет во всем теле, и, слушая, как нарастает нежная мелодия, незаметно и сама сольется с ней, подхватит еще нежнее, по-птичьи легко и естественно, и уже растет вместе с песней где-то над степью, над табором, долетая до самых звезд, действительно больших здесь, бо́льших, чем где бы то ни было.

А в обеденную пору, когда девушки пьют, как горлинки, воду возле колодца, приходит матрос в саже от своего паровика и начинает щедро освящать сезонниц панской водой, выплескивая на них полные пригоршни из ведра. Вода холодная — девушки извиваются и пищат, хотя, собственно, делать это должна одна только Вустя, потому что больше всего брызг летит на нее — словно серебром осыпает ее матрос.

Вустя не остается в долгу: схватив ведро, она выплескивает всю воду на матроса, и он, ахнув, удирает, выкупанный, выгибая свою спину с плотно прилипшей тельняшкой, под которой яблоками ходят молодые мускулы.

Случается, что Гаркуша, проходя мимо и как бы не замечая Бронникова, пригрозит девушкам, чтоб не разливали зря воду: и так, мол, скоту едва хватает.

— На него не грех,— ответит Вустя,— он матрос, он по воде скучает...

Так проходили дни. На троицын день из степи приблизилась к Кураевому отара Мануйла, и, воспользовавшись случаем, Данько отпросился у атагаса навестить сестру.

XXI

Вустя была с девушками в сепараторной, когда ее позвали со двора:

— Вустя, гости к тебе... Брат приехал!

Радость перехватила дыхание, и слезы почему-то стиснули ей горло, когда, выскочив во двор, она увидела наконец брата. Он стоял возле своего верблюда, улыбаясь до ушей, с герлыгой в руке, с дырами на обоих коленях... Такие дырки, а парню хоть бы что: стоит беззаботный, светит ими, как двумя солнцами, на весь табор...

— Данько! Братик мой!..

Воспитанная сама в строгих крестьянских обычаях, не баловала раньше Вустя и брата нежностями, но на этот раз не сдержалась — кинулась, обняла, приголубила, даже стыдно стало парню перед сезонниками. Разве он маленький, чтоб с ним так здоровались? Не мальчишкой, а человеком с профессией явился сюда, можно сказать, солидным, заслуженным арбачом!

Бывает у подростков пора, когда они, засидевшись в детях, как те молодые дубки, что вначале растут только в корень, начинают потом, набравшись сил, вдруг гнать вверх, вырастая за лето на полшапки. Наступило, видно, и для Данька такое лето. Чабанствуя в степи, он стал еще сухощавее, жилистей, но и вверх его погнало заметно.

Знакомые сезонники с любопытством обступили Данька и его верблюда. Орловец и Андрияка заговорили с парнем, как равные с равным, стали расспрашивать о чабанской жизни, о том, не обижает ли, часом, подчиненных атагас. Сердюки тоже вмешались в разговор, стараясь всячески выведать у земляка, есть ли возможность у чабанов утаивать от приказчиков ягнят или готовые смушки.

Пока они разговаривали, Вустя успела вооружиться иголкой, нитками и лоскутами. Смеясь, взяла брата за руку:

— Пойдем уж... В светлицах гоже сестре брата встречать.

— Где ж твои светлицы?

— А вот она, степь,— обвела девушка рукой,— то и есть наши светлицы, Данько... Пойдем в степь — хоть наговоримся наедине...

— О, тогда я и верблюдицу заберу; пусть возле нас попасется!..

Пошли втроем: брат, сестра и старая верблюдица...

Зашли далеко от табора, на вольную волю. Вустя, усевшись под копной сена, достала откуда-то из-за пазухи медовый пряник и подала брату. Пряник был явно городской, и это заинтересовало Данька.

— Откуда он у тебя, Вустя? Неужели каховский?

— Нет, это... из Херсона.

— Ты смотри!.. А кто привез?

— Кто да кто,— неожиданно покраснела сестра.— Ездил туда на днях один человек... машинист наш... Да что тебе, не все равно? Ешь молча, раз дала.

И, разложив лоскут, приказала тоном старшей:

— Размундировывайся... Может, и нельзя браться в праздник за иголку, но я уж возьму этот грех на себя...

Пока Вустя, сидя в холодке, латала Даньковы штаны, он, словно молодой Адам, лежал по другую сторону копны, терпеливо принимая солнечные ванны и переговариваясь оттуда с сестрой. Ему никак не хотелось, чтобы у сестры создалось впечатление, будто плохо в степи: пусть Вустя будет хоть за него спокойна... Все хвалил. Расхваливал на все лады не только своего турбаевца атагаса Мануйла, но и Мануйлову отару и даже неуклюжую эту верблюдицу, что паслась поблизости.

— Характер у нее шелковый, куда хочу — туда и заворачиваю,— весело говорил Данько, опершись подбородком на руки и болтая в воздухе голыми ногами.— А терпеливая какая! Верблюд, Вустя, не то что до Каховки, до самых Криничек может дойти не пивши... И в харчах не перебирает — самый грубый молочай ест... Просто удивительно, почему их в Криничках до сих пор не заводят?

— Только верблюдов еще там не хватало,— отвечала Вустя.— И без них тошно.

— Или возьми овцу,— просвещал Данько сестру.— То враки, что овца из всех животных самая глупая. Дурная, мол, аж крутится... Бывает, что и крутится, но почему? Это значит, жара, голова у нее болит, она от боли вертится, а совсем не по дурости... Зато как они тоико погоду чувствуют, как сопелку любят! Овца без музыки и пасется не так... Особенно на рассвете: встанет вот так Мануйло, заиграет, а они хрупают поблизости, слушают сопелку, словно думают.

— Вижу, тебя чабаны уже совсем в свою веру обратили,— улыбнулась Вустя.— Уже и в Кринички возвращаться не захочешь...

— А что, может, и зазимую в степи,— разглагольствовал арбач, млея на жаре нагишом.— Передам заработок с тобой, а сам, может, и зазимую. Кого я там не видел, в Криничках? Огневиков и их кутузку?

— А мама? — встревожилась Вустя.

— Мама... Маму я и здесь не забуду,— задумавшись, ответил парень.— Я их нигде, никогда не забуду...

Когда штаны были готовы, Вустя швырнула их брату:

— На, надевай...

— Вот это приварила,— обрадовался Данько, натянув штаны и любуясь новыми заплатками.— Век, наверное, теперь не сносить!

— Что ты мелешь? — встревоженно подняла брови Вустя.— Весь век в заплатках?

— Да это так, к слову пришлось,— успокоил Данько сестру.— Ты знаешь, сколько с одной овцы штанов настригают? Семь пар, Вустя...

До самого вечера сидели они под копной, словно оглядывая свою жизнь, вспоминая родные Кринички, мать. Чуяли сердцем оба, что есть что-то обидное,

страшно несправедливое в том, что сидят они далеко от родного дома, под чужой копной сена, над свежими Даньковыми заплатками... Верблюдица лежит, дремлет... Неоглядная сухая степь вокруг... Ветер над шляхом ветер догоняет...

— Турбаевцев силой в эти степи выселяли, а мы, их правнуки... сами уже сюда пришли...

— Сами, говоришь? Ой сами ли, братишка, по доброй ли воле? Почему-то богатые не протаптывают сюда стежек, а все только одна голытьба... Почему-то не с радостью, а с тоской, как в неволю, провожали нас матери... Нет, не по доброй воле, Данько, сюда забиваются.. Турбаевцев гнал офицер на коне, а нас другое гнало... Подати, нищета, нехватки погнали нас на Каховку!..

Орел проплыл в прозрачном небе... Глубокий покой стоит в степи. Ткутся и ткутся тоскливые думы... Где Криннчки, где мать, а где они, дети? Разметало их, словно бурей, по свету. Встретились на часок в своих батрацких степных светлицах и снова должны разойтись, неведомо, когда опять свидятся. Кто им здесь отец, кто мать? Разве не могли б они жить все вместе, счастливым домом, семьей? Отца забрали, от матери их отделили, нет у них пристанища в жизни. Удались оба и здоровые, и расторопные, и в работе усердные, а какой им почет за это? Мешки на плечи — и иди куда знаешь, потому что тесными стали для них Кринички... Малоземелье? Ложь! Сколько той земли вокруг Криничек, родящей, щедро орошенной дождями.. Леса, луга какие вдоль Псла!.. Огнейкам небось и там просторно, а Яреськам и здесь, в степной Таврии, тесно. В какой конец ни подайся, хоть целый день иди,— все Фальцфейново и Фальцфейново...

— Сегодня троицын день,— промолвил Данько, замечтавшись.— Сколько зелени понатаскают хлопцы из лесу!... Во всех хатах зелено, кануфером и любистком пахнет...

— А тут хоть бы для смеху какое-нибудь деревцо посадили,— вздохнула сестра.— Хоть бы где-нибудь куст бузины зазеленел...

— В Аскании, Вустя, есть... Там дубы, как тучи, стоят!

— Эх, братишка!.. В Аскании — то не для нас.

Вечером, когда жара спала, провожала Вустя брата далеко в степь, опять к отаре. Предупреждала на прощанье:

— Смотри, будь там с верблюдами осторожней, чтоб не покалечил какой-нибудь... Здесь искалеченному — погибель.

Откуда-то из-за моря всходил уже месяц над степью, когда Вустя, проводив брата, возвращалась в табор. Была вся растревожена этой сиротской семейной встречей. Самые жгучие, приглушенные будничными заботами боли сразу ожили, защемили. С новой силой заклокотали в ней все малые и большие обиды, против которых она защищалась как могла — по-девичьи неумело и простодушно, где шуткой, где песней, а где и слезами в одиночестве... Широкая степь лежала вокруг, полно было воздуха над степью, а Вустя шла задыхаясь. Хотелось выплакаться, вылиться песней перед кем-то, упиться песенной горечью взахлеб... Кто лучше всего поймет ее, к кому обратиться в этот час, с кем поделиться своими горькими богатствами? С кем же, как не с ней, с родной матерью!.. Ой, мамонька-зоренька, как в батраках горько!

Сама не заметила, как залилась в полный голос грустной батрацкой песней:

Як би ж моя матінка знала,
Вона б мені вечерю прислала...
Ой, чи місяцем, чи зірницею —
Чи братіком, чи сестрицею!..

Не замечала, что уже плачет, пела, казалось, звездам и ясному месяцу, что светил ей навстречу.

Высоко поднималась над гулкой вечерней степью Вустина задушевная песня. Долетала в один конец, куда-то к Мануйловой отаре, к брату, летела в другой — к табору Кураевому, где даже сторожа притихли, наставив уши в степь, растревоженную девичьей заливистой песней... И вдруг на полуслове песня оборвалась, к великому удивлению сторожей. Не знали они, что в это время там, в степи, где с песней-плачем медленно шла по дорожке Вустя, отделилась от копны сена и вышла на лунный свет хорошо знакомая девушке фигура юноши в матросской тельняшке.

— Леня!

Это было совсем неожиданно, но Вустя не испугалась, она как бы ждала этого. Еще дрожали у нее на ресницах, сверкая при луне, песенные, не к нему обращенные слезы, а ямочки на щеках уже сами улыбались ему.

— Где ты была? — спросил Леонид серьезно и ласково взял девушку за руку.

— Брата провожала, он арбачом при отаре... Вон огонек горит у них...

— А я тебя ждал... Слышал сквозь песню, как ты плакала, Вутанька, и пошел встречать.

— Как ты угадал, что меня называют Вутанькой? Меня только мама так называла в детстве... Больше никто!

— Я не угадывал, любая... Оно — само.

Открыто, доверчиво смотрела девушка ему в глаза.

— А где ты был сегодня?

— Я тоже.. в гости ездил, к своим...

— К родителям?

— Нет, старики мои далеченько отсюда: рыбачат на Кинбурнской косе... У товарищей был, у машинистов.

Месяц поднимался все выше. Голубоватой серебристой дымкой наполнилась степь, раскинувшись перед ними, как море. Разогретые взаимным теплом, все теснее прижимаясь друг к другу, шли они куда-то наугад, под высокие звездные своды своих степных светлиц... Стоном отозвалась из табора матросская перламутровая гармонь.

— Прокошка?

— Нет, это Андрияка...

И, переглянувшись, счастливые, засмеялись оба.

Досыта натешились в тот вечер свободной гармонью Андрияка с Прокошкой, попеременно растягивая мехи, призывая таборных доярок, приходивших на гулянку в черевичках, не жалеть каблуков.

Но танцы были не те. Без задора, невесело веселились девушки, то и дело задумчиво поглядывая в степь, светлую, почти перламутровую, залитую до самого горизонта таинственным лунным сиянием.

XXII

Валерик и Мурашко прочищали в чаще один из арыков, шедший на восточную окраину парка. Вооруженные лопатами, они выбирали из канавы ил, поправляли стен-

ки, шаг за шагом продвигаясь вперед. Внизу под густой листвой было тихо, свежо, а вверху стоял неумолчный шум и ветви поскрнпывали, как снасти: третий день над степями дул суховей.

— Иван Тимофеевнч, правда, что по этнм арыкам вода течет днепровская? — спросил Валерик, присев н поправляя руками стенку.— Привалов говорил, что онн у себя на водокачке даже днепровских сомов нногда выкачивают...

— Привалов скажет! — улыбнулся Мурашко.— Сомы не сомы, а что днепровская, то на этом мы все сходимся...

— Почему же тогда она горнт?

— Где горит? Ты имеешь в виду новую скважину, которую третьего дня пробнли? Там действительно горит...

— Поднесешь спичку — так и вспыхнет!

— Послушали своего заезжего консультанта, полезли в сарматскне известнякн... Мы с Приваловым еще тогда говорили, что это напрасная трата сил. Так оно и вышло...

— А разве водокачка не из сарматских нзвестняков берет?

— Видишь лн, Валерий, в чем дело... Представь себе на минуту разрез почвы,— нагнувшнсь, Мурашко принялся чертить лопатой схему возле канавки.— Первая вода под нами будет грунтовая. Мы ее называем верховодкой. Ею питаются все наши степные колодцы, те, что с деревянными, допотопнымн барабанамн... Асканию верховодка удовлетворить не может: ее мало, на вкус она плохая, к тому же залегает довольно глубоко. Но еще глубже, вот тут, под нами, проходит в нзвестняках понтийского яруса мощный артезианский горизонт. Все в Аскании держится на нем, на этом горизонте. Из него Привалов как раз и гонит Днепр в наши парки!..

— Днепр... Откуда — и куда! — прошептал пораженный Валерик.

— Мы знаем, что понтийские известняки очень пористые,— продолжал Мурашко.— В их поры н заходит где-то возле Каховки днепровская вода и потом уже движется под степью сюда, как по трубам... На эту воду, Валерик, вся наша надежда, именно в этом направленин должна работать мысль... А они, наслушав-

шись немца, решили залезть черт знает куда, в сарматские известняки, думая, что оттуда вода сама пойдет на поверхность... Ну вот и получили! Оказалось, что и воды там пшик, да еще вонючая, с сероводородом...

— Ах, вот как! — воскликнул Валерик, догадавшись, почему вода из этой скважины горит.— Да хотя бы уж горела как следует... А то перебьешь струю ладонью — и погасло...

— Не в ту сторону они смотрят, не там, не там нужно ее искать,— говорил уже как бы самому себе Мурашко, постепенно углубляясь в свои мысли и забывая о собеседнике. Стоял, приложив руку ко лбу, и, напряженно думая, смотрел прямо перед собой в затянутую илом канавку, словно ждал оттуда появления чего-то необычайного. Потом, неожиданно присев, выхватил из бокового кармана записную книжку, положил на колено и стал что-то записывать — быстро, нервно...

С Иваном Тимофеевичем такое случалось довольно часто, и Валерик уже привык к этому. Вначале парень думал было, что Мурашко по натуре поэт или музыкант, которого вдруг среди работы осеняет всесильное вдохновение, то и дело отрывая садовника от будничных дел. Но впоследствии Валерик убедился, что заботит Мурашко, тревожит вдохновение другого рода. Не рифмы и мелодии вихрятся над ним, а разные проекты, изобретения, усовершенствования... Неугомонный садовник без конца ломал себе над ними голову. То ему вдруг не понравится старая садовая поливалка, которой пользовались годами все, и он уже проектирует другую; то его внимание привлечет обыкновенный улей на стоящей за парком пасеке, и слышишь — Мурашко уже наседает на пасечника, доказывая несовершенство старого улья и необходимость заменить его новым, усовершенствованным. Кажется, не было в Аскании такой вещи, которой бы не коснулась пытливая мысль Мурашко. Все ему хотелось изменить, проверить, улучшить.

С любовью смотрел Валерик на своего наставника, который, присев под деревом, записывал уже какие-то новые мысли, весь захваченный и как бы внутренне освещенный ими. Поливалка... улей... а теперь что?

В добрую минуту судьба свела Валерика с Мурашко...

Сейчас парню даже страшно было представить себя

без этого знакомства, без своей крепнущей дружбы с садовником. Не очень много на земле людей, которые, подобно Мурашко, взяли бы на себя заботу возиться с каким-то агрономишкой, который не имеет ни диплома, ни протекций и вышел в жизнь лишь с единственным богатством: узелок с книжками и светлые мечты.

О, задала бы ему Аскания, не отгрызся бы от нее своими мелкими, как рисовые зерна, зубами... Наиздевались бы над ним приказчики и подгоняльщики, топтали б на каждом шагу его хрупкое молодое достоинство, его не по летам развитое самолюбие.

Школой, другом и убежищем от невзгод асканийских будней стал для Валерика этот ботанический сад. За границами сада начиналась Аскания конторская, панская и околопанская, в которой Валерик порой чувствовал себя хуже, чем на жестокой Каховской ярмарке.

Когда ему нужно было за чем-нибудь сбегать в контору, Валерик шел туда, как на муку.

«Знаешь, как мужика сердят?» — осклабится какой-нибудь канцелярист и, подойдя, начнет под общий хохот конторы раз за разом надвигать парню картуз на глаза. Чрезмерно восприимчивый, чуткий к малейшей обиде, как мог он защититься от грубости панских холуев, которые только и искали кого-нибудь поменьше, чтоб поглумиться над ним. Парень был против них беззащитен, обнажен, открыт для всех щелчков и подзатыльников, считавшихся в экономии шутками. Но шутки эти ранили в самую душу. Данько, тот был какой-то более хваткий; увернувшись от подзатыльника, он мог ответить хотя бы тем, что скрутит обидчику дулю или огреет его таким прозвищем, что прилипнет сразу, как тавро, а Валерик и этого не умел и все обиды переживал в себе, не имея возможности отомстить. Его считали просто застенчивым, но редко кто догадывался, какое недетское самолюбие кроется под яркими вспышками детского смущения!

В полной безопасности Валерик мог чувствовать себя только на водокачке да за металлической оградой сада, в этой надежной зеленой чаще, подальше от тротуарчиков, где ходят под зонтиками господа, подальше от черных чеченцев, которые, оплывая жирным потом, режутся по закоулкам с конторщиками «в очко». В парках, среди птиц и зверей, было значительно легче и свежее,

,ежели в беспощадном горячем круговороте панской Аскании, где все было насквозь проникнуто фальшью, продажностью, жестоким самодурством одних и бесстыдным повальным холопством других.

Иван Тимофеевич угадал его склонности, приставил к живому, любимому делу. Желанный свет науки, упорных, неутомимых человеческих исканий с каждым днем все шире раскрывался перед Валериком. Где еще он мог бы столько нового услышать об этих понтийских и сарматских известняках, о путях воды под землей? Где еще имел бы он возможность часами работать у микроскопа, с удивлением узнавая, что на корнях дуба селятся целые колонии особого полезного грибка, так называемой микоризы? Без участия Валерика теперь не проходила ни одна поливка парка, он вел, по поручению Мурашко, различные наблюдения над поведением лесных птиц, следил за ростом трав, возился в саду с утра и до ночи, как молодая пчела, которая разносит с цветка на цветок золотую, полную жизни пыльцу...

Тут, рядом с Мурашко, ему даже самая черная работа не была тяжелой!

— Ну, Валерик, пойдем дальше,— говорит Иван Тимофеевич, поднимаясь и берясь за лопату.— Уже немного осталось...

Шаг за шагом продвигаются вперед. Шумят вершины деревьев, бьются, кипят в зеленом шторме. С чавканьем шлепается грязь вдоль канавки — становится глубже русло...

Через полчаса добрались до опушки. Из открытой степи ударили навстречу горячие струи суховея, обожгли лица.

Иван Тимофеевич взял парня за руку.

— Смотри, друже... В глубине парка сейчас тишина, в воздухе там чувствуется влага, а тут все горит, шумит, напирает на ветки... Разгулялся таврический сирокко... Первые, самые жестокие его удары принимает на себя эта зеленая стена. Погляди, вся опушка с этой стороны как бы обожжена пламенем. Суховей жжет, засыпает ее пылью, свертывает листву, но и сам тем временем выдыхается. Воздушные потоки, скользнув по кронам, вздымаются вверх или, разделившись на отдельные струйки, запутываются в ветвях и постепенно гаснут... Вот это тебе, Валерик, лес за работой. Это тебе... вода в степи.

Посмотрели в степь. Лежала голая, открытая до самого горизонта, открытая — знали — и за горизонтом, по всему приморью. Суховей суховея над травой догоняет... Что сейчас там делается — в селах, на убогих нивках?

Задумался Валерик. Нахмурился Мурашко.

Издевается там стихия над человеком как хочет...

— Нет,— поднял вдруг лопату Мурашко, словно для удара.— Не может наша степь на верховодке жить! Ей большая вода нужна...

XXIII

Ночи были теплые, и Валерик спал теперь на веранде домика, где жила семья Мурашко. Двери в квартиру были для парня всегда открыты. Жена Мурашко, Лидия Александровна, относилась к нему, как, верно, относилась бы к родному сыну. Ласковая и нежная, она старалась ничем не дать почувствовать Валерику его неравноправность в доме. Другое дело, что сам Валерик далеко не всегда мог забыть об этом и садился за гостеприимный стол, всякий раз смущаясь и мечтая лишь о том, чтобы посчастливилось ему когда-нибудь отплатить этим людям добром за добро.

Иван Тимофеевич разрешал ему пользоваться своей библиотекой, и вечера Валерик проводил в Мурашковском кабинете за книгами. Иногда, правда, приходили после работы гости из числа асканийской интеллигенции, но это бывало редко, большей частью Иван Тимофеевич по вечерам работал.

Прекрасны были эти вечерние часы, озаренные человеческой мудростью, увлекательные, как далекие путешествия!

...В доме тишина, Мурашко что-то пишет за столом, обложившись циркулями и линейками, строгий, курчавый, как Джордано Бруно. В противоположном углу наслаждается книжками Валерик. В составе экспедиции Жилинского он уже прошел тысячи верст по степям Новороссии в поисках воды и сейчас штудирует книгу профессора Докучаева «Наши степи прежде и теперь»... Прочтет страницу-две и задумается, слегка покачиваясь в кресле, витая мыслями где-то над родными степями, словно заново открытыми ему мудрым профессором.

Ясно, Геродот что-то напутал. По его свидетельству, в древности леса шумели у самого гирла Днепра и даже возле Перекопа. Не днепровские ли плавни принял он за настоящие леса? Но то, что степи были в старину иными, в этом нет сомнения. Пышная растительность бушевала здесь. Еще во времена Боплана в степях водились туры, благородные олени...

«Распашка степей, пастьба стад и овец изменили структуру почвы... Наше южное земледелие находится в надорванном, надломленном, ненормальном состоянии. Оно является биржевой игрой, азартность которой возрастает с каждым годом...»

Гневом дышит книга профессора. Как строгий врач, дает он свои советы, определяет режим. Регулировать реки. Создавать водоемы. Насаждать лесополосы... Баклагов уже насаждает в Каховке лозу на летучих песках. Почему же ему никто не помогает? Почему насмехаются над ним в земстве?

Много мыслей вызывает у Валерика прочитанное. О многом хочется спросить у Ивана Тимофеевича... Но тот с головой окунулся в свои, только ему известные проекты, что-то подсчитывает...

«Никакая агрономия не поможет,— грозно предупреждает профессор,— если сами землевладельцы, неправильно понимая свои права и обязанности к земле, будут думать лишь о выгоде, вопреки требованиям науки и здравого смысла!» Но как же сделать, чтобы они перестали думать только о своих выгодах? И вообще возможно ли такое? И что думает обо всем этом Мурашко?

— Иван Тимофеевич,— отрывается от книжки Валерик,— можно ли...

Голос его вдруг осекся. Взглянув на Мурашко, парень поразился: никогда еще он не видел своего учителя таким! Свободно откинувшись в кресле, словно отдыхая, Иван Тимофеевич улыбался, глядя в потолок,— улыбался усами, бородкой, всеми морщинами по-южному смуглого лица. Глаза его лучились счастьем. «Что с ним?» — невольно подумал Валерик, завороженный необычайным, вдохновенным видом Мурашко. Иван Тимофеевич напоминал в этот момент отважного путешественника, который после долгих блужданий в пустынях наконец открыл все, что жаждал открыть, и, добравшись до спаси-

тельного оазиса, свалился под зеленой пальмой, измученный, но безгранично счастливый.

— Вот и завершил ты, человече, главное, самое большое и самое любимое сооружение своей жизни,— с торжественной медлительностью заговорил Мурашко.— Два года бился... Немало было промахов, немало поблуждал на ощупь, впотьмах... Не раз терял веру, впадал в отчаяние, но хорошо, что подымался, что снова брался за свое... Теперь все легло, как должно, все гармонирует... Пойдет, не может не пойти! — Мурашко говорил, уже не замечая парня. Казалось, он говорит в пространство.

— О чем это вы, Иван Тимофеевич?

Как бы разбуженный этим вопросом, Мурашко удивленно взглянул в угол на Валерика.

— Ты еще здесь?

И, привычным движением добыв свою карманную «луковицу», некоторое время внимательно смотрел на нее, прикусив ус.

— Тебе пора, Валерик. Завтра рано вставать... Пойдем.

Вышли на веранду.

Теплая ночь, напоенная степными запахами, проплывала над Асканией. В дремучей чаще парка пощелкивали соловьи. Хотя Иван Тимофеевич был сейчас в прекрасном настроении, однако, оставаясь верным своему пристрастию все вокруг улучшать, он вскоре обнаружил несовершенство даже в трелях асканийских соловьев.

— Слышишь? Сделает одно, два, самое большее три колена, а дальше уже затрещал, как сорока... Не умеют наши асканийские соловьи петь в самом деле по-соловьиному... И знаешь, почему? Мало еще в наших парках певчих птиц с красивыми голосами, а соловей имеет привычку перекладывать на ноты то, что слышит поблизости, вокруг себя... Сорока застрекочет, он и сороке саккомпанирует, такой маэстро!..

— Я до Аскании вообще соловья не слыхал,— признался Валерик.— В школе весна, бывало, придет, и не то что соловей — кукушка не закукует...

— В школе... А возьми ты Чаплинку, Строгановку, Громовку, все наши села степные: что они слышат? — Мурашко помолчал, как бы прислушиваясь ко всем этим чаплинкам, строгановкам и громовкам.— Но скоро

услышат и они... Перестанет Аскания быть чудом, экзотическим оазисом среди обнаженных присивашских просторов... До самого Перекопа зашумят, зазеленеют вот такие, полные соловьев, парки, сады, рощи... Оживет степь, Валерик, оживет! — уверенно закончил Мурашко и загадочно улыбнулся.

Эта улыбка, как и самый тон, которым говорил сегодня Иван Тимофеевич о возрождении края, несколько огорошили его юного коллегу. Зашумят, зазеленеют, оживут... Говорит так, словно все это уже в его власти, в его руках!

Не знал Валерик, откуда черпает Мурашко свою уверенность. Не знал, что мелкие, заостреные цифры уже шеренгами выстроились в кабинете, собранные садовником на защиту своих золотых мечтаний.

XXIV

— Идея орошения наших степей не нова. Не мне она принадлежит — она принадлежит самому народу,— говорил Мурашко на другой день своим друзьям, которые собрались вечером у него в кабинете.— Прислушайтесь к песням сезонников, к рассказам, думам и легендам народным... Весь таврический эпос проникнут мечтой об орошении степей... Свою задачу я усматривал в том, чтобы перевести эту мудрую народную идею на язык цифр, доказать огромную практическую целесообразность ее осуществления... Вы знаете, сколько разговоров ведется сейчас вокруг Днепра, вокруг проблемы днепровских порогов? Новейшими проектами упорядочения порогов предусмотрено, во-первых, улучшение судоходства, во-вторых, получение гидроэлектрической энергии. Но есть еще третья неотложная потребность края — орошение. Предыдущие проекты это дело обходили, а я хочу в меру своих сил дополнить. Конечно, я не чувствую себя настолько компетентным в ирригации, чтоб взяться за разработку проекта во всех технических подробностях. Это дело инженеров. Однако опыт степного лесовода, совесть гражданина подсказывают мне: бей в набат, зови, требуй!.. Моя цель — растормошить, поднять всех на ноги, привлечь внимание самых широких кругов общественности к проблеме обводнения. Мы живем сей-

час на голодном пайке днепровской воды, идущей к нам от Каховки под степью, в известняках понтийского яруса. Я предлагаю вывести эту воду на поверхность. Известно, что вся безводная часть Таврии лежит значительно ниже горизонта днепровских вод, подпертых порогами. Итак, возведя соответствующие сооружения, можно направить воды Днепра в степь самотеком. Было бы преступлением не воспользоваться этим преимуществом, которое дает нам сама природа. Устройство оросительной системы не только не идет вразрез с интересами судоходства и использованием энергии порогов, что уже предлагают инженеры, а наоборот, все эти три главные проблемы края гармонически сочетаются между собой. Меня интересует прежде всего оросительный канал. Я в своих предложениях доказываю, что он нам даст. Канал будет господствовать почти над миллионом десятин родящих земель Вы представьте себе миллион десятин цветущей земли! Орошение и только орошение может спасти наш край от бесконечных засух и черных бурь, от катастрофических для крестьянства недородов. А для государства орошение Таврии будет равнозначно тому, что оно приобретет новый Крым...

Валерик, притаившись среди взрослых, слушал Мурашко с каким-то восторгом, с внутренним наслаждением и страхом. Днепровская вода потечет в степь! Такое в самом деле жило до сих пор только в думах и мечтах народных... А он, этот чудаковатый, не постигнутый им Мурашко, стоит у стола, разложив свои многочисленные записи, схемы и диаграммы, и говорит о будущем таврическом канале, как о чем-то уже реально осуществимом.

Гости, усевшись кто где, слушали Ивана Тимофеевича с напряженным, почти мрачным вниманием, украдкой обмениваясь между собой задумчивыми взглядами.

Сегодня у Мурашко собрался, можно сказать, цвет асканийской интеллигенции, люди, которых водяной механик Привалов, будучи в хорошем настроении, называл мозгом Аскании, «сезонниками не простыми, а учеными». Среди присутствующих были: тот же Привалов; заведующий зоологическим парком Евдоким Клименко, которого в шутку называли Ноем асканийского ковчега и который лишь накануне вернулся из Джунгарии, куда ездил добывать для своего ковчега лошадей Пржеваль-

ского; был тут также бонитёр Михаил Федоров, известный всему Югу специалист своего дела, первый из бонитёров не немцев, которого пригласили к себе на службу Фальцфейны. В углу возле Валерика сидел, распространяя запах карболки, ветеринарный врач Кундзюба — сосед Мурашко, занимавший второе крыло этого домика, рассчитанного на две семьи. Жена Кундзюбы, которую звали Олимпиада Павловна, тоже пришла, но она осталась на веранде в обществе Лидии Александровны. Сквозь прикрытую дверь оттуда то и дело доносился звонкий голосок Светланы и приглушенное бренчанье гитары. Играл Яшка-негр, который бывал в семье Мурашко довольно часто и считался здесь своим. Его, одинокого, заброшенного на чужбину, видимо, тянуло сюда, в этот ласковый, гостеприимный и уютный дом. Русским языком Яшка как следует еще не овладел, и принимать участие в общей беседе ему было трудно, зато он прекрасно умел играть на гитаре негритянские песни, развлекая Светлану, готовую бесконечно слушать их.

Валерик с самого начала примкнул к мужской компании. То, что излагал сегодня Мурашко перед своими друзьями, пахнуло на парня необычайной освежающей силой, прогрохотало, как первый над степью весенний гром, который и пьянит, и чарует, и настораживает... Как подлинный властелин природы, стоял сейчас садовник, освещенный лампой, среди своих загадочных схем, выведенных на прекрасной бумаге, где Валерик едва узнавал свою Таврию, обновленную, с непомерно увеличенным Днепром и такими же большими Каховкой и Чаплинкой...

— Смотрите сюда,— показывал хозяин гостям свои владения.— Можно подпереть воду вот здесь, возле последнего нижнего порога, поведя канал мимо Александровска и дальше по долине реки Куркулак... Это далеко. Я — за другой вариант: запруду ставим возле Каховки и оттуда уже берем начало канала. Этот вариант дает возможность вывести воду в степь кратчайшим путем...

— Иван Тимофеевич,— осмотрев эскизы, обратился к Мурашко бонитёр, грузный, строгий на вид мужчина лет сорока.— То, что вы предлагаете,— прекрасно. Это более величественно, нежели канал Ибрагимия в Египте. Но скажите, пожалуйста... кто за это возьмется?

Неловкое молчание воцарилось в комнате.

Курил возле окна Привалов. В задумчивости перебирал свою Ноеву бороду Клименко. Потупился Кундзюба.

— Вопрос ваш уместен, Михаил Григорьевич,— сказал после паузы Мурашко.— Знаю, лежат в наших министерствах и департаментах целые кладбища разных проектов... Но я ночи не спал совсем не для того,— неожиданно повысил голос Мурашко,— чтобы эти кладбища увеличились еще на один крест! Тернии, которыми будет устлана моя дорога, я предвидел и потому выдвигаю на первое место презреннейшую, но самую пробойную силу в наше время — выгоду. Колоссальную выгоду, которую принесет с собой канал. Меня лично больше интересует лес, который пройдет в степи до самой Строгановки и Кинбурна, а их я заинтересую чистоганом... Строительство магистрального канала возьмет, должна взять на себя казна.

— Казна не возьмет,— глухо прогудел в бороду Клименко.

— Почему? Казна строит магистральный, а землевладельцы достраивают уже оросительную сеть. За воду, получаемую от канала, они платят казне и, в свою очередь, могут перепродавать ее арендаторам... по значительно более высокой цене.

— Всем выгодно, никто не обижен,— спокойно улыбнулся Ной асканийского ковчега.— Расставил, как силки... Но сомнительно, чтоб землевладельцы пустили казну хозяйничать на своих землях...

— Не пустят? Ну что ж... Я и это предусмотрел...

— Погоди, Тимофеевич,— отошел от окна Привалов.— Ты говоришь: запруду возле Каховки...

— Ты не согласен?

— Только приветствую: давай первым пойду плотину гатить. Хотя голыми руками тут, верно, не много нагатишь. Однако меня сейчас даже не это волнует... Скажи мне, Тимофеевич, сколько будет затоплено в верхнем плесе колоний, экономий, монастырских угодий?

— Сто пятьдесят тысяч десятин!

Механик молча улыбнулся, пуская дым кольцами.

— А хозяева? — усаживаясь по-крестьянски, на корточки у порога, бросил Клименко, заросший до ушей,

загоревший под джунгарским солнцем.— Пойдут ли на это хозяева? А если и пойдут, то какой выкуп потребуют? Ты подумал об этом, добрый человек?

— За три года канал все перекроет.

— Сто пятьдесят тысяч,— тихо присвистнул бонитёр, расхаживая по кабинету.— Иван Тимофеевич, это же потоп!

— Не забудьте, господа, что на случай потопа у нас есть свой Ной,— пошутил Куидзюба, кивнув на Клименко.

Разговор все более оживлялся. То, что предлагал Мурашко, у всех наболело, каждого, видимо, задевало за живое. Валерик не принимал участия в разговоре, но в душе был целиком на стороне Мурашко и каждое замечание присутствующих воспринимал с таким горячим волнением, словно речь шла о его собственной идее. Ему казалось, что именно здесь, в кругу друзей Мурашко, должна решиться судьба будущего канала. Правда, они тоже в целом не против канала, их больше беспокоит, кто возьмется, кто даст средства на это грандиозное строительство. Ах, почему Валерик сам не миллионер, почему он не выиграл миллион на каховской рулетке? Не надо было бы тогда ломать здесь голову — согласится или не согласится казна,— сам бы выкупил те сто пятьдесят тысяч монастырских и помещичьих земель!

— Если не возьмется казна,— уже весело говорил Иван Тимофеевич,— разворошу, встряхну наших ленивых степных крезов. Я не идеалист и знаю им цену, но я их буду бить их же оружием, от меня они не отвертятся, нет! Выгоды канала настолько очевидны, что надо быть идиотом, чтоб не ухватиться за него обеими руками. И они ухватятся, я раздразню их аппетиты! Вот здесь я привожу данные статистики о ценах на землю в Туркестане, в Крыму. Цена орошенной десятины против неорошенной поднимается двадцатикратно! Чистая прибыль от оросительной системы составляет пятнадцать — двадцать процентов на затраченный капитал... Неужели вы думаете, что к таким вещам землевладельцы останутся глухи? Я пойду от имения к имению, от миллионера к миллионеру, я буду хлестать их своими железными цифрами, я заставлю их в конце концов раскрыть свои кошельки!

— Акционерное общество? — прищурил глаз Кундзюба.— В таком случае я первый запнсываюсь иа акцин!

— Неслыханные, неимоверные потекут к ним прибыли, пусть! — ие обращая виимаиия иа шутку, возбуждеиио гремел Мурашко.— Но в то же время хоть капли этого золотого дождя, знаю, перепадут и чаплниским н строгановским беднякам...

Обидно было слушать Валернку, что Мурашкова большая вода прольется золотым дождем прежде всего иа окрестиых степных магнатов. Столько усилнй — и иа кого? На таких, как Софья Фальцфейн? Нелепо было то, что высшая власть в Асканин прннадлежит этой, нн иа что не способиой бабе, подиятой кем-то над тысячами людей, которые всю жнзнь работают на нее одиу, отдавая ей силу своих рук и разума. Не нужна она Аскании — в этом сегодия Валерик убедился окончательно. Разве что-нибудь измеиилось бы, если бы ие стало вдруг в помеçтье Софьн? Мозг Асканнн — вот он, здесь. Разве зиает Софья, как добывается в нмеини вода, разве имеет оиа хоть какое-инбудь представлеиие о сложиой системе орошения парков? Любуется леопардом Чарлн, любуется лошадьми Пржевальского, а добывать их ездит Климеико. Все аскаиийские животные зиают своего Ноя, тяиутся к нему из вольеров, трутся мордами, потому что ои их выкормил из собствеиных рук... Вот Федоров, которого чабаиы считают колдуном; на диях, когда ои стоял в боиитёрской яме, трнжды пропускали мимо него одну и ту же овцу, и ои безошибочно угадывал ее среди тысячн овец, пролетавших перед его глазамн... А собствеиница отар? Сумела б оиа отлнчить хоть мериноса от цигая? В ботаиический сад Софья заходит лишь для того, чтобы разогиать мелаихолию и наиюхаться сиреии, а известно ли ей, к примеру, что листья этой сиреии ие ест ни одио из копытных, и именно поэтому Иваи Тимофеевич смело высаживает сирень вдоль дорог, под вольерами н даже в загонах...

Нет, ие на Фальцфейиах держится Аскания. Волей мурашко и приваловых, федоровых н клименко, волею тысяч сезонников цветет оиа иа удивлеиье всему миру. Задуманная как барская прихоть, она перестает быть только прихотью, пустой панской забавой. И удивительные асканийские жнвотные, которые свободно пасутся

в Присивашской степи, и чудесные субтропические птицы, которые мудрыми усилиями науки начинают здесь приживаться, и могучий степной лес, который наперекор всем ветрам поднялся и разросся зеленой грядой среди голого Присивашья,— все это уже начинало перерастать своих бездельников-хозяев, переставало их слушаться, подчиняясь лишь тем, кто гонит воду, лелеет парки, выводит элитные породы...

Не раз Валерику приходилось слышать, как отзываются о «мачехе Софье» и о других «лядащих степных крезах» Мурашко и его друзья. В их как бы мимоходом брошенных отзывах слышались и превосходство, и презрение, и в то же время гнетущий стыд от того, что какое-то ничтожество поганит их Асканию, держит в подчинении их самих, одаренных людей, которые годами вкладывают в асканийские богатства свою душу, свой ум и энергию... И вот теперь все снова сходится клином на степных миллионерах... Наилучшее создание Мурашко, задуманное совсем не для них, должно в конце концов пройти через их суд...

— По-моему, Иван Тимофеевич, есть одно существенное противоречие во всем замысле,— заговорил Привалов, усевшись за стол на место Мурашко и внимательно разглядывая бумаги.— Ты норовишь провести канал поближе к крестьянским землям, а хочешь, чтоб финансировали его миллионеры-помещики. Это очень серьезное противоречие. Если ты уж направляешь канал в ту сторону, то не естественно ли будет, чтобы и первый голос в этом деле принадлежал именно им, безводным крестьянам? Я думаю, что армия будущих землекопов тебя поняла бы лучше, чем наши чудовищно разбухшие степные крезы...

Задумался Мурашко, заметно помрачнел.

— Великая правда кроется, друг, в твоих словах,— наконец сказал он.— Но, к сожалению, безводники наши не имеют еще ни голоса, ни миллионов... Единственный выход — делать ставку не на тех, для кого канал задуман, а на тех, у кого толстые кошельки.

— Это вы хорошо сказали, Иван Тимофеевич: хлестать их железными цифрами,— остановился против Мурашко бонитёр.— Возможно, с этого как раз и стоит начать. Пока там казна раскачается, а среди них может подняться такой ажиотаж, что только держись!

— В среду у Софьи день рождения,— сообщил от порога Клименко иовость, которую, кстати, присутствующие уже знали,— режут антилопу Северянку, предполагается большой съезд...

— А в самом деле,— подхватил Кундзюба,— почему бы тебе, Тимофеевич, ие воспользоваться этим случаем? Чем черт не шутит? Ждут как будто губериаторшу, будет госпожа Ефимеико, киягиня Мордвииова, будут дамы всех самых деиежиых наших землевладельцев... Ей-богу, ударь челом! Стоит, зиаешь, заиитересовать жен, а мужей оии уже иа поводке поведут...

Идея поиравилась присутствующим (за исключением Привалова, который встретил ее скептической усмешкой). Иваи Тимофеевич, видимо, колебался.

В этот момент иа пороге кабииета иеожидаино выросла Лидия Алексаидровна, ласковая, настороженио-зоркая, как птица. Весь вечер оиа была в напряжении, только и ждала, казалось, призыва боевой трубы, чтоб, подобрав платье, кииуться иа поле боя... Была Лидия Алексаидровиа из тех счастливых жеи, которые умеют с полуслова схватывать мысли мужа, проникаться ими, как своими, и отстаивать их до конца, не разочаровываясь в иих, не отступая даже там, где порой попятится ои сам. Шутя с приятельиицей, слушая краем уха Яшкину игру на гитаре, она весь вечер следила за тем, что делается в кабииете, где то затихал, то виовь закипал шумный разговор мужчии и где, как ей казалось, сейчас решается главиое. Сама Лидия Александровиа уже зиала замысел во всех подробиостях, у иее уже ие было сомиеиия, что ее неугомоииый Иван Тимофеевич затеял большое дело, и раз ои заколебался — бить челом или ие бить? — Лидия Александровиа уже была тут, чтобы сказать свое слово.

— Ну чего ты задумался, милый? — склоиилась оиа над Ивaиом Тимофеевичем, как добрый белокурый дух.— Слушай, что тебе люди советуют... Я на твоем месте ие пропустила бы такого случая.

Иваи Тимофеевич улыбиулся. Вздохнул.

— Челом, говорите?.. Буду бить. Буду бить, пока ие разобьюсь...

Всем сразу стало как-то легче после этого, и уже с веселым шумом гости повалили иа вераиду слушать Яшкииы иегритянские песии.

XXV

Едет Софья по заповедной степи. Заповедная — это та, которой испокон веков не касался плуг, которую никогда не косят и по которой никто не ездит, кроме самой Софьи.

До самой осени стоит здесь высокая трава.

Сюда переселяются птицы, согнанные с сенокосных угодий.

Горбоносые сайгаки пасутся в этой степи...

Красавцы олени ежегодно сбрасывают в этих травах свои ветвистые панты...

Первозданная тишина царит здесь. Ни насторожённый коршун, часами кружащий высоко в небе; ни неведомый всадник, который изредка беззвучно проскачет вдалеке; ни чабан, что маячит на далеких выгонах по плечи в плывущем мареве,— никто не развеет, никто не нарушит степного величественного покоя.

Звенят цикады.

Горячо пахнут насыщенные солнцем травы.

Покачивается в кабриолете Софья, сидит, сложа руки на животе, точно каменная скифская баба.

Едет с богомолья, перебирает воспоминания, как четки...

Мчалась когда-то этой степью, сама правила лошадьми. Упругий ветер бил в лицо, бахчисарайские приятельницы взвизгивали за спиной. Солнце ложилось в ковыли, оранжевая мгла клубилась над гривами коней... Развлекались таврические леди, на чабанскую кашу спешили, на ту, что со степью, с дымком!

Был у Софьи тогда роман с молодым атагасом... Ах, забыла, как его зовут! Покорный такой, симпатичный, как ручной медведь... Интересно, любил ли он ее?

Приедут, он уже стоит без шапки, ждет приказа.

— Ну-ка, атагас, принимайся кашеварить! Вот тебе приправы...

Подростку-арбачу Софья тоже найдет работу:

— Танцуй, чабан!.. Ударь лихом об землю!..

Краснея, потопчется перед нею паренек в своих постолах, кинет ему Софья монету...

— Иди теперь к отаре... Там будь.

И уходил. Хорошие тогда были чабанчики, послушные!

Остаются леди возле костра с молодым атагасом и его подпасками. На траве на скатерти коньяки, шампанское. Пикник! Наливают чабанам коньяк, как воду, пьют и сами без жеманства, отчаянно, бешено... Напившись, приятельницы с хохотом набрасываются на подпасков, начинают их тормошить, а Софья своего за руку — и в степь!.. Почему он всегда так неохотно шел за нею? Неужели он даже в те вечера чувствовал себя ее подневольным?

Неполной, какой-то ущербной была та любовь... А может, то вообще была не любовь?

Хмельным фейерверком рассыпалась над степью ее молодость, ничем путным и не вспомянешь... Тяжелым осадком лежат на душе и те пикники и купленные насильные ласки... Не думала, что так быстро все промелькнет, что увядшей, опустошенной матроной будет ехать она по этой же степи со скучного богомолья, навстречу своему дню рождения...

Равнодушно краснеет впереди жирный сердитый кучерский затылок... Плывут, проплывают заповедные владения...

А степь не стареет! Полная сил, как и тогда, она пьянит травами, брызжет пряным вековечным скифским запахом... Далеко-далеко впереди, в грандиозном светлом полукруге неба и степи — человек. Двоится в мареве или в самом деле их двое? Медленно идут в травах, обнявшись, прижимаясь друг к другу.

Он и она!

— Кто там бродит? — недовольно спрашивает Софья, обращаясь к сердитому затылку кучера.

— Откуда мне знать, пани... Вот нагоним, увидим.

Идут и идут... На плечах у нее, как кусок пламени, красная косынка горит на солнце. Что за страсть у этих сезонниц к красным косынкам? Не терпит их Софья...

Но куда же они исчезли? Только нежные, как хрусталь, дрожащие разливы марева струятся там, где они шли.

— Куда же они делись, кучер?

— Да куда ж... Сели в траву, как стрепеты, и сидят.

Вскоре сама увидела их... Не сидели — полулежали в траве в свободных, счастливых позах, касаясь плечом плеча. Словно росли из травы, роднясь с шелковыми ко-

вылями, со степными цветами, окружавшими их. Она — совсем молоденькая, острогрудая, с вишневым румянцем на щеках, он — белокурый, как лев, в матросской тельняшке. Улыбаясь, оба спокойно смотрят на дорожку, видят свою барыню, которая приближается в кабриолете, но вставать и не думают! Не поднялись, даже когда поравнялась с ними. Еще ближе склонились друг к другу, переговариваются, смеются, разглядывая роскошные оленьи рога, лежащие между ними. Нашли, видимо, подобрали, бродя по степи.

Хотела остановиться Софья, накричать, зачем топчут ее заповедник, почему поднимают потерянные оленями рога... Нет, лучше сдержать себя. Таких не проймешь, от таких можешь все услышать... Смотрят, словно из собственных своих владений, словно тут и выросли на ее заповедной земле, сливаясь с ковылями и цветами, не подвластные никаким законам, кроме законов природы, гармонии, пластики...

Молча проехала Софья. Потом, не утерпев, еще раз оглянулась... Бесстыжие! Она уже у него в объятьях, среди бела дня целуются! Загорелая, золотая девичья рука с бесстыдной смелостью обвивает шею юноши. Что им барыня? Из-за плеча своего милого девушка одним глазом смотрела на Софью, и этот глаз смеялся!

— Гони! — крикнула барыня кучеру.— До каких пор мы будем трястись?

Свистнуло в воздухе, затарахтел кабриолет.

— Кучер, ты не знаешь... кто она? — спросила через некоторое время Софья.

— Ее не знаю.

— А тот... что в полосатой ковбойке?

— То не ковбойка, пани, то называется тельняшка...

— Я тебя не об этом спрашиваю... Где он работает?

— Машинистом на Кураевом.

На Кураевом, у Гаркуши... Так она и догадывалась. Понабирал в Каховке полтавских красавиц, а прибрать их к рукам не умеет! Говорила же — все лето романы будут крутить в таборах... Надо будет сказать, чтобы хоть штраф наложил за оленьи рога...

Приближалась Аскания. Была уже не сизо-голубой, как издали,— поднималась в небо ярко-зеленая, облитая солнцем, словно крутая гора из камня малахита посреди гладкой степи. На самой вершине — кирпичная башня

на десять тысяч ведер воды, а ниже — развесистые дубы, ясени, буки, десятки разных пород деревьев, из толпища которых сама природа возвела причудливые, пестрые от солнца хребты, сияющие в зеленом блеске скалы, ущелья, пропасти, полные теней...

До самого имения, до знакомых зеленых скал и ущелий преследовал Софью налитый счастьем девичий глаз, который беззаботно смеялся из ковылей... Невольно еще раз посмотрела в ту сторону...

Над заповедной степью было уже только небо, по-южному светлое, да струилось из края в край над ковылями неутомимое, хрустально чистое миражное море...

XXVI

В среду с утра начали съезжаться к Софье гости. То с одного конца, то с другого мчались по степи в Асканию экипажи, оставляя за собой длинные шлейфы пыли. Панский двор был заранее очищен гайдуками-чеченцами от постороннего люда, и теперь только швейцары и лакеи свободно расхаживали там, чувствуя себя сегодня тоже именинниками. Наперегонки бросались открывать дверцы карет, из которых выпархивали легкие, воздушные дамы, похожие на бабочек-перламутровок, каких в эту пору так много в целинной асканийской степи. Все, кроме сивашской помещицы пани Луизы, прибывали без мужей, зная, что в последнее время Софья любит только женское общество.

В доме Мурашко все были на ногах. Лидия Александровна с внимательностью полководца следила за происходящим. Светлана, словно Меркурий, то и дело подлетала к ней со свежими донесениями:

— Карета из Британов!

— Фаэтон из Преображенки!

— Автомобиль из Крыма!..

Иван Тимофеевич, обегав с рассвета сад и дав необходимые указания своим помощникам, сейчас, забравшись в кабинет, томился там, как зверь в клетке, время от времени поглядывая в окно, и пил стакан за стаканом воду.

До начала банкета, как всегда, Софья Карловна показывала гостям красоты своей столицы. Свой показ она

всегда начинала с английской конюшни, которой очень гордилась. Крутобедрые жокеи с самого утра, выведя из конюшен породистых жеребцов, нещадно гоняли их на корде на утеху прибывающим гостям.

— Это Ганнибал,— объясняла хозяйка приезжим приятельницам,— это Мавр, а это Ковбой... Жокей, не дергайте, пожалуйста, моего Ковбоя, ему же больно!..

— Ах, какие красавцы! — ахали приезжие ценительницы.— Какие гиганты!.. Да тут у вас, Софи, в одних жеребцах целое состояние!

— И прошу обратить внимание,— улыбалась Софья Карловна,— все это чистокровные англичане...

После осмотра жеребцов гости пошли в зоологический сад. Отстраняя рабочих и смотрителей, Софья Карловна и здесь сама давала объяснения, хотя получалось у нее это с грехом пополам. Страусы у нее неслись черт знает когда, а муфлоны любили совсем не тот корм, какой они в самом деле любили.

Некоторые из дам пожелали испробовать антилопьего молока и даже просили страусовых перьев для своих шляпок.

— Наш сад — это не просто экзотика, нет,— напуская на себя ученый вид, говорила хозяйка молоденькой даме, которая, видимо, была здесь впервые.— Это нечто вроде парижского Jardin d'Acclimatation... В Англии у нас есть искренний друг в лице герцога Бедфордского, который давно интересуется нашим Югом и высоко оценивает нашу скромную работу... Мы одомашниваем страусов, приручаем диких антилоп... Видите, как они мирно пасутся в степи, словно в родной Африке...

— И никто их не пасет? — с удивлением спрашивала молоденькая и любопытная дама, которую поражали тут не только страусы и козероги, но даже самые обыкновенные телята.— Странно, как же они не разбегаются?

— За ними присматривают,— отвечала Софья Карловна, подсмеиваясь над наивностью приятельницы.— Для этого существуют у нас специальные люди, которые в совершенстве знают свою профессию...

— Их вы тоже выписываете из Африки?

— Людей? Что вы, Жаннет!.. Набираем из самых простых мужиков, и они уже сами потом научаются... Неприветливые типы и с запахом, но видели бы вы, как их любят животные! Просто трогательно!.. И для каж-

дого животного у них есть свои имена: то Ласочка, то Зорька, то Васька...

Евдоким Клименко, которого сама должность заведующего садом вынуждала быть здесь, стоял в стороне и слушал болтовню Софьи с трудно скрываемым презрением. Пусть болтает пани, он считает, что лучше держаться в тени, где-нибудь возле перегородки, через которую к нему тянутся доверчивые милые морды животных, требуя от своего бородатого Ноя ласки... О каждом из обитателей сада Клименко мог бы рассказывать часами. По выражению глаз оленя или птицы Клименко мог сказать, как себя чувствует тот или иной его воспитанник, какое у него настроение, что у него болит....

Босым парнишкой приплыл когда-то Евдоким Клименко с Киевщины в Каховку и, нанявшись в Асканию, остался тут навсегда. Он первый обвешал Асканию своими остроумными скворечнями из тыкв. Чтоб увеличить число свободных пернатых, весной ловил силками перелетных птиц и, подрезав им крылья, снова пускал на волю, принуждая их таким способом оставаться в асканийских, тогда еще молодых. парках на гнездование. Старший Фальцфейн быстро заметил необычайную любовь юноши к природе, его пытливый ум. Все это тоже можно было эксплуатировать! Острые наблюдения, ценные мысли и догадки, мимоходом брошенные Клименко, Фальцфейн подхватывал на лету и потом выдавал за свои. После работы Клименко ночами сидел над книгами, самостоятельно овладел латынью, которая ему была необходима для серьезных занятий зоологией. Из Беловежской пущи завез он сюда зубров, из долин Миссисипи, из-под ножа американских браконьеров выхватил последних на земле бизонов и, скрестив их в Аскании, получил удивительных гибридов-гигантов — зубробизонов, стремясь подарить человеку новый, самый мощный вид рабочего домашнего скота... А сколько хлопот было у него с фазанами, сколько бессонных ночей провел он возле инкубатора, пока вывел искусственным путем первых страусят эму... Оживленно хвалится Софья перед гостями, не стыдится лгать даже в присутствии Клименко... Что он для нее? «Неприветливый тип, мужик с запахом» — и только...

В конце осмотра гости завернули в ботанический сад. Валерик считал, что лучше не попадаться под их лор-

неты. Только господа показывались на какой-нибудь аллее или тропинке, как парень сразу же скрывался, как юркий зверек, в кусты, в чащу, сверкая оттуда на панскую процессию угольками своих темных глаз.

— Надо знать,— говорила Софья Карловна своим гостям,— чего стоит выпестовать в степи каждый кустик, каждое деревцо, чтоб по-настоящему ценить эту благодатную тень, свежесть, зелень... Вначале, пока не выкопали абиссинский колодец, должны были ветряками качать воду, поливая, обласкивая здесь каждое деревцо...

«Ты его ласкала, ты его поливала!» — притаившись в кустах, думал Валерик с ненавистью.

Из сада гости направились к господским хоромам.

В доме Мурашко был подан сигнал.

— Сейчас они в ожидании банкета соберутся в гостиной,— говорила Лидия Александровна мужу.— Иди, милый!.. Не сомневайся: тебя знают, тебя пропустят!

Сунув мужу в руки свернутый в трубку проект, она поцеловала его в щеку:

— Счастливо тебе!

В самом деле, как и предусмотрел добрый гений Лидии Александровны, гости, ожидая, пока их пригласят к столу, собрались передохнуть в просторной прохладной панской гостиной, густо обвешанной старинными потемневшими картинами, которые, казалось, еще больше усиливали здесь приятную тень и прохладу.

Какая-то пожилая дама с голой веснушчатой шеей уже бренчала на рояле, другие, присев в мягкие голубые кресла, обмахивались веерами, беседовали о том, о сем. Среди гостей была губернаторша, длинная и костлявая женщина, с замужней дочерью Жаннет, которая все время курила тонейькие папироски; была тут веселая и вертлявая красавица Мери, жена богатого крымского мурзы, была и солидная, похожая на будду, мадам Ефименко, возле которой дамы увивались еще больше, чем возле самой хозяйки, потому что своими богатствами мадам Ефименко превосходила даже Фальцфейнов. Были еще две, не в меру набеленные, помещицы из Черной Долины и бойкая приятельница Софьи из Сивашского — пани Луиза со своим мужем-немцем, астматиком, который приволокся сюда без приглашения, потому что с некоторых пор закаялся отпускать в Асканию пани Луизу одну. В числе гостей была и игуменья и даже ма-

дам Шило, которая держалась перед блестящими магнатками настолько скромно и учтиво, что они вначале приняли было ее за прислугу.

Нагуляв во время осмотра имения хороший аппетит, гости теперь все чаще поглядывали на двери, ведшие в столовую. Хвостатые, как вороны, лакеи во фраках уже суетились там возле столов, позвякивая посудой. Хозяйка никого из них не подгоняла, даже не поглядывала в ту сторону, зная, что механизм работает четко и в назначенный час все будет готово.

Софья как раз развлекала беседой мадам Ефименко и губернаторшу, когда вошел Густав Августович и доложил, что старший садовник Мурашко просит принять его.

— Что ему надо? — спросила Софья Карловна.— Он, очевидно, пришел меня поздравить?

— Нет, он говорит, что по какому-то серьезному и неотложному делу...

— Нашел время для дел! Скажите ему, что у меня гости, что я сейчас не могу. Пусть придет... завтра. Нет, лучше послезавтра.

Густав Августович, поклонившись, вышел, однако вскоре появился снова.

— Прошу прощения, Frau Wirtin, но он настаивает. Он говорит, что пришел с каким-то проектом, который будет интересен и для гостей.

— Может, он пьяный? — спросила хозяйка.

— Нет. он абсолютно трезв и держится пристойно... И вообще, как вам известно, это весьма порядочный, весьма образованный и ценный для нас человек...

— Вы знаете, Софи,— сказала губернаторша,— среди этих людей, которые любят заниматься всякими прожектами, иногда встречаются довольно забавные типы...

— Он молодой? — простодушно спросила крымская Мери, и это сразу всех развеселило.

— Не торопитесь увлекаться, Мери,— сказала Софья Карловна под общий смех,— тогда меньше испытаете разочарований.. Он прекрасный специалист, но скучный собеседник и не кавалер... Ладно уж, позовите его,— вздохнула она.

Поморщилась крымская Мери, увидев, что в зал входит еще не старый, но уже заметно ссутулившийся чело-

век с шевелюрой разночинца, с какими-то бумагами в руке, в простом, почти мужицком костюме. Было, правда, в тонкой смуглости его бледного лица, оттененного бородкой, нечто интеллигентное и даже благородное, а в твердом взгляде темных глаз сверкало что-то необычайное, горячее, почти маниакальное, но все это вряд ли могло здесь кого-нибудь привлечь, оно еще больше отталкивало. С людьми такого рода кокетничать опасно!

— Я вас слушаю, господин инженер,— сдержанно сказала Софья Карловна, когда Мурашко остановился перед ней. Она знала, что по образованию Мурашко лесовод, но почему-то решила величать его сейчас господином инженером.

— Простите, Софья Карловна, что в такой день беспокою вас и ваших гостей,— заговорил Мурашко с неожиданной для присутствующих учтивостью.— Только дело исключительной важности послужило причиной моего, возможно, не совсем желательного визита... Речь идет о дальнейшей судьбе Таврии, о ее будущем...

Сжато изложив суть проекта, поощренный общим вниманием гостей, Мурашко тут же стал разворачивать свои бумаги.

— Погодите, господин инженер,— перебила его Софья.— Не думаете ли вы, что мы собрались здесь только для того, чтобы скучать над вашими бумагами? Неужели для моих гостей не найдется в Аскании ничего более интересного, чем... чем какие-то прожекты?..

Мурашко застыл ошеломленный. Прожекты!.. Этого, да еще в такой форме, он все же не ожидал. Стоял, задыхаясь, и полураскрученные бумаги свертывались сами собой в его обвисшей руке, как живые листья, внезапно пораженные суховеем.

— Довольно того, что вы сказали,— продолжала Софья Карловна.— Степь, моя заповедная целинная степь, эта фамильная гордость нашего рода для вас, вижу, ничего не значит? Благодарю. Хороший же подарок поднесли вы мне в день рождения... Вы представляете себе,— обратилась она вдруг к губернаторше,— что он предлагает? Через наши цветущие, не тронутые плугом украинские прерии провести какую-то зловонную канаву! Ужас!..

Женщины загалдели.

— Панама!

— Изменить течение Днепра!

— Это даже остроумно!

— Не так остроумно, как дерзко...

Сквозь шум Мурашко попытался было объяснить хозяйке, что канал — это не канава, но Софья Карловна и слушать не хотела.

— Если б мои предки услышали что-либо подобное, они перевернулись бы в гробах! Изуродовать все, перерыть, раскопать! Может, заодно вы предложите и мою Асканию снести с лица земли?

— Успокойтесь, милая Софи,— заговорила губернаторша.— Разве можно так поддаваться эмоциям? Меня, правду говоря, все это даже заинтриговало... Мы знаем, что в Египте такие каналы вполне оправдали себя. Сколько, вы говорите,— обратилась она к Мурашко,— чистой прибыли могло бы получать акционерное общество ежегодно?

Мурашко назвал сногсшибательную цифру.

В зале на какое-то мгновенье воцарилось молчание. Стало слышно, как тяжело дышит в тишине астматик немец, муж пани Луизы.

— Ничего себе! — первой нарушила тишину губернаторша.

И тут, как по сигналу, зашумели все сразу. Настроение гостей резко изменилось. Обступив Мурашко, женщины наперебой стали расспрашивать о подробностях дела.

— Какой процент на капитал? — выкрикивала одна.

— Какие гарантии? — допытывалась другая.

— По чьим землям пройдет вода?

Прерии прериями — все это сантименты и дым,— а тут пахло настоящими барышами! Их земли сразу подскочили бы в цене, в этом нет сомнений! У кого десять тысяч десятин, считай что уже сто! Задыхаясь, немец продирался между женщинами к Мурашко, все время пытаясь что-то сказать, но пани Луиза, оттиснув мужа плечом, уже сама допытывалась у господина инженера, согласится ли он завернуть канал в их Сивашское. Набеленные помещицы из Черной Долины, наоборот, возмущались тем, что господин инженер, не спросив их, самовольно наметил их землю под канал... Они, дескать, хоть и не так богаты, как некоторые другие, но, слава богу, они тоже собственницы, и нет такого закона, чтоб

без их разрешения вторгаться в принадлежащие им земли.

— Антихрист,— передергиваясь от злости, присоединила свой скрипучий голос к голосам помещиц заднепрянская игуменья.— Все монастырские земли, всевышним нам врученные, он уже определил под затопление...

— Я бы тоже пошла на эту Панаму,— стрекотала крымская Мери,— если бы можно было завернуть канал к Семи Колодцам! Потому что у нас только название — Семь Колодцев, а воду в цистернах возим! Господин инженер, вы могли бы внести коррективы и взять курс на меня?

— Мери, что ты говоришь? — сардонически улыбнулась Софья Карловна.— Каким образом? Через мой заповедник? Через мою Асканию? О, скорее через мой труп!

— Разве дорога в Крым идет только через ваш заповедник, Софи? — обиделась Мери.— В конце концов вас можно обойти и повести канал через земли мадам Ефименко.

Мадам Ефименко до сих пор загадочно молчала. А между тем Мурашко знал, что многое зависит именно от нее.

— У нас, правда, заповедников нет,— наконец заговорила, как в бочку, мадам Ефименко,— нам больше летучих песков досталось, но нас тоже следовало бы спросить, пожелаем мы каналы или нет...

— Канал полностью в ваших интересах,— заметил Мурашко.

— Ты мне, старухе, очки не втирай,— повысила вдруг голос мадам так, что все притихли.— Мужицкий твой канал — вот что я тебе скажу... Вижу, куда ведешь и куда заворачиваешь... У нас воды мало — это так, но еще больше на воду голодны вот те чаплинские и каланчакские голодранцы... И эта твоя вода в первую голову на их мельницу льется ты не обдуришь меня, старуху. Жили наши деды без этого, как-нибудь и мы проживем. А то наведете нам сюда всякой пролетарии, смутьянов да забастовщиков, чтобы бунты разводили... Разве не так, скажешь? К тому, к тому оно клонится!

Словно холодной струей облили присутствующих крутые слова мадам Ефименко В самом деле, как они об этом не подумали!.. Тысячные армии вооруженных

лопатами землекопов нахлынут в степь... Займут села, подступят к экономиям, заведут всякие свары с подрядчиками... Нигде от них не спрячешься! Начнется с подрядчиков, а кончится забастовками, манифестациями, красными флагами!..

— И за все это,— подлила масла в огонь Софья Карловна,— мы еще должны платить из собственного кармана! Ведь так, господин инженер?

Бой был проигран, но Мурашко все еще не сдавался.

— Ваши так называемые прерии,— заговорил он,— живут только пол-лета. Во вторую половину лета они выгорают, становятся пустыней. Суховеи, черные бури приносят вам миллионные убытки, и вы не можете ничего с ними поделать. Вы — плохие хозяева. Вы — никчемные хозяева! — повторил он под возмущенный гул всего зала.— Я вам предлагаю выход. По два урожая в год вы сможете снимать на ваших землях. До самой осени будут зеленеть ваши пастбища. У вас будут собственные леса. Все ваши затраты окупятся за несколько лет, окупятся с лихвой, в ваши карманы потечет такая прибыль, о которой вы даже не мечтали.

— Не вам судить, о чем мы мечтаем, грубиян! — крикнула Софья Карловна, поднимаясь с кресла.— Это таким, как вы, всегда мало, а у нас уже, слава богу, коечто есть... На наш век хватит!

— На ваш век,— презрительно усмехнулся Мурашко.— А после вас?

— А после нас... хоть потоп!

Кровь ударила Мурашко в голову. Стал темнее ночи.

— Потоп? Глядите... Можете накликать. Может и потоп быть!

И, с хрустом зажав в руке свои бумаги, он сквозь зловещую тишину направился к двери.

Тем временем, воспользовавшись немой паузой, перепуганный дворецкий пригласил гостей к столу.

Мурашко брел домой, сутулясь больше обычного, тяжело переставляя ноги, словно прошел только что тысячу верст. На веранде его встретили Лидия Александровна и Светлана, испуганно прижавшаяся к матери.

— Ну как? — спросила Лидия Александровна, бледнея. Голос ее дрожал от напряжения.

— Все хорошо... Именно так, как и должно было быть,— ответил Иван Тимофеевич, горько улыбнувшись.

Эта улыбка сказала жене все: можно было не расспрашивать.

У Ивана Тимофеевича тоже не было сейчас никакой охоты разговаривать. Забравшись в кабинет, он ни с того ни с сего завалился спать и спал до самого вечера. Вечером встал, поиграл со Светланой, посмотрел с веранды на фейерверк в честь Софьи и скоро опять залег спать, словно хотел отоспаться теперь за все бессонные ночи, которые коротал над проектом.

XXVII

Утром Мурашко пошел к управляющему и потребовал отпуск.

— После стольких лет работы,— гремел он в конторе,— не заслужил я разве передышки? Или я у вас вечный сезонник?

Густав Августович, чувствуя себя на сей раз перед «господином инженером» почему-то сконфуженным, не очень упирался — разрешил.

— Мерси,— процедил сквозь зубы Иван Тимофеевич и вышел из конторы, еще больше раздраженный уступчивостью управляющего.

На улице под запыленными акациями стоял необычный шум: в толпе детворы кривлялся в вывернутом кожухе босой, лохматый алешковский юродивый.

— Я, Григорий-семинарист, не пан, не дворянин — алешковский мещанин! — скаля зубы, выкрикивал под дружный хохот детворы юродивый.— Страдаю от герлыги и от косы, а от колбасы поправляюсь! — С этими словами он распахнул на себе кожух, надетый прямо на голое тело — грязное, костлявое, покрытое синяками.

С визгом и улюлюканьем запрыгала вокруг кривляки довольная детвора.

Увидев Мурашко, юродивый впился в него злым, распаленным взглядом.

— Вон тот идет, что Днепр в степи повернул! Ах-ха-ха!.. Прислужился панству, Днепр ночью экономиям продал!

У Мурашко потемнело в глазах. Замер на месте, как у позорного столба. Притихли и дети в смущении.

— Не ври, семинарист,— послышался вдруг откуда-то, словно издалека, твердый мальчишеский голосок.— Не для панов он старался...

Эта детская простая защита словно вернула Мурашко к жизни.

— Уже не в море течет, сюда Днепр повернулся!— брызгая пеной, бесновался юродивый.— Вот уже под нами — слышите? — хлюпает! Мокро! Вода пошла! Скорей на крыши, на деревья, не то потонем все!

Кинувшись к ближайшей акации, он стал неуклюже карабкаться вверх, скользя по дереву своими чугуными ногами.

— Зачем вы его слушаете? — проникновенно обратился Мурашко к притихшей детворе.— Он среди людей, как пустельга среди птиц... Разве вам пустельги и грачи еще не надоели своим карканьем?

— Ой, наколошматили ж мы их тогда в вашем парке,— похвалился какой-то карапуз.— Я три дня был на «грачиных войнах»!..

— То-то же, сами знаете... Бросьте его, идите играть в другое место...

Обходя юродивого, который уже сидел на акации, Мурашко направился домой.

— Куда же ты? — прозвучал ему вдогонку зловещий голос с акации.— Подожди меня, пойдем вместе! Мы ж близнецы с тобой! Я арену летучих песков кожухом накрыл, а ты Днепр на панские толоки выплеснул!..

Не оборачиваясь, Мурашко ускорил шаг.

...Почти одновременно вышли в тот день из Аскании двое. В одну сторону — Мурашко с прикушенными усами, в другую — Гриша-семинарист в вывернутом кожухе.

Три дня Мурашко где-то пропадал. Как мог догадаться Валерик из намеков Лидии Александровны, садовник подался пешком через Перекоп искать поддержки в губернском земстве.

Под вечер третьего дня Валерик неожиданно встретил своего наставника в саду, на одной из полян под копной сена, накошенного в свободные часы самим Мурашко. Сейчас копна была разворочена, словно около нее только что прошел бугай.

Мурашко сидел по плечи в сене, видимо только что проснувшись, и вид у него был страшный: грудь нарас-

пашку, борода всклокочена, в растрепанных черных волосах торчит сено.

Валерик остановился поодаль, незамеченный, не осмеливаясь сразу подойти к Ивану Тимофеевичу.

— Ломбардия,— покачиваясь, сокрушенно заговорил куда-то в степь Мурашко.— Ломбардия. Ибрагимия...— Плечи его вдруг затряслись, послышался хриплый смех.

Валерику стало страшно от этого смеха: «Что с ним? Заболел?» — промелькнуло у него в голове, и он стремглав бросился к садовнику:

— Иван Тимофеевич!

Мурашко исподлобья взглянул на него, как на чужого, и... равнодушно кивнул. Мальчику стало еще страшнее: его учитель был пьян. Ужасом, отчаянием, болью неожиданного, внезапного разочарования обожгло Валерика.

— Иван Тимофеевич!..— в отчаянии зашептал он, готовый разрыдаться от обиды, душившей его. Еще никто в жизни не обижал его так жестоко, как обидел сейчас учитель, святой, самый дорогой ему человек! Зачем он довел себя до такого состояния? Обрюзг, опустился, грязный, пьяный, в сене...

— Как там наши? — спросил через некоторое время Мурашко и, не дослушав ответа, заговорил уже про птиц, что метнулись стайкой в сторону опушки, почуяв человека.

— Птицы... Где лес, туда надо и птиц лесных,— рассуждал сам с собой Мурашко.— Жаворонку здесь нечего делать... Он — степняк. Чем ему короедов выбирать из-под коры? А вот дятел — другое дело...

Через минуту на поляну вышел Яшка-негр с каким-то белокурым, не знакомым Валерику юношей в матросской тельняшке. Заметив Мурашко, они направились прямо к нему.

Негр был явно недоволен видом Мурашко, который разговаривал сам с собой. Приближаясь, Яшка уже сердито лопотал что-то по-своему, жестикулируя, энергично вскидывая головой,— видимо, стыдил Мурашко, как только хотел.

— Э, Тимофеевич, перебрал,— с упреком сказал и матрос, подходя к садовнику.

Недолго думая, ребята подхватили Мурашко под

руки и без всяких церемоний потащили в кусты, в холодок.

Потом негр, перемигнувшись с матросом, подался куда-то в сторону пруда, а матрос, подсев к Ивану Тимофеевичу, заговорил с ним, уже как с трезвым.

— Приезжал я в мастерские да решил заглянуть и в вашу гавань... Просили наши девчата хоть кленовый листочек им привезти напоказ... Они все, знаете, из лесных краев, скучают по зелени...

— Сирень уже отцвела,— прохрипел Мурашко.

— У вас тут одно отцветает, а другое зацветает,— не отставал веселый матрос.— Мы как раз проходили сейчас мимо цветников... Как жар горят!..

— Эге, чего захотел,— повеселел Мурашко, словно у него прояснилось сознание.— Разве это для вас? То, брат, только на панские носы, на аристократические... Чеченцы тебя как поймают с цветами — горя не оберешься.

— А зачем я к ним пойду? — засмеялся матрос.— Разве я не знаю других ходов? Перемахну вон там — и уже в степи!

— Ишь какой! — обратился Мурашко к Валерику, показывая на матроса.— Бронников, машинист из Кураевого... Будет говорить, что юнгой плавал на торговом судне,— не верь. Будет напевать, что за дебоши списали его на сушу,— опять не верь, потому что морякам сам бог велел дебоширить... В мастерские, говорит, приезжал, а я знаю, что он у Привалова был. Скажи — не угадал?

— А что же, был и у Привалова... Мы с ним приятели еще по Херсону.

— Приятели... Они там артезианскую рыбу ловят, в подземелье на водокачке... Рыбу ловят да бомбы делают, ха-ха-ха! — засмеялся Мурашко.

— Что вы, Иван Тимофеевич,— спокойно возразил матрос.— Мы этим не занимаемся.

— Не занимаетесь? Не делаете? А я б сделал бомбу... одну, большущую... Да жаль — не умею... Привалов — тот уме-е-ет!.. Тот — му-у-жик! Недаром его прямо с завода сюда, под негласный надзор... А впрочем, все мы под негласным надзором. И ты, Бронников, и я, и ты, Валерик... Чего же ты стоишь, дружок? Сбегай, нарви ему цветов.

Охотно кинулся Валерик собирать букет. Матрос ему понравился. Чувствовалась в нем какая-то добрая, веселая и мужественная сила, вытатуированные якори на руках роднили его с далекими морями, а то, что он был в дружбе с Приваловым и что, возможно, они действительно, что-то делали там, в подземелье, вызывало еще большее уважение к машинисту.

Собирая цветы, Валерик перекинулся мыслями к знакомым девушкам-сезонницам, на все лето загнанным в далекий, лишенный зелени табор Кураевый. Там где-то была сестра Данька, певунья Вустя с золотистыми смеющимися ямочками на щеках, быстрая и легкая, словно созданная для вечного бега... Были там и высокие, как тополи, забитые сестры Лисовские, и Ганна Лавренко, эта холодноватая, сверкающая красавица, на которую даже смотреть страшно... Пусть всем им матрос повезет это душистое зелье и цветы, пусть передаст им своей с голубыми якорями рукой...

Когда Валерик вернулся к Мурашко с готовым букетом, садовник уже сидел в кустах, промокший насквозь, а негр, смеясь, все еще плескал время от времени на него водой из садовой, усовершенствованной Мурашко поливалки. Разговор, происходивший между матросом и Мурашко, касался, видимо, канала. Сейчас, нахмуренный, в тени, Бронников показался Валерику несколько старше, чем в момент первой встречи, когда он стоял на солнце веселый, по-юношески свежий и румяный, с крылатыми колосками бровей.

— Не оттуда, верно, ждать нам большой воды,— задумчиво говорил Бронников,— не с хвоста, а с головы надо начинать... Красивая там у вас статуя стоит возле распределителя... Схватил за жабры, разодрал пасть, и потоком оттуда хлынула вода...

Иван Тимофеевич, очевидно, уже совсем протрезвел и сидел бледный, измученный.

— Пусть так,— тихо соглашался он,— пусть и за жабры гидру... Но где же тот Геркулес, который...

— Верно, уже где-то растет,— улыбнулся матрос.— Вырастет и пустит в них такую торпеду, что никакими потом пластырями не закроешь...

В это время Валерик вышел к ним из-за куста со свежим, ярким снопиком зелени и цветов.

Матрос быстро поднялся.

— О, спасибо! — Приняв букет, он крепко пожал парню руку.— Вот будет радости у нас!

— Торпеду... торпеду...— повторял задумчиво Мурашко.— Вот это было бы сотрясение... Сама выступила б из понтийского яруса на поверхность...

Бронников вскоре попрощался. Пожав каждому из присутствующих руку, он пересек поляну и легко прошелестел в кустарнике, мелькнув в потревоженной зелени своей широкой полосатой спиной.

Мурашко сидел некоторое время неподвижно.

— Валерик! — наконец заговорил он, избегая взгляда парня.— Там где-то в сене... сверток... Поищи, будь добр...

Кинувшись к копне, Валерик порылся в ней и действительно вскоре обнаружил там знакомую, туго скрученную трубочку бумаг. Вынув из нее сено, парень не вытерпел и посмотрел через нее, как в подзорную морскую трубу, сначала на подлесок, зубцом выходивший за парковые массивы, а потом в степь, где уже садилось солнце.

Багрово было в степи.

Кровавые отблески заката без края вспыхивали над равнинами, перекатываясь в сизых волнах ковыля. Все там — сквозь трубу — казалось Валерику необычайным, словно окрашенным в тона какого-то другого мира... Вот, точно где-то в Индии, одиноко стоят на Внешних прудах розовокрылые сияющие фламинго... Упругим табунком пронеслись окровавленные закатом скворцы, возвращаясь из степи ночевать в парк... Далеко-далеко за открытым простором темнеет на линии горизонта силуэт всадника на верблюде... Кто он? Может, Данько? Откуда и куда? Чуть заметно все движется неведомый всадник по самому горизонту, как бы подкрадываясь сбоку к огромному, остывающему диску солнца... А солнце садится красное, и лучи стоят в небе красными мечами...

Раскатистый смех негра заставил Валерика оглянуться. Кое-как приведя в порядок Ивана Тимофеевича, Яшка повел его домой. Парень со своей «подзорной трубой» неторопливо двинулся вслед за ними.

Парк наполнялся вечерней свежей прохладой. Табунок скворцов, опустившись невдалеке на кусты можжевельника, поднял дикий концерт из звуков, набранных

всюду, где птицы побывали за день. Блеяние овец, посвисты атагасов, шум ветряков, ржание жеребят, перепелиные крики — все это скворцы сейчас наперебой выкладывали парню, словно хвалились перед ним своими степными трофеями.

Тихо в тот вечер было в доме у Мурашко. Ни слова упрека не услышал Иван Тимофеевич от Лидии Александровны. Уложила его в постель, ухаживала, как за больным, деловитая и спокойная. Только Светлана, забившись в кабинет, сдержанно всхлипывала в вышитую подушечку, пока на ней не заснула так, что никто и не заметил.

Наутро Иван Тимофеевич встал бодрый, с обновленными силами и за завтраком заявил жене, что едет в Каховку к Баклагову.

— Поеду проветрюсь немного, да и посоветоваться хочу с ним...

— Что ж... поезжай,— не стала возражать Лидия Александровна.— Сегодня, кажется, как раз шерсть отправляют...

Сборы были недолгие. Через какой-нибудь час Иван Тимофеевич в соломенном бриле, с дорожным плащиком через руку сидел уже на одной из груженных шерстью мажар, уходивших на Каховку. Светлана вышла его провожать, словно он уезжал далеко, надолго. Немного грустная, помахала ему вдогонку своей легкой, как лепесток, ручонкой...

— Не забывай нас, папка, в Каховке!..

Расплылся, затуманился в отцовской слезе знакомый аккуратный бантик, белевший у Светланы на голове, точно нежный полевой вьюнок...

Одна за другой выходили мажары в открытую степь. Двенадцать мажар на шесть чумаков — обоз. По две фуры на брата: одних волов погоняй, другие вслед сами будут идти.

Мурашко на мажаре один. Сидит на высоком сиденье над круторогими потомками степных туров, горькая усмешка блуждает в подкрученных усах... Был «господином инженером», да стал чумаком... Хозяин всей мажары... С Каховской ярмарки на этих мажарах привезли в Асканию батрацкие торбы, а отсюда везут двадцатипудовые меченые тюки с шерстью, и упрямого неудачника с дорожным плащиком через руку, и скру-

чеииые в бараиий рог его замыслы — мечты о большой воде...

Уже несколько дией свистел таврический сирокко; поблекла степь, потемиела, пожухла. Только марево, как и раиьше, струится над ней от края до края.

Степи и степи... Марево и марево над иими. Безлесный, трагически беззащитный край, переполиенный солнцем и светом. Испокои веков мечтая о воде, ои вымечтал себе лишь это марево — роскошиую иллюзию воды. По целым диям течет оио летом перед степияком прозрачиой, дрожащей, сладкой рекой. Куда ни обериешься — всюду струится течение, легко бегут во всех иаправлеииях высокие иеплещущие воды. В полдень половодье марева до краев иальет степь. Земля станет светлее неба. Чистые, как слезы, волиы легко будут обтекать пастуха, будет брести по дну прозрачиого моря отара, по самые крылья в воде очутится далекий ветряк, вдоль миражных плесов зазеленеют вдруг курчавые гаи и левады, нежио зацветут яблоиевые сады... Сколько б ии шел степью, всегда оно будет перед тобой, твое могучее видеиие, струящееся полными, стремительными потоками через выгоревшие, потрескавшиеся поля, через безводиые саманные села. И сколько б ии гнался за иим, распалеиный жаждущим воображением, будет бежать и бежать оно — чарующее, манящее, иеуловимое! — впереди, как твоя недостижимая мечта!..

Разные есть иа свете способы добываиия воды. Один из иих — самый иовейший — везет в Каховку в своих мыслях Мурашко, другим — самым допотопным — выиуждены сейчас пользоваться чабаны в степи. Проезжая мимо степного колодца, стоявшего у самого шляха, видел Мурашко тоикого, как лозииа, босого пария с заплатками иа коленях, который возил для обедениого водопоя на верблюдах воду «в простор».

— Для чьего куска? — крикнул в степь парию передиий погонщик.

— Для Мануйлова,— звонко ответил парнишка, остановившись и провожая глазами обоз. Не узиал задумавшийся Мурашко в нем своего знакомого полтавского Данилу, но зоркий Данько издали узнал садовника и, здороваясь, радостно скинул перед ним свой видавший виды картузик.

Пошел в светлые просторы выгоревший на солнце мальчик со своими выгоревшими на солнце верблюдами. Неторопливо гнал и гнал их от колодца в безвестность, ожидая посвиста чабана, следящего за деревянной бадьей. Только по натянутому над степью канату видно было проезжим, какой здесь глубокий колодец: на полверсты струной натянулся канат.

Разные есть на свете способы добывания воды... Тот таскает «журавлем», тот весь век ходит по кругу под деревянным барабаном, а тот живет в подземельях водокачки, обозначив свое место наверху лишь сиянием стеклянных, полных солнца шеломов... На долю Данька выпал самый допотопный способ, который по-чабански называется: *в простор*...

В простор пошел паренек, в простор плывет Мурашко... Уже парня с его верблюдами нежно обтекает марево, и Данько уже чуть видит Мурашко на облитой маревом мажаре, которая уплывает все дальше и дальше на Каховку, покачиваясь, как баркас, на больших миражных водах...

XXVIII

На следующий день Лидии Александровне привезли из Каховки коротенькую записку, в которой Мурашко сообщал, что, посоветовавшись с Баклаговым, он выезжает с проектом в Санкт-Петербург.

Было это как гром с ясного неба для семьи и для узкого круга друзей Мурашко. Панскую же Асканию в тот день взбудоражило совсем другое событие: из далекой Америки вернулся наконец молодой хозяин Вольдемар.

Из Крыма в Асканию он прикатил через Перекоп в новом автомобиле, сидя сам за рулем в защитных от солнца очках. Для большинства автомобили были в то время еще диковинкой, и там, где пропылил степью паныч, пастушата с криком выбегали на шлях, нюхали пыль: чем пахнет?

Приезда Вольдемара в Аскании с нетерпением ждали и панская челядь, которая считала его своим заступником перед барыней, и особенно управляющие и приказчики, которых Софья заедала своей меланхолией, старческой придирчивостью и полным невежеством в ведении

хозяйства. Последние — назло Софье — создавали панычу славу агрономического светила и в противовес матери льстиво поднимали его на щит как землевладельца нового склада, похожего на богатого фермера с демократическими замашками. Сам паныч охотно шел на это и ради поддержки своей фермерской репутации не брезгал даже тем, чтоб собственноручно пощупать овцу или, поднявшись на помост, бросить несколько снопов в барабан.

Подчиненные имели от Вольдемара Эдуардовича приказ — величать его просто панычом. Либерализм молодого Фальцфейна дошел до того, что он, в отличие от других Фальцфейнов, почти не занимался рукоприкладством и не требовал от рабочих снимать перед ним при встрече шапку. Оставайся в шапке, лишь бы поклонился!

Никого не наказывал паныч своей властью, ни одного штрафа ни на кого не наложил. При нем был введен твердый порядок: рабочих наказывают управляющие и приказчики, а он, паныч, только милует.

Не успел Вольдемар оглядеться в Аскании, как уже потянулись к нему отовсюду с жалобами и прошениями. Паныч миловал налево и направо. Разные — большие и малые,— холуи и подголяльщики, потея, толпились в его прихожей, перехватывали его на всех аллейках, наперебой выпрашивали ласки, торопясь утопить перед ним своих конкурентов.

У Гаркуши относительно этого была своя линия. По опыту он знал, что разговаривать с панычом в прихожих гораздо труднее, чем где-нибудь на вольном воздухе, когда он сам, скажем, прикатит к тебе в табор. Там, в имении, над ним, как мухи, роятся всякие подлизы, а тут ты один. Там ты, охотясь за ним, запыхаешься, как пес, стоишь и двух слов не можешь связать, а здесь он застает тебя подготовленным, умеренно шутливым, при обязанностях, в пыли, на страже его же собственных интересов. Здесь, а не там будет топить Гаркуша своих завистников! Здесь, в своей стихии, если дело дойдет, вонзит он клыки и самому Густаву Августовичу в ребра!..

Не подвела Гаркушу его линия. Вскоре, объезжая свои экономии и степные таборы, паныч Вольдемар действительно заглянул и в Кураевый.

В этот день батраки Гаркуши работали далеко от табора, уже на уборке, а при самом таборе Гаркуша оста-

вил только около десятка сезонников, преимущественно заболевших и покалеченных, которые вместе с дворовыми строгали ток, подметали, убирали и готовили его к молотьбе.

Сам Гаркуша был почти безотлучно на току, зная, что если молодой хозяин приедет, то прежде всего заглянет сюда.

Было близко к полудню, когда люди, работавшие на току, заметили в степи автомобиль.

— Эй, приказчик, мотай на шлях!

— Сдается, хозяйская чертопхайка прет!..

Гаркуша и глазом не повел.

— Вы за работой следите, а не за чертопхайками!

И, повернувшись в сторону чертопхайки спиной, он стал с еще более озабоченным видом следить за работами на току и подгонять людей. Накричал на какую-то женщину, которая будто бы строгала не так, как нужно, и, выхватив у нее инструмент, сам принялся сердито строгать, и лишь когда машина свернула уже к табору, Гаркуша, отбросив прочь строгало, с неожиданным проворством метнулся наперерез автомобилю.

Паныч, заглушив мотор, разминаясь, вышел из машины, долговязый, высокий по сравнению с Гаркушей, как дорожная верста, в клетчатой рубашке с засученными рукавами. Голова паныча, маленькая, с каштановым ежиком, как-то не шла к его широким плечам, ко всей вытянутой, хотя и довольно хорошо сложенной фигуре. Округлое личико тоже поражало мелкими сусличьими чертами и было сейчас влажно-красным, разопревшим, точно после бани. Сколько помнит Гаркуша молодого хозяина, всегда это личико было вот такое моложавое, разопрелое, покрытое как бы едва заметным пушком, хотя паныч уже давно имел своего парикмахера и ежедневно брился.

— Весьма рад видеть вас при полном здравии, паныч! — говорил Гаркуша, пока молодой хозяин, протирая очки, как-то беспомощно, по-сусличьи моргал своими безбровыми, водянисто-сизыми глазами.— Как же вам путешествовалось по тем америкам? С медалью, говорят, вас?

— С двумя, Гаркуша,— довольно ответил паныч.— Серебряная и золотая...

— Не подкачала-таки наша шерсть, хе-хе...

— Обе должны были быть золотые, да... сами же американцы ножку подставили.

— Ах, черти! Умеют, значит?

— Еще как... Волчья хватка. Щенята мы перед ними, Гаркуша.

— Вы подумайте! — деланно ужаснулся приказчик.— А то правда, паныч, что своих баламутов они на электрические табуретки сажают?

Вольдемар улыбнулся:

— Все у них по последнему слову техники, Гаркуша... Посадят, чирк — и только пепел от него.

— До чего додумались, собачьи головы! — захохотал приказчик, давая понять, что он оценил шутку хозяина.— Комедия, да и только!..

Пошли осматривать ток.

Поздоровавшись с людьми, паныч поинтересовался, есть ли у кого-нибудь жалобы, и сразу выяснилось, что жалоб уйма.

— Штрафами замучили!

— Хлеб дают сырой...

— Больных заставляют работать.

— Что я слышу? — удивленно обратился паныч к приказчику.— Может, вы мне еще и намордники на людей заведете, как за Днепром, у князя?

«Может, и заведем, если будет туго с водой»,— дерзко подумал приказчик, но внешне оставался весь покорность и внимание.

— Немедленно, сегодня же, чтобы были мне поданы списки оштрафованных,— продолжал паныч,— я сам посмотрю и постараюсь разобраться... Потом вот эти слабые, больные, раненые... Зачем они, в самом деле, здесь? — спросил удивленно паныч, хотя и не сказал, чтобы немедленно освободить людей от работы, и Гаркуша хорошо знал, что паныч не скажет этого.

— Сами не хотят лежать, потому что кто ж им за болезнь платить будет? — говорил Гаркуша панычу, идя с ним к паровику.— А потом еще и гудят... Народ!

Глубоко вкопанный в землю паровик блестел и сиял, готовый, казалось, хоть сейчас к пуску. Однако машинист забравшись в яму возле топки, еще копался внизу, скреб железом по железу так, что хоть уши затыкай.

— Кто это там? — поморщился от скрежета молодой хозяин, которому были видны лишь ноги машиниста.— Тот моряк?

— Моряк,— подтвердил приказчик и одобрительно шепнул:— Знающий! Видите, как блестит!

И, стараясь перекричать пронзительный скрежет, Гаркуша крикнул вниз:

— Бронников, ты надолго там застрял?

Железо под топкой загудело, заскрежетало еще сильнее, вызывая оскомину на зубах.

— Не слышит,— виновато сказал Гаркуша и повел Вольдемара в кухню.

На кухне паныч дал монету кухарке, которая узнала его, а потом стал пробовать ложкой, что готовится людям на ужин.

— Тут мы готовим попостнее,— переглянувшись с Гаркушей, объясняла кухарка, пока паныч прихлебывал горячую юшку своими пухленькими губами.— Весь жир в степь идет, косарям и вязальщицам...

— Кормите как следует,— невыразительно сказал паныч, утираясь платочком.— Потому что сейчас пора наступает горячая... Чтоб нареканий не было.

И, осчастливив кухарку тем, что мимоходом весело пошлепал ее по гладкой спине, Вольдемар направился с Гаркушей в приказчичью контору — просматривать списки оштрафованных.

— Где же твои знаменитые полтавчанки? — заговорил паныч, усевшись возле столика и равнодушно рассматривая штрафные записи Гаркуши.— Что-то я их не вижу.

Гаркуша сразу вырос на пол-аршина. Наступает наконец его час!

— Они тоже есть там, в тех списках,— сказал Гаркуша весело.— То зубок какая-нибудь выломает из грабель, то заснет где-нибудь под копной, то слишком огрызнется на работе... все там взято на заметку, ничего не пропущено... Но какие павы есть среди них, паныч! Прошлый год, вы сами знаете, какие у меня были, а в этом году еще лучше!

— Где их столько берется там, в этой ободранной Полтавщине! — улыбнулся паныч, забрасывая ногу на ногу.— Питомник там, что ли?

— Природа,— уверенно ответил Гаркуша.— Воды

много хорошей, вот и растут... Меня в этом году, правда, хотели не пустить на ярмарку, завиеть все да наговоры, но наперекор всем я таки вырвался, набрал...

— Они там и ночуют в степи?

— Сейчас там, на пшеничном поле... Зачем им тащиться каждый день за десять верст, бить ноги туда и обратно?.. Лучше пусть за это время лишнюю копну нажнут. И кухарок туда послал, и воду вожу...

— Вот что, Гаркуша,— сказал паныч, потягиваясь.— Ты эти списки сам пересмотри, потому что тут три дня надо разбираться в твоих каракулях... Сбрось кому следует и объяви публично: паныч, мол, прощает... А сейчас давай лучше проедемся... к твоим.

Гаркуша был на седьмом небе. Залезая в машину, невольно косился на своих токовиков — видят ли? Смотрите все, мол, берет Савку паныч в свой автомобиль, запанибрата Савка с панычом!

По дороге они еще завернули к одному из атагасов, которого Вольдемар почему-то считал своим приятелем и которому часто заказывал чабанскую кашу. На этот раз чабанская каша с нечабанскими приправами была уже готова, упревала, закутанная в серяк, возле костра. Нашлась в машине у паныча и какая-то шипучка, наверное американская, которая прыснула на чабана пеной. Выпили, поужинали и уже при луне помчали по степи к Гаркушиным косарям и вязальщицам.

Блаженствовал Гаркуша: паныч за кучера, он за пассажира! Езжай себе, любуйся ущербной луной, которая ровно льет свет сквозь тонкие, голубоватые, как мыльная пена, тучки. По всему небу как-то незаметно расползлась эта пена, но дождя от нее не жди. Говорят, что не идет, где просят, а идет, где косят, однако в Таврии дождь и на косарей редко падает. Тем лучше для Гаркуши — пока сухо, обкосится и обмолотится...

— А как в Америке... перепадают дожди?

— Где как: в одном месте — ливни, реки из берегов выходят, города разрушают, а в другом — ни миллиметра осадков за все лето.

— Тоже, значит, беспорядок... Ну, пусть уж у нас тут земля трескается так, что ладонь вставишь... А у них же наукой, техникой могли бы дойти?

— Ломали и над этим, Гаркуша, голову их специалисты...

— Ломали уже?

— Ломали. Но ничего не вышло. Наука, оказывается, здесь бессильна.

— Гм... Садись, значит, кум, на дно?.. Ну, а что ж они хоть про эти засухи говорят? Палит из года в год, сушит чем дальше, тем больше... Ниспослано это за грехи на нас, что ли?

Усмехнулся за рулем паныч. Сразу чувствуется, что не верит в дедовские предрассудки молодое агрономическое светило.

— Не в том дело, Гаркуша, что ниспослано... На все это их авторитеты дают другой, научно обоснованный ответ...

Навострил уши приказчик: он всегда был любителем науки.

— Какой же ответ, паныч?

— Трудно будет тебе понять... Видишь, открыли они такой закон, что в природе существуют периодические колебания климата. Зависят они от космических причин, от лучеиспускания солнца...

— О, до солнца у них еще, известно, руки коротки!..

— Доказано, что через каждые тридцать пять лет и шесть месяцев влажный период сменяется засушливым для всего земного шара... Сейчас мы живем как раз в третьем году засушливого периода.

— Долго же нам еще ждать дождей,— разочарованно сказал приказчик и умолк.

Молчал и паныч, время от времени умиленно поблескивая на луну стеклышками своих очков, уже не тех, что днем. Что значит богач: от солнца у него одни очки, от луны — другие, а от звезд, наверное, и третьи есть... Можно панычу спокойно ждать далекого американского дождя. Можно ему любоваться ясным месяцем, потому что светит он прежде всего для него, а не для приказчика... Льется и льется лунный свет. Ровно заливает степи своим синеватым, словно из снятого молока, разведенным сияньем. Светит где-то на хозяйскую столицу Асканию, освещает в этот вечер и сорок тысяч панских овец, что ходят сорока кусками на пастбищах, и огромные стога сена, раскиданные на просторах, и степные колодцы, похожие на виселицы, и свежие вот эти копны, что мелькают рядками, словно выстроились на парад перед своим молодым хозяином...

На краю огромного поля, заставленного свежими копнами, прямо по межевому рву — разве им привыкать? — отаборились под луной Гаркушины сезонники.

Знал Гаркуша, где их надо искать: где бочки с водой, там и они. По обе стороны от бочек, слегка освещенные луной, устроились люди кучками по межевому рву, как херсонские этапники на отдыхе. Кто поднялся, увидев пучеглазую хозяйскую машину, а кто и нет: такой пошел народ. Те, что постарше, поужинав, укладывались спать, натаскав в ров хозяйские снопы, другие еще разговаривали, а неутомимые девушки уже где-то напевали вполголоса, сами себя укачивая песней... Парней здесь почти не было, они и ночью не без работы: выпрягши лошадей из косилок, погнали к колодцам на водопой, а оттуда на всю ночь — на пастбище.

Пока паныч, вылезший из машины, болтал с какими-то первыми попавшимися бабами, Гаркуша шепотом уже успел отчертыхать своего молодого подгоняльщика за все его дневные промахи: и за снопы на межевике и за то, что рано выпрягли...

— Где криничанские? — спросил под конец приказчик.

— Вон они гудят,— с досадой махнул подгоняльщик куда-то под луну.

Гаркуше этого было достаточно. Вскоре он с панычом уже был возле криничанских, не раз им оштрафованных красавиц.

С приходом паныча и приказчика песня оборвалась.

— Чего же вы притихли? — спросил Вольдемар.— Пойте.

— А мы петь не нанимались,— послышался из толпы хорошо знакомый Гаркуше голос Вусти.

— Легче, легче там! С вами паныч разговаривает!— объяснил приказчик.— Это все ты, Вустя, бунтуешь? Все тебе тут колет!

— А и колет,— сказала грудным голосом Ганна Лавренко,— попробовали бы сами всю ночь вот так, на меже, на кочках...

Гаркуша хотел ей что-то ответить, но паныч цыкнул на него.

Поразила Вольдемара Ганна. Сидела горделиво под лунным светом мраморно-озаренная, величаво-спокойная. Без бриллиантов была, а при луне — со своими де-

шевыми сережками и монистом,— казалась в бриллиантах...

«Эге,— воскликнул мысленно паныч,— да тут вон какие есть!»

И, присев около девушек, снова завел свой любимый разговор — какие у кого будут жалобы к нему и претензии.

— Воду гнилую привозят,— выпалила Вустя, прикрываясь от месяца за плечо Ганны.

— Безобразие,— строго сказал паныч Гаркуше.— Что у нас, воды в колодцах не хватает?

— Сейчас-то еще хватает,— не испугался на сей раз Гаркуша,— а вот дальше будет и не хватать... Известно же, что в середине лета иссякают наши колодцы...

— Сякают, сякают [1],— передразнил приказчика паныч под дружный смех девушек.— Ты поменьше мне болтай, Гаркуша... Почему сюда гнилую привозите?

— Выливать жалеют ту, что остается,— объяснила Олена Персистая.— На второй день оставляют... А как ее пить? Согреется, протухнет...

— Скоро головастики в ней будут пищать,— заключила Ганна Лавренко, и все опять засмеялись.

— Ладно, это мы исправим,— пообещал паныч.— А сейчас, может, все-таки споете?

— Не можем,— сказала Вустя из-за плеча Ганны.

— Почему?

— Спать пора. Завтра вставать рано.

Между тем по всему было видно, что девушки еще и не думают спать. И хотя развлекать паныча песней у них в самом деле не было никакой охоты, он их все же заинтересовал. Со всех сторон девушки так и постреливали глазами на эту знатную птицу, которая не умела даже толком сидеть на траве. Как только паныч подсел к компании, Вустя с присущей всем Яреськам меткостью мысленно прилепила ему кличку: «Суслик в очках». И уже следила за каждым его движением, как за движением суслика, насмешливо перешептываясь в темноте с подругами.

Обо всем этом паныч не догадывался и считал, что девушки украдкой поглядывают на него вовсе не для того, чтобы высмеивать, а потому, что им, верно, впер-

[1] Игра слов: сякают — по-украински иссякают и сморкаются.

зые выпала почетная возможность так близко сидеть с человеком знатного рода и свободно разглядывать его.

Разговаривая с девушками, паныч незаметно, как ему казалось, пододвигался все ближе к Ганне, нахально впиваясь в девушку стеклышками своего пенсне.

«Боже, откуда у нее все это? Какой прекрасный рот, какой бюст, какая царственная осанка!..»

— Как тебя зовут? — не утерпев, спросил паныч.

— Ганна.

— А где ты покупала такие чудесные сережки? — сказал Вольдемар и попытался взять Ганну за сережку.

Но она строго отбросила его руку с лакированными длинными, как у мертвеца, ногтями.

— Не балуйте, паныч.

— Ишь ты! — вмешался неожиданно Гаркуша.— А то что?..

— А ты заткнись! — отрезала Ганна, поднимаясь.

Другие тоже встали, поправляя платки, повернувшись к панычу и приказчику спиной.

С тем они и уехали от девушек.

Молчаливый сидел паныч за рулем, изредка поглядывая в небо, оперенное тонкими серебристыми тучками. Холодное «цыганское солнце» светило теперь уже им в затылок, одинокое над степью, а отсветы от него ложились на каждую тучку, делая ее мраморной, и все небо уже летело на Вольдемара, словно облицованное из края в край светлым, голубоватым мрамором бесчисленных девичьих лиц, похожих на одно — на лицо Ганны.

Изредка мелькали под луной отары. Кружилась, как метель, в свете фар степная мошкара, слепо несясь навстречу, разбиваясь о стекла. Вспугнутые жаворонки вспархивали перед самой машиной и свечками уходили вверх, в мраморную Ганнину высоту.

XXIX

— Она здесь со своими дядьями,— нарушил через некоторое время молчание Гаркуша.— Держат, видать, ее в руках... Они у меня сторожами на Кураевом. Статные ребята: только глянешь — уже страшно... Как два разбойника.

— Штрафы с нее чтоб завтра все снял. Слышишь? — не оборачиваясь, приказал панич.— И вообще... смотри у меня!

Приказчик так и не понял толком, что означало это паничово «смотри», но наугад кивнул.

— А тех... разбойников сейчас покажешь мне.

— Слушаюсь.

Заехали на Кураевый, и приказчик кликнул к машине сторожей. Долго ждать не пришлось. Встревоженные Сердюки, запыхавшись, подбежали к паничу со своими колотушками.

Разговор с ними был короткий.

— От приказчика я узнал,— сказал панич,— что вы образцово несете службу и заслуживаете награды. За это я перевожу вас в главную экономию. Будете сторожить там. Завтра явитесь в Асканию... прямо ко мне.

Сказал и покатил в степь, пугая зайцев и жаворонков. Сердюки стояли ошарашенные. Оторопел и приказчик.

— Вишь,— неопределенно сказал он сторожам и направился к кухне, услыхав доносившийся оттуда смех кухарки.

Долго гадали в ту ночь Сердюки, чтó бы все это могло означать. Не мог же Гаркуша в самом деле так уж выхвалять их перед паничом... Да и за что? Слыхали ж они, как тузили его ребята на сеновале, но сделали вид, что не слышат, выручать не кинулись!

Как бы там ни было, а судьба, кажется, повернулась, наконец, и к ним лицом, и на другой день к завтраку Сердюки уже стряхивали с себя пыль в Аскании. Панич был в ласковом настроении, принял их первыми и долго беседовал при закрытых дверях.

— Кто они, эти мужичищи? — переговаривались между собой конторщики, толпясь в прихожей.— Сам к ним вышел, позвал, словно кого-то важного...

— Кто их знает: может, это контрабандисты какие-нибудь... Греки, может, из Очакова...

От панича Сердюки вышли весело возбужденные и словно слепые: проталкиваясь через прихожую к двери, наступали панским холуям на мозоли своими ножищами.

На улице им встретился Валерик, но они вначале даже не узнали парня, который первый вежливо поздоровался с ними.

— А, это ты! — очнулся Левонтий.— Где же ты теперь?..

— Работал в саду, а сейчас,— покраснел парень,— к теннисным кортам приставили... Мячи подавать.

— Ага, мячи... Чего ж: это тоже работа,— заговорщицки перемигнулись Сердюки и, расспросив парня, где тут монополька и страусятник, двинули дальше.

Валерик слышал, как они, отойдя, опять заговорили о мячах и весело заржали.

В лавочке Сердюки, к удивлению продавца, разменяли подозрительно новенький червонец и, купив по осьмушке водки на брата, подались прямо на страусятник. Им захотелось проведать своего земляка Нестора Цымбала, с которым они не виделись со дня прихода из Каховки.

Нестора Сердюки разыскали неподалеку от страусятника, на огороженном пастбище в обществе его удивительных длинноногих питомцев.

— Осторожней, осторожней! — кричал Цымбал, отгоняя страусов подальше от гостей.

— Разве они дерутся? — спросил Левонтий, пятясь.— А говорят, что эта птица самая пугливая на свете...

— Слушайте, что вам наговорят... А он как долбанет, так аж взовьешься!.. Нога у него, видите, что копыто.

— А как же ты с ними, Нестор?

— Так это ж я,— улыбнулся Цымбал.— Они как к кому... Вот смотрите...

Нестор свободно подошел к одному из страусов и нежно погладил его по туловищу, что-то приговаривая. Птица в ответ забормотала, ласково потерлась о Нестора и, вытянув свою длинную шею, положила ему голову на плечо, словно обнимая.

— Почти одинаковые,— захохотал Оникий.— Как солдаты, один в один...

— Все он понимает, только не разговаривает,— ласково говорил Нестор, подходя к гостям.— Как хотите, а мне... полюбилось. Есть в нем душа.

— Ты, Нестор, во всяком звере душу найдешь,— кинул Левонтий, тяжело опускаясь на траву.— Недаром за тобой в Криничках все приблудные собаки ходили...

— Раздолье тут нашему атаману,— опускаясь рядом с братом, насмешливо заметил Оникий.— Пасет, пасет да и напоит... Слыхали мы, Нестор, что ты чуть ли не

главный при зверинце? Правой рукой у того, как его, Ноя?

— Правой не правой, а левой наверное,— улыбнулся Цымбал, присев перед земляками, босой, в облезшей шапке.— А вас же каким ветром сюда?

— Да мы что,— поглаживая бороду, загадочно подмигнул брату Левонтий.— Как были наймитюгами, так и остались: с одного места да на другое сторожить чужое добро... Это ты вот, как видно, разбогател... От голубей на страусов перешел,— захохотал Левонтий, намекая на давнюю голубиную страсть Цымбала, который и вырос с турманами за пазухой.— Только этого уж за пазуху не впихнешь...

— Лаской можно всякую тварь привлечь к себе,— мягко возразил Цымбал.— Вы думаете, откуда при человеке взялось такое как лошадь, корова, овца, собака, курица или тот же голубь? Дикими когда-то были... А человек своей добротой, деликатным уходом приучил их к себе, сделал домашними... Но мало ведь! Сколько еще есть в лесах и пустынях такого, что можно бы одомашнить... Возьмите вы антилопу, или фазана, или даже вот этого страуса...

— Ты слышишь? — толкнул Оникий брата.— Ему уже коня и коровы мало! Уже, наверное, его Степанам коровье молоко надоело,— хочет для них еще штрауса приручить! Ну, пусть тебе, Нестор, штраус, а мы люди темные, нам подавай волов, да коров, да отары овец!

Грубый хохот земляков, который другого кого-нибудь обидел бы, на Цымбала почти не действовал. Веселое и мудрое спокойствие светилось в его глазах.

— Есть у нас тут профессор один, Иванов по фамилии, из Петровской академии присланный.. Мы с Клименко часто ему помогаем... Такого, скажу вам, ученого поискать... Случил зебру и коня, и уже есть у нас маленький скрещеныш. А на днях вот на домашнюю простую кобылу пустили дикого монгольского жеребца...

— А это же зачем? — уставились на Цымбала земляки.— Все перепутаете, потом толком не разберешься!

— Разберемся,— уверенно улыбнулся Цымбал.— Зато потомство будет вдвое сильнее, чем домашние лошади...

— Ты тут, Нестор, возле прохвессора и сам прохвессором станешь! — воскликнул Оникий.— Послучаешь

всех со всеми... Заживешь тогда, земляче, не по-нашему!..

«Не очень тут и профессоры живут,— задумался Цымбал.— Сам на кирпичном заводе в какой-то халупе ютится, которую ему академия у Фальцфейнов арендовала... Для его лаборатории дворец бы поставить, а он у Фальцфейнов где-то на задворках...»

— Слушай, земляк,— нахмурился вдруг Левонтий,— ты ни себе, ни нам баки такими вещами не забивай... Тебя в Кринничках куча голышей с заработком ждет, а ты к ним босым прохвессором явишься... Последнюю курку в петуха обернешь...

Перемигнувшись, Сердюки одновременно выставили на траву свои осьмушки и стали молча следить, какое впечатление это произведет на земляка.

— Ого, как вы живете! — радостно удивился Цымбал.— А я с Каховки еще не пробовал...

— Так топай сейчас, ищи закуски,— распорядился Левонтий, обращаясь к бывшему своему атаману уже как к подчиненному.— Штраусы твои никуда не денутся...

— Что ж я вам принесу? — растерялся Нестор.— У меня так, что и... пусто в закромах.

Сердюки задумались. В самом деле, что с такого взять? Один в Аскании земляк, да и тот гол как сокол... Потом, о чем-то пошептавшись, они вдруг пожелали, чтоб Нестор зажарил им на закуску страусовое яйцо.

— Добудь сковородку и зажарь,— разошелся Левонтий.— Пора уже и нам полакомиться.

— Слыхали мы,— весело подпрягся к брату Оникий,— что одно штраусячье яйцо несколько фунтов тянет... Это если разбить, так на всех нас яичницы хватит...

Цымбал вначале думал, что земляки шутят, а поняв, что это не шутки, стал решительно отказываться.

— А вы бы ели?

— А что?

— Люди добрые! Разве вы не знаете, что, кто страусовое яйцо съест, у того шею на аршин вытянет, будет как у страуса!

— Да ну! — оторопели Сердюки и стали поводить своими воловьими шеями.

Цымбал ухмыльнулся.

— Так ты еще издеваешься? Панского добра для односельчан жалеешь? — насупился Левонтий.— Оно нам, может, дороже, чем тебе, а и то готовы есть!..

— Не панское жалею! — горячо возразил Цымбал.— А чтоб страусы не вывелись! Разве ж, если я неграмотный, то и понять ничего не способен? Может, то, что сегодня выведем, когда-нибудь и нашим детям пригодится...

— Такой ты, значит? — процедил сквозь зубы Оникий.— Здорово встречаешь гостей!

Обиделись на земляка Сердюки. Сидели, надувшись, как сычи, над своими осьмушками.

— Лучше на этот раз нам без закуски обойтись,— попытался уговорить их Цымбал.— Если б знал, чего-нибудь другого вам припас...

— Не надо нам другого,— стали подниматься Сердюки.— Загордился ты, Нестор, тут возле своей птицы, земляки для тебя уже ничто...

— Разъелся, как кот, а мышей не ловишь!

И, забрав свои осьмушки, обиженно поплелись к имению. Пусть... Пожалел для них Цымбал страусовое яйцо, а еще неизвестно, что из него вылупится!

Ночью Сердюки уже сторожили Асканию, словно собственный хутор, колотя в колотушки громче, чем все другие сторожа. Бедняги так старались, что разбудили Софью Карловну, которая послала горничную узнать, не случилось ли чего-нибудь.

О том, что дядья уже колотят в Аскании, Ганна узнала не сразу, хотя на следующий день панич снова прикатил к сезонникам в степь, на сей раз, правда, уже без Гаркуши.

Девушки как раз обедали, прижавшись, как перепелки, за копнами, в холодке.

Ганна хлебала с Вустей из одной миски, когда из-за соседней копны прозвучало сразу несколько голосов:

— Паныч приехал!

— Вот повадился!

— Кружит уже над какой-то...

Ганна побледнела при этих словах и отложила ложку.

— Чего ты? — удивилась Вустя.— Что он тебя, съест?! Такого еще нет, чтоб на любовь кого-нибудь неволить.

Ганна в ответ только вздохнула и склонилась над миской.

Вскоре из-за копен показался и сам паныч. Размашисто ступая по стерне, он что-то оживленно объяснял молодому подгоняльщику, который, молча утираясь рукавом, шел вприпрыжку за длинноногим панычом. Заметив девушек, паныч развязно поздоровался с ними и бросил шутя, обращаясь к Ганне:

— Ну, головастики еще не пищат?

— Еще нет,— тихо ответила Ганна и потупилась. Щеки у нее при этом чуть заметно порозовели.

— Только тумана что-то много в этой воде,— не удержавшись, уколола Вустя паныча.

— Ну-ну, ты, щебетуха! — весело погрозил ей Вольдемар.— С такими глазенками да с такими ямочками на щеках ты хоть кого затуманишь,— улыбнулся он и пошел с подгоняльщиком дальше, к косилкам.

Пока обед не кончился, паныч все болтался по жнивью, хотя девушек уже больше не затрагивал. Видно, заметил он, как болезненно смутилась Ганна, согнувшись над батрацкой миской, в своей незавидной одежде. Заметил и больше уже не хотел вгонять ее в краску.

Тем временем затарахтели косилки, затрещала сухая пашня, словно горела ясным невидимым пламенем. Поднялись девушки из-за копен, пошли к своим полосам. Многие вязальщицы прихрамывали. Поле было ровное, косилки брали низкорослый хлеб у самой земли, стерня торчала твердая и острая, словно рассыпанные гвозди.

Хромала и Ганна. Еще в первый день порезалась она стерней до крови, и теперь нога у нее нарывала. Назло панычу хотела пройти мимо него не хромая, но боль была так сильна, что темнело в глазах, и Ганна, сама того не замечая, шла, припадая на ногу.

Вольдемар не видел, как прихрамывали другие раненые вязальщицы, он видел лишь, как, хромая, прошла к косилкам Ганна, надевая на ходу грубые парусиновые вязальщицкие нарукавники на свои красные полные запястья. Наверное, задела паныча жгучая боль Ганны! Смотрел, помрачневший, насупленный, а возвращаясь к машине, уже не так размашисто шагал по стерне своими длинными, в дорогих желтых туфлях ногами.

Вустя тоже жалела Ганну, но другой жалостью. У нее у самой ежедневно сочилась кровь из порезанных ног, но

у нее кровь была, видимо, такая, что, не превращаясь в нарывы, сразу запекалась на теле вишневыми потеками. Если б Гание да такую кровь!

Вообще Вусте вязалось легче, чем Ганне, она больше привыкла к работе, была более быстрой и ловкой, чем подруга. Еще другие горбилнсь над. снопамн, а Вустя, пробежав полосу, уже сидела иа снопике, как горлнца, с готовым свяслом. Сидела, тихо напевая, прнслушиваясь к Кураевому. Не раз уж оттуда посвистывал, прнщелкивал ее милый паровнк, пробуя свою снлу перед молотьбой. Сразу узнавала Вустя этот родиой далекий голос, тот нежный прнщелкнвающий свисток, самый красивый средн свистков всех других машнн, которые пробовали свои голоса по раскиданиым в степн токам... Прищелкнвал, звал, обращался прямо к Вутаньке... Легко, празднично стаиовилось на душе, и стерня уже была не колючей, и снопики летелн нз-под рук самн собой. Как богата, как счастлнва была она в эти дни, мечтая, что вот они снова встретятся с Леонидом и, упиваясь своей хмельной близостью, пойдут куда захотят... Душнстые степные вечера будут для них, словно небо для птиц, и эта неоглядная степь будет принадлежать только им, как собственные светлицы, и все то самое лучшее, что рисуется впереди в чистых девичьих виденнях, будет прннадлежать только им, навсегда!..

В этот день не свистел до обеда далекий свисток. Не прищелкнул ои и после обеда. Может, что-ннбудь случилось? Или, может... забыл? Под вечер печаль охватнла девушку. Хотелось подияться, на крыльях слетать... Вязала уже в сердцах, прижимая коленом ни в чем не повинные снопики к земле. Работала, сжав губы, стараясь не думать о Леониде, а в себе несла жаркий уголек собственной песенки, что сама как-то сложилась тут, на косовице: «Ты, машина, ты, свисточек, подай, милый, голосочек...»

Не подает...

Вечером приехал верхом Гаркуша и все ходил следом за Ганной и допытывался, что у нее с ногой. Так надоел и опостылел за вечер, что Ганна в конце концов послала его ко всем чертям.

А на следующее утро прибыли из Асканин на лихой двуколке Сердюки. Несмотря на жару, были оба в смушковых шапках, в новых яловых сапогах, н Ганна, поняв,

в чем дело, сразу же с отвращением посмотрела на их яловые сапоги, возненавидела эти сапоги сильнее, чем ненавидела раньше их потрескавшиеся пятки.

— А ну, где тут наша хромая? — потопали по жнивью Сердюки.— Давай, девка, к фершалу, потому что иначе вспыхнет антонов огонь...

Ганна и в самом деле едва ходила: за ночь нога распухла еще больше. Однако ехать в Асканию не хотела.

— Заживет как-нибудь и тут... нечем мне вашему фельдшеру платить...

— Да ты что? — ощерился на нее Левонтий.— Родных дядек не слушаешь?.. Материнскую волю нарушаешь? Да мы за тебя перед нею крест, может, целовали!..

Подхватив Ганну под руки, они потащили ее к двуколке.

Усевшись, она уже не сопротивлялась. Тем временем отовсюду сбегались через поле девушки-вязальщицы провожать подругу.

Ганна сидела в двуколке прямая, спокойная и бледная, как перед казнью.

— Ганна! Сестра! — заволновались, подбегая, подруги.— Куда они тебя забирают?

— К фельдшеру,— горько улыбнулась Ганна, глядя поверх голов дядек куда-то в степь, наполненную солнцем.

— Продавать? — подлетая к двуколке, накинулась Вустя на Сердюков.— Каховской ярмарки было вам мало?

— Опомнись, сумасшедшая! — огрызнулся Оникий.— Девушку, может, антонов огонь жжет, а тебе видится черт знает что...

— Пусть везут,— сказала задумчиво Ганна, спокойно снимая нарукавники.— Только... не продамся я.

Величественным жестом она отбросила нарукавники прочь на стерню и перевела взгляд на загривки Сердюков. Что-то новое, хищное, дерзкое сверкнуло вдруг в ее больших, блестящих, как лед, глазах.

— А если уж и доведется, то... не меньше, чем за миллион... чтоб попановать над холуями!

Ударили Сердюки по лошадям, затарахтела двуколка на рессорах, вынося Ганну с косьбы.

XXX

— Везут! Везут! — засуетилась паиская челядь, когда двуколка с Ганиой влетела в Асканию. Горннчные и лакеи, толпясь у окон, жадно ощупывали ее полиыми холопского любопытства взглядами. Кто оиа, какая она, эта новая фаворнтка молодого хозяина, которая въезжает сегодня в Асканию прямо с косовицы?

Ганиа ехала выпрямившись, прикрыв лицо от солнца запыленным, посеревшим в степи платком. Чувствовала на себе все эти взгляды, полные неприязненного интереса и холопской затаенной зависти... Что оин думают сейчас о ней, о чем перешептываются между собой? Ждут ее позора? Надеются, что уйдет отсюда униженной, осмеяииой?.. Хотелось цыкиуть иа всех, чтоб разлетелись кто куда, как степные ящерки нз-под иог!..

В фельдшерской, куда привели Ганиу, ее уже ждали старичок фельдшер в белом халате и паныч Вольдемар, который был сегодня серьезен, чем-то заметио озабочен. Прнсутствие паиыча ие удивило Ганиу, оиа как бы ждала этого. Не удивило и не испугало ее также и то, что дядьки, толкиув ее через порог в эту белую, словно снежную, комиату, сами остались за дверью.

Пахло лекарствами, и от этого запаха у Ганны слегка закружилась голова.

— Как хорошо, что вы приехалн! — проиикновенно говорил паиыч, стоя перед ией, точно в тумаие.— Я так боялся, что вы ие приедете...

Без пенсне паиыч был как-то не страшеи ей, маленькое холеное личико казалось детским Не смутившись, Ганиа разрешила ему взять себя под руку н провести через комиату к твердой, обитой белой клееикой кушетке. Уселась и как бы окаменела.

Паиыч отступил к окиу, вместо него подошел фельдшер, потнрая руки н иехорошо, плутовато посменваясь.

— Прилягте.

Лечь? Ганиа сразу встрепенулась, ей стало жарко. Фельдшер ждал, а оиа сидела. Было почему-то стыдно ложиться на кушетку в присутствии паиыча.

Будто догадавшись, Вольдемар повернулся лицом к окиу. Оиа легла. Нестерпимая боль проннзала ее всю, когда фельдшер стал ощупывать иарыв. Напряглась всем телом, стнснула зубы, заглушая стон. Потемнело на

миг в глазах... Раскрыла глаза, и опять были белые палатные снега вокруг, и Вольдемар уже напряженно смотрел от окна прямо на ее тело... Ганна ужаснулась, словно глянула вдруг его глазами на себя со стороны, на свое бесстыдно раскинутое тело, на высокую свою грудь и полные тугие ноги, равнодушно оголенные фельдшером выше колен... Хотелось вскочить, прикрыться от паныча всеми этими стенами-снегами, и в то же время что-то сдерживало ее, было как будто нужно, чтобы на нее — такую! — смотрели...

Прикрылась от него только собственными ресницами и лежала так.

Пока фельдшер вскрывал, промывал, смазывал нарыв, Вольдемар смотрел на нее, не отводя взгляда.

— Какая воля, какая выдержка! — с тихой зачарованностью промолвил паныч, когда все было окончено и Ганна уже сидела с перевязанной ногой, поправляя на себе одежду и чувствуя облегчение во всем теле.— Скальпель идет по живому, а она... Да перед вами преклоняться надо, Аннет!

В это время дверь распахнулась, и в комнату словно ветром внесло вертлявую веселую молодку в фартучке служанки. Бойко стрельнув глазом в паныча, она тут же подскочила к Ганне, застрекотала над ней, как сорока:

— Укололась! Нарывало? Ничего! До свадьбы заживет! Теперь я возле тебя буду за фельдшера. Положим на ночь припарку, и завтра — хоть танцевать... Берись за меня, пойдем, покажу тебе все!..

Ганна удивилась:

— Куда?

— Да не к коснлкам, конечно,— засмеялась молодка.— На хозяйство свое пойдем, ты ведь теперь старшая горничная при доме приезжих... Будем с тобой на пару гостей принимать...

Ганна удивленно взглянула на паныча.

— Подожди, Любаша, не стрекочи,— вмешался Вольдемар и, подавляя неловкость, скороговоркой объяснил Ганне, что она сейчас свободна от всякой работы и, пока окончательно не вылечится, будет жить с Любашей.— А дальше видно будет,— неопределенно закончил Вольдемар, провожая Ганну до самой двери.

На крыльце ее ждали дядьки.

— Ну как? Ну что? — накинулись они с обеих сторон на племянницу.— Что он тебе сказал?

— Ничего страшного... скоро заживет,— сдержанно ответила Ганна, имея в виду фельдшера.

— Да нет... это, известно, заживет... а паныч что сказал?

— Ах, отстаньте вы, ради бога! — измученно выдавила из себя Ганна, невольно прижимаясь к Любаше.

Сердюки прошли за ними еще несколько шагов, потом вдруг отстали, о чем-то советуясь. Любаша тем временем повела Ганну по высоким ступеням дома приезжих. В коридоре пошли по мягкому ковру в самый конец. Аккуратная комнатка, в которой они очутились, тоже была в ковриках, в живых цветах, в кружевах и белоснежных высоких перинах...

— Здесь мы будем жить,— обвела Любаша рукой комнату.— Заказывай теперь, что ты хочешь?

Ганна устало опустилась на стул, вздохнула.

— Воды.

— Воды? Ха-ха-ха! — расхохоталась Любаша.— А может, водочки? У нас и такое есть!

— Нет... воды... Жажда меня еще с самой степи мучит...

И когда Любаша, выбежав на минуту, вернулась с полным графином свежей, сладкой, артезианской, Ганна, припав к нему, не оторвалась, пока не выпила до дна.

XXXI

— Ты еще не знаешь, Ганнуся, нашего паныча,— говорила погодя Любаша, разложив на коленях вышивание.— Даром что такой богач, а с людьми он не гордый, простой, обходительный. Возле него легко жить. В других экономиях от панычей всего натерпишься — он тебя и выругает, и изобьет, а наш никого не ударил, никому слова наперекор не сказал. Только приехал — всю прислугу чаевыми одарил, никого не забыл И сколько его знаю, всегда такой: добрый ко всякому, кто к нему добрый...

— А ты тут уже давно, Любаша? — спросила Ганна, прилегшая после купанья на белоснежные перины.

— Вольдемар еще гимназистом был, когда я сюда попала,— живо стрекотала Любаша.— Черниговская я, явилась в Каховку такой же обшарпанной, как и ты! Вначале с грабарями на прудах работала, на земляных работах — ох, набедовалась я, Ганна! Только и вздохнула, когда в горничные вышла. Что мне теперь? И хожу чисто, и ем вкусно, и черной работы не знаю! Прибавляется понемногу в сундучке, да и домой каждую осень передачу передаю... А все потому, что характер у меня веселый, людям я приятная... Вот съедутся к панычу гости, сразу: «Спой, Любаша, спляши, Любаша!..» И спою и спляшу,— разве меня от этого убудет? Если б мне да твоя красота, ого-го, дивчина,— далеко б я была!..

— Это они и меня будут заставлять плясать? — засмотрелась Ганна на узорчатый лепной потолок.

— Если не захочешь, кто же тебя заставит! Да у тебя и защита хорошая есть,— засмеялась Любаша.— Паныч никому не позволит тобой понукать. Тебе теперь и сама барыня не страшна!..

— Злющая, говорят?

— В печенках у всех сидит,— оглянувшись, зашептала Любаша.— Горничным ни погулять, ни уснуть не дает, всю ночь заставляет молиться.. Сама хочет святой стать, а они чтоб за нее поклоны били!.. Вот она скоро выйдет зубы себе греть .. а может, уже и вышла,— подняв штору, Любаша выглянула сквозь цветы в оконце, выходившее в сад.— Уже сидит! Полюбуйся своей свекрухой,— прыснула она в ладонь, отшатнувшись от окна.

Ганна поднялась на локте и посмотрела в сад. Софья сидела одна в плетеном кресле, на открытом солнце, закинув голову, широко раскрыв рот. Девушке она показалась сумасшедшей Сидит на самом солнцепеке, раздрав, как кащей, свой старческий рот до ушей, уставившись прямо на солнце, словно хочет на него тявкнуть!..

— Чего это она, Любаша?

— Во рту у себя выгревает... Лечит солнцем какую-то хворобу, что нагуляла с залетным американцем.

— Фу какая!.. Опусти занавеску.

Ганна откинулась на подушки. Волны ее черных, распущенных после мытья волос свободно рассыпались по постели, по плечам, полным, округлым, как бы выточен-

ным из слоновой кости. Положив на лоб руку, молча смотрела в потолок, украшенный лепкой, но и оттуда над ней свисали какие-то уроды с раскрытыми ртами, которые словно хотели залаять на солнце...

— Никто ее здесь не любит: ни слуги, ни контора,— затараторила опять Любаша, принимаясь за вышивание.— Да и Вольдемар был бы, видно, рад, если бы она уже богу душу отдала, чтоб самому потом распоряжаться. Ну, Вольдемар, этот еще так-сяк, хоть для видимости матери ручку целует, а Густав придурковатый, когда был здесь, духа ее не выносил... Один раз овчарками затравил, на каменную бабу загнал, должна была целый час там кукарекать...

Ганна чуть заметно улыбнулась, представив барыню верхом на каменной бабе.

— Здорово, наверно, испугалась?

— Сняли чуть теплую...

— А где он сейчас, тот Густав?

Любаша вздохнула.

— Дорнбургом правит... Сослали туда на покаяние за то, что брату адскую машину под кровать подложил... Ирод, самую близкую подругу мою, Серафиму-горничную, жизни лишил...

Ганна плавно поднялась в постели, села.

— Так, значит, это правда?

Она мельком слыхала об этом страшном случае в поместье, но только сейчас — из уст очевидицы — он дошел до нее во всей своей жуткой, зловещей достоверности. С большими от ужаса глазами слушала Ганна подробный рассказ Любаши о гибели подруги...

— Только и того, что похоронил по-людски, белый камень поставил с золотыми буквами,— скорбно закончила Любаша и, отложив работу, полезла куда-то в угол за кровать. Выпрямилась с бутылкой в руке.— Давай, Ганна, устроим ей поминки... Потому что кто о ней, несчастной, вспомнит... Будешь?

— Это что такое?

— Водка.

— Непривычная я,.Любаша... Пей сама.

Запрокинув голову, прямо из бутылки Любаша сделала несколько глотков. Отставила, передохнула.

— Привыкнешь, Ганна, и ты... Ко всему тут привыкнешь...

Облокотнлась о край стола Любаша, склонившись щекой на руку. Потом тихо, чуть слышно стала напевать:

До дому іду,
Як риба, пливу,
А за мною молодою,
Сім кіп хлопців чередою
В цимбалоньки тнуть, тнуть, тнуть...

Песня была веселая, игрнвая, но сейчас в устах Любашн она звучала как-то грустно.

Ганна слушала песню н как бы не слышала ее, сосредоточенно думая о погнбшей девушке, которая, возможно, еще недавно лежала здесь, на ее, Ганнином, месте.

— Где ее похороннли? — спроснла девушка, помолчав.

— Серафиму? За Герцогским валом. Барыня настояла, чтоб подальше... Не на вcase... Эх!.. «В цнмбалоньки тнуть, тнуть, тнуть...»

В дверь постучалн.

— Можно! — насторожнлась Любаша.

Вошел паныч Вольдемар, веселый, ребячлнвый, в расстегнутой рубашке с засученными рукавамн, с какой-то коробкой в руке.

— Я на мннутку,— остановил он Любашу, которая бросилась уже было бежать к двери.

Ганна закрылась простыней по самую шею, всю ее обдало приятным жаром, хотя стыда оттого, что паныч застает ее в постели, она не ощутила. После того как он в фельдшерской так долго и возбужденно смотрел на нее, она уже как бы побывала с ним в какой-то недозволенной близости.

Поставив коробку на стол, Вольдемар обратился к Ганне, радостно озабоченный и немного смущенный:

— Ну, как тебе?

Подумав, Ганна ответнла протяжно:

— Луч-ше...

И смотрела на паныча смелым, изучающим взглядом.

— Главное, чтоб не скучала по степи... Ты уж тут, Любаша, развлекай ее... Можешь позвать вечером Яшку-негра, пусть поиграет вам на гитаре... А я сейчас в Геническ. Что тебе привезти из Геническа? — любезно обратился он к Ганне.

— Ничего мне не надо,— ответила она, хотя ей была приятна сама возможность заказывать, приятно было чувствовать свою власть над этим молодым миллионером, что мог бы с потрохами закупить всех криничанских богатеев Огиенков, от которых она в свое время столько натерпелась.

— Вот как управлюсь немного с делами, повезу вас к морю... Ты хочешь видеть море, Аннет?

— Не называйте меня Аннет... Я — Ганна.

Паныч засмеялся:

— Хорошо, не буду... Так поедешь к морю, Ганна?

— Посмотрим.

Заботливо коснувшись мимоходом горячего подбородка Ганны и пожелав ей поскорее поправиться, паныч оставил комнату.

Ганне понравился этот визит. И то, что паныч постучал в дверь, спрашивая разрешения, прежде чем войти, и что задержал в комнате Любашу, чтоб не оставаться им наедине, и деликатная речь — все это было новым для Ганны, непривычным после грубости, среди которой она росла, после тяжеловесных шуток, которых она наслушалась от каховских барышников. Правда, когда он мимоходом провел рукой по ее подбородку, Ганну передернуло, а когда, выходя, он окинул взглядом ее тело, то Ганне показалось, что он видит ее сквозь простыню обнаженной, но и это у него вышло как-то особенно, попански, и не обидело Ганну.

— Вот это приворожила! — восторженно пропела Любаша, когда шаги паныча стихли за дверью.

— Уж и приворожила.— не сдержала улыбки Ганна.

— Впервые таким его вижу... Ни одну он так не навещал... Ой, Ганна, попануешь! — в восторге воскликнула Любаша и кинулась к коробке, оставленной панычом.— Что он тут принес? Духи! Глянь, какие флаконы! Такие только у барыни есть... А пахнет! Давай я тебя побрызгаю, Ганна, чтоб парижами пахло, ха-ха-ха!.. Не только ж им, когда нибудь надо и нам!

Набрав полный рот одеколону, Любаша принялась тут же прыскать на Ганну ароматным дождем.

За этим занятием и застали девушек Серлюки, которые ввалились в комнату без всякого предупреждения.

— Чем это у вас так пахнет? — расставив руки, шу-

товски заговорил Левонтий.— Не то мятой, не то кануфером... и не разберешь.

Оникий тем временем, подойдя к столу, уже заглядывал в коробку. Открыл самый большой флакон, приложил к ноздре, с сопением потянул в себя, словно тертый табак.

— Ох, и шпигает же!..

Ганну, которая до сих пор сдерживалась, это окончательно вывело из себя. Порывисто поднявшись на перинах, она неожиданно властным движением указала дядьям на дверь:

— Выметайтесь отсюда... выметайтесь вон! Осточертели.

Дядьки остолбенели, нелепо улыбаясь.

— Ганна... Да что с тобой?

— В коробках рыться пришли? Нюхать разогнались? Там нюхайте! — распалилась Ганна.— Чего стоите, как пни? Слыхали мои слова? Любаша, кликни паныча, может, хоть он их выведет!

Это на дядек сразу подействовало. Осторожно, как по скользкому, они попятились к двери.

— И чтобы без стука больше сюда не врывались! — бросила Ганна им вдогонку и снова легла.

— О, какая ты!.. Даже меня напугала,— с искренним удивлением уставилась на Ганну Любаша, когда дверь за Сердюками закрылась.— Отбрила так, что и я не сумела б! «Выметайтесь», ха-ха-ха!.. Рано за выручкой прибежали... Да в самом деле, что они тебе теперь, чего им в рот смотреть? Родные дядьки? Пустое: какая уж там родня, где торг идет!

Ганна молчала, строгая, задумчивая. Выгнав дядек, она не почувствовала радости. Как-никак Сердюки сейчас были для нее в Аскании самыми близкими людьми. Что-то похожее на жалость или сочувствие тронуло ее душу, когда они, растерянные, униженные, очутились за порогом. Припомнила, как была маленькой и бегала с ровесницами колядовать к ним на панскую воловню (Сердюки, не имея в Кринничках своей хаты, лето и зиму жили при панской воловне). Тогда дядьки еще не были такими сквалыгами и радостно встречали племянницу, расплачиваясь за колядки заранее приготовленными гостинцами. Припомнились и напутствия матери — держаться дядек, слушаться их во всем... Хорошо же она

их слушается! Так приструннла, что онн вынуждены слушаться ее!

Сама была удивлена вспышкой своего неожиданного властолюбия и тем, как просто можно заставить другнх подчнняться себе. На ннх первых сбила оскомнну, на ннх первых нспытала свою власть, которая как бы невольно заставляла ее быть черствой и бессердечной с другнмн. Может, это и нехорошо, но чувствовала, что и дальше будет поступать так. Появнсь здесь дядьки вторично, она вторично нх выгнала бы, хотя, несмотря на стрекотаине Любаши, одниочество все снльнее угнетало ее.

Степь была где-то далеко. Даже ие вернлось Ганне, что сегодия оиа еще спотыкалась на стерне, ожндая бочек с водой. Подругн н сейчас там, в адской степн, бегают за косилками, а она уже выкупаиа, в перннах, в духах... Повелевает, и ее слушаются. Кажется, должна радоваться от такой внезапиой перемены, но настоящей радости не было. Чувствовала только физическое облегчение, которое все же не могло заменить собой нечто другое, более важное, чего не хватало Ганне в жнзни.

XXXII

— Душа у меня не на месте,— говорила иа другой деиь Гаииа Любаше, когда оин вышли под вечер на окраину поместья погулять.— Тяжко мне почему-то, тревожно... От одиого берега отплыла, а к другому не пристала... И пристаиу ли?

— Страииая ты, Гаина,— отвечала Любаша,— ейбогу, чудна́я. Другая бы на твоем месте шла и землн под собой ие чувствовала, а ты... Ну, почему ты такая? Пусть вчера болело, а сегодия уже и ноге легче, вся в обновках ндешь — фартучек иа тебе, как фата венчальная... И еще недовольиа!..

— Что фартучек, Любаша?.. Невелико счастье — фартучек горннчной... Не дорожу я нм.

— Потому что легко достался. Другим он бог знает чего стонт, а тебе, счнтай, даром его подиесли.

— Как-то тесно мне в нем, неудобно... И завязки вроде давят, и каждый, как на белую ворону, смотрит...

Наверно, не родилась я для прислуги, Любаша... Нет во мне холопского дара.

Посмотрев сбоку на Ганну, Любаша отметила про себя, что и в самом деле ее спутница мало похожа на прислугу даже в накрахмаленном фартучке горничной. Идет и не покачнется. Голову — в черной блестящей короне кос — несет, как княгиня какая-нибудь.

— А чего бы ты хотела, Ганна? В автомобилях кататься? Еще покатает!

— Этого мне тоже мало,— ответила с усмешкой Ганна.

— Тогда я не знаю, чем он тебя завлечет,— развела руками Любаша.— Разве что птичьего молока из Геническа привезет...

Невдалеке от дорожки, по которой они шли, за зарослями камыша работала артель землекопов. Ганна загляделась на них, общарпанных, полуголых, измученных работой.

— Что они роют, Любаша?

— Новый пруд пробивают... Вот видишь, какие: на людей не похожи. Все с тачками да грабарками, ворочают землю, как каторжники, с утра и до ночи... А мы тем временем на прогулку ходим, воздухом дышим... Думаешь, не завидуют они нам?

Ганна остановилась.

— Пруд в степи... Даже странно. Разве здесь можно до родников докопаться?

— Их дело землю выбрасывать, а воду сюда из артезианов по трубам напустят... Видишь, вот тот маленький, быстрый, в кепочке, который толпу собрал, аршином размахивает? То и есть как раз главный водяной, механик водокачки... Он тут со своей бражкой всю воду в руках держит,— объяснила Любаша и, оглянувшись, добавила полушепотом: — Говорят, он из тех, что против царя идут! На каторгу как будто должен был загреметь, да как-то в Асканию выскользнул...

— Мы видели одну такую в Каховке, на лесной пристани,— похвалилась Ганна.— Мне она понравилась... Призывала народ спасать... Но разве можно всех спасти?

— А я, Ганна, боюсь их... Как встречу где-нибудь этого водяного, мороз по коже продирает... Может,

у него и нет ничего плохого в мыслях, а мне все кажется, что у него полные карманы бонб напнханы!..

Отойдя, Ганна еще раз оглянулась на толпу черных землекопов, стоявших на свежей земляной насыпи и курившнх с «водяным». Рабочие люди, они ей близки, а она им уже чужая. Променяла нарукавинки вязальщицы на крахмальный фартук, увязла в болоте панской челяди... Межа, какая-то невидимая грань рассекла ее жизнь надвое, отделив от привычного сезонного люда, что остался там, на косовице, в степи. Будут ли они ей теперь доверять, поддержат ли ее в трудный час? Вустя, верная подруга, была там, все свои были там, а здесь возле нее вьются лишь Любаша да дядьки, на которых она не может положиться, которым не может открыть свои далеко идущие замыслы. В степи, в дружеском кругу сезонников, Ганне было как-то уютнее, дышалось легче, а тут не знает, кому верить, кому нет. А между тем сейчас больше, чем когда бы то ни было, она ощущала потребность в надежной опоре, в искреннем душевном совете. Ступала по самому краю пропасти, шаг за шагом взбиралась все выше, постоянно напряженная, жаждущая достичь золотых вершин жизни. Предчувствовала, что нелегко ей будет осуществить свои дерзкие намерения, должна будет в одиночку выдержать войну против всего панского отродья. Это ее не пугало. Чего-чего, а смелости ей не занимать!..

— О чем ты все думаешь? — заглянула Любаша Ганне в лицо.— Скрытная ты какая-то... Не угадаешь тебя по глазам.

— Признайся, Любаша: панич тебя подкупил, чтоб ты мою душу выведывала?

— Ганна, бог с тобой!.. Просто мне самой интересно стало, о ком ты задумалась...

— О тех, кто в степи.

— Забудь про них, Ганна, тебе с ними уже не по дороге. Они отбудут срок — и опять на Каховку, а ты...

— А я куда?

— Только не в Каховку. Ты панича так присушила, что... на твой век хватит. На любовь они ничего не жалеют — богачкой выйдешь от него. То, за чем в Каховку десять весен надо шлепать, у него за одну ночь добудешь!..

— Перестань... сваха,— спокойно оборвала Ганна Любашу.

Стежка вскоре вывела их на Герцогский вал, привела к Серафиме...

Среди пышной травы белый мрамор-камень горит на солнце золотыми насечками. С четырех сторон обнесен металлической сеткой, той самой, которой в Аскании затягивают вольеры для птиц. Наглухо окружено место Серафимы, только небу и открыто... В молчаливой задумчивости смотрела Ганна на горючий девичий камень. Не знала грамоты, не умела читать, и от этого высеченная надпись казалась ей особенно значительной, словно сама судьба написала ей здесь, золотом на камне, грозное свое предостережение.

«Нет, я буду осторожнее,— подумала Ганна, медленно двигаясь дальше.— Даст бог, я с ними и за тебя расквитаюсь, сестра...»

— Живьем завалили, камнем придушили,— вздохнула Любаша, понурившись.— Страшно мне становится, когда здесь прохожу... Кажется, что она до сих пор лежит в земле живая и все слышит...

Не заметили, как вышли на Внешние пруды. Так называлось просторное, изрезанное прудами угодье, западное крыло Большого Чаплинского пода, которое примыкало одним краем к асканийским паркам, а другим переходило в открытую степь. Ганне это место напомнило роскошные полтавские левады. Густая луговая трава, гибкие молодые камыши, одинокие вербы... Степная даль изнемогала в предвечернем солнце, окутавшись блеклым золотом зноя, а здесь, вокруг прудов, все было сочным, ярко-зеленым, как ранней весной. Сами пруды, полные, налитые до краев, в пологих зеленых берегах, были похожи больше на естественные степные озера, хотя все они питались — по невидимым подземным трубам — водой из водокачки.

Вода! Ею все здесь жило, расцветало, буйно росло. Свежесть и сияние, исходившие от нее, накладывали на все окружающее отпечаток праздничности.

Рыболовы дремали в камышах. Дикие утки со своими выводками плавали поблизости, как домашние. Морские гости — белоснежные чайки-хохотуньи, смеясь, кружили над водяными зеркалами.

По ту сторону прудов, окруженный асканийской детворой, стоял у воды Яшка-негр, весело бросая с берега какую-то пищу птицам.

— Смотри, Любаша... и он здесь,— удивилась почему-то Ганна.

— А что ему,— пожала плечами Любаша.— Печенья напек, мороженого накрутил — и айда, как мальчишка, по Аскании. Это его любимое дело — чаек кормить.

Выбрав место, Ганна присела на берегу, вытянув ноги, с интересом наблюдая за негром и чайками, которые бились перед ним крылатой снежной метелью. Вчера Любаша, выполняя волю panыча, позвала негра, и он явился под вечер в дом приезжих, чтобы развеселить Ганну игрой на гитаре. Странное чувство охватило Ганну, когда она впервые встретилась взглядом с этим чернокожим великаном, который пришел ее развлекать. Скорее больно, чем приятно, стало ей от того, что он вытянулся перед ней, как перед госпожой, ожидая приказа. И не столько черной кожей поразил он Ганну, сколько взглядом, глубоким, горячим, полным искреннего удивления и затаенной скорби. Ганна почувствовала себя вдруг пристыженной и словно чем-то виноватой перед ним. Может, у человека горе, а ему велят идти развлекать кого-то. Зачем? Ганна рада была совсем отказаться от этого развлечения, но Любаша уже схватила Яшку за руку, посадила возле себя:

— Играй!

Смущение Ганны, как бы передавшись негру, сделало его неуклюжим, еще больше, видимо, растревожило и обострило в нем ощущение своей подневольности. Сидел мрачный, как туча. Потом резко, почти сердито ущипнул струну и... струна лопнула.

— Что ты делаешь, Яшка? — вскрикнула Любаша.— Ты нарочно?

Яшка поднял глаза на Ганну, облегченно вздохнул:

— Не хочет сегодня струна играй... Я просил извини...

Ганне тоже как будто легче стало.

— Я прощаю,— сказала она.— Не надо сегодня... Иди.

На том и закончилось вчера Яшкино выступление.

Сегодня негр, видимо, был в лучшем настроении.

Стоял, выпрямившись на берегу, улыбался чайкам, и чайки отвечали ему смехом.

— Они его нисколько не боятся,— сказала Ганна.— Вьются возле самых рук, как голуби...

— Крошки выхватывают,— объяснила Любаша.— А потом — птица, она тоже человека чует, знает, кто ее обидит, а кто нет... Яшка для них свой.

— Разве чайки тоже оттуда налетают, из его теплых краев?

— Может, и оттуда... Может, привет ему от отца-матери принесли...

— Видно, и ему не сладко здесь,— задумалась Ганна.— Одному среди чужих людей...

— Сейчас хоть разговаривать немного научился, а раньше ни слова по-нашему... Он же басурман был, а потом игуменья выкрестила его... Только чудной какой-то: ни с кем из челяди не хочет компанию водить... Все больше с детьми, или в саду где-нибудь, или в зверинце... Там, правда, у него приятелей хватает: страусы, зебры, антилопы — то всё его землякн. Как и Яшку, их тоже оттуда вывезли, из-за морей, где никогда снега не бывает...

— Хорошо, верно, там,— размечталась Ганна.— Недаром туда птицы на зиму улетают...

— Может, и хорошо, да не всем... Иначе, зачем бы Яшке здесь быть?

— И то правда... Неловко вчера у нас с ним вышло... Сердитый он?

— Нисколько. Даром что такой здоровяк, а душа у него мягкая, как у ребенка...

— Глянь, Любаша,— радостно воскликнула Ганна,— уже чайка у него на руках!..

— Приворожил-таки!

Негр стоял в кругу восторженно щебечущей детворы, прижимая к груди большую белую птицу, нежно поглаживая ее. Ганне почему-то припомнился сейчас один вечер на Кураевом. Всходила луна, они стояли с Вустей на краю табора — Вустя ждала своего Леонида.

Он пришел и забрал Вустю, и вдвоем они пошли в степь, весело разговаривая, смеясь, а Ганна, оставшись одна, вернулась в табор. Оглянувшись через некоторое время, она вся загорелась от чужого счастья: Леонид нес Вустю в степь на руках, нес так легко и нежно, как

этот негр несет сейчас к воде свою чайку... Подошел к самой воде, подбросил высоко над головой — лети!

Возбужденный, веселый, он что-то громко сказал ей вслед на своем непонятном языке, и Ганне показалось, что пущенная чайка и все ее подруги сейчас понимают его язык, и самой Ганне вдруг захотелось постичь их радостную чудесную перекличку...

Уже после захода солнца возвращаясь в поместье, девушки неожиданно встретились с негром за камышами, возле Герцогского вала. Вежливо, с достоинством, он поздоровался, держась с ними, как с равными. Ганна еще прихрамывала, и, когда поднимались на вал, Яшка подал ей руку, помог взойти. Черной была рука, но какой горячей, сильной и нежной!

Потом они разговаривали о чайках и страусах — о вчерашнем никто не вспоминал. Без привычки Ганне нелегко было понимать Яшкину ломаную речь, но все же главное она постигла: он рассказывал о своих упрямых земляках, которые даже здесь, в Аскании, не хотят отрекаться от привычек, приобретенных где-то там, в теплых краях. В самом деле, смешные! Нестись начинают не весной, как другие птицы, а глубокой осенью, ближе к зиме, когда кругом стужа свистит и морозы бьют...

— Верные на свой календарь оставайся,— весело объяснял негр.— Зима-весна перепутай...

— Ага,— догадавшись, засмеялась Ганна.— Когда у нас зима лютует, у них там как раз весна цветет... А когда приходит время, то что им стужа? Они думают, что и у нас весна наступает...

— Разве они думают? — рассмеялась Любаша и вдруг застыла, изменившись в лице: — Ганна, барыня идет!

На тропинке при выходе из поместья появилась группа дам в длинных платьях и в шляпках. Софья что-то оживленно говорила приятельницам и была такая же широкоротая, как и вчера, когда лечилась солнцем в саду. Дрожь отвращения пробежала по телу Ганны, словно по тропинке прямо на нее двигалась вздыбленная саженная змея.

Обойти нельзя было. Возвращаться — поздно.

— Не бойся,— тихо сказал негр, и, не останавливаясь, они шаг за шагом двигались дальше — Ганна с негром впереди, а Любаша по пятам, прячась за их спинами.

Точно слепая, не вздрогнув, пропустила Ганна мимо себя надушенных женщин. Чувствовала, как обстреливают они ее из-под шляпок взглядами. Прикусив губу, Ганна давала им себя разглядывать, хотя сама не взглянула ни на кого. Бледная, напряженная, видела перед собой лишь темнеющие ущелья асканийских парков и распростертое над ними светлое крыло перистых неподвижных облаков.

Прошли, прошелестели барыни, словно горбатые ведьмы, и Ганна вскоре услыхала, как они, отойдя, захихикали, и кто-то, кажется сама Софья, бросил насмешливо:

— Чем не пара была б?

Ганна промолчала. Молчал и негр, неторопливо ступая рядом и простодушно улыбаясь.

Гортанным неприятным голосом прокричал в темноте павлин.

Глухой ритмичный гул доносился от водокачки.

А со стороны моря над парками уже постепенно разгоралось кровавое зарево, словно кто-то разводил чабанский костер среди туч: там всходила луна.

XXXIII

В степных колодцах становилось заметно меньше воды. Тяжелые дубовые бадьи черпали ил с самого дна, поднимались на поверхность полупустые. Скот часами грудился у колодцев, дрался над корытами, с ревом набрасываясь на скупые колодезные остатки.

Лопалась раскаленная земля. Лежала в таких трещинах, что лошади ломали ноги на скаку. Трава, выгорая, свертывалась и ложилась на степь, сбиваясь, как войлок. С целинных земель горячие ветры уже разносили по всей Таврии семена тырсы, крепчайшей травы из семейства ковылей. Казалось, что из всей степной растительности только она, тырса, которая издавна взяла себе в союзники суховеи, сможет перенести лютую жару, выжить и продолжить себя в потомстве. Острые и

крепкие, как стальные иголки, семена ее неслись над степью тучами мельчайших стрел и не просто ложились на землю, а впивались в нее своими жалами, выставив под ветер длинные тоненькие хвостики-сверлышки. Мириады таких ковыльных буравчиков, раздуваемых ветром, шевелились целыми днями в степи, впившись в сухой грунт, постепенно ввинчиваясь в него все глубже и глубже. Особенно много хлопот доставляла тырса чабанам, которые в дни ее облетания не знали, куда деваться с отарами. От летучих семян шерсть на овцах сбивалась комьями, до самых глаз запухали разъеденные остью овечьи морды. Ковыльные остюки въедались глубоко в тело, попадали в кровь, доходя иногда по жилам до самого сердца.

Все живое изнывало от немилосердной жары. Немногих могли спасти асканийские холодки! Как всегда, с середины лета во всех таборах был введен водяной паек. Приказчики экономили теперь каждое ведро, заботясь в первую очередь о скоте. От водного режима больше всего терпели те, кому приходилось работать на полях и токах, заброшенных далеко от таборных колодцев. Для них воду привозили водовозы, которые, однако, не могли обеспечить измученную жаждой многотысячную армию сезонного люда. Из-за воды между батраками и приказчиками то и дело вспыхивали острые стычки. Привозили скупо, с перебоями, да еще теплую, наполовину с илом — остатки того, что нацеживалось уже после водопоя скота. Правда, из асканийских артезианов воды хватило бы на всех, но артезианы — не для сезонников... Трудно было жить на скупом привозном пайке, считалось счастьем попасть куда-нибудь на работу при таборе, на тока, расположенные вблизи колодцев.

С началом молотьбы повезло и криничанским девушкам: в числе других их переводили на ток в Кураевый к паровику Бронникова.

Для Вусти этот день стал праздником. Шла на Кураевый озаренная радостью близкой встречи с милым, охваченная сладким трепетом, от которого всю дорогу хотелось смеяться. Глаза горели, губы шаловливо подергивались, и ноги сами несли ее к табору, легкую, нетерпеливую, всю в живчиках счастья.

Прямо с дороги вязальщицы свернули к колодцу, где

знакомые доярки полоскали после дойки свои подойники. Если б знала, обошла б Вустя доярок десятой дорогой, чтоб не слышать от них того, что довелось услышать, что перевернуло душу:

— Прожинвовала ты, Вутанька, свое счастье... Проспала его в поле на меже... Другую нашел.

И, захлебываясь в напускном сочувствии, наперебой рассказывали, как все произошло. Дважды приезжала к нему одна на самокате, на двух колесах... Дважды провожал ее Леонид далеко в степь не то в сторону Маячки, не то на Алешки, а что уж между ними в степи было, то никому неведомо....

Видели только девушки, что возвращался матрос с тех проводов не скоро, веселый и довольный, как и каждый, кто всласть нацелуется в степи... Вот он какой: мало ему своих... Хоть менял бы, да было б на что! Не первой, видно, молодости она и не такая уж красавица— далеко ей до Вутаньки! Только и того, что городская, при ридикюле и в шляпке... Давняя, наверное, морская его любовь...

На ходу пила Вутанька свежую отраву, которой угощали ее со скрытым злорадством доярки (некоторые из них, будучи сами неравнодушны к машинисту, считали себя тайными соперницами Вусти). Не расспрашивала их ни о чем, не выведывала подробностей, будто это ее меньше всего касалось... Зачем расспрашивать? Зачем ковром разворачивать самое дорогое, самое чистое, по которому пройдет кто-то, злорадствуя, в ее девичьи светлицы? Горделивая усмешка как легла в первую минуту на ее губы, так и застыла не увядая: была она девушке хоть тоненькой защитой от всего, от всех. Ни за что, ни перед кем не хотела открыть Вутанька свою первую ревнивую боль. Брошена... За что он ее так? Слезы душили девушку. Стояла, склонившись над срубом, подставив разгоревшиеся щеки свежей прохладе, шедшей из глубины колодца. Будто сквозь туман доносились до нее по-базарному крикливые голоса:

— И кто бы мог подумать? Готов был Вутаньку на руках носить, а только отвернулась, уже другую себе раздобыл!

— Все они такие... ославит девушку — и прощай!..

— Недаром же в песне поется, что несчастлива та дивчина, что полюбит моряка...

Ах, в песне! Сколько песен спела ему Вутанька в одиночестве на косьбе, сколько еще не спетых несла ему с собой в Кураевый!.. «Ты, машина, ты, свисточек, подай, милый, голосочек...» Карой мукой обернулся для нее тот голосочек. Никогда б его лучше не слышать!.. Так ему верила... Неужели он мог все забыть? Опоили его, наверное, зельем приворотным, по своей воле не отшатнулся бы от нее, не обидел её так жестоко, бессердечно...

— Нет у них жалости к нам,— слышала, словно в горячечном бреду, чьи-то далекие слова.— Сорвет, как цветок, и растопчет...

— Мы для них уже не подходящие, городских паночек ищут...

— Морской, верченой любви...

Морская любовь... Какая она? Может, в самом деле какая-то иная, совсем не такая, какой любила его Вутанька? Может, не кого-нибудь, а сама себя должна винить Вутанька за то, что не сумела приворожить его навек? Говорят вот доярки, что в любви надо быть осмотрительной, осторожной, что надо уметь вести себя так, чтоб не надоесть... А что она умела? Не сдерживала себя, не оглядывалась ни на кого, слушая лишь зовы собственного сердца... Говорят, не давай сердцу волю... Но разве можно любить неполным сердцем, не до беспамятства — свободно, просторно, неистово? Разве это любовь, если она лишь до каких-то границ, только вполсердца? Не умела этого Вутанька, да и не хотела уметь. Захмелела первым своим хмелем, обезумела в любви, без колебаний доверяя себя любимому, как брату... Видно, за чистое это доверие свое, за счастливую безоглядность должна она теперь расплачиваться! А он... Нет, нет у него сердца! Мало ему всего, решил, видно, доставить себе напоследок развлечение... Идет, измазанный, к колодцу, дерзко, будто ничего и не случилось, протягивает первый Вутаньке руку:

— Здравствуй...

Гневно отшатнулась от него девушка, не подала руки. Хоть этим отплатила! Остановился, оторопевший, пристыженный, оглушенный хохотом доярок:

— Вот такими наши девчата возвращаются с поля! Тоже сменили паруса!..

Не оглядываясь, пошла Вутанька с подругами от ко-

лодца, оставив сбитого с толку Леонида на потеху дояркам.

В тот же день засвистел в Кураевом паровик, скликая токовых на работу. Не прищелкнул на этот раз свисток по-соловьиному, не говорил ласково с Вустей, как тогда, когда слыхала его издали, в степи... Сегодня его словно подменили: зашипел, резкий, хлестнул девушку, точно прутом.

Гаркуша поставил Вустю с Оленой к соломотряске, в самую густую пыль. Делал назло, а Вутаньке было даже лучше. Дальше от паровика, дальше от машиниста. Не видит ее здесь никто, и она никого не видит. С привычной подвижностью орудует вилами у самой пасти молотилки, и валит из темной пасти пережеванная солома — горячее, перемолотое, размельченное месиво вместо тех золотых тугих снопиков, которые Вустя сама недавно вязала... Пышет зной, а девушки закутались в платки по самые глаза, потому что хуже жары эта пылища, что вырывается из-под машины, забивает дыхание. Бушует, душит пыль, жалят летучие остюки, впиваясь в молодое тело! Пусть! Пусть мучают, разъедают ее, Вустю, ввинчиваются в жилы, пусть идут вместе с кровью, как те смертельные ковыльные семена, в самое сердце! Ничего ей теперь не страшно, ко всему она готова. Пережила, упилась допьяна своим мимолетным счастьем — рада и этому. Нет, не кается она, не корит себя за лунные ночи, за горячие объятия и ласки, которыми так щедро осыпала его, не меряя никакими мерами, не оглядываясь, упиваясь, точно в полете, полной раскованностью собственной воли и страсти. И если для него это быстро прошло, то для нее все останется навсегда сладким и чистым богатством. До могилы будет она чувствовать его поцелуи на своей молодой, никем раньше не целованной груди! А что так вот случилось... возможно, такое большое, всеобъемлющее счастье и не может быть продолжительным? Может, как песня, должно оно когда-нибудь кончиться? Но для чего тогда жить на свете? Что останется на ее долю в жизни? Каховские ярмарки? Чужие стерни и водные пайки? Три кружки перегретой грязи на день? Нет, пусть лучше сразу впивается ковыльное семя в кровь, пусть бьет, поражает в самое сердце, израненное отчаянием, полное горячих, невыпетых, увядающих в завязи песен!

Молотили до самых сумерек.

Вечером, после работы, Леонид, закуривая с компанией возле колодца, попытался было еще раз остановить Вустю, но она пронеслась мимо него, как вихрь, даже не взглянув, вогнав и машиниста и его товарищей в смущение.

На следующий день было воскресенье, и Бронников вместе с Федором Андриякой и Прокошкой-орловцем поехал с самого утра куда-то на другие тока, к приятелям. Будто бы к приятелям! А может, совсем и не на тока, и не к приятелям, а к той, далекой, морской...

Девушки в этот день ходили в степь плести венки. Вустя не пошла с ними. Сославшись на головную боль, сидела у барака в холодке среди замужних женщин-чабанок, как молодая вдовушка. Глаза у нее были сухие, блестящие, на щеках играл горячий румянец. Внешне девушка казалась спокойной, но чего стоило ей это притворное спокойствие!.. Она видела, как собирался, как поехал с ребятами Леонид. Это ее окончательно подкосило. Весь мир плыл перед ней однотонно-желтый, все происходящее воспринималось, как сквозь обморочную дымку. Грызя подсолнухи, она спокойно разговаривала с чабанками, жившими при таборе, рассказывала им о своих Криничках, о Псле и лесах, что тянутся вдоль него, а больше всего — о матери. Мать, старая Яресьчиха, словно была со своей Вустей здесь, в таборном холодке, среди слепящих поблекших степей. Однако о чем бы ни говорила Вутанька, о чем бы ни думала, стараясь забыть свое горе и оторваться от него, оно было с ней, разъедало ее. Никуда от него не залететь, нигде от него не спрятаться! Подошло семя ковыль-травы к самому сердцу, и достаточно было ей взглянуть на паровик, чтобы все ковыльные жала зашевелились в груди, как шевелились они в эти дни под ровным дыханием суховея по всей Таврии.

XXXIV

Вскоре после обеда приехала на Кураевый Ганна Лавренко, цветком распустив над собой зонтик из розового ситца. За кучера сидел Валерик Задонцев.

Ганна была в белом длинном платье, которое очень

шло ей. Увидев возле барака Вустю, Ганна тут же сказала Валерику остановиться и, достав со дна тачанки связанную свяслицем охапку зелени и цветов, плавно поднялась и пошла к подруге, а Валерик, приветливо сверкнув Вусте зубами, отъехал с тачанкой дальше, во двор, где Гаркуша сам помог ему поставить в тень коней и задать им корму.

— Будто год не видела тебя,— взволнованно заговорила Ганна, поздоровавшись и передавая Вусте букет.— Это я сама тебе нарвала... Не хуже, думаю, чем тот, что нам тогда Леонид привозил...

Вустя, вспыхнув при одном этом имени, поспешила спрятать свой румянец в свежую зелень.

— Как пахнут хорошо!.. Только куда мне столько... Завянут, а жалко: такие яркие, душистые и прохладные. Ганна, я тут даже любисток слышу...

— Есть и любисток,— улыбнулась Ганна, наверно припомнив свои и Вутанькины криничанские любистки.

Сняв свяслице и оставив себе часть зелени, Вустя остаток тут же разделила между чабанками, которые с приходом Ганны почему-то встали и грызли семечки стоя, словно не осмеливаясь сесть при ней.

— Что же нам с ними делать? — поблагодарив, заговорили женщины.— Даже страшно нести такое в наши землянки... Наскочит кто-нибудь, подумает, что краденое...

— В воду поставьте,— посоветовала Ганна.

— Знаем... Да сейчас как раз и с водой туго.

— У вас разве тоже?

— А как же? Все на пайках живем... Ребенка не в чем выкупать.

— Скажите Гаркуше,— велела Ганна,— чтоб мой паек вам отпускал... Или лучше я сама скажу.

Еще раз поблагодарив за подарок, чабанки стали расходиться по своим жилищам, оставив подруг с глазу на глаз.

— Свясло тоже сама крутила? — невесело пошутила Вустя, помахивая перед Ганной свяслицем, снятым с зелени.

— А кто ж мне крутить будет? Ты такое скажешь...

— Не разучилась, значит...

— Наверное, Вустя, никогда не разучусь.

Присели, помолчали в задумчивости.

— Ты, часом, не болеешь? — спросила погодя Ганна, пристальио глядя на подругу.— Раскрасиелась, горишь, как чахоточная...

— Так что, может, и меия к фельдшеру?

— Перестань, Вутанька!

— Голова иемного разболелась, нагудело вчера возле машины... Да это пройдет... Ну, рассказывай, как там тебе в Искании? — сказала Вустя уже дружески.

— Да как? — задумалась Гаииа.— Только и того, что все время в холодке, а жить как-то... душно.

— Барыня, верно, душу выматывает?

— Да и барыня... Правда, я ее не очень праздную, у меня свой прнход — дом прнезжих. Свои ключи, своя посуда: каждый день тарелкн бью... может, на счастье.

— А паиыч?

— Паныч как паиыч: ходит и слюни пускает... Но не на ту напал. Даром, что в парижах не учнлась,— засмеялась вдруг Гаина,— а так гоняю на корде, что мыло с него летит!..

— Сама бы в вожжах не запуталась...

— Не запутаюсь, Вутанька. Они грамотиые, ио мы тоже ученые... Позавчера на коленях уже стоял. Золотые горы обещает. В шелка, мол, одену, иаукам обучу — на двеиадцати языках будешь разговаривать... Дядек каждый день подсылает, чтоб уговаривалн меня, склоияли иа его сторону...

— Как они там сейчас, храиители твои?

— Сторожат ночами при зверях, а дием баклуши бьют... Жилетки иа себя нацепили, бороды подстригли — смотреть противно...

— Остерегайся их, Гаина. Они иа все способны!

— Знаю. Потому-то и пригревает их паныч... Но я нх теперь тоже вымуштровала, иа цыпочках ко мне заходят... Сегодня сели было за кучеров ехать сюда. «Ах вы, нахалы,— говорю,— да как вы смеете? Чтоб дегтем на меня от вас всю дорогу смердело? Пошли вои отсюда, я вашего духу не выношу!» — Гаина захохотала. плавио покачиваясь, словно пьяиея.— Взяла Валерика и поехала с ннм...

— Боюсь я за тебя, Ганна,— вздохнула Вутанька.— С огнем нграешь...

— Я сейчас такая, что хоть с самим чертом готова

играть, Вутанька. Насмотрелась за это время их нравов. Вижу, что мозолями тут немного приобретешь. Напролом надо идти, если хочешь дорогу себе пробить.

— Ого, как ты после Искании заговорила...

— Еще бы не заговорить. Ты тут далеко, а я теперь в самой берлоге живу, вблизи вижу, как добывается панство. Там, как на Каховской ярмарке, пощады нет никому. Каждый готов тебя живьем в землю втоптать, лишь бы только себе побольше урвать в жизни. Что паны, что подпанки — все только на свои клыки надеются, силой все берут, никакого греха не боятся. Барышник на барышнике едет и холуем погоняет! Вначале, как очутилась среди них, так даже страшно стало: как здесь жить? Только и слышишь о всяких ссорах, подкупах и жульничестве... А потом, когда огляделась, увидела, кто нами правит, так прямо злость меня взяла!.. Почему Софья холуями правит? Почему не я ими правлю? Иногда такой лютой отвагой сердце нальется, что, кажется, полком солдат командовала б!.. А он горничной меня назначил, сезонной любовницей хочет сделать. Ха-ха! Не знаешь ты еще меня, паныч, не разобрал, чего мне надо...

— А чего же ты хочешь от него?

Ганна помедлила с ответом, улыбнулась:

— Венца!

— Ганна! — с ужасом воскликнула Вустя.

— А что, недостойна?

— И ты... пошла бы? За этого суслика в очках? Свет себе на весь век закрыть?

— Всякое я передумала за это время,— успокоившись, ответила Ганна.— У тебя, Вустя, дорога ясная: ты уже скоро молодичка, нашла себе пару — хлопец, как орел...

Орел!.. Словно горячими угольями осыпала Ганна подругу, сама того не заметив.

— Выбрала, кто понравился,— продолжала Ганна,— кого сердце подсказало... Значит, судилось тебе. Но думаешь, всем такое счастье, как тебе, выпадает? Сколько девушек выходит за нелюбимых, за стариков, за богатых вдовцов, лишь бы на хозяйство сесть...

— Хозяйство... Какие хозяйства, какие достатки могут с любовью сравниться!.. Это ты, Ганна, потому так говоришь, что никто еще тебя не обнимал, никого ты еще не любила по-настоящему...

— Может, и поэтому. Может, и не судьба мне по любви выйти... А тут такой случай... Все эти степи необъятные,— Ганна провела рукой вдоль горизонта,— могут моими стать... Кто бы не задумался на моем месте?.. Тут миллионы, а там батрацкая торба... Разве ты забыла, почему мы с тобой очутились на каховском торжище? В скрынях пусто, в хатах голо — вот почему... И пусть вернусь я в Криничкн с каким-нибудь рублем — разве это надолго меня спасет? Кто меня там возьмет, бесприданницу? Опять пойдешь по хуторам в навозе копаться, каждый будет над тобой измываться... Нет, осточертело!

— Но ведь и за него... Как с ним жить, как с иим в постель ложиться, если не любишь...

— Зато пановать буду. Ох, буду пановать, Вутанька! Дай мне только венец, дай те миллионы, что всех ослепляют... Буду стоять среди них, как в солнце! Сразу и красоту Ганны заметят, и умной для всех будет, человеком, наконец, станут считать. Не подойдет уже на ярмарке какой-нибудь пьяный барышник ощупывать тебя, как кобылицу... Смотришь иногда, ничтожество, в подметки тебе не годится, а и оно норовит тебя чем-нибудь унизить, хихикает над тобой, как ведьма. Не она тебе, а ты ей должна стежку уступать... О, венец бы мне, Вутанька, венец! Я б тогда показала им свою натуру, все припомнила б! На огне отплясывали б они мне все наши батрацкие обиды!

Не узнавала Вустя подругу: всегда спокойная и уравновешенная, Ганна сейчас говорила, как пьяная. Не раз, видно, втайне упивалась она картинами своих будущих расплат с обидчиками.

— Панич у меня под пятой будет, барыню в узелок скручу, все в имении по-своему переставлю... Людьми торговать никому не позволю, заставлю всех правдой жить!

— Ой, Ганна, Ганна... Правдой жить!..

— Увидишь. По всем таборам, по всей степи новые порядки заведу. Батракам — почет, они у меня артезианскую будут пить, а всех трутней-приказчиков на гнилую посажу, что после овец остается... Саму барыню илом с головастиками напою!

— Широко ты размахнулась, Ганна... Да разве поведет он тебя под венец... Для него ты — мужичка.

— Вустя,— наклонившись, промолвила Ганна шепотом, хотя никого поблизости не было,— уже обещал!

— Наобещает, а потом... обманет и бросит.

— Нет, обмануть себя я не дам,— строго возразила Ганна и примолкла.

— А как тебя там челядь принимает? — спросила погодя Вутанька.

— Не ладится у меня с ними дружба... Каков пан, таковы и его слуги... Только и знают, что с доносами бегают, а меня от этого воротит... Единственный, с кем я могу душу там отвести, это Яшка-негр...

— Что за негр?

— О Вустя! — повеселела вдруг Ганна.— Такой он славный! Все смеется и кудрями встряхивает да так белками и светит... Сердце у него доброе, человечное какое-то... Не знаю, почему Артур на него собакой взъелся... Проходу от него Яшке нет, хоть бы уже скорее выметался в свою Америку... Приехал на три дня, а застрял так, что не выкуришь... Сам ноги на стол, как свинья, кладет, а на Яшку все «бой» да «бой». Дался ему этот «бой». То не так перед ним стал, то не так повернулся... Ненавидит человека только за то, что у него кожа черная!.. А по-моему, что же здесь такого? Из горячих краев человек вывезен, там солнце круглый год жарит, разве не почернеешь?..

— Это не страшно, Ганна... Кто еще знает, какие мы будем, когда проведем не одно лето в этой степи, под этой беспощадной жарой... Кожа — пусть! Душа б только не почернела!

— И я так думаю, Вутанька, даром что сама не люблю загара. Вначале и для меня он был каким-то не нашим, а теперь, когда ближе познакомились, легко, хорошо мне возле него. Так хорошо, Вутанька, как ни с кем еще не было! Вчера вышли мы с ним за имение и пошли далеко в степь, на курган поднялись... Остановился он, загляделся в сторону моря и вдруг заговорил по-своему, нежно, задушевно... И может, как раз потому, что языка его африканского не понимаю, все, о чем он говорил, таким хорошим, таким красивым казалось мне... Словно чары какие-то пила, будто музыка лилась на меня... Сердце таяло, так было хорошо... Может, он нарочно по-своему говорил, чтоб я не поняла его нежности? А я словно все понимала, не надо было и двенадцати языков вот тех... Стоит и будто раскрывает передо мной далекие неведомые края, где вечная весна цветет, где жаворонки круглый год звенят, где над озерами белые чайки смеются...

— И паныч тебя к нему не ревнует?

— Какие могут быть ревности, Вутанька, ведь арап для них не человек. Наоборот, и панычу и барыне нравится, чтобы мы чаще бывали с Яшкой вдвоем, чтоб Аскания о нас говорила... А как он на гитаре умеет играть, как песни свои поет!.. Когда слушаю, кажется, что и не черный он, а просто себе Яшка. Слушаю и ясно слышу, как ему горько дома жилось, и как горько сейчас живется, и какой одинокий и славный он...

— Влюбишься ты в него, Ганна... Или уже влюбилась?

— Вутанька, что ты? Так быстро?

— Для этого много времени не нужно... Иногда секунда одна — и все будто сказано навеки...

Затаенная грусть, зазвеневшая в голосе Вутаньки, не коснулась слуха Ганны. Мечтательная улыбка легла на ее губы.

— А как бы он мог... любить меня!

Загляделись подруги вдаль, задумались каждая о своем.

Степь еще горела в предвечерних янтарях зноя. Откуда-то из-за горизонта выплывали пастухи; легко, как по золотистому хрусталю, брели стада, неторопливо приближаясь к колодцу на вечерний водопой. Муравьями казались волы, нечетким пятнышком двигался в просторе человек — такая далекая степь раскинулась вокруг... Огромный, вширь и в высоту не меренный простор, был он для Вутаньки светлицей ее первой и уже утраченной любви, для Ганны был заманчивым, хрустальным, еще не достигнутым троном...

— А ты знаешь, Ганна... Леонид от меня... ушел.

— Вустя! Что ты плетешь? — отпрянула от подруги Ганна.— Опомнись!

— Я в своем уме,— горько усмехнулась Вустя и стала рассказывать Ганне, как покинул ее Леонид.

— Не верю,— сказала Ганна, выслушав ее.— Где он? Я сама с ним поговорю!

— Нет его. Уехал куда-то на целый день... Опять, наверное, к той...

— Нет здесь что-то не так,— стояла на своем Ганна.— Я же видела, какие вы возвращались из степи... Сияли оба, как звезды... И теперь вот так враз погаснуть? Нет, не верится мне, Вутанька...

Ганна не успела договорить.

Из-за барака со щебетом налетели девушки в венках, обступили Ганну, разглядывая ее, словно молодую на свадьбе.

— Что это за платье на тебе, Ганна! Как снег!

— Неужели настоящий батист?

— А сама как расцвела!

— То ли посвежела там, то ли понежнела — сразу и не разберешь!..

Ганна и впрямь за эти дни распустилась, как лилия на воде. Шея, как у лебедя, в ушах — ландыши, вымытые косы выложила тугой короной — так и просится сверху венец... Сидела и спокойно улыбалась недавним своим однокашницам сияющей улыбкой.

— Чем они тебя там кормят, что ты такая стала? — шутили девушки.— Может, одними сливками?

— Что сливки!.. Мороженое из миски серебряными ложками хлебаем...

Вскоре на шум явился и Гаркуша.

— Мое вам почтение, Ганна... извиняйте, забыл вас по батюшке.

Ну и Гаркуша! Девушек он просто ошарашил тем, что с первого слова стал величать Ганну на «вы». А она хоть бы что — принимала, как должное.

— По батюшке можете и не называть, я ж байстрючка,— говорила она приказчику полушутя-полусерьезно.— А вот воду мою тут не зажиливайте. Я ведь у вас не пью, а паек мне от вас полагается...

— Ваше — вам, а как же,— замахал руками Гаркуша...

— Вы не машите, а слушайте, что говорю. Паек мой... Вустя им здесь распорядится.

Гаркуша обещал все наладить, все сделать.

— А сейчас кликните там моего, пусть подъезжает... Поеду по холодку.

От души нахохотались девушки, когда приказчик, как борзая, кинулся выполнять приказ Ганны. Она тоже смеялась вместе со всеми, искренне, досыта, словно хмелея.

— Как там ни будет дальше, а пока я нагоню холода в их холуйские души!..

— Нагони, Ганна!

— Отплати им за всех нас!

Проводив Ганну, девушки долго не расходились, на все лады обсуждая ее положение. Одни сочувствовали, а некоторые открыто завидовали ей: избавилась от каторги. Давно ли вместе с ними ковыляла на косовице и дрожала от жажды, припадая к тыкве с перегретой грязной водой! А сейчас уже приказчики перед нею дрожат, артезианскую пьет, на рессорной тачанке катается...

— Повезло дивчине!

XXXV

Вечер... Не до сна в этот вечер Вутаньке. Незаметно выбравшись за табор, тенью стоит в степи, подставив дыханию ночного ветерка свои разгоревшиеся вишневые щеки. Далекие чабанские огоньки одиноко золотятся кое-где, как звезды, что упали на землю и не гаснут. Данькова нет среди них — брат кочует сейчас где-то на далеких пастбищах... Грустно, темно в Вутанькиных светлицах. Пустынней дышит степь. Не пахнет уже свежим весенним цветением — сухой пылью пахнет. Не серебрится над беспредельной равниной мягкое лунное сияние...

Было: шелковые ковыли переливались под солнцем, в сплошных цветах лежала степь, как пестрый ковер... Чертополохи стояли на страже в своих малиновых шапках, ветвистые оленьи рога валялись в траве...

Отошли ее счастливые лунные ночи, кому-то другому светит сегодня месяц. А тут только звезды, усеяв небо, дрожат, налитые светом, словно слезы девушек-тавричанок. «Нигде я не видел таких больших звезд, как в нашей Таврии!..» Изредка сорвется какая-нибудь и летит в темные просторы степи, чтоб потом стать где-то одиноким чабанским огоньком. Горит Волосожар. Млечный Путь зарастает кустистой молочной порослью... Могуче пролег через все небо, широкий, свободный, нехоженый, хоть сейчас иди по нему.

И Вутанька пошла. Так, лишь бы идти, неторопливо, наугад, чтоб только скоротать как-нибудь бессонную ночь, развеять пылающую тоску. Не сразу и заметила, что идет по той дорожке, что вела на Маячку и Алешки и дальше — к морю... По той самой, по которой поехал утром с ребятами Леонид. Незнакома была ей эта степная накатанная дорожка, не случалось Вутаньке заходить

в эту сторону... Невольно очутилась она тут, словно что-то таинственное вывело ее и, подтолкнув, направило сюда...

Нет, не перехватывать вышла его — что он подумал бы о ней?

И не плакать в одиночестве шла в степь — пусть плачут другие, те, что не испытали, какая она есть, настоящая любовь...

Не дождутся соперницы Вутанькиных слез! Горе не расслабило ее, а еще больше закалило, как ту узенькую косу-тавричанку из чистой певучей стали...

Тихо было вокруг, спали степи. С легким шумом вспархивали с придорожной травы отяжелевшие жаворонки, улетали в темноту. Говорят, будто поют они только до косьбы, пока живут впроголодь, а потом, отяжелев, перестают петь, и за это осенью называют их степняки уже не жаворонками, а посмитюхами. Выдумки, наверное... Как это жаворонок может превратиться в посмитюху! Жаворонок жаворонком и останется...

Где-то далеко, с чуть слышным перестуком, прокатилась в темноте подвода,— может, проехали ребята, возвращаясь в табор по другой дороге? И пусть! Не пошла Вустя на тот перестук... Подальше, подальше уйти от него! Тихо оседала прохладная пыль под горячими ногами. Сухой полынью прогоркли обочины. Сухие зарницы взвиваются в стороне Берислава и Каховки...

Однако что это?

Впереди на осевшем от времени степном кургане показалась высокая фигура. Кто б это мог быть? Может, панский объездчик задремал в седле? А может... он? Может, почуял ее приближение и поджидает, а может, с ним что-нибудь случилось и ему надо помочь? Встревоженная, охваченная нахлынувшим жаром, затемнявшим сознание, Вутанька бросилась прямо к фигуре.

Не объездчик то был на коне. И не Леонид, к которому она разбежалась. Огромная каменная баба зловеще выплыла из темноты навстречу девушке.

В оцепенении остановилась перед нею Вутанька. Никогда еще не приходилось ей видеть каменную бабу так близко. Сложив на обвислом животе грубо высеченные ручищи, злорадно усмехаясь в сумерках Вутаньке, она надвигалась сверху на девушку, готовая, казалось, навалиться на нее всей своей тяжестью, задушить в каменных объятиях.

Вустя стояла в беспамятстве, сжав кулаки, не отступая назад ни на шаг. Первый страх внезапно сменился неудержимым пылающим гневом, который придавал ей сейчас силу и отвагу.

«Смеешься! — мысленно воскликнула Вутанька.— Радуешься, ведьма, что отказался от меня, что одинокая блуждаю в степи?»

Все, чем допекла девушку сезонная подневольная Таврия, все, что накипело у нее на сердце, сейчас с клекотом рвалось наружу, превращаясь в бешеную ненависть к этому отвратительному каменному чудовищу, зловеще застывшему во тьме и чем-то похожему на ту, стриженую, которая расплывалась в старческой усмешке возле асканийского черного водопоя в первый день их прибытия из Каховки.

Сами собой сжимаются кулаки, все грознее надвигается холодная баба на разгоряченную девушку.

— Знаю, слез моих ждешь, окаянная! — в неистовом забытьи шепчет Вутанька прямо в каменное лицо бабы.— Насмехаешься? Тебе ли насмехаться надо мной? Оглянись лучше на себя, посмотри на свой обвислый живот, на свою грудь! Никогда не играла, не бурлила в тебе горячая кровь! Никто не обнимал тебя, уродину, за все века! Так не испытаешь ничего, так и пропадешь камнем! По пылинке развеет, разнесет тебя ветер по степи!..

Долго в ту ночь оставалась пустой постель Вутаньки на сеновале. Долго виднелись в ночной степи две фигуры на кургане: одна неуклюжая, грубая, массивная, будто объездчик в седле, а другая тоненькая и гибкая, словно коса-тавричанка чистой певучей стали.

XXXVI

В разгар лета губернатор через специального гонца предупредил Фальцфейнов, что осенью им надо ждать высоких гостей. По пути из Крыма в столицу имение собирались посетить члены царской семьи. Возможно, будет и сам царь.

Вскоре после этого в имение прибыл переодетый в штатское жандармский офицер, который вместе с управляющим принялся составлять списки неблагонадежных. На время визита всех их надлежало выселить из главной

экономии в дальние степные таборы. Первым в списке стоял механик Привалов.

Вольдемар в эти дни развил бешеную деятельность, направленную на то, чтобы как можно пышнее показать царю свою Асканию, выставить ее во всем блеске. Среди прочих затей было решено также создать свой собственный асканийский хор — хор мальчиков, который мог бы исполнить «Боже, царя храни...»

Эта оригинальная идея понравилась и Софье Карловне. Такой хор был только в Риме, при соборе святого Петра, а теперь будет и у нее, в Аскании!..

Из Крыма немедленно был выписан какой-то лохматый регент, который хотя и оказался пьяницей, но, к чести его будь сказано, даже в состоянии мертвецкого опьянения камертона из рук не выпускал. По таборам и экономиям среди пастушков стали разыскивать и отбирать способных, голосистых мальчиков. Сам паныч охотился теперь за ними, как завзятый охотник.

Просвистел скоро аркан и над юным арбачом Мануйла.

Как-то, ожидая, пока набежит в колодец вода, Данько горланил около своих верблюдов вальс «На сопках Маньчжурии». Паныч, объезжая степь, издали услыхал пение парня и подкатил на машине прямо к нему. Весь в заплатках, выцветший на солнце вокалист был подвергнут короткому допросу.

— Откуда родом?

— С Полтавщины.

— От кого научился «На сопках...»?

— От Мануйла.

— А раньше не пел в церковном хоре?

— Нет.

— Так вот... теперь будешь петь. Сматывай сейчас свои манатки и дуй в Асканию, в распоряжение регента... Понял?

— А верблюды?

— Верблюдов сдай атагасу...

Сказал и фыркнул, только пыль за ним поднялась.

Очень не хотелось Даньку разлучаться со степью, с Мануйлом, с верблюдами и овчарками, однако пришлось. Хочешь не хочешь, а должен петь!

Атагас, приведя отару и выслушав парня, сокрушенно благословил его в путь.

— Иди. Не в моей, сынок, властн освободнть тебя от этой рекрутчины... Да, может, оно н к лучшему, всякая наука человеку на пользу... Только вряд ли ты там долго продержншься, Даннло... Очень беспокойный ты по характеру, разжалуют тебя рано или поздно... Ну, тогда возвращайся опять сюда, в мой днсциплинарный батальон. Приму.

На прощанье Мануйло наградил Данька за верную службу чабанским бурдюком для воды.

— Жара, а тебе до самых Чаплей не будет колодцев...

До слез растрогал парня этот искреннний подарок.

— Спаснбо... За все вам спасибо, дядько Мануйло...

Лохматые овчаркн, словно почуяв, что Данько нх покндает навсегда, прощально замахали хвостами, запрыгалн вокруг парня, пытаясь лнзнуть его в обветренные щекн.

С бурдюком через плечо, с герлыгой в руке вышел парень, понурясь, на шлях и поплелся в сторону далекой снней тучн асканнйских парков. Тосклнво заревели верблюды вслед, сжалось горло от их печального рева. Шел долго, а они все ревели и ревели, провожая своего молодого хозяина в простор...

«Опять в дороге,— думал Данько, шагая.— Если бы все мои переходы да сложить вместе: сколько верст перемерял? Из одной наукн да в другую... А может, оно и к лучшему, как говорил Мануйло?»

Чувствовал, что с тех пор, как оставил Криннчки, кое-чему в самом деле научился от добрых людей. Знающие учителя попадалнсь на его пути. В Каховке — правдистка, в амбарах — атаманша стрижеев тетка Варвара, тут, в степи,— атагас Мануйло... Каждый учил по-своему, но все вместе словно поднимали и укрепляли его, наливая своей силой, настраивая его на героическнй лад.

Опечаленный разлукой со степью, но без страха, шагал он на Асканню. Пусть заплатанный, с бурдюком за плечом, явнтся он в панскую столицу, но обижать себя никому не даст! Да и не одни же паны н подпанки там, есть у него в Аскании н настоящие друзья... Валерик, негр, Мурашко, Привалов, кузнецы в мастерских... Представив себе встречу с ними, Данько сразу повеселел.

В Асканию он вошел уже выпрямившийся, залихватски сбив картуз набекрень. Прежде всего накинулся на артезианскую, «запьянствовал» на радостях. Мало того что напился вдоволь и наполнил — больше, правда, для развлечения — свой чабанский бурдюк, стал еще плескаться возле трубы, оттирая свои давно не мытые щиколотки степным «собачьим мылом», каким заранее запасся в дороге. Считал, что теперь, когда он выходит в певцы, никаких цыпок на нем быть не должно. Тер, снимал верхнюю кожу, как рашпилем.

На этом и застали его Сердюки. Подошли оба в яловых сапогах, в жилетках и, даже не поздоровавшись после долгой разлуки, стали гнать земляка прочь от воды.

— А ну, проваливай к черному водопою! Нашел себе купель возле артезианской!

— А она ваша? — окрысился было на земляков Данько.

— Он еще будет здесь разговаривать! — медведем пошел Оникий на парня, и Данько, швырнув ему в морду пучок «собачьего мыла», вынужден был отступить.

Зато, разыскав Валерика, Данько пережил неожиданную радость: Валерик тоже был в хоре. В казарме, на нарах, отведенных для хористов, ребята заняли места рядом, чтобы быть и ночью вместе. В головах, вместо подушки, положили бурдюк с водой.

Вечером они нанесли визит семье Мурашко. Здороваясь со Светланой, Данько снова отрекомендовался Данилой, как тогда, при первой встрече в саду. Он почему-то считал, что, здороваясь с такой девочкой, надо каждый раз называть свое полное имя.

XXXVII

По новому руслу потекла теперь жизнь Данька. Уже мало походил он на чабаненка, стал как солдат: всех хористов постригли на один манер и одели в одинаковые костюмчики из черного колючего сукна. Когда шли теперь с Валериком, то издали можно было принять одного за другого. Только голосами и отличались: Валерик пел в хоре альтом, а Данько дискантом.

Нелегко было. Ежедневная муштра, бесконечные репетиции, строгий камертон регента под самым носом...

Развлечением для себя Данько считал, когда брали его с Валериком на теннисные площадки подавать раззявам-панычам черт знает куда забитые мячи. Бегаешь, мечешься за ними, хватая на лету, но когда панычи сядут в холодке передохнуть, то и ты имеешь возможность, улегшись где-нибудь поблизости, подремать в кустах или, притаившись, послушать панскую болтовню.

Гости не переводились в имении все лето. Были это большей частью приятели Вольдемара из южной «золотой молодежи», которые привыкли по неделям болтаться в Аскании, плескаясь в бассейнах и играя в теннис. Сам Вольдемар, занятый хозяйственными делами, не мог уделять своим знатным нахлебникам много времени, но они не особенно тужили. В конце концов плевать им было на всякие церемонии и на самого Вольдемара... Без него они ели, пили и развлекались ничуть не хуже, чем с ним.

Чаще всего у теннисных кортов собирались молодой татарин Жорж, сын богатого крымского табачного фабриканта, прыщеватый панок Родзянко, считавший себя студентом, хотя нигде не учился, и мрачный офицер в шпорах, который приходился Фальцфейнам каким-то дальним родственником. Нередко среди них можно было видеть и залетного американца Артура, здоровенного верзилу с пустыми глазами, который понимал разговор компании через пятое на десятое, но ржал, как конь. Никто не мог сказать определенно, что нужно было этому субъекту в Аскании. Сам он выдавал себя за туриста, любителя природы, который, будучи в Европе, решил заодно посетить и редкостный таврический заповедник; другие поговаривали, что он прибыл к Фальцфейнам по поручению своего отца, крупного американского овцевода, и уже ведет переговоры об открытии в Аскании какой-то экспериментальной лаборатории.

Играл Артур всегда против татарина и неизменно проигрывал, но когда, развалившись в холодке, принимался за лимонад, то здесь никто не мог сравниться с ним. Пока другие точили лясы, он только и делал, что хлопал пробками.

Разговоры теннисистов вертелись главным образом вокруг Аниет, под которой подразумевалась просто Ганна Лавренко, прозванная когда-то Даньком «панночкой в свитке». Судя по всему, Ганна, перекрещенная панычами в Аниет, успела крепко вскружить голову молодому

Фальцфейну. И если о легендарной горничной-полтавчанке, сумевшей всерьез обворожить асканийского богача, заговорили уже в окрестных имениях и в крымских гостиных, то тем больший интерес вызывала она здесь, в кругу молодых повес, кое-кто из которых уже носил на память от Аннет звонкие сувениры, тайком полученные в виде доброй Ганниной пошечины. Конечно, болтовня Вольдемара относительно того, чтобы перевоспитать мужичку и сделать ее настоящей женой, среди его приятелей популярностью не пользовалась. Приятели считали, что это преходящая блажь, разведенная Вольдемаром на либеральной водичке и стоящая лишь того, чтоб над ней посмеяться. Куда больше импонировала молодым гулякам мысль Софьи Карловны о том, чтоб сыграть свадьбу, просватав неподатливую красавицу за повара, за Яшку-негра. Тут было поле для всяких потешных предположений!.. Артур пошел на пари с офицером в шпорах, утверждая, что белоснежная Аннет ни за какие деньги не обвенчается с негром. Офицер, наоборот, был убежден, что негру удастся повести Ганну под венец.

— Ты хочешь сказать,— горячился прыщеватый Родзянко, обращаясь к офицеру,— что для черни расовые предрассудки не существуют?

— Они плюют на них,— мрачно отвечал ему офицер,— если только запахнет настоящей любовью...

— Не преувеличивай ее значения!.. Возьмем, к примеру, господа, хотя бы ту же Америку.

— Плевать им на Америку! — стоял на своем офицер.

Иногда, вернувшись прямо с поля, подсаживался к компании и сам Вольдемар.

— Замучили,— жаловался он приятелям.— Удивительно неповоротливый, упрямый, несообразительный народ! А еше называют их потомками запорожцев!.. Это, верно, только моя уважаемая и склонная к галлюцинациям маман еще способна представлять себе их на конях под боевыми знаменами, с саблями наголо... Нет, господа, это уже призраки какие-то, а не люди. Толкуешь, толкуешь ему, а он стоит перед тобой, ухмыляясь, как дикарь, как ирокез... Техника им не дается никак! Посадишь на косилку — косы порвут, поставишь к барабану — молотилки каждый день выходят из строя!.. Вы знаете, господа, я с ними корректен, я к ним добр, я сам

в душе демократ и считаю, что бездарных народов нет, есть лишь бездарные правители, но здесь, когда повертишься среди них, поневоле начинаешь уже брать под сомнение свои собственные убеждения... Разве случайно, что никто из них выше гайдуков и приказчиков не поднимается? Вилы и грабли освоят, а дальше для него уже начинается terra incognita[1]... Вы можете назвать меня фаталистом, господа, но, верите, мне порой кажется, что они самой судьбой обречены на то, чтобы быть народом-негром, народом-чернорабочим... Единственное, пожалуй, чего не пожалела для них природа,— исключительно тонкого лукавства, юмора и богатых вокальных данных... Ну, да еще, скажем, пышной красоты для их дочерей...

Не раз, когда паныч «заводил пластинку» о несообразительных, упрямых батраках, Данько с Валериком, притаившись в кустах, весело переглядывались. Нетрудно было им догадаться, почему рвутся косы на панских косилках и почему часто выходят из строя молотилки. Нетрудно было им представить себе и тысячи каховских парней на конях и даже себя среди них с саблями наголо!.. Подожди, паныч, не только косы рвать будут, а еще, может, и тебя на клочки разорвут вместе с твоими гайдуками и приказчиками!

— Браво, Вольдемар! — выкрикивал Родзянко.— Узнаю в тебе прирожденного тори!

— Прошу не понять меня превратно, господа,— начинал нагонять туман на компанию Вольдемар.— Не подумайте, что я вообще неблагодарен этому краю, который мне, скажем откровенно, дал богатство, и славу, и могущество. Меня раздражают сезонники своей поразительной безынициативностью, которая граничит у них с преступлением. Но, несмотря на все это, я люблю наш юг, нашу житницу, нашу неспокойную, вечно ищущую Таврию и никогда не променял бы ее на печальной известности медвежьи углы и стоячие болота севера! Где еще, кроме Таврии, вы встретите такой легкий и высокий пульс деловой жизни, такое вольнодумное отношение к традиционным обычаям и святыням, такой в конце концов пестрый набор народностей?.. И не вырисовывается ли для вас, господа, во всем этом прообраз чего-то совсем нового, того всечеловеческого, я сказал бы,

[1] Неизвестная земля (*лат.*).

космополитического, что нашло уже себе такое идеальное воплощение на американском континенте? Нет, здесь не стоячее болото... Вся она, наша прекрасная Таврия, кипит, как свободная биржа, доступная каждому, где каждый достигает того, чего способен достичь! Близость моря, порты, оживленная торговля и связи с цивилизованным миром — все это бросает на нас отблеск, господа!..

Говоря о бирже и об «отблесках», Вольдемар обращался прежде всего к Артуру, который, обставив себя бутылками, одобрительно кивал головой и замечал невпопад, что «овца — это всегда рента».

— Для нашей солнечной Таврии двадцатый век наступил значительно раньше, чем для мрачного севера,— заливался паныч.— Таврия лежит ныне перед миром, как сплошное золотое руно, все больше привлекая взгляды новейших язонов... И я верю, господа, что они со временем придут к нам и высадятся на этих берегах, где когда-то высаживались отважные мореходы Эллады, те, кто прокладывал здесь первые тропинки цивилизации, кто основал Херсонес и Ольвию. Таврия созрела, господа, она не станет прятаться от них со своим золотым руном! Наоборот, она сама откроет перед ними все свои гавани, поднимет все свои шлагбаумы им навстречу!..

— Шлагбаум — фьють... Порто-франко... Олл-райт,— забормотал при этом Артур, и компания сочла за лучшее перевести разговор на другую тему.

— Как твои дирижабли? — иронически спросил Вольдемара татарин, имея в виду огромные цельнометаллические овчарни, которые Вольдемар выписал в этом году из Америки и для пробы начал не так давно возводить на двух степных загонах. Издали они и впрямь были похожи на гигантские, до половины загнанные в землю дирижабли. Покачивали головой чабаны, представляя себе, какая духота будет стоять летом и какой собачий холод будет зимой в железных хозяйских кошарах. Вольдемар ни на что не обращал внимания.

— Строю . Возможно, что и не совсем практично, но я хочу стандартизировать свои таборы по современным образцам... Стандарт, господа, имеет свои преимущества и даже свою поэзию..

— Насколько нам известно,— усмехнулся татарин,— Кураевые таборы для тебя тоже не лишены поэзии.

Это был намек на Ганну. Вольдемар нахмурился. Он не любил, когда об его избраннице говорили в игривом тоне. Он считал, что серьезно влюбился в Ганну. До сих пор, дескать, были все пустяки, преходящие юношеские увлечения, негреховные веселые грехи, а это наступило нечто иное, не преходящее, как раз то самое, что называют любовью. Так по крайней мере думал Вольдемар. Он не боялся насмешек со стороны салонных дам, считая, что ему будет разрешено взять себе в жены девушку без дворянского герба. Ведь известно, что американские миллионеры неплохо живут без гербов. Фальцфейновские миллионы — вот в конце концов их герб! Махнет на всех рукой, возьмет себе простую батрачку, которая своей здоровой плебейской кровью улучшит его хилый фальцфейновский род!.. Воспитание, образование? У него насчет этого свое мнение. Нарочно берет осколок дикого, но благородного материала, из которого впоследствии засияет живой, созданный самим хозяином шедевр... Обработает, отшлифует, придаст ему форму и оттенки, какие захочет!

— Я просил бы, господа, в дальнейшем не говорить больше об Аннет, как о горничной,— надулся паныч.— Считайте, что она... моя невеста! Да, я так решил! — воскликнул он в ответ на насмешливо-удивленные гримасы приятелей.— Вижу, что это единственный путь овладеть ею! Я не в силах без конца бороться с влечением, которое она во мне вызывает. Несовершенна? Без образования? Тем лучше! Не нужна мне готовая. Я сам, засучив рукава, воспитаю ее, отбросив лишнее, развивая то, что мне нужно... А из Аннет выйдет все, она молодая, и природные данные у нее, вы сами знаете, богатейшие!..

Приятели вежливо слушали хозяина, хотя, видимо, не верили ни одному его слову. Кончилось тем, что Родзянко снова выкрикнул: «Браво!», а другие, кисло поздравив жениха, разобрали ракетки и пошли продолжать игру.

XXXVIII

Ганну Даньку приходилось видеть редко, да и то большей частью издалека. Один раз встретил ее на прогулке в цветниках, в окружении панычей, которые, уви-

ваясь около нее, учили Ганну пользоваться тем аппаратом, что снимает на карточки. По праздникам ее еще можно было видеть в асканийской церкви, когда она, привлекая взгляды присутствующих, гордо вплывала туда в белом, словно из пены, платье, в свяслах черных блестящих кос, перекинутых на грудь. Нет, это уже не была «панночка в свитке», это была настоящая панна, которая шла, словно по воде, свысока кивая кое-кому своим белоснежным подбородком, держась так, будто всю жизнь была благородной.

Данько в церкви со временем также оказался не на последних ролях. Поп, которому он понравился за голос и живость, в первое же воскресенье поручил Даньку очень ответственную для хориста работу: раздувать и подавать кадило. Занятие это Даньку понравилось, ладана парень не жалел, дым стоял в церкви облаком, и Ганна плыла в этом душистом облаке, как херувим.

На совесть работал молодой кадильщик. Во время его дежурства при кадиле среди его товарищей-хористов также царило веселое оживление: с алтаря, из-за поповской спины, парень строил такие рожи своим братишкам, что они невольно прыскали в кулаки, а регент, не зная, в чем дело, выходил из себя и зло постукивал кого-нибудь по голове камертоном. После таких служб вечером в казармах звучала дерзкая — на мотив псалма,— сложенная самими же хористами песенка о том, как «Данило подавал попу кадило» и как это было «усмешительно».

В свободное время ребята навещали семью Мурашко. Лидия Александровна встречала их с неизменной ласковостью и доверчиво делилась своими домашними хлопотами, тревогами и надеждами. Она не теряла веры в то, что Иван Тимофеевич доберется в Петербурге куда следует, и ребятки всячески поддерживали ее. Не раз они сообща мечтали о том, как возвратится Мурашко в Таврию победителем, наедут вслед за ним высокие комиссии инженеров, придут армии землекопов и в конце концов днепровская вода торжественно потечет от Каховки в адские бурые степи Присивашья.

Иван Тимофеевич время от времени подавал из столицы о себе глухие весточки в виде торопливо написанных открыток, в которых пока что мало было утешительного и которые, однако, Светлана заучивала наизусть.

Перед Светланой Данько уже не чувствовал себя неотесанным и неуклюжим, ему теперь было только жаль эту хорошенькую ясноокую девочку, она хоть имела и мать и отца, но иногда почему-то казалась Даньку сиротой. Редко звучало теперь ее беззаботное щебетание, все чаще, притаившись где-нибудь в углу, девочка задумывалась, как взрослая.

— О чем ты задумалась, Светлана? — иногда спрашивала девочку мать.

— Я не задумалась, я... слушаю папку. Когда вот так долго молчишь, так будто слышно, как он где-то говорит и смеется...

Данько и Валерик замечали, что они вносят с собой какую-то отраду в мурашковский дом, и им было приятно чувствовать себя людьми нужными и полезными другим. В эти невеселые для семьи дни Светлана льнула к ребятам как-то особенно беззащитно и доверчиво, словно к старшим братьям, и они относились к ней, как к сестренке. Нередко они ходили втроем в степь встречать Цымбала, который теперь ежедневно привозил кукурузу животным в большой загон.

Не та была нынче степь, как тогда, на ранней заре их знакомства! Не шумела бескрайними золотистыми шелками, не радовала своим весенним полноцветьем, не звенели ручейками жаворонки... Поблекло, посерело, прибилось пылью все от Сивашей до Каховки. Лишь небо вверху еще оставалось таким светлым от солнца, что осиянно-белые облачка на нем были едва заметны...

В определенный час откуда-то со стороны Днепра выплывал Цымбал, медленно приближаясь к загонам, высясь, как царь, на арбе, полной густой, сочной кукурузы. Все животные любили лакомиться ею и, увидев Цымбала, радостно спешили с пастбищ к нему. Прекрасная создавалась здесь процессия! Движется зеленая, доверху нагруженная арба, а за нею до самого места кормежки чинно шагают тяжеленные зубробизоны, стройные газели, горбоносые сайгаки, олени, зебры... Все удивительные животные, не ссорясь, покорно, как в сказке, идут за своим добрым кормильцем Цымбалом!

— Будто вся природа здесь выстроилась,— задумчиво говорит Валерик.— А дирижером над ней... человек.

— Погоняйте, дядько Нестор, вот так в Криничкиl — весело кричит Данько земляку.

— Есть такая думка,— приветливо отвечает Цымбал с арбы.— Всех поведу своим Степанам на хозяйство...

А с далеких пастбищ скачут все новые и новые жители степи, привычно присоединяясь к процессии Цымбала...

Как-то под вечер ребята шли со Светланой по парку вдоль вольеров.

— Глянь, ведь это она! — толкнул вдруг Данько Валерика, указывая на девочку, которая вознлась в вольере среди цесарок.— Это ж та, что сомлела тогда над шерстью... Эй, ты! — крикнул Данько сквозь сетку юной цесарнице.— Это ты сомлела тогда в сараях?

Девочка, обернувшись на оклик, вдруг радостно засветилась, и даже тонкий румянец проступил у нее на щечках. Пораженная встречей, стояла с ведерком среди цесарок и молчала, не зная, что сказать.

— А я вас сколько раз видела... в церкви,— наконец промолвила она.— Я вас и в этих костюмчиках сразу узнала...

— Это всем нам, хористам, такую форму выдают,— объяснил Данько, небрежно посмотрев на свой мундир, на котором уже не хватало нескольких пуговиц.— Слушай, как тебя...

— Наталка...

— Слушай, Наталка, ты теперь возле цесарок?..

— Ну да...

— Глянь, а они тебя знают!..

— Они ее любят,— вмешалась в разговор Светлана.— Правда ж, они тебя любят?

— И я их люблю,— улыбнулась девочка и смущенно потупилась.

— А меня ты знаешь? — прижавшись к металлической сетке, спросила Светлана.

— И тебя знаю.— ответила цесарница.— Ты Мурашкова Светлана... Твой отец хотел Днепро самосильно в степь повернуть,— добавила она учтиво.

— А я тебя впервые вижу. Ты с кем ходишь играть?

— Я ни с кем не играю,— снова смутилась девочка.— Мне... некогда.

— Ну, тогда я к тебе буду приходить играть!

— Ладно... приходите...

Данько уже собрался было с форсом, по-взрослому, закурить перед Наталкой, когда девочка вдруг испуган-

но засуетилась, издали заметив на дорожке Сердюков, которые шли, как на прогулке, заложив руки за спину.

— Удирайте скорей,— зашептала Наталка,— потому что эти как пристанут!.. Надеются, что станет паныч их зятем, и на всех тут уже покрикивают, будто на своих наймитов!..

Со времени первой стычки возле колодца Данько считал себя в состоянии войны с односельчанами и не упускал случая, чтоб при встрече как-нибудь не поддеть их. Его так и подмывало хоть на расстоянии подергать земляков за их подстриженные, гребешками расчесанные бороды. Сейчас он тоже не замедлил задеть Сердюков.

— Эй вы, паны — на двоих одни штаны! — задиристо приветствовал он земляков, отскочив от вольера на дорожку.— С Фальцфейнами хотите породниться? Асканию получить? Где еще теленок, а они уже с дубиной!..

— Подожди, Яресько,— лениво грозили издали Сердюки, даже не пытаясь погнаться за парнем (в последнее время они заметно располнели и отяжелели).— Думаешь, мы не видели, что ты у батюшки за спиной вытворял? Вот мы на тебя регенту заявим, он тебе накадит... Он у тебя на голове побьет свой камертон...

— Напугали! Барышники!— хохотал Данько, отступая с Валериком и Светланой все дальше к выходу.

Так Сердюки незаметно и вытеснили их из парка.

— Ох, и жаднюги ж! — засмеялся Данько, когда все трое очутились на Внешних прудах.— Племянницу живьем продают, лишь бы только в богачи выбиться...

— Неужели они все это могут заграбастать? — помрачнела Светлана.— Парки, пруды, степи, таборы... Зачем столько добра в одни руки?

— Если по справедливости,— задумался Валерик,— то никому одному не должно все это принадлежать... Ни Фальцфейнам, ни им...

— А кому?

— ?

Вечером они сидели у костра, который землекопы развели в котловане только что вырытого пруда (артель землекопов здесь и ночевала), и слушали беседу, которую вел с рабочими водяной механик Привалов. Мальчики в свободных позах лежали около огня, а Светлана устроилась возле механика, как любила сидеть возле отца. Речь шла об асканийских парках. Землекопов ин-

тересовало, кто их первый насадил, кто сумел их выпестовать в открытой степи.

— Слыхал я, панок один рассказывал, будто приезжий немчик все это затеял, — говорил, попыхивая цигаркой, бородатый землекоп в расстегнутой холщовой рубашке.

— Сомневаюсь,— спокойно отвечал механик, задумчиво поглаживая Светлану по голове.— Оч-чень сомневаюсь!.. Какой же немчик мог поднять среди вековой степи такой могучий лесной массив? Лопнули бы на нем подтяжки, но не поднял бы.

И ребятишки и уставшие за день силачи-землекопы, сидевшие вокруг костра, дружно засмеялись, представив себе немчика, на котором лопаются подтяжки. Но Привалов не смеялся.

— Люди его насадили,— убежденно продолжал он,— наши простые люди его подняли. Те самые неизвестные землекопы и садовники, которые перекапывали на аршин в глубину целинный слежавшийся грунт и бросали в него первые желуди... Те, которые из поколения в поколение поливали этот лес водой, защищали от суховеев и черных бурь, прикрывая молодую поросль щитами, камышовыми матами, а больше всего — собственной грудью... В фамильных архивах Фальцфейнов упоминания о них нет, там не записывают тех, кого посылает сюда Каховка... Но все, что вы видите перед собой, берет начало от них и ныне живет благодаря им, таким, как вот ее отец,— прижал механик к себе Светлану,— благодаря таким же простым батракам-сезонникам, как вы сами...

— А принадлежит почему-то Софье,— тяжело вздохнул бородатый землекоп, выпустив целую тучу дыма.— За что же?

Механик задумчиво усмехнулся.

— Досадное недоразумение случилось на свете... Столько людей трудятся и все для одной глотки.

— А глотка, как прорва!

Раскатистый хохот раздался вокруг костра.

В этот момент из темноты к механику подошел черный, блестящий от угля и мазута юноша лет семнадцати — кочегар с водокачки.

— Павел Кузьмич, а я за вами...

— Что-нибудь случилось?

— Перебои какие-то в генераторе...

— Иду.— Привалов легко поднялся.— И тебе, Светлана, пора домой... А вы, герои, проводите барышню,— приветливо улыбнулся механик Даньку и Валерику и пошел с кочегаром к водокачке.

— В самом деле что-нибудь с генератором? — вполголоса спросил он юношу, когда никого уже поблизости не было.

— Генератор в порядке... Бронников ждет.

— Каким это его ветром... — обеспокоенно промолвил механик, видимо не ждавший сегодня гостя из степи.

Оставив кочегара наверху, Привалов быстро спустился в подземелье водокачки. На влажном деревянном настиле около скрученного из пакли факела сидели двое — Бронников и пожилой, покрытый пылью машинист из Джембека, Кучеренко. Бронников, наклонившись к свету, негромко читал газету.

— «Правду» уже откопали,— сказал Привалов, пожимая руки товарищам.— Там есть интересная статья в отделе «Из крестьянской жизни». Без промаха бьет по меньшевикам... Ну, выкладывайте, с чем прибыли?

— Сегодня опять урезаны водные пайки,— складывая газету, сообщил Бронников.— Люди волнуются...

— У вас тоже? — обратился Привалов к Кучеренко.

— Не забыли и нас. Всюду урезали на целую кварту. Гнили какой-то вонючей привезли... С каждым днем все больше больных...

— Они нарочно создают такие условия,— мрачно пояснил Бронников.— Как только сезонная горячка прошла, часть рабочих рук освободилась, так и начинают... Чтоб разбежалась половина, не отбыв срока, оставляя заработанное конторе...

— Эти штучки мы знаем,— задумавшись, сказал механик.— Волнуется народ, говорите?

— Водовозов бьют...

— Водовозы тут ни при чем... Наша задача, товарищи, направить гнев народа в правильное русло.

— Мало нас,— покачал головой Кучеренко, глядя сквозь щели настила в глубину колодца.

— Пусть мало нас тут, пусть мы загнаны в подземелье, но мы — ленинцы! Мы сильны своими связями с сезонным людом. Нам есть на кого опереться...

— Забастовка,— поднялся Бронников.— Надо готовить общую забастовку степняков. Пора дать бой...

— Возможно, что и забастовку, — рассудительно сказал Привалов.— Я тоже считаю, что это движение за воду должны возглавить мы.

...Спала Аскания. Только, как неутомимое могучее сердце ее, стучала и стучала в темноте водокачка.

XXXIX

Навытяжку стоит Вольдемар перед матерью в ее кабинете.

— В последнее время, Вольдемар, ты слишком много себе позволяешь,— едко говорит Софья Карловна.— Ведешь себя так, будто я уже лежу в нашем фамильном склепе, а между тем я еще жива, не так ли? И если это доставляет кое-кому неприятности...

— Маман...

— ...то все-таки с этим надо считаться. Я не позволю, чтобы мной пренебрегали, ты слышишь? — повысила голос Софья Карловна.— До сих пор я смотрела сквозь пальцы на твои сомнительные развлечения, на твой вульгарный роман с этой самоуверенной горничной... Мне казалось, что ты сам достаточно уважаешь правила приличия и что репутация рода для тебя кое-что значит... К сожалению, я ошиблась. Во всей этой истории ты ведешь себя, как легкомысленный гимназист! Дошло до того, что сегодня ты берешь ее в свой автомобиль и мчишь куда-то к морю... Негодница, при встрече она уже не считает нужным поклониться мне!.. Куда это может завести? О чем ты думаешь в конце концов? Вся Таврия над тобой смеется!..

— Как раз сегодня я собирался поговорить с вами, маман...

— О чем?

— Я намерен просить вашего... благословения.

— Вольдемар, ты сошел с ума!

— Я считаю, маман, что она могла бы мне быть... прекрасной женой.

— Ха-ха, это вполне в твоем либеральном духе! Осчастливить мать невесткой, выхваченной из каховского балагана! Интересно, какое воспитание получила

она там, в своей благородной Каховке? И какое приданое принесет она оттуда в наш дом? Высокую грудь и батрацкую суму — это много, но этого, я считаю, недостаточно!

— Вы еще не знаете ее, маман...

— Не имела чести.

— Это одаренная натура... Дать ей образование и воспитание ничего не будет стоить... Кроме того, я позволю себе обратить ваше внимание еще на одно очень существенное обстоятельство: кровь. Свежая, здоровая... А вы сами как-то говорили, маман, что кровь нашего рода требует улучшения...

— Слишком дорогой способ ты выбираешь для этого!

— А Густав? Ведь причины его дефективности...

— Перестань! — выкрикнула Софья Карловна, посинев от возмущения. — Разреши мне самой судить об этих причинах... Сейчас я вообще не уверена, кто из вас больше дефективен — Густав или ты!.. Кровь! Блажь тебе в голову ударила, а не кровь! Простая девка окрутила его, как мальчишку, диктует ему, что хочет! Позор!

— Маман, но ведь вы не можете игнорировать и мои чувства...

— Его чувства, ха!.. А мои тебя не интересуют? Ты полагаешь, что со мной уже можно и не считаться? Напрасно! Я еще завещания не писала, и банки пока что мою подпись уважают больше, чем твою, советую тебе об этом не забывать.

— Вы угрожаете, маман...

— Я не остановлюсь и перед тем, чтобы осуществить свои угрозы, только доведи меня до этого... Если уж не уважаешь меня, то уважай хоть то, что мне принадлежит.

— Поверьте, маман, я сам хочу как лучше... То, что дорого вам, для меня также не безразлично: и слава Фальцфейнов и их драгоценное наследство...

— То-то ты так заботишься о нем... Все готов положить своей вертихвостке к ногам.

— Но как же мне быть, маман? Вы не представляете себе, что для меня значит Аннет! Я не могу без нее!

— Мы выдадим ее замуж за негра.

— Маман! Как вы жестоки сегодня!

— Я просто опытней тебя, дорогой Вольдемар.

— Аннет... за негра... Да его же и не обвенчают!

— Об этом ты не беспокойся: он еще в прошлом году принял православие.

— Но ведь я же...

— Что ты? Свадьба в конце концов может быть... фиктивной.

Вольдемар удивленно уставился на мать:

— Фиктивной? Я вас не совсем понимаю, маман...

— Иди подумай... Что касается меня, то я убеждена, что это самый верный и самый дешевый способ завладеть ею.

...О совете матери устроить фиктивную свадьбу вскоре стало известно и приятелям Вольдемара. В компании это вызвало живой интерес, пришлось всем по вкусу.

— Мудро! Остроумно! — выкрикивал щедрый на лесть Родзянко.

— Яшке даст отступного, ей назначит королевское приданое,— говорил татарин,— и она сама к нему в первую же ночь прибежит...

— Наблюдение надо за ними установить,— советовал офицер.— Потому что между ними в самом деле роман наклевывается: могут далеко зайти.

Один лишь Артур, не отступая от своего пари, упрямо твердил и сейчас, что негр побоится взять в жены белую девушку.

— Но представьте себе, что их свадьба, задуманная как фиктивная, вдруг оказалась бы... совсем не фиктивной, а настоящей!..

— Ха-ха! Вот был бы сюрпризец!

— Для всех нас это было бы пощечиной! Такой пощечиной, господа, которая прозвенела бы на всю Таврию!..

На следующий день по имению пошла гулять новость, распущенная господской челядью: не женится паныч на горничной Ганне. Будто был у него с матерью бурный разговор, во время которого Софья Карловна пригрозила сынку тем, что еще при жизни спустит свои имения монастырям на колокола, если он не выполнит ее волю... Итак, не молодой Фальцфейн, а Яшка-повар станет теперь мужем Ганны... Дают якобы господа молодым богатейшее приданое и все расходы по свадьбе берут на себя. За что бы такая награда? Пусть бы уж за Яшкину долгую службу, а то и за Ганнину — короткую!.. Забаламутилось в завистях асканийское горячее болото, пошло валить на Ганну всякие враки...

Известие об измене панычa первой принесла Ганне Любаша. Влетела запыхавшаяся, возбужденная:

— Отрекся! Добилась старуха своего!

Ганна стояла у зеркала, расчесывая свои пышные волосы. Она вздрогнула, точно под плетью, но не обернулась.

— Чуяло мое сердце...— тяжело прошелестело в гнетущей тишине.

От двери Любаше было видно, как побледнела Ганна, глядя из зеркала, словно из воды.

XL

Свадьбу готовили щедрую, шикарную. Сам паныч распорядился привезти из Херсона духовой оркестр и опытных кулинаров. Резали баранов. Сердюки, которые поначалу, услыхав об отречении Вольдемара от Ганны, заметно упали духом, сейчас снова приободрились. Пусть не их выдают замуж, пусть не им пойдет приданое, стоящее хутора, но и их паныч не обходит своей лаской, держит все время поблизости, чтоб, как только гикнет, услыхали...

В воскресенье асканийская церковка трещала от множества народу. Даньку в этот день кадило разводить, к сожалению, не довелось, вместо него взяли другого хориста, но и тот не жалел поповского ладана для Ганниного венчания: все хористы были на стороне Ганны и ее симпатичного Яшки-негра и откровенно радовались, что паныч в конце концов остался в дураках. Не для панычей, а наперекор всем панычам пел в этот день Данько, стоя с ребятами на хорах, отпевая Ганнино девичество, поздравляя молодых со счастьем, что уже грядет... Небесно звучали с хоров чистые ребячьи голоса. Плакали тетки. Заслушались чарующего пения угрюмые святые в киотах. От всей души заливался Данько, вытягивал на самых высоких нотах — жилы набухали на шее и хрящиком выпирал под кожей подвижной кадык, словно неутомимая певунья-птица засела у парня в горле...

В голубых тучах мягкого, душистого дыма плыли молодые. С какой счастливой нежностью поддерживал Яшка под руку свою невесту, ведя ее под венец!.. Вел, словно самое хрупкое создание, сотканное из хрусталя

и морской кружевной пены. Шел рядом с ней, как орел, и, не в силах скрыть свою неизмеримую радость, все время улыбался молодой, улыбался попу, людям, потевшим в церкви, юным певцам, соловьями заливавшимся на хорах... Ганна в венчальной фате была ослепительна, как никогда; казалось, от нее сквозь голубые фимиамные облака на всю церковь расходится легкое, струящееся сияние. Она и здесь, под венцом, владела собой, обряд выполняла с плавным и величавым спокойствием, и на белом лице ее было выражение светлой девичьей задумчивости и уравновешенного торжественного счастья.

Никогда еще не было в Аскании такого венчания! Церковка не могла вместить и половины тех, кто желал посмотреть на этот необычный церемониал.

У церкви стояла огромная толпа. Молодых уже ждала празднично разрисованная яблоками тачанка, хотя ехать было почти некуда — в переулок: какая-нибудь сотня шагов отделяла церковь от дома приезжих, который, по распоряжению молодого Фальцфейна, целиком был отведен под свадебное гулянье. Возбужденный от счастья негр, с восковой венчальной гвоздикой на лацкане черного сюртука, почти на руках вынес из церкви свою молодую, осторожно помог ей усесться, сел рядом с ней, не переставая радостно, открыто улыбаться людям, небу, солнцу. Тронулась яблоневая тачанка. Шарахнулись в разные стороны люди, расступаясь перед сытыми конями, которые шли пританцовывая, грызли железные удила и выгибали шеи, как змеи.

До самого вечера гремели трубы херсонского оркестра, ходуном ходил дом приезжих. Гуляла исключительно панская челядь: помощники управляющего, конторщики со своими переборчивыми женами, чеченцы... Новобрачным не велено было от себя приглашать гостей в панское помещение. Лезла в окна детвора, чтоб еще и еще раз посмотреть на молодых. Видели, как не сдержалась все-таки Ганна, сидя в углу за свадебным деревцом, прослезилась. Может, оттого, что родной матери не было на ее необычной свадьбе, богатой и в то же время убогой, что чужие и неприятные люди, совсем равнодушные к молодым, гуляли-пьянствовали в зале... На стенах — оленьи рога и чучела степных орлов, а за столами — пьяные нахальные морды... Что им Ганна, что им Яша! Даже свадебных песен обжорливая панская челядь не умела

как следует петь... Сердюки разбухали от водки, хозяйничали как дома, лезли обниматься к конторщикам и чеченцам. Чужой чувствовала себя Ганна среди этого грубого ненасытного сборища. Словно в тяжком сне, слушала его пьяный беспорядочный гул, звон чарок, хруст костей на зубах, тяжелый хохот... Отбывала гулянье, как повинность. Хотя бы все это скорее кончилось, хотя бы скорее остаться с Яшей вдвоем, с глазу на глаз...

Негр, видимо, остро чувствовал настроение Ганны, ему тоже было не по себе, и время от времени, взяв руку Ганны, он нежно, дружески молча поглаживал ее под столом, будто подбадривал, будто говорил: терпи, голубка...

Паныч в этот день не показывался. Говорили, что, запершись у себя в кабинете, Вольдемар с горя пьянствует с приятелями весь день, запивает свою утраченную любовь...

Поздно вечером, когда гульба стала угасать и на свадьбе остались, как на подбор, лишь самые упорные гуляки, Яшка-негр был неожиданно вызван в покои к панычу.

Побледнела Ганна, выслушав переданный лакеем приказ: явиться Яшке к пану.

— Яша, не ходи! — прошептала она в предчувствии какой-то опасности.

— Не бойся... сердечко мое,— взволнованно погладил ее Яша по плечу, чтоб успокоить, и, пообещав скоро вернуться, пошел на вызов.

Ганна сидела некоторое время в оцепенении. Все кружилось, плыло перед глазами. Чучела хищников оживали, целились в нее со стен своими изогнутыми клювами. Ганна порывисто поднялась, бросилась было к двери за Яшкой, но дверь перед ней с хохотом загородила пьяная орава во главе с дядьями, крича, что без молодой им и свадьба не в свадьбу — танцы не пойдут и водка не будет питься. С отвращением отпрянула Ганна от этого грубого потного сборища, которое, икая, дышало на нее водочным перегаром, тянулось к ее чистому венчальному наряду пьяными растопыренными ручищами. Снова забилась, как затравленная, в угол, села рядом с Яшиным местом, которое оставалось пустым, словно было предназначено отныне кому-то другому.

Не возвращался Яша.

Стоял в это время в кабинете Вольдемара среди рассвирепевшей, отвратительно пьяной «золотой молодежи». Фальцфейн только что предложил ему немалую сумму отступного, но негр с возмущением отверг ее: он не шел ни на какое отступное.

Компания наседала на него с грубыми угрозами.

— Ты! Черномазый нахал! — гаркал по-английски Артур, подступая к негру с боку.— С тобой пошутили, а ты принял все за чистую монету — серьезно решил посягнуть на честь белой девушки!.. Слишком многого ты захотел! У нас в Канзасе таких вещей не прощают... Ты слыхал, парень, когда-нибудь о суде Линча?

— Здесь ваш суд не действует,— с достоинством отвечал негр американцу.

— Мы найдем на тебя другие суды,— брызгал пеной Вольдемар.— Сейчас же убирайся вон из моего имения! А не то посажу чеченцев на коней, прикажу гнать за межу! А межи мои, знаешь, не близко!..

— Сказано: убирайся! — пищал прыщеватый Родзянко.— Кретин! Столько дают, и он еще не берет!..

— Не торгую,— коротко ответил Яша, идя к выходу.

Очутившись во дворе, он бегом кинулся к дому приезжих, к оставленной под свадебным деревцом молодой.

Дверь была уже заперта, а на крыльце негра встретили Сердюки и чеченцы. Трижды он бросался, обезумевший, по ступеням к двери и трижды челядь, столпившись, отбрасывала его с крыльца обратно. А в зале тем временем еще сильнее ревели медные херсонские трубы, и Ганна в неистовстве билась о тяжелые дубовые двери, напрасно стараясь прорваться к своему любимому...

Вскоре возле дома появились верховые с арапниками в руках, чтобы гнать негра за межу.

Прогнали его лишь до мурашковского парка, а там негр, выскользнув из-под арапников, перемахнул через сетку в чащу — и был таков...

Еще видел его в тот вечер Валерик, когда, поздно выйдя от Мурашко из библиотеки, остановился было немного подышать воздухом на знакомой дорожке, которая вела в сад. Негр, откуда ни возьмись, с глухим стоном выскочил на дорожку, сжимая кулаки, не видя ничего перед собой. Бежал и тяжело, глухо ревел, как смертельно раненный зверь. Вихрем прошумел мимо парня, едва

не сбив его в темноте с ног, и, не оглянувшись на тревожный оклик Валерика, исчез в темной глубине сада, зашелестел где-то в чаще, как в девственных зарослях своей родной тропической Африки. Только надсадный могучий стон его был еще некоторое время слышен, потом и он заглох.

Нашли негра только утром в другом конце сада, невдалеке от панских хором...

Насмерть перепуганная, прибежала в то утро Светлана Мурашко к матери:

— Мама!.. Яшка... Наш Яшка повесился!

Лидия Александровна, побелев, схватилась рукой за перила веранды. Стояла какое-то время неподвижно, оцепенев от ужаса.

— Затравили...— наконец прошептала она.

XLI

Галопом мчались в горячей степи верховые. Спешили со всех концов — с токов, таборов, экономий — напрямик к главному поместью.

Солнце стояло в зените. Расплавленным стеклом дрожал воздух, горела земля, потрескавшаяся, раскаленная так, что, казалось, не остыть ей и ночью. Изнывали на пастбищах отары, ревели стада у колодцев в ожидании, пока набежит вместо вычерпанной новая вода.

Степь лежала словно парализованная зноем. Нигде ни арбы со снопами, ни пыли на току... Лишь одинокие всадники мчались напрямик в Асканию, пригибаясь к гривам, не жалея арапников.

Одним из первых подскакал к главной конторе Савка Гаркуша. Бросил нерасседланного коня у коновязи и бегом пустился к крыльцу, где уже стоял чем-то озабоченный паныч Вольдемар с главным управляющим, урядником-чеченцем и несколькими чинами конторской челяди. «Вишь, прохлаждаются здесь в тени, а ты там отдувайся да наживай себе смертельных врагов!»— подумал на ходу Гаркуша и, остановившись в нескольких шагах от крыльца, с ненавистью гаркнул:

— Бунт, паныч, на току! Отказываются молотить!

— И у тебя? — раздраженно спросил паныч, и Гар-

куше сразу стало легче: значит, каша заварилась не только у него в таборе.

А паныч уже цедил сквозь зубы:

— Положись на вас, доведете вы меня, бестии...

— Осмелюсь напомнить, паныч... Я не раз просил приставить ко мне в табор чеченцев для порядка...

— Молчи, дурень... Позволь мне знать, куда кого ставить... Что они требуют... те, твои?

— Воды!

— Помешались все на воде,— пожал плечами паныч, обращаясь к управляющему.

— Из-за воды все и началось,— продолжал Гаркуша.— Чтоб пайки водяные отменили, чтоб свежую возили на ток, с артезиана...

— Ха! А пива мюнхенского не заказывают еще?.. Распустились до последней степени!

Тем временем во двор, роняя мыло в пыль, влетали верхами, кто в седле, а кто и без седла, мордастые, загорелые приказчики и подгоняльщики с других токов. Растерянные, встревоженные, виновато подходили к крыльцу, выкладывали панычу лихие вести. Всюду творилось черт знает что!

— Взбаламутились, чуть бочки не побили...

— А у меня из паровика воду выцедили, делить стали...

— А мои просто легли и лежат: «Сам молоти! Мы, говорят, бастуем... Пока не удовлетворите, не станем на работу — и баста!..»

Паныч шагал по крыльцу, то снимая, то снова надевая пенсне. Дело принимало плохой оборот, хуже, чем он представлял себе поначалу. Пахло тут не случайными беспорядками, за всем этим чувствовалась чья-то единая, твердая, направляющая рука. Все тока прекратили работу, все в одну точку бьют... Забастовка? Общая забастовка сезонников? После тысяча девятьсот пятого года такого еще не было в фальцфейновских имениях... А сушь, а тысячи копен недомолоченного хлеба стоят! Как же быть? Податься к губернатору? Вызвать казаков? Но это тоже не дешево обойдется... Газеты поднимут шум... Придется не только овсом и смушками платить, а и своим либеральным реноме расплачиваться.

Было над чем поломать голову... А тут еще, услыхав про водяной бунт, явилась к конторе, под руку с игу-

меньей, Софья Карловна, стала допытываться, не идут ли забастовщики на Асканию.

— Никуда они не идут,— нервно ответил матери Вольдемар.— До этого еще далеко.

Барыня под своим кокетливым зонтиком облегченно вздохнула.

— У меня сейчас чаплинские сидят,— поджав губу, начала она рассказывать сыну, но Вольдемар вдруг взвился как ошпаренный.

— Их еще тут не хватало! Чего им надо, разбойникам?

— Погоди, Вольдемар, выслушай меня сначала. Это совсем не те, кого ты имеешь в виду. Приехал чаплинский священник с церковным старостой, и, по-моему, они хорошую вещь предлагают... У них там тоже не спокойно, голь становится все нахальнее, грозит пойти на наши колодцы...

— Что они предлагают? — нетерпеливо спросил паныч, чувствуя себя сегодня вправе разговаривать с матерью независимым, почти грубым тоном.

— У них возникла идея,— закатила глаза Софья Карловна,— устроить совместный крестный ход по полям с иконой касперовской божьей матери [1]. В частности, они просят, чтобы наш хор мальчиков также принял в нем участие... Ты как считаешь?

— Детская молитва,— промолвила игуменья, неприязненно глянув на еретика-паныча,— доходит до бога быстрее.

— Напрямик то есть? — заметил какой-то приказчик.— Нам этого и надо, у нас тоже все кричит — дождя... По две пары волов запрягаем в плуг, глыбы такие выламливают, что молотом не разобьешь...

— Я не возражаю,— сказал матери Вольдемар, сдерживая раздражение.— Идите, устраивайте...

— А об этом... о бунте в степи, ты, надеюсь, дал уже знать кому следует?

— Маман, прошу вас не вмешиваться в эти дела,— раздраженно бросил паныч.— Идите, ради бога, мы сами тут как-нибудь разберемся...

Зонтик обиженно подпрыгнул в воздухе и нетороп-

[1] Название чудотворной иконы происходит от села Касперовки, в котором она хранилась. В засушливые годы икону брали напрокат все южные села. *(Примечание автора.)*

ливо поплыл между расступившимися перед ним приказчиками.

Появление каждого нового гонца из степи действовало на panыча все болезненней. Ни один ничем не порадовал, привозили только неприятности, одну хуже другой. Подгоняльщику Грищенко, который последним приплюхал без седла с далекого табора Кобчик, панич не дал даже рта раскрыть.

— Каналья, ты еще смеешься? — ошарашил он бедиягу (хотя тот и не думал смеяться).— Тебе весело? Вычесть из его жалованья за бунт, за весь простой молотилки на Кобчике...

И тут же накинулся на других:

— А вы куда раньше смотрели? За что я вас кормлю, за что вам деньги плачу?

Переминались с ноги на ногу, низывали на солнце холуи. И в степи ветром жжет, и тут, в Аскании, кирпич пышет жаром... Всюду подхалиму жарко. Пот градом катился с каждого. Более храбрые пытались обороняться от наскоков панича.

— Кто же знал, что такое случится... Не первый же день такую пьют... Погудят, бывало, погудят и утихомирятся...

— Может, оно и сейчас ничего б не случилось, так сигнал же был дан...

— Какой сигнал? — сразу насторожился урядник в черкеске.

— Свистками они с тока на ток пересвистывались, это и довело... Мы думали, что машинисты в шутку перекликаются, а они, оказывается, между собой разговор ведут на свистках, знаки подают один другому: бастуй, мол, бросай работу...

— Это еще что такое? — повернулся Вольдемар к управляющему.— Сигнализация между токами? Кто ввел? Кто позволил?

— Впервые слышу,— засуетился Густав Августович.— Для нас это сюрприз...

— Сюрприз! Для вас все сюрприз! А они, может, с черноморскими кораблями уже пересвистываются! Кто первый услыхал, ну?

Замялись приказчики.

— Как будто с Гаркушиного тока началось, — брякнул подгоняльщик из хутора Сухого.

— Не слушайте его, паныч! — крикнул Гаркуша, наливаясь кровью.— По злобе он на меня!

— Да чего ж ты, Савка, отпираешься,— загудели другие приказчики.— С твоего тока ведь началось... А им только подай: всю Таврию обсвистят...

— А-а, так это ты?! — перегнулся через перила Вольдемар к Гаркуше.— Зачинщиков укрываешь! Ну, я же тебе... Ну, ты ж у меня... Марш на ток, негодяй! Сам разводи теперь паровик, с объездчиками молотить будешь!

— Паныч,— снял картуз Гаркуша,— рад бы, но... я возле паровика... не мастак.

— Не мастак? Ты только до кухарки мастак? Тогда цеп бери! Цепом будешь с кухаркой всю ночь молотить!

Ни живы ни мертвы стояли приказчики. Разошелся паныч... Если уж своего любимчика не щадит, то их тоже не помилует. Гаркушу с цепом на всю ночь, а их, наверное, в каменные катки впряжет, всю ночь будет ими, как чертями, молотить...

— А вы чего торчите? — оставив Гаркушу, накинулся паныч на других.— Навертели, натворили дел, а теперь к панычу, пусть паныч расхлебывает? Что я — усмиритель? Что у меня — войско? Марш по таборам! Всех на ноги! Чтоб сейчас же тока стали работать!

Попятились от крыльца приказчики. Отступив немного, опять замялись в нерешительности. Хорошо тебе здесь кричать, пойди там покричи...

— Как же все-таки быть, паныч? Некоторых мы уломаем, а вот машинисты... Не послушают они нас...

— А время дорого... Сушь такая, что от малейшей искры все вспыхнет...

— Что там, Мазуркевич? — обратился Вольдемар через головы приказчиков к сухощавому щеголю в бриджах, который с взволнованным видом торопился прямо к крыльцу (это был первый помощник главного управляющего).

— Стала водокачка,— замогильным голосом сообщил с ходу Мазуркевич.— Прекратили работу кирпичный завод, артель землекопов...

— А им-то что? — выкрикнул на высокой визгливой ноте паныч.— На водокачке воды им не хватает?

— В знак солидарности с токовиками... Я только что из мастерских: там целый митинг Привалов собрал...

— Привалов?

— Он, кажется, тут всему голова...

— Ишь кто верховодит! — подскочил Гаркуша.— Где гнездо, а на кого валят!..

— Ладно... я ему припомню,— процедил панич и, пошептавшись с чеченцем-урядником, обратился к приказчикам: — Разъезжайтесь по таборам, нечего вам тут время тратить... Скажете... гм... обещал панич... Побаламутили, пошумели, мол, и довольно... Машинистам после обмолота — награды. Девушкам — на платки...

— А вода? Из-за нее больше всего...

— Будет и вода... Вернутся из Каховки верблюды, на верблюдах будем доставлять отсюда, с артезианов. Слыхали? Так и передайте!

Понурившись, разъезжались приказчики от конторы. Улюлюканьем провожали их неуловимые хористы, проклятиями осыпали женщины из казарм. События в степи всколыхнули все имение. Асканийские казармы не переставали клокотать в эти дни: еще не утихло возбуждение, вызванное среди рабочего люда трагической свадьбой Яшки-негра и Ганны-горничной, как уже забурунило все кругом, и стар и мал заговорил о водяной забастовке в степи, горячо сочувствуя забастовщикам.

Гаркуша выбрался за околицу в скверном настроении. На куски разорвал бы он этих неуловимых хористов, которые улюлюканьем провожали его за Асканию, указывая каждому на холуя-молотильщика, что должен будет цепом вымолачивать панские стога всю ночь...

Однако не угроз панича боялся Гаркуша, другое сейчас грызло его. Очень не хотелось ему возвращаться на ток к возмущенным сезонникам, туда, где ненавидели его смертельной ненавистью, где каждая сезонница готова была выцарапать ему глаза... Набрал земляков на свою голову!

Пусть бы терпел уже за свое кровное, а то за чье? За панское. И до каких пор будет это тянуться, до каких пор бегать ему в казачках? Когда уж поедет он в Каховку набирать сезонников не для кого-нибудь, а для себя? Или, может, все это враки? Может, попусту чешут языками в «просвитках»? Бунтарей с каждым годом становится все больше. Кричат, что нарочно он поит сезонников плохой водой, чтоб чаще болели, чтобы больше высчитывать за нерабочие дни... А разве в других табо-

рах не так? Разве на Бекире и на Камышовом лучше? Что ж это будет за приказчик, если у него за лето никто не заболеет, с кем он тогда осенью останется, когда людям выйдет срок и все разойдутся по домам? Разве тогда уже рабочие не нужны? Последнему подгоняльщику известно, что, кто летом с животом промаялся, тот на осень только и работник, потому что некуда ему отсюда податься... Надо только угадать, когда и как,— на то ты и приказчик. В самую горячую пору у хорошего приказчика найдется и свежая вода и свежая еда, никто не будет валяться с животом, а как только легче стало немного с работой,— так, смотри, и лазарет!.. Разве паныч этого не понимает? Дурачка из себя корчит, он, мол, добрый, он только милует, приказчики всему виной. А останься после покрова без людей, тебя же первого прогонит!.. Легко ему чужими руками жар загребать. Приказал ехать, всех поднимать на ноги... Попробуй их поднять панычовыми цацками-обещанками! Не тем, кажется, духом они дышат!..

Все свалилось на Гаркушу как снег на голову. Еще вчера ничего не было заметно. Перетащили в темноте паровик с Кураевого на другой степной ток, с утра начали было молотить на новом месте... А как привезли воду — тут все и поднялось!.. Девушки хотели его самого илом напоить, а Бронников в это время стал свистком прищелкивать на какой-то особый манер.

Надо же было так случиться, чтобы именно с его, с Гаркушиного, тока пошел сигнал! Кто мог подумать, что как раз его машинист у них главный сигнальщик? Пригрел змею за пазухой... Вроде и не головорез, из-за мелочей с Гаркушей никогда не грызется, а когда наступил момент — показал себя. Недаром он часто бывал на водокачке у того механика. Бронникову и его подголоскам — вот кому прежде всего надо шею свернуть! Не раскусил Гаркуша его вовремя, зато и попало ему сегодня... Что ж, не дремли, приказчик, не лови ворон!

Как побитый, трясся приказчик в седле, озираясь вокруг. Не пылят тока. Ни малейшего движения в степи. Сами себе сезонники устроили праздник!

Чабаны стоят с бурдюками у пустых колодцев, уставились зачем-то на Асканию. Что они там увидели?

Гаркуша оглянулся и похолодел: красное полотнище полыхало над асканийскими парками, на самом верху

водонапорной башни. Кто мог туда добраться? Не иначе, как те висельники-хористы!.. Направить есть кому, а им только свистни: вскарабкаются хоть на небо!..

— И вы, Мануйло, туда заглядываетесь? — укоризненно бросил Гаркуша, труся мимо колодца и узнав среди чабанов чаплинского атагаса.— Не стыдно вам на старости лет?

— Какой я старик,— браво ответил атагас.— Глаз еще далеко достает!..

— Диво нашли...

— Да так что давненько и не видели такого: после девятьсот пятого, считай, это первый раз...

— Радуйтесь!

Атагас вместо ответа приставил еще и руку козырьком ко лбу, стоя лицом к радостному стягу, пламеневшему под солнцем за сухими далями, над башней, самой высокой в степи.

XLII

На Гаркушином току в это время бушевала необычайная сходка. Сюда прибыли посланцы других таборов, чтоб сообща выработать требование бастующих к главной конторе. Это был настоящий праздник сезонного люда, который вдруг почувствовал себя хозяином положения на токах.

До сих пор батраки не выступали так единодушно. То, что они, наперекор панским подпевалам, впервые открыто и свободно собрались на свою горячую степную сходку, что они не просто жалуются или ругаются с приказчиками у бочек, а черным по белому на бумаге записали: «Свежей воды вволю и никаких водяных пайков!» — уже одно это поднимало людей в собственных глазах и придавало их борьбе новую окраску. Воинственное, радостно-грозное настроение охватило всех. Разбуженное ощущение собственной силы некоторых почти опьяняло, а то, что посланцев других таборов, обшарпанных, босых, с тыквочками воды на веревочках, матрос величал «делегатами», только усиливало новизну и торжественность момента. Не забитой, безвольной массой, а людьми, которые сами могут решать свои дела, стояли они на току, внимательно слушая оратора.

Выступал Бронников.

— Наше собрание приближается к концу,— говорил матрос, стоя на высоком ворохе зерна, по колени в пшенице.— Вас, уважаемые делегаты, уже ждут люди на токах. Идите и передайте им, что мы не одиноки, что нас поддерживают рабочие асканийской водокачки, мастерских, кирпичного завода... Итак, если мы будем действовать организованно, дисциплинированно, без анархии, мы обязательно выиграем забастовку! Здесь сегодня звучали некоторые не в меру горячие голоса, что хорошо было бы, дескать, пустить по токам красного петуха... От имени стачечного комитета я хочу предостеречь против этого: слепой бунт может только повредить нашему созидательному делу.

— Верно! — кинул из толпы Мокеич, который тоже был в числе делегатов. После Каховки борода у него еще больше отросла, лицо сделалось бронзовым.— Хлеб не виноват!

— Да. Ни хлеб, ни паровики не виноваты. Незачем машины ломать — не от них беда идет... Виновники — там! — протянул Бронников руку в направлении главного имения.— Они, кровопийцы, превратили эту степь в каторгу для тысяч и тысяч сезонников! Они не считают нас за людей, они хотят поить нас илом, который остается после скота. Но мы их проучим! Если они уже успели забыть о броненосце «Потемкин», мы им напомним. Пусть знают, что сейчас не один он с моря,— десятки таких броненосцев дымят уже и на суше, вокруг нашей Таврии. Мощные заводы Юга — вот наша опора, вот самые грозные наши броненосцы, товарищи. Стойкий, организованный заводской люд — вот на кого мы, степные пролетарии, будем равняться. Оттуда будем черпать энергию, оттуда будем перенимать великую и суровую науку борьбы!..

Страстные, проникнутые непоколебимой верой слова матроса глубоко западали в сердца сезонников. В восторге смотрела из толпы Вутанька на своего Леонида, счастливая и гордая за него — он принадлежал сейчас всем собравшимся здесь своим мужеством, своим умом и даже этими родными, раскрыленными, как чайка в полете, бровями. Порой ей казалось, что в их отношениях не произошло никакого разлада, что ревновать его к кому-нибудь нелепо, что именно теперь они становятся ближе друг другу, чем когда бы то ни было.

XLIII

С тех пор как Бронников открыто возглавил забастовку, он не раз ловил на себе удивительно ясный, новый, просветленный взгляд Вутаньки. Девушка как бы хотела вдохновить его, сказать, что она с ним в это напряженное и ответственное время. И самой Вутаньке то, что произошло между ними, казалось теперь лишь каким-то горьким, страшным недоразумением. Бронникову все тут доверяли, к нему все прислушивались, он по-новому раскрывался перед сезонниками и смело учил их своей железной правде, неужели же мог он быть с ней, с Вутанькой, нечестным? Никак не вязалось одно с другим, не укладывалось в ее сознании. И когда после сходки Леонид, переговорив напоследок с делегатами, уходившими на тока, стал вдруг искать кого-то глазами среди девушек, Вутанька сразу почувствовала, что это — ее! Нашел, посветлел:

— Вутанька!

И она с готовностью вышла из толпы девушек и смело, на глазах у всех, понесла ему навстречу свои улыбающиеся вишнево-золотистые румянцы.

Потом было самое сладостное, нежность вновь найденной руки... Заливалась, как в праздник, гармошка, расцветая мехами в руках Андрияки, танцевали девушки, дружелюбно подмигивая Вутаньке, а они — Леонид и Вутанька — сидели в стороне, словно в пушистых золотых креслах, погрузившись по грудь в свежую пшеничную солому, которая даже в тени еще пахла солнцем...

Легко, как в счастливом сне, разговаривали они. Больше, чем за все предыдущие встречи, узнала Вутанька о своем милом... И что приезжала то не любовница к нему морская, а учительница из Херсона, правдистка, может, как раз та, что стояла под саблями в Каховке... И что не на торговых ходил он посудинах, а на военном корабле и настоящее звание у него — комендор. Нетрудно теперь было догадаться, что он не просто ради заработка очутился в степи, а что его послали сюда товарищи и что даже не Бронников его фамилия, а совсем иначе...

— Открываюсь я тебе, Вутанька, самой большой правдой о себе, такой, что дают за нее каторгу, такой,

которую не сказал бы ни приятелю, ни любовнице... Такую говорим мы только самым близким, более родным, чем отец и мать, с кем навеки соединены святым нашим делом и кого называем между собой — «товарищ»... Первой тебе я открываюсь, Вутанька, и ты можешь теперь понять, кто ты для меня в жизни...

— «Товарищ»... Как хорошо! Так, выходит, не просто любимая я твоя, а... товарищ, да?

— Выходит — да.

— Любимый! Что бы ни было, что бы ни случилось, знай: никогда ты не раскаешься, что открылся мне... Отец мой тоже с товарищами дружил... За это и замучили его такие, как Гаркуша...

Распаренный Гаркуша, притрусив на ток, застал праздник в будни: гармошка, танцы...

— А те чего тут были?.. С других токов?

— Как чего? У нас праздник, в гости люди приходили!..

Дожил приказчик, в глаза смеются... Стал выкладывать хозяйские обещания — не захотели и до конца дослушать.

— Пусть он подавится своими платками...

— В дареных платках только покрытки ходят!

Напрасно и верблюдами пытался соблазнять девушек Гаркуша.

— Пусть хоть на верблюдах, хоть на чертях возит, лишь бы свежая вода была здесь!

— Пока не напьемся артезианской досыта, палец о палец не ударим...

И уже махнула какая-то в воздухе платочком:

— Играй, гармонист!

«Горлицу» заиграл гармонист. Со стуком-перестуком пошли девушки в танец.

«Ну, доберемся ж мы до вас!» — ругнулся мысленно приказчик и, послонявшись еще некоторое время по току, снова сел на коня и погнал куда-то в степь — не то в Кураевый к кухарке, не то к отцу на хутор...

До вечера гуляли сезонники на Гаркушином току.

После полуночи, когда все уже спали, неожиданно появилась в таборе Ганна Лавренко. Пришла измученная, босая, в изорванной одежде, как нищенка. Разбудила девушек, напугала их своим видом.

— Ганна, откуда ты? — кинулась к подруге горячая

со сна Вутанька.— Что с тобой, Ганна?.. Как с креста снятая!..

— Тише, девоньки, тише, ради бога,— просила Ганна, в изнеможении опускаясь на солому.— Кажется, они гнались за мной, где-то стучала в степи тачанка... А то, верно, сердце мое бнлось, стучало...

— Ганна, что ты говоришь? Кто гнался?

— Ой, подруженьки, что я перенесла! — отходя, вздохнула Ганна и склонилась Вутаньке на плечо.— Среди ночи пришли дядьки с панычом, дверь началн рвать... В окно выскочила, в кустах пересидела, а потом вот к вам. Я слыхала, что у вас тут бунт?

— Бунт, Ганна, и есть,— ответила Вутанька.

— Где ж ваш бунт, если вы... спнте?

— А что ж нам, караул кричать? — улыбнулась Вутанька.— Мы теперь без лишнего шума бунтуем. По-заводскому!

— Вот как!.. Мне даже не верится, что я уже с вами... Как у вас тут хорошо!..

— Подожди, да у тебя и руки порезаны?

— Это когда я в окно выскакивала...

— Ну, хватит уже, успокойся, ложись возле меня,— подвинувшись, уложила подругу Вутанька.— Замучили они тебя, бедняжку...

Легла, вся сжавшись, Ганна, легли н девушки.

— Дрожншь ты,— сказала погодя Вутанька.— Может, тебя чем-нибудь укрыть?

— Нет, душно мне, Вутанька, не надо... И уже не страшно мне, а дрожу... Доконали Яшу!

— Слыхали мы, Ганна... Успокойся, не бойся нх: здесь у тебя есть защита... Пусть только сунутся сюда, душепродавцы...

Тяжело дышала Ганна. Белело при звездах сквозь разодранную кофту полное, роскошное ее плечо.

— Ты еще не спишь, Вутанька?

— А что?

— Веришь, пропала б я, если б н вы от меня отвернулись... Всю силу растратила, пока воевала с ними, проклятыми. Опустошили они меня... Знаю, была б я счастливой с ним, с Яшей. А теперь? Что я? Словно черная буря прошла по моей любви, затоптала, разрушнла, искалечила все... Было на душе — как весенняя степь, а осталось пожарище черное... На Герцогском валу похо-

ронили его... как и Серафиме, белый камень горючий поставили Якову Томасовичу за верную службу!..

Задрожала Ганна, забилась в глухом рыданье. Обняла Вутанька подругу, стала утешать, пока не усunули обе.

XLIV

На следующий день стало известно, что в Аскании арестован председатель стачечного комитета механик Привалов. Но забастовка продолжалась. Ни на одном току не молотили.

Утром люди на токах были поражены великим дивом: высоко над степью плыл аэроплан. Тысячи глаз следили за ним с земли, почти никто раньше не видел такого.

Бабы крестились. Девушки махали аэроплану платками. Торжественно притихшие, стояли парни, провожая взглядами удивительную железную птицу, охваченные тревожным предчувствием новых времен, новых суровых и героических событий, участниками которых им доведется быть...

В предобеденную пору на горизонте появились караваны фальцфейновских верблюдов, идущих от главного имения к степным токам. Больше сотни верблюдов было в этот день запряжено в водовозки, навьючено бурдюками и бочками с артезианской водой.

На токах ликовали. Шумливой толпой высыпали Гаркушины сезонники на дорогу встречать необычных водовозов. Верблюды медленно приближались. Передний, выступая с бочками наперевес, горделиво нес свою маленькую голову, поглядывая на девушек недовольно и свысока, точнехонько как паныч Вольдемар.

Вутанька не выдержала, рассмеялась:

— А гляньте, узнаете, девчата, не паныч ли наш в верблюда обернулся? Не сам ли, часом, воду припер, лишь бы только молотили? Вот что значит, когда дружно против них встать — по-морскому да по-пролетарскому!..

Засвистели свистки, перекликаясь от тока к току, выговаривая словами: «во-да есть! во-да есть! во-да есть!..»

Пришла в движение сезонная Таврия, поднятая на ноги раздольным металлическим хором. Степь, как

сплошной хрусталь, и гудки, гудки, гудки перекликаются между собой радостным перекликом победителей...

Однако радость была недолгой. В тот же день нагрянули на Гаркушин ток каратели. Приехал становой пристав из Алешек со стражниками, прискакали черные чеченцы на конях, которые усмиряли степняков еще в девятьсот пятом году и так и остались с тех пор у Фальцфейнов на службе. Кто-то подумал, что этот набег устроен в связи с приездом царя, который якобы должен был прибыть из Ливадии (никто еще не знал, что царь, не заехав в Асканию, спешно проследовал в Петербург).

Остановившись в стороне, на краю тока, каратели вначале разговаривали с приказчиком, никого из сезонников не трогая. Работа не останавливалась. Гудела молотилка. Бронников спокойно возился у паровика, не обращая, казалось, на карателей ни малейшего внимания. Пристав тем временем, облокотясь на крыло тачанки, что-то записывал со слов приказчика, изредка поглядывая исподлобья на ток. Через некоторое время к нему были вызваны Бронников, Прокошка-орловец и Федор Андрияка.

— Вот они, зачинщики,— сказал Гаркуша, когда ребята подошли к приставу. Бронников презрительно посмотрел в сторону Гаркуши и промолчал.

— Вы братья? — обратился пристав к орловцу и Андрияке, которые стояли рядом, плечо к плечу, оба рослые, красные от солнца и в этот момент в самом деле чем-то очень похожие друг на друга. Оба смотрели на пристава с веселым, глумливым вызовом.

— А как же, братья и есть,— смело ответил орловец.— По крови — братья, по судьбе — спутники...

— А по чинам ровня,— добавил Андрияка.— Оба чужой хлеб молотим...

Пристав, насупившись, уставился на ребят неподвижным лягушечьим взглядом и, сделав в бумагах какую-то пометку, приступил к Бронникову:

— Это ты, значит, призывал пустить по токам красного петуха?

Машинист возразил спокойно. Андрияка и орловец тоже в один голос подтвердили, что никого он к этому не призывал, а даже наоборот...

— Лучше не отпирайтесь,— нетерпеливо крикнул сбоку Гаркуша.— Посидите в Алешках в арестном доме, там из вас все выдавят...

— Нет, это, видно, такой, что арестным домом его не испугать,— пробормотал пристав, словно раздумывая, и неожиданно гаркнул подчиненным: — Вяжите их!

Однако связать оказалось не так-то просто. Какого-то щуплого чеченца, который первым разогнался к ребятам, Андрияка так саданул ногой в живот, что тот только крякнул, отлетев кубарем далеко в сторону.

— Чего же вы стоите? — заорал пристав, предусмотрительно занося ногу в тачанку.— Берите их! Вяжите!

Опричники кинулись скопом. Вихрь поднялся возле ребят, которые сейчас дали себе волю. Орловец бил наповал. Леонид как будто без усилий, как-то по-морскому поддавал короткими ударами то одному, то другому, то головой, то своими якорями в подбородок, трещали челюсти, и снопами разлетались ожиревшие стражники и чеченцы в разные стороны. Уже и Гаркуша успел схватить в заварухе свою долю — стоял в стороне с расквашенным носом и, сморкаясь кровью, подавал оттуда советы чеченцам:

— Вы кинжалами их, кинжалами!..

Но пристав, который сидел уже в тачанке, не разрешил пускать в ход оружие — велел брать преступников голыми руками.

Отдышавшись, подобрав с земли картузы и папахи, опричники снова набрасывались на ребят, чтобы опять разлететься в разные стороны, никого не связав.

— Мы с вас сгоним жир! — весело выкрикивал орловец.— А то даром панский хлеб едите!

— Разве ж так бьют? Вот как бьют! — гремел Андрияка, сваливая противника одним ударом.

Запыхалась служба, хотя и на ребятах уже полопались рубашки, оголив медно-красные узлы напряженных мускулов.

Токовые, бросив работу, с шумом сбегались к месту побоища.

— Назад! Посторонись! — рявкнул на них пристав и приказал стражникам отгонять токовых саблями. Сверкнули на солнце сабли, отхлынула толпа... Вутанька, которая без памяти летела с вилами на какого-то че-

чеица, вдруг остановилась от резкого тревожиого окрика Леоиида.

— Вутаиька, ие иадо! — крикнул ои ей изо всех сил, поднимаясь из гущи побоища растрепанный, залнтый кровью, в изорваиной тельняшке.— Мы самн...

И драка закнпела с иовой снлой, подиялась пыль, колесом пошло все по земле. Могуче стряхнвали с себя ребята врагов, выпрямлялнсь, как богатыри, но силы были слишком иеравны, и в коице коицов иа ннх навалнлись, связалн, скручнвая за спиной рукн.

Брошенная иа пронзвол молотилка ревела пустым барабаном, все в ией тарахтело, паровнк бнл из трубы густымн искрами.

— Беда! — подскочил к прнставу Гаркуша.— Видно, гаснтель не в порядке! Гляньте, нскры вылетают сиопамн!

— А я здесь при чем? — раздражеиио пожал плечами пристав.— Я ие машннист.

— И я не мастак... Как же теперь быть? Может, вы развяжете его,— кивнул прнказчнк на Броииикова,— пусть наладит, а потом опять свяжете?

— Нет, спасибо,— усмехиулся Броинников, вытирая окровавленную щеку о плечо.— Локомобнль я оставнл в порядке, мое дело теперь стороиа. Налаживайте! А я лучше посмотрю отсюда, как вы будете его чиннть, как самн будете пускать Фальцфейиам красного петуха...

— Так что, топку заливать? — обратился Гаркуша к приставу и, не получнв ответа, кинулся к паровику.

Связанных сложили под соломой, отгоняя от нних девушек, которые бросилнсь вытнрать ребят платочками... А самим ребятам, вспотевшим, забрызганным кровью, казалось, и горя мало. Лежали, как утомлеиные богатыри, веселые, оборваиные, с путами иа узлах иабухших молодых мускулов.

— За девчат мы опасалнсь,—говорнл орловец стражиикам,— иа их оглядывались, а то черта с два вы иас связали бы!..

— Куда же вас теперь? — ие спуская с Леоиида глаз, спрашивала Вутаиька, иетерпелнвая, разгоряченная, готовая киуться к иему сквозь частокол вооружеииой стражи.

— Не зиаю, Вутаиька...— почти весело отвечал Леонид.— Думаю, что иедалеко. Навериое, в Алешкн.



— И я пойду в Алешки! — горячо воскликнула девушка, даже не представляя себе толком, где эти Алешки.

— Что ты, Вутанька!.. Нас скоро выпустят... Ничего у них не выйдет. Видишь, как гоняется пристав за людьми с протоколом, а подписывать никто не хочет.

— Нема дурных... Повывелись!

Чеченцы, обступив Гаркушу, требовали, чтоб он дал подводу для арестантов. Гаркуша отмахивался, ему



было сейчас не до этого. Стоял посреди тока весь в саже, как трубочист, ломая голову над тем, как и с кем молотить. Он действительио оказался не мастак: искры-то загасил, ио вместе с ними загасил топку.

Тем временем на дороге от Каховки поднялась туча пыли — мчалась машина Вольдемара.

Паныч приехал на ток мрачный. чем-то встревоженный Выходя из автомобиля, сделал вид, будто ие заметил Ганну, которая стояла вдалеке, опять запыленная,

с граблями в руках, пронизывая паныча полным жгучей ненависти взглядом. Приказчик, метнувшись к хозяину, стал торопливо объяснять ему причины заминки на току, но паныч, слушая его одним ухом, уже громко обращался к приставу, так, чтобы слышали все токовики.

— Развяжите их,— указал он на связанных под соломой ребят.

Пристав оторопел. Раскрыли рты и стражники, расцвеченные свежими шишками и синяками. Но усердные чечеицы, мгновенно оседлав связанных, уже молча срывали с них арканы.

— На этот раз я им прощаю,— торжественно продолжал паныч.— Пусть становятся, домолачивают быстрее, потому что скоро им быть... в солдатских шинелях. Свою вину они будут иметь возможность искупить кровью на полях сражений...

Весь ток ахнул от страшной догадки...

Война!

XLV

Снова, как во время ярмарки, Каховка была переполнена народом. Но не весенними красками полыхала в эти дни она, не карусельным малиновым звоном перезванивала — иным шумом шумела теперь, напоминая собой огромный военный лагерь... В плавнях глухо погрохатывали залпы — шли учебные стрельбы. На пристани тюками выгружали серые солдатские шинели и амуницию. По всему местечку звучали слова команд, поблескивали погонами офицеры, сортируя, муштруя новобранцев.

А по всем шляхам из степи двигались и двигались на Каховку подводы, везя свежие партии призванных в войско степняков.

Сухое ветреное утро гудело над Каховкой. Неприветливы были в эти дни степи. Утратили свое свежее весеннее очарование, потемнели, засвистали, как голая пустыня. Пыль на поблекших травах, пыль в воздухе, неподвижной завесой темнеет она на не обмытом дождями небосклоне. С каждым днем пустеют темно-коричневые завесы, поднимаются все выше в небо, словно кто-то постепенно возводит глухие стены по горизонту вокруг степей. Огромные перекати-поле, упруго подпрыгивая

на открытых равнинах, катятся и катятся откуда-то с востока на Каховку. Могучие вихри ходят столбами по всей Таврии, ввинчиваясь в небо.

Задумчиво стояли на окраине Каховки, невдалеке от тракта, Мурашко и Баклагов, провожая глазами новобранцев. Щедрыми были для батюшки-царя облупленные саманные села юга! Редко он, правда, вспоминал о всяких там своих чаплинцах, серогозцах, строгановцах и маячанах, заброшенных в безводную степь... Не слыхал, когда копали по ночам колодцы, не видел, когда зимой сгребали снег на околицах. Зато неизменно вспоминал о них при собирании податей, просыпалось в нем внимание к ним во времена лихолетья, когда надо было формировать полки, когда табунами выставляла Таврия к приему в Каховку крепких и загоревших своих сынов — чабанов и хлеборобов, солевозов и рыбаков, отрывая их от семей, от родных домов, чтоб ложились они потом где-то рядом с волгарями и сибиряками в братские могилы или возвращались домой в густых георгиевских крестах.

Рыдая, справляли проводы села. С песнями, то удальски-разгульными, то тоскливо-раздольными, тарахтели возы на Каховку.

В суровой задумчивости слушали рекрутскую тоску Мурашко и Баклагов, и мысли их были сейчас о живучей этой Каховке, что клокотала каждую весну дикими «людскими» ярмарками, что горела летом сыпучими огнями-песками, что заливалась ныне безысходно-разгульным, хватающим за душу пением будущих героев... Узлом сходились здесь, в Каховке, пути поколений. Суждено ей было стать вековым сгустком их песен и слез, тоски и веселья, самых горьких разочарований и чистых, как степные миражи, порывов.

Едут и едут... Из экономий, степных таборов, из бурых саманных сел... Кто из них вернется оттуда, с войны? И если вернется, то кем? Какую науку вынесут они с фронтов, каким языком после возвращения будут разговаривать с фальцфейнами, родзянками, ефименками?

— Все лето везли на Каховку... сено... шерсть... сливки... А теперь докатилось... эх!

Не договорил Баклагов. Но Мурашко и так было понятно, что думал его суровый и сдержанный друг. С торчащими усами и выпуклыми глазами из-под серых

бровей Баклагов выглядел сегодня каким-то особенно колючим, сердитым. Казалось, недоволен он всеми и всем: возами, груженными людьми, каховскими облупленными мазанками, песчаной острой поземкой, что вьется под ногами и понемногу заметает где-то подвижнические его лозы... Солнце стояло высоко, но дню не хватало нормального света. В насыщенном пылью воздухе уже зловеще звенела необычная, характерная для предбурья горячая сухость. Трудно было дышать.

Иван Тимофеевич, заметно поседевший в столичных скитаниях, был и сейчас снаряжен по-дорожному: с рюкзаком за плечами, с палкой в руке. Вернувшись накануне из Питера с отклоненным проектом и переночевав у Баклагова, он собрался сейчас в Асканию, надеясь, что в дороге ему попадутся попутные подводы. Пока что шли они только из степи, и ни одна — в степь.

— Буду двигать,— сказал Мурашко, отряхнувшись.

Баклагов засопел.

— Переждал бы ты у меня, Тимофеевич... Видишь, надвигается...

Ветер подымал в степи волны пыли. Солнце светило тускло, без летнего блеска, небосклон на востоке без туч потемнел, стал похожим на поля: поднятые далекими бурями пески неподвижно висели в воздушном океане, развернувшись в полнеба.

Где-то за сотни верст от Каховки в эти дни уже бушевала черная буря. Накануне в южных газетах появились тревожные телеграммы из Ростова, в которых сообщалось, что ветер несет на город тучи пыли, что вблизи Таганрога Азовское море, отхлынув от берега, скрылось из виду, оголило на много верст морское дно. Суда в порту, сбившись в беспорядке, лежат на боку. Буря, черная буря вот-вот овладеет таврийским небом.

Все это имел в виду Баклагов, советуя приятелю переждать в Каховке хотя и сам он на месте Мурашко вряд ли усидел бы тут, когда уже рукой было подать до семьи, до сада, до всего самого дорогого, что оставалось теперь у Ивана Тимофеевича и что ему, возможно, снова придется вскоре покидать (потому что уже, верно, и на него где-нибудь шьют военную шинель).

— Нет, Никифорович... Я еще успею проскочить,— ответил Мурашко, спокойно поглядывая в степь.— Там ведь ждут...

Голос его задрожал от глубоко скрытой иежиости.

— Смотри, Тимофеевич...

Баклагов проводил приятеля до тракта, и там они распрощались.

Пошел вдоль шляха Мурашко.

Тяжело дышалось. Сухой воздух все высушивал в груди, кровь стучала в висках. И только ясиый образ Светланы, то и дело наплывая с потемневшего иебосклона и как бы притягивая к себе, придавал ему силы шаг за шагом идти вперед против ветра.

Незнакомые подводы бескоиечиым потоком катились иавстречу. Ехали и ехали те, которые должны были строить его канал, поворачивать Днепр в степь.

— Серогозские, видать?

— Серогозские, дядя!.. Или грудь в крестах, или голова в кустах!..

Отчаянные, готовые иа все парни задорно встряхивали чубами, сидя в обнимку иа возах, которые, казалось, уже самим ветром катило на Каховку... Поспускали босые ноги с телег, поют... Хоть песнями щедро снаряжала Таврия своих сыиов в дорогу. Среди других песен везли новобранцы и ту — про машину, про свисточек! — сложенную неизвестной им девушкой-сезонницей в степи иа косовице. Начиналась лирической девичьей тоской, переходила в рекрутское могучее отчаяние... «Налей, мамо, стакан рому, бо я еду до приему... Гей-гей, йо-хаха, бо я еду до приему...» Жгучей болью обдавало Мурашко это залихватское «йо-ха-ха» новобранцев...

Далекая дорога лежала перед Вутанькиной песней. Угорать ей в теплушках, мерзнуть ей в окопах, быть ей в Карпатах и в пущах Полесья!..

А в полдень поднялось то, что не раз подиималось ранними веснами и в конце лета над этим обездолеиным беззащитным краем. В кромешиый ад превратилась открытая степь — заслоняя солнце, шла, проносилась с востока на запад черная буря.

Вся Таврия среди бела дня вдруг окуталась такими сумерками, что не щурясь можно было смотреть иа солнце. Заревел по селам скот, заметались в степях разбросанные ветром отары. Казалось, все будет сметено в степи этим ураганом, все он сорвет, разрушит на своем пути, с корнями вырвет из земли зеленую Асканию и погонит ее комом, словно гигантское перекати-

поле, до самого Днепра. Могуче сопротивлялся урагану асканийский лес. Кипел потемневшей листвой, пружинил жилистыми ветвями, гнулся, бился, скрипел всеми своими зелеными снастями, но держался среди открытых просторов, словно на крепком якоре.

С хоругвями встречали черную бурю степняки. Голосил асканийский хор мальчиков посреди многолюдной крестьянской процессии, которая остановилась у степного колодца с полуразрушенным срубом, с деревянным барабаном на столбе. Покачивались сухие бадьи на канатах. Не блестела внизу вода. Буря заметала колодец издалека принесенной пылью.

Запыленным, посеревшим табуном сбились вокруг сруба юные хористы, в натужном трагическом пении изнемогали Данько и Валерик. Не страх, а ненависть рождала в них эта разъяренная черная стихия, забивающая дыхание, на глазах заносящая колодец; словно воплотив в себя все беды и обиды жизни, слепо неслась она на них с дикой силой разгулявшихся пустынь. Мальчики пели, но не умоляли ее, а, как и другие, восставали против нее всем существом, стараясь пересилить высвисты развихренного мрака своими высокими и дерзкими псалмами.

Все попряталось в степи — зверь и птица. Только возы с новобранцами безостановочно тарахтели по выметенным бурей трактам на Каховку, да пробивался где-то в тучах пыли против ветра одинокий Мурашко, да звенели в многотысячной крестьянской толпе у степного колодца юные чистые альты и дисканты, посылая свои бунтарские псалмы высокому тусклому солнцу.

Мело, крутило, бушевало, окутывая сумерками весь край. Не били в тот день звонари на сполох. Но, качаясь от ветра, колокола сами уже гудели по всей почерневшей безводной Таврии.

1951—1952



Перекоп

роман

Авторизованный перевод
с украинского
И. Карабутенко и А. Островского



КНИГА ПЕРВАЯ

ДРЕДНОУТЫ НА ГОРИЗОНТЕ



I

Какого черта вы к нам явились, греки?

Произнес это кто-нибудь вслух или всадники только подумали об этом? Нет, в самом деле сказал, глядя на море, вон тот нахмуренный, с худым смуглым лицом фронтовик. По-орлиному сгорбившись, сидит на не остывшем еще от бега коне. Рука его нервно сжимает, как нагайку, ветку дикой колючей маслины, сломанную где-то на скаку.

Небольшой отряд вооруженных ревкомовцев на заляпанных грязью лошадях тесно сбился вокруг него,

своего вожака. Длинные утренние тени от лошадей, от сгорбившихся в седлах фигур неподвижно лежат на степных кураях. Влажный ветер освежает обросшие суровые лица. Все молча смотрят в сторону Хорлов, в сторону родного тополиного порта, несколько часов назад подвергшегося обстрелу и уже занятого греческим десантом.

Снова в порту звучит чужая речь, снова хозяйничают чужие люди. Кого только не перевидал он за эти годы! Видел зуавов, бенгальцев, сенегальцев, здоровенных чернокожих марокканцев, видел французскую морскую пехоту и долговязых английских офицеров, как к себе домой сбегавших здесь по трапам на берег. Теперь вот еще греки, эти несчастные прислужники Антанты... Чего их принесло сюда? Что им здесь надо, на Украине?

Самого порта отсюда не видно, маячат лишь высокие тополя над ним. Кто и когда их посадил? Еще и порта не было, а они уже шумели на этой глухой, отдаленной рыбачьей косе.

Порт молодой, один из самых молодых портов украинского юга. Незадолго до войны построили его для себя степные миллионеры, овечьи короли да «чумазые лендлорды» — хуторяне, и за короткий срок, за несколько лет, дорогу в этот порт уже знали барышники всего мира. Экспортеры, хлеботорговцы, всяческие дельцы толклись тут каждое лето. Большие и малые торговые корабли, под флагами всех стран, охотно заходили сюда.

Высокие тополя — это было первое, что могли разглядеть с моря иноземные капитаны, приближаясь через Каркинитский залив к Хорлам. Еще не видно было берега, еще не видно было портовых амбаров и рыбачьих халуп, а тополя уже поднимались стайкой на горизонте, высокие и стройные, одни в необъятном просторе между небом и морем. Казалось, что не на суше они, не на берегу, а вздымаются ввысь прямо из морской синевы.

В морские бинокли разглядывали их капитаны всего мира. Откуда эта живая тополиная готика в краю беспредельных степей, в краю полынно-седых украинских прерий? Растительность здесь жесткая, колючая и низкорослая от постоянной борьбы с ветрами. И только тополя гордо возвышаются надо всем.

Тополя, тополя... Есть что-то грустное в их задумчивых силуэтах, есть что-то девичьи-беззащитное в их тополиной стройности. Словно девчата-батрачки, гони-

мые нуждой на заработки, пришли они через жаркие степи откуда-то с севера и в задумчивости остановились на одинокой рыбачьей косе высоким дозором родного края. Весной одеваются в зелень, а осенью до белой коры раздевают их пронизывающие норды да осты... Нежные, песенные деревья, где берут они эту мощь, эту упругую силу, чтобы противостоять вечным ветрам и буранам? Лето и зиму тоскливо гудят на открытом берегу, до самых вершин обстрелянные солеными брызгами штормов.

Небо —

да море —

да клонящиеся под ветром тополя...

Вот все, что видели иноземные капитаны, приближаясь к этим берегам. Однако не столько манила их взор живая красота украинских тополей, сколько привлекало то, что открывалось перед их глазами потом, уже при входе в порт. Ряды огромных амбаров и лабазов тянулись вдоль берега, горы степного золота, горы налитой солнцем пшеницы, которую не вмещали хранилища, высились прямо под открытым небом, золотясь между тополями по всей территории порта. Три мощных моста-эстакады были переброшены с берега далеко в море, на глубину, чтоб удобнее было грузиться океанским судам.

Год за годом бесконечным потоком двигались сюда из степных экономий обозы скрипучих чумацких мажар, груженных отборным экспортным зерном и тюками тонкорунной шерсти. В задубелых постолах, в истлевших до швов сорочках мрачно брели рядом с воловьими упряжками батраки, приумножая чьи-то, за морем, богатства... Океанские суда не успевали заглатывать щедрую дань Таврии. Вряд ли где-нибудь в Индии или на Африканском материке первые завоеватели-колонизаторы имели такие баснословные барыши, какие получали их потомки здесь, на светлом таврийском берегу.

Радостная лихорадка трясла экспортные конторы. Открывались отделения банков, день и ночь грохотали на эстакадах подводы и обливались черным каторжным потом грузчики, спотыкаясь по трапам с семипудовыми ковшами или чувалами на плечах.

Поломал там смолоду хребет, потаскал до седьмого пота душными летними ночами ковши по трапам и вот

этот, что, насупившись, сидит сейчас на коне,— вожак отряда. Дмитро Килигей звать его. Из-под кустистых бровей — недобрый блеск серых глаз. Под смуглой кожей разлилась нервная бледность. В прошлом году, при гетмане, сидел он в херсонской цитадели, в камере смертников; оттуда вынес он эту бледность, с тех пор не гаснет в глазах его этот жаркий, лихорадочный блеск.

Еще молодым парнем пришел он из степной Чаплинки на работу в Хорлы да так уже потом и не разлучался с горьким грузчицким хлебом, здесь и женился на дочери портового грузчика. На фронте служил в кавалерии, получил Георгия за солдатскую доблесть, а вернувшись с румынского фронта домой, первым взялся с товарищами наводить новые порядки, создавать ревком. Верят ему товарищи, как себе: из тех он, что головы не пожалеет, только бы революция жила!

Ходили в народе слухи, что не кто другой, как он, Килигей, был причиной смерти степной миллионерши Софьи Фальцфейн. Одним своим видом будто бы отправил старую лиходейку на тот свет, когда, увешаный бомбами, явился к ней в гости с товарищами-фронтовиками в Хорлы, явился как раз в то время, когда она, собравшись бежать за границу, в окружении своих приживалок ждала благоприятной погоды.

Менялись власти. Крутыми поворотами шла жизнь. Гетман Павло Скоропадский не нашел с Килигеем общего языка: каменная стена цитадели встала между ними. Из камеры смертников Килигея освободили восставшие херсонские рабочие.

После возвращения из тюрьмы был Дмитро в Хорлах председателем ревкома, и вот теперь пришлось, бросив и ревком, и жену, и детей, оказаться в положении бездомного — с горсткой товарищей в чистом поле...

Все произошло внезапно: едва забрезжил рассвет, один за другим ахнули в порту тяжелые снаряды, посыпались стекла из окон, и не успели люди прийти в себя, как несколько темно-серых стальных акул уже неслись на порт.

Греческие миноноски!

Зачем они пришли сюда? Что им здесь надо?

Налитый ненавистью взгляд Килигея из-под лохматых бровей устремлен в сторону порта, челюсти крепко сжаты, перекошены, точно навек, гневом или болью. Не

может спокойно думать о тех, что сейчас хозяйничают там, в его родном порту. Разбойники. Гости непрошеные. Гонят их в дверь, а они лезут в окно. Только что выперли их из Херсона, а они уже сунулись в Хорлы. Налетели, подняли пальбу, разворотили снарядами ревком...

Куда же теперь?

Выпрямившись в седле, Килигей огляделся вокруг. Как необъятный артиллерийский полигон, раскинулась степь. Мартовская ростепель. Летошние кураи, просыхая на ветру и солнце, буреют, становятся похожими на клубки фронтовой колючей проволоки. Вот ветром сорвало с корня один такой клубок, и стал он уже перекати-полем, понесся, подскакивая, степью все дальше и дальше.

Товарищи ждут команды.

Килигей, дернув повод, круто повернул коня на север, на чаплинский тракт.

— За мной!

Перемешанная со снегом земля, разлетаясь, застреляла из-под копыт.

Все меньше становятся фигуры уходящих в степь всадников. Только небо над ними — высокое, свежее, предвесеннее — остается все таким же по-степному огромным.

II

На околице Чаплинки — вооруженная вилами крестьянская застава. Дорога при въезде в село перегорожена вздыбившимися баррикадой боронами, ощетинилась железными зубьями — не проскочить никакой коннице... Мужики в кудлатых чабанских шапках толпятся на обочине, укрывают брезентом деревянный воз с наведенным куда-то вверх — в сторону моря — дышлом.

— Ну что, Дмитро, похоже издали на шестидюймовку? Напугается француз?

Килигей скептически оглядывает мужицкую «шестидюймовку».

— Не так их надо пугать.

Среди дозорных заставы — его, Килигея, отец. Сухой, легкий, как джигит, несмотря на свои семьдесят лет. Глаза живые, зоркие; еще сам вдевает нитку в иголку.

Поздоровавшись с сыном, останавливает взгляд на взмыленных дрожащих лошадях.

— Чего так гнали?

— Беда, батя...— Лицо сына потемнело.

— Что за беда?

— Греки в Хорлах.

— Греки? — Старика словно крапивой кто стегнул.— А зачем пустили?

Сын молча стерпел укоризненный, едкий отцовский взгляд. Старый солдат, отец и поныне — еще с японской — сохранил унтерскую бравую осанку: весь как пружина. После смерти жены живет при младшем сыне Антоне, что недавно привез отцу в хату невесткой какую-то севастопольскую кралю, по его словам, чуть ли не адмиральскую дочку. Старик признал ее, однако сорочки сам себе стирает, не разрешая невестке ходить за собой.

— А это что у вас тут? — обращается к крестьянам Килигеев друг, бородатый матрос Артюшенко.— Боронами обложились, возы вытащили на позицию...

— Они на нас жерлами дредиоутов, а мы на них хоть этим,— кивает на поднятое дышло старший заставы, пожилой фронтовик в старой шинели с обожженными полами.

— Порешили, что лучше пропадем, а волков в кошару не пустим! — говорит Явтух Сударь, кряжистый заросший, как медведь.— Кадеты налетели было с Перекопа, хотели людей набрать, а мы их... взашей.

— Без сапог, без погон вытурили мы ихнюю комиссию из села! — ввязываются в разговор и другие.— Думаем: уж коли идти на мобилизацию, так лучше самим себя мобилизовать.

— Теперь вся наша Чаплинка,— поясняет старый Килигей сыну,— считай, мобилизована.

— Против кого?

— Против кадета, и против француза, и против грека...

— Тогда принимайте и нас.

Дядьки растаскивают бороны, освобождая дорогу лошадям.

— Карателей с минуты на минуту ждем,— кивнув в сторону Перекопа, объясняет Дмитру отец.— Возы петель из манильского каната будто бы уже готовят на нас там, чтоб вешать всех подряд.

— Ну да и мы не дремлем,— прибавляет Явтух Су-

дарь.— Разослали гонцов по селам, ударили в набат. Хотели и к вам посылать...

— Выходит, мы аккурат к авралу? — улыбнулся в седле Артюшенко.

— Поезжайте прямо к волости. Там сейчас сходка собирается,— обращаясь к сыну, посоветовал старый Килигей.— Поможете нашим.

— А то никак диктатуры себе не подберем,— прибавляет, криво улыбаясь, Сударь.— Какую ни примеряем, все не подходит. Та широка, а та жмет.

Отряд двинулся рысью к центру села. Село огромное, в несколько тысяч дворов, из одного такого можно полк сформировать. Прямо через село проходит старинный чумацкий тракт — из Крыма на Каховку. На площади, где раньше устраивались ярмарки, сейчас бурлит боевой табор. Горят костры, пахнет чабанской кашей, везде шумно, многолюдно.

Заметив прибывших хорлян, из толпы к ним уже спешит руководитель восстания Баржак, старый товарищ Килигея. «Шершнем» когда-то дразнили его на селе. Низкорослый, крепкий. Скуластое серое лицо, подбородок всегда вздернут. На голове заношенная, видно окопная, шапка.

— И вы к нашей каше? Ну, спасибо, товарищи,— говорит он, крепко пожимая Килигею руку.— Глянь, Дмитро, как на дрожжах растет повстанческое войско! Прибыли маячане, каланчацкие, теперь вы, вон еще кто-то едет...

Люди уже смотрели в степь. На горизонте возникли какие-то странные силуэты.

— Кажись, по двое в седле? — удивились женщины.

И верно, вроде как по двое. Или уж столько на свете вояк поднялось, что по двое на одного коня садятся?

— По двое на одном коне, ну и ну! Определили бабы! — захохотал стоявший рядом Мефодий Кулик, извечный пастух, всю жизнь выпасавший в фальцфейновских имениях табуны рабочих верблюдов.— Да это ж они на двугорбых едут!

— Строгановцы!

Вскоре на подводах в верблюжьих упряжках въехали на площадь строгановские повстанцы. С передней подводы соскочил коренастый мужчина в коротком кожушке без ворота; шея его, покрытая густым загаром, торчала

из кожушка по-бычьи сердито, словно он собирался кого-то боднуть. Человека этого тут все знали: Оленчук Иван Иванович — сивашский солевоз, виноградарь и, как брат его, мастер находить сладкую воду в солончаковой присивашской степи... Голова у него после фронтовой контузии свернута немного набок, жилистая шея почти неподвижна; впрочем, несмотря на контузию, мужик еще, видно, крепок, руки дубленые, сильные, чувствуется, обоймут — не легко будет вырваться. Здороваясь с Кулиной, своим однополчанином, Оленчук, шутя, так сжал его пальцы, что тот даже крякнул.

— Значит, есть еще, дядьку, силушка в руках? — смеялась молодежь.

— Коли кто рассердит, тогда вроде бы есть...— ответил Оленчук и, повернувшись к возу, принялся вытаскивать со дна его увесистый, чем-то туго набитый мешок. Вытащив, бросил его к котлам.

Парубки сразу окружили Оленчуков мешок, стали пробовать силу: а ну, кто поднимет? Один пытается, другой... Не сдюжат! Хохот разносится вокруг.

— Не поевши, за дядьков мешок не берись!

— Что же там такое?

С любопытством разглядывают.

— Соль!

— Мы думали, дядько патронов нам привез, а он — соли...

— Чем богат.

— Без соли человек тоже не проживет,— заметил Баржак, подходя с Килигеем к Оленчуковой подводе.— Вот если бы нам к этой соли да еще патронов несколько пудиков! Очень было бы кстати.

— Патроны теперь в цене,— хмуро бросил плотный усатый мужик, командир маячанских, Петро Кутя.— Слышали, Антанта с беляков по пуду пшеницы за один патрон берет.

— Ну, перед нами она и так в долгу,— взглянул на Килигея Баржак.— Много за ней числится... За те ковши, что мы таскали для нее по хорлянским трапам, а, Дмитро?

Килигей посмотрел туда, где за горизонтом скрывалось море.

— М-да, в долгу... Стребуем. С душой вытрясем.

Они двинулись к волости. Только подошли к волост-

ному крыльцу, чтоб начинать сходку, как вдруг где-то за церковью зазвенела, все ближе и ближе, песня. Остановились, поджидая.

Толпа всколыхнулась, расступилась, давая дорогу вновь прибывшим: верхом на конях въезжала на площадь асканийская батрацкая молодежь. На груди — красные ленточки, за спиной — у кого берданка, у кого винтовка, а у кого и самодельное копье на веревочке.

Впереди на мохнатой линяющей лошаденке едет худощавый, по-весеннему обветренный юноша: в картузике набекрень, в обтрепанной австрийской шинельке. На длинной шее торчит острый хрящеватый кадык. Веселый, задира на вид, он, должно, здесь и командир и запевала.

— Яресько?! — присматриваясь к хлопцу, в удивлении окликнул его из толпы чаплинский атагас Мануйло.— Вместо герлыги взял карабинку?

Хлопец широко улыбнулся в ответ:

— Он самый!

— Право слово, еле узнал! — не унимался чабан.— Кажется, вчера еще у меня в подпасках ходил...

— А теперь с герлыгой на Антанту, так, что ли? — оглядывая Яреська, вмешался в разговор Баржак.— Или, может, вы еще какую программу с собой привезли?

— Да какую же? — Яресько на миг задумался, потом снова просиял улыбкой: — Программа наша ясная: за волю и свободу на всем земном полушарии!..

III

Как жить дальше?

Какую власть провозгласить в Чаплинке?

Ради этого, собственно, и собралась сходка.

— Не надо нам никакой власти! — выскочив с герлыгой на крыльцо, закричал Мефодий Кулик, как только началась сходка. Должно быть, впервой довелось ему стоять перед народом, и выглядел он чудно́, похожий на подстреленную птицу в своей перехваченной обрывком веревки, порыжелой от дождей свитке. Острая мочальная борода его тоже порыжела за годы пастушьей жизни, вылиняла от солнца и непогоды, приняв какой-то

травянисто-полынный цвет.— До живого мяса натерли холку всякие хомуты,— он ударил себя по шее,— новых не хочу! На воле хочу век доживать! Сам себе властью буду!

— Безвластную власть давай! — весело крикнул из толпы Антон, моряк, младший брат Килигея.

«Безвластную власть?» Дмитро Килигей, стоявший на крыльце среди чаплинских вожаков, при этом выкрике как бы случайно поймал на себе выжидающий взгляд Баржака. «Слышишь, чего твоему братухе захотелось? Анархистского душка во флоте набрался».

А вокруг Антона уже раздавались новые голоса:

— Чаплинскую республику даешь!

— Как Висунская! Как Баштанская!

— Своего чаплинского президента выберем!

Один из чаплинских вожаков, пучеглазый, с рубцом во всю щеку артиллерист Житченко толкнул Килигея локтем:

— Ну и орлы... Перепелиную республику им подавай...

На площади, заглушая крикунов, которые поддерживали Антона, уже звенели женские голоса:

— Республика в Чаплинке? А тю на вас! Это чтоб сами-одни среди степи широкой?

— А какие ж деньги ходить будут?

Кулик, все еще стоявший на крыльце перед народом, взмахнул герлыгой:

— Да я вам сколько хошь денег напечатаю! Дайте только машинку.

Его подняли на смех:

— Фальшивомонетчик! В кутузку его!

— Ну, воля ваша,— обиделся Кулик, под общий хохот спускаясь с крыльца.— Мне что: прокукарекал, а там хоть не рассветай!

К крыльцу, бесцеремонно работая локтями, уже пробивался другой оратор — Серега Белоусенко, или, поуличному, Хлопешка. Здоровенный, мордастый, в смушковой шапке и в перетянутой ремнями венгерке, он, поднявшись на крыльцо, стал так, чтоб всем видны были бомбы, болтающиеся у него на боку. Ожидая, пока народ утихнет, Хлопешка небрежно отставил ногу, выпятил губу, точно вот-вот плюнет. Баржак, стоя в глубине крыльца, следил за ним настороженно и неприяз-

ненно. Что ему здесь надо, этому горлохвату? Сын чаплинского лавочника, буян и скандалист, Хлопешка почти не жил дома, пропадая по месяцу и по два, возвращаясь в Чаплинку каждый раз с новой песней. Какую-то он сегодня запоет?

— Народ села Чаплинка! — заорал Хлопешка, блуждая взглядом где-то поверх толпы.— Раздумывать некогда! Каждую минуту может ударить в набат тот, что стоит на колокольне, сторожит перекопский шлях! Говорят, целые возы готовых петель из морского каната везут на нас, чтобы перевешать всех! А как до того дойдет, вы знаете, мне первому у них петля, потому как я первый был среди тех, кто свистел на офицерскую ихнюю комиссию и гнал ее из села. Так для того ли мы восстали, чтоб молодую свою жисть погубить? Я знаю, Баржак будет вас тут склонять к Советам, уговаривать держаться до прихода красных, а где они? Где его Красная Армия?

— А мы, по-твоему, кто? — раздался голос из толпы фронтовиков, стеной стоявших перед самым крыльцом.— Мы и есть Красная Армия!

Хлопешка, будто не слыша, заорал еще громче:

— Гиблое дело ждать его Красную Армию! Пока она здесь закраснеет, в нашей степи, мы с вами, браты, семь раз посинеем.

— Что же ты предлагаешь?

— От дедов-прадедов была наша Чаплинка украинской, и власть в ней должна быть наша — украинская!

Баржак, до сих пор сдерживавший себя, рванулся из глубины крыльца, как в бой:

— Не тебе, Хлопешка, об Украине печалиться! Есть кому подумать о ней!

Хлопешка, казалось, только этого и ждал.

— Ты что мне рот затыкаешь, диктатура? — втягивая голову в плечи, свирепо обернулся он к Баржаку.— Еще ты, астраханский каторжник, про Украину трепаться будешь! — Он имел в виду прошлое Баржака, который после событий тысяча девятьсот пятого года несколько лет отбывал ссылку на соляных промыслах в Астраханской губернии.

— Про каторгу ты помолчи,— послышались в толпе возмущенные голоса.— Разве не такие, как твой папаша, кандалы на него надели?

— За папашу я не ответчик! — огрызнулся Хлопешка.— А перед революцией у меня свои заслуги...

— Довольно тянуть волынку! — зашумели фронтовики.— Выкладывай, чего ты хочешь!

— Опомнитесь, пока не поздно! Опомнитесь, ежели не желаете, чтобы Баржак затащил вас в петлю! — крикнул Хлопешка.— Выход еще есть.

Народ притих.

Хлопешка торжественно надулся и, переждав минуту, наконец брякнул то, ради чего и вылез на люди:

— Поднимем над Чаплинкой наш родной желто-блакитный флаг! Подадим знак на Днепро казакам украинской Директории, их атаману Савелию Гаркуше!

Площадь при имени своего земляка зашумела, заволновалась:

— С кем сегодня он гавкает, твой Савка?

— От кайзера уже к французам переметнулся?

— Не приняли. В алешковских плавнях вшей плодит со своими казаками!

Хлопешка налился кровью.

— Дожили: в плавни загнали Украину! Когда-то степями владела, а теперь в камыши днепровские затиснули ее всю. Только такие еще, как Савелий Гаркуша...— и не договорил: на крыльцо, словно ветром, вынесло опять Кулика.

Решительно оттолкнув плечом Хлопешку, стукнул герлыгой, завопил в каком-то буйном отчаянье:

— Люди добрые! Миряне! Товарищи! В Гаркушину тарахторию зовет нас Хлопешка... Черт его батька знает, что оно за тарахтория, только, коли подходит она Гаркуше, так нам с вами уж никак не подойдет! Что ему сладко, то для нас будет горько! Меняю свой флаг! Не хочу безвластной власти! Диктатуру на Гаркушу давай! Диктатуру!

Фронтовики, со смехом провожая Кулика с крыльца, тоже дружно загудели, заколыхались:

— Диктатуру! Диктату-у-ру!

Баржак, улучив момент, выступил вперед.

— Может, хватит нам тут всяких петлюровских недобитков слушать? — Он метнул презрительный взгляд в сторону Хлопешки, который, выставив бомбы, стоял перед самым крыльцом.— Может, послушаем тех, кого

привела к нам революцноиая солидариость н с кем плечом к плечу нам иа врага идти?

Сход, прнтихнув, почему-то обратнл взоры на Килнгея, героя-прапорщика, о котором, в связи с таинствеиной смертью Софьн Фальцфейн, еще ходили по селам всякие легеиды. Килигей не заставил себя ждать: привычиым движением кавалернста примяв на голове папаху, ступил вперед.

— Про Петлюриану Днректорию тут говорнлось,— твердым голосом начал он.— Про ту самую, что в ногах у одесской Аитаиты валялась да драила в Киеве казармы, готовя нх для аигло-французских войск. Холопка, марионетка, вот что оиа такое, ваша Днректория. Еще тут про Украину шла речь. Мы тоже за Украиину, да только ие за такую, мы за другую. Хотнм Украиину не фраицузскую, не греческую, ие английскую, ие американскую... Хотим Украиину украинскую, красиую, свою!

Одобрительиый гул прокатился по площади.

— Красиую даешь! Червоиую! — звоико доиосnлось оттуда, где стояли асканийцы во главе с Яреськом.

Килигей, выпрямнвшись, только собрался продолжать, как вдруг, будто прямо над головой у него, гулко ударил колокол. Все стнхло на миг, застыло.

Бо-оу...— тревожно, мрачно гудела над степью литая чаплннская медь. Бо-у... бо-оу...

Жутко стаиовилось иа душе. Никто еще не знал, что вещает Чаплннке этот загадочно-суровый, как зов самой судьбы, гул набата, но все вдруг почему-то обернулись в стороиу Перекопа.

От колокольни, запыхавшнсь, бежал подросток-дозориый, биноклъ болтался у иего иа шее.

— Идут! На коиях, с тачанками! В Чумакову Балку спускаются!

Каратели? Так скоро их ие ждалн. Не успело еще оргаиизоваться стихийио возиикшее войско, еще все здесь как иа ярмарке, еще н комаидира над иимн иет... Командира иадо избрать, н иемедлеиио! Вся сходка, притихиув, казалось, молча делала выбор. Баржак? Злой, как шершень, ио сколько он там в окопах пробыл? Газов наглотался, да и домой... Все взгляды — в том числе н Баржака — сами собой сошлись на ладной фнгуре Килнгея: ои! Героем, командиром с фронта пришел, протнв гетмаиа, против кайзера людей подиимал... Правда, левша

он, левой, говорят, рубит, но рубит так, как иной и правой не сумеет!

— Принимай команду, Дмитро,— негромко сказал Баржак.

Килигей окинул суровым взглядом сходку, словно взвешивая силы, словно мысленно выстраивая в единый боевой порядок всех этих чабанов и необстреляиных батрачат, вчерашних окопников, батарейцев, пластунов, гусар. Давно ли бросали фронты, загоняли штыки в землю, а теперь их снова ждет борьба. В серых шинелях, с винтовками всех систем обступили крыльцо, мрачно дымят махоркой, исподлобья посматривают на Килигея: давай, мол, веди!

По-командирски выпрямившись и сразу став как будто еще выше, он громко скомандовал:

— Сходка закрывается! Командиры отрядов — ко мне!

IV

Тишина... Тишина.

Опустела площадь. Опустели улицы. Притаилось, точно вымерло, село, только чабанские папахи да солдатские серые шапки сторожко торчат повсюду из-за глиняных оград, из-за хлевов и заготовленных на топливо куч курая.

Знал Килигей, что делает, когда предложил командирам разбаррикадировать перекопский шлях, нарочно впустить врага в село, чтобы здесь, а не в поле, дать ему бой. Сюда только замани, а здесь и стены помогут. Вместо тынов и плетней в Чаплинке везде, как и в других южных селах, тянутся от двора до двора толстые, сбитые из глины и курая, валы — загаты.

За одной из таких загат, посреди убогого Куликова подворья, стоят Олечуковы верблюды — жуют курай. Невдалеке, в узком проходе между копной курая и поветью, притаились с герлыгами в руках Олечук и Кулик. Удобную заняли позицию. Так в таврийских селах устраивают засады на волков и лисиц, которых за годы войны много развелось в одичавшей, заросшей бурьяном степи: с вечера притаятся мужики с герлыгами где-нибудь за хатой и часами ждут, пока зверь приблизится, пробираясь в кошару или курятник...

Серьезны, задумчивы оба — Оленчук и Кулик. Время от времени то один, то другой выглядывает через загату на шлях — не показались ли.

Улица пуста. Никого.

Итак, снова пришлось им стоять на посту. Вместе под Карпатами воевали, в одной служили батарее. Думалось, когда, бросив фронт, голосовали ногами за мир, до смерти уже больше не придется воевать, а вот довелось: заместо царской, видно, другая, мужицкая война начинается! И хоть не в шинелях, а в своем, домашнем оба — один в свитке, а другой в кожушке — и хотя вместо царских трехлинеек чабанские герлыги у обоих в руках, а все-таки это война. Только их война, мужицкая, народная. Там воевали, не знали, за что, а тут дело ясное — за себя, за тех вон бледных да сопливых малышей, что испуганно из окон выглядывают. Что им, чужеземцам, здесь надо? Кто их трогал? С дредноутами да сверхдредноутами пришли, в Севастополе, говорят, видимо-невидимо чернокожих высадилось. И черные, и белые, и французы, и греки — все навалились. По Геническу бьют, береговые села расстреливают из морских орудий, в Хорлах десант высадили. И нету на них ни закона, ни бога, ни совести. Лезут, никого не спрашивая, знать того не хотят, что здесь ведь тоже люди живут.

— Слышал, Иван,— вполголоса заговорил Кулик,— что греки в Херсоне при отступлении натворили? Дивчина наша чаплинская прибежала оттуда ночью, у аблаката там служила: страхи, говорит. Облавы на людей. Тысячи жителей города согнали в портовые амбары, заперли, как заложников, а потом из корабельных пушек по ним. Такого зверства не бывало еще. Видно, решили-таки всех истребить, чтобы и звания нашего не осталось.

— Всё усмиряют,— с горечью отозвался Оленчук.— У себя там, говорят, давно уже без царей живут, а как мы поднялись, так сразу усмирять.

— Они нас будто бы и поделили уже меж собою: Кавказ англичане себе берут, а мы на сто лет не то французу, не то Америке отданы.

— Ой, не рано ли затеяли они нас делить,— сказал Оленчук и задумался.

— И чем это им наша Украина так приглянулась? Как думаешь, Иван?

— Разруха, бесчинства, беспорядки, дескать, у нас тут, сами собой управлять не умеем,— неторопливо, как бы размышляя вслух, говорил Оленчук.— Помочь нам хотят. А я про себя так полагаю: какой бы ни была наша власть, пускай молодая, пускай и неумелая, неопытная, а только против чужой, против ихней, привозной, она всегда будет лучше. Свободу людям в подарок не привезешь, с десантом не высадишь. Кто бы ни пришел с оружием в наш край — Франция ли, Америка или Англия, ни одна из них никогда не станет матерью нашим детям, Мефодий, всегда она будет для них мачехой злою.

— Мачехой. это верно,— согласился Мефодий,— однако ж силища у них какая! На дредноутах, говорят, пушки, что и человек сквозь жерло пролезет!

— Степью дредноут не пройдет — здесь мы с тобой хозяева.

Между хат за огородами им видна степь. Оба молча смотрят туда. Степь открыта на все четыре стороны — на восток до самого Сиваша и тридцать верст безлюдной пустыни до Перекопа. Стелется, как море, не за что глазу зацепиться.

— Ох, нелегко, нелегко будет справиться с ними, Иван,— вздохнул Кулик.— Да еще бог при сотворении мира поскупился для нашего края, не дал нам защиты ни с моря, ни с суши. Святыми горами, высокими, как те вон Карпаты, обложил бы ее со всех сторон, нашу Украину!

— А коли уж с горами не вышло,— сказал Оленчук раздумчиво,— коли уж для нас бог пожалел каменных гор, надо, выходит, другой какой защиты искать. Если нельзя горами от них заслониться, то хотя бы...

— Грудью?

— А что же!

Оба вдруг насторожились. На другой стороне улицы, где еще минуту назад повстанцы дымили махоркой, стоя по двое, по трое у хат, внезапно прошло какое-то движение: замелькали стволы винтовок, шапки одна за другой скрылись, уже только верхушки их виднеются в засадах да торчат дула винтовок, направленные на шлях. «Идут, идут!» — послышались приглушенные тревожные голоса.

Оленчук выглянул из-за загаты. Отряд карателей медленным шагом уже двигался по опустевшей улице. Опустив поводья, всадники недоуменно озираются по сторонам, должно быть, дивясь безлюдью и той странной

тишине, какой их встречает эта бунтарская, уже третий год не перестающая бурлить Чаплинка.

Топ-топ, топ-топ... все ближе, ближе. Кокарды, кокарды, кокарды! Одно офицерье. Добрые кони под ними сторожко стригут ушами, как-то нехотя ступают вперед. Немолодой, с обвислыми щеками офицер, едущий во главе отряда, вдруг, сердито надувшись, дал шпоры коню. Все перешли на рысь. Сотни глаз зорко следят за ними из засад, а каратели еще никого не видят. Вот они уже совсем близко, слышно, как тревожно всхрапывают кони, плавно проплывает на уровне окон пулеметная тачанка.

И вдруг... словно небо раскололось над селом: гулко, отрывисто ударил большой колокол, и точно от удара этого офицер впереди, взмахнув руками, свалился с коня.

Ударило второй раз — и упал второй.

Кадеты оторопели. В первый момент, видно, никто из них не мог понять, почему падают передние. Удары колокола, видимо, заглушали одиночные выстрелы с колокольни, и потому казалось, что передние падают сами собой, от одного этого звона, раскалывавшего небо над ними. Не успели каратели опомниться, как вся улица уже загремела, затрещала выстрелами: то притаившиеся в засадах стрелки, по данному с колокольни сигналу, дружно открыли по всадникам огонь.

Грохочут выстрелы, падают убитые, испуганно встают на дыбы лошади. Кто-то кричит: «Развернуть тачанку!» — но ее уже не развернуть — все сбилось в кучу, всадники мечутся кто куда, как в западне. Одни, отстреливаясь, повернули назад, другие кинулись по дворам, пуская коней вслепую через загаты...

— Ату их, ату! — катится вдогонку скачущим, и Оленчук, насторожившись, с герлыгой наготове, сердито кричит Кулику:

— Не зевай!

V

А колокол все гудит и гудит — победно, торжественно, и медный гул его широкими волнами катится над селом, уплывает вдаль, тает в весенней степи.

По всему селу — шум, пальба, возгласы людей, по огородам скачут обезумевшие, без седоков, кони, с грохотом проваливаясь в заброшенные погреба.

Двое спешенных беляков, петляя огородами, оглядываясь, бегут куда-то с ручным пулеметом. Время от времени они на миг останавливаются, один подставляет плечо для упора, другой, припав к прицелу, бьет короткой очередью по группе преследующих их повстанцев, по чаплинским кураям и поветям. Жужжат пули, со звоном сыплются стекла из окон... Отстрелявшись, беляки подхватывают пулемет и снова бегут, не разбирая дороги.

Яресько неотступно гонится за ними. Дядьки с вилами, тоже преследовавшие пулеметчиков, уже один за другим отстали, а он все гонится. Решил во что бы то ни стало отнять у них пулемет, который так здорово бьет.

Когда пули визжат над ним, он с лету зарывается носом в землю, а когда те, отстрелявшись, бросаются бежать дальше, он тут же вскакивает и, не чуя ног, опять мчится за ними, то и дело стреляя в них на бегу из своей берданки. Бьет, бьет — и все мимо! Откуда-то из засады, из-за хлевов по ним и другие палят, кто-то кричит: «Догоняй, перенимай!»

«Догоню,— проносится мысль у Яреська.— Хоть до Перекопа гнать придется, а пулемет будет мой!»

Вот один из них уже упал — его подбил не Яресько, кто-то другой пальнул по нему, а тот, второй, подхватив пулемет, свернул в сторону и бежит дальше! Не стреляет больше, нет плеча для упора! Спотыкаясь на бегу, он оглядывается, и тогда видно его бледное, как смерть, лицо... Яресько выстрелил вдогонку еще раз, и тот наконец бросил пулемет и, освободившись от тяжести, припустил еще шибче, кинулся куда-то прямо в степь.

Подбежав к пулемету, Яресько радостно схватил его, крутнул сюда, крутнул туда — новехонький! никогда не виданный! — и, не найдя поблизости ничего пригодного для упора, распластался прямо на земле, прицелился вслед убегающему. Клац! Клац! — не стреляет! Что за черт? Снова — клац, клац, клац... А тот уже далеко. Уже кто-то верхом, выскочив из-за крайних строений, быстро настигает его...

Яресько, полежав, еще раз досадливо щелкнул, чертыхнулся и в сердцах сплюнул.

— Что, не стреляет, браток? — Где-то за спиной у него послышался насмешливый голос. Обернулся — у колодца кучка раскрасневшихся, распаленных боем повстанцев...

— А ну, дай-ка я попробую, может, у меня стрельнет? — подходя к Яреську, весело говорит младший Килигей, изрытый оспой рыжебровый моряк. Круглолицый, раздобревший на морских революционных харчах, он и сейчас еще щеголяет в бескозырке с надписью на околыше «Дерзкий», за что его повстанцы, прибывшие из дальних деревень, так уже и окрестили: «Дерзкий»... — О, не диво, что не стреляет,— взяв в руки пулемет, причмокнул моряк.— Он же без патронов! — И насмешливо покосился на Яреська зеленым глазом.— Как же это ты, браток, а?

Яресько сконфуженно покраснел.

Пулемет уже пошел по рукам.

— «Люйс» называется,— хмурясь, определил Житченко, артиллерист.— Английский. Приходилось на фронте и с такими дело иметь.— И, возвращая пулемет Яреську, посоветовал:— Береги. Он нам еще пригодится.

Вскинув пулемет на плечо, Яресько направился с товарищами к площади. Только сейчас он заметил, что бой уже кончился. Шум спадает, стрельба утихла, по огородам девчата и подростки, весело перекликаясь, гоняются за лошадьми: ловят.

Несмотря на конфуз с «люйсом», легко и радостно было у Яреська на душе. Получил боевое крещение. Пули звенели так близко, как никогда раньше, но знал, почему-то был уверен, что не убьют они его, нет, нет, нет! Пригибался, падал под их повизгивание, но страха не чувствовал, только щекотный трепет пробегал от свистящего воздуха — воздуха боя.

Победа! Взволнованно бьется сердце, и все тело дрожит от радостного напряжения, играет каждая жилочка от полноты бурлящих в нем молодых сил. Так хорошо вокруг! Ветер и солнце! И пахнет весной!

Шагая за Дерзким, Данько то и дело с затаенной гордостью косился на свой трофей. Добыл! А что без патронов — не беда: еще и патроны добудет!

На площади — радостный гомон, всюду толпится, бурлит возбужденное боем повстанческое войско.

Килигей, взбудораженный, повеселевший, осматривает с командирами захваченную пулеметную тачанку. Бойцы притащили ее сюда на себе: раненых лошадей пришлось выпрячь, сейчас промывают им раны.

Коней на площади становится все больше. Девчата и шумливая детвора ведут со всех сторон только что выловленных по огородам кадетских скакунов.

— Принимайте! — ведя подраненную лошадь на поводу, задорно кричит Килигею какая-то курносая.

За ней уже толпятся перед командиром и другие девчата, поймавшие взмыленных, загнанных, а то и раненых, со съехавшими набок седлами кавалерийских лошадей.

— Нет, так не пойдет, девчата,— скупо усмехнулся Килигей.— Вы ловили, вы и вручайте.

— А кому?

— Сами выбирайте, кому. Каждой из вас предоставляю такое право.

Девчата, видно не решаясь при всем народе воспользоваться неожиданным этим правом, застенчиво поглядывают из-под ресниц на толпу, где среди пожилых сверкают улыбками хлопцы, в их числе и Яресько, только что подошедший с Дерзким к тачанке.

— Ну, чего же вы ждете? — подзадоривают девчат командиры.— Выбирайте!

Девчата еще постояли, пересмеиваясь между собой, потом, потянув коня за повод, двинулась вперед, к хлопцам, одна, за ней вторая, третья...

— Что ж меня минуете? — весело приставал к девчатам Дерзкий.— Не глядите, что рябой и глаза зеленые, а кадета с мушки не спущу!

— Тебе, женатому, пускай твоя ловит!

Перед Яреськом, залившись горячим румянцем, остановилась... Наталка-цесарница.

— Бери,— ткнула ему в руку повод.

А Яресько, радостно вытаращив глаза, смотрел не на повод, не на коня, а на нее.

— Наталка!.. Откуда ты? Ты же, я слышал, в Херсоне...

— Отбыла свое,— волнуясь, она уже немного смелее взглянула на него своими синими-синими глазами.— От греков сюда удрала.

Данько смотрел на нее и не верил. Неужто перед ним та самая Наталка, которую он знал еще девчушкой, которую на руках выносил, сомлевшую от серного угара, из овечьих фальцфейновских сараев? И не виделись-то всего сколько, а как изменилась, расцвела, что маков цвет!

А толпа уже снова заколыхалась, с хохотом расступаясь, давая кому-то дорогу. Все головы повернулись туда: вооруженные герлыгами Оленчук и Мефодий Кулик, пробираясь сквозь гущу народа, вели к тачанке пленного кадета. Очутившись перед Килигеем, Кулик с места затараторил про какого-то капитана Дьяконова, про батарею, про их благородие, про наводку...

— Погоди, что ты мелешь? — остановил его Килигей.— Какая наводка? Что за благородие?

В разговор вмешался Оленчук.

— Да это ж они... ихнее благородие,— пронзнес он, указывая на понурого, без кровинки в лице — то ли сроду, то ли с перепугу — офицера.— Мы их с Куликом еще с фронта знаем: нашим батарейным были.

— Здесь я их, само собой, не узнал,— лихорадочно затарахтел снова Кулик,— вижу, какой-то беляк во двор влетает, ах ты ж, думаю, стервец! Не успел я прицелиться, как Оленчук уже из-за угла его герлыгою да за портупею — раз, и к себе! Так и выдернул из седла!

— Вот это здорово! — захохотали в толпе.— Герлыгою! Как овцу из отары!

Оленчук не смеялся. Рассудительно пояснил:

— Когда уже на земле были, гляжу: наш батарейный. Капитан Дьяконов.

— Аж совестно стало,— не в силах устоять на месте, частил Кулик.— Наше благородие, а мы на нем верхом сидим!

— Хоть раз да прокатился,— снова всколыхнулась от хохота толпа.— Всю жизнь он на тебе, а теперь ты на нем!

— Нежданно-негаданно верхом на благородии поездил!

Килигей приказал взять офицера под стражу.

— Туда его,— кивнул он в сторону волостной кутузки.— Пусть он там прохолонет маленько, этот... грек доморощенный.

Дьяконова увели, а Кулик все еще не мог успокоиться — размахивая герлыгой, витийствовал перед толпой.

— Подымаются ихнее благородие из-под меня, да такие удивленные — видно, не узнали, и сразу до Ивана: «Оленчук — ты?» — «Я». — «Так ты ж в Карпатах убит?» — «Нет, извиняйте, ваше благородие,— говорит

Иван, — не убит я, как видите. Жив. Только шею вот скрутило трошки, тем и отделался...»

Оленчук стоял и молча слушал рассказ Кулика, слушал даже с любопытством, словно речь шла не о нем, а о ком-то другом, постороннем.

VI

Последний раз Яресько видел Наталку года два назад, в Аскании, когда сброшен был царь и жители окрестных сел пришли громить главное имение Фальцфейнсь.

Незабываемые то были дни! Жилось и в будни, как в праздник, ощущение какой-то крылатости, простора все время не покидало Данька. Ходил, как во хмелю, упивался наконец-то добытым счастьем свободы, молодости, весны. Выйдешь в степь — твоя степь, глянешь в небо — небо и солнце твои! После митингов во все горло распевал с хлопцами «Варшавянку», и казалось, что слышат его звонкий голос и родные полтавские Криничаки, и вся Украина, и весь мир!

Митинговали с утра до вечера. Панский каретный сарай был превращен в клуб, настлана сцена, и после выступлений приезжих агитаторов — эсдеков, и эсеров, и лохматых анархистов-индивидуалистов молодежь распевала революционные песни или разыгрывала пьесы. Развлекал там по вечерам уважаемую батрацкую публику и Данько Яресько, выступая то в роли писаря Финтика из «Москаля-чародея», то, чаще, в комических женских ролях, где он, наряженный в женское платье, с успехом представлял недавнюю хозяйку имения, Софью Фальцфейн. Не щадил ее, казнил смехом, да и было за что!

Крепкие помещичьи тенета, захватив Данька мальчиком на каховском человечьем рынке, так с тех пор и не отпускали его назад в родные Кринички. Сестра осенью вернулась домой на Полтавщину, а он, передав через нее матери поклоны да убогий свой заработок, завязанный в уголок платка, остался еще на одну весну в степях. Так и пошло с тех пор: сезон за сезоном, марево за маревом.

Первые неудачи на фронте сказались и на судьбе Данька: звонкоголосый асканийский хор мальчиков был

распущен — пани Софья нашла себе другую, более отвечающую времени забаву: организовала в своем имении лазарет «для солдатиков» и сама, нацепив белую косынку с красным крестом на лбу, стала первой в Аскании сестрой милосердия.

В жизни Данька вместо камертона регента снова на первый план выступила чабанская герлыга. Как и другим разжалованным юным хористам, ему был предоставлен широкий выбор: на все четыре стороны!

Дружок его, Валерик Задонцев, увязав свои книжечки, подался поближе к школе, в Херсон, а перед Даньком снова легла дорога в степь — побрел искать счастья по отдаленным таборам и кошарам. Вскоре, по старой дружбе, взял его атагас Мануйло Кравченко к себе подпаском.

Никогда не забыть ему эту картину: закованная гололедью степь, разбросанные до самого моря кошары... А он, сгорбившись, плетется с герлыгою за своей отарой среди бескрайних пустынных просторов. День за днем бредет вот так в неизвестность, в царство неуемных вечных ветров, пронизывающих до костей.

Мертвое безлюдье присивашских равнин. Птицы, замерзающие на лету. Целодневные скитания с отарой на холоде и тоскливые вечера в кошарах, под завывание лютых степных буранов — вот из чего складывалась его жизнь.

Потом нагнали в степь австрийцев. Гнали их теми же шляхами, что и батраков с каховских ярмарок, размещали в тех же батрацких казармах. На разных языках перекликались теперь косари в сенокос, кроме близких, родных с детства песен, зазвучали теперь летними вечерами в таборах и на гумнах еще и другие, незнакомые, печальные. Австрийцы, чехи, мадьяры, карпатские гуцулы — кого там только не было! — полтавские, орловские — все они смешались в этом степном Вавилоне.

Докатилось пополнение и до мануйловского шматка — одного из пленных дали им в отару на подмогу. Молчаливый, худой — кожа да кости,— лет на пять старше Данька, был он родом откуда-то из-за Карпат, из Мадьярщины, и звали его Янош. Когда уже пообвык и кое-как научился по-нашему, скупо рассказывал летними вечерами у костра о своих далеких краях. Служил в пастухах у помещика; такое же и там у них горькое житье.

такое же безводье, такие же роскошные марева колышутся летом. «Только и разницы, что по-вашему — *пастух*, а по-нашему — *пастыр*. По-вашему — *степь*, а по-нашему — *пу́ста*».

А колодцы там, оказывается, с журавлями высокими, и хаты по селам белые, в садочках вишневых, совсем как на Даньковой Полтавщине. Хорошо было об этом беседовать.

Мечты сдружили их, а совместные скитания с отарой в безлюдной сивашской степи еще больше сблизили, сроднили меж собой. Даже одеждой поменялись: Данько отдал Яношу свою батрацкую свитку, а Янош ему — цесарскую шинель. Яношу она осточертела, напоминала про окопы, а Даньку как раз пришлась по нраву: он еще только собирался воевать.

Однажды в степи к их огоньку подошел какой-то неизвестный, одетый по-городскому. В степи, как и в море, встретив человека, не спрашивают, кто он и откуда. Обычай велит сперва накормить, приютить, а потом уж расспрашивать. Поужинав, гость до поздней ночи проговорил с чабанами об их жизни, об их доле.

— Гляжу я на вас, хлопцы,— говорил он, обращаясь к Даньку да Яношу,— и думаю, что один вам жребий на двоих достался. Этого капитал сызмалу в степной плен захватил, другого — царская грабительская война сюда под конвоем пригнала...

И, подбрасывая сухой кизяк в костер, задумчиво добавил:

— А только вызволяться из неволи, видно, придется вам вместе, хлопцы.

Исполнилось его слово. Вместе с Яношем прямо из степи пришел Яресько в революцию.

Что тогда творилось в степи! Словно весенним ветром с неба повеяло, душу освежило. С песнями, с флагами шли крестьяне ближних сел на Асканию, к ним на ходу присоединялись чабаны, австрийские пленные, батраки и батрачки из таборных казарм:

— Царя сбросили!

— Война дворцам!

— Свобода всем, всем, всем!

Дышалось легко, солнце улыбалось людям, пламенем полыхал алый флаг на башне асканийской водокачки, и словно светлее стало от него по всей Таврии.

В радостном опьянении ворвались людские толпы в Асканию, и затрещали вольеры, упали ограды, раскрылись клетки — чтоб не только у людей был праздник, звери и птицы были выпущены на волю. Как из Ноева ковчега высыпало все, что до тех пор жило взаперти, поднялись к небу редкостные птицы, помчались в степь быстроногие олени и полосатые зебры, дикие монгольские кони и африканские антилопы, могучие бизоны американских прерий и беловежские зубры. Все живое радовалось в тот день, неслось степью куда глаза глядят, ошалелым ревом возвещая о своем освобождении!

Одну только клетку не отворил восставший народ — ту самую большую, что стояла в имении под окнами панских покоев на специально насыпанном для этого степном кургане со скифской каменной бабой — на таких курганах любят в степи отдыхать орлы. Один из них, огромный, с саженным размахом крыльев степной хищник, и сейчас жил здесь.

Второй год уже томился он в этой клетке, на удивление гостям, на утеху хозяевам. Целыми днями дремал на вершине своего кургана, безучастный, равнодушный ко всему окружающему. Только и оживал, когда приходил час кормежки. Панский любимец, он ежедневно получал, в знак милости пани Софьи, живой рацион — взятую из отары молодую овцу. Сгребет, вмиг растерзает жертву железными когтями и, наглотавшись горячего мяса, сытый, отяжелевший, забрызганный кровью, сидит рядом со своей тысячелетней каменной подругой.

Всем существом ненавидел Данько этого кровопийцу. Каждый раз, когда случалось проходить мимо него, вспоминалось хлопцу, как, еще по пути в Каховку, однажды на привале прилег он, усталый, на обочине дороги и сразу задремал, а проснувшись, увидел над собою в небе вот такого хищника, который, распластав крылья, казалось, целился ему своим клювом прямо в грудь. Как страшный сон врезалась ему в память на всю жизнь эта первая его детская встреча с крылатым степным разбойником. Порой казалось Даньку, что это именно он, тот самый крылач, что хищно вился когда-то в степи над его бурлацким детством, теперь терзает свои жертвы у всех на глазах, здесь, в Аскании. Не раз, проходя мимо, Данько грозил ему кулаком, да все не мог исполнить своей угрозы.

Когда же настал день, что можно было иаконец поквитаться, хлопец ие упустил случая. Под одобрительный гул бурлящей толпы вошел с герлыгой к хищнику в его пропахшую падалью, кровью забрызганную клетку.

— А ну-ка, царь пернатых, может, и тебе с трона пора?

Толпа насторожилась, притихла. Противник, даром что отяжелел на панских харчах, был еще опасен — такой одним ударом крыла сбивает человека с ног, одним ударом своего стального клюва проламывает череп...

То был первый враг, павший от руки Яреська. Словно ярмарочного борца, приветствовала возбужденная толпа молодого чабана, когда он, веселый, довольный, победителем вышел с герлыгой из орлиных хором. Светлана Мурашко, смеясь, приколола ему тогда на грудь красную ленточку, а Наталка-цесарница... Наталка только посмотрела на него своими небесно-синими глазами, но так посмотрела, что и до сих пор он не может забыть этот взгляд.

С Наталкой у них вскорости разошлись пути: после того как остались ее вольеры без цесарок, подалась девушка в Херсон искать себе другого места, Яресько же остался в Аскании.

Не успели еще надышаться новой жизнью, как замелькали в степи рогатые кайзеровские каски — пришли немцы с гайдамаками. Первым делом похватали рабочкомовцев вместе с председателем рабочкома механиком Приваловым и, отправив в Геническ, учинили там над ними изуверскую расправу: набили арестантами старую баржу, вывезли в море и живыми пустили ко дну.

После падения гетмана был создан в Аскании новый рабочий комитет и несколько вооруженных боевых дружин для охраны степи и отдаленных таборов от кулацких налетов. Яресько сел на коня. За славный голос да за веселый нрав — больше за это, чем за какие-нибудь там подвиги,— его даже выбрали в дружине старшим.

Так во главе батрацкой боевой дружины и летал он по необозримой асканийской степи, сдерживая разгул кулацкой ненасытной жадности. Ничего не щадило кулачье: растаскивали не только постройки, даже деревянные срубы у колодцев разбирали, развозили по хуторам, а колодцы пусть рушатся, гибнут. Однажды как-то примчались в табор Кураевый, а там уже все идет вверх

дном: старый Гаркуша с агаймаискими старообрядцами за бороды схватились, готовы горло друг другу перегрызть из-за какого-то маховика... Пришлось разводить их арапником. Так и жил Яресько, месяцами не слезая с коня, охраняя со своей дружиной степь, пока не ударил в набат чаплинский колокол.

И вот теперь — после первого настоящего боя — стоит с Наталкой на людной чаплинской площади, освещенной ярким заревом заката, не отрывая глаз смотрит на девушку, радостно взволнованную встречей, и, словно зачарованный, слушает ее грудной, воркующий, как у горлинки, голос. Воркует и воркует, словно решила все ему сразу рассказать, излить душу до дна.

Так вот, как ушла она в Херсон, служила нянькой у адвоката, может, и до весны бы продержалась, но, когда случилось там несчастье — грехи людей попалили в портовых амбарах,— невмоготу стало, и в чем была прибежала в Чаплинку к тетке...

— К тому же, говорят, землю тут будут делить, не прозевать бы мне свою,— засмеялась она.

Глядел на нее Яресько и любовался. Как изменилась! Уже и косы под косынкой уложены по-городскому, и кофта — на кнопках — плотно, красиво облегает высокую грудь. За время, что не виделись, стала как будто нежнее вся, тоньше, смотрит в лицо смелей. Разрумянилась, щеки горят, а глаза все время смеются, доверчиво, счастливо.

— На кого же ты своих аблакатов бросила?

— А ну их! — Она весело махнула рукой.— Такие нудные да злющие! Они там суд над Лениным было устроили. Собрались как-то вечером все ихние прокуроры, пораскрывали портфели, понацепляли на нос очки, бумага у каждого в руках — судят... Комедия, да и только!

Солнце зашло, но все небо на западе еще горит, бросает на окна Чаплинки красные блики. Неумолчно играет гармошка, веселится на площади молодежь. Яресько с Наталкой, беседуя возле ограды, не замечают никого, чувствуют себя среди этой толчеи точно наедине.

Вдруг, откуда ни возьмись, подходит к ним Хлопешка, запросто кладет девушке руку на плечо.

— Это что за новости сезона? — Возмущенно дернув плечом, она стряхнула его руку.

— Пошли на польку,— пробасил Хлопешка, наливаясь кровью и будто не замечая Яреська.

— А может, я... не желаю? — ответила ему девушка с необычной для нее раньше смелостью.

— Не пойдешь?

— Не пойду.— И она посмотрела на Данька так, словно между ними все было уже договорено.

Хлопешка исподлобья взглянул на Яреська.

— Ты что? Уже занял здесь позицию?

— Занял.

— Ишь какой прыткий!..

— Да уж какой есть.

Хлопешка, насупившись, постоял, поразмыслил и, небрежно, языком перекинув мундштук из одного угла рта в другой, поплелся к кружку танцующих.

— Такие вот и там, в Херсоне,— сказала ему вслед девушка, точно жалуясь Даньку на херсонскую жизнь.— По улице, бывало, не пройдешь... Французы так и липнут... Греки среди бела дня с ножами гоняются...

Слушая ее, Данько вместе с ней переносился мыслью в Херсон, вместе с ней переживал трагедию этого поруганного интервентами города.

Наталка, склонившись к нему, все рассказывает о пережитом, и голос ее звучит то жалобой, то гневом. Пыткой было жить в этом городе, где разбойничал чужеземец. Вступая, образцовый порядок обещали навести, а потом такой навели, что до сих пор весь город голосит. Высадились они на берег под вечер; говорят, петлюровские лоцманы провели их с моря по путаному фарватеру Днепровского гирла. Из порта шли к городу с такими тулумбасами, что ну! Впереди английский оркестр с трубами через плечо, французские офицеры вышагивают, во все стороны бросая улыбки, а позади — черные, маленькие, как подростки, греки мрачно тащат артиллерию на ослах, и херсонская детвора шумно бежит за ними, выкрикивает на все голоса:

— Иисусова кавалерия!

— Ишаки Антанты!

Всюду, где с музыкой проходили заморские гости, на стенах появлялись свежие разноцветные прокламации, в которых херсонцев заверяли, что отныне каждая семья может жить спокойно, так как союзные войска прибыли сюда не для войны, а для мира, для поддержания зако-

ного порядка — ни для чего другого. А не успело стемнеть, как по всему городу, особенно по рабочим его слободкам, уже загрохотали в двери приклады, посыпалась ругань, начались повальные облавы. К утру тюрьмы были переполнены, а на фонарных столбах на Говардовской качались молодые рыбаки, захваченные ночью с рыбой на Днепре. В Монастырской слободке без суда, без следствия, по одному только подозрению в связях с большевистским подпольем была расстреляна группа старых матросов и рабочих.

Жизнь стала невыносимой, с наступлением темноты на улицу не выйдешь, город точно вымер, только кованые каблуки по булыжнику грохочут. Дороговизна страшная, надвигался голод, в трущобах порта и в подвалах Забалки уже пухли дети, а «спасители» тем временем под метелку выметали все запасы хлеба, хранившиеся в порту. Один только английский пароход погрузил будто бы за раз пятнадцать тысяч пудов муки.

А самое страшное началось, когда интервенты увидели, что не удержаться им тут: на кораблях у французов вспыхнули волнения, со стороны Николаева приближаются красные, в самом городе вспыхивают рабочие восстания. Тогда они стали хватать всех подряд, на улице и по квартирам, и, как заложников, толпами гнали в порт. Тысячи согнали — и стариков, и женщин, и детей,— набили людьми полные амбары, те самые амбары, из которых перед тем подчистую вымели хлеб. А в последнюю ночь, когда уже совсем невмоготу им стало и они вынуждены были перейти с берега обратно на корабли, они ударили оттуда из пушек прямо по набитым людьми амбарам.

До сих пор еще на том месте тлеют огромные кучи пепла, до сих пор еще голосят на пожарище обезумевшие от горя женщины, разыскивая кто сына, кто мужа, кто брата...

VII

Оленчук всю ночь стоял на часах у кутузки и всю ночь вполголоса вел через щель какие-то переговоры со своим благородием. О чем они там перешептывались? О чем тихонько исповедовался молодой золотопогонник своему бывшему подчиненному?

Утром Олеичук явился в штаб и без долгих объяснений заявил Кнлигею, что готов взять капнгана Дьяконова на порукн.

— Жалко стало? — прищурившнсь, подозрительно броснл Баржак.

— Ты меня этим не пугай,— спокойно возразнл Оленчук.— Почему же не пожалеть человека, еслн он того стоит. Все вы здесь фронтовнки, и я перед вами засвидетельствовать могу: были их благородне командиром совестливым, нас, солдат, зря не обижали. Кулик тоже может подтвердить.

— Так-так,— слегка побарабанил Килигей пальцами по столу.— Сам, значит, поймал, сам и выпущу?

— Неплохнм, видно, оказался кадет оратором,— насмешливо заметнл Баржак,— За одну ночь мужнка в дым разагнтнровал.

— Это еще не известно, кто кого,— буркнул Оленчук недовольно.

— О чем ты там ночью с ним шушукался? — как бы между прочим поинтересовался Килигей.

— Да обо всем понемногу. О войне, о жизни. Про семью меня расспрашивал.

— Ой, гляди, Иван, чтоб он снова из тебя денщнка не сделал! — шутя предостерег Житченко, артиллерист.

— Скорее, пожалуй, я из него человека сделаю.

— Ты нам из него хорошего молотобойца сделай! — посоветовал Кнлнгей.— Сегодня начнем лошадей ковать, молотобойцы нам как раз понадобятся.

— О, это занятне аккурат для благородня! — покручивая ус, сказал Кутя маячанский.— Пускай потрудится для революцнн, помашет молотом хоть день.

— Ну, так как? — взглянул Кнлнгей на членов штаба.— На таких условиях... отдадим Олеичуку его благородне?

— Пускай берет,— пробаснл Кутя.— Да только пасет пускай как следует, чтоб к своим не переметнулся.

— Слышишь? — Килнгей сурово посмотрел на Олеичука.

— Слышу.

Так решнлась судьба его благородня, так, прямо из кутузки, перешел он в закоптелую чаплннскую кузню, стал с молотом у наковальнн в паре с бывшнм своим батарейцем. В расстегнутом френче английского сукна,

без погон и без ремня, трудится, добросовестно ухает молотом по раскаленному железу, напряженно следя за тем, чтоб не угодить великодушному своему Оленчуку по пальцам.

Когда пришла пора полдничать, Оленчук накормил офицера из своей котомки, поделившись с ним домашними коржами, которые старуха положила ему в дорогу. Поев, офицер тут же, на дворе, закурил с дядьками, угощаясь самосадом из их радушно протянутых кисетов.

Покурив, снова стали к наковальне, снова заухали молотами вперемежку: раз — Оленчук по железу, раз — благородие, раз — Оленчук, раз — благородие...

Кулик, случайно забредя на кузню и увидев это зрелище, шумно обрадовался:

— Кует! Ей-же-ей, кует! Когда мне сказали, я и не поверил. А оно таки правда. Таки сделал Иван из нашего благородия молотобойца.

Каждый, кто приходил сюда потом, не мог без улыбки смотреть на эту необычную картину: у раскаленного горна дружно бьют молотами по наковальне, как бы разговаривая между собой языком металла, Оленчук и его благородие. А пока они гнут спину за работой, Кулик, усевшись на пороге, делится с крестьянами своими мыслями о капитане Дьяконове, нисколько не смущаясь его присутствием.

— Такого отчаянного картежника, как их благородие, не найти было на всем румынском фронте,— с гордостью рассказывает он.— Как ночь, так уже и сходятся к ним офицеры с соседних батарей, запрутся в блиндаже и режутся до утра!.. А нас, вестовых, все, бывало, за новыми картами в город гоняют. Транжиры, скажу я вам, были, прямо таких: что ночь, то новую колоду распечатывают... Но даром что все ночи картежничали, командиром были справным, наводку лучше их никто делать не умел! Как наведут — так и там!.. И с нашим братом тоже умели как-то по-людски. У других — рукоприкладство да мордобой, а у нас на батарее этого — ни-ни-ни!

Дядьки, слушая разглагольствования Кулика, поглядывали на Дьяконова все с бо́льшим уважением. Почти все окопники, годами на себе испытывавшие нелегкую власть командиров, они хорошо понимают цену Куликовой похвалы.

— А как-то их благородие,— продолжает Кулик,— нашему батарейному ковалю два серебряных рубля дали: на, говорят, Севастьянов, да выкуй мне из них шпоры к вечеру...

Явтух Сударь при упоминании о серебряных рублях хитро прищурился на Дьяконова:

— Богатые, видно, были, ваше благородие, что так серебряными рублями разбрасывались?

Офицер, опершись на молот, смахнул обшлагом пот со лба.

— Был и тогда не беден,— медленно произнес он,— но сейчас...— он взглянул на Оленчука,— сейчас богаче.

В один из ближайших дней, когда работы в кузне поубавилось, Оленчук снова явился к Килигею с неожиданной просьбой: отпусти домой, ведь там...

— Что там?

— Весна!

— А у других не весна?

— Ну, у других, может, есть кому... А я ж тебе, Дмитро, и сына привез.

— За сына спасибо.

— Надо будет, так и я... Да сейчас... Ты ж кавалерию формируешь, а я, видишь...— Он как-то по-бычьи выгнул свою контуженную шею.

— Ну ладно,— согласился Килигей.— Иди, сей.

— Только ж я и офицера своего заберу.

— А он тебе на что?

— Найду и ему работу, чтоб не скучал. На винограднике пусть поколается...

— Ой, гляди, Иван! — сурово перебил Килигей.— Не то ныне время, чтоб ихнюю белую кость жалеть!

Подумав, махнул рукой:

— Ну да забирай, черт с ним... Надо будет — позову.

Ужинал в тот день капитан Дьяконов уже в Оленчуковой хате над Сивашом. Вместе с детьми ел картошку, сваренную в кожуре, и крутой ячменный хлеб.

VIII

Рано начинается таврийская весна!

Объявляют ее жаворонки. Никто не знает, где они зимуют, где укрываются от злых буранов, но можно ду-

мать, что степи они не покидают, потому что только пригреет первое солнышко — пускай даже посреди зимы! — как они уже и зазвенели повсюду за селом, распевая свою песнь земле, и небу, и солнцу, и людям.

Первые нежные певцы весны, сегодня они уже перезваниваются над Чаплинкой. Слушают их часовые на чаплинских заставах, слушают дядьки, что дымят цигарками у кузни да поглядывают в степь: вот-вот земля позовет сеятелей в поле...

Молодой конник едет Чаплинкой. Издалека узнают его чаплинские девчата: асканийский вихрастый запевала Яресько. Едет не спеша, покачиваясь, небрежно перекинув обе ноги на одну сторону. В руке — связка запасных, только что выкованных подков, он играет ими, зачарованно оглядываясь вокруг, словно впервые здесь очутился, словно не глиняной облупленной Чаплинкой едет, а каким-то невиданным царством...

День как умытый: с солнцем, с ветерком, с первыми жаворонками.

Земля оттаивает, и талый винный дух полей, разбавленный солоноватой влажностью недалекого моря, уже ясно чувствуется в воздухе. Не узнать сегодня Чаплинки: саманные, оббитые буранами халупы нарядились уже совсем по-весеннему, стоят в хрустальных сережках тающих сосулек, с которых на землю медленно капает и капает солнце.

Как не узнать эту хрустальную, всю в солнечных каплях Чаплинку, так не узнать и Наталку сегодня: красуется у теткиной кураевой загаты в ярком платке — голова наполовину открыта. Стоит, щелкает семечки, издали улыбается, заметив Данька.

— Тпру!.. Стой!.. Кого это ты тут выглядываешь, дивчино?

Покраснев, лукаво повела бровью:

— Весну!

— Ну и как?

— Идет.

Данько, закинув голову, вглядывается в небо.

— Н-да... Голосистый какой-то поднялся...

Дивчина тоже прислушалась.

— Жаворонок!..

Вот они уже его разглядели в светлой ясной высоте. Свежая яркая синева, и он, пока еще один на все огром-

ное небо. Трепещущей, чуть заметной точкой медленно движется куда-то над Чаплинкой. Будто угадав, как радостно слушать его внизу Даньку и Наталке, залился еще задорней, еще звонче.

Тюи!.. Тюи!.. Тюи!..

Далеким перезвоном кузнечных молотов отвечает ему Чаплинка.

С жаворонка девушка снова перевела взгляд на Данька.

— Ты откуда это?

— В кузне был.— Данько помахал, позвенел в воздухе связкой подков.

— Все еще куете?

— Одному — перековать, а другому — заново подковать. Тот заказывает зимнюю ковку, а тот — летнюю, а мне, говорю,— весеннюю сделайте! — засмеялся он.

В небе над ними уже снова заливался жаворонок.

— Из всех птиц, Данько, я почему-то жаворонка больше всего люблю... А ты?

Данько загляделся в небо: любит ли он жаворонка, эту первую весеннюю, самую радостную пташку? Да если б мог, в сердце бы у себя ее укрыл, чтоб всегда она там пела!

Сквозь нежную песню жаворонка до их слуха вдруг долетел с севера, из-за горизонта, далекий орудийный гул.

Оба удивленно переглянулись.

— Наши, видно, наступают,— догадался Яресько.— Красная Армия идет! Распинался Хлопешка, что не удержаться нам до ее прихода — брешет, удержимся!

— А сам-то Хлопешка — ты слышал? — исчез, говорят, ночью... В алешковские плавни, верно, к Гаркуше подался.

— Туда ему и дорога... Только недолго им там казаковать. Вот как разольется Днепр, их тогда, как крыс, из плавней повыгоняет!

Черноземной брагой пахнут поля. Звенит небо. Скачет улицей знакомый чабанок из маячанских.

— Айда к волости! — кричит он Яреську.— Сбор играют!

— Что случилось?

— Из Херсона нарочный прибыл!

Яресько, повернув коня, еще на какой-то миг задержался взглядом на девушке.

Стала сразу серьезна, а глаза еще искрятся смехом, и губы невольно трепещут, точно сами хотят поцеловать.

IX

Когда Яресько примчался на площадь, повстанческое войско было уже в сборе.

С крыльца волости, где стояли члены штаба, как раз говорил какой-то незнакомец, с виду рабочий, в кепке, в порыжелой, потертой кожанке. Лицо землистое, измученное, только глаза обжигают толпу болезненным огнем да голос звонким эхом разносится вокруг.

— Не одни вы, вся Украина сейчас поднимается на крыльях восстания, народной войной идет на интервентов,— гремит далеко над площадью его голос.— Из Херсона мы их выгнали, теперь они в Хорлы перебрались. А почему? Чем привлек их этот заброшенный степной порт? База — вот чем. Любой ценой хотят зацепиться за наш берег! Для того и нужны им Хорлы, чтоб, получив передышку, развернуть оттуда вторую оккупацию Причерноморья, еще раз попробовать углубиться на север, в просторы наших степей!

— Привязались же! — возмущенно гудит толпа.— Ты их в дверь, а они в окно!

— Осиные гнезда! Пора уже выкурить их с наших берегов!

— Выкуришь, когда четырнадцать держав за ними!

— В открытой степи от них мокрое место бы осталось! А они из-под крыла своих дредноутов не вылазят!

— Есть сведения,— продолжал херсонский посланец,— что греки сейчас берут хлеб в Хорлах, дочиста решили все вымести, как сделали уже это у нас, в Херсонском порту. Товарищи повстанцы! Херсонский Совет рабочих депутатов обращается к вам с братским революционным призывом: не дайте интервентам вывезти хлеб из Хорлов! Это ваш хлеб! Лучше бедноте раздать его, чем позволить вывезти интервентам.

— Флот бы нам! — крикнул из толпы какой-то матрос.— Мы б тогда с ними померились!

— Да где же быть флоту в нашей Чаплинке? — завопил Мефодий Кулик.— Спокон века сухопутная она!

— Флота и у нас нет,— развел руками херсонский товарищ.— Все, какие были, суда те же грабители увели, погнали за море с народным добром... Что же касается нашей красной артиллерии, то она тоже прикована к суше. Провожала их сколько могла, с днепровского лимана выгнала, ну а дальше...

— А дальше,— громко подхватил Килигей, обращаясь к запруженной повстанцами площади,— это уже наша с вами забота. Херсонцы их в хвост, а мы — в гриву! Они их выперли из порта и из лимана, а наше дело — выкурить из Хорлов!

— Конницей на дредноуты? — весело, недоверчиво спросил из толпы брат Килигея.

— Революция не спрашивает, чем и на кого! — желчно выкрикнул из кучки штабистов Баржак.— Ждать, что ли, будем, пока здесь под окнами ослы Антанты заревут?

— Гнать их в три шеи! — заволновались хлопцы.

— На добром коне грека и в море перемешь!

— Даешь Хорлы!

— Дае-о-ошь!

X

И вот уже мчатся они на рассвете по степному приволью, мчатся атаковать море, голыми саблями рубить бронированные военные корабли.

Было безумием идти в такой рейд, было сумасбродством с такими силами выступать на Хорлы — отрядом легкой конницы при двух пулеметных тачанках атаковать военные корабли интервентов. Конницей на корабли? Не укладывалось это ни в какие уставы, противоречило всем тактикам и стратегиям, и если вчерашний прапорщик Килигей пошел на такое вопиющее нарушение военной науки, то только потому, что твердо верил в счастливую революционную звезду и в своих хлопцев.

Вечером, перед тем как выступить в поход, Килигей построил на площади все повстанческое войско.

— Перед нами не простой рейд,— обратился он

к бойцам.— На Антанту идем, иа гибель, может, идем, товарищи, потому надо, чтобы дисциплина в наших рядах была железиая. Железная, понятио? Я никого не принуждаю, все мы добровольцы, но если кто встал уже под иаше зиамя, так ие фордыбачь, выполняй свой революционный долг до конца. Пока еще ие вышли — предупреждаю всех, что у меня, если кто отстаиет в бою хоть на шаг, тому — смерть. За случай невыстрела — позор и изгнаиие из отряда. Мародеров я ликвидирую на месте. Если кто к такой дисциплиие ие готовый или, может, чует в душе страх перед дредиоутами, такой лучше пускай сразу скажет, чтоб потом паиики нам ие разводил.

Ои помолчал, послушал.

— Ну, коли кто есть — говори. Освобожу. Все равно коней иа всех ие хватит.

Воцарилась тишина.

— А иичего за это ие будет? — послышалось вдруг из рядов.

— Ничего!

Качиулась шереига, и по всей форме — три шага вперед — выступил подпоясаниый путом, с герлыгой вместо виитовки... Мефодий Кулик!

— Люди добрые! Пытал тут Дмитро, кто чует страх на душе? Я чую страх на душе. Подумать — иу куда я с этой вот герлыгою да против их дредиоутов? У иих же там орудия такие, что и человек в стволище пролезет! Как ахиет по тебе, как шарахиет...

— Довольио, — оборвал его Килигей. — Разахался тут. Оставайся, высиживай дома цыплят в решете... Больше охотииков нету?

— Не-ету! Не-ету! — весело, стоголосо раскатилось в ответ!

Килигей подал команду на перекличку.

— Первый! Второй! Третий! — громко, отрывисто стали выкрикивать с правого фланга фронтовики.

Килигей стоял перед строем и с затаенной радостью слушал расчет: десятый... двадцатый... сотый... двухсотый! Это уже сила! Пускай еще плохо вооружены, пускай даже по одиой иа каждого не хватает тяжелых, окованиых белой херсоиской жестью граиат, которых повстаицы назвали уже «гусаками», пускай! Зато есть руки, которые сами рвутся в бой, есть сердца, пылающие

революционным огнем, жгучей жаждой очистить родную землю от интервентов!

Светает, светает над степью...

Грозно топочет по забытому тракту конница, покачиваются в предрассветной мгле серые солдатские шапки да косматые чабанские папахи — по три в ряд.

С детства знаком этот путь Килигею. Когда-то шел этим шляхом в неволю, батрацкими ногами месил он здесь горячую пыль, а сейчас возвращается мстителем, борцом за свободу, командиром повстанческого отряда.

Рядом едет Баржак, едут в первых рядах хорлянские ревкомовцы, больше все бывшие грузчики, все те, с кем проходила его молодость на портовых фальцфейновских эстакадах... Эстакады, тяжелые ковши, пот заливает глаза... Даже в такую пору, перед рассветом, когда обессиленные после целой ночи работы, они падали с ног под тяжестью груза, почти рядом, в Морском саду пани Софьи, еще, бывало, гремит оркестр, парусные яхты катают по заливу гостей, безудержно бушует пьяная оргия. Пили там французские вина, а закусывали живыми хорлянскими устрицами, которые пани Софья специально разводила неподалеку от порта на собственном так называемом устричном заводе.

Какой легкой была жизнь для одних и какой нечеловечески тяжелой для других!

Вспомнилось, как собирались они, рабочие порта, на тайные сходки, как спасли однажды совсем юного беглого матроса с военного корабля... По обычаю грузчиков, пустили шапку по кругу и на собранные деньги подкупили капитана английского судна, как раз бравшего в порту хлеб; так отправили тогда своего юного друга Леню Бронникова за границу. Иначе каторга бы ему или петля. Позже слышал, что матрос тот перед самой войной снова объявился в степи, на далеких таборах машинистом у паровика работал.

Все светлее небо, все шире горизонт.

Хорлов еще не видно, только верхушки тополей показались на светлом фоне неба. Что там сейчас? Вряд ли дети и жена ожидают его сегодня. Нелегко будет овладеть Хорлами. Только смелый, безудержно смелый удар может обеспечить успех. Победа их ждет, или, может быть, смерть им там уготована?

А в степи — весна... И уж ветер навстречу, что

девичья ласка, и уже не один, а тысячи жаворонков звеият над Яреськом, что скачет с товарищами в головном дозоре прямо в утреннюю зарю, иа тополиный порт.

Все выше встают далекие тополя на горнзоите. Даиьку ие прнходилось еще бывать в Хорлах, и сейчас, когда ои впервые увидел перед собой стайку одииоких задумчивых тополей там, далеко, на грани землн и иеба, взволновался так, точио встретил вдруг в незнакомом краю кого-то сызмала блнзкого, кого-то родного до болн — мать нли сестер. Такие же тополя стояли возле школы в родимых его Криничках на Полтавщиие, клоиились и шумелн иад его далеким детством.

Уже пахло морем: вот-вот покажется оно из-за горизонта.

Данько, вырвавшись с хлопцами далеко вперед, был в это утро в чнсле тех, кто первым увидел море, у кого восходящее солице раиьше всех заиграло косыми лучами иа белом, приторочеином к седлу «гусаке».

Где-то у самого иебосклона дымил чужой корабль. Одии на всем горизоите, темный, мрачный, как призрак... Хлопцы переглянулнсь между собой:

— Дредиоут!

— Как монастырь на море!

— Чей же ои?

Яреську стало ие по себе. Словно теперь только заметил иеуловимую настороженность, царившую вокруг. И утреииая, прорезанная лиманами степь, и открытое небо иад ней, и по-девичьи беззащитные тополя иа дальней косе — все точно замерло в ожидаиии беды, точио оцепеиело под жерлами наведенных с моря орудий... Внезапно появившийся на море чужак и впрямь иапоминал мрачный монастырь... Вместо куполов — башин, вместо крестов — жерла орудий. Данько чувствовал, как поднимается в нём ярость к пришельцам, явившимся из-за моря разбойиичать на его родиой земле. По какому праву вторглись они сюда, в этот степной беззащитный порт? Чего они пришли сюда, что им здесь иадо? Было что-то глубоко оскорбительиое в самом их присутствии здесь, у берегов земли, никогда им не принадлежавшей, под высокими тополями, что будто родные сестры зовут и зовут к себе Данька!

Щемило в груди, сердце жаждало боя, ноги уже пришпоривали коия.

XI

Припав к гривам лошадей, повстанцы с топотом перелетели через узкий перешеек на косу и, чтоб враг не заметил их в свои бинокли, сбились во рву, под защитой колючих маслин, полосой тянувшихся вдоль запущенного помещичьего сада.

Здесь Килигея уже поджидали представители местных жителей: несколько угрюмых рыбаков в зюйдвестках да инвалид-фронтовик на деревяшке, подвижной, быстрый — минуты не мог устоять на месте.

— Дмитро, Дмитро! — возбужденно кинулся он к Килигею, как только тот соскочил с коня.— Скорей разворачивай своих! Грек перепился. Аккурат самое время его глушить!

— Не пори горячку, Степан,— осадил его Килигей.— Толком докладывай: где, сколько?

— До гибели, до черта! — затанцевал перед ним фронтовик на своей деревянной ноге.— Миноносцы, баржи, бронекатера! А там дальше и флагман дремлет на рейде! — Оглянувшись по сторонам, почему-то вдруг перешел на шепот: — Как раз берут хлеб на третьей эстакаде под охраной двух миноносок!..

— Есть, значит, с кем воевать,— нахмурился Килигей.

— Есть, есть,— заплясал фронтовик.— Мы уже и факелы приготовили! И бомбы найдутся, только действуй!

— Вы сперва на устричный завод ударьте,— степенно вступил в разговор пожилой рабочий атаман.— Всю ночь там их офицерия гуляла, еще до сих пор оттуда пьяные крики слыхать...

— Распоясались,— процедил сквозь зубы Баржак.— Видно, не ждали они нас?

— Дозорный у них был на этой стороне,— басовито заговорил молодой рыбак в брезентовой куртке.— Глаз со степи не сводил, да только дело такое... валяется он уже во рву с перерезанным горлом.

Килигей молча бросил взгляд в ту сторону, куда указал рыбак, и, отвернувшись, тут же стал распределять боевые задания: Баржак с частью отряда атакует устричный завод, а остальных повстанцев Килигей сам ведет в атаку на причалы.

— Взять факелы! Кто с «гусаками» — вперед!

Теперь уже сколько угодно могли смотреть на них интервенты в бинокли, вволю мог любоваться ими с внешнего рейда адмирал Яникоста, столбенея при виде того, как среди бела дня, не таясь, вылетает из-за деревьев степная конница и, вздымая в воздух сверкающие клинки, вихрем несется прямо в море, на жерластые его корабли...

Чего-чего, а налета отсюда адмирал Яникоста совсем не ожидал: ведь ему доподлинно было известно, что в пустынном этом районе красных войск не значится... Правда, доходили слухи, что не так давно взбунтовались здесь села, подняли мятеж чабаны и какой-то прапорщик царской службы формирует, собирает в отряд недовольную голытьбу. Но разве ж это сила? Можно ли было принимать всерьез этот полумифический чабанский отряд таврийской вольницы? Что они значили для него? Не могли ж они партизанскими своими клинками достать с берега его флот, его бронированные корабли!

И вот на тебе: летят, летят, летят!

Земля не кончилась для них крутыми обрывами берега, как на крыльях вынесло коней прямо на железные эстакады, и уже падают оттуда, сверкая на солнце, большие белые птицы прямо на палубы его судов! Слышно, как душераздирающе взревели в порту сирены, сзывая с берега разбредшиеся команды; видно в бинокль ему, как лихорадочно матросы рубят швартовы, а с круч берега и с эстакад все падают и падают на них эти загадочные белые птицы и один за другим вспыхивают на палубах огненные фонтаны взрывов, обволакивая дымом суда... Уходить! Скорее уходить! А то, пожалуй, не от их степных партизанских бомб взлетишь на воздух, а от взрыва своих собственных начиненных боеприпасами трюмов!

Словно ветром вынесло Яреська в первых рядах атакующих на высокую гулкую эстакаду, и, с грохотом промчавшись по ней, конь его встал на самом краю. Разгоряченный, так бы и мчался дальше, но дальше было море, по-весеннему сияющее, голубое!

Оглянулся — в порту уже кипит бой. Всадники, сгрудившись и на эстакадах, и на обрывистой круче берега, дружно бомбят оттуда «лимонками» и «гусаками» палубы зажатых внизу судов. Яресько сорвал с пояса и

своего «гусака» и, размахнувшись что есть силы, швырнул туда, в дым, в крики, в самую гущу чужих матросов, метавшихся по палубе... Грохнул взрыв, и конь под Яреськом, вздыбившись, подался назад. Взрывы, вой сирены, стрельба — сущий ад... В клубах огня и дыма матросы остервенело рубят канаты, с паническими воплями втаскивают в люки раненых, наконец вспенилась вода, заработали машины. Повернув коня к берегу, Яресько вдруг заметил слева от эстакады еще какое-то судно, неуклюжее, пузатое, с горой пшеницы прямо на палубе...

«Хлебное!» — мелькнуло в голове.

На судне ни души, только сияет над ним огромный круглый прожектор, направленный сюда — на Яреська, на степь... Бьет в глаза, слепит, наведенный прямо на него, круглый, яркий, как солнце.

Выхватив из-за плеча винтовку, Яресько прицелился и в упоении выстрелил в это проклятое заморское солнце.

XII

В паническом беспорядке — с обрубленными концами, с поредевшими командами — суда интервентов покидали порт. Долго еще им будут чудиться белые эти «гусаки», что, как живые, со злобным шипением летели на них с эстакад и с крутых берегов, долго еще будет слышаться им отчаянный клич «пали»! и вслед за ним — клубки огня, клубки пылающей смолы, которая падает, льется прямо на головы! Под градом бомб содрогались палубы, вспыхивали от смолы пожары — выход оставался один: поскорее рубить концы и бежать без оглядки, бросая на произвол судьбы тех, что, загуляв, разбрелись по берегу. А оставшиеся, которых так надрывно сзывали сирены, лежали уже зарубленные у лимана, возле устричных бассейнов; а те, что чудом уцелели, как раз в это время подымали свои офицерские, в перстнях, руки перед обнаженными — сама смерть — саблями повстанцев. В черных беретах, смуглые, с блестящими морскими кортиками на боку... Сверкая исподлобья белками, ломаным языком угрюмо просили пощады, а хлопцы, отбирая у них кортики и обыскивая, крепко встряхивали их заморские души...

В качестве трофеев повстанцам досталось несколько бронекатеров с совершенно исправными английскими пулеметами, баржа с шерстью да груженный пшеницей океанский транспорт, который так и не успел развести пары.

Просторнее стало в порту после боя, облегченно вздохнул, поднявшись на знакомую эстакаду, Килигей...

Выгнали!

Удар конницы был настолько внезапным и ошеломляющим, что ни одно из вражеских судов, поспешно отступая, не попробовало даже огрызнуться, хотя повстанцы, насколько могли достать, провожали их с берега пулеметным огнем с тачанки.

Очутившись на внешнем рейде и только здесь наконец опомнившись от столбняка, интервенты, чтоб хоть как-нибудь отомстить за позорную свою ретираду, стали беспорядочно обстреливать Хорлы из корабельной артиллерии. Да не было еще, видно, ни у Антанты, ни у самого черта таких снарядов, которые могли бы выковырять хлопцев, укрывшихся на родной земле в портовых подвалах и погребах! Бей, сади себе, сколько хочешь, если снарядов не жалко!

Через какой-нибудь час-два обстрел прекратился, и повстанцы снова высыпали на берег, покуривая да поплевывая в синее море, наперебой разглядывая в трофейные цейсы незадачливую Яникостову флотилию, заякорившуюся на горизонте. Жаль, что не было у них таких коней, чтоб морем проскакали, чтобы туда добрались!

Под вечер в небе застрекотал гидроплан и, покружив над Хорлами, сбросил в пакете, похожем на воздушного змея, подписанный адмиралом Яникостой ультиматум.

Ультиматум был адресован командиру, но читали его вслух всем.

Командиру степной партизанской вольницы.

Милостивый государь!

Вы с отрядом своей конницы имели дерзость напасть сегодня на мои корабли, пребывающие здесь с высокого соизволения держав Антанты. Вы неслыханно оскорбили

флаг, который я имею честь защищать и который я готов защитить всей мощью находящихся в моем распоряжении средств — пушками, гидропланами, а если угодно, то и десантными войсками. Меня не испугают таинственные просторы ваших степей. Я разрушу дотла все села, на базе и в районе которых вы действуете.

Однако должен оговориться: я пришел сюда не как враг, и я не хотел бы никому причинять зла, в том числе — рабочим и крестьянам, которых считаю полезным элементом для страны. Вот почему, если вы желаете поддерживать со мной корректные отношения, я предлагаю вам и требую:

а) немедленно освободить лиц, захваченных вами на берегу, находящихся под защитой моего флага;

б) немедленно вывести свой отряд с территории порта Хорлы, назначенного местом стоянки моих судов.

Жду вашего ответа до завтрашнего утра в Бакале.

Командующий *Яникоста.*

— Ну не сукин ли сын? — зашумели бойцы, выслушав ультиматум.

— Он еще и грозится!

Весь берег, усыпанный народом, забурлил, заволновался.

— И кто ему назначил в наших Хорлах стоянку?

— У кого он спрашивал?

— Еще и пугает, шкура!

— Эй, а ну скубента сюда!

Вытолкнули вперед долговязого парня в студенческой тужурке — Алешу Мазура, дружка Яреська по Аскании.

— Накатай этому сукину сыну ответ.

Кто-то подал Алеше листок из конторской книги, кто-то ткнул огрызок карандаша:

— Послюни и пиши!

— Пиши: калимера — это по-ихнему «здравствуй»...

Студент пристроился на эстакаде, свесив ноги:

— Куда же писать?

— Вот еще! Не знает куда!.. Адрес известный: Украина — Черное море — крейсер «Отчаливай»!

— «Отчаливай»! Ого-го!..

— Написал «Отчаливай»? Ну катай дальше!

— Катаю, но что?

— Калимера, Яникоста...

— Нет, ты ему таким манером, как запорожцы турецкому султану когда-то! Помнишь?

— Пускай Дерзкий подскажет! Он то письмо наизусть заместо «отче наш» заучил!

— Дерзкий, а ну!

Прокашлялся Дерзкий, поправил бескозырку над рыжей бровью, обернулся с серьезным видом к морю, посмотрел в сторону чуть видного на горизонте вражеского флагмана.

— Ты, шайтан турецкий,— начал он таким тоном, точно адмирал Яникоста и в самом деле мог его слышать в этот момент,— проклятого черта брат и самого Люцифера секретарь! Какой из тебя рыцарь, если ты голою той самой ежа не убьешь?! Вавилонский ты кухарь,— произносил он чем дальше, тем все энергичнее, в нарастающем темпе,— македонский колесник, иерусалимский пивовар, александрийский козолуп, великого и малого Египта свинарь, татарский сагайдак, херсонский кат, Антанты подлипала, самого аспида внук и всего земного и подземного царства скоморох! Никогда тебе нас под себя не согнуть: и сушей и водою будем биться с тобою! Вот так тебе красные повстанцы отвечают! Числа не знаем, потому — календаря не читаем, месяц в небе, год в книге, а день у нас, что и у вас,— поцелуй за это вот куда нас!

Бойцы хохотали до упаду.

— Ох, и начитается же!

— Ты ничего там не пропустил, Алеша?

— Адмирал — он любит чины!

— Там, где козолуп, еще и жабоеда добавь!

— Верно, он же из тех, что головастиков глотают!

— Что для тебя головастик, то для папа устрица.

— Так и пиши: македонский ты жабоед, херсонский катюга, английской королевы холуй, мирового капитала прихвостень!

— Отчаливай, пока не поздно! — неслись веселые угрозы в море.— Катись колбасою за горизонт!

— А день у нас, что и у вас...

— Месяц в небе — ха-ха!

— Год в книге — го-го!..

До самого вечера шумел берег, гремел над причалами раскатистый хохот степовиков... Наконец письмо

было составлено, и Алеша-студент вывел под ним официальный титул:

Дмитро Килигей, командир повстанческого отряда имени Т. Г. Шевченко, со всеми своими бойцами.

Для передачи ответа Янкосте решено было использовать захваченных греков. Отобрав несколько греческих матросов, повстанцы выделили им старый рыбачий баркас и, пожелав в другой раз не попадаться, с миром отпустили в море, к своим. Когда они отплывали, Килигей, стоя на эстакаде, нарочито громко отдавал Житченку приказ — в течение ночи подкатить из Каланчака артиллерию и до утра установить ее на косе Джарылгач с тем, чтобы закрыть завтра флоту Янкосты выход в море.

Никакой, конечно, артиллерии в Каланчаке не было, однако из могучей глотки Житченка только и вылетало:

— Есть подкатить! Есть установить!

Упоминание о мифической партизанской артиллерии — это своего рода дополнение к письменному ответу на ультиматум,— как видно, подействовало кое на кого из отплывающих именно так, как и рассчитывали повстанцы: утром кораблей на рейде уже не было.

XIII

Слух о том, что отряд Килигея, выгнав из тополиного порта интервентов, отбил при этом большие запасы хлеба, быстро разнесся по южным селам и хуторам, и уже на следующий день на хорлянскую косу спешили из степи брички, возы, фургоны. Ошалевшие от жадности подводчики, больше все бородатые хуторяне в чумарках, не видя ничего вокруг, наперегонки гнали лошадей прямо к причалам.

— Стой! — перехватывали их бойцы.— Куда разогнались?

— Как это куда? — тяжело переводили дух подводчики.— А за хлебом, за шерстью! Разве уже растащили?

— Нет, вас поджидаем: как же без вас?

— Вы не шутите! Скорей надо разбирать, а то еще

вернутся! Думаете, вы их далеко отогнали? Давайте делить скорее!

— Грабь награбленное, так, что ли? Нет, этот номер не пройдет!..

Насчет этого у Килигея было строго. После захвата порта, пока они с Баржаком огляделись, пока Килигей сходил проведать семью, вернулся, повстанцев уже не узнать: все в новеньких шинелях табачного цвета, все переоделись в греческое обмундирование.

— А ну снять! — накинулся на них Килигей.— Чтоб ни на ком не видел! В холсте, в ситце армия моя будет!

Такова она и сейчас — в холсте да в ситце...

Все захваченное зерно Килигей приказал взять на учет и затем сам с командирами занялся его распределением. В первую очередь из полученных запасов выделено было зерно полупролетарскому населению Хорлов, которое дружно помогало отряду выкуривать интервентов. В числе прочих получила свою долю и Килигеева жена, получила не больше и не меньше, чем семьи других фронтовиков. Решено было также оказать помощь бедноте Чаплинки, Каланчака и других сел, проследив за тем, чтобы помощь эта попала кому следует: вдовам, да сиротам, да многодетным и неимущим селянам, которым, может, и посеять нечего...

Среди них к Килигею явился... кто бы мог подумать? Мефодий Кулик! Притопал пешком из самой Чаплинки, в задравших полозьями носы постолах, с порожней сумой через плечо, как у сеятеля.

Можно было ожидать, что после недавнего случая на чаплинской площади, когда он при всем честном народе объявил себя трусом и выбыл из отряда, Кулик будет чувствовать себя перед Килигеем смущенно, что посовестится он смотреть в глаза тем, кто без него выкуривал здесь осиное гнездо интервентов и отбивал у них народное добро. Однако Кулик, видно, был твердо убежден, что из только что отвоеванного хлеба и ему по праву принадлежит соответствующая часть. Здороваясь на ходу с односельчанами, он разыскал на далекой эстакаде командира отряда и, в двух словах доложив ему, что в чаплинских тылах все в порядке, тут же скинул свою облезлую баранью шапку и вытащил оттуда засаленную, сложенную вчетверо депешу.

— На, разбирай, Дмитро.

— Вот пошли меморандумы,— взяв бумажку, сказал Килигей.— Тот — от Яникосты, а этот от кого же?

— А это лично-персональио от меня, от чаплинского гражданина Кулика.

— Что же ты тут нацарапал?

— Ты читай, читай...

Килигей неторопливо развернул густо исписанный закорючками листок.

Начальнику побережья Черного моря,
Защитнику труда, товарищу Килигею

С детства мыкаясь по наймам, много лет проработав на собственницу-помещицу, называемую в народе Фейншею, я хоть в жизни не пил и не мотал, однако остался и поныне в великом убожестве. Нарожденный в степи, в кибитке чабана, работая сызмала пастушком-верблюжатником и сильно забитый и задерганный со всех сторон панскими холуями, не имел я в сердце львиной отваги, чтобы героически выступить в рядах красных повстанцев на бой с душительницей Антантой.

Однако есть хочется каждому, голодных ртов полна хата, дети малые, они ни в чем не повинны, а как вырастут, так еще послужат революции достойно. Так что я прошу красную державу рабочих и крестьян помочь мне посевным зерном, которое с лихвою при первой возможности верну.

Проситель *Кулик.*

— Вот так закрутил,— сказал Килигей вполголоса, прочитав Куликов меморандум.— И складно, и жалобно... Кто ж это тебе так, не к дьячку ли ходил за помощью?

— Своим умом живу,— неожиданно обиделся Кулик.

Килигей, улыбнувшись, обратился к бойцам, которые как раз перетаскивали зерно с парохода на берег:

— Ну как, хлопцы, дадим Кулику на посев?

Повстанцы, собравшись кучкой, стали решать: как быть с Куликом, дать ему зерна? Голоса разделились. С одной стороны — незаможник, с другой — откололся, ушел из отряда...

— А дети есть? — спросил дед — вожак хорлянских рыбаков.

Кулик выпрямился:

— Если говорить по правде, так больше, чем у меня, потомков ни у кого в Чаплинке нет! Целая босая команда в хате! Мал мала меньше! Есть еще и такие, что в люльке!..

Бойцы засмеялись.

— В летах, дядько, а потомков, вишь, нажил...

— Да так уж случилось,— словно оправдываясь, заговорил Кулик.— Это как при севе бывает: один выйдет рано, до рассвета, сюда горсть, туда горсть, до обеда, глядишь, уж и отсеялся. А я, хлопцы,— голос его как-то жалостно дрогнул,— из-за бурлацкой своей жизни поздно вышел, когда солнце юности моей к закату уже повернуло...

— Не журись,— хлопнул его по плечу Житченко.— Поздно посеял, да густо взошло.

— Что густо, то густо,— усмехнулся Кулик в свою полынно-кураевую бороду.— Днем и не видно, а вечером как сбегутся к миске, так и не разберешь, все ли мои, или соседских еще половина... «А ну, стройся на перекличку!» — Взглянул на Килигея.— Вот как ты своих... «По порядку номеров! Иван! Демьян! Федько! Петько!..» Проверишь — выходит, что все мои.

— Да пусть растут на здоровье,— весело зашумели повстанцы.— Еще нам солдаты во как понадобятся!

Дали Кулику зерна. Даже закряхтел Мефодий, вытаскивая из трюма пятипудовую свою долю на берег.

Килигей тем временем приказал снарядить красный обоз с зерном в подарок бедноте Чаплинки и других сел. Закипела работа! Насыпа́ли мешки по самую завязку, наскоро надписывали на них, кто кому посылает, а потом, взяв за углы, кидали с размаху в кулацкие возы, так что они только поскрипывали и стонали, оседая под этой тяжестью. Кидали пожилые фронтовики, кидала молодежь, кинул, захваченный общим настроением, и Яресько вместе со своим другом Яношем. Подводчику, старому Гаркуше, хлопец долго и строго наказывал, куда, под чье окно доставить.

— А мне? — жадно обводил глазами мешки Гаркуша.— Добудь что-нибудь и на мою долю, а?

— Наша, дед, пшеница у вас не взойдет,— ответил ему Яресько.

— Это почему же?

— Сорт такой. Пролетарский!

Гаркуша обиделся:

— Ну где же это правда на свете! Не дали ии зернышка, да еще и фурмаиов из иас сделали,— иикак ие мог он успокоиться.— Хоть шерсти тюк под зад деду дайте, чтоб мягче в дороге сиделось!

— Кому это здесь шерсти заиадобилось? — грозио спроснл Килигей, появляясь из-за возов.

Гаркуша угодливо засуетился:

— Это мы, фурманы... Нам и шерсть годиа, абы кншка полна.

— На вашу кишку вовек не напасешься,— нахмурился Килигей.— Сыи и по сю пору петлюровской мотиею Украиину метет?

— Да что ж сыи...

— Ну и отчаливайте без никаких! Обоз вои уже двииулся!

Тронулись, поскрнпывая, возы; задумчиво смотрел вслед им Килигей. Впервые с тех пор как существует этот тополииый порт, обозы с хлебом идут не из степи, а в степь, ие в темиые трюмы чужих судов таврийское льется зерио, нет, оно подымается нз трюмов иа-гора́ к солнцу, к весне, сиова возвращаясь к тем, кто его вырастил, кто его посеет...

Подошел Баржак, стал рядом и тоже засмотрелся.

— Что же, сбылось, Дмитро?

— Сбылось.

Их волей, их силой свершилось иакоиец то, о чем не раз, обливаясь горьким потом, мечтали они тайком в годы своей юности, проведенные здесь, на тяжких этнх эстакадах...

XIV

Из тополииого порта отбитый у греков хлеб дошел и до Строгановки, отведал пшеиичиого и капитаи Дьяконов в Оленчуковой хате.

Дьяконов попал в Строгановку как раз в разгар весениих работ. Оленчук с первого же дня взялся за виноградник. Ои вовсе ие собирался превратить свое благородие в батрака, ио Дьяконову ие сиделось без дела, и вскоре село уже видело их обоих — и Олеичука, и бывшего его батарейиого иа виноградиике рядом: с утра н до вечера трудились оии. Олеичук научил офицера обре-

зать кусты, окапывать, и Дьяконов оказался не совсем бездарным учеником. Сын отставного офицера и сам с юных лет офицер, он в первый раз в жизни так близко столкнулся с трудом простого человека, в первый раз в жизни сменил оружие на садовый нож и лопату, впервые испытал здесь высокое, никогда раньше не изведанное им наслаждение труда.

Виноградник Оленчука — над самым Сивашом, на пологом склоне, обращенном к солнцу. Оленчук рассказывает, что еще при дедах его на этих местах, над Сивашом, где сейчас огороды и виноградники, была мертвая земля, один кермек да солонец рос, которого и верблюды не едят. Мертво было, пока кто-то из Оленчукова рода не докопался здесь до сладкой воды. Вода тут все: где она — там жизнь.

— Будто и много ее, а не напьешься,— глядя на разлив Сиваша, с горечью говорит Оленчук.— «Зато тебя и много тут, что волы тебя не пьют»,— шутили когда-то чумаки, удивляясь, что волы не желают пить соленую здешнюю воду. Из-за недостачи воды тут и дерево у нас никакое не растет, одна только жилистая акация маловодье это выдерживает.

— А вон те? — указал Дьяконов на группу высоких серебристых деревьев, одиноко высившихся далеко над Сивашом.

— Так то ж осокори на поповой усадьбе. Где осокори — там как раз колодец: еще перед войной мы с братом копали. И на Сиваше тоже примечайте, где кустик камыша темнеет, там, значит, пробивается понемногу из глубины, из трясины сладкая вода...

Сиваш, это таинственное Гнилое море, не перестает удивлять Дьяконова. Чудо природы Геологическая загадка Лежит болотистым мертвым простором, с сизоватым налетом соли, раскинувшись до самого горизонта, до чуть темнеющей там вдали полоски крымского берега.

— Это Литовский полуостров?

— По-ученому — Литовский. А мы его Турецкой батареей называем. Когда-то там турецкая батарея стояла. Когда мальчишкой был,— неожиданно улыбнулся Оленчук,— бегали мы туда, бывало, птичьи гнезда искать. Много птиц на той батарее гнездилось...

— Через Сиваш бегали?

— А что ж, летом он, бывает, пересохнет, аж пыль встает... Кто знает, тот и на возу проедет, а если кто так, наобум, пустится, то...— Оленчук глянул на офицера как-то искоса, Дьяконову показалось, что даже с недоверием: не бежать ли, мол, надумали, ваше благородие? — Один пошел, не спросясь броду, да и поныне нету. Вот он — Сиваш!

Странное море! Изменчивое, коварное. То покроется водой, то снова сгонит ее ветром назад в Азовское, и останется тут на сотни верст голое болотистое дно с тысячами ловушек, трясин и промоин, топей и ни на какие карты не нанесенных гнилых ям. Вязкий вонючий ил чуть подернут сверху сивым налетом.

— Сивый от соли, оттого и Сиваш,— объясняет Оленчук.

Верить глазам здесь нельзя. Вот среди сизого открытого пространства темнеет какое-то растение, может быть, водоросль, занесенная во время прилива с Азова, или курай, пригнанный ветром из степи. Свежему человеку не угадать, далеко оно или близко, велико или мало. Все здесь какое-то ненастоящее, призрачное, все — обман зрения... Чтоб понять что-нибудь, Дьяконову снова и снова приходится обращаться к Оленчуку. Для того загадок тут нет: бесчисленные тайны, которыми Сиваш поражает Дьяконова, Оленчук читает свободно, они для него — открытая книга. Истинным владыкой этого края, мудрым знатоком здешней природы предстал пред Дьяконовым бывший его подчиненный. По Сивашу, коварному, поглотившему столько людей, между страшными его топями и трясинами, где иной и днем не пройдет, Оленчук и темной ночью проберется: соль всю жизнь тут тайком от стражников по ночам собирал... Землю эту, кажется, видит под собой насквозь. По росе на былинке, по каким-то своим тайным приметам угадает, где сладкая пробьется вода, где горькая... На безводье, у самого мертвого моря, где ничто не растет, виноградник вон какой вырастил — на плечах приносил вязки чубуков из Крыма через Сиваш...

— Скажите, Оленчук, чем привлек вас этот суровый безрадостный край? Бураны всю зиму свищут, мертвые водоросли все лето гниют... Тундра. Южная тундра!

— Не я себе это место выбирал...

— Предки? А они почему решили именно здесь поселиться?

— Не сами поселились. Неволей их поселили.

И, нахмурившись, рассказал:

— Из казаков мы родом. Как разгромила Катерина Сечь Запорожскую, одному из куреней назначены были эти места под поселение.— Оленчук закурил, задумался.— Еще и в песне поется:

> Дарувала Катерина луги та лимани:
> Ловіть, хлопці, рибу та справляйте кафтани...

— Ловіть, хлопці, рибу,— горько повторил Оленчук.— Насмешка одна, и все! Потому, никакой, известно, рыбы тут нет и не было никогда в Сиваше: мертвая вода, ни одна живая тварь в ней не выдерживает...

Слушая, с какой горечью рассказывает Оленчук историю своего села, с каким суровым, давно выношенным осуждением произносит имя царицы Екатерины, Дьяконов чувствовал и себя в чем-то виноватым перед ним, точно сам когда-то загнал сюда Оленчуков род на горемычное это поселение: с Днепра, синего, как небо, с привольных, роскошных степей на самый край света... И какую же надо иметь силу, каким живучим надо быть, чтобы и здесь пустить корни, чтобы неусыпным трудом своим оживить этот мертвый безрадостный край!..

Только здесь, в Строгановке, Дьяконов как бы открыл для себя Оленчука. Сколько мудрости во взгляде на жизнь, сколько человечности, доброты в сердце!.. Соседи идут к нему со своими заботами, и он, хмурясь, каждого выслушает и, так же хмурясь, каждому что-то посоветует, поможет, как помог и самому Дьяконову, протянув ему руку в беде.

Раньше, когда Оленчук служил у него на батарее, Дьяконов по юношеской своей беззаботности и не подозревал, какие сокровища таятся в душе этого простого, всегда немного замкнутого, работящего батарейца. Ему, Оленчуку, он теперь обязан жизнью. Видно, сама судьба послала ему в мятежной Чаплинке из-за копны курая бывшего его подчиненного с чабанской герлыгой! И до сих пор не может до конца понять Дьяконов, чем он, собственно, заслужил милость Оленчука? Во время той ночной беседы сквозь щель в дверях кутузки напомнил ему Оленчук один незначительный случай на фронте...

Напомнил, как он, Дьяконов, заступился однажды перед другим офицером, курляндским бароном, за своего солдата Севастьянова... Барон поднял руку на солдата, а Дьяконов не дал, заступился... Случай мелкий, Дьяконов уже почти забыл о нем, а Олеичук почему-то придал ему такое значение, может быть, даже из-за этого случая и на поруки взял белое свое благородие...

С каждым днем работа на винограднике все больше сближала их, за работой они словно забывали о том, что принадлежат к разным воюющим лагерям. Никогда не думал Дьяконов, что работа может действовать на человека так целительно. Олеичук, казалось, почувствовал, что больше всего сейчас нужно его благородию в неопределенном его положении не то пленного, не то перебежчика, казалось, понял, что только труд может помочь ему, облегчить вызванный этим внутренний разлад, заглушить сомнения и горечь. Дьяконов как будто и в самом деле здоровее становится здесь, за работой. Не столько усталость, сколько глубокое душевное удовлетворение испытывает он, когда, хорошенько поработав вместе с хозяином, возвращаются они вдвоем с виноградника домой обедать.

Степь тогда раскрывается перед ними, весеннее марево по ней течет. На дне призрачного океана где-то далеко пастух бредет с отарой, верховой проскачет, сверкающая водная гладь обманчиво заблестит в степи.

— А поглядите-ка, ваше благородие,— шагая рядом, загадочно улыбается Олеичук,— что это там в степи виднеется?

Дьяконов, остановившись, удивленный, щурясь, вглядывается в даль.

— Что-то непонятное... Сабли? Откуда сабли?

— Эх вы,— ухмыляется Олеичук, довольный своей шуткой.— Вашему брату даже воловьи рога саблями кажутся.

Дьяконов, поднявшись на носки, приглядывается внимательней. И верно, стадо по степи идет, рогами в мареве колышет, а ему показалось, что лес сабель... Переводит взгляд на Олеичука, тот прячет в усах лукаво-загадочную улыбку.

На дворе, когда перед обедом Дьяконов соберется мыть руки, детвора наперебой кидается поливать ему из

ковша. Оленчук тем временем ходит по двору, там что-нибудь молча приладит, там землю ковырнет, тут внимательно взглянет на какую-нибудь веточку.

— Знаете, как нашего татку на селе зовут? — сбившись в кружок вокруг Дьяконова, таинственно шепчут дети.

— А как?

— Колдун.

— Почему же это?

Дети оглядываются на отца с опаской и с гордостью:

— Потому что он... *что-то знает!*

Дьяконову тоже подчас кажется, что Оленчук не все договаривает, что есть у него на уме что-то свое, тайное, заветное, хранимое лишь для себя. Особенно чувствует он это, когда, пообедав, присядут они на завалинке покурить и виден им вдали за Сивашом Перекоп с одинокой колокольней, поблескивающей под ярким солнцем. Еще недавно был там, на перешейке, довольно большой городок с гимназией, казначейством, тюрьмой, но теперь осталось от городка немного, почти весь он разрушен, уцелела только уездная тюрьма да эта вот, издалека видная в ясный день высокая колокольня в белой чалме своего купола. Полоса Крымского берега, которая утром почти совсем прячется в тени, сейчас, освещенная высоким полуденным солнцем, тоже видна гораздо отчетливее.

Посасывая люльку, смотрит в ту сторону Оленчук и все о чем-то думает, думает, думает...

— Напрасно, ваше благородие, пошли вы в эту Добароволию,— нарушает он вдруг молчание.— Напрасно. Никогда она не победит.

— Это почему же?

— Против народа войной идет. Чужеземцам ваша Доброволия служит.

— Выдумки! Подлинно русская она!

— А дредноуты за нею чьи? Разговаривают в вашей армии по-русски и звания как будто бы русские, а на деле чужая, наемная она.

Наемная! Чужая... Это больше всего уязвляет Дьяконова. Никак не хочет он согласиться с такой оценкой белой армии. Созданная великим Корниловым, она — единственная сила, которая защищает дорогие Дьяконову идеалы, единственная сила, которая способна вывести

страну нз пагубной всенародной смуты. А терпит она неудачн за иеудачами не потому, что аитинародиая, не потому, что якобы куплеиа оиа Антаитой, нет! Дьякоиов знает истниные причнны поражений и неудач. Души оиа лншилась после смертн Кориилова, души ей сейчас ие хватает — это главиое. Вождя, настоящего, равиого Корнилову вождя, вот чего она сейчас страстио жаждет! Вот что ей сейчас всего иеобходимее, армнн рыцарей белой идеи иа Руси! Вождя, вождя! Дьякоиов испытывает что-то похожее иа жгучую тоску по вождю, по тому вождю, которого еще нет, но который непремеиио будет, — сама армия немииуемо выдвинет его из своих недр... Он придет, новый Корнилов, и снова вдохнет живой дух в войска, н с его появлением Дьяконов ие колеблясь отдаст в его руки свою жизнь!

А пока, покуривая, оии невесело смотрят через Сиваш на Перекоп, думая каждый о своем.

XV

Степным бездорожьем, вдоль моря — из Хорлов иа Скадовск — коииые повстанцы-коивоиры гоият плеииых греков.

Страиио было в этой светлой необозримой степи, где до сих пор, кроме местиых пастухов, пожалуй, ничья ие ступала нога, вдруг увидеть этих обожжеииых иездешиим солицем людей, увидеть, как бредут оии угрюмой толпой, волоча по жестким кураям да по нежиым, только что показавшимся нз земли дннким тюльпаиам свои пудовые английские башмаки.

Посулами легких завоеваинй поманила их и погиала на Украину Аитанта. Не желая отставать от своих старшнх партнеров по будущей колоиизации Украины, греки до весны прислали сюда десятки тысяч войск. Их полио сейчас в Крыму, где оии заияли Симферополь, Джаикой, Таганаш... Тысячи их полегли в эти дни в боях под Одессой; их пропитаиные кровью береты валяются по всему берегу у Хорлов.

Кто убит, кто бежал, а эти семнадцать человек (средн них иесколько офицеров) бредут сейчас под коивоем иа Скадовск. Присмиревшие, молчаливые, плетутся, поиурив черные как смоль головы, устало вышагивают

незнакомой степью, оставляя здесь следы своих кованых каблуков.

Конвоиров пятеро. Пленных сопровождают Алеша Мазур — с одной стороны и Янош-мадьяр — с другой, а сзади, на некотором расстоянии, отпустив поводья, едут Явтух Сударь, Дерзкий и Яресько, которого командир отряда назначил старшим. Вышло это совсем неожиданно для Яреська. Когда, отправляя их в путь, Килигей оглядел конвоиров, чтоб выбрать среди них старшего, взор его сперва остановился было на Дерзком, и никто не сомневался, что именно его, своего брата, он и назначит. Однако, молча смерив брата взглядом, командир отряда почему-то перевел глаза на Яреська: «Ты будешь».

Дерзкого это, видно, нисколько не обидело, едет себе да посвистывает, да время от времени то кивнет, то мигнет Явтуху Сударю о чем-то своем. О чем это они? Яреську не очень-то по душе их перемигивания, похоже, что есть у них какой-то тайный сговор. Один едет-посвистывает да неопределенно усмехается, а дядько Явтух хриплым голосом потихоньку мурлычет и мурлычет, точно нанялся:

Ой, пасіться, сірі воли, не бійтеся вовка,
А я піду на той хутір, де бабуся ловка...

Греки впереди понуро спотыкаются о кураи, сгорбившись, плетутся, словно гонят их на расстрел. Зачем они сюда пришли? Чтоб умереть на этой незнакомой земле? Во имя чего? Самых дешевых своих наймитов, одела и обула их Антанта, послала на позор и на гибель... А теперь вот идут, обезоруженные и приниженные, может быть, впервые почувствовали весь позор и безнадежность своего дела. Постепенно даже что-то похожее на сочувствие просыпается в душе Яреська к этим хмурым, одурманенным врагам. В пылу боя, там, в порту, разил их без колебаний, с радостью и наслаждением посылал на их голову смерть, а сейчас, глядя на них, безоружных, жалко сгорбившихся — будто каждую минуту ждут удара в спину,— хлопец чувствует, как в нем постепенно тает ненависть к ним. Тоже ведь люди. Где-то оставили и матерей, и любимых девушек, и родной кров. Кому охота умирать, да еще не зная, за что? Молодые все, жить им хочется, даже по спинам, по этим их ссутулившимся плечам видно, как им не хочется умирать.

Время от времени догоняет греков дядько Явтух и, поравнявшись с крайним из них, знаками спрашивает у него, который час. Тот — молодой курчавый парень — достает из кармана серебряные часы-луковицу и, щелкнув крышкой, молча, с немой мольбой показывает Явтуху циферблат. Он долго держит часы перед конвоиром, и серебряная крышка ослепительно горит на солнце, а Явтух, склонившись с седла, все смотрит на нее. Насмотревшись, дядько наконец выпрямляется в седле, кивает греку, и тот, все с тем же умоляющим, страдальческим выражением на лице, закрывает часы и, спрятав их, догоняет товарищей.

Так повторяется несколько раз. Наконец Яресько не выдерживает:

— Что вы, дядько, все на стрелки поглядываете? Или очень спешите куда?

Явтух, переглянувшись с Дерзким, как-то чудно́, одним уголком рта усмехнулся.

— А тебе не к спеху? Не надоело еще? Не хотел бы скорее избавиться? — И, наклонившись, прибавил вполголоса: — Доколе мы их гнать будем?

— Как это доколе? — удивился Яресько.— До самого места, куда приказано!

Дядько, прищурившись, кивнул в сторону Дерзкого.

— Его вон женушка в Чаплинке ждет, молодая, недавно оженился... И мне не мешало бы домой завернуть... Да и тебя уже, сдается, там дивчина выглядает, а?

Яресько насторожился: к чему это он?

— Так что ж, по-вашему? Бросить, отпустить их?

— Зачем отпускать? Разбегутся, да и перстни свои по степи разнесут... Можно и не отпускать...— И двусмысленно улыбаясь, Сударь снова переглянулся с Дерзким.

Теперь и Дерзкий вступил в разговор.

— Он их, видно, хочет на нашу сторону сагитировать,— насмешливо кивнул Сударю на Яреська.— Революционеров из них, видно, хочешь сделать? Нет, брат, это тебе не французы,— голос его вдруг стал холодным.— Тут, брат, темнота — не пробьешь. Французов распропагандировали, англичане зашевелились, а эти... Ни на какую агитацию не поддаются. Из всех наемников Антанты — самые упрямые.

— Так что ж, по-твоему?

— Как что? Доведем до того вон кургана и... в расход.

Яресько взглянул на Дерзкого, потом на Сударя и по их лицам понял, что это между ними уже заранее договорено.

— Нет, так не пойдет,— сказал твердо, решительно.

Дерзкий скосил на него зеленоватый, холодно поблескивающий глаз:

— Почему?

— Во-первых, есть приказ командира доставить их в Скадовск...— Яресько примолк, о чем-то думая.— А вовторых,— Яресько повысил голос,— есть директива Ленина: пленных не убивать, а обменивать через Красный Крест!

— Пускай, значит, в Грецию возвращаются?

— Пускай.

Дальше ехали молча. Вскоре подъехали к кургану.

— Привал! — скомандовал Яресько.

Греки устало свалились, прилегли на полынном склоне кургана. Тоскливо глядели в небо, в незнакомые просторы огромной, никогда не виданной степи; не обмениваясь между собой ни словом, сторожко прислушивались к непонятному им спору, вспыхнувшему между конвоирами, сгрудившимися на лошадях в сторонке. О чем они так горячо толкуют? В чем несогласны меж собой?

Дерзкий, чтоб склонить на свою сторону Алешу и Яноша, открыто выложил им свое предложение: в расход — и крышка!

— Ухлопаем! — зверея от алчности, поддерживает его Сударь.— Ухлопаем. Никто никогда и не дознается!

— Самосуд? — впился в него глазами Алеша-студент.

— Революция — это и есть самосуд! — с досадой крикнул Дерзкий.

— Ложь! — горячо возразил студент.— Революция — это как раз над всяким беззаконием закон!

В руках у него уже блестит снятый с плеча карабин. Янош, молча переглянувшись с Яреськом, на всякий случай снимает свой.

Увидев, что замысел его провалился, Дерзкий попытался свести все к шутке:

— Ну, тогда братайтесь тут с ними, а мы с дядьком поехали. Чаплинку проведаем,— и, насмешливо помахав Яреську на прощание, прибавил: — Считай, командир, что ты нас отпустил на побывку. В Хорлах встретимся.

Стегнув коней, они помчались степью на север.

XVI

В Скадовске — флаги, музыка, многолюдный митинг бурлит перед ревкомом на самом берегу моря.

С трибуны выступает пожилая, в белой косынке женщина — солдатка, может, или рыбачка.

— Всем народам — белым, и черным, и желтым — посылаем сегодня свой революционный привет из красного Скадовска! — горячо бросает она через головы людей куда-то, кажется, за самый горизонт.

— Не нас ли это они за черных и желтых принимают? — не удержался от шутки Яресько и, подъехав с хлопцами к толпе скадовчан, легко соскочил с коня.— Что это у вас тут? Митингуете по случаю пасхи?

Их сразу окружили тесным кольцом любопытные.

— Килигеевцы? Пленных греков пригнали? О, так вы еще, верно, ничего не знаете?

— Скажите — узнаем...

— Революция в Венгрии!

— Советскую республику объявили!

— Бела Кун уже по радио с Лениным разговаривал!

Янош слушал, расцветая на глазах, и, казалось, не мог поверить. Хлопцы с минуту радостно смотрели на него, потом кинулись его поздравлять.

Среди скадовчан между тем уже пошло-покатилось к трибуне:

— Мадьяр!

— Красный мадьяр с килигеевцами прибыл!

Янош стоял в толпе, растерянно улыбаясь, а его разглядывали со всех сторон. В полотняной украинской сорочке, в измятом австрийском кепи, которым когда-то оделил юношу старый император Франц-Иосиф, посылая его на войну... Таким и подхватил народ Яноша на руки и с криками «ура», под звуки скадовского оркестра понес над головами к трибуне.

И вот уже он стоит, смущенный, счастливый, над

взволнованным человеческим морем, так неожиданно вознесенный его волной... Тепло смотрит на него толпа, улыбаются, радуясь за него, товарищи. Улыбки уже и на лицах у греков, из которых за всю дорогу никто ни разу не улыбнулся.

На трибуне снова звучат речи. Выступает какой-то кряжистый рыбак, за ним выходит на трибуну молодой матрос с винтовкой на плече:

— Слава красной Венгрии!

— Черноморский привет героическим пролетариям Будапешта!..

В прозрачном весеннем воздухе, под гулким небом далеко слышен голос растревоженного, митингующего Скадовска.

Попросили и Яноша выступить. Вся площадь притихла, ожидая, что он скажет, а он, густо покраснев, подошел к краю трибуны, снял свое измятое кепи, из которого давно уже выдрал императорскую кокарду, и смущенно поклонился с трибуны народу... Радостные, счастливые слезы брызнули у него из глаз.

Это и была вся его речь.

После митинга хлопцы сдали греков в ревком для отправки в Херсон. На прощанье греки, взволнованно бормоча что-то по-своему, крепко пожали руки Яреську и его товарищам.

Тут же, в ревкоме, от представителя из губернии хлопцы услышали еще одну радостную новость: неподалеку от Одессы, в боях под станцией Березовка, войска Второй Украинской армии наголову разбили французов и греков и захватили у них пять французских танков, один из которых послали в Москву, в подарок Владимиру Ильичу Ленину[1].

---

[1] В ответ на этот подарок Ленин тогда же прислал такую телеграмму: «Приношу свою самую глубокую благодарность и признательность товарищам Второй Украинской Советской Армии по поводу присланного в подарок танка.

Этот подарок дорог нам всем, дорог рабочим и крестьянам России, как доказательство геройства украинских братьев, дорог также потому, что свидетельствует о полном крахе казавшейся столь сильною Антанты.

Лучший привет и самые горячие пожелания успеха рабочим и крестьянам Украины и Украинской Красной Армии.

Председатель Совета Обороны В. Ульянов (Ленин)». *(Примечание автора).*

XVII

На следующий день возвращались к себе в тополиный порт.

Легко, радостно, выполнив приказ, рысить степью вместе с жаворонками, что звенят и звенят у тебя над головой, с клубком слепящего солнца, что все время бежит, бежит по морю рядом... Степь уже кое-где цветет. Полной грудью дышит вокруг весна. И разве бывает весна где-нибудь краше, нежели здесь, в открытой приморской степи, где жаворонки так вольно перезваниваются в поднебесье, где, едва сойдет снег — и земля уже зацветает, где нежной, вечно движущейся дымкой переливается весеннее марево!

Янош едет и то и дело улыбается, охваченный какой-то светлой задумчивостью. Неразговорчив он, этот Янош, не часто от него слова добьешься, но и без слов Данько хорошо понимает сейчас его настроение, догадывается, где витают в эти минуты радостные мысли друга. Там, за Карпатами, в грохоте боев, в колыханье знамен, в шуме манифестаций рождается сейчас его, Яноша, революция.

— Хлопцы, послушайте! — тряхнув длинными волосами, говорит Алеша.— Выкурим интервентов, развяжем себе руки — давайте тогда коммуной жить! Построимся хотя бы на этих вот землях и заживем по-братски...

Яресько окинул глазами степь: какая земля! Целина нетронутая... Гвозди посей — и те взойдут! Кинь борону посреди поля — и та корни пустит.

А студент уже пристает к Яношу, уговаривает:

— Оставайся у нас навсегда. Тут и виноградники можно развести, как у вас там, на Мадьярщине.

— Мы тебя здесь и оженим,— шутит Яресько.— Украиночку такую высватаем, что ну!

При упоминании о женитьбе Алеша хмурится, недовольно морщит лоб: он против этого. Чудак парень этот Алеша! Киевский студент, попал он в таврийские степи далеким кружным путем — через заполярную тундру, где отбывал ссылку среди эскимосов, да через штрафной фронтовой батальон. Перед самой революцией его, раненого, вместе с другими привезли в Асканию, в лазарет. После выздоровления так уж и застрял здесь, берясь за любую работу, на митингах сбивая ораторов своими

ядовитыми вопросами. Местные эсеры и анархисты еще при керенщине не раз пробовали залучить студента к себе, соблазняли обещаниями, что у них, мол, он может выдвинуться даже в вожди, но Алеша — даром, что волосы до плеч, как у анархистов,— за почестями не гоялся, в керенские не метил и после своей тундры предпочитал принадлежать к «партии беспартийных». Однако, когда ударил чаплинский набат, Алеша одним из первых выразил желание стать в ряды тех, кто выступил на помощь восставшей Чаплинке. Неловкий, нескладный, с дьяконской гривой, он часто попадает в смешные положения, но, несмотря на это, повстанцы любят его, знают — в бою не подведет.

Подъехали к кургану, где вчера Сударь и Дерзкий хотели расправиться с греками. Вот здесь пленные отдыхали. Хлопцы, придержав коней, молча посмотрели на это место. Здесь бы, под курганом, пленным воронье сегодня уже и глаза повыклевало... Однако — не клюет!

И вдруг легко стало у них на душе. Резвясь, как мальчишки, взлетели на лошадях на самую вершину кургана. Видно отсюда полмира: и степь и море.

Алеша, неуклюжий, длинноногий, вытянув шею, не отрываясь смотрит куда-то в слепящую морскую даль, говорит о них, о греках:

— Где-то там их объеденная козами земля... Пустынные, каменистые острова... Представьте себе, хлопцы, город, где даже тротуары из белого мрамора... Мраморные ступени ведут на высокую гору... Это — Акрополь... Белые священные развалины... Оттуда все пошло...

Словно зачарованный причудливыми словами, как в полусне, рассказывает он Яреську и Янóшу о храмах каких-то богинь, о юноше, который хотел долететь до солнца, но не долетел — солнце растопило скрепленные воском крылья...

Взволнованные его речью, погруженные в мечты, что походили на сказку, двинулись они дальше.

— Настанет время,— говорил Алеша, словно думая вслух,— и мы придем друг к другу не как враги, а как друзья, как братья... Увидим тогда своими глазами Олимп, и древние Афины, и взнесенный в небо Акрополь, и странной покажется нам нынешняя вражда...

Ехали-ехали, и вдруг во все горло запел Яреськo:

Ой, пасіться, сірі воли, не бійтеся вовка,
А я піду у те село, де дівчина ловка!

Горланил на всю степь, казалось, хотел, чтоб его и в Чаплинке услышали... Янош, ехавший рядом, хохотал, и даже Алеша, косясь на него, дерущего глотку, скупо улыбался.

Под вечер заметили на море вдали чуть различимый силуэт корабля. Вскоре встретили верховых — знакомых повстанцев-пикетчиков, охраняющих побережье. Остановились, закурили.

— Ну как, дядько Самойло, не лезет Антанта?

— Близко не лезет. Видишь, заякорилась аж на самом гаризонте...

Попросив у пикетчиков бинокль, Яресько стал смотреть на «гаризонт». Грозная стальная гора встала перед ним, с серыми башнями, со страшными хоботами орудий на борту... Дредноут!

Молча посмотрели в бинокль все трое по очереди. Потом снова затрусили рысью — пикетчики своей дорогой, Яресько с хлопцами — своей.

Сколько еще потом ехали, а дредноут все маячил на горизонте, как призрак.

Когда вернулись в Хорлы, Дерзкий и Явтух Сударь уже были там.

Командир отряда напустился на Яреська:

— Ты их отпускал?

Яресько, на миг замявшись, ответил, что да, отпустил.

— Ну ладно,— успокоился Килигей,— а то я уже хотел им тут всыпать.— И, взяв из рук Яреська расписку о сданных греках, стал внимательно вчитываться.

XVIII

День за днем по-над морем, в бескрайних просторах, разъезжают конные пикеты, охраняют от дредноутов степь.

После того как отряд Килигея окончательно закрепился в Хорлах, на него, по решению губернских властей, была возложена охрана всего Черноморского побережья между Скадовском и Перекопом. Хлопцы теперь почти не вылезали из седла: на парные их пикеты легла ответственность за огромный край, с его всем ветрам откры-

тыми просторами, с голыми саманными селами, с его настоящим и будущим.

Опасность грозила ежечасно. О ней непрерывно напоминали и мрачные силуэты дредноутов, которые то исчезали, то снова появлялись на горизонте, и надоедливое стрекотание вражеских гидропланов, чувствовавших себя над Хорлами, как дома. Не проходило дня, чтоб хоть один из них не наведался в тополиный порт. Правда, хлопцы быстро привыкли к их посещениям и теперь не давали им спуску: встречали этих проклятых заморских коршунов яростным огнем из всех видов оружия.

Несмотря на сравнительно небольшие силы, отряд повстанцев чувствовал себя подлинным хозяином края. Степь патрулировали конные разъезды, а прилегающие к ней морские пространства бороздили быстрые, захваченные у Яникосты бронекатера.

Как-то в пасхальные дни команда одного из таких катеров пригнала с моря большое парусно-моторное судно, набитое узлами с барахлом и перепуганными одесскими буржуями, бежавшими от Красной Армии морем на Крым; сбившись ночью с курса, они и опомниться не успели, как оказались в руках партизанской «морской кавалерии».

Мрачно сходили буржуи по трапу на хорлянский берег, спотыкаясь в тяжелых своих шубах (будто щедрое пасхальное солнце уже не греет!), в блестящих дождевиках с натянутыми капюшонами (будто ждут дождя с ясного неба!).

Сошли, а вслед им полетели и тугие их узлы, за море приготовленное добро. От удара один узел лопнул на глазах у всех, и вылетели из него... куличи! Пышные, румяные, присыпанные сверху разноцветным горошком!

— Разговеемся! — весело загомонили бойцы.— Спасибо вам, православные!

Стали тут же отламывать, пробовать, и вдруг один из бойцов отшатнулся от своего куска:

— Эй! Они золото в хлеб позапекали!

И он показал товарищам свой ломоть: из сдобного желтоватого кулича, испеченного, видно, на молоке и яйцах, торчал кончик золотой цепочки с брелоком. Бойцы кинулись ломать остальные куличи и в каждом из них что-нибудь да находили: здесь дамскую безделушку какую-нибудь, там золотое кольцо, а то вместо

изюма вдруг поблескивал в пышной мякоти блестящий камешек.

— Стыда у вас нет, варвары,— укорял буржуев Хрисанф Кульбака, известный в отряде своей набожностью.— В святой хлеб камни запекать!

— Э! Да они не только в хлеб, они и в мыло!

Оказалось, что в куске самодельного, черного и клейкого, слепившегося в ком мыла кто-то из бойцов тоже обнаружил золото.

— Ишь, мыловары!

Буржуев обступили теснее, стали ощупывать.

— А под шубами тут у вас что? Свои пуза или, может, тоже контрабанды напихали?

Допрос был в самом разгаре, когда к причалу спустился Килигей с председателем местного ревкома, тем самым фронтовиком, что прыгал перед ним на деревяшке при вступлении отряда в Хорлы. Выяснив, в чем дело, Килигей презрительно поморщился, ковырнул носком сапога кучу давленого мыла:

— Додумались... Ну что же. Посадить их, пускай всё назад выковыривают!

Послушно сели буржуи, нахохлившись, стали выковыривать из мыла буржуйские свои побрякушки.

— Только у меня без фокусов! — предупредил Килигей.— Замечу, что валюту кто глотнет,— сразу требуху выверну! Теперь это не вам — это уже республике принадлежит!

В тот же день конфискованные ценности были отправлены в Херсон и сданы губернскому казначею по акту.

Как-то вечером Килигеева «морская кавалерия» подобрала в море, в рыбачьей байде, двух чуть живых крымских партизан из мамайских каменоломен. Оправившись немного в Хорлах, они рассказали повстанцам о страшных днях разгрома их партизанского отряда «Красные Каски». Организованный большевиками Евпатории партизанский их отряд долгое время успешно боролся против беляков и интервентов. В январе его окружили. С моря корабли интервентов блокировали каменоломни артиллерийским огнем. Под его прикрытием белогвардейцы стали взрывать динамитом входы, замуровали отдушины, а когда и это не сломило «Красные Каски», тогда контрреволюция пустила в подземелье удушливые газы.

То была жуткая минута, когда во тьме каменоломен по далеким подземным галереям вдруг пронеслось страшное, самое страшное за все время борьбы их отряда:

— Газы!

Люди бежали, задыхаясь, прижимали ко рту мокрое тряпье, падали, бились в страшных конвульсиях...

— Откуда ж у них газы? — угрюмо допытывались повстанцы.

— Англичане будто бы доставили в Крым... Всех бы нас передушили, если б могли.

В конце концов отряд вынужден был подняться на поверхность и принять неравный бой. Погиб в бою командир их отряда, большевик Иван Петриченко, а они только чудом спаслись в море...

Были они — кожа да кости. Лица такие, как будто всю жизнь провели под землей, без солнца и света.

Поглядывая на них, хмурились повстанцы, закипали злобою на врагов, которые душили этих людей газами на их собственной земле.

Килигей, выслушав их рассказ, долго неподвижно смотрел туда, в сторону моря из-под своих кустистых насупленных бровей.

«Вы нас газами душить, баржами в море топить,— словно говорили его глаза,— а мы, думаете, будем вам в рот смотреть? Нет, господа,— тяжело вздохнул он,— с вами у нас еще будет война. Настоящая с вами война еще впереди!»

XIX

Украина, на которую столько месяцев с моря целились жерлами своих пушек дредноуты, в портах которой всю зиму хозяйничали интервенты, была этой весной близка к полному своему освобождению. Еще по зимней пороше красные полки Щорса и Боженко вступили в Киев, заняв те самые казармы, которые так старательно драила петлюровская Директория для греков, зуавов и других антантовских войск. Выгнав Директорию, народной войной шли теперь с севера вооруженные рабочие и крестьяне, упорно очищая от врага родной край. По всему приморью клокотали восстания.

Слава килигеевского отряда быстро росла. Одно имя Килигея теперь нагоняло на врагов страх. О нем знали

в Крыму, о нем прослышали уже и на кораблях Антанты. Из глубины степей к Килигею прибывали все новые и новые группы повстанцев. Самые большие партии прибыли из Каховки, Серогозов, Днепровки, Ушкалки, Рогачика, Казачьих Таборов. Лепетихские партизаны прикатили с собой даже трехдюймовую пушку, и, хотя было к ней всего несколько снарядов, отряд торжествовал: есть теперь своя артиллерия!

Вскоре столько собралось партизанского войска, что решено было, не дожидаясь прибытия наступавших с севера регулярных красных частей, объединенными повстанческими силами ударить на Перекоп.

На Перекопском перешейке в это время хозяйничала крупная полуофицерская, полубандитская часть под командованием хорошо известного в этих краях полковника Леснобродского, карателя и авантюриста, который еще два месяца назад стоял за петлюровскую Директорию, а после ее падения перебрался с остатками своей части из Приднепровья в Крым, где под крылом иностранных дредноутов в это время отсиживались тысячи таких леснобродских.

Пригретый и обласканный новыми хозяевами, сменив петлюровские шаровары на французское галифе, Леснобродский вскоре появился со своими молодцами на Перекопе, на этот раз уже как поборник «единой, неделимой». Оседлав перешеек, отряд Леснобродского теперь то и дело тревожил оттуда степные села своими татарскими набегами. Несколько раз он пытался угнать в Крым стада из фальцфейновских и других имений, но партизаны каждый раз отбивали скот, за что Леснобродский сыпал на них с Перекопа проклятиями и угрозами.

— Поймаю вашего Килигея, на цепь посажу! В клетке его, как Пугачева, по Крыму возить буду!

— Спасибо за честь,— усмехнулся Килигей, когда ему это передали.

— Видно, здорово их там скрутило,— смеялись повстанцы,— когда уже полковники за воловьими хвостами по степи гоняются...

— Промышляют кто чем может!

— Будто бы и соль стали уже за границу продавать...

— Им бы теперь только вывеску на весь Крым: «Торгуем солью и отечеством».

Повстанческие силы стягивались к Перекопу. Оставив в Хорлах надежную береговую заставу, Килигей перебрался со своим отрядом на заброшенный фальцфейновский хутор, расположенный в степи как раз против Перекопа. Отсюда хорошо была видна линия Турецкого вала, который тянется через весь перешеек, и высокая белая колокольня, подымающаяся над городишком Перекопом. Единственное высокое строение на всю округу, колокольня поблескивала на перешейке, будто дразня всех разведчиков и дозорных. Килигею было известно, что противник установил на ней свой наблюдательный пункт.

Прежде всего надо было сбить оттуда кадетов, лишить их этого зоркого ока. Пришло время пустить в ход партизанскую свою артиллерию — лепетихскую трехдюймовку с ее тремя снарядами. Необходимо было найти артиллериста-виртуоза, который попал бы с такого расстояния в колокольню хотя бы одним из трех. Никто из партизанских артиллеристов не ручался, что ему это удастся. Вот тут кто-то из чаплинцев и вспомнил о капитане Дьяконове, о том, как Кулик и Оленчук расхваливали его артиллерийское искусство.

Килигей распорядился немедленно доставить Дьяконова сюда. В тот же день двое килигеевских хлопцев — один из них сын Оленчука — на тачанке примчали офицера вместе со старым Оленчуком из Строгановки прямо на позицию.

— Есть работа, ваше благородие,— обратился к Дьяконову Килигей, когда хлопцы привели офицера к пушке.— Вот вам случай искупить свою вину перед трудовым народом...

Дьяконов насторожился: к чему он ведет?

— Видите — маячит колокольня: надо рубануть по ней.

Офицер улыбнулся. Так вот оно что! Вот для чего галопом мчали его сюда! Нужен вдруг стал золотопогонник, понадобились его знания, его ум, его артиллерийское мастерство! Профессиональная офицерская гордость проснулась, заговорила в нем.

Глядя прямо в глаза Килигею, спросил с ожившими вдруг неприятными офицерскими нотками в голосе:

— Так чем могу служить?

— Сбейте нам эту их шапку.

— Разве среди вас нет артиллеристов?

— Артиллеристы есть,— выступил вперед Житченко,— да только беда — снарядов у нас в обрез: Антанта, знаете, нам не поставляет.— Он открыл снарядный ящик:— Видите? Раз, два, три. И все.

Дьяконов, взяв у ближайшего из бойцов бинокль, привычным движением навел его на перекопскую колокольню. Пока смотрел, бойцы напряженно следили за ним, и им показалось, что офицер чуть заметно улыбается белому своему Перекопу. Терпеливо ждали, что он скажет. А он, в своем вылинявшем английском френче, все смотрел туда, на своих, потом небрежным офицерским жестом вернул бинокль бойцу.

— Ну как? — спросил после паузы Килигей.— Можно сковырнуть?

— Думаю... можно.

— Одним из трех?

— Одним из трех.

Бойцы, оживившись, зашумев, стали подтрунивать над своими артиллеристами. Даром, мол, хлеб едите, поучитесь хоть у ихнего благородия, как надо стрелять.

— Однако дело в том...— заявил вдруг Дьяконов.— Дело в том, что стрелять туда я... не буду.

Этого никто не ожидал. На миг воцарилось гнетущее молчание.

— То есть как это — не будете? — темнея, спросил Килигей.— Вы что — барышня, которую нужно уговаривать?

— У нас, знаете, разговор короткий,— вмешался, еле сдерживая ярость, Баржак.— Кто не желает склонить голову перед трудом, тому наклоним, а которая не наклоняется, ту снимем!

— Дело ваше,— спокойно возразил Дьяконов.— Только силой вы меня не заставите.

Стоявший в стороне Оленчук поймал на себе колючий, укоряющий взгляд Килигея: «Так вот оно какое твое благородие? Пригрел змею на груди?»

Повстанцы, окружив Дьяконова, уже поглядывали на него с неприкрытой враждебностью, с гневом и презреньем. Контра! На плечах погонов нет, а в душе таки золотопогонником и остался!

— Натуральная контра! — кинул из толпы Дерзкий.— Я еще тогда это говорил. Ишь какой чистоплюй: рука у него на своих не подымается.

— А вы что, и на своих могли бы? — бледнея, обернулся к нему Дьяконов.

— Не там вы своих ищете, ваше благородие,— укоризненно пробасил Житченко.— Свои-то свои, да только в чьих они штиблетах?

Килигей хмуро разглядывал офицера, как бы решая, что с ним делать. Потом, уже отворачиваясь, казалось, сразу утратив к Дьяконову всякий интерес, бросил с пренебрежением:

— А я еще думал... Вот они, штиблетные патриоты...

При этом, последнем слове Дьяконова как будто передернуло всего. Он стоял бледный, с горькой, застывшей на лице болезненной гримасой. Ждал, что Килигей еще, может, скажет что-нибудь, а тот уже повернулся спиной, отошел к пушке. Дьяконов хорошо понимал, что значило в такой ситуации повернуться к нему спиной... «Убьют, убьют»,— стучала мысль. Достаточно теперь Килигею сделать малейший знак рукой, достаточно повести бровью, и уже его, Дьяконова, нет,— возьмут под конвой, отведут в сторонку, не очень даже далеко, и заставят самого рыть себе яму. Яма! Вот здесь, в виду Перекопа. Через каких-нибудь полчаса наступит конец всему — солнцу, революции, сомнениям, белой перекопской колокольне...

Какие-то широкоплечие парни уже понемногу, будто ненароком, оттирают его в сторону, кажется, безмолвно толкают куда-то в небытие, в никому не ведомый вечный мрак... Случайно встретился взглядом с Олейчуком, который, ссутулившись, стоит в сторонке, где-то далеко-далеко — шагах в десяти от него. С глубокой грустью, укором и разочарованием смотрит он оттуда на Дьяконова, смотрит уже как на погибшего.

Все, однако, ждут, что решит Килигей, ждут, что вот-вот он подаст знак. Суровый бессловесный знак... И Килигей наконец подал его. Махнул рукой:

— Все, кто в артиллерии служил, ко мне!

Угрюмые мужики в латаных пропотелых сорочках, с жилистыми загорелыми шеями начали протискиваться вперед, столпились вокруг Килигея, вокруг пушки. Даже Олейчук двинулся туда... А он, Дьяконов? Что же будет с ним? Точно забыли о нем, точно он уже для них не существует...

— А как же с этим? — кивнув на Дьяконова, через головы обратился Дерзкий к брату.— Кому прикажешь ликвидировать?

Густые брови Килигея сурово сошлись на переносице.

— Откуда взял — ликвидировать? В шею — и на все четыре!

Дьяконов сам себе не поверил: в шею! В шею! Не может быть! Неужто это о нем? Значит, его не убьют! Его — и на все четыре стороны?!

Повстанцы тоже, видно, были в недоумении.

— Как? Живым выпустить?

И снова тот же Килигеев голос:

— А что ж? Пускай чешет к своим — живая прокламация будет. Пусть посмотрят, какую он морду тут, у нас, наел... на твоих, Оленчук, харчах.

Кровь ударила Дьяконову в лицо. Вдруг встала перед ним Оленчукова хата и дети, которые, поблескивая голодными глазенками, делятся с ним последним куском... Ждут, как изголодавшиеся зверюшки, пока его благородие пообедает, а потом наперебой кидаются подбирать после него крошки на столе.

— Чего ж вы стоите, благородие? — уже издеваясь, бросил кто-то из толпы.— Не слышали, что ли? Топайте, вам сказано. Собачьей рысью на Крым!

— Антанта новое галифо даст!

Под градом насмешек Дьяконову стало вдруг душно, жарко. Они смеются над ним! Они уже смотрят на него свысока! Это было слишком. Хотелось немедленно, тут же взять над ними верх!..

Растолкав бойцов, он решительно шагнул к пушке:

— Снаряд!

Мигом поднесли ему снаряд. Сам заложил, сам навел, молча взялся за шнур.

Первый снаряд разорвался недалеко от колокольни.

Послал второй...

Второй ахнул в самую колокольню, подняв облако пыли.

— Вот это всадил! — зашумела молодежь в восторге. — Так бить — поучиться надо!

Еще долго вокруг пушки стоял довольный гомон, а Дьяконов, вытирая руки, молча отошел в сторону, не испытывая никакой радости от своего успеха.

XX

Ослеп после того Перекоп. Лишенный самого выгодного своего наблюдательного пункта, не видел больше, что делается в загадочных просторах повстанческих степей...

А там уже всё в движении, будто поднялось кочевать повстанческое войско. Дрожит в вечерних сумерках земля, играют под всадниками кони, щелкают в воздухе бичи, с мощным величавым топотом идут из степных имений, тучами надвигаются на Перекоп стада круторогих.

Что за странное такое передвижение? Почему в эту ночь даже скоту не дают покоя?

Началось это после того, как была сбита с Перекопа его белая шапка, и Оленчук, отозвав Килигея в сторону, долго что-то толковал ему, рисуя рукой в воздухе размашистые вензеля.

Всю ночь из близких и далеких имений гонят теперь верховые к Перекопу стада, всю ночь над степью — хлопанье бичей, тяжелое сопение, идут и идут волы, покачивая на разлогих своих рогах звездный купол неба.

На рассвете перекопские часовые забили тревогу, в панике подняли на ноги еще очумелого с ночного перепоя полковника Леснобродского.

— А? Что такое? Килигей? Где Килигей?

— Килигей!

Из степи надвигалась зримая смерть. Раскинувшись до горизонта, поигрывая над папахами оголенными саблями, мчались впереди конники Килигея, а за ними, сколько охватит глаз,— сабли! сабли! сабли!.. Заполонив всю степь, властно выплывали они из дымки степного рассвета, надвигаясь все ближе на перешеек, и не было им ни счету, ни удержу: казалось, сто тысяч казаков поднялись и идут в атаку на Леснобродского и его гарнизон.

— Шрапнелью! Огонь!

Ударили по наступающим шрапнелью. Передняя лава сразу рассыпалась, точно в землю провалилась, а вместо нее шла, приближалась... туча серых круторогих волов.

Полковиик Лесиобродский, стоя на батарее, недоумеино протер запухшие после иочиой попойки глаза. Не до чертиков ли он уже допился? Ведь только что были повстанцы, и вдруг... Неужто они прямо на глазах в волов обериулись? Сто тысяч круторогих, серой украииской породы? Было что-то грозное и иеотвратимое в их величавом шаге, просто не верилось, что это идут и идут, окружая Перекоп, те самые, что годами ходили в скрипучих ярмах по помещичьим землям, те, которых полковник не раз пытался угнать из степиых таборов в Крым, чтобы перепродать в Севастополе корабельным закупщикам. Получил бы за степиую говядину и доллары, и фунты, и греческие, на всякий случай, драхмы!.. А теперь вот дрожит под их копытами перешеек. Точно живые степные дредноуты, иадвигаются могучие, бесстрашные, неодолимые... А лохматые чабанские шапки килигеевцев уже мелькают где-то за иими, за воловьим авангардом, словно глумятся иад господииом полковником, что на глазах у всех так опростоволосился.

— Прямой наводкой огоиь!

— По волам, вашбродь?

— По волам!

Ударила по гуртам батарея, задымилось кровавое месиво, поднялся неистовый рев, встала пыль... Не предвидел полковник самого страшного, того, что ему мог бы подсказать любой пастух: запах свежей крови подействовал на животных, как громовой удар, разбудил в смирных волах дикого, разъяренного зверя. Рассвирепевшие гурты, обезумев, понеслись вперед, запрудили собой весь перешеек, в тучах поднятой пыли, с грозным топотом, с трубным ревом устремились на Перекоп. Не нашлось у полковника такой силы, что могла бы сдержать эту лавину, не было у него такой власти, чтоб погнать своих подчинеииых на этот рогатый живой ураган! Кинулась врассыпную батарея, а кто замешкался, того закололи, затоптали на месте.

Сам полковник, вскочив в седло, едва успел вырваться с группой офицеров за Турецкий вал. Там уже в бессильном бешенстве метались господа офицеры, видя, как хохочут на конях, позади воловьего войска, белозубые, покрытые пылью степняки.

XXI

Недолго удержались белые и за Турецким валом: как раз в эти дни подошли с севера регулярные красные части под командованием матроса Дыбенко, подошли со стороны Чонгара эшелоны Интернационального полка и, установив связь с таврийскими повстанцами, вместе ворвались в Крым.

Гнали беляков без передышки. Вихрем пролетели степной Крым, одним ударом освободили Симферополь, за которым уже открылись глазам крымские горы, вставшие на небосклоне мягкой синеватой грядой. Подошли к Севастополю, а навстречу город уже гудит призывными гудками — бастует севастопольский пролетариат, на улицах манифестации, братание с иностранными матросами...

Солнце и море! Песни и флаги!

Братался в эти дни и Яресько с французскими моряками, в обнимку ходил с ними — марсельцами, алжирцами, корсиканцами — под красными знаменами по залитому солнцем Севастополю. Никогда в жизни он столько не пел.

— Ты понимаешь, — изливал Яресько душу своему новому другу, маленькому французскому матросику-кочегару. — Никогда мы не знали свободы, ни мы, ни отцы наши, и вот теперь вдруг... вольные, как птицы! Понимаешь?

И тот весело кивал в ответ: понимаю, мол, понимаю...

Триумфальным маршем шли в эти дни красные войска по весеннему цветущему Крыму. Карой народной врывались загорелые степовики на белые буржуйские виллы, с песнями пролетали верхом по царскому побережью, высоко над морем... Мимолетным сном представлялось им сказочное это побережье, сияющее морской синевой внизу, с шеренгами высоких, вечнозеленых кипарисов, стройностью своей вызывавших у многих из них воспоминание об оставленной — там, далеко — красе родных тополей.

Казалось, никогда не кончится этот светлый весенний поход. Передовые части красных подходили уже к Керчи, когда вдруг на их пути встал непроходимый барьер: у станции Акмонай противник соорудил целую систему укреплений, поддерживаемую с моря непрерывным артиллерийским огнем кораблей Антанты, в част-

ности английской эскадры адмирала Сеймура. Образовался Акмонайский фронт. Уничтожающий огонь береговой артиллерии не давал возможности прорвать укрепления[1].

Как раз в это время, далеко за спиной, в просторах степной Екатеринославщины, взбунтовался Махно, открыл фронт перед деникинскими добровольцами.

Пришлось спешно повернуть коней назад.

XXII

Как на галопе прошли кнлнгеевцы Крым, так на галопе и выскочили через Перекопский перешеек обратно в степь, едва успев вырваться из крымского мешка.

Крым остался позади.

Вся Таврия в это время была уже в тревоге, замерла в оцепенении под зловещими деникинскими тучами, надвигавшимися с востока. В воздухе чуялась близкая гроза. Подымала по городам голову контрреволюция, наглело в степях кулачество. Из охваченной пламенем пожаров Мелитопольщины, из разгромленного союзническим флотом Геническа, из десятков степных волостей, истекая кровью, отступали на запад поставленные на колеса красноармейские лазареты, потрепанные в боях караульные команды, беженцы. Туда же, к днепровским переправам, партизанские пастухи гнали из степных имений отары овец, волов и рабочих верблюдов. Каждому из отступающих Днепр казался в эти дни тем спасительным рубежом, который задержит деникинскую казачню, остановит беду.

Через перешеек вывел отряд из Крыма — вместо Килигея — Баржак. Килигей в последних боях был ранен пулей в грудь навылет, и еще не известно было, выживет ли он. Сейчас его везли на командирской тачанке, погруженного в полузабытье.

Отступали старинным перекопским трактом, который проходил как раз через Чаплинку, деля ее на две части, так что пройти мимо повстанческой своей столицы было невозможно, хотя на сей раз Баржак охотно сделал бы

---

[1] «Действиям британского флота мы в значительной мере обязаны тем, что эти позиции были удержаны»,— вынужден был позднее признать деникинский генерал Лукомский. *(Примечание автора.)*

это. Тревожные мысли не оставляли Баржака с того самого момента, как отряд вошел в полосу чаплинских земель и по обе стороны зашумели молодым колосом чаплинские нивы.

Была ночь, лунная, ясная, с ветром. То ли эта светлая бескрайняя ночь, то ли густые, волнующиеся под ветром хлеба, что, поднявшись за время их отсутствия, так изменили облик родных мест,— только все, к чему с детства привык глаз, предстало сейчас, в лунном сиянии, каким-то не похожим на себя, все было проникнуто суровым очарованием, точно люди вдруг очутились где-то среди взволнованного незнакомого моря... Сколько видит глаз, блестят колеблемые ветром хлеба, сколько слышит ухо — шумят, переливаясь под призрачным лунным светом. Выкинули колос, наливаются, зреют... Как выросли, как поднялись они здесь, пока отряд ходил в свой крымский рейд!

Баржак едет впереди колонны нахмуренный, губы его горько сжаты. Изредка оглядывается: за ним сутулятся в седлах конники, едут тачанки, тянется шляхом между хлебов артиллерия — добытые в Крыму французские гаубицы... В передней тачанке везут Килигея. Он с самого вечера мечется в жару, рубашку на себе порвал, хрипит: «В капусту их кроши! В капусту!» Жутко ехать рядом с ним.

А вокруг вся ночь полна мерного шума хлебов, их разреженного ветром аромата. Давно не было такого урожая. Будут и копны обильные, и снопы богатые... Косарей бы теперь только, косарей, а косари — в седлах. Баржак подавил вздох. До самого небосклона, до самого месяца разлив урожая, а собирать кому? Думалось, до жатвы и пошабашат с войной, а не вышло. Так и было бы, в эту весну с войной покончили бы, если б не раздувала огонь Антанта. У себя на груди взлелеяла она белогвардейские полчища. Без ее помощи не удержаться бы им! Только и оставалось их, что за Акмонаем... А теперь? На сколько же теперь все это затянется? Опять придется брать Перекоп, только во второй раз Оленчуковой воловьей атакой его уже не одолеешь.

Притихшие, задумчивые едут среди хлебов повстанцы. Отпустили поводья, сгорбились от дум, а хлеба касаются седел, льнут и льнут ласковым колосом прямо к рукам. Полынью да васильками позарастали межи.



Нетрудио было Баржаку догадаться, что творится сейчас в душах его бойцов. Все одна мысль грызет: ие растаял бы в Чаплиике отряд. Отдал приказ пройти село без остаиовки, ио у всех ли хватит выдержки проехать под родными окиами и не забежать домой? А стоит лишь забежать, стоит лишь иа миг почувствовать себя человеком домашиим, человеком, которому никуда можио больше ие идти...

Такая ветреная, такая луииая, такая тревожная ночь! И у миогих ли в такую иочь хватит сил вырваться из судорожиых жеиских объятий, у миогих ли хватит сердца оттолкиуть от себя детей, заливающихся плачем, и, бросив их на произвол судьбы, уйти неведомо куда, иеведомо иа сколько?

Баржак знал, что есть в отряде такие настроеиия,



чтоб дальше Чаплинки не отступать, рассыпаться, пересидеть лихой час в хлебах и по сеновалам, а если туго придется — снова поднять восстание, создать в деникинском тылу свою, чаплинскую, республику... Брат Килигея, Антон, не далее как вчера разглагольствовал на этот счет. Но партийный приказ Баржаку был — отступать с отрядом за Днепр, вести его на защиту красного Херсона, а сколько своих бойцов он туда приведет, уж это покажет сегодняшняя ночь. И никакими уговорами тут не уговоришь и никакими угрозами не испугаешь, так как сила отряда как раз в его добровольности, в том, что до сих пор каждый действовал так, как ему подсказывала его революционная совесть.

«Разбегутся или нет?»— с этим обращенным к самому себе вопросом Баржак ввел отряд в Чаплинку.

Была она какая-то необычная в этот поздний час, в эту ветреную ночь, среди колышущихся хлебов, окутанная таинственными тенями и лунной дымкой.

Баржак ехал впереди серединой дороги, настороженно прислушиваясь к тому, что делается в колонне за ним. Слышал, как глухо ударило копыто о землю, затрещала акация, захрапел чей-то конь, прыгнув в сторону через канаву; слышал, как вслед за тем стали молча отделяться другие — один сюда, другой туда, тайком, по-дезертирски, скрываясь по дворам, за хатами, поветями в потемках тенистых улочек. Слышал, как тают его силы, как одного за другим поглощает его бойцов взбудораженное ветряным шумом село, все слышал, но ни разу не оглянулся.

В разбуженной Чаплинке тем временем уже поднялся гомон, где-то плакали женщины, дети. Как по ножам, ехал Баржак сквозь терзающую эту печаль, и в горьких ночных причитаниях слышались ему голоса его собственных детей, что с надрывным плачем, казалось, взывали к нему: «Татку, куда ты? Куда?»

По всему селу вспыхивали в окнах огоньки, видел Баржак, как блеснуло вдруг, засветилось и в его оконце. Хата его всего за несколько дворов от дороги, и, когда поравнялись со знакомой улочкой, конь его сам попробовал завернуть туда, но Баржак, сердито дернув за повод, снова направил его на шлях.

Он ехал, все еще чувствуя за собой колонну, которой уже, собственно, не было.

При выезде из села наконец оглянулся... Горсточка! Словно после тяжкого боя поредел отряд! Повесив головы, молча ехали за ним каланчацкие, хорлянские, брели рядом с орудием лепетихские, а чаплинские... Рассеялись, как тени, кто куда. Ненадолго же вас хватило, однако! Злоба душила его. «Дезертиры! Стихийщина!» Хотел бы жесточайшей бранью хлестнуть им в лицо, хотел бы стоголосым криком рассечь воздух, чтоб созвать их всех, чтоб всех вернуть в колонну... Ищи их теперь! Где-то, верно, зарываются в сено по чердакам... До утра в хлебах, как перепела, попрячутся... Ну, пускай их там разыскивают деникинские шомпола, он никого искать не станет. Лучше отыщет среди других золотое оконце своей хаты, где его напрасно ждет сейчас жена, ждут дети, разбуженные гомоном взбудораженного села...

Уже и в степь вывел свой до неузнаваемости поредевший отряд, а все видел позади золотое оконце, что так и не дождалось его в эту прощальную ночь.

XXIII

Среди тех, кто при въезде в Чаплинку украдкой свернул со шляха в тень акаций, был и Яресько. Перемахнул на коне через ров, заросший чапыжником, миновал один двор, другой, тихонько постучал в низенькое перекошенное оконце... Увидел, как метнулось за окном в волнах распущенных кос бледное при лунном свете лицо, стукнула деревянным засовом дверь, и вот появилась на пороге знакомая девичья фигурка. Сердце его готово было выскочить от волнения.

— Данько! Откуда? — с радостным испугом крикнула Наталка, пораженная его неожиданным появлением.

— С неба свалился,— пошутил Данько и, соскочив с коня, приблизился к девушке пьяным шагом всадника, отвыкшего ходить по земле.

Наталка глаз не могла от него отвести. И свой, такой желанный, и вместе какой-то страшный, возмужалый, в этой косматой — как у Килигея — папахе... Похудел или вырос? Весь как-то вытянулся за это время, прядь русых волос лихо выбивается из-под шапки, вылинявший, с нагрудными карманами френчик так славно сидит на нем... На боку еще обнова: сабелька поблескивает...

— Кубанская,— заметив Наталкино любопытство, хлопец коснулся сабельки рукой,— в бою, брат, добыта.

— Какой же я тебе брат?..

— Ну, сестра...

Они засмеялись.

Конь — весь в поту. Терпким, горячим духом несет от него. Таким же духом веет и от всадника, но девушке приятен этот дух.

— А мы уж вас тут ждем-ждем,— тая от волнения, говорит она и сама прислоняется к его груди.— Полсвета, должно, облетали?

— Эх, где нас только не было! — Он с неловкой, грубоватой нежностью обнял ее. — По таким горам носило,

на такие подымало вершины, что словно в раю побывали! А небо какое там! Синеет, ну совсем над тобой — встань в стременах и рукой достанешь!

— Снились мне те горы, Данько...

— Далеко они теперь... Скинули нас оттуда, как архангелов. Ну, мы духом не падаем.

— Серогозы вон уже, говорят, калмыки заняли...

— Да, здорово напирают черти. Казачня, офицерье прет, с английскими советниками при штабах... А там еще Махно взбунтовался, черный свой флаг выкинул...

— И куда же вы теперь?

— За Днепр, больше некуда.

Она прижалась к нему, съежилась вся и сразу стала какой-то маленькой, беззащитной.

— Данько, а вы... вы надолго от нас?

Надолго ли? Кабы он знал! Кабы он мог так сделать, чтоб никогда уже больше не разлучаться с нею... Глянул в ее широко открытые, такие близкие, такие доверчивые очи, и все в душе у него перевернулось от боли. Совсем бледная стоит под луной, такой он раньше никогда ее не видел. Голова склонилась на плечо, и коса лежит на шее, наспех свернутая тяжелым узлом, как у замужней... Вот он уйдет за Днепр, и останется она здесь беззащитной, и чьи-то загребущие руки потянутся к ее девичьим косам...

— Недаром же снилось мне вчера,— вздохнула дивчина,— точно черный дождь над степью идет... Черными, как деготь, потоками с неба — на хлеба, на хаты, на меня... Вот он и есть черный дождь — наша разлука.

До шляха она провожала его огородами. Шли стежкой и видели оседланных коней во дворах и слышали громкий плач в настежь отворенных дверях. Ветер шелестел подсолнечниками, шуршал листьями кукурузы на огородах, и вся Чаплинка была в ветряных шумах, в легком текучем сиянии, что переливалось, как свадебная фата.

Когда вышли уже за околицу, туда, где тянулся ров и заросли чапыжника, когда придорожные акации тенью своей заслонили их от луны, девушка вдруг остановилась, обернулась к Даньку, в жарком порыве повисла у него на шее:

— Не пущу!

Она, казалось, потеряла голову. Исступленно осы-

пала его поцелуями, льнула к нему всем телом, и он чувствовал, как и сам теряет уже над собой власть, как растет в нем жгучая сила, буйная, необоримая нежность к ней. «Наталонька! Горлинка моя! Серденько!» Самые нежные для нее были у него слова, всю весну вынашивал их в походе, слышал их шепот в степи, когда ехал сюда, а теперь не мог произнести, застревали в горле. А она уже билась у него на плече, плакала, и сквозь плач ее, сквозь шум ветра он услышал вдруг невозможное, точно пригрезившееся, точно нашептанное ветром:

— Ничьей... Только твоей, твоей пусть буду!

Страшно и радостно стало ему за себя, за нее. Словно стебелек гибкий, была она в грубых его руках, что с нестерпимой нежностью сами уже тянулись к ней, рвали полотно сорочки, безудержно голубили ее тело, горячее, как огонь, и такое доступное ему впервые в жизни...

Шум катился над ними, когда они снова пришли в себя. Подсолнечники и кукуруза шумели, а казалось — лес. Поблескивает седло на коне, когда луна проберется сквозь ветви акаций... Конь стоит рядом, поглядывает на них как-то искоса, грызет сквозь удила бадыль, сердится. Все это будто сон, нельзя поверить — и листья подсолнечников над ними, и конская морда, и шум ветра вверху. Луна такая странная, и так странно шумят подсолнечники над головой. А они лежат опьяневшие, лежат в гущавине огорода, под придорожными кустами... Арбузные плети вокруг, пахнет сухая земля...

Данько повернулся к ней лицом. Белое, бесстрашно обнаженное тело светилось под луной. А она, не стыдясь уже ни его, ни коня, ни луны, лежит усталая от ласк, плачет, улыбаясь, и, кажется, вся еще там, в той вихревой пропасти счастья, куда они только что провалились... Данько смотрел на нее, и от безмерной нежности, от безмерного чувства любви к ней таяло сердце, захватывало дух. После всего, что произошло, он точно и сам вырос в своих глазах: муж! Теперь он ей муж! Таким доверием, таким неизмеримым счастьем наградила она его здесь, под ветряные шумы чаплинские, у придорожного колючего куста... И теперь бросить ее? Одну? В чужие руки? Деникинская казачня вот-вот захватит село, ворвется и сюда, кто ее здесь защитит? Или — с собой, в седло? Но в отряд женщин не разрешается брать. А взял бы! Подхватил и помчал бы куда-нибудь,

где нет никого-никого! Чтоб одно только небо над ними да высокие в синей дымке горы кругом, как там, в Крыму, за Симферополем...

По всему селу не утихает тревожный гомон. Двое верховых промчались шляхом. Протопотало, замерло... Данько вскочил, поймал за уздечку коня, который повернул было голову тем двоим вслед...

Подошла Наталка, поправляя косу, не глядя в глаза, прижалась к груди Данька:

— Не забудешь меня?

Он крепко обнял ее на прощанье:

— Пока жить буду...

Ветви акаций грустно шумят над дорогой, роняя на гриву коня свой привядший цвет.

Через минуту она уже одна стояла посреди шляха, глядя, как взвилась при луне пыль из-под копыт. Пыль... Пыль сейчас встает, а может, еще и снега заметут его след... Хоть бы оглянулся, хоть бы оглянулся еще раз!

Данько оглянулся. Блеснул луне зубами, и это вознаградило ее за все.

...Своих Яресько нагнал уже в нескольких верстах от села, когда и луна уже улеглась в безбрежные, волнуемые ветром хлеба и потемнело кругом. Догнав, молча пристал в конце колонны к тем, что тащили пушки. Сейчас партизанская артиллерия поразила его своим видом. Голодная, бесснарядная, она, и отступая, казалось, словно бы грозилась кому-то, целилась на Перекоп.

Прошло некоторое время, снова застучали на дороге копыта, и, догнав колонну, пристроился к ней еще кто-то — украдкой, молча, виновато. Потом еще догоняющий топот, и еще...

К Каховке отряд подходил уже в полном своем составе.

XXIV

В районе Каховки килигеевцы вошли в соприкосновение с деникинскими авангардами. Завязались бои. Сдерживая противника, рвавшегося вперед, чтобы захватить днепровские переправы, отряд повстанцев не только оборонялся, но и сам наносил удары, в результате чего ему удалось выбить противника из нескольких степных хуторов за Каховкой.

Неудержимо, как степной, подгоняемый ветром пожар, надвигалась беда. С каждым днем главные силы деникинцев подходили ближе и ближе.

Как-то под вечер бригада генерала Ревина ворвалась в Серогозы. Застигнув не успевший отступить красноармейский лазарет, размещенный в тени акаций возле школы, казаки с налету стали топтать лошадьми живые тела, лихо приканчивая шашками тяжело раненных, не способных даже подняться бойцов. При этой оказии чуть не зарубили заодно и молодую учительницу Светлану Ивановну Мурашко, которая, не помня себя, кинулась в самое побоище защищать раненых, безоружных людей и которую поэтому озверелые рубаки сгоряча приняли за сестру милосердия.

— Сестра? — И уже трещит белая блузка под обжигающими ударами плетей.

— Комиссарка? — И чей-то дымящийся свежей кровью клинок взвился над девичьей головой.

Спасли учительницу школьники. С криком скатились к ней с крыльца насмерть перепуганным табунком, облепили, заслоняя, как мать родную.

— Это не сестра! Это учительница наша!

— Сестра я, сестра! — рыдая, выкрикивала учительница, исступленно кидаясь на оторопевших вояк.— Убивайте, рубите и меня, звери вы, палачи, изверги!..

Подъехал калмык-есаул, и казаки, насупившись, молча расступились перед ним.

— Закопать! — указал есаул нагайкой на зарубленных и, гарцуя на коне, приблизился к учительнице.— Ну-с, чего нюни распустила, красотка? Жалко? Милосердие душит? А если б наши головы здесь валялись? Нюнила б, пролила б по мне слезу, а?

— Не трогайте! — отчаянно крикнул кто-то из ребят.— Это учительница наша, Светлана Ивановна...

Есаул как будто только сейчас заметил детвору.

— А вам что здесь надо? Кыш отсюда, комбедовское отродье!

И для пущего эффекта сделал вид, что вытаскивает из ножен саблю.

Дети бросились врассыпную.

Светлана с красным, распухшим от слез лицом повернулась к есаулу:

— Герои... Раненых добиваете, с детьми воюете!

— Испугалась? — захохотал есаул, все наступая на девушку на своем гарцующем коне и вытаскивая саблю.— Да я же шучу! Я не страшный!.. Кто посмеет обидеть эту прелестную золотую головку? — И, перегнувшись с седла, он ловко поддел кончиком сабли у самого уха Светланы золотистый завиток.— Позволь чикнуть себе на память этот хорошенький локон...

Девушка отшатнулась, гневно выпрямилась:

— Мои локоны не для вас!

— Да-а? — есаул на миг осекся.— Не для нас? А для кого же?

И не успела девушка отскочить, как сабля мелькнула у ее груди легким, молниеносным росчерком... Посыпались пуговицы.

Казачня захохотала.

— Поняла, как у нас делается? — пряча саблю, победоносно выпрямился в седле есаул.— И сорочка цела, и блузка цела, а кнопки все сразу расстегнуты! Возьмешь такого молодца на постой?

Светлана, бледная, прикрыла руками грудь:

— Сырая земля тебя возьмет...

Видели дети, как есаул подал знак своим спешившимся головорезам и они, подкравшись из-за спины, схватили учительницу за руки и с гоготом повели-поволокли по ступенькам в школу...

В это время к школе подъехал со своим штабом генерал, командир бригады.

— Что за бесчинство? — указал он на груду тел.— Снять бинты! Сжечь! Мы раненых не убиваем!

А услышав донесшийся из школы девичий крик, сердито послал адъютанта узнать, в чем дело.

— Здесь будет мой штаб,— кинул, соскакивая с седла, и, не ожидая возвращения адъютанта, торопливым шагом направился к зданию.

...Белая акация цветет вокруг школы. И хотя пышные, сверкающие кисти заметно привяли за день, покрылись поднятой копытами пылью, к вечеру они снова неудержимо заструили свой густой, пьянящий аромат, протянули белые гроздья к распахнутым настежь окнам... Из открытых окон несется рев граммофона, ему подтягивают пьяные голоса:

...Дам коня, дам кинжа-ал,
Дам винто-о-вку сво-ю...

Веселится, гуляет офицерье.

А когда совсем стемнело и пьяный рев стал еще громче, бессвязнее, от штабной коновязи под акациями у школы незаметно отделился всадник, неслышно выскользнул в степь и устремился куда-то в сторону Днепра. Мелькнул, как тень, бесследно растаял во мраке теплой июньской ночи.

Далеко в степи старые пастухи видели потом этого необычного всадника: девушка сидела в седле.

Проскакав мимо них, мимо их пригасшего костра, на миг придержала коня, спросила:

— На хуторе Терновом кто?

— Покуда наши.

— Вы точно знаете?

— Точно, дочка, точно... Врать не станем.

— Спасибо!

И снова ринулась сквозь тьму дальше, прямиком к хутору Терновому, на добром калмыцком скакуне.

Глухой ночью той же степью по направлению к Серогозам беззвучно двигалась конная колонна. Шли на рысях, однако ни стука, ни топота не слышно было: как по мягкому ковру, ступали кони, бесшумно катились пулеметные тачанки. Присмотревшись, можно было заметить, что копыта лошадей старательно обернуты войлоком, колеса тачанок — сеном и шерстью.

На одной из тачанок, кутаясь в грубый крестьянский платок, сидит Светлана Мурашко. Бойцам, едущим за тачанкой, даже сквозь ночную темь видно, как смертельно бледно ее лицо. Съежившись, будто ее знобит, равнодушная ко всему, застыла в немом, суровом оцепенении. Широко открытыми, налитыми горем глазами смотрит на степь, на далекие зарева, неподвижно багровеющие слева и справа в необъятном море тьмы.

То, что пережила Светлана в эти последние несколько часов, казалось ей немыслимым, кошмарным сном, все живое в ней словно выветрилось, осталась лишь пустая оболочка. Ее сил, ее возмущения, ее страшного горя хватило только, чтоб вырваться от деникинцев, чтоб, добравшись до своих, передать им все, что она не могла им не передать... Затем наступила эта опустошенность, полное оцепенение души, равнодушие к себе и другим. Рассказывая Баржаку о зверстве калмыков, отвечая на вопросы разведчиков о том, что ей своими глазами дове-

лось увидеть в деникинском штабе, Светлана будто передала другим и тяжесть своей боли и огонь своей девичьей мести.

Что ей теперь остается? Как она теперь будет жить? Стать красной маркитанткой? Сестрой? Или наган в руки и воевать? Еще вчера ей в голову не могло прийти воевать, никогда не думала об этом, считая, что всякое убийство — преступление. Всем сердцем полюбила школу, полюбила детвору — им, таким жадным к знанию мальчикам и девочкам, хотела посвятить свою жизнь. Серогозы — глухое, закинутое в степь село, с ним связала она свою судьбу... Легендами, из уст народных услышанными, увлеклась... Рассказывают, когда-то, в давние времена, появился на Сечи какой-то испанский гранд, еле спасшийся из захваченной маврами Сарагоссы. Здесь, на Сечи, стал набирать рыцарей-запорожцев, чтоб помогли выгнать вон мавров, вернуть Сарагоссу испанцам. Несколько сотен их согласилось поплыть на байдах через море в далекие невиданные края. Поплыли, напали ночью на завоевателей, выгнали из города. А вернувшись на Сечь, все они, герои Сарагоссы, вместе поставили зимовники в степи и назвали их в память похода: *Серогозы*. Легенда? Но молодой учительнице хотелось верить в нее.

Там, в сельской, вьюгами исхлестанной школе, прошла для Светланы первая трудовая зима... Волки воют в степи, буран сечет землю, бьет в окно снегом пополам с песком... А ты до поздней ночи сидишь, склонившись над тетрадками и книгами, и тебе так хорошо-хорошо... Теперь все это светлое где-то в прошлом, как в прошлом осталась и она сама, энергичная, веселая, полная кипучей жизни, мечты, идеалов. Все промелькнуло, как сон, скрылось за черным кошмаром, на все сейчас смотрит она безучастно с высоты своего непоправимого горя.

Подхваченная волной, целиком отдалась течению событий. Иногда словно просыпалась, выходила на миг из своей окаменелости. Это, верно, какое-то недоразумение, что она вдруг едет степью в пулеметной тачанке, что она идет... в бой? Первая пуля, может, ее уже поджидает? Никакого страха она не испытывала, а сознание того, что эта ночь может быть для нее последней, смертной ночью, как-то даже успокаивало ее.

Пожилой боец-пулеметчик, покачивающийся рядом в тачанке, попробовал было заговорить со своей неожиданной пассажиркой, но Светлана не проявила ни малейшей охоты поддерживать беседу, и боец, вздохнув, в конце концов оставил ее в покое. Пускай, может, она дремлет?

Данько Яресько, высланный с разведкой вперед, всю дорогу поддерживал связь с Баржаком и командиром эскадрона. Съехавшись, некоторое время двигались рядом.

Тишиной встречала их степь.

— Не нравится мне что-то эта тишина, Яресько,— говорил, вслушиваясь в степь, Баржак.— Что, если прямо на засаду скачем, а? Не заведет ли нас твоя учительница в ловушку?

Данько, как всегда перед боем, был заметно возбужден, взволнован. Весь этот в полной тайне снаряженный ночной рейд на Серогозы, бесшумные тачанки, только шуршащие в траве, беззвучные копыта, обмотанные войлоком, таинственность и острота момента — все это так отвечало пылкому характеру Данька... Но подозрительное отношение командира к Светлане обидело его.

— Послушаешь вас, товарищ командир, так на свете никому и верить уже нельзя!

— Что поделаешь, такие времена... Могла ж она перед тем в контрразведке ихней побывать?

Рассудительные, холодные слова командира заставили Данька призадуматься. И в самом деле, так ли уж хорошо он знает Светлану, так ли уж уверен в ней? Далеким, солнечным маревом поплыло перед глазами батрачье детство... Праздничный июньский день, полный солнца, полный лазури небесной... Взявшись за руки, идут они, трое маленьких друзей, целинной асканийской степью, и светлые ковыли пенятся вокруг них текучими шелками, и невидимые жаворонки мирно журчат ручейком в воздухе... Дива дивные раскрывает перед ними степь. Тут постоят над птичьим гнездом, приткнувшимся в траве, там подивятся каменной скифской бабе на степном кургане, заглядятся на овечек, бредущих в дальнем мареве, как по воде... И снова идут вперед, через молочные разливы ковыля, дальше и дальше в те сказочные края, где небо касается земли. Мечты? Но если не верить

даже им, светлым мечтам детства, то чему же тогда верить?

— Насчет другого кого еще подумал бы, а за нее... ручаюсь,— говорит Яресько Баржаку.

— Смотри, хлопче,— предостерегает командир эскадрона.— Здесь не до шуток.

— Знаю, что не до шуток. Но если что — она ж возле меня будет: сам вот этой рукой порешу!

— Стоп! — насторожился вдруг Баржак.— Слышите?

Где-то далеко впереди в темноте чуть слышно запели петухи.

XXV

Заслышав петухов, Светлана встрепенулась: Серогозы! Нервная дрожь пробежала по телу.

Рядом уже звучали приглушенные слова команды, колонна стала быстро таять, разворачиваясь двумя крыльями от шляха в степь. Светлана догадалась: заходят, чтоб со всех сторон охватить село. Из темноты все яснее выступали круглая белая церковка в глубине села, ветряк на пригорке, силуэты акаций у школы.

Перед тачанкой вдруг выросло несколько бойцов, и один из них, в черной, как ночь, папахе, перегнулся с седла к Светлане. Данько! Такое недоброе, хищное у него было сейчас лицо, что Светлана невольно отшатнулась.

— Чего пугаешься? — кинул почти глумливо, жестко.— Показывай, где тут она, твоя школа?

Светлана протянула руку к темным куполам акаций:

— Вот...

Яресько рванул коня в ту сторону. Светланина тачанка, окруженная конниками, понеслась за ним. Все ближе школа. Вот уже повеяло навстречу медовым теплым духом акаций.

— Стой! — донеслось вдруг из-под дерева.— Пропуск!

И угрожающе щелкнул затвор.

— Ты что, пьян, чертова кукла! — выругался Яресько.— Своих не узнаешь? — и смело продолжал двигаться вперед прямо на часового.— Раненого полковника везем!

— Откуда?

— Из Непытайки!

И вслед за тем прошелестели ветки, послышался хруст, хрип, и Светлана закрыла глаза... Через мгновенье чей-то разгоряченный конь уже похрапывал перед ней, и сильная рука — рука Яреська! — грубо встряхнула ее за плечо:

— Веди!

Ей было непонятно: отчего он сегодня с ней так груб? Однако это оказало на Светлану удивительное действие. Силы ее точно сразу вернулись к ней, и она упруго, легко выскочила из тачанки:

— Идем!

Яресько уже спешился.

Обогнав ее, он ловко, по-кошачьи, скользнул, исчез под колючими акациями. Светлана, пригибаясь, едва поспевала за ним.

— Данько,— прошептала она,— вон еще, кажется, у крыльца часовой...

— Это уже наш стоит... Где то окно?

— Сюда... Вон открытое... Крайнее слева...

Где-то на другом конце села поднялась вдруг страшная суматоха: затрещали выстрелы, диким лаем залились собаки. Данько оттолкнул Светлану:

— Беги! Тикай отсюда!

И, зажав бомбу в руке, одним махом вскочил на подоконник и скрылся внутри.

Светлану подхватила волна бегущих к дому бойцов. На крыльце, где с вечера бессменно стояли часовые, сейчас никого уже не было, двери настежь, на пороге темнела куча порубленных тел. Внутри школы все ходуном ходило: топот, брань, выстрелы. Когда Светлана, на миг заколебавшись, перебралась через темную груду и очутилась в набитой повстанцами учительской, там один из бойцов уже держал над головой горящий бумажный жгут, а напротив, припертые штыками к стене, стояли, подняв руки, штабисты. Среди них Светлана сразу узнала приземистую фигуру генерала Ревина в подтяжках и другого, сухопарого, перед которым они все так лебезили,— английского инструктора при штабе. Долговязый, тощий, с презрительным выражением на лице, он стоял перед Яреськом без пояса, широко расставив ноги в блестящих крагах и неловко подняв руки над головой. Он

пытался застрелиться, но не успел — револьвер был выбит у него из рук.

— Что, осечка? — насмешливо спросил Яресько, подымая с пола револьвер англичанина.

Ткнув револьвер себе за пояс, он принялся обыскивать инструктора.

— Ну ты ж, брат, и сухоребрый,— сказал он, не слишком деликатно поддавая англичанину под бок.— Харч там у вас слабый, что ли?

Англичанин молчал.

Рядом сопел генерал. Его как раз обыскивали, когда он вдруг заметил в толпе повстанцев Светлану.

— Ваша работа? — прохрипел он, наклоняя вперед, как для удара, свою квадратную, стриженную ежиком голову.— Я вас спас от бесчестья, а вы...

Светлана смело взглянула ему в глаза:

— Я тоже спасла вас, генерал...

— От чего?

— От бесчестия командовать бандитами... От проклятий народных...

Генерал тяжело опустил голову.

— Готово! — закончив обыск, сказал Яресько, обращаясь к хлопцам.— Выводите их во двор. Только глаза, Грицко, этому лордику завяжи, а то еще сглазит нам Украину.

В глубине села еще похлопывали выстрелы, а школьный двор уже быстро заполнялся повстанцами. Тут назначен был сбор. У сарая, где стоял генеральский автомобиль, слышался гомон, смех: повстанцы пробовали завести мотор.

Светлана, остановившись в стороне под акациями, потрясенная всем пережитым, зарылась пылающим лицом в свежие прохладные кисти цветов. Скоро они, как обильной росой на рассвете, заблестели чистыми девичьими слезами. Сама толком не знала, отчего плачет, но чувствовала, как все легче становится от слез на душе, словно изливалась вместе со слезами и печаль, словно половину горя, ее девичьих обид, посестрински брала, перекладывала на свои плечи эта нежная, любимая ею с детства акация — белая колючая королева юга...

Здесь, под этим жилистым, отягченным цветами деревом, вскоре и нашел Светлану Яресько.

— А я думаю, где ты! — обратился он к Светлане, сияющий, полный бурной радости, и стал вытирать своей кудлатой шапкой потное лицо.— Хочешь на антонобиле прокатиться? С ветерком, а?

— Чего вдруг?

— Супчика того... английского инструктора повезем, командир поручил...

— Куда?

Данько, плутовато оглянувшись, понизил голос:

— В Каховку. А там, может, и дальше, в Херсон... Сдадим,— потому ты его, считай, тоже брала,— а там как хочешь... Антонобилем, представляешь? Хвиат!

Светлана не удержалась от улыбки: перед ней опять был тот самый Данько, охочий до всяких выдумок, озорник, веселый, задорный парнишка, кидавшийся, бывало, с целой ватагой ровесников на дорогу вслед за промчавшимся барским автомобилем, чтобы понюхать пыль...

— Ну так как, Светлана? Едем?

— Ладно... Едем.

Выбираясь из-под акаций, Данько на ходу потерся щекой о тяжелую, прохладную, густо усыпанную белым цветом ветку:

— Черт возьми, здорово пахнет, верно? — и засмеялся.

На рассвете, когда заря на востоке загорелась и пастухи выгоняли на пастбище скот, мчался степью по направлению к Днепру открытый блестящий автомобиль. Напрямик, без дороги, видно, мчался — измятые стебли репейника, васильки и ковыль висели на нем, забились во все щели. На переднем сиденье, рядом с водителем, откинувшись, сидела золотоволосая круглолицая девушка, а позади нее сверкали улыбками навстречу пастухам хлопцы-повстанцы в лохматых шапках, с саблями наголо; между ними вытянулся, словно аршин проглотил, какой-то долговязый, в расстегнутом френче, с повязкой на глазах.

Удивлялись пастухи, ломали в догадках головы.

Кто он?

Верно, важная птица, если и сабли наголо, и глаза ему завязали, чтобы не сглазил расстилающуюся вокруг степь, чтоб не увидел ни золотых хлебов, ни румяных вишен, ни синевы Днепра...

XXVI

Весь Херсон в эти дни кричит объявлениями:

ГРАЖДАНЕ!

Появилась угроза холеры — не бойтесь холеры, но берегитесь ее! Не пейте сырой воды, а тем паче самогона. Пейте лучше чай!

Доверяйте врачам, фельдшерам, не скрывайте от них заболевших!

ХОЛЕРА, КАК И АНТАНТА, БУДЕТ ПОБЕЖДЕНА!

И тут же рядом, на порыжевших от солнца, оставшихся еще с весны афишах:

ГАЛА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ!
КИНО «БОМОНД» —
«ТАЙНЫ НЬЮ-ЙОРКА»!
ГОЛОВОЛОМНЫЕ ТРЮКИ!
ЖУТКИЕ МОМЕНТЫ!!!

У афишных столбов толпятся загорелые, увешанные оружием степовики, спокойно читают грозные предостережения... Одни читают про холеру, а другие раскатисто хохочут у витрин, разглядывая полуобнаженную, выгоревшую на херсонском солнце американскую кинозвезду на афишах.

Весь город в эти дни пропах кизяком и сеном. Повсюду шумным лагерем расположились войска, ржут кони, ревут верблюды, а вечерами на высотах Форштадта звучат раздольные, из степей принесенные песни.

В Херсоне килигеевскому отряду, вступившему в город одновременно с другими повстанческими войсками после разгрома григорьевского мятежа, население устроило бурную встречу. Херсонцы еще с весны слышали об этом бесстрашном отряде, покрывшем себя славой в борьбе с интервентами, вместе с матросами Дыбенка и Интернациональными полками штурмом бравшем Крым.

По решению херсонских властей и по желанию самих тавричан, отряд вскоре был переименован в 1-й Таврический революционный полк.

Лучшие врачи города не отходили от раненого командира отряда Дмитра Килигея.

Лохматым чабанским папахам, как и матросским бескозыркам, повсюду был почет, повсюду честь. Объединенные в профсоюз парикмахеры города объявили, что

степных героев они будут брить бесплатно и вне всякой очереди. Сапожники тоже вывесили на своих мастерских объявления, что, «несмотря на гром канонады», они берутся чинить повстанцам обувь «быстро, прочно и аккуратно». А в починке нужда была: чабанские сыромятные постолы, не сменяемые еще с весны, засохли, заскорузли на ногах так, что их невозможно было снять — приходилось разрезать ножом.

Расположился кнлигеевский отряд на горе, заняв старинные укрепления военного Форштадта и одну из самых больших каторжно-пересыльных тюрем, пустовавшую с первых дней революции.

Вероятно, ни в одном из южноукраинских городов не было столько тюрем, сколько в Херсоне. Тяжелые каменные здания, мрачные старорежимные остроги, они занимали на солнечных херсонских холмах лучшие места, господствуя над степью, над Днепром, над живописными зарослями плавней, что, синея, расстилались в заднепровской дали.

Теперь тюремные дворы были переполнены повстанческими войсками, обозами да скотом, которого партизаны нагнали из степи столько, что хватило бы прокормить целую армию.

По-ярмарочному шумлив, кишит войсками ослепительно залитый ярким южным солнцем Херсон, так, словно и не собираются над ним тучи, так, будто и не погромыхивают где-то на север от него глухие деникинские громы.

На второй или третий день после прибытия Ресько неожиданно встретил на Форштадте Оленчука; он стоял у обрыва и смотрел куда-то за Днепр.

— Эй, дядько Оленчук! — обрадовался ему хлопец.— Вы здесь откуда?

Оленчук обернулся к нему: он был чем-то огорчен.

— Да череду же вам пригнал.

— Один или... с благородием?

Оленчук стал набивать трубку самосадом.

— До самого Днепра все при мне был, череду гнать помогал... А там, когда уже у переправы сгрудились, пропал где-то, как в воду канул...

— А может, и правда его в сутолоке... того... вниз головой?

— Э нет, не скажи. Кабы упал, так выплыл бы.

— Заговорило, значит, беляцкое нутро! Своих встречать остался!

Оленчук, щурясь, смотрел куда-то за Днепр, в затканные солнечной дымкой таврийские просторы.

— Я до самого вечера его на этом берегу поджидал, все думал — догонит... Один раз там даже и показалось было на кучугурах что-то вроде него. Постояло-постояло, посмотрело-посмотрело сюда, будто искало кого-то... Потом повернулось спиной и медленно побрело обратно.

Даньку даже грустно стало, когда представил себе, как стоят они друг против друга, разделенные небесно-голубой ширью Днепра, офицер и бывший его подчиненный... Один на высотах правого берега, а другой где-то там, в раскаленных солнцем заднепровских песках...

Молчал Оленчук. Молчал и Яресько, засмотревшись на ту сторону.

Синеют плавни за Днепром. Там, за синими плавнями, за алешковскими песчаными наметами уже хозяйничают кадеты, бесчинствует деникинская казачня... К самому Днепру подошли, в Алешках на первомайских арках коммунистов вешают... Быстро надвигаются тучи, зловещие тени бегут по земле, обложили город, а тут, над Херсоном, еще светит солнце, и двое их молча стоят на этом солнечном островке.

XXVII

Ночью Яреська разбудили шум, суета, гомон. Выскочил с хлопцами на место сбора — на тюремный плац. Там, среди волнующейся толпы бойцов, поблескивают кожанками какие-то незнакомые, как видно местные, комиссары. Голос одного из них, объяснявшего бойцам положение, напоминал голос Бронникова. Неужто Леонид? Данько протиснулся ближе: так и есть — он! Темень, общее тревожное настроение придавали речи его непривычную суровость, а холодно поблескивающая кожанка делала каким-то неприступным.

— Этой ночью,— говорил он бойцам,— с лимана в воды Днепра неожиданно прорвались бронированные катера противника. Сейчас они уже рыщут по всему Днепру — едва удалось снять наши заставы с плавней. Здесь, со стороны степи,— он махнул рукой куда-то в

темноту,— положенне тоже не лучше. Уже возле самого города кулацкие банды валят телеграфные столбы. В пригородных селах бесчинствует атамаи Гаркуша, поголовно вырезая иаших сельских коммуиаров. Под угрозой железная дорога на Николаев. Партийный комитет города возлагает на вас, таврнйскне коммунары, задачу во что бы то нн стало удержать железную дорогу, этот последний живой нерв, связывающий нас с красиым миром. Готовы ли вы выполиить это задаиие революции?

— Готовы! — четко ответил Баржак, который стоял здесь же, в группе комиссаров, в своей большой, заломленной назад солдатской шапке.

Через каких-иибудь полчаса повстанцы уже летели иа коиях из города — патрулировать железиую дорогу, отгоиять от иее кулацкие банды.

Весь деиь после того слышали херсоицы, как далеко за городом прострачивают горизоит чьи-то пулеметы, а к вечеру на измучеииых, еле плетущихся лошадях вериулись из степи килигеевцы, гоия перед собой десятка два понурых, со связанными руками бандитов. Впереди шагал долгогрнвый, в подоткнутой рясе здоровяк с бычьими, налитыми злобой глазами. Многне из тех, что толпились по тротуарам, узнавали его, долгополого верзилу.

— Водолаз! — крнчали вслед долгогрнвому детн.— Водолаза ведут!

— Бандитский «агитпроп» Арсеиий!

Херсонские матросы, оказывается, давно уже за ним охотилнсь, были у них старые счеты: еще будучи в Безюковском монастыре, монах этот отравнл вином в подвалах больше десятка черноморских матросов. И вот теперь наконец попался он в рукн кнлигеевским хлопцам. Ряса в пыли, пот катит ручьем, глаза, как у быка, набрякли кровью...

В Форштадт Яресько и хлопцы вернулнсь в отлнчном настроеиии. Хотя и лошади заморились, и сами до смерти устали, почериели, только зубы блестят, но зато н бандитов пугаиули, рассеяли по степи, отогиали от железной дороги куда-то за самый горизоит.

В этот день Яреську так и не пришлось поговорнть с Леоиидом, хотя Бронников тоже, вместе с килигеевцами, участвовал в операции. Не до разговоров там было как тому, так и другому,— пыльное облако боя стояло меж ними весь день...

Лишь сегодня, отгоняя обнаглевшую банду от города и железнодорожного полотна, бойцы со всей остротой почувствовали, как близко нависла опасность — опасность быть полностью отрезанными от своих. Впрочем, сейчас, после удачной операции, даже это не пугало. Чего им в конце концов бояться, пока оружие в руках? Весело, уверенно оглядывали хлопцы каменную свою цитадель на опаленных солнцем херсонских холмах.

— Постоим за любимую нашу тюрьму до последнего,— шутили они в этот вечер.

Только уснули, как снова тревога.

— Куда?

— Зачем?

— На станцию!

— Строить бронепоезда!

XXVIII

Мысль о сооружении бронепоездов зародилась среди матросов, ее охотно подхватили Бронников и другие руководители обороны города, и вот она уже воплощается в жизнь. Бронепоезда нужны были войскам для прорыва на север. И хотя об отступлении пока не говорилось, но, что отступать отсюда рано или поздно придется,— ясно было каждому.

Ночами теперь мало кто спал: пролетарский Херсон, засучив рукава, не за страх, а за совесть ковал бронированный кулак для будущих боев. Работа была несложная: обыкновенный паровоз ставили между двумя платформами, орудие — вперед, орудие — назад, по стволу на борта, и вот уже такой «сухопутный крейсер» готов в далекое, неведомое плавание!

На помощь железнодорожникам и рабочим судоремонтных мастерских пришли матросы, вчерашние чабаны, пастухи. Пока одни обшивали борта боевой корабельной сталью, пока другие на руках перетаскивали на платформы снятую с судов артиллерию, красная пехота и даже кавалеристы, превратившись в грузчиков, таскали на себе шпалы и тяжеленные мешки с песком, строя из них бойницы, защищая ими наиболее уязвимые места.

Выпало носить на себе мешки с днепровским песком и Даньку Яреському. Не жалел для революции хлопец

своих молодых сил. Всю ночь не просыхала на нем сорочка. Уже перед рассветом, идя за очередным грузом, неожиданно столкнулся под фонарем с Леонидом, который с группой нагруженных матросов медленно шагал навстречу, тоже с мешком песка на плече. Когда Данько окликнул его, он даже покачнулся:

— Черт возьми, как будто яреськовское что-то! Ей-же-ей! — И бросил мешок на рельсы.— Ты откуда?

Сгреб Данька, крепко прижал к себе, потом снова оттолкнул, радостно, жадно оглядывая его с головы до ног.

— Выгнало же тебя, парень!

И, положив Даньку на плечо свою тяжелую ладонь, пристально-пристально стал вглядываться в юношеское обветренное лицо, словно искал в нем родные ему девичьи черты, словно находил в блестящих его глазах затаенную, неутолимую Вутанькину нежность.

— Садись, рассказывай.

Присели на рельсах.

— Я тебя еще вчера видел,— улыбнулся Данько.— Вместе бандюков за городом гонялн.

— Что ж не признался?

— Да разве до того там было? И нам пришлось жарко, да и тебе тоже.

— Килигеевец, значит... Здорово! — Он смотрел на хлопца с той же жадной, нескрываемой нежностью.— Ну, а как... от наших, от Вутаньки ничего не слыхать?

Данько махнул рукой:

— Куда там... Разве дозовешься?

— А я ведь побывал в ваших Криничках, Данюша... Сын там такой растет, что ну! Все не хотел меня за отца признавать,— засмеялся Леонид как-то невесело, и его широкое, в блестках пота, в пятнах сажи лицо через миг уже снова стало серьезным.— Понравились мне ваши Кринички... Как раз весна была, за речкой в вербах кукушки куковали...

Заречные луга, лес и буйная весенняя зелень плакучих ив над водой... Кукушки где-то в чаще кукуют — отрывисто, звонко... Все полузабытое ожило, далекое приблизилось, повеяло на Данька чем-то родным, волнующим. Как хотелось бы ему сейчас побывать там, увидеть, какими стали теперь Кринички! Ведь и над ними гроза революции пронеслась...

— Эй! — закричал кто-то из темноты, размахивая фонарем.— Гаубицу на третий давай! На третий!

Спотыкаясь о блестящие рельсы, группа матросов бегом пронесла на руках пушку, какие-то ящики; с лопатами прошли вооруженные грабари; неподалеку на платформах все что-то клепают, клепают, и голова уже гудит от стального этого грохота...

— В суровое время встретились мы с тобой, Данюша,— подымаясь, сказал Леонид.— Весь Донецкий бассейн уже у них, на днях шкуровцы Екатеринослав заняли...

— Выходит, они теперь у нас... кругом?

— Ну ты же видел, к самым предместьям уже прорываются... А ведь могло быть совсем, совсем иначе,— грустно произнес Леонид.— Можно было бы уже и винтовки на смазку да в склады, если б не эти,— хмуро кивнул он куда-то в сторону моря.— Сплошной фронт создали против нас, вот чем берут. Через моря и океаны, от Вудро Вильсона до наших гаркуш и колонистов одна цепочка тянется.

Он задумался о чем-то, потом тепло, подбодряюще улыбнулся Даньку:

— Ну, да нас хватит. На всех на них хватит, а? Подсоби-ка, брат...

Данько помог ему взвалить мешок на плечо.

— Слушай, Леонид... А ты дружка тут моего, Валерика... случаем, не встречал?

— Задонцева? — нахмурился Леонид.— Как же! Он у нас тут в подполье при интервентах работал. Не дотянул бедняга: в последний день сцапали его греки в порту... в амбарах вместе с другими заложниками погиб. — И, горбясь, осторожно переступая через рельсы, Леонид направился со своей ношей дальше.

Данько, ошеломленный, остался стоять на месте. То, что сообщил Леонид, поразило его, потрясло до глубины души. Нет Валерика, нет! Трудно было ему представить это, не хотелось верить. В порту. Заложником. В пылающих амбарах... Кажется, еще совсем недавно пели они вместе в хоре, вместе гонялись за панским автомобилем, а вечерами, забившись в глубину нар в своих невольничьих батрацких казармах, делились задушевными мечтами о новой жизни, за которую они вместе будут бороться... И вот уже одного из них нет и никогда не будет.

Пронзенный болью, стоял под фонарем, кусая губы.

А над Днепром уже заметно светало. Над водою, над плавнями пасмами висел туман. Из группки знакомых хлопцев, направлявшихся с пустыми мешками вниз к песчаным карьерам, окликнули Яреська. Данько молча присоединился к ним.

XXIX

В то время как деникинская казачня, захватив Екатеринослав и Полтаву, уже рвалась к Киеву, здесь, в глубоком тылу у белых, на сожженных солнцем херсонских холмах все еще развевался красный флаг революции, заседал трибунал, трясли буржуев, строили бронепоезда.

Деникинские снаряды ложились на город. Перепуганные обыватели дрожали по подвалам и погребам, прислушиваясь, как железным градом барабанит по крышам шрапнель, а красные бойцы и матросы тем временем вели ожесточенные бои на пристанях и в предместьях, сдерживая наседающего со всех сторон противника, прикрывая отступление основных сил.

В одну из таких тревожных ночей вышли в неизведанный путь бронепоезда — эти грозные тараны революции, потянулись за ними эшелоны с эвакуированными учреждениями и лазаретами, двинулись, не отставая от эшелонов, пулеметные тачанки и возы, партизанские стада, степные чабанские кибитки...

Все дальше в степь уходят рев, топот, скрип, все глубже тонут в ночной тьме силуэты медленно отползающих паровозов, сгорбившихся всадников и надрывно трубящих в небо верблюдов...

Так началась тысячеверстная страдная эпопея.

Верста за верстой продвигались на север, держась полотна железной дороги, крыльями развернувшись по обе стороны насыпи, далеко в степь. На флангах колонны идет конница, пулеметные тачанки, а в центре, под их защитой, как самое ценное сокровище, везут раненых, боеприпасы, свернутые знамена.

Целыми днями люди и скот глотают насыщенный горячей степной пылью воздух. Кричат верблюды. Натужно ревут непоеные волы, тяжело плетясь вдоль полотна в самом хвосте колонны.

Чем дальше отходят тавричане от родных мест, тем все чаще возникают среди них глухая тревога и сомнения:

— Куда идем?

— Нельзя разве здесь партизанить?

На одной из стоянок, когда ремонтники впереди чинили поврежденный бандами путь и вся колонна вынуждена была остановиться, Таврийский полк был созван на собрание.

Слепящий день. Жаром пышут раскаленные бронепоезда, нацелив куда-то вперед свои стальные панцири. Внизу, полукругом раскинувшись по степным баштанам, с лошадьми, с тачанками, изнывают на солнце запыленные, посеревшие, как степные птицы, повстанцы. Один за другим выступают перед ними с насыпи комиссары. Терпеливо растолковывают, что отступать необходимо, что таков приказ штабарма — пробиться во что бы то ни стало к своим, соединиться с регулярными частями Красной Армии.

Представитель Херсонского Совета рабочих депутатов тут же, при всем народе вручает полку за его боевые заслуги революционное знамя. Знамя принял от имени полка Баржак.

Уже под конец митинга выступил Леонид Бронников. Когда его могучая фигура в тельняшке появилась на насыпи, полк встретил его радостным гомоном. За время пребывания полка в Херсоне этот матрос-комиссар как-то особенно полюбился бойцам: вместе с ними преследовал в степи бандитов, даром что непривычен был сидеть в седле, а когда надо было таскать мешки с песком да шпалы носить на постройку бронепоездов, то и там натирал холку наравне с другими.

— Таврийские коммунары! — звучным голосом заговорил Леонид, обращаясь с насыпи к притихшей толпе.— Ваш полк вырос и окреп в боях с интервентами. Не раз уже кровью доказал он свою преданность делу революционного народа. Но сейчас перед лицом новых грозных испытаний, для того, чтобы ваш полк стал еще сильнее, чтоб из полупартизанского, еще не до конца изжившего дух анархистской вольницы, он превратился в действительно регулярную железную часть Красной Армии, для этого нужно, чтобы в полку был комиссар!

Все шло хорошо до этого момента. Но стоило только

Бронникову произнести слово «комиссар», как толпа сразу всколыхнулась:

— Гайку хотят подвинтить!

— Мы к гайкам непривычны!

— Мы хотя и темные, а больше демократию любим!

И уже откуда-то, словно из-под земли, вынесло на высокий, обвешанный воловьими шкурами воз другого оратора — грудь раскрыта, пулеметная лента через плечо... Антон Дерзкий, младший брат командира полка.

— Слышали? — скривился он будто от рези в животе.— Комиссара нам сватают! А как же! Соскучились мы шибко по комиссарам! Давно их ждем! — И, обернувшись к насыпи, закричал угрожающе: — На что нам комиссары, когда все мы революционеры в душе! Когда каждый из нас трех комиссаров стоит!

— Верно! Сами управимся! Без няньки! — прокатилось внизу между возов.

— Без комиссаров до сих пор врага рубали,— подбодренный, продолжал младший Килигей,— без них и дальше рубать будем! А кто по комиссарам сильно скучает — того не неволим, может к другому полку пристать! В Караульный вон или Интернациональный — там комиссаров хоть отбавляй. А мы — стихия! С саблями на дредноуты шли, голыми руками Перекоп брали и вперед без них управимся!.. У меня — все, и да здравствует наш батько-атаман Килигей Дмитро! — закончил он уже с веселым вызовом и спрыгнул с воза куда-то вниз, в гущу своих приверженцев.

Еще не улегся шум, поднятый среди повстанцев речью Дерзкого, как над командирской тачанкой неожиданно возникла длинная фигура исхудавшего, заросшего до неузнаваемости... Дмитра Килигея. В первый раз поднялся он после ранения, в первый раз после Крыма видели его бойцы перед собой. Полк застыл перед ним, обрадованный и удивленный.

— Во-первых, я вам никакой не батько и не атаман, а командир,— насупив кустистые брови, обратился Дмитро к полку.— И если уж мы объявили войну мировой гидре Антанте, так давайте не разбредаться на полдороге, а вместе с пролетариатом идти до конца. Однако, чтобы не вслепую, чтоб не с завязанными глазами по степи на конях носиться, надо, чтоб был и у нас в полку комиссар. И то, что вы зашумели тут, заволынили, Сечь

тут мне развели,— голос его нарастал, становился суровей,— это как раз и говорит за то, что нужен нам комиссар, еще как нужен!

— А ты ж тогда на что? — послышался из толпы разозленный голос брата.— Кем ты при комиссаре будешь?

Килигей потемнел.

— Буду тем, что и сейчас: солдатом революции буду!

— Правду говорит Дмитро! — вырос над толпой Федор Артюшенко, хорлянский грузчик, с могучей раскрытой грудью.— Чего нам, в самом деле, комиссара бояться? Дредноутов не боялись, на самого черта шли, а перед комиссаром сдрейфили? Не страшен он нам, таврийским коммунарам.

— Абы только сто́ящий попался,— подхватил кто-то из гуртоправов.— Знать бы наперед, кого нам дадут...

Толпа колыхнулась, как нива под ветром:

— Ко-го?

Отделившись от группы комиссаров, стоявших на насыпи, шагнул вперед Бронников:

— Партия назначает — меня.

Над полком, над степью на миг залегла тишина. Его? Еще до революции хорлянские грузчики прятали его, юного тогда комендора с корабля, от царских жандармов. Батраки Фальцфейнов позднее знали его машинистом в степных таборах, когда он перед самой войной возглавлял там «водяные» батрацкие забастовки... Такого ли бояться? Ему можно было смело довериться, он был свой, был частью их самих.

— Коли ты, мы не против! — радостно заволновалась толпа.— Ура комиссару!

— Ура-а!

Только Дерзкий и несколько его единомышленников стояли среди возов злые, недовольные и всем своим видом как бы говорили: «Наше слово еще за нами».

XXX

Неторопливо чахкают на насыпи, остывая после дневного зноя, бронепоезда. Неподалеку от полотна, у степного колодца, где все вокруг разрыто, выбито скотиной,— жаркая давка, сутолока: делят воду. Гомон стоит по всей

логовнне, курятся кизяковые дымки, то тут, то там уже вкусно пахнет степной чабанской кашей.

Рдеет низко над горизонтом солнце, медленно опускается за степью в винно-красную мглу.

Бронников как раз ужинал под насыпью с Килигеем, Баржаком и еще несколькими командирами, когда бойцы привели какого-то странного субъекта, не то военного, не то штатского: небольшого роста, в пенсне, с желчным, давно не бритым лицом. На голове густая копна волос с застрявшими в них остюками...

— Я к вам,— бросил незнакомец тоном человека, который еле сдерживает раздражение.

Бронников, спокойно дуя на ложку с горячей кашей, исподлобья рассматривал пришедшего. Что-то было в нем задиристое, драчливое. Застыл, как петух перед боем, только стеклышки пенсне поблескивают на всех остро и вызывающе.

— Кто комиссар?

Бронников еще раз подул на ложку.

— Я комиссар, а что?

— Я тоже комиссар,— нервно отрекомендовался незнакомец.— Комиссар бригады Муравьев.

— Муравьев?.. Киевский?

— Нет, я — южный.

— Ну что ж, садись,— сказал Бронников.

Потеснившись, дали ему место у котелка. Килигей передал гостю свою простую, крестьянскую ложку, старательно вытерев ее перед тем травой.

Муравьев жадно накинулся на кашу. Хватал, давился, точно спешил куда-то. Бронников, отложив ложку, со скрытым сочувствием наблюдал за приблудным этим комиссаром. Леониду нравилась его энергия, напористость и даже этот звериный, бродяжий его аппетит.

Вычистив до дна котелок, Муравьев, не спросясь, потянулся рукой к чьей-то фляге, лежавшей поблизости, и жадно напился прямо из горлышка. Утерся, перевел дыхание. Теперь он был готов к разговору.

— Где же бригада? — спросил Бронников.

— Нет бригады, разбежалась бригада!

У костра неподалеку среди бойцов прокатился смешок:

— Довоевался человек... Сам над собой комиссаром остался.

Стеклышки пенсне недоброжелательно блеснули в их сторону и снова пригасли.

Бронников пристально посмотрел на собеседника.

— Растерял, выходит, бригаду?

Муравьева точно раскаленным прутом стегнули.

— Это что — допрос? Пусть растерял, ну и что?

— Да ничего... Значит, прямо под трибунал идешь?

— И пойду! — опять подскочил тот как ужаленный.— Думаешь, трибуналом меня испугал? Не страши. Сам заявлюсь, сам пойду, пускай судят...— и тише добавил: — ...если виноват.

Незавидно было положение, в которое попал этот человек, и все же чем-то он располагал Бронникова к себе. Брошенный, обозленный, не изверился в главном, не пал духом. День за днем пробивается на север, с упорством фанатика ищет встречи... и с кем? С трибуналом! С беспощадным трибуналом, который, может, к стенке поставит его, шлепнет!

— Что ж, нельзя тебе позавидовать, товарищ... Трибунала, пожалуй, тебе не миновать.

— Не спеши с выводами, комиссар,— протирая пенсне, возразил тот Бронникову.— Может, нам еще вместе с тобой придется перед трибуналом стоять.

— Вот так загнул!

— Почему загнул? Или, думаешь, твои от тебя не разбегутся?

— О моих ты помолчи,— нахмурился Бронников.

— Ситуация для нас с тобой на Украине сейчас весьма невыгодная,— заговорил Муравьев, снова надев пенсне и обращаясь к Бронникову, как будто, кроме них двоих, никого здесь не было.— Махновщина разгулялась, слепая мелкобуржуазная стихия за минуту сметает то, что мы успеваем насадить за месяц. До определенного момента эти силы работали на нас: мы отлично сумели использовать украинское повстанчество для того, чтоб свалить гетмана, для разгрома немцев и для нанесения сокрушительного удара по интервентам Антанты. Недавнее поражение греко-французского десанта на украинских берегах было бы невозможно без участия в этой борьбе могучих сил украинского повстанчества. Однако заслуги его этим и исчерпываются, на этом и кончается героический период революции на Украине ..

— А что же начинается? — съязвил Баржак.

Муравьев даже не взглянул на него.

— Начинается то,— продолжал он, по-прежнему обращаясь к одному Бронникову,— о чем не раз предупреждал нас товарищ Троцкий и что я, Муравьев, может быть, первым испытал сейчас на себе. От нас отворачиваются. Нас бросают. Нашу еще не окрепшую регулярную армию поглощает кипящая повстанческая масса, разбушевавшаяся и никем не сдерживаемая повстанческая стихия! Именно она, эта стихия, поглотила мою бригаду, разнесла ее в щепы!

— Какой же вывод?

— Вывод напрашивается сам собой: сотрудничеству конец. Надо раз и навсегда обуздать этот анархический народ с его сорока тысячами банд, с его мексиканскими методами борьбы...

«Обуздать народ...» Бронников, слушая, едва сдерживал нарастающее возмущение. Из недр народа вышел он сам, годами готовил его к борьбе, и теперь, когда этот народ наконец поднялся, когда все растет и зреет его сила в революционных боях, вдруг оскорбить его недоверием, с такой враждой отозваться обо всех этих почерневших под степным солнцем пастухах и грузчиках, матросах и вчерашних батраках... И это говорит человек, называющий себя комиссаром! Нет, не такою видится ему душа ленинского революционного комиссара!

— Митингами развратили мы их! — продолжал свое Муравьев.— Чуть ли не голосованием комиссаров себе выбирают! Пора, пора с этим кончать. Интересы дела диктуют другой к ним подход...

— Какой?

Стеклышки пенсне блеснули зло, по-крысиному.

— Террор! Массовый последовательный террор против этой бандитской нации—другого языка она не поймет!

Бронников заметил, как при этих словах колыхнулись бойцы, которые уже обступили их со всех сторон, привлеченные горячим спором. Видел, как Яресько, стоявший со своими хлопцами за спиной у Муравьева, стиснув зубы, сжал рукоятку своего клинка. «Рубануть? — казалось, спрашивал он взглядом Леонида.— Дай рубану гада по черепу! За поклеп! За ложь! За все, что он здесь против нас замышляет!»

А может быть, и правда, пусть рубанет? Именем живых и погибших... за оскорбление этих людей, за оскорб-

ление революционной чести народа... Тут бы ему и весь трнбуиал...

— Теперь мне ясио,— весь потемнев, подиялся Кнлнгей,— почему от вас бригада разбежалась. Я первый бы послал такого комиссара к чертовой матерн!

— Это что за разговор? — грозио выкрикнул Муравьев, глядя то иа Килнгея, то на Бронникова. Видимо, ему было еще иепоиятно нх возмущеиие. За кого они его прииимают? Уж не за самозванца лн какого-ннбудь? И почуяв приближеиие опасиости, почуяв, как уже прямо иад инм угрожающе сопят, все тесиее смыкаясь, бойцы, вдруг вскочил на ногн, выхватил откуда-то из-за пазухн пачку документов.— У меня м-маидат,— он стал вдруг занкаться.— Слышите? М-маидат! За подпнсью т-товарнща Троцкого!..

Побледнев, он протянул документы Бронникову, но тот не посмотрел иа инх.

— Спрячь свон маидаты и сматывайся. Чтоб духу твоего в колоине не было! Поиял?

Муравьев застыл, словно не веря своим ушам. Его, его гонят! Его не прииимают!..

Тем времеием прозвучала комаида к маршу.

Снова двииулнсь, поблескивая грудью в лучах заката, броиепоезда, двииулась за ннмн и вся огромная, в облаках пыли, колоина. А он, брошеииый всеми человечек, все стоял под насыпью, злой, ершистый, недоумевающнй, как будто не мог поверить, что колоииа так н пройдет, не останавлнваясь, н ие позовет его с собой.

XXXI

Только начинали розоветь арбузы, когда вышла колонна в путь, а теперь уже рделн в руках у бойцов, как жар. С каждым дием все меиьше стаиовилось крутрогнх, с каждым дием все больше воловьих шкур на возах.

Не проходило дия без боев. Черными внхрямн иалеталн из степн григорьевско-махновские баиды и, встречениые иа флаигах колоииы килигеевскнмн саблямн, сиова откатывались иазад.

Килигей уже был в седле, вел полк. Как-то поздно иочью подъехал к нему его брат Антои. После той

стычки на митинге — быть или не быть в полку комиссару — они почти не разговаривали. Антон, затаив обиду, сторонился брата, а Дмитро тоже не проявлял охоты беседовать с ним, считая, что все, что он имел сказать брату важного, он сказал ему тогда на митинге при всем народе. И вот теперь Антон наконец подъехал к нему, как будто даже примирившийся, заговорил душевно:

— Дмитро, можно тебя на пару слов?

Екнуло что-то в сердце у Дмитра. Вместе с братом, казалось, приблизились к нему и семья, и отцовская хата, и еще что-то волнующее, далекое, как детство, когда он еще носил Антося этого, младшенького, на руках... Бесшабашный вырос, севастопольская гауптвахта не успевала от него остынуть, да и сейчас с ним хлопот не оберешься... Чего он хочет?

Отделились от колонны, молча поехали рядом. Пыль стояла в ночном воздухе, скрипела на зубах.

— По-братски, от чистого сердца, хотел тебя спросить, Дмитро: куда нас ведут?

— Не ведут, а сами идем.

— Ну, пускай сами... Но куда, куда?

— Об этом тоже было говорено.

Антон полез в карман за куревом:

— Жаль мне тебя, брат,— заговорил он сочувственно.— Прямодушный ты и доверчивый. Дал комиссарии себя опутать, зубы себе заговорить...

— Это ты и хотел сказать?

— Не только это,— Антон закурил.— Вспомни, кем ты был в степи, какая слава за тобой катилась! По всему приморью только и слышишь, бывало: Килигей, Килигей... На всю Таврию атаманом был!

— Немного в том моей заслуги,— возразил Дмитро.— Сам народ, сама революция на гребень меня подняла.

Антон не унимался:

— А мы за тобой как на крыльях летели! С клинками на дредноуты поднялись, до Севастополя, до Керчи дошли... Весна была такая, что эх! И на душе весело, и воевать легко.

— Всему свое время, Антон,— глухо заговорил Дмитро.— Тогда, и верно, было легко. Похоже было, точно взрослые играют в войну. Я считаю, пристрелка то была, одна пристрелка. А сейчас...— он подумал,— ...сейчас, видно, настала пора другой, *трудной* войны.

— А на что нам трудная? — загорячился брат.— Зачем самим в петлю лезть? — И, оглянувшись, вдруг заговорил с братом доверительным полушепотом: — Пропадем, все пропадем, Дмитро, если только дадим далеко себя увести! По натуре мы степняки, нам надо, чтоб было на коне где разгуляться,— он выпрямился в седле.— Простору надо такого, чтоб трава под конем от ветра стелилась! А там? Где мы там разгуляемся?

Дмитро сердито засопел.

— Не гулять вышли. Большое дело делать.

Антон как будто и не услышал.

— Держится вон степи Нестор Махно и живет себе припеваючи! Недостачи ни в чем не знает: ни в конях, ни в девчатах. Сегодня пьет тут, завтра гуляет там...

— Поглядим, до чего он догуляется... Ему, холостому, гульба, а нам, у кого дети растут, надо и о них, об их завтрашнем дне не забывать.

— Думаешь, как до своих, до регулярных, пробьешься, там рай тебя ждет? — язвительно бросил Антон.— Не одного — десяток комиссаров, таких вот Муравьевых, над тобой поставят! Слышал, как он вчера про нас? Вот такие они все! А попробуешь брыкаться, так и полк отберут и самого к стенке...

— Так что ж ты советуешь? С повинной, может, к кадетам вернуться?

— Зачем к кадетам, можно и не к кадетам,— многозначительно протянул Антон и, перегнувшись с седла, зашептал брату на ухо: — Гонец от батька есть! Слышишь? К себе Махно зовет! «Куда он, говорит, пустился, на кого свою родимую сторонку, жен да детей бросает? Пусть переходит с полком ко мне — правой рукой будет! Всю свою кавалерию под его начало отдам!»

Килигей не удержался от улыбки:

— Брешет, сучий сын... Обдурит и не даст.

— Даст!

Оба умолкли. Слышно было, как полнится ночь приглушенным шумом и скрипом далеко растянувшейся колонны. Пыхтят бронепоезда, медленно двигаясь по насыпи. Всхрапывают кони. Шелестят травы, бурьяны, плети придорожных баштанов. Какая-то пичужка, внезапно сорвавшись из-под копыт, взвилась вверх и, упруго звеня крыльями, растворилась в просторах ночи.

— Где же он... гонец твой?

— Привести?

— Веди.

Антон, круто вздыбив, повернул коня назад, и вскоре к Дмитру подскакали из темноты уже двое: брат и второй с ним — тот, что от батька...

Килигей, вплотную подъехав к незнакомцу, стал пристально разглядывать его в темноте. Двойник! Живая его, Дмитра, тень явилась сюда по его душу! Такой же сухощавый, по-ястребиному нахохленный, такая же на нем, как и на Дмитре, шапка лохматая... Только бомбы-лимонки как-то фасонисто сбоку висят да самогоном несет от него — за это у Килигея не поздоровилось бы.

— Так это ты? — спросил Килигей.

Из-под шапки, из-под насупленных бровей донеслось глухое:

— Я.

— За мной?

— За тобой.

Блеснула, свистнула сталь в руке у Дмитра, опустилась тяжким ударом... Испуганно отпрянул в сторону вороной двойника, поскакал бочком в степь, стараясь сбросить с себя непривычно отяжелевшую ношу...

Килигей оглянулся: брата рядом с ним уже не было.

Вскоре после этого, когда Дмитро Килигей снова занял свое командирское место во главе колонны, ему сообщили, что брат его Антон, с десятком ближайших своих дружков, неожиданно отколовшись, повернул от железной дороги в степь, уже не к батьку ли Махно?!

Килигей, казалось, готов был к этому известию: поднявшись в стременах, крикнул Баржаку, что оставляет его вместо себя, а сам, прихватив из первого взвода десятка полтора лучших рубак, с места рванулся в погоню.

Не было их час или больше. Вернулись уже на рассвете, злые, хмурые, на взмыленных, запаленных лошадях. И сколько их потом ни выпытывали — догнали или нет,— так ничего не могли допытаться.

XXXII

Солнце теперь всходило из клубящейся пыли и садилось в клубящуюся пыль. На пути колонны все чаще взвизгивают пули неведомых врагов, все чаще то тут,

то там падает боец, извиваясь от рваных горячих раи. Выяснилось вскоре, что обстреливают колоииу пулями «дум-дум»: такая пуля, коснувшись даже конского волоска, сразу разрывается, впиваясь в тело множеством металлическнх осколков... Раны от этих пуль ужасиы.

И все же, несмотря на обстрел, иесмотря на жару, на безводье, колоина упорио, верста за верстой, двнжется дальше.

Однако что это за тревога поднялась впередн? Почему все вдруг останавливается — н бронепоезда, н люди, и скот?

Оленчук, сойдя с воза, иетороплнво прннялся прилажнвать над ним иавес, чтоб хоть какая-инбудь защита была от солица, а то сейчас, иа остановке, оно, кажется, стало жечь еще сильнее. По всей колонне на подводах — раненые, а еще больше больных. Не хватает ин врачей, ни медикаментов, ухаживать приходится самнм... На просторном возу Олеичука лежат двое: матрос с раздроблениым плечом н второй,— совсем мальчик — раненный в голову разведчик из повстанческой коницы. Как за роднымн детьми, ходит за ними Олеичук. Специально для инх держит под сиденьем в запасе несколько арбузов: когда от зноя совсем уже станет невмоготу — смочить им потрескавшиеся от жажды губы. Вот и сейчас не спеша отрезал ножом ломоть н, хотя у самого во рту пересохло, по очередн подиоснт то одиому, то другому, а себе... себе — что остаиется.

Как раз резал арбуз, когда за спииой вдруг раздался топот — галопом летела куда-то вперед вдоль колонны Килигеева конница с саблями наголо. Из клубов поднятой пыли иа миг блеснул зубами сын, что-то крикиул отцу на лету, но за гулом, за топотом Оленчук иичего не расслышал.

А по колонне уже пошел, покатнлся говор:

— Полотно разрушают!

— Путь впереди растаскивают!

— Подцепят и волами, вместе со шпаламн, со всем гамузом тащат с насыпи!..

Многие из повстаицев уже хорошо зиалн этот махновский способ разрушеиия железных дорог. Запрягалнсь волы либо люди — с полсотин человек — н, зацепив приподиятые над полотиом рельсы, тащнлн их под откос. По инерцнн рельсы начинали сползать на рас-

стояннн чуть лн не несколькнх верст, вырывая шпалы и круша все на своем пути. Веселая была для махновцев забава! Но то, чем махновцы занималнсь порой просто для развлечення, немцы-колоннсты делали сейчас со свойственной им угрюмой расчетлнвостью н методичностью.

С того места, где перед головным бронепоездом стоял с группой артиллернстов Бронников, даже без бинокля хорошо видно было впередн черное скопнще разрушнтелей с упряжкамн волов возле насыпн.

Не отрываясь смотрел Броннников в ту сторону.

Немцы-колоннсты... До сих пор держалнсь будто бы в стороне, не желая вмешиваться во внутреннюю борьбу народа, а теперь, когда революцнн пришлось туго, они вдруг показалн зубы, обнаружнлн свою волчью, кулацкую натуру! Угрюмо выглядывают нз садов на пригорке нх кнрпичные, крытые черепицей постройкн, сбившнеся вокруг серой, каменной, на редкость нелепой среди этой слепящей степн кнрхн... Вндно, как между крайнимн домамн колоннн н насыпью железной дорогн, пролегающей невдалеке, суетятся по степн темные, словно воронье, непрнвычно тороплнвые фнгуры колоннстов. У насыпн нх целая толпа: с воламн в ярмах, с цепямн, которымн онн оплетают рельсы вместе со шпалами,— опутывают распростертого в степн стального Гуллнвера.

Казалось, два века столкнулнсь здесь между собой: век волов н век путей стальных... Кто кого перетянет, кто кого осилит? Зацепнлн, тянут, все жилы напрягают, чтоб разрушнть перед отступающнмн полотно, по кускам растащить железную дорогу. Погруженные в свое дело, н не подозревают, как близка уже от них карающая рука, как с каждым мгновеннем прнближается к ним, огибая насыпь, кнлнгеевский эскадрон, только концы сабель сверкают в туче пылн!

Конь Яреська будто сам знал, кого ему преследовать. С неудержимой дикой силой летел прямо на темные фигуры, что, бросив у насыпн и волов, н цепн, и крючья, в панике рассыпались по степи, мчась напрямнк к колоннн. «Ага! Удираете! — Душа Яреська налнвалась злобной, яростной радостью.— Не удерете! Мы вам дадим железную дорогу! Своих не узна́ете!»

На миг, совсем блнзко, промелькнули под насыпью брошенные на произвол судьбы волы в ярмах с повис-

нми толстыми цепями. Яресько скользнул по ним взглядом. «Что, не вытянули? Не осилили? Кишка тонка?» Под копытами коней вместо жесткой стерни уже лопаются красные арбузы, разлетаются, раскатываются среди сбитых в клубки плетей, точно срубленные человеческие головы...

Эскадрон влетел в поселок, когда вдруг навстречу часто зазвенели пули, забахали выстрелы с чердаков, дробно застрочил где-то совсем близко пулемет. Послышались крики, храп коней, и в этом бешеном водовороте Яресько внезапно услышал, как вскрикнул не своим голосом Янош-мадьяр, скакавший рядом. Оглянулся — уже Яношев конь потряхивает пустым седлом... Убит! Янош убит! На миг потемнело в глазах, но, не останавливаясь, Яресько еще сильнее пустил коня, чувствуя, как ярость перехватывает дыхание, как боль и слезы горячо клокочут в груди...

— Рубай! — услышал где-то над собой короткий страшный призыв, к которому все еще никак не мог привыкнуть и который даже сейчас, в такую жару, вызвал в нем леденящую дрожь. Вокруг уже шла схватка, слышны были предсмертные стоны, выкрики на незнакомом языке, а перед ним, перед Яреськом, еще петляют вдоль улочки черные пригнувшиеся фигуры в праздничных, должно быть ради спаса (сегодня ведь день спаса!), сюртуках и шляпах. Конь Яреська уже несет Данька за таким вот убегающим сюртуком, из-под которого, поблескивая, мелькают сапоги бутылками... Было в этой зловещей долговязой фигуре колониста что-то напоминающее молодого Фальцфейна, когда он носил траур по каким-то своим лютеранским родичам и так же вот наряжался в черное по воскресеньям... Все это молнией пронеслось у Яреська в голове за то короткое мгновение, пока он догонял беглеца, пока настиг его с разгона на какой-то каменной лестнице. Тот споткнулся на широких ступенях, с головы его слетела шляпа, открыв светлые льняные волосы, и за спиной Яреська еще раз прозвучало страшное, неотвратимое:

— Рубай!!

Рубанул, и долговязый с хрипом повалился куда-то вниз, под коня, и только теперь Яресько заметил, что разгоряченный конь его, вздыбившись, стоит на ступенях, ведущих... в кирху. Тяжелые дубовые двери откры-

ты настежь, и оттуда, из прохладного полумрака на них обоих — на коня и на всадника — сурово смотрят какие-то незнакомые костлявые боги.

И вдруг где-то в вышине загудело, зарокотало, запело; полились звуки — величавые, мощные... Что это? Яресько закинул голову, застыл зачарованный. Орган? За все время, что пел Яресько в асканийском церковном хоре, не слышал такой дивной музыки. Слушал так, точно само небо играло для него. Вдруг даже жутко стало ему,— что-то похожее на укор послышалось в могучих раскатах: как он мог на все это замахнуться, на все это поднять свой горячий, в запекшейся крови клинок? Совсем другой мир, о существовании которого он даже не подозревал, открывался ему сейчас в этих полных гармонии звуках. Какой-то всевластной мрачной силой, как от низко нависшей грозовой тучи в степи, повеяло от этой музыки на Яреська. Слушал, жадно упивался ею. Лились и лились мощные рокочущие звуки, будто предостерегали его от чего-то, будто само небо — сквозь гул сражений, сквозь звон сабель — обращалось к каким-то иным людям, то ли к ушедшим, то ли к грядущим, среди которых уже не будет ни крови, ни резни, ни междоусобиц, а будет над всем властвовать лишь эта всепобеждающая, радующая душу красота...

XXXIII

В сухой земле у дороги саблями копали ямы и хоронили убитых. Много ближайших сподвижников Дмитра Килигея, таврийских фронтовиков, с которыми он создавал отряд и с которыми ходил в свои славные рейды на Хорлы и на Крым, сложили в этих боях голову. Под градом разрывных пуль геройской смертью погибли Житченко-артиллерист, Широкий Иван, матрос Толошный...

На возы, на платформы десятками подбирали раненых.

Чинили колею, кое-как строились в колонну и ползком продвигались дальше. А потом снова мрачные каменные дома колонистов на горизонте, снова ненавистное жужжание «дум-дум», колонна останавливалась, разгорался бой. На помощь колонистам из глубины сте-

пей подходили кулацкие банды — не раз приходилось бронепоездам, в подмогу своей коннице, открывать огонь со всех бортов — отбивались от банд и саблей и картечью. Иногда бои тянулись часами. Не хватало воды. Закипала вода в кожухах пулеметов. Под свист и жужжание «дум-дум» бежали бойцы с котелками к паровозам, но воды и там не было,— и там кончались все запасы ее. Даже комендоры на бронепоездах — полуголые, богатырского здоровья матросы, и те иной раз не выдерживали, в изнеможении падали возле своих раскаленных орудий.

Пока миновали это развороченное змеиное гнездо — полосу взбунтовавшихся колоний и хуторов,— вконец измучились все, от командира до гуртоправа. Но вот остались наконец позади и пули «дум-дум», и развороченные снарядами постройки колоний на взгорьях. Они еще дымились, горели, скрываясь за горизонтом, а впереди уже вольно раскинулась новая степная даль.

Нестерпимая жажда мучила людей. С тех пор как Бронников, поглядев на карту, сообщил бойцам, что скоро впереди должна быть речка,— вся колонна только и жила ожиданием.

Кое-кому становилось уже невтерпеж:

— А может, ее и совсем не будет?

— Будет, будет,— хмурясь, отвечал Бронников.

И вот, когда впереди угасал яркий степной закат и вся степь как будто горела, вода блеснула наконец внизу, в ложбине! И хотя оказалась она, степная эта незавидная речонка, курице по колено — чуть живая ворошилась на дне широкой, дотла выжженной солнцем за лето балки,— все же бойцы встретили этот первый проблеск воды криком «ура».

В последующие дни колонна отступающих выросла. По пути к ней присоединялись то большими, то маленькими группами партизаны степных сел, присоединился и очаковский отряд имени матроса Вакулиничука. А несколькими днями позднее на одной из степных узловых станций состоялась встреча тавричан с остатками войск одесской группы Якира, которые тоже много дней уже отходили с боями на север, держась все время, как и херсонская колонна, полотна железной дороги.

Вся огромная территория станции была в этот день заполнена войсками. Встреча двух колонн, пусть даже

потрепанных, усталых, обремененных массой больных и раненых, как-то сразу влила новые силы, подбодрила людей. После неизбежного в таких случаях митинга, на котором выступили любимцы — Якир и двадцатилетний начдив Федько,— наступила долгожданная передышка. Всюду знакомились, братались — радостно, жадно. Откуда-то взялись гармошки, забренчали в руках у матросов гитары, и какой-то морячок-одессит прямо по открытым окном начальника вокзала стал лихо отплясывать «Яблочко».

Постепенно веселеют лица раненых, гаснет страх в глазах одесских беженок и их детей, страх, навеянный громом английских дредноутов. Возле станционной водокачки режут волов, готовят обед на всех. В тени высоких пропыленных акаций, где встали табором со своими лошадьми и верблюдами степовики, радостно визжит и толпится детвора. Живые, настоящие верблюды! Такого дива здесь никто еще не видывал.

— Дяденька, а как их звать? — пристают они к Оленчуку, кормящему своих двугорбых.

— Этого — Кузьма, а вот этого... Полундра.

— Они не кусаются, дяденька?

— А это как ты с ними обращаться будешь,— степенно поясняет детям Оленчук.— Если ты с ним добрый, так и он с тобой хорош. Когда знает, что виноват, хоть и ударь — не рассердится, а вот как ударишь зря, незаслуженно,— он тебе этого вовек не простит. Либо в хлеву где-нибудь прижмет, двинет о стенку так, что и шкура с тебя долой, либо плюнет на тебя при случае, и то ему станет легче...

На перроне стрелочники, чувствуя себя хозяевами, не без гордости рассказывают бойцам, что это как раз и есть та самая станция, дальше которой на север интервенты в свое время не прошли. Повстанческие полки — Вознесенский и другие — погнали их отсюда назад.

— А больше всех рвался в Киев, знаете, кто? — рассказывает сухопарый станционный телеграфист, словно жалуясь то одному, то другому бойцу.— Консул американский, полковник американской армии... Еще здесь бои идут, а он уже в Одессе свою лавочку прикрыл, консульский флаг — в чемодан и айда в дорогу. В Киеве, мол, американское консульство открывает... До самой

нашей станции доехал, а тут его французский комендант за шкирку да из вагона: не лезьте, мол, в чужой огород, сэр...

— Разбушевался он тут, этот консул,— вмешался в разговор один из стрелочников.— Стереть в порошок француза грозился. «Сегодня ваша, говорит, зона, завтра наша!» Это Америка нарочно, мол, пустила на Украину французов, чтоб обожглись, а потом... потом видно будет!

— Одним словом, сцепились два коршуна,— заметил, опершись на посох, какой-то дед в соломенном бриле.— Украины нашей никак не поделят...

В тени на перроне группами расположились раненые. Местные жительницы поят их молоком и жалостливо расспрашивают:

— Как же это они вас? Пулями отравленными, что ли?

— А правда, что там уже с моря на берег стальные черепахи лезут?

— Дредноуты нехние почище стальных черепах,— пробасил коренастый с перевязанной рукой мужчина в замасленной одежде, с виду корабельный кочегар.— Одним залпом целый рыбацкий поселок сносят.

— Этакая силища... Спаси и помилуй!

— Ну да ничего, мы еще вернемся, мы еще им покажем «святую Русь»! — со злостью проговорил матрос с якорями на груди.— А то про «святую Русь» кричат, а со всеми потрохами Антанте продались...

Недолго длилась эта передышка. Не успели пообедать, как до станции стали долетать снаряды дальнобойных орудий генерала Шиллинга. Пришлось поспешно сниматься и двигаться дальше.

Уже когда колонна тронулась в путь, Леонид Бронников с платформы бронепоезда случайно заметил неподалеку Яреська. Данько ехал с килигеевской разведкой вдоль насыпи. Переглянулись, сдержанно кивнули друг другу. Здорово измотало за это время хлопца. После того как похоронил ближайшего друга своего Яноша, еще сильнее похудел. Обветренное, загоревшее лицо его серьезно,— куда девалась прежняя мальчишеская беззаботность, только и осталось, что глаза,— яреськовские глаза жарко поблескивают из-под папахи каким-то сухим внутренним огнем.

Слева от колонны разорвался на жнивье снаряд, за ним лег второй, подняв тучу ядовито-рыжего дыма и пыли... Конница понеслась вперед. Бронников, поднеся к глазам бинокль, стал смотреть в ту сторону, в степь, за станцию, откуда била по ним артиллерия. «Погодите, мы еще вернемся,— хотелось крикнуть.— Откатываемся ручьями, а вернется нас сюда — море!..»

Объединенной колонне южан не видно было теперь конца. Из-за горизонта выходит, за горизонтом теряется... Знали, нелегкая ждет их дорога: будут еще и разрушенные пути, и сломанные хребты железнодорожных мостов, и бесконечные выматывающие силы бои...

Пыль стоит до неба.

Верблюды истошно ревут.

На платформах эшелонов вповалку лежат, стонут больные, раненые. Сотни, тысячи их, окровавленных в боях, подкошенных тифами, мучаются на подводах.

Небо и небо над ними, в зените девственно-чистое, а ниже к горизонту — бурое, сухое, тревожно помутневшее... Не угадаешь, что его возмутило — далекие ли черные бури или движение многотысячных армий, проходящих этим летом по земле?



КНИГА ВТОРАЯ

ПЕСНЯ И ХЛЕБ



I

И солнце светит, и снег курится... Буйный ветер гудит в ветвях обмерзших деревьев, гонит по опушке леса сгорбленную женщину с котомкой на спине.

Вокруг — ни души. Лес да поле. Срывается сухая поземка. Курится над полем снег — до самого солнца, туманного, еле видного сквозь вихри снежной пыли... Уже оно клонится к западу, скоро и вовсе спрячется, станет совсем темно, а где же ей ночевать? Снова волки объявились. Давно уже не было слышно их в этих краях,

а теперь все чаще подбираются к селам захлебываясь голодным звериным воем. Одни говорят, что это к недороду, другие — что к новому нашествию.

Волчьи, видать, времена настают! Там, слышно, овцу утащили ночью, а там, гонимые голодом, напали и на прохожих... Ее, мать, не должны бы они тронуть... Дикий зверь и тот, кажется, уступит ей дорогу, узнав, куда и зачем спешит она!

К сыну торопится. Случайно, от посторонних людей, узнала, что сын ее лежит в кременчугском лазарете. В бараках при махорочной фабрике открыт новый лазарет, и там он лежит.

Ноги сами несут ее вперед и вперед. Вьюга разгулялась — света белого не видно. Солнце зашло, быстро темнеет. В вечерних сумерках, в вихрящемся снеге тонут поля, скрывается лес... Мать идет. Не пугает ее ни метель, ни темнота — без отдыха будет идти всю ночь. Только бы не сбиться с дороги.

Воет ветер. Струится поземка. Тысячи снежных гонцов бегут впереди матери в клубящуюся метельную мглу.

Всю ночь ветер с грохотом бьет по лазаретной крыше, завывает в трубе, так и кажется — кто-то ходит, тужит в темноте под окном Прислушивается лазарет: кто там может рыдать темной ночью под его слепыми, забитыми снегом окнами?

Холодно в бараке. Суточная норма дров давно сожжена, уже и пепел вытянуло ветром в дымоход. Дует из всех щелей, выдувает из-под плохонького одеяла и шинели последнее тепло...

Здесь и Яресько.

Свалило его сам не знает когда. В последний раз помнит себя на коне в зимнюю лунную ночь. Полк шел по правому берегу Днепра, преследуя деникинские арьергарды. Сзади горела разбитая станция, впереди, за морем голубых, волнистых снегов, таинственно темнели какие-то хутора, доносился собачий лай...

Из последних сил держался Яресько в седле. Смертельная усталость разламывала тело, искрившиеся в снегах звезды до боли резали глаза, и заморенные кони равнодушно ступали в лунной голубой пустоте. Потом и

звездное небо и снега — все смешалось, закружилось, пока и сам он — с конем и с седлом — не провалился в какую-то звездную пропасть.

Сколько дней и ночей длилось обморочное его забытье? Пришел в себя ночью в мрачном бараке, среди таких же, как и сам, тощих, как скелет, сыпнотифозных, лежавших от стены до стены вповалку на полу. Появилась какая-то женщина в белом и, обрадовавшись, что он пришел в сознание, дала ему пить. Потом заметил, что все соседи его лежат стриженые, как арестанты, через всю голову у них кривые загзаги от ножниц, как на какой-нибудь асканийской овце, которая только что выскочила из-под руки стригаля... Потрогал себя за голову — тоже острижен! Там, где раньше буйный чуб развевался, теперь лишь колючая стерня торчит!

Больно было сознавать, что не грек, не кадет, не петлюровские штыки, а какая-то ничтожная вошь выбила его из седла. Сколько прошел, на коне облетал, а теперь вот лежи и смотри, как лампа с разбитым стеклом в газетном абажуре всю ночь потолок над ним коптит!

Тетки-санитарки, с которыми он потом разговорился, почему-то считали его дальним, может, потому, что бредил он Крымом да крымским небом, а узнав, что он родом из здешних полтавских мест, стали радоваться за его мать, которая после стольких лет разлуки увидит наконец сына.

Не лежалось Яреську под лазаретным одеялом. Валяется тут бревном, в то время как его однополчанам, может, где-то уже степная луна светит в походе! Хотелось скорее встать и идти, идти, но тело наотрез отказывалось ему служить... Разбирала злость на свою беспомощность. Иногда ему казалось, что он теперь никому уже больше не нужен, что жизнь навсегда выбросила его из седла. Будет валяться вот так, пока не вынесут однажды утром и его из барака, как выносят других... Сколько уже их здесь закоченело — никаким теплом не отогреть.

Шли дни, а его никто не навещал, никто им не интересовался.

И, как всегда в таких случаях, ближе всех оказалась мать.

Сначала подумал, что это сон: зашла и стала с котомкой у порога, беспокойно, как пугливая птица, огля-

дывая лазарет. В смущении никак, видно, не могла отыскать его глазами: много было их перед нею, и все под шинелями, все как трупы на поле боя...

Данько первым окликнул ее:

— Мамо!

Всплеснув руками, подбежала, приникла к нему:

— Данько... дитятко мое!

И залилась слезами.

Стала как будто меньше, высохла, еще больше исхудала... Только черные брови — не слинявшие, почти девичьи! — напоминают еще о былой красоте, темными стрелками разлетелись от скорбной складки на лбу.

Склонившись, мать все смотрит на него, и губы ее дрожат от сдерживаемых рыданий.

— И как только вы меня тут разыскали,— сказал сын незнакомым ей, веселым баском, и нежная, юношески застенчивая улыбка, заиграв на губах, сразу осветила все его лицо, сделала еще более близким матери.

Он, он! За время почти шестилетней разлуки жизнь до неузнаваемости изменила его, однако изменила для других, но не для нее, не для матери. Приняла его сердцем такого, как увидела: кажется, таким и ждала... Юное бескровное лицо и следы знакомых вихров надо лбом... Кажется, вчера провожала его маленького, в Каховку. Ребенком, подростком был он для нее и сейчас, в этой непомерно широкой госпитальной рубахе из казенного полотна с полотняными завязками вместо пуговиц... Не важно, что первый юношеский пушок уже темнеет на подбородке, пробивается на губе, он кажется ей каким-то ненастоящим, преждевременным. Мальчишка, да и только. Бледный, костлявый, исхудал — весь даже светится... Нелегко представить было, что перед этим он уже год не вылезал из седла и наравне со взрослыми бился на фронтах за свое неуловимое счастье. Изнурительная болезнь сделала его каким-то хрупким, слабым — в лице ни кровинки, руки, как щепки, только ладони непомерно широкие и огрубевшие, видно, расплюснутые рукоятью сабли, натруженные суровой солдатской работой.

Вздохнула мать, глядя на эти руки.

Успокоившись, развязала котомку и стала доставать оттуда гостинцы. Совала сыну под шинель домашние ржаные лепешки, выменянные где-то кусочки сахару,

сушеный терн и кислицы... Хотела дать по лепешке и соседям сына, но стоявшая у порога суровая сестра милосердия знаком предупредила, что им, дескать, нельзя.

Страдали люди, стон стоял вокруг. Один просит воды, другой что-то бормочет, ругается в бреду. Какой-то костлявый усач неподалеку от Данька метался в жару и, вскакивая, выкрикивал в беспамятстве:

— Пли! Пли! Пли!

Страшная война продолжалась и здесь, в их воображении, не выпускала этих несчастных из своих когтей.

— Данько,— вдруг наклонилась Яресьчиха к сыну,— заберу я тебя отсюда... Дома скорее выздоровеешь.

— Вряд ли разрешат, мамо.

Это ее удивило. Как? Ей да не разрешат, родной матери не отдадут?

— Опомнись, сыику, что ты говоришь! Как это не разрешат?

— У комиссара надо просить.

— А у комиссара разве сердце каменное, разве матери нет у него? Пойду!

Она была готова хоть сейчас бежать к комиссару.

— Подождите, мамо, не спешите... Расскажите лучше, что у нас там дома делается.

— Да что же,— мать снова присела возле него.— Землю нам нарезали на Черненьем, и на твою долю тоже нарезали... Кое-кто, правда, стал было ворчать, что на тебя, мол, не надо, потому как тебя уже, мол, и на свете нет. Да Цымбал, спасибо ему, не поддался. «Не спешите, говорит, хоронить парня...»

— Ну, а как там Вутанька?

— Разве ж ты не знаешь Вутаньки: коль не смеется, так плачет, а все без дела не сидит. Нелегко ей. Вутаньке нашей, пришлось, особенно на первых порах, когда вернулась из Таврии — ни девушка, ни вдова... Натерпелась от богатеев всяких издевок... «Ага, допрыгалась! Вместо таврийских червонцев байстрюка матери в подоле принесла!» Виду она не подавала, а сколько слез тайком ночами пролила — одна лишь подушка знает... Потом уж легче стало, когда весточки от Леонида начали приходить...

— А я ведь, мамо, с Леонидом вместе в боях был.

— Да он же и у нас весной гостил... Доброй души, видать, человек, не ошиблась Вутанька. Недолго и по-

был, а в доме после него будто светлее стало. И со мной о зе́мле погуторил и Цымбала расспросил, все ли идет по справедливости... Цымбал наш теперь с саженью не разлучается... Еще и солнце не взойдет, а он уже папку под мышку, сажень в руки — и айда в поле!

— Хотел бы я увидеть Цымбала с папкой,— улыбнулся Данько.

— Говорят, он в ту папку вместо бумаг оладьи кладет,— улыбаясь, рассказывала мать.— Набегается с саженью по полю, присядет где-нибудь, да и перекусит... Потому как он хоть и неграмотный, да первым взялся землю размерять, почитай, что из его рук Кринички наделы получили...

Увлекшись разговором, мать, видно, и забыла, что пустили ее сюда только на часок, и потому была крайне обескуражена, когда ей напомнили, что уже, мол, пора, время истекло... Пораженная неожиданным напоминанием, не стала и пререкаться, хотя в душе считала, что нехорошо они поступают, разлучая ее с сыном: ведь матери ему никто не заменит, а она — какая ни на есть — способна заменить ему всех самых милосердных на свете сестер. Сыну сказала, что пойдет ночевать к знакомым, а сама тем временем подалась на вокзал. Там, на вокзале, и ночь провела, прикорнув на кулаке, среди скопища пассажиров, которые по неделе толклись тут в ожидании пропусков на поезда.

II

Утром снова уже была в лазарете. На этот раз явилась прямо к комиссару.

— Отдайте мне сына!

Комиссар — пожилой, седой человек в форме железнодорожника, такой же изможденный, как послетифозные,— как раз занимался тем, что растапливал печурку у себя в кабинете.

— Сына? — покосился он на Яресьчиху.— Это который же?

— Яресько... Данило Матвеевич.

Комиссар поднялся, вытер руки о штаны:

— Фронтов еще не распускаем.

— Выздоровеет—снова отдам,— взмолилась мать.— Холодно же у вас! — она даже подула на пальцы.

Комиссара это, видно, обидело.

— А где же уголь взять?— нахмурился он.— Ведь Донбасс разрушен, шахты затоплены, это вам что, а? И так вот,— он кивнул на ведро с углем возле печурки,— железнодорожники от своего пайка отрывают, хотя у самих нехватка...

— Да разве ж мы не понимаем,— сочувственно промолвила мать. — Лютые стали. За землю панскую они бы рады всех нас голодом да холодом выморить. Но все же дома легче: дровишек там у нас можно раздобыть...

Комиссар порылся в столе, пошелестел какими-то бумагами.

— А молоко дома есть?

— Скоро будет, — оживилась Яресьчиха. — Определили нам коровку, как семье красноармейца... Телка ждем.

Аккуратно подстриженные усы комиссара шевельнулись скупой, чуть заметной улыбкой.

— Что ж, тогда возразить нечего... Только на чем же довезете?

— О, не беспокойтесь,— засияла мать.— Я уже подводу договорила: за воротами ждет!

Это, видно, окончательно перевесило чашу весов: отдал комиссар матери документы, разрешил забрать сына.

Вбежала к Даньку возбужденная, помолодевшая.

— Забираю тебя, сыику! Отдал комиссар! Сама буду лечить тебя дома! В родной хате скорее на ноги поднимешься...

Оживленно разговаривая, вдруг поймала на себе несколько молчаливых взглядов соседей Данька. Тоскливо сжалось сердце от этих взглядов; были в них и страдание, и зависть, и мольба. «Забери, мамаша, и нас отсюда»,— словно просили они ее.

— Рада бы и вас, люди добрые, забрать, чтоб не мучились здесь, всех бы забрала, если б могла,— вырвалось у нее из самого сердца, и она почувствовала, как слезы сжимают горло.

Кастелянша принесла амуницию Данька, положила ворохом перед ним. Мать помогала ему одеваться.

— Какой же ты легкий стал, сынку,— приговаривала она.— Кажется, на руках бы, как маленького, до самых Криничек донесла!

Пока он с помощью матери натягивал на себя свое солдатское добро, за воротами прохаживался около саней широкоплечий усатый подводчик, в тулупе до пят,— верно, с десяток бараньих шкур висело на нем. С недовольным видом, мрачно мерил землю крепкими сапогами, поверх которых были натянуты лапти. Подводчик уже начинал было сердиться, когда Яресьчиха в сопровождении санитарок наконец вывела сына из барака. Не узнать было ее. Радостная, озаренная счастьем, гордо приосанившись, вела она сына через двор к воротам.

Вдруг сын остановился, заметив хозяина подводы и узнав в нем своего давнишнего врага — Митрофана Огиенко.

— С ним? — он кивнул в сторону возницы.

— Никого от нас больше нет,— оправдываясь, пояснила мать. — И то посчастливилось: он в тюрьму с передачей для сына приезжал.

Данько насупился:

— Лучше пешком, чем с таким гадом!

— Вот тебе и раз! — забеспокоилась мать.— Куда уж тебе пешком: от ветра валишься!

— Враг? Не беда! — подбодрил парня комиссар. — Поезжай и на враге, пусть везет...

Между тем Огиенко, заметив, как парень пререкается с матерью посреди двора, приблизился к воротам и, делая вид, что он обрадован, приветливо замахал молодому Яреську кнутом:

— Давай, давай, герой! Отрывайся от матери — на своих собственных ходить учись!..

И, в знак уважения к пассажиру, он начал взбивать кнутовищем солому в санях.

Данько совсем обессилел, пока, опираясь на материнское плечо, добрел до саней.

— Не взыщи, Матвеевич, что на соломенной трухе придется сидеть,— пошутил хозяин, взбив солому подушкой.— Сенцо, брат, разверстка съела...

Данько сел спиной к вознице — он не мог скрыть своей неприязни к нему.

Пока Яреськи прощались с госпитальными, Огиенко тоже сел и поднял кнут.

III.

Полтавский большак, ночевка у знакомых людей, и на следующий день под вечер они уже подъезжали к Криничкам.

Дорога идет вдоль леса. Весь лес в инее, в хрупком, сказочно роскошном наряде. Серебристый, светлый, притихший, словно ждет чего-то, к чему-то прислушивается... Тишина вокруг такая, что, наверное, за версту слышно, как скрипят по снегу полозья, как дятел долбит где-то мерзлую ветку. Бегут сани, клубами валит пар от лошадей.

Данько, посиневший, нахохлившийся, сидит возле матери, подняв воротник шинели, жадным взором из-под папахи окидывает родные места. Хотелось, чтоб и Наталка все это видела. Показать бы ей этот — в инее — лес, повести бы ее за руку в его белоснежные, будто насквозь просвечивающие и все же таинственные глубины... Степнячка, она никогда не видела настоящего леса, никогда над ней не склонялись вот так сияющими гирляндами пушистые, кристальной чистоты, никем не тронутые ветви! И касаться их нельзя: кажется, коснись одной веточки — и весь лес со звоном рассыплется, вмиг разлетится на осколки...

Тишина, тишина вокруг — глубокая, торжественная. Не шелохнет. Только изредка то тут, то там хрустнет дерево или вверху застучит дятел, словно передавая кому-то сигнал в глубину леса. Лишь с красотой весенних цветущих садов может сравниться этот окутанный зимними чарами лес. В каком-то величавом спокойствии, в немом очаровании стоят непривычно светлые в инее ольха и берест, могучие, точно выкованные из серебра дубы...

Это уже были хорошо знакомые Даньку места, с детства исхоженные им вдоль и поперек. Не раз забредал он сюда на лесные свои промыслы за хмелем и кислицами или вместе с товарищами — целой ватагой — выходил встречать родителей, возвращающихся из города. Помнит, вот здесь он поджидал отца; всегда тот ехал с ярмарки веселый и непременно с гостинцами. Раздевшись дома, сразу же брал на руки тогда еще совсем маленького Данька и тетешкал, подбрасывая под потолок, с шуточными припевками-приговорами:

Ой, чук, чук, чук!
Недалеко Кременчук.
А ще ближче Говтва,
Сороченька жовта!

Веселым, с гостинцами, с шуточными припевками — таким сейчас вспомнился Даньку отец и никак не выходил из головы. Может, потому, что рядом в санях, заняв половину их своим дубленым тулупом и мирно помахивая кнутом на лошадей, сидел как раз один из палачей отца, один из тех, кто чинил над ним самосуд в ту далекую бунтарскую ночь...

Огиенко, зная свою вину перед молодым Яреськом, пытался в пути то так, то этак завязать с ним разговор, однако из этого ничего не вышло: буркнув слово-другое в ответ, Яресько снова надолго умолкал. Почему-то он твердо был уверен, что в лице этого закутанного в тулуп, совсем будто бы смирного человека он еще встретит лютого, смертельного врага. На словах этот земляк вроде бы и добрый стал, даже попону дал матери, чтобы прикрыла ноги больного. Но чувствуется по всему, что, будь его сила, Огиенко истребил бы и Яреська, и его мать, и весь их род. И странно, что мать будто уже не чует в нем врага, будто и думать не хочет о его затаенной злобе, и слышит только его, Огиенково, горе, которым он делится с нею.

— Вот так-то, Мотря,— вздыхает он,— ты своего домой везешь, а я своему каждую неделю только передачи вожу.

— Так уж, видно, суждено.

— Да за что же суждено? Не виновен же мой и вот столечко!

— Если не виновен — выпустят...

— Ну да, жди! Туда ворота широкие, да только назад узкие,— сказав это, Огиенко вдруг обернул к Яреську свое крупное, раскрасневшееся с мороза лицо с обмерзшими, обвислыми усами.— Данило! Нет ли там у тебя кого-нибудь знакомого в кременчугской чека?

— А хотя бы и был, так что?

— Трудно правды добиться, если не имеешь там руки... Взяли, посадили парня, а за что — спроси? С Варшавой, говорят, связан... Да кто же это докажет? Кто это видел? Где Варшава, а где Кринички! Мы с со-

ветской властью не воюем, мы ее хлебом кормим. Наше дело хлеб робить, а ее дело — кушать!

С этими словами Огиенко так замахнулся на лошадей, что задел кнутом за ветку, сбив целое облако инея.

— Кому совсем невтерпеж—тот себе дорогу нашел,— снова заговорил Огиенко погодя.— К Скирде вон, либо к Ганнусе махнул. Не гордая, примет!

Данько удивленно обернулся к матери.

— Что это еще за Ганнуся такая?

— Да это же давняя попутчица твоя, тавричанка, — ответила мать, с тревогой посмотрев на лес. — Гаина Лавренко. По хуторам ее Ганнусей зовут!

— Лихая девка! — оживленно подхватил Огиенко.— Подобрала себе вот таких, скажем, как ты, орлов и пошла с ними по Украине гулять! В белом платье, говорят, носится на коне, а за ней табуном — матросня, рубаки! Кто лучше всех покажет себя в бою, кто больше всех неприятелев порубит за день, того она на ночь... к себе берет.

Яресько слушал и ушам своим не верил. Ганна... Вечная батрачка, та, что вместе с ними в Каховку ходила, вместе с батрацкой голытьбой на степных таборах горе мыкала!.. И это она теперь бандитка?!

— Давно уже о ней у нас тут не слышно,— заметив, как это поразило сына, успокоительно промолвила мать.— Может, в другие края перекинулась, а может, и вовсе где-нибудь забубенную свою голову сложила...

— Все может быть,— со скрытой насмешкой заметил Огиенко.— Может, в Гуляй-Поле у батька гостит, а может, и здесь вот, в этом лесу, коней кормит да нас с вами поджидает.

И, откинувшись назад, с размаху стеганул лошадей кнутом.

Замелькало, пробегая мимо, хрупкое белое лесное царство... До сих пор Яреську как-то и в голову не приходило, что этот чистый лес его детства, эти застывшие в светлом зимнем очаровании деревья могут таить в себе какую-нибудь опасность. А сейчас, после загадочных слов Огиенко, из глубины леса, из его хрустальных, увешанных белоснежными гирляндами пещер вдруг дохнуло неведомой угрозой, и голубые вечерние тени, окутывая лес, казалось, уже населяют его толпами лохматых загадочных призраков.

Дорога между тем свернула от леса и пошла напрямик через пойму реки, и взору открылось небольшое село под горой со знакомой деревянной церквушкой.

Высокие дымки поднимались над трубами, таяли в морозном предвечерье...

Это уже были Кринички.

IV

На косогоре в вишняке присела, притаилась отцовская хата. Завалена снегом, подперта по углам кривыми, почерневшими от времени бревнами... Зато из дому — с улицы видать — пышет огнем, веет теплом, буйным пламенем пылает печь, и на ярком фоне этого пламени то и дело появляется знакомая фигура: сестра! То наклонится, то выпрямится возле печи — видно, ужин готовит.

Уже Данько с матерью был почти у двери, как вдруг откуда ни возьмись выкатился ему под ноги кудлатый щенок, запрыгал, затявкал с забавным усердием. Мать прикрикнула на него, отгоняя:

— Пошел вон, Колчак! — но тот не унимался и все норовил вцепиться в истрепанную шинель молодого хозяина.

На гомон выскочила Вутанька.

— Кто это здесь воюет? — и, разглядев в сумерках приезжих, радостно бросилась к Даньку. — О боже милый! Братик!

Горячая, раскрасневшаяся от жара, схватила продрогшего с дороги вояку в объятия, обдала печным духом и почти внесла в дом на упругих сильных своих руках.

Пока мать подтягивала фитиль в каганце (чтоб сыну светлее было в комнате), Данько, прислонившись к теплой печи и отогревая закоченевшие руки, следил, как Вутанька, наводя порядок, ласточкой порхает по комнате. Кажется, совсем не изменилась за это время! Как и раньше, вишнево горят румянцы на смуглых, с ямочками щеках, жарко блестят, светятся по-девичьи озорные глаза... И сама вся еще как девушка: подвижная, легкая, стройная. Ситцевая голубенькая кофточка туго облегает талию и высокую грудь... Как-то удивительно было слышать, что это к ней, к Вутаньке, тихонько обращается откуда-то с печки приглушенный детский голосок:

— Мамо... слысите, мамо... где мои станы?

— Зачем тебе штаны, печушник? — поворачиваясь на голос сына, засияла Вутанька.— А ну-ка, вылезай, покажись дяде! Вот теперь дядя у тебя есть! Бабуня привезла!

На печи послышалось сопенне, какая-то возня и потом:

— Я без станов не вылезу...

— Вот тебе и на! — засмеялась Вутанька. — Ну ищи, куда же ты их задевал?

— Давай-ка я тебе помогу,— наладив каганец, сказала внуку бабушка.— Так ждал, что приедет отец или дядя, теперь забился в нору, и на свет тебя не выманишь... Окрайца от зайца хочешь, Василек?

— Хоцу.

Она достала из котомки краюшку своего же домашнего хлеба, насквозь промерзшего, искрящегося от мороза.

— На, это мы с дядей для тебя у зайца отняли.

Соблазненный краюшкой, спустился наконец с печи на лежанку сам Василько — белоголовый, лобастый карапуз. Подошел к краю лежанки в штанишках из домотканого полотна с лямкой через плечо, остановился.

Данько внимательно вглядывался в племянника. Насупленный, не по-яреськовски белобрысый, а лоб... вылитый Бронников!

Он протянул ему руку:

— Ну здорово, Бронников...

— Длас-туй-те...

Так они познакомились. Но по-настоящему Василько признал дядю лишь после того, как тот снял шинель и всю хату сразу словно озарило красное галифе, а на сапогах сверкнули настоящие кавалерийские шпоры.

— Спо-лы... А где зе вас конь и седло?

— Эх, брат Василько,— невесело улыбнулся дядя. — Сам бы я хотел знать, где сейчас мой конь да седло...

— Рано тебе еще о седле думать,— прикрикнула бабушка на внука.— Марш на печь! Твое еще там, хлопче...

Вутанька, присев возле брата и не отрывая от него нежного взгляда, расспрашивала его о здоровье, потом вдруг похвалилась, что недавно получила письмо от своего Лени.

— Три недели шло: откуда-то со станции Апостолово... Ты не знаешь, где это Апостолово?

— Апостолово, а там и Берислав, Каховка, Чаплинка,— задумался Данько.— Если б не эта моя дурацкая хвороба...

— Леня там и о тебе пишет, — поспешила утешить его сестра.— Очень, говорит, сожалели о нем, на весь полк запевала был.

И, заметив, как при этом повеселел брат, Вустя кинулась искать письмо, спрятанное где-то за иконой в углу.

— На вот, лучше сам почитай.

— Еще не начиталась,— строго сказала мать, увидев письмо в руках Вусти.— Каждый вечер вместо молитвы на сон грядущий... Ступай корыто принеси!

Вутанька, вскочив, быстро внесла из сеней деревянное долбленое корыто, то самое, в котором мать купала Данька, когда он еще был маленьким.

— А вы как бы хотели, мамо?— поставив корыто перед братом, снова вернулась к тому же Вутанька. — Столько времени не было никакой весточки, и вдруг... из какого-то Апостолова. Далеко это, Данько?

— А ты что,— усмехнулся брат,— уж не задумала ли туда махнуть?

— О, если б только знала, что застану его там!.. На крыльях бы полетела!

— Опомнись, шалая! — выпрямилась у печи старуха. — Выбрала время, чтобы летать!

— Ганна летает же? — озорно блеснула глазами Вутанька.— Почему же нам нельзя?

— Да, расскажи, что это тут у вас с Ганной стряслось,— спросил Данько.— Мне просто не верится...

— Длинная песня,— живо заговорила Вутанька.— Ты же знаешь, Ганна всегда взбалмошной была. То из батрачки степной миллионершей хотела стать, то вдруг атаманкой себя объявила. А только я так думаю, что во всем этом в первую голову дядьки ее виноваты, Сердюки. Как хотели когда-то продать ее молодому Фальцфейну, так теперь атаману Щусю в банду продали! Бандиты сами, бандиткой и ее сделали!

— Тише,— оглянулась мать на окна и, отстранив Вутаньку, стала рассказывать сыну обо всем этом по-своему. Соли тогда как раз у людей не стало, так Сердюки в супряге с Гноевщанскими монахами махнули по чумацким шляхам через всю Украину на Сиваш за солью: там, дескать, она нипочем, даром ее нагребай, до отвала...

Да ие те, видать, времеиа, чтобы чумаковать: ие дойдя до места, где-то иа полпути попали в ватагу к махиовскому атамаиу Щусю. Налетели с ним потом сюда, да и Гаииу подхватили...

— Сама я ие видала его,— добавила Вутаиька,— но, говорят, красавец матрос по хуторам всех девок с ума посводил.

— Скатерть иеразрезаиных кереиок оставил Лавреичихе за дочь,— полушепотом рассказывала мать,— а Сердюки за иее будто бы горшок золота себе взяли!

— А где же оии сейчас промышляют? — спросил Даиько.

— Говорят, и до сих пор они при Гаиие оба,— громко сказала Вутаиька.— Оиа теперь, после того как ее Щусь пулю схватил, сама иад всей баидой атамаиит!

— Да хватит о ией,— сиова посмотрев иа окиа, предостерегающе промолвила мать.— Лучше меиьше поминать ее, иа иочь глядючи.— И — Вутаньке: — Поди-ка окна позакрывай. Да корове иа иочь корму подбрось, да потом сбегай к Семеиихе, постиого масла займи.

— Ох и свекровь же кому-то достанется,— переглянувшись с братом, лукаво стрельнула глазами Вутаиька.— Живет где-то девушка и ие зиает, что ее тут ждет!

И, звоико засмеявшись, выскочила из хаты. Через миииуту она уже громыхала под окиами, иавешивая обмерзшие камышовые маты, которые зимой служили им вместо ставеи.

V

Когда Вутанька вериулась от соседей, Даиько, уже выкупанный, в чистой отцовской рубашке, сидел за столом, склонившись иад письмом Леоиида.

«Дорогая, горячо любимая жена и подруга моя, Вутаиька! — ложились мелкими строчками непривычио откровеииые, иепривычно нежиые в устах комиссара слова.— После того как мы в последиий раз обнялись и поцеловались с тобой в коице села...» — Это все к иему ие отиосится. Ага, вот и о нем... — «Данька оставили в Елисаветградском уезде, у иего был тиф, а ои долго не призиавался... Вместе с другими отправлеи в г. Кременчуг...» — И дальше — что сожалеют о ием в полку...

Остальное — почти до самого конца — о сыне. Как растет, да часто ли вспоминает, и: «Береги, береги, береги...»

Сложив письмо, Данько встал и, задумчиво прохаживаясь по комнате, словно ненароком заглянул на печь к Васильку. Мальчонка уже крепко спал, подложив кулачок под щеку, улыбаясь чему-то во сне. Юный Бронников... Где отец, а где сын... Интересно, что сейчас снится мальчику, каким своим немудреным радостям так мечтательно улыбается он? Смотрел, и так вдруг хорошо, светло стало у Данька на душе, будто улыбалось ему его собственное детство с вихром на темени, с холщовой лямочкой через плечо...

Рад был, что вырвался из лазарета. Видно, нет-таки в мире лучшего лекарства, чем материнская ласка, ничто на свете не может сравниться с этим родным теплом, покоем и домашним уютом, от которых он так отвык на бурлацких бездомных дорогах... После суровых лет батрачества и бесконечных боев все его тут как бы ласкало, все ему по-новому нравилось: и заботливая материнская воркотня, и веселая, озорная неугомонность Вутаньки, и висячий шкапчик с яркой посудой, и посыпанный свежей золотистой соломой земляной пол. Вот тут, смеясь, отец подбрасывал его под самый потолок... Дубовый сволок прогнулся, потемнел от времени, но еще крепко держит весь потолок на своем кряжистом хребте. Сколько он еще выдержит, сколько еще проживет?

Ужин был, как в сочельник: Данька посадили на почетное место, под образами, мать с Вутанькой сели по бокам. И хотя не богато было на столе, но эта горячая картошка в кожуре и хрустящие, точно с гряды, огурцы из погреба, да и поджаренные, только что со сковородки, гречневые блины с душистым подсолнечным маслом показались Даньку самой вкусной в мире едой.

— Как будто сразу здоровее стал,— признался он после ужина, даже не подозревая, как этим обрадовал мать.

Где же ему постелить?

Мать была за то, чтобы на печи, Вутанька — чтобы на лежанке, а сам Данько остановил свой выбор на широком деревянном полу, занимавшем весь угол под жердью для одежды, где когда-то спал отец.

Скоро и улеглись. Потушив каганец, долго еще раз-

говаривали в темноте. Вутанька жадно расспрашивала, где он успел побывать за это время, а мать, узнав, что совсем недавно Данько принимал участие в освобождении Киева, и сама заговорила о Киеве, стала вспоминать, как еще девушкой ходила с односельчанами в Лавру на богомолье. Данько с детства знал этот похожий на сказку рассказ матери о том, как шли они много дней по пыльным дорогам с торбами на плечах и как однажды под вечер далеко впереди, словно в небесах, увидели наконец залитый солнцем златоверхий город на святых наддне-провских холмах. При виде его все богомольцы упали на колени и, плача, молились на те горы, на те далекие золотые купола, горевшие в ярком свете заката. Давно это было. А теперь вот, совсем недавно, он сам не на колени падал, а верхом на коне влетал в этот город, саблей прокладывая путь среди золотых его куполов!

Это было уже в конце их многонедельного перехода из таврических степей на север, в район Житомира. Дождливой осенней ночью в пущах Полесья объединенная колонна южан наконец встретилась с регулярными советскими войсками — передовыми частями Двенадцатой армии. Невероятно тяжелый, с бесконечными боями поход остался позади. После такой дороги можно было ожидать и передышки, однако отдыхать не пришлось: Двенадцатая армия готовилась к наступлению на Киев, и Таврийский полк, как один из наиболее испытанных, в ту же ночь получил боевое задание.

Шли лесом, незнакомой дорогой, словно сквозь первобытные дебри, продираясь в сплошной темноте по заданному маршруту. Знали, что в эту же ночь где-то с другой стороны, из черниговских лесов, на Киев ведут наступление черниговские партизаны, славные богунцы.

Темно — ни зги не видно. С храпом проваливаются кони на укрывшейся под валежником мочажине, отовсюду тянет сыростью, терпким духом прелых листьев. А вверху, перекатываясь, как море осеннее, шумит и шумит лес вершинами дубов и сосен.

Хлюпают и хлюпают лужи под ногами, бьют в лицо ветки, густой мрак леса окутывает бойцов со всех сторон — такого никто из выросших в степи чабанов-тавричан еще и в жизни не видел. Однако, несмотря на усталость, валившую с седла, на тьму, которая острыми вет-

ками колола глаза, все были исполнены решнмости во что бы то ни стало пробнться к Киеву, овладеть им.

— В Киев, а там хоть и под коня! — выразил тогда их общую мысль студент Алеша Мазур. Раненный в одном из последних боев, он едва держался в седле.

Сурово, по-осеннему, шумел над головой лес, и в его бесконечном шуме степнякам слышался то певучий шелест ковыля на целинных таврнйских просторах, то рокот волн у родных морских берегов, оставленных далеко на юге. Для Яреська лес не был днковннкой — все птнцы его детства, казалось, дремали вокруг в этих чащах, а терпкий запах мокрых лнстьев, грибов, муравейников, н этот суровый лесной шум над головой — то грозный н глухой, когда колышется дуб, то нежный и грустный, когда качают вершннами сосны,— как они тревожнлн душу после стольких лет разлуки, после того как за свистом степных буранов хлопец начал было уже забывать гомон полтавскнх рощ!.. Было в нем, в этом лесном осеннем шуме, что-то родное, что-то от голоса матерн, до боли печальное и прекрасное. В ту ночь Данько много думал о матери и о том, как она ходила девушкой в Кнев на горькое свое богомолье...

А утром полк вышел на открытую опушку и остановился, пораженный зрелищем невнданной красоты: далеко на горах перед нимн распахнулся златоверхий Киев!

Из мглы небосвода, из глубины ненастного осеннего неба выплывалн бесчнсленные маковкн его соборов, сняли навстречу, как огромные, достижимые для человека солнца...

Смотрели на них бойцы-тавричане, смотрели изнуренные конн, смотрели и степные двужнльные верблюды, которые вместе с полком дошли сюда из присивашских солончаков и теперь тянулнсь в сторону незнакомого златоверхого города своими добрыми умными мордами...

Ветер шумел за окном, навевая воспоминання о недавних боях, о товарищах. Грусть все больше охватывала Данька. Скольких друзей растерял по путн! Яноша в колониях похоронил, Алешу-студента где-то в Кневе в госпитале оставнл...

А Вутанька с лежанкн уже рассказывала ему о чем-то совершенно другом, о здешнем:

— У нас, Данько, скучать не будешь! Как выздоровеешь, мы тебя в артисты запишем, на сцене, на настоящей сцене будешь с нами играть,— и в голосе ее слышалось радостное волнение.

Данько стал расспрашивать, что это за сцена, о которой раньше в Криничках и не слыхивали.

— Решили: жить так жить! — весело говорила сестра.— В панской экономии Народный дом открыли, сцену построили, там и выступаем. Сначала было как-то чудно́, а теперь всем полюбилось, даже и старики не чураются.

— Это какие же старики? — осуждающе отозвалась из темноты мать.— Не дед ли Вининик?

— А хотя бы и дед Вининик? Он у нас Гришку Распутина играет!

Данько и Вутанька засмеялись, а мать недовольным тоном заметила:

— Сам он Распутин, твой дед... третий год не говеет. То все по свадьбам каблуки бил, а теперь уже на комедии перекинулся...

— Что же вы ставите? — спросил Данько.

— «Наталку-Полтавку» чаще всего, а недавно «Марата» ставили,— охотно рассказывала сестра.— Эту пьесу мы красноармейцам показывали, они у нас тут с неделю стояли... Хорошая пьеса, только петь нечего — сплошная стрельба да резня: мне там нужно было Грицька Титаря кинжалом закалывать... А на днях вот Нонна, поповна, новую пьесу из Полтавы привезла... «О чем шумел ковыль» называется... Не слыхал?

— Не приходилось.

— В субботу будем роли распределять... Я сама еще не знаю, о чем это и какая там роль мне достанется.

— Хватит уже тебе,— остановила мать Вутаньку.— Спать пора. И так заговорились.

Стало тихо. Некоторое время еще слышал Данько, как ветер тормошит за окном камышовые маты, поет в них заунывно, грустно, словно степные ковыли шелестят. И сразу же перед глазами Данька открылась, поплыла, волнуясь ковылями, залитая солнцем таврийская степь, и синеокая девушка, улыбаясь, приближалась к нему, брела по пояс в этих поющих, медленно переливающихся на солнце травах... Это уже был сон.

VI

— Ты бы выглянула, доченька, не топится ли там у кого-нибудь из соседей,— обратилась утром мать к Вутаньке, умывавшейся у порога.— За огоньком иужно сбегать...

— Как бы ие так! — засмеялась Вутаиька.— Разжнвешься у ннх огня. Оин самн ждут, когда у иас задымнт! — И весело объясиила брату: — Спичек в селе нет, потому-то утром каждый и выжидает, у кого раньше над домом дымок взовьется...

— Там у меия в кармаие кресало должио быть,— вспомнил Данько.— Васнлько, а ну-ка, поищи.

Василько был рад стараться. Нашлось в кармане н кресало, и кремеиь, н фнтиль... Целое богатство! С радостным ожндаиием смотрела вся семья на сухие, исхудалые Даиьковы рукн, готовившиеся добыть огонь при помощи этого иехитрого приспособлеиия. Васнльку впервые приходилось видеть вблизи такую штуку, ои н дух затаил, иеотрывно следя за малейшнм движеиием дядниых рук... Неужели же из этого н в самом деле может быть огонь? А дядя, прнладившись, ударил железкой по кремию раз. Ударил два. Подул легонько, потом посильнее и... появился огоиь!

Вскоре веселый дымок — первый на все село — заструнлся из трубы Яреськовой хаты. Рос, поднимался столбом все выше и выше в морозное утреинее небо.

И тут иачалось: скрип да скрип, хлоп да хлоп... Одиа за другой вбегали с улицы шустрые, как снинчки, молоденькие соседкн, которых Данько, может, и знал когда-то в детстве, но теперь они так повырастали, что и ие узиать... В ожидаиии, пока Яресьчнха нагребала нм в черепок вишиевого яркого жара, девушкн молча стояли у порога и, сдерживая жгучее любопытство, украдкой поглядывали в сторону молодого Яреська. Суровый с виду, стрнжеиый да худющий лежит, однако ж добыл нм этот драгоцеиный огонь!

Брали свои черепкн и, дуя иа горящие угли, разбегалнсь с ними по всем окрестным дворам. Данько после того только и зиал что расспрашивал, чья да чья.

— Быстроглазая, шустрая — это Семеиихина,— объясняла мать,— а та, что с маленьким черепком,— Иль-

кова, а третья — даже и не с нашей улицы забежала, не знаю и чья она.

— Прослышали уже,— улыбнувшись, подмигнула Вутанька брату,— зачуяли жениха. Держись!

И, накинув платок, весело подхватив на руку ведро, ушла хлопотать по хозяйству.

Однако вскоре она снова вбежала в дом, чем-то расстроенная, взволнованная.

— Мамо! Что это за мешки у нас в хлеву, мякиной засыпаны?

Мать словно и не расслышала: как возилась у шестка, так и продолжала возиться, еще глубже подавшись туда, в пылающую печь.

— Стала набирать мякину и вдруг наткнулась на что-то твердое,— взволнованно рассказывала Вутанька, обращаясь теперь больше к брату.— Разгребаю дальше, а там два большущих мешка с зерном.

Мать наконец выпрямилась, не спеша стала вытирать руки о фартук.

— Не дед ли мороз подкинул ночью? — улыбнулась как-то неловко.— Пронюхал, может, что у нас в бочке одни высевки остались, да и подбросил на кутью...

— Ой, что-то здесь не так! — внимательно всматриваясь в лицо матери, воскликнула Вутанька.— Не такой дед-мороз щедрый, чтобы пшеницей разбрасываться! Два таких лантуха, что и с места не сдвинешь!

— Ну чего ты раскричалась, дочка? «Лантухи, лантухи»... Ты же их туда не прятала? Разгребла, увидела, да и снова засыпала бы...

— Прятать? От кого? — вспыхнула Вустя.— От тех, что за нас же на фронте бьются? Что на голодных пайках сидят?

— Тише, Вустя! Еще люди услышат...

— Пусть услышат! Пусть знают! В волость продотряд прибыл, за каждое зернышко людей трясут, а здесь... По правде скажите, мамо: откуда это?

— Не бойся, не краденое.

Вутанька с решительным видом шагнула к двери:

— Пойду в ревком! Может, краденое как раз! Может, зерну этому давно уже следует быть на станции, в вагонах!

— Погоди,— удержала ее встревоженная мать.— Кидаешься, как оглашенная... Сядь.

Дочь отступила к лавке, но не села. Мать некоторое время стояла посреди комнаты, сложив руки на груди, как для молитвы.

— Подумайте: весна придет, земля теперь своя, а чем сеять? Всего и зерна осталось, что узелок гречихи да проса в чулане... А кто даст? Кто займет? — Мать вздохнула.— Сознаюсь вам, дети: мой грех. Никого никогда не обманывала, а тут на старости лет...— она закрыла лицо руками.— Кто его знает, как оно там дальше будет. Не ради себя... ради вас же, ради Василька грех на душу взяла!

И, перекрестившись на иконы, мать стала рассказывать.

Ночью вышла она с фонарем к корове и уже возвращалась в дом, как вдруг кто-то из-за угла — шмыг! — навстречу. Испугалась, решила, что это бандит какой-нибудь из леса. Ан нет: «Свои, свои! Не бойся, Мотря». И кто бы вы думали? Огненко! Митрофан Огненко! Так и так, говорит, как хочешь, а выручай. Едут из города разверстку выкачивать, хотят весь хлеб выгрести под метелку, так позволь хоть мешок какой-нибудь подбросить к тебе в мякинну, ты — беднячка, и у тебя искать не будут...

— Стала я отказываться, а он и слушать не хочет, откуда-то из-за хлева тащит с зятем мешки. «Вот, говорит, побереги это, пусть полежит. Придет время — не обижу, знаю, что теперь у тебя едоком больше в доме».

Слова эти о едоке, видимо, больно задели Данька, но он все же смолчал. Зато Вутанька была сама не своя от возмущения.

— Кровопийца! Мироед! Паук! — вскочив с места, взволнованно выкрикивала она.— За нашей спиной укрыться хочет! Снова думает нами помыкать!

— Так-то оно так, детки, да год трудный...

— Никто не говорит, что легкий,— говорила, все больше распаляясь, Вутанька.— Нам трудно, а рабочим каково! Ленин на восьмушке живет!

Мать задумалась. Она уже и сама, видно, не рада была случившемуся и теперь искала лишь способа, как ей избавиться от этих мешков.

— Знаете что? — сказала она, обрадовавшись пришедшей в голову мысли.— Побегу-ка я сейчас к нему.

Скажу, пускай сегодня же назад забирает. Как стемнеет, так пускай приедет на санях и заберет.

— Чтобы в ямах погноил? — воскликнула Вутанька.— Нет уж, дудки! Раз уж я этот хлеб нашла, то я им и распоряжусь. Мой он теперь!

Мать остолбенела.

— Вустя!

— Да, да! — весело притопнула ногой Вутанька.— Я его, мироеда, научу, как прятать!

Данько не мог удержаться от смеха.

— А ну, научи, научи,— подзадоривал он сестру.— Помоги ему выполнить разверстку!

— Помогу!

По тому, как сверкнули глаза Вутаньки, по тому, как решительно она взялась за щеколду, мать поняла: теперь ее уже ничем не отговоришь, ничем не остановишь... Да и нужно ли останавливать?

VII

Впрягшись в санки, раскрасневшаяся от мороза и напряжения, Вустя тащит вверх по улице тяжеленные мешки. Сзади санки подталкивает соседская девочка, пожелавшая ей помочь, да свой доброволец Василько, еле видный из-за мешков, туго набитых пшеницей. Мальчик так пристал, что отвязаться от него никак было невозможно. А теперь приходится то и дело оглядываться, чтобы мешки случайно не свалились назад да не придавили сына... Честно трудится малыш — слышно, как он пыхтит за санями, спотыкаясь в скользких бабушкиных истоптанных башмаках.

Улочка, которая вела на выгон к общественному амбару, поднималась все круче, тащить было все тяжелее, но чем тяжелее было везти, тем легче, тем радостнее становилось на душе у Вутаньки. Хотелось, чтобы Леонид увидел ее в эту минуту оттуда, издалека. Увидел бы, как вместе с сыном она, не щадя сил, подымает на гору нелегкое свое хлебное счастье в надежде, что оно, быть может, разыщет где-то в походе его, комиссара, и впроголодь воюющих его бойцов... Все тело горит от напряжения, чуть не до земли припадает она в своей упряжке, а на сердце так хорошо-хорошо!

На горе, возле настежь открытой двери склада, дымят самокрутками мужики, и первый, кого заметил в толпе Вутанькин зоркий глаз, был как раз он, Митрофан Огненко. Красный, как после чарки, в бекеше, отороченной серой смушкой, он рассказывал мужикам что-то веселое и сам громко хохотал... Увидев еще издали Вутаньку и ее поклажу, он вдруг осекся на полуслове и уже не мог оторвать глаз от огромных, сшитых из новой дерюги мешков, тяжело развалившихся поперек саней.

— И откуда это у тебя, Вустя, такие запасы? — с удивлением спросил кто-то из мужиков, когда она приблизилась к амбару.

— Везет же молодке — среди зимы уродило!

— И прямо на голодную кутью!

— Или это, может, тот, которого из-под шапки не видать, за себя разверстку приволок!

Подтащив санки к двери, Вутанька бросила веревку и не торопясь выпрямилась. Встретилась взглядом с Огненко и заметила, как тревога забилась, заметалась в его глазах.

— Чего же вы стоите, дядько Митрофан? — обратилась прямо к нему.— Подсобили бы, что ли?

— Да и то правда! — пошел к мешкам Цымбал с заткнутым за ухо огрызком карандаша.— Не женщине же этаких кабанов ворочать... А ну-ка, берись, Митрофан!

Огненко уже овладел собой.

— А что же, мы не из ленивых,— сказал он и, поплевав на руки, крепко ухватился за мешок.

Долговязый, тщедушный Цымбал сначала едва не выпустил свой конец из рук. Пятясь с мешком к помещению, он даже пошатнулся под непривычной тяжестью, а Огненко только пыхтел и отдувался, по-медвежьи переступая за ним на склад. Никак, видимо, не ожидал он, что придется сегодня тащить через порог свои собственные мешки.

— На такой груз у меня и гирь не хватит,— весело засуетился Цымбал, когда оба мешка горой легли на весы.

Смешно было Вутаньке глядеть, как Цымбал бегал вокруг весов с засунутым за ухо карандашом, как, сгорбившись, чем-то пощелкивал там у себя на весах... Тем-

ный да малограмотный, а когда пришлось, так и землю помещичью саженью перемерил и уже у весов вот стоит, как журавль, разверстку принимает...

— Хороша пшеничка, хороша,— причмокивали дядьки, когда хлеб уже был взвешен и отставлен в сторону, к сусекам.— Зернышко к зернышку!

Взял горсть зерна и Огиенко:

— Н-да... Как слеза. Будет кто-то кушать паляницы.

— Давайте его сюда,— распорядился Цымбал.— Берись, Митрофан, подсобляй уж до конца.

Полилась в сусеки пшеница — Цымбал старательно вытряхнул мешок, потом и второй...

— Э! Люди добрые! — вдруг удивленно воскликнул он.— Да тут, внутри, и пометка какая-то поставлена... Бублик какой-то, вроде как «О»! А ну-ка, смотри, Митрофан, не твое ли это клеймо?

— Нет, не мое,— отвернулся Огиенко.

— А вы лучше, лучше присмотритесь, дядько Митрофан,— сказала Вутанька.

— Ей-же-ей, вроде твое! — не унимался Цымбал и стал выворачивать мешок клеймом кверху.

Огиенко, наливаясь кровью, в бешенстве вырвал мешок у него из рук.

— Забирайте, забирайте, дядько Митрофан.— Вутанька, улыбнувшись, подбросила ему ногой и второй мешок.— Вам на хозяйстве сгодятся, а мне они больше ни к чему.

— Москва для вас гору фабричных пришлет,— огрызнулся Огиенко.— На всю жизнь хватит!

И, сунув кое-как скомканные мешки под мышку, он пулей вылетел со склада.

Мужики долго хохотали ему вслед. А Цымбал, развернув квитанционную книжку, степенно достал из-за уха свой карандаш.

— На кого же квитанцию выписывать? — обратился он к Вутаньке и, кивнув в сторону Василька, который пошмыгивал носом возле санок, полушутя добавил: — Не на него ли?

Вутанька некоторое время стояла в раздумье.

— А, пожалуй, как раз на него,— серьезно произнесла она.— Так и пишите: «От Василька Красной Армии в дар».

VIII

Пока Вутанька сдавала хлеб, мать места себе не находила: никак не могла успокоиться, все ждала: с чем возвратится дочь со склада? Старухе почему-то казалось, что это происшествие не может кончиться добром. Она то и дело приникала к окну, выглядывала на улицу, не возвращаются ли, не катит ли внук с горы на санках, сидя на пустых кулацких мешках... Если бы все было в порядке, внук, казалось ей, должен бы уже быть здесь.

Так, расстроенная, в тревоге и села она за прялку у окна. Только села, кто-то мелькнул мимо окон, затопал, оббивая снег у порога. По тому, как топочет, мать поняла — не свои. Не успела она отодвинуть прялку, дверь с силой дернули, и на пороге, взмахнув пустым рукавом, появился Федор Андрияка, председатель ревкома.

При виде его мать почувствовала, что ноги ее не держат и душа замирает от недобрых предчувствий: «За хлеб! На допрос!» И расстегнутый ворот, и заросшее черной густой щетиной лицо Андрияки с разорванной еще в мальчишеских драках губой — все это придавало ему сердитый, какой-то разбойничий вид. Бесшабашная головушка: на дворе мороз, а у него и грудь нараспашку. Яресьчиха всегда его немного побаивалась — побаивалась даже без всяких оснований, а сейчас...

— Не пугайтесь, тетка Мотря! — громыхнул Федор, и лицо его передернулось в каком-то подобии улыбки. Странная эта была улыбка: разорванная губа выглядела так, будто он когда-то прикусил ее в порыве ярости и не отпускает.— Пусть уж меня хуторяне боятся, те, кто разверстку саботирует, а вам-то чего? Вы же свое сдали?

— Да сдали...

— Ну так чего же... Это я зашел вот нашего красного кавалериста проведать.

Матери все еще не верилось... Только тогда отлегло от сердца, когда Федор, с грохотом придвинув ногой табуретку к постели, присел возле Данька.

— Так что ж, к матери на побывку, значит? Товарищ сыпняк, говоришь, выбил из седла?

— Выбил, проклятый...

— Слыхал, слыхал... Наше дело, брат, такое: то на

коне, то под конем... Я сам в прошлом году едва не отдал черту душу у Белой Церкви. Вндншь вот это? — он тряхнул пустым рукавом.— Директория оттяпала, оставила с одиой пятерией иа всю жизнь... Ну да ничего: хватит и пяти пальцев, чтоб брать их, ч-чертей, за жабры!

Буйиое, иеудержимое чертыхаиье было для него необходимой разрядкой. Всюду, где ои появлялся, только и слышио было: «черти», «чертяки», «чертыбахиуть», «катнтесь ко всем ч-чертям»...

— Федор, ты хоть бы в хате этого слова не поминал,— умоляюще промолвнла мать из-за прялки.

— Вниоват, ие буду! — решительио пообещал Федор.— Черт с иими, со всеми чертями! — И, махнув рукой, веселый, уже сиова обериулся к больному: — Ну, рассказывай, по каким краям, по каким фроитам тебя носило?

— Да по каким же... Считай, всю Украниу с боями прошел. Как сел в прошлом году в Чаплинке иа отбитого у кадетов коня, так уж до самого Кнева и ие слезал...

— Вот как! До Киева иаша Таврия достигла? Ну, а как же Кнев?

— Раза три мы его со стороиы Брест-Литовского шоссе брали и сиова сдавать приходилось... Потому как ие все н там, в Киеве, арсенальцы,— были и такие. что с балкоиов кипяток иа головы лили... Ну, а когда уже подошлн богунцы из черииговских лесов, тогда сразу всем иам веселее стало. Богуния с той стороны, а мы с этой — н Киев иаш.

Данько умолк, задумчиво глядя куда-то в потолок.

— А нам тут еще выкурнвать да выкурнвать,— промолвил Андрияка и, задержавшись взглядом иа бледном, нсхудалом лнце Яреська, вдруг воскликнул с сожаленнем: — Эх, брат! Был бы ты иа ногах, запрягли бы мы тебя с первого дня! Коммоловскую ячейку аккурат создаем в селе, пошел бы, заворачивал там среди иих... А то у нас все молодежь иеобстрелянная — безусые мальцы да девчушкн такие, что матери их дома еще и за косы таскают... А время сейчас, сам знаешь, какое... Без этого,— Федор тряхнул тяжелой кобурой,— за речку в лес ие показывайся.

Задумавшись, ои помолчал с минутку, затем иаклонился иад Даньком, таинственно поиизив голос:

— Директива пришла, чтобы хуторян всех перешерстить, изъять огнестрельное и холодное оружие...

— Есть еще, значит?

— Есть, есть,— насупился Андрияка.— Да еще и будет.

Помолчали. В наступившей тишине стало слышно, как ровно, пчелой, гудит у окна прялка.

— А кто же у вас там в ячейке? — нарушил молчание Данько.

— Голытьба что ни на есть зеленая! Напористая, рьяная, но куда же с ней — пороху еще не нюхала. А нам, коммунистам, ты сам понимаешь, какая сейчас помощь нужна: чтобы зубастые, чтобы как черти были, чтобы и кулацким сынкам при случае могли чертыбахнуть, как следует дать сдачи... Одним словом, тебе этого не миновать!

Мать, придержав рукой колесо прялки, с укоризной взглянула на Андрияку.

— Где только у тебя сердце, Федор? Парень еще — одни кости, хаты сам не перейдет, а ты уже заботы на его голову валишь.

— Забот, мамо, я не боюсь,— улыбнулся Данько, поправляя на себе одеяло.— Страшно вот так, бревном, лежать...

С шумом, с грохотом открылась дверь — с улицы вбежал Василько, в дядиной папахе, веселый, раскрасневшийся.

— Ух и шапка же у тебя! — восторженным возгласом встретил малыша Андрияка.— Где же это ты раздобыл такую? Не в махновцы ли записался?

— Это дядина, это я, пока он лежит...

— Славная, славная шапка... Ну, рассказывай, брат, где ты бегал, что так запыхался?

Однако рассказать об этом Василько так и не успел. Только было рот открыл, чтобы начать, как бабуся со словами: «Хватит тебе болтать!» — притянула его к себе, стала вытирать ему нос да раздевать, потому что руки у него так закоченели, что и пуговицы расстегнуть сам не мог... Данько тем временем снова заговорил с Федором, спросил, не возвращаются ли с фронтов.

— Мало кто,— покачал своей чубатой головой Федор.— Разве что по чистой, либо по болезни какой... А чтоб густо, так Антанта, брат, еще не пускает. Не уни-

мается, ч-чертова кукла! Вроде уже и поджала было хвост, будто и блокаду обещала снять, а на деле новые козни строит! На нью-йоркской, на лондонской, на парижской биржах словно с ума спятили буржуи: наше, законное, народное добро в распродажу, говорят, пустили! Барышничают! Шахты Донбасса, никопольские рудники, терещенковские сахарные заводы — все это у них, говорят, сейчас там товар, друг у друга оптом покупают и тут же на бирже перепродают...

Мать, которая будто и не прислушивалась к разговору, вдруг настороженно подняла голову.

— И землю?

— Ну да!

— Разве ж они там не знают, что землю у нас люди уже поделили?

— Не хотят они этого за нами признавать, тетка Мотря! Говорят, что не той саженью Цымбал панскую землю размерил.

Мать взволнованно отставила прялку.

— Да неужто ж они снова войной пойдут на нас?

— А то постесняются?! — воскликнул Андрияка.— Это вам, брат, класс на класс... Вырвали передышку, а там, смотри, снова...

Скрипнула дверь — вошла Вутанька.

— Вот он где! — сказала, увидев Андрияку.— А тебя там уже ищут повсюду.

— Кто?

— Продотряд из волости прибыл!

Андрияка поднялся, собираясь уходить.

— Ты уж тут, дружище, поскорее выздоравливай,— кивнул он Даньку.— Жизнь, брат, зовет таких, как ты... Фершала не надо?

— От фершалов еле вырвался,— улыбнулся парень.

— А то у нас есть тут, за рекой, один коновал.— Оторвав зубами кусок газеты, Федор стал ловко сворачивать одной рукой цигарку.— Днем старикам грыжи вправляет, а ночью тайком мыло варит, думает, что мы не знаем.

— Не мылится его мыло,— раздеваясь, шутя бросила Вутанька.

— А знаешь, почему не мылится? Потому что с петлюровским оно у него душком.

Федор подошел к печи.

— А ну-ка, Вутанька, огоньку.

Вутанька выгребла ему целую пригоршню яркого, как вишня, жару.

Федор прикурил и, не прощаясь, вышел, протопал снова мимо окон.

— Напугал же он меня! — только теперь с облегчением вздохнула мать.— Чтоб ему пусто было!.. Думала уже, что пришел снимать с бабы допрос.

— Это вам наука,— сказала Вутанька весело и, пряча за икону квитанцию, добавила: — Если Огненко спросит, чтоб знали,— вот где его хлеб!

IX

Вечером, только зажгли каганец, в дом к Яреськам явился Нестор Цымбал, привел на постой бойца — продотрядника. Пока Цымбал оживленно объяснял хозяйкам, что ставит им постояльца не привередливого и к тому же «всего на одну ночь», сам постоялец, темнолицый, с подстриженными усами, пожилой уже человек, щурясь, горбился у порога, видно, неловко чувствуя себя оттого, что его непрошеным гостем навязывают в чужой дом незнакомым людям. Он и кепку не снимал, словно боялся, что его не примут здесь, не снимал и винтовки с плеча,— она висела на нем как-то нестрашно, по-домашнему: прикладом вверх, дулом вниз. Заметив смущение приезжего, Вутанька поспешила к нему.

— Раздевайтесь, пожалуйста! — зазвенел ее приветливый голосок.— Вешайте вот сюда!.. Места хватит.

— Стеснять вас приходится.

— Мы привычны: редко ночь проходит, чтобы кто-нибудь не ночевал.

— Мне подушек не нужно,— криво улыбнулся постоялец, словно оправдываясь.— Я на полу, на соломке.

Осторожно поставил винтовку в угол, повесил кепку на гвоздь и, размотав с шеи старенький шарф домашней вязки, устало присел на скамью. Был он уже седоват, с глубокими впадинами щек на изнуренном продолговатом лице, с большими мозолистыми руками, которые, видно, немало переделали в жизни всякой работы. Сидел, покашливал, молчал.

Цымбал тем временем, перекинувшись несколькими словами с Даньком, шагнул к двери, крепко прижимая локтем свою тощую папку, на которую Данько не мог смотреть без улыбки.

— Поужинал бы с вами,— признался Цымбал, почуяв доносившийся из печи вкусный запах,— но спешу! Дела! Всего доброго!

И, тряхнув на прощанье своей козлиной бородкой, нырнул в темные сенцы.

Постоялец все еще сидел молча, отдыхал. Мать, не переставая хлопотать у печи, время от времени внимательно посматривала на него. Натрудился, видно, за день человек в поисках хлеба насущного, ломом разбивая мерзлую землю по хуторам у богатеев. Сыт ли, голоден ли — никто у него не спросит.

Ставя ужин на стол, мать приметила, как загорелись у постояльца глаза на горячую еду. А стала приглашать к столу — снова застесиялся, нахмурился, не хотел, должно быть, объедать бедняцкую семью.

— Мы уж там заморили червяка.

И где это они заморили? У тех скопидомов хуторских, у которых и льда среди зимы не допросишься?

— Садитесь, садитесь,— настойчиво стала приглашать и Вутанька.— Чем богаты, тем и рады!

Сели наконец. За ужином постоялец, разговорившись, неторопливо рассказывал о себе. Екатеринославский рабочий он, слесарь с завода Шодуар. Оставил дома большую семью, не знает, чем она там и живет, а сам второй месяц вот так по волостям мотается, продразверстку из саботажников вытягивает... Нелегко дается каждый пуд: на той неделе четверых из их отряда изрубили бандиты под Лещиновкой. Нелегко, но что ж поделаешь? Не ждать же, чтобы петлей голода республику задушили!

— Нет, этого не будет,— горячо вырвалось у Вутаньки, и, будто застыдившись своей горячности, она спросила екатеринославца: — Много ли сегодня вытрясли в Запселье?

— Да вытрясли кое-что,— ответил он спокойно.— У гражданина Махини — знаете такого? — под настилом в конюшне обнаружили яму не меньше чем в полвагона...

— О, так у вас нынче хороший улов! — обрадовалась Вутанька.— Сегодня полвагона да завтра...

— Пшеница — первый сорт, да вот только... подтекла, попрела вся,— нахмурился екатеринославец.— Почитай, суточный паек целого завода в той яме сгнил.

— Хлеб святой погноить! — ужаснулась мать. Она была потрясена. Смотрела на икону в углу и видела за ней Вутанькину хлебную квитанцию. Хорошо сделала дочь. Надо, надо помогать! А то паны и впрямь вернутся и землю отберут. Будь у нее сейчас хоть какие-нибудь излишки, все бы отдала на республику!

После ужина гость, поднявшись из-за стола, стал благодарить хозяйку.

— Спасибо вам за хлеб, за соль,— промолвил он с проникновенной теплотой в голосе.— А еще большое спасибо за то, что сегодня по разверстке помогли — нам уж тут рассказали об этом.

— Что вы, бог с вами! — сгорая от стыда, замахала руками мать.

— Нет, не говорите,— серьезно перебил гость.— В самое трудное время именно такие, как вы, незаможники, последние крохи от себя отрывая, республику нашу поддержали.

Взволнованно закурил и, присев у печки, нахмурился, задумался, пуская дым в трубу.

Данько, следя за гостем, ощущал, как все сильнее растет в нем теплое, сыновнее чувство к этому согбенному трудом человеку, с посеребренными уже висками, к человеку, который, несмотря на свои годы, в лютый холод неделями мотается со старенькой трехлинейкой по глухим волостям, добывая хлеб для своего железного, впроголодь воюющего класса...

— Как же там на заводах у вас теперь? — перебравшись на лежанку, заговорил Данько.

— Трудно, товарищ,— ответил гость, простуженно покашливая.— Трудно. Кое-кого так прижало, что не выдержал — пошел зажигалки делать... Но настоящее, пролетарское ядро, ясно, осталось, тянет все на своем горбе. И хоть на голодных пайках да в холоде таком, что руки к станкам примерзают, но видели б вы, как работает народ! — Гость оживился, повеселел.— Из цехов не выгонишь, сами сверхурочно остаются! С ног, бывало, падали у станков...

— Ну, теперь уже легче будет...

— Легче или не легче, да только мы себе такой девиз на заводских воротах написали: «Умереть, но начатое дело довести до конца». Не дадим себя задушить ни блокадой, ни голодом.

Пока они разговаривали, Вутанька внесла со двора охапку свежей соломы, с размаху бросила на пол,— морозом от нее повеяло даже на печь к Васильку... Мальчик, казалось, этого только и ждал: прыгнул сверху прямо в золотой сугроб и с веселым визгом начал скакать и кувыркаться, насмешив взрослых своим весельем и шалостями...

Каганец тем временем стал заметно меркнуть. Екатеринославец, поднявшись, попробовал наладить его, повертел и так и сяк, но напрасно: оказалось, что керосину осталось на самом донышке.

— И подлить нечего,— пожаловалась мать,— весь керосин вышел... Придется постным маслом светить.

Рабочий поставил каганец на место.

— Ничего! Придет время, и вы навсегда расстанетесь с ней, с этой допотопной коптилкой.

— О, а чем же светить будем? — удивилась мать.— Лампой? На нее и вовсе керосину не напасешься.

— Электричество будет вам светить.

— Лектричество? Что это такое?

— Это такая штука, что ни дыму, ни копоти не дает... Один свет — чистый и ясный, как от солнца.

— И в нашей хате оно будет светить? — усмехнулась Вутанька удивленно: не то что матери, даже ей это показалось маловероятным.

Рабочий поднялся, зашагал вдоль стены взад-вперед, задумчивый, нескладный, седые волосы его были взлохмачены, широкие лопатки резко выступали под темной бумазейной рубахой.

— Разве вы не слышали? — заговорил он немного спустя.— Все чаще то тут, то там вспыхивают в нашей стране электрические огоньки... С Русаковских заводов, под Тулой, сообщают о первой такой ласточке, и в Каменском тоже недавно зажглось... А ведь это мы только начинаем жить... План великой электрификации Ильич разрабатывает, Днепровскими порогами интересуется. Нет, за этими первыми ласточками настанет и большая *электрическая весна!*

— И в наших Криничках? — радостно и недоверчиво спросила Вутанька, расстилая гостю постель.

— Засветится! Засветится и у вас! Помяните мое слово...

Будто дивную сказку, слушал Василько на печи загадочные слова этого приезжего о каких-то чудесных ласточках, которые как только влетят в дом, так сразу и наполнят его ярким светом!

А каганец все мерк и мерк...

Пришлось укладываться Но и после того, как все уже улеглись и бабуня рукой пригасила тлеющий фитилек (чтоб не дымил!), мальчику долго еще мерещились картины весеннего дня, наполненного птичьим гамом, чудились удивительные сверкающие ласточки, которые когда-нибудь прилетят сюда, словно из сказки, и от них в бабушкином доме станет светло, как от весеннего солнца.

Проснувшись утром, Василек снова разогнался было спрыгнуть с печи, чтобы порезвиться на соломе, где спал городской этот дядя, который, как чародей какой-нибудь, твердо пообещал вчера Васильку, что прилетят и сюда прекрасные его ласточки... Но ни постели, ни ночлежника уже не было. Вместо него на соломе, свернувшись калачиком, лежал... теленочек!

Хорошенький такой, рябенький, блестит, словно только что умытый...

— Откуда он, бабуня?

Бабушка улыбнулась:

— Ночью сам из лесу к тебе прибежал... Это, видно, нам тот дядя городской наворожил.

Может, и наворожил, может, и сам телок из лесу прибежал — мало ли чудес бывает на белом свете!

Не слыхал Василек, какой тут переполох был ночью, не слыхал, как бабуня на радостях подняла всех, разбудила и как потом, счастливая, присвечивая огарком свечи, открыла дверь настежь, а добрый постоялец на руках внес этого телка в хату.

X

Стояли лютые морозы. На палец заледенели в комнате стекла, и от этого сердце тоскливо сжималось: когда же теперь окна оттают! Словно на сто лет Псел ско

вало тяжелым, крепким, что камень, льдом. Рыба задыхалась под ним от недостатка воздуха.

Утром, идя с ведрами к речке, Вутанька брала с собой и топор: после морозной ночи приходилось заново разбивать лед в проруби.

Вокруг — морозная рань, багряно всходит солнце, светлым паром дышат люди. Гулкий перезвон идет вдоль леса — до самых дальних сел: всюду по реке в это раннее утро пробивают проруби. Бьет, рубит лед и Вутанька. Острые ледяные осколки сталью стреляют в лицо; горят, ноют от боли мокрые покрасневшие руки.

Во время этой работы не раз руки ее так коченели, что слезы выступали на глазах. И больно и обидно становилось — до каких пор ей тут, наравне с мужчинами, рубить этот проклятый железный лед? При живом муже, а судьба вдовья... Конечно, не он, не Леонид, в этом виноват и не его следует винить в разлуке: был бы только жив да здоров. Кончится же это когда-нибудь, побьют врагов и возвратятся с фронтов домой... По-новому, почеловечески тогда заживут, настанет весна и для них, для этих скованных льдом Криничек, непременно настанет! А покамест бей, прорубайся к воде, Вутанька, пусть звонкое эхо разносится над рекой, может, и тот, с кем и помиловаться не успели, хоть сердцем где-нибудь услышит тебя, хоть в мыслях увидит, как ты, согнувшись над прорубью, не чуя от холода рук, рубишь и рубишь тяжелый крещенский лед, бьешь по неподатливой глыбе до тех пор, пока не появится из-под нее живая, пахнущая весной вода.

Как-то раз, когда Вутанька по обыкновению ранним утром вышла на речку, чья-то девчонка, пробегая мимо, позвала ее с пригорка:

— Вутанька! Бросай все! На сходку!

Затем метнулась к окнам яреськовской хаты, забарабанила по стеклу:

— Тетя Мотря, на сходку! На сходку!

— Вишь ты, без тетки Мотри уже и обойтись там не могут,— улыбнулась мать сыну.— Каждый раз зовут.

— Ну, а как же иначе: вы, мамо, теперь имеете все права.

— И чего это они там не угомонятся? — задумалась мать.— Видно, опять о хлебе.

Как только Вутанька вернулась, оделись обе по-праздничному и пошли на сходку вместе: мать и дочь.

Вот когда для Василька наступило наконец раздолье! Теперь он сколько угодно мог прыгать и кувыркаться по комнате, всласть пободаться с маленьким лобастым своим приятелем... При бабуне и при матери ему это не разрешалось (не приучай, мол, драться рябого), а дядя только смеется при виде его бурных проказ.

— А ну-ка, а ну-ка, чей лоб крепче,— подзадоривает он малыша.

Хорошо, что у обоих пока только вихорки на лбах закручивались! Хуже будет, когда у теленка из-под вихров рожки прорежутся... Но когда это еще будет, а сейчас между ними идет веселая, неугомонная возня! Уперлись — даже сопят, солома из-под ног по всей хате разлетается.

Вознились до тех пор, пока знакомые шаги на дворе не заставили Василька вихрем взлететь на печь.

Первой со сходки вернулась бабуня.

— Опять с быком боролся, сорванец? — погрозила она внуку. Ей почему-то нравилось называть теленка быком, как взрослого.

Заметив, что Данько с нетерпением ждет новостей, присела возле него, стала рассказывать. Ну ясно же, снова о хлебе, о разверстке. А еще новость — вместо ревкома теперь в Криничках будет — как бишь его? — *сельсовет*. По всей Украине, сказывают, проводится такая замена... Это надо так понимать, что на мирное житье переходим.

— А Вутаньку где же это вы потеряли?

— Э! До нашей Вутаньки теперь рукой не дотянешься... Делегаткой избрали.

— Вот как!

Данько от души был рад за сестру: первая из яреськовского дома делегатка... Но едва ли не больше всех обрадовался Василько. Как только Вутанька — сияющая, румяная, пахнущая морозом — появилась в дверях, сын вне себя от восторга запрыгал на лежанке, затянул, как псаломщик, на всю комнату:

— Наса мама делегатка, делега-а-атка!

И потом вдруг, спохватившись, спросил:

— А что это — делегатка?

Все засмеялись, и громче всех — Василько.

А что значит быть делегаткой, это ему стало ясно только на следующий день, когда мать, закутанная в свой лучший — в больших цветах — кашемировый платок с бахромой, крепко поцеловала его на прощанье, а потом какой-то дядя в тулупе подхватил ее, словно маленькую, и с шутками бросил в сани — к другим тетям и дядям, тоже делегатам. Весело, с радостными выкриками пронеслись они через речку и помчались лугом дальше в степь...

Долго стоял Василько с мальчишками на ледяной горке у дороги, и перед его глазами полыхал в заснеженном поле, все отдаляясь и отдаляясь, цветистый мамин кашемировый платок.

XI

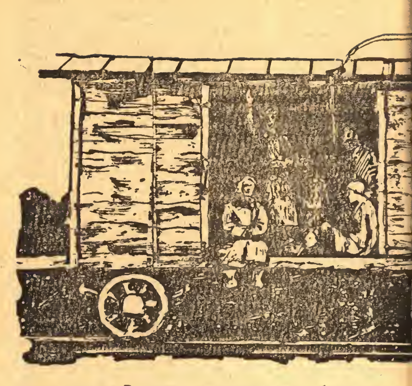
Подхватило, вынесло Вутаньку на самую быстрину. Криничи послали ее на уездный съезд, а оттуда, не возвращаясь домой, поехала делегаткой и на губернский: посылал уезд.

Вутанька и не ожидала такой чести. Из криничан на губернский съезд Советов попали всего двое — она и Нестор Цымбал.

Ехали поездом. Езды тут было несколько часов, но сейчас двигались, как на волах, останавливались у каждого столба. И хотя с самого начала было ясно, что дороги этой им на всю ночь хватит, спать никто не собирался. Какой там сон? Настроение у всех приподнятое, всюду оживленные разговоры, шутки, смех. Многие делегаты ехали с оружием — будто отправлялись на фронт.

Когда Вутанька с дядькой Цымбалом вошла в вагон, в проходе их сразу же встретила делегатка из Манжелии, непоседливая и горластая бабка Марина Келеберда. За громогласность весь вагон уже величал ее комендантом, и ей, видно, нравилась эта кличка. Огромного роста, в дырявом кожухе, подпоясанная платком, красная, с большой бородавкой на мясистом носу, она пристала к Цымбалу и впрямь как комендант.

— Тебя, длинноногого, мы загоним вон туда, под облака,— она показала на верхнюю полку, которую с трудом можно было рассмотреть в густом табачном дыму.— А эту чернобровку,— с напускной суровостью старуха



окинула взором Вутаньку,— мы положим поближе к двери...

— Жалко! Замерзнет! — раздались со всех сторон веселые мужские голоса.

— Не замерзнет,— отвечала старуха-комендант.— Ее молодая кровь греет. К тому же, если кавалеры к ней зачастят, так чтоб других в темноте не беспокоили.

— Вас бы надо к двери, бабушка Марина! — снова послышались мужские голоса.— Вы в кожухе — вас не просквозит!

Старуха с удивлением осмотрела полы своего видавшего виды, в заплатах, с торчащими по швам клочками шерсти кожуха.



— К моему кожуху кавалеры уже дорогу забыли,— сказала она под общий хохот.— Разве что вот с молодкой местами ночью поменяюсь... Может, хоть по ошибке который в темноте потревожит...

Шумно, весело было в вагоне, как на посиделках. По соседству с Вутанькой оказались два пожилых крестьянина, с которыми Цымбал сразу вступил в беседу, и худенькая приветливая женщина, одетая по-городскому. Потеснившись, она уступила Вутаньке место у окна.

— Вы на нее не обижайтесь,— обратилась она к Вутаньке, как бы извиняясь перед ней за грубоватые шутки Марины Келеберды.— Нам тут уже всем от нее досталось...

— Пусть душу отведет,— засмеялась Вутанька.— Я и сама шутку люблю.

— Может, только это у нее и радости,— промолвила после паузы соседка, с улыбкой прислушиваясь, как уже где-то в другом конце вагона шумит горластая Келеберда.

— Косы в Полтаве подстригу, кожух на кожанку сменяю, домой вернусь — и дед не узнает!

Хохот раздавался всюду, где старуха ни появлялась. А ее так и носило из конца в конец, от одной группы к другой.

— Хохочут, а того не знают, что ей ведь смертью за делегатство угрожали,— стал рассказывать один из Цымбаловых соседей, ее односельчанин.— Хуторяне всё стращали: смотри, мол, Марина, только поедешь, тебе несдобровать. Пулю шальную поймаешь где-нибудь по дороге... А у нас и впрямь дорога все лесом да лесом...

— И не испугалась, вишь, поехала,— произнесла Вутанькина соседка.— Откуда-то из глухой волости, через леса бандитские... Не всякая отважилась бы на ее месте.

— Настоящая, стало быть, делегатка,— промолвила Вутанька задумчиво.

За окнами показался какой-то полустанок. К поезду бросились люди с мешками, котомками. Но поезд не остановился — видно, некуда уже было больше брать пассажиров... Разогнавшись, люди так, недовольной толпой, и остались стоять в синих зимних сумерках.

Когда за окном снова побежали поля, Вутанька повернулась к соседке.

— А вы от кого едете?

— Я от работниц кременчугской махорочной фабрики.

— О, мой брат у вас там в лазарете лежал... Яресько — не слыхали о таком?

— Яресько? Не пришлось что-то. Много их у нас перебывало, всех не запомнишь... Раненый?

— Нет, он тифозный. Сейчас уже поправляется.

За окном гулял ветер: видно было, как под его порывами гнутся, пружинят в вечерних сумерках высокие тополя вдоль дорог. Клубы черного дыма, пронизанного искрами, оторвавшись от паровоза, огнистыми волнами неслись мимо окон и гасли, разметанные по снегу меж тополей. Было что-то тревожное в проплывающих за окном сумеречных полях, и в этих вихрящихся искрами

клубах паровозного дыма, и в рядах придорожных, пружинящих под ветром тополей...

Вскоре Цымбалу и его собеседнику пришлось потесниться: из соседнего вагона, позванивая шпорами, вошло несколько военных в длинных шинелях, и один из них — знакомый уездный военком, увидел Вутаньку, а потом и Цымбала, вежливо звякнул перед ними шпорами и дальше уже не пошел, застрял тут, обрадованный встречей.

Военком познакомился с криничанами на уездном съезде. Как-то во время перерыва он сам подошел к ним и, представившись, непринужденно заговорил с Вутанькой. Он, дескать, знает, что она жена красного комиссара, и потому считает своим долгом поинтересоваться, не нуждается ли она в какой-либо помощи или защите со стороны властей. По своей яреськовской гордости Вутанька сказала, что ей ничего не нужно, что она при случае может сама за себя постоять, однако заботливость этого человека тронула ее.

В уезде военком был новым человеком, и о нем пока знали главным образом, что он нравится женщинам. Стройный, красивый, с хорошими манерами... Своим нежным, белым лицом и тонкими бровями он напоминал Вутаньке паныча, из тех, которых ей немало приходилось видеть раньше, но она знала, что он не паныч. Говорили, что он — бывший учитель, на войне был произведен в офицеры, но сразу же после падения престола перешел вместе со своим батальоном на сторону революции.

Вутаньке сейчас приятно было его внимание, и, когда военком с непринужденной вежливостью попросил разрешения сесть, она, зардевшись, только кивнула в знак согласия. Сел он против нее между мужиками, стараясь не очень их стеснять. Однако Цымбалу, зажатому в угол, это соседство, видно, не особенно нравилось. Долговязый криничанский делегат был того мнения, что не к лицу военкому, да еще, пожалуй, и партийному, приставать к замужней молодице. Подошел, звякнул и уже сидит. Но, с другой стороны, как тут и внимания на такую не обратить: раскраснелась, глаза горят, так жаром от нее и пышет.

— Вы разве тоже делегат? — обращаясь к военкому, полюбопытствовал один из манжелиевских мужиков.

— А что же я? — улыбнулся военком.— Клейменый, что ли?

— Да нет... чем больше, тем лучше...— поспешил оправдаться дядько.

— Миром, как говорится, и батька бить легче,— пошутил Цымбал, неуклюже беря папиросу из портсигара, вежливо протянутого военкомом.

Разговорились. Узнав от Цымбала, что Вутанька выступает на сельской сцене, военком с удивлением поднял брови и еще внимательнее посмотрел на Вутаньку. Потом по-дружески признался, что сам он тоже в свое время пробовал играть на сцене.

— А теперь не играете? — спросила Вутанька.

— А теперь не до того... Ни времени нет, ни условий. Но если вы, скажем, захотите достать в Полтаве новые пьесы,— я к вашим услугам... У меня там среди театралов давнишние знакомства.

— Нам бы о черноморских матросах что-нибудь,— сказала Вутанька, и глаза ее заблестели.— Да песен с нотами...

— У нее муж черноморец,— пояснил Цымбал, обращаясь на этот раз больше к кременчугской делегатке.— Ей бы хоть на сцене его повидать.

— О флотских вряд ли что найдется,— выразил сомнение военком.— А вот песенник, это другое дело... Вам какие больше по душе?

— Да какие же... наши, народные.

— До недавних пор она и в церковном хоре пела,— похвастался Цымбал.— На храмовые праздники даже в другие села приглашали: голос, как колокольчик! Сам архиерей, бывало, приезжал слушать!

— Вот как? — снова удивился военком.— А что же именно вы пели, товарищ Вутанька?

Вутанька покраснела.

— Ну, соло «Отче наш»... или в «Разбойниках»... Или «Иже херувимы»...

Военком улыбнулся.

— А еще?

Вутанька в недоумении пожала плечами.

— А «Ще не вмерла...» [1] вам, случайно, не приходилось петь? — пошутил он неожиданно.

[1] «Ще не вмерла Україна» — петлюровский гимч.

Вутаньку бросило в жар. Как он узнал? Кто ему сказал? Было ведь, пела в «Просвите» и это! Но откуда ему известно? Или он только догадывается? Но не станет же она скрывать, не станет кривить душой...

— Пела, ну и что же? — глядя военкому в глаза, сказала она почти с вызовом.— Пела, пока не разобралась, о какой Украине песня?

— А теперь разобрались?

— Еще бы!

— Вы правы, правы,— сказал военком примирительно.— Та Украина умерла, и ничем ее теперь не воскресить. Об иной, о живой думать надо...

Помолчали. И вдруг будто железным градом забарабанило снаружи по обшивке вагона. Зазвенели где-то стекла, послышались крики.

— Банда! Банда! — зловеще пронеслось по всему вагону.

Поднялся переполох, беготня.

— Свет, тушите свет!

Военком уже был на ногах. Побледневший, решительный, с браунингом в руке, он порывисто выскочил на середину вагона.

— Без паники, товарищи! Без паники!

В любую минуту могло его там скосить бандитской пулей. Однако он, кажется, совсем не обращал внимания на опасность. Стоял на самом видном месте и уверенным голосом отдавал приказания. Вутанька, забившись в угол, с восхищением следила за ним: казалось, тут, под градом пуль, он один не поддался панике. Вокруг суета, беготня, испуганные крики, а он, с револьвером в руке, с грозным блеском в черных, как сливы, глазах, один не потерял самообладания; не прячась, стоит посредине вагона в своей комиссарской фуражке, с маленьким блестящим козырьком, который словно бы прилип к белому высокому лбу. Пренебрегая опасностью, сдерживает панику, отдает распоряжения.

— За мной! Коммунары, вперед!

Взмахнув револьвером, военком первым бросается из вагона навстречу опасности.

Пули забарабанили по железу еще сильнее, свет в вагоне погас, Цымбал и манжелиевские дядьки

отрывисто переговариваются уже где-то под лавкой, а в проходе — через весь вагон — крики, стук, топот: коммунары выскакивают в темноту, на защиту эшелона...

XII

Сколько времени прошло с тех пор, как поезд, с разгона лязгнув буферами, неожиданно, будто выведенный на расстрел, остановился здесь, в ночных полях?

Студеный ветер уже хлещет прямо на Вутаньку — вагонное окно разбито пулями, под ногами трещат осколки стекла.

Перестрелка все отдаляется, пули уже не стучат по вагону. Вутанька, привстав, выглянула в окно. Ночь. Степь. Люди какие-то мечутся вдоль вагонов, перекликаются... Обвеваемая свежим ветром, Вутанька застыла у окна. Цымбал с дядьками притих внизу, между котомок; соседка метнулась в другую половину вагона разыскивать своих кременчугских, да так и застряла где-то там, возле них.

За перегородкой кто-то из вернувшихся в вагон рассказывает, что поезд скоро тронется, уже заканчивают налаживать поврежденный путь. Один за другим стали возвращаться коммунары, принимавшие участие в перестрелке. Ничего, мол, опасного — просто конные бандитские разъезды резвятся в темноте... Налетят, с ходу обстреляют эшелон, и снова, как тени, растают в глухой волчьей степи.

— А чьи же они, эти разъезды? — послышался из-под лавки сердитый голос, удивительно похожий на Цымбалов.

— Да чьи,— спокойно отвечали ему.— Если не батьки, так матки.

— А скорее всего мачехи... На днях через Перещепии будто бы Ганнина банда прошла.

Опять Ганна?

Вутанька вздрогнула, услышав это имя. Привстала и снова выглянула в разбитое окно. Самая близкая, задушевная подруга детства, неужели это она сейчас стреляла в нее, в Вутаньку? Вместе на заработки ходили,

вместе на таврийской стерне ноги кололи... А теперь стреляешь из темного ветреного поля, стреляешь, чтобы убить? Но за что же, ради кого? Ох, Ганна, Ганна, неприкаянная твоя душа... Все чего-то необыкновенного хотела, славы и богатства стремилась добиться, чтоб властвовать, повелевать. Не удалось за Фальцфейна выйти, степной миллионершей стать, так решила хоть сотника какого-нибудь окрутить, чтобы денщики у тебя на побегушках были... Не отсюда ли и началось черное твое казакованье? Доподлинно известно Вутаньке, как это случилось. Во время скоропадщины гетманские офицеры к Лавренчихе стали на постой. Пили, гуляли, и один посулил жениться на Ганне... Смеялась тогда Ганна, хвалилась перед подругами: «Сначала женой гетманского есаула, а там, гляди, и гетманшей стану! Деда гетмана титкой задушу, а сама буду вами править!» А есаул тот довез ее до Хоршишек, да и был таков, обесчестил и бросил... Потом уже нагрянул атаман Щусь вместе с Сердюками, увезли Ганну из села, попала она в другие, махновские, объятия... Глухая степь стала теперь ее домом, волчицей рыщет, готовая и бывшую свою подругу погубить...

Лязгнув буферами, дернул, тронулся с места эшелон. Только поезд стал набирать скорость, знакомо забренчали в вагоне шпоры: вошел военком.

— Живы ли вы здесь? — подошел он к Вутаньке, взволнованный, разгоряченный. Даже в темноте видно было, как возбужденно блестят его глаза.

— Нам-то что, мы за вас беспокоились.

— За нас? Вы — за нас?

— Ну как же!

Было слышно, как он учащенно дышит. Неожиданно, подавшись вперед, он поймал в темноте ее руку. Крепко сжал. Ей сразу стало жарко. Знала, что должна сейчас же вырвать руку, но почему-то не могла этого сделать. Чувствовала, как от горячего, страстного рукопожатия у нее начинает кружиться голова. Понимала, что есть здесь нечто запретное, и все же не спешила положить этому конец. Совсем близко видела его горящие глаза и бледное, напряженное лицо, которое казалось голубоватым — от заоконной ночи, от снегов. Выражение боли и страстного ожидания, застывшее на этом лице, делало его каким-то еще более нежным. Мелькнула мысль, что

он красив, что любая, самая лучшая девушка могла бы влюбиться в него.

Подумав об этом, она резким движением высвободила руку, отвернулась к окну.

Он, кажется, почувствовал себя пристыженным. Какое-то мгновение молчал, затем промолвил глухо, как бы извиняясь:

— Спасибо... Спасибо, что вы тут думали... о нас.

Из глубины вагона кто-то позвал:

— Левченко. Товарищ Левченко!

Это звали его.

Видимо, звали все те же военные. Откликнувшись, он быстро пошел к ним. Оживленно переговариваясь о каких-то караулах, они всей компанией направились в другой вагон.

Вутанька стояла в оцепенении, прислонившись лбом к холодной раме окна. Как она могла? Как могла позволить ему это? О чем она думала в тот миг, когда, словно околдованная, словно налитая огнем, смотрела в его зовущие, полные странного блеска глаза, такие чужие и далекие, но от которых она почему-то не в силах была оторваться?

Снова тополя за окном. Гнутся, качаются, закрывая собой все небо. Странно в них глядеть: видно, как клонит их ветер, а шума, привычного гула ветвей не слышно... Только ходят, качаются голые ветви по небу, беззвучные, немые. Из темноты вырвался сноп паровозных искр, ударил прямо в окно, будто в лицо Вутаньке,— и вот уже тополя исчезли за густым, клубящимся искрами дымом... Вскоре один за другим выбрались дядьки из-под лавок, зажгли свет в вагоне — кто-то прилепил огарок свечи над дверью. Вагон снова загудел, зажужжал, как улей,— всюду слышался гомон, шли разговоры, каждому хотелось поделиться впечатлениями от только что пережитого.

И вдруг... что это?

Вутанька вся встрепенулась. Где-то близко, за перегородкой, нежным, еле слышным ручейком зазвенела песня. Какой знакомый, какой родной мотив! Вутанька, все еще в каком-то жарком, томительном забытьи, приложила руку ко лбу: что это за песня такая знакомая? Где она ее слыхала? И еще не успела ответить на эти

вопросы, как что-то молнией сверкнуло в памяти, больно поразило в самое сердце...

Ты машина, ты железна,
Куда милого завезла?

Да это же она, живая, ее, Вутанькина, песня подает ей голос откуда-то из мглы прокуренного, изрешеченного бандитскими пулями вагона! Какими путями, какими краями прошла она, чтобы через столько лет снова зазвучать здесь в устах незнакомых делегаток?

Ты машина, ты свисточок,
Подай, милый, голосочек...

Ее песня и уже как будто не совсем ее... Сколько времени протекло с тех пор, за заботами, за другими песнями уже и забывать стала эту задушевную давнюю мелодию, которая сама напелась ей когда-то в горячих фальцфейновских степях... А она, ее нежная песенка, навеянная первой любовью, нашла ее и тут, через много лет, как из далеких странствий приплыла, вернулась снова в растревоженную душу Вутаньки...

Ты машина, ты железна...

«Но почему же, почему именно сейчас, именно здесь? — билась мысль, и вдруг даже жутко стало. — Не за грех ли? Не в упрек ли? Может, для того и зазвучала, как живой укор, чтобы предостеречь тебя в эту ночь, чтобы напомнить о другом — о твоей далекой первой любви!»

— Вутанька, слышишь? — промолвил, прислушиваясь к песне, Цымбал.— Это же твоя...

Подобно тому, как с годами меняется, зреет, мужает человек, так изменилась за годы странствий и эта простая ее девичья песенка... Видно, и в окопах побывала она, и в теплушках солдатских... Сначала, когда она слагала ее для Леонида, для милого своего машиниста, было в ней лишь про машину, да про свисточек, да про милого голосочек. А теперь уже поют и про рекрутов, которых ждет набор, и про стеклянную дверь, за которой сидят офицеры...

Все громче и громче звучит родная мелодия, все шире разливается за перегородкой песня, хватает за душу, зовет Вутаньку к себе... Кто ж это там поет?

Когда Вутанька подошла, ее даже не заметили. Сгрудились вокруг старой Келебердихи — целый хор, задумчивый, печальный... Какие-то сестры милосердия в серeньких шинельках, какие-то парни в пиджаках, с винтовками за плечами. Тут и кременчугская работница, и еще женщины... Вутанька стала, замерла возле них незамеченная и, упиваясь, слушала, как ее родная песня растет, оживает уже в других, не в ее устах. Где они ее услышали, от кого переняли? А может, и сами они, что едут сейчас делегатами в Полтаву и задумчиво напевают, бродили когда-то, как и она, с батрацкими котомками по батрацким дорогам, искали счастья по каховским невольничьим ярмаркам?

Гей-гей, йо-ха-ха,
Подай, милый, голосочок...

Не песня — сама ее батрацкая молодость, сама ее первая любовь билась горячей волной, разливалась вокруг, пронизывала, разрывала душу. Захваченная песней, не заметила, как слезы брызнули из глаз, как и сама она уже присоединилась к людям и запела:

Гей, гей, йо-ха-ха,
Бо я їду-від'їжджаю...

Звонкий высокий голос Вусти сразу словно озарил вагон, заставил всех удивленно, восторженно оглянуться. Что это за женщина стоит и, обливаясь слезами, поет, поет? Уже слушал ее весь вагон, вместе с другими слушал Вутаньку и воеиком, замерший у двери, впившийся в нее своими угольно-черными глазами. Она же никого не видела, никого не замечала. Вместе с песней словно уносилась в другой, далекий мир. Льются слезы, рвется душа, а она выводит все выше и выше — как летом в степи, синею таборною ночью, когда идешь по земле, а песня достигает неба... Не думалось уже ни о чем, не хотелось ей сейчас ничего, только бы песня никогда не кончалась, а лилась и лилась вот так, как вечная молодость, как ее неугасимая первая любовь...

XIII

Музыкой, и солнцем, и горячим кумачом транспарантов встретила делегатов засыпанная снежными сугробами Полтава. На крышах еще снег, а под ногами — лужи; солнце бьет в окна домов, зайчиками играет под самыми крышами, где на украшенных разноцветной керамикой фасадах вьется зеленый виноград и цветут подсолнухи! Не важно, что снегу накануне навалило целые сугробы — по всему уже видно приближение весны... Делегаты даже обеспокоены, как бы талые воды не залили дороги домой, затопят — не проедешь... Когда выезжали из дому, морозы жгли, а тут уже весь город в капели, лепные подсолнухи зимой на домах цветут, и виноград среди ледяных сосулек, как живой, зеленеет...

Пока шли с вокзала, все постукивала и постукивала по шапкам и платкам ранняя полтавская капель. На улицах встречалось много военных, все они озабоченно спешили куда-то; при каждой такой встрече Вутаньку охватывало волнение; иногда она даже бросалась вперед — ей казалось, что в толпе военных мелькнул кто-то похожий на Леонида. Представляла, как он был бы удивлен и обрадован, если бы вдруг увидел здесь среди делегатов ее, свою Вутаньку.

Размещали делегатов в залах бывшего Дворянского собрания.

— Вот мы теперь с тобой, Вутанька, какими благородными стали,— пошутил Цымбал, вступая в огромный зал с колоннами, в котором шла регистрация прибывших.— Когда-то нас сюда и на порог не пустили бы, а теперь тут, вижу, и закурить можно...

Бросив сумку с харчами под стенку, он не спеша достал из кармана свой огромный кисет.

— А вы уж поскорее дымить,— с укором сказала Вутанька.— Разве так что удержится: все стены уже плечами позамызгали, сапогами пооббивали, как на станции...

— Ну, а ты бы как хотела? — спокойно возразил ей Цымбал.— Подумай, сколько тут народу прошло за эти годы.

Вутанька была очарована красотой этих светлых, высоких, залитых потоками солнца хором. Белоснежные колонны стройными рядами устремляются вверх, под-

держивают где-то там синий, будто небо, расписанный звездами потолок... Огромные люстры висят на цепях прямо над головами людей — роскошные, блестящие, словно из чистого речного льда... Но, видать, это такой лед, что не боится солнца, не обвалится, как из-под соломенной стрехи, на головы дядькам, хотя солнце щедро вливается сквозь окна и уже насквозь пронизывает его.

Всюду толпится, клокочет, весело перекликается съехавшийся народ. Прибывают посланцы со всей Полтавщины, так и мелькают между колонн кожухи да свитки, красноармейские шинели да крестьянские шерстяные платки... Пока одни регистрируются, другие уже откуда-то несут котелки с дымящимся кипятком, по-домашнему рассаживаются по углам перекусить.

Гомон и суета царили здесь до вечера, а потом все переместилось в городской кинематограф: делегатам должны были показать «живую картину».

Вутанька пришла в кинематограф с военкомом. Вежливый и предупредительный, он, несмотря на то, что остановился на частной квартире у знакомых, специально зашел за ней, чтобы сопровождать ее в этот вечер. По правде говоря, такое внимание со стороны Левченко на этот раз показалось Вутаньке слишком смелым, и она согласилась идти с ним только после того, как Цымбал тоже решил пойти вместе с ними. Так втроем и пришли. Однако, когда пробивались сквозь толчею в проходе, Цымбала где-то потеряли: оттерло, отнесло его людской волной... Выбравшись вместе с военкомом из толпы, Вутанька беспокойно стала оглядываться в полутемном, переполненном людьми помещении. Цымбала нигде не было видно.

— Где же он? — с тревогой промолвила она.

Ее озабоченность рассмешила военкома.

— Уверяю вас, что ничего страшного с земляком вашим не случится,— весело успокоил он ее и легонько взял под руку, чтобы вести дальше.— И о себе тоже не беспокойтесь: вы не в лесу, а в культурной, цивилизованной Полтаве.

Вутаньке даже неловко стало. «Что это я на самом деле? Дикарка, что ли? Цепляюсь за Цымбала, как запуганная девчонка какая-нибудь на каховской ярмарке... Со стороны это, пожалуй, и впрямь смешно...»

Военком привел ее в ложу. Тут уже сидело несколько угрюмого вида мужчин в пальто и в кожанках. Это все, видимо, были полтавские знакомые военкома, потому что они запросто обменялись с ним кивком, а на Вутаньку посмотрели с молчаливым, но пристальным вниманием.

Один из сидевших впереди — одутловатый, насупленный, под глазами мешки — уступил Вутаньке свое место.

— Садитесь сюда, вперед...

— А вы?

— А мы с военкомом вот здесь, за вами,— сказал он и шутливо бросил своим: — Нам с Левчечко не привыкать быть в тени...

В зале тем временем погасили свет. Затих гомон, черно-белыми пятнами замелькал экран. Вутанька с жадным вниманием наклонилась вперед: впервые в жизни видела она такое...

И уже поплыло перед ней незнакомое заснеженное поле, изрытое окопами, потянулось рядами кольев с колючей проволокой... Рассыпавшись по полю, быстро-быстро бегут солдаты в серых шинелях с винтовками, страшные взрывы раскалывают землю, и вот уже хоронят кого-то с воинскими почестями, над открытой могилой стоит, опустив голову, белый оседланный конь и, как человек, плачет крупными слезами...

У Вутаньки и у самой сжало горло. Ей почему-то вспомнилось, как после второй или третьей царской мобилизации провожали Кринички на фронт своих сыновей, отцов и мужей, служили молебен на Псле, а когда после молебна люди стали расходиться, то по всему Пслу остались похожие на блюдца ямки, образовавшиеся во льду под теплыми людскими коленями... Всю бесснежную зиму эти ямки стояли перед глазами, душу разрывали криничанским матерям и женам. Приходили с фронта извещения, что тот убит, тот ранен, а тот пропал без вести, а ямки на реке все оставались, пока весеннее половодье не смыло, не унесло их вместе со льдом.

А на экране уже пышно цвело лето, солдаты снова шли в наступление, и впереди всех шел прямо на колючую проволоку какой-то широкоплечий, удивительно похожий на Леонида командир с мужественным, заросшим

щетиной лицом... Не успела и наглядеться на него, как вдруг экран погас и в зале стало совершенно темно.

— Это бывает,— успокаивающе промолвил военком над самым Вутанькиным ухом.— Не волнуйтесь.

Соседи его, словно бы невзначай, стали расспрашивать Вутаньку, откуда она, из какого уезда и какие настроения у них в селе. Вскоре они заговорили между собой о завтрашнем съезде, о каких-то боях, которые будто бы должны разгореться на нем.

— Будет, будет кое-кому жарко,— произнес приглушенный голос в углу ложи.— Затрещат чубы!

— А вы на съезде не собираетесь выступать? — обратился военком к Вутаньке как-то особенно ласково, задушевно.

— Что я,— улыбнулась она в темноте.— Разве там без меня охотников не найдется?

— Найтись-то найдется, но почему бы и вам...— вмешался вдруг в разговор бас откуда-то из-за спины.— Это ведь съезд особенный. Тут каждый должен свое отношение выразить. Идет, по сути дела, всенародный опрос.

— Щирая украинка, истинная дочь народа,— поощрительно промолвил Левченко, наклонившись к ее плечу.— Представляете, как ваше слово тут прозвучало бы!

Вутаньке и смешно было и приятно, что ее так уговаривают.

— Ну, о чем же бы я могла?

— Как это о чем? — с удивлением отозвался тот же бас.— Судьба Украины решается. Какой сделаем шаг, с кем пойдем — от этого зависит будущее наше и наших с вами детей!

— Нет, вам непременно, непременно надо выступить,— оживленно добавил кто-то с другой стороны.— Сознательная украинка, активистка «Просвиты», в народных хорах поет... Прямо не верится, что все это вас не волнует...

Вутанька, все больше настораживаясь, прислушивалась к их словам и уговорам. Какие-то намеки, какие-то не совсем понятные укоры. Судьба Украины, мол, ее не волнует. Неправда! Нет, волнует, и даже очень! Судьба Украины — это же и ее судьба. Но чего они хотят, что им от нее нужно? Уже о какой-то федерации идет речь,

о том, как разделить надо все, даже красное войско. «Самостийность так самостийность!» — выкрикивает кто-то из темноты злым голосом. Так это и есть «самостийники»? Еще на уездном слышала о них... Вишь чего захотелось: войско красное поделить. Да еще и ей нашептывают, чтобы она от имени своих криничан требовала этого. Почувствовала себя так, будто бы толкают ее в какую-то пропасть, туда, где можно потерять все, ставшее для нее самым близким, самым дорогим. Силу, которую враги не могли одолеть, предлагают раздробить самим, ее, Вутаньку, отделить от мужа, мужа от брата, живое тело искромсать на куски! И это в час опасности, когда враги кругом?

— Ну так как, товарищ? — чья-то рука примирительно ласково коснулась ее плеча.— Ведь вы, кажется, мать? Если уж не ради себя, то хотя бы ради будущего, ради счастья наших детей...

Вутанька резко обернулась в темноту ложи.

— У вас их так много?

— Кого?

— Да детей же.

Сопение, какое-то замешательство...

— У меня... кхм... собственно, нет, но у кого они есть...

— У кого есть,— едва сдерживая гнев, сказала Вутанька,— тот сам о них позаботится.

— Браво, товарищ Вутанька, браво,— засмеялся военком.— Так их! Кройте! А то, ишь, размитинговались...

В зале тем временем становилось все шумнее. Стучали, топали ногами, требовали света. Наконец добились-таки: кто-то невидимый вышел на сцену и извиняющимся тоном объявил публике, что картина отменяется, так как тока не будет.

— Что значит — не будет? — закричали в зале.— Послать на электростанцию! Вызвать!

И снова тот же извиняющийся, но настойчивый голос со сцены:

— Товарищи, тока не будет. На электростанции... авария.

Авария! С грохотом, с гулом возмущения люди поднялись, в темноте повалили к выходу. Слышно было, как, перекрывая все голоса, кричит в толпе Марина Келеберда:

— Агенты, ей-же-ей, агенты! Ух, нроды! Нет на них чека!

Вутанька, выскользнув под общнй шум из ложи, тоже заторопнлась к выходу. Военком, боясь потерять ее в темноте, не отставал нн на шаг, поддерживая под руку, и, когда на них напирали, он, будто бы защищая Вутаньку от толчков, крепко прижимал ее к себе.

XIV

К делегатскому общежитию пошли через городской сад — так якобы блнже было, чем по улице... Вечер после тесного и темного помещения казался особенно хорош: хотя луны н нет, но светло, падает редкий снежок, тнхий, пушистый — последние запасы выметает зима из небесных своих закромов.

— Как хорошо! — тнхонько воскликнула Вутанька, чувствуя, как тают снежинкн на ее горячих щеках, на ресннцах.

Аллея сада прнпудрена снегом, подмерзла, идти скользко, и военком, чтобы поддерживать Вутаньку, осторожно берет ее под руку. В саду малолюдно: впереди идет несколько делегатов, навстречу деловито шагает красноармейский патруль... Поравнявшнсь, бойцы окинули внимательным взглядом Вутаньку, военкома. Что о них можно подумать со стороны? Сельская краснощекая делегатка в сапожках н цветнстом платке и рядом с ней — стройный военный в длинной, ладно подогнанной кавалерийской шинели... В самом деле, кто он для нее и кто для него она? Еще вчера — почти незнакомые и далекие друг другу, а сейчас... Сейчас Вутаньке нравнлось, что он так увнвается за ней, что ради нее он не колеблясь оставил в ложе свою навязчивую, непонятную компанню.

— Кто они такие, ваши знакомые?

Военком, вндно, ждал этого вопроса.

— Да это же все наши украинскне левые,— ответил, будто шутя.— Прннадлежали к разным партиям, разным течениям, а теперь на еднную, на советскую платформу встали.

— А вы... тоже левый? — спроснла Вутанька заинтересованно.

Левченко улыбнулся:

— Я, пожалуй, всех их левее... Я из тех, которые еще до слияния в Третий Интернационал просились.

Она чувствовала, что за его шутками, за оживлением скрывается какое-то беспокойство, что он чем-то взволнован, и волнение это невольно передавалось Вутаньке. С чего бы это?

А ночь тихая, теплая. Последний, видно прощальный уже, пролетает снежок... Тоненькая корочка льда хрустит под ногами, и так нежно, размеренно позванивают его шпоры: динь-динь! динь-динь!.. Вспомнив, сколько радости доставили Васнльку дядины шпоры, Вутанька невольно улыбнулась на ходу. Заметив на устах у нее мечтательную улыбку, военком вдруг задержал шаг.

— О чем вы думаете?

— Мало ли о чем...

Он остановился.

— Я должен вам что-то сказать. Разрешите?

Взволнованный, посуровевший, он напряженно ждал ответа.

— Ну что ж, говорите...

Собравшись с духом, он заговорил. Заговорил так быстро, так горячо, что она сразу его даже не поняла. Признался, как поразила она его, когда на уездном съезде он впервые увидел ее, как был потрясен ее красотой, яркой, огненной... Все там обратили на нее внимание. Что за молодица? Откуда? Вишней рдеет на весь зал! А потом, как снова увидел ее — и это было совсем уже необыкновенно: она с таким вдохновением пела там ночью в вагоне, пела н плакала.

— Но не только ваша яркая красота, еще больше, еще сильнее поразил меня смелый ваш взгляд и эта горделивая, исполненная врожденного достоинства осанка. Я сказал себе: «Это она! Это тот свежий цветок, которыми так буйно зацветает сейчас наша долгожданная украинская весна!» Жнвым воплощением национального пробуждения рисовались н рисуетесь вы мне. Скажите, неужели я не имел права так думать о вас?

Вутанька не знала, что ему на это сказать, хотела и почему-то не могла остановить его бурную, страстную речь, что так тревожнла и волновала, что, проникая в самую душу, касалась там каких-то нежных девичьих струн...

— Вас удивляет, к чему я все это говорю? Так знайте,— он словно в беспамятстве схватил ее руки,— я люблю вас! Люблю безумно! И вы сами в этом повинны! Вы своей красотой приворожили, очаровали меня!

В порыве чувства он притянул ее к себе, чтобы обнять, но Вутанька, отшатнувшись, резким движением оттолкнула его от себя.

— Ах так? — Военком побледнел, он, видно, никак этого не ожидал.— Так? Ну что же, гоните, клеймите. Делайте что хотите — я в вашей власти! — Он задыхался.— Прикажите, и я сам...— рука его рванулась к кобуре,— сам пущу себе пулю в лоб!

Вутанька перехватила его руку:

— Успокойтесь.

Было в нем, в блеске его глаз в этот миг что-то страшное, как у припадочных. От такого и правда можно ждать любого безумства. И уже с другим, с сестринским чувством, как больного, Вутанька стала успокаивать его:

— Идемте. И не надо больше об этом... Я ведь замужем... У меня муж, ребенок... А вам — вам еще не одна повстречается на пути...

Они пошли дальше. Левченко шагал молча, Вутанька тоже не знала, о чем с ним сейчас говорить.

Так они дошли до общежития.

На улице еще стоял гомон — делегаты толпами возвращались из кинематографа. Прошла группа женщин, донесся знакомый голос Марины Келеберды — она все еще убивалась, вспомнная коня, который так жалобно плакал над разрытой могилой.

У выхода из сада Вутанька оставила военкома и с чувством облегчения поспешила через улицу к своим.

Укладываться спать делегатам пришлось в темноте: город в ту ночь так и не получил света.

XV

Съезд открылся в десять утра, в помещении городского театра. Было холодно, нетоплено, и делегаты, переполнившие партер, сидели не раздеваясь, согревая зал собственным дыханием.

Вутанька заняла место в средних рядах, недалеко от трибуны. Рядом с ней с одной стороны пощипывал бороду Цымбал, а с другой... снова оказался военком. После вчерашнего разговора Вутанька думала, что он обидится и больше к ней не подойдет, а он встретил ее такой дружеской, обезоруживающей улыбкой, будто ничего между ними и не произошло. Сидел теперь и непринужденно объяснял, кто занимает места за столом президиума. Военный в очках — представитель Всеукраинского ревкома, седая женщина рядом с ним — известная политкаторжанка; а тот, что в солдатской гимнастерке,— секретарь губкома большевиков, а во втором ряду...

— Ну да вы его уже знаете.

Вутанька, и верно, узнала: одутловатый, с отеками под глазами, тот самый, что вчера уступил ей место в ложе. Только вчера он был в пальто с меховым воротником, а теперь уже в кожанке.

— Кто он такой?

— Да это же товарищ Ганжа-Ганженко из губнаробраза.

— Самый горластый из всех сепаратистов,— неприязненно добавил кто-то сзади, дополняя характеристику.

Вутанька оглянулась: какие-то молодые рабочие в пиджаках, среди них улыбается знакомая ей кременчугская делегатка... Спросить бы у нее, кто такие сепаратисты...

В это время по залу пробежал шелест, наступила тишина. На трибуне уже стоял докладчик — высокий худощавый мужчина в темной косоворотке и с каким-то неистовым, точно голодным взглядом...

Скоро Вутанька, забыв о военкоме, о соседях, уже застыла в напряженном внимании. Далеко не утешительную картину рисовал докладчик. Суровый год! Правда, огромным напряжением сил революции деникинская грабьармия с ее английскими инструкторами отброшена к морю, долгожданная передышка завоевана, но успокаиваться рано. Трудности восстановления и в особенности продовольственный вопрос продолжают оставаться не менее серьезными, чем военный фронт. Холод и голод. Руины, опустошение — куда ни глянь. Затоплены шахты Донецкого бассейна, разрушены железные дороги...

Задумавшись, снова и снова перечитывала Вутанька ленинские слова, пламеневшие в глубине сцены иа красном полотнище: «...великорусским и украинским рабочим обязательно нужен тесный военный и хозяйственный союз, ибо иначе капиталисты «Антанты»... задавят и задушат нас поодиночке». Зиала, что это из письма Ленина к трудящимся Украины в связи с победой над Деникиным.

А докладчик, увлекшись, уже требовательно, сурово спрашивал с трибуны:

— Почему Украина? Почему именно она так разжигает аппетиты империалистов? Во-первых, им хотелось бы прибрать к рукам огромные наши природные богатства, низвести нас с вами до положения колониальных рабов; во-вторых,— и это, может быть, самое главное — они хотели бы превратить Украину в плацдарм борьбы против Советской России... Премьер-министр Франции Клемансо недавно так и заявил, что большевики, потеряв Украину, будут лишены хлеба и угля и советская власть неизбежно падет...

— Это тот самый Клемансо,— толкнув Вутаньку, промолвил Цымбал таким тоном, будто он уже имел с ним дело.— Ну не стервец ли?

— Вопрос о нашем единстве с Россией сейчас приобретает новую остроту,— продолжал докладчик.— В связи с подготовкой Четвертого Всеукраинского съезда Советов мы, большевики, ставим этот вопрос на широкое, открытое, всенародное обсуждение, твердо надеясь, что, вопреки козням разгромленных националистических партий, трудящиеся Украины сумеют сделать правильный выбор.

— Так что выбирайте, слышите? — наклонившись к Вутаньке, доверительно шепнул военком.— Пускай уж ко мне, но к Украине сердце ваше, я надеюсь, не останется равнодушным?

В зале уже гремели аплодисменты, докладчик спускался с трибуны.

Объявили перерыв.

Во время перерыва Вутанька встретилась в вестибюле с кременчугской работницей. Разговорились о том, о сем.

— Вы не знаете, кто такие сепаратисты? — как бы между прочим спросила Вутанька.

— Почему не знаю, не раз случалось указывать им дорогу с нашей фабрики... Они уже и тут воду мутят. Атаманщину разводят, Красную Армию готовы разделить. На словах левее всех левых, а на деле с махновцами заодно...

— Всех собак теперь на нас вешают,— сердито бросил кто-то из кучки мужчин, куривших поблизости.— Для всех один ярлык: «сепаратисты»!

Кременчугская женщина, подозрительно посмотрев на курящих, взяла Вутаньку под руку и отошла с ней в сторону.

— А почему это вас вдруг заинтересовало, товарищ Яресько?

— Да так,— покраснела Вутанька.— Хочется же разобраться.

Они уже возвращались на свои места, когда Вутаньку неожиданно догнал Цымбал. Вид у него был какой-то по-козлиному задиристый, хвастливый.

— Отгадай, Вутанька, где был?

— Сами скажете.

— В Симеон-Конвенте заседал!

— А что это за конверт такой?

— Не конверт, а конвент! Это, брат Вутанька, такая штука, что ого! Туда только самых мудрых собирают...

— Удостоились вы, дядьку Нестор, чести,— засмеялась Вутанька.— Для чего же они вас собирали?

— Э, об этом молчок. Потерпи, узнаешь...— И шепотом добавил: — Бой готовится, слышишь? Так что не дремли — держи ухо востро!

Военком явился, когда заседание уже началось. Молча сел возле Вутаньки, мрачный, чем-то расстроенный.

— Дядьку Нестор,— тронула Вутанька рукой Цымбала,— вон та женщина, за столом... никого вам не напоминает?

Цымбал, вытянувшись, стал внимательно разглядывать женщину: бледное, измученное лицо, гладко причесанные седые волосы, темный шарф вокруг шеи.

— Не признаю... Только и всего, что мы с ней вместе в Симеон-Конвенте заседали.

— А помните учительницу в Каховке, которую вы от стражников на пристани отбивали?

— Правдистку? Еще бы: за нее еще мне тогда доской по спине попало!

— Присмотритесь, как будто на нее похожа.

Цымбал прищурился, как от солнца в степи.

— Навряд ли она. Хотя в жизни теперь всего можно ожидать. Мы вот разве думали с тобой, когда по Таврии скитались, что придет время, будем в конвентах заседать?

Начались выступления делегатов с мест. Один за другим поднимались на трибуну решительные, горластые, чаще всего во фронтовых еще шинелях, и, доложив о нелегком положении на местах, о том, как кулачье саботирует продразверстку, тут же грозно клялись, что в союзе молота и плуга твердой рукой возьмут саботажников за глотку, ну, а что до тех, кто думает нарушить боевой революционный союз Украины и России, то пусть только попробуют!

Вутанька замечала, как постепенно все стушевывается товарищ Ганжа-Ганженко, все чаще, наклонившись к соседу во втором ряду, о чем-то беспокойно переговаривается с ним... Уже выступили Золотоноша, Миргород, Гадяч, Лубны. Сейчас как раз держал речь звонкоголосый, совсем еще юный красноармеец — представитель полтавского гарнизона. Он больше напирал на мировую буржуазию, то и дело потрясая крепко сжатым кулаком.

— Молодчина! — похвалил Цымбал, обращаясь к Вутаньке.— Вот так бы и от нашего уезда!

— А кто же будет от нас?

— Собирался Сергиенко вакуловский, да простыл, голос совсем потерял.

— О, этот бы подошел: боевик, Зимний с питерцами штурмовал...

— Вутанька, а почему бы, скажем, не тебе, а?

— Тоже выдумаете!

— Ей-же-ей, а? Мы там уже и между собой прикинули, что хорошо было бы тебе, женщине, выступить, за всех нас слово сказать...

— Да перестаньте вы, дядьку!

— А ты подумай, подумай...

Военком вдруг наклонился к Вутаньке с другой стороны, сказал порывисто:

— Слышите? Ганжу-Ганженко объявили!

И, стиснув зубы, он зло, будто всем наперекор, стал хлопать в ладоши.

Ганжа-Ганженко не спеша, степенно вышел на трибуну, погладил рукой лобастую, наголо выбритую голову. В полнейшей тишине, которая вдруг установилась, голос его прозвучал уверенно, громко. Сначала он рассказал, как возрождается жизнь в школах после деникинщины, как тянутся дети к науке, к свету. Потом как-то незаметно перешел на другое, на декреты, на деятельность Всеукраинского ревкома...

Вутанька слушала: так гладенько, так складно все у него получалось. Только где же то, о чем он твердил ей в ложе вчера? Точно переродился человек за ночь, точно совсем другой кто-то говорит с трибуны... А в зале все слушают, не прерывая, и ей даже страшно становится, что никто его здесь так и не раскусит — всех он одурманит своими приторными речами... Хотелось встать, крикнуть на весь зал: «Не верьте! Не слушайте! Не то у него на уме!»

— Однако теперь, когда Украина приступает к мирному строительству,— звучало с трибуны,— нам пора иначе подойти к делу... Поскольку речь идет о союзе с соседями, мы не можем не поставить перед собой вопрос: где гарантия, что союз наш будет действительно равноправным, действительно свободным? Слова? Слова — это не гарантии! Разве уже и сейчас разные заезжие гастролеры своим грубым декретированием на Украине не сеют в наших душах законные сомнения?

Оратор, умолкнув на миг, следил, какое впечатление его слова производят на делегатов; в это время, как бы в ответ, из глубины амфитеатра раздался спокойный, насмешливый голос:

— Значит, геть, кацапы, из наших украинских тюрем? Так, что ли?

Зал грохнул хохотом.

Оратора это, однако, не обескуражило. Переждав, пока немного утихнет, он продолжал распространяться о том, что даже самые лучшие декреты, установленные для одного народа, могут оказаться неприемлемыми для другого.

— Иначе говоря, ленинские декреты для Украины не подходят? — негромко, но так, что слышно было всему

залу, спросил из-за стола президиума секретарь губкома.

— Вы не совсем правильно меня поняли, товарищ... Я говорю о том, что на почве Украины...

Пока он пытался что-то объяснить президиуму, в зале атмосфера накалялась.

— Хватит! Слышали! — неслось со всех концов.

— Старые песни! Петлюровские!

— Долой!

Оратор, втянув голову в плечи, исподлобья поглядывал на бушующий зал, терпеливо пережидая, пока угомонятся. Но зал не успокаивался. Все усиливался топот, свист, крики:

— Доло-о-ой!

Ганжа-Ганженко все еще стоял, раздраженный, злой, крепко вцепившись руками в трибуну. Вутанька, тоже что-то кричавшая, топавшая ногами, не могла спокойно на него глядеть. Чего он ждет? Разве ему еще непонятно? Ждет, чтобы сказали яснее? Будто помимо собственной воли, Вутанька порывисто поднялась с места.

Военком встревоженно вскинул на нее глаза:

— Вы куда?

Марина Келеберда, сидевшая недалеко, тоже оглянулась, удивленно вытаращила глаза: «Куда ты, молодица? Что с тобой?»

А она, молча, поправляя на ходу платок, быстро, с решительным видом, с горящим от волнения лицом направилась к трибуне.

Шла, как по струне. Зал удивленно притих, замер. Стало слышно, как часто постукивают по паркету ее, Вутанькины, сапожки. Ганжа-Ганженко, не двигаясь с места, уставился на нее с трибуны тяжелым, полным ненависти взглядом, словно почуял приближение неотвратимого, самого опасного врага. Только когда она вплотную подошла к трибуне, он, видимо, понял наконец, что ему ничего не остается, как уйти. Кое-как собрал свои бумаги, повернулся к залу спиной и, сгорбившись, побрел куда-то за сцену.

Вутанька поднялась на трибуну. Пока шла, голова ее была, как в горячем тумане — все качалось, плыло перед глазами, а тут, когда встала на трибуне и выпрямилась, сразу почувствовала себя увереннее. Будто на высокой горе очутилась. Море людей перед нею, словно

всю Укранну вдруг увидела отсюда... Свон, свон! Вон удивленно задрал козлиную бороду Цымбал, проплыло раскрасневшееся лицо Марнны, кременчугской делегатки и еще каких-то женщин н красноармейцев, которые смотрят прямо на нее и как бы подталкивают: говори, говори!

Женщнна за столом, улыбаясь, о чем-то спрашивает Вутаньку, а она никак не возьмет в толк, что именно... Ага, фамилию...

— Вустя... Вустя Яресько нз Крнннчек...

И уже объявляют громко, будто на весь мир:

— Слово имеет товариш Вустя Яресько нз села Крннички!

Стало тихо-тнхо. Зал напряженно ждет ее, Вустнного, слова. Что она скажет им, всем этим делегатам и делегаткам, как передаст то, что накипело у нее на душе и что, так неожиданно подняв с места, вынесло ее на трибуну?

— Не думала я брать сегодня слово,— взволнованно начала Вутанька.— И не взяла бы, если б не вот этот, что сейчас тут выступал... Боялась, что заморочнт он вам головы, что сразу не раскусите его...

— Громче! — прозвучало откуда-то с верхних ярусов, и Вутанька, подбодренная, собравшись с духом, уже зазвенела на весь зал, как колокольчик.

— Нагляделись мы уже на них — то в шлыках, то в башлыках прнходили. а теперь уже в новой выступают одеже. Меняют личины, брата на брата натравливают, вражду между нами посеять хотят. Думают,— темные, сгоряча не разберемся. Скажу о себе. Да, было время, ходила и я окольными дорогами, было, что н в хоре нхнем пела под их петлюровский камертон... От стыда сгораю теперь, как вспомню. Не одна я там была, на радостях могла и не разобрать, о какой Украине песня!

Передохнула, помолчала немного, собираясь с мыслями.

— Верно сказал тут товариш докладчик, что коли пойти за ннми, так не миновать нам невольничьего житья, или, как говорят по-ученому,— рабства капитала. А что такое рабство капитала, по себе хорошо знаю, потому как в прошлом я батрачка, босыми ногами мерила таврийские шляхн... Ватагами набирали нас свои же земляки в Каховке, гоном гнали в степи, продавали фальц-

фейнам в неволю. Если бы не революция, так и косы поседели бы на чужих, на каторжных работах. И вот теперь, когда наконец расправляем мы крылья, снова вернуться к старому? Силы свои разделить, родное красное войско разорвать на части, чтобы враги перелушили нас поодиночке? Нет, вместе до сих пор были, вместе будем и дальше, как Ленин нас учит!

Уже не чувствовала ни скованности, ни смущения. Все пережитое, передуманное огнем горело в ней, рвалось наружу. Затихший зал не сводил с нее глаз. Всю свою правду, видимо, решила сразу высказать молодица. Стоит на трибуне, разрумянившаяся, с гордо поднятой головой, от волнения не замечает, как платок ее медленно ползет, сползает на шею, открывая клубок тугих блестящих кос.

— Сольем свои сердца с сердцами героев Красной Армии для окончательной победы над врагом! Поможем всем, что у нас есть, ни хлеба, ничего не утаим, потому что нам, как и русским женщинам, дороги наши дети, братья и мужья!

Когда под бурю рукоплесканий Вутанька сходила с трибуны, седая женщина из президиума радостно бросилась к ней, ласково, по-женски обняла.

— Спасибо вам.. сердечное спасибо от русских матерей... Мы всегда будем дорожить дружбой с вами... Мы будем уважать ваши права!

Легко, как на крыльях, шла между рядами Вутанька, возвращаясь на свое место.

— Хорошо, хорошо сказала,— одобрительно заговорил Цымбал, когда она, еще вся охваченная жарким волнением, села рядом с ним.— Даже тот не выдержал...

Только теперь Вутанька заметила, что место, где сидел военком, свободно.

— Не усидел,— улыбнулся Цымбал.

Не вернулся военком ни до перерыва, ни после. Так до самого конца съезда они уже больше и не видели его.

XVI

— Не имеет ли что сказать добродий Левченко?

— Нет, я послушаю.

Он слушает. Третий час ночи, а он все еще должен слушать их разглагольствования. Болтуны. Трепачи.

Проболтали Украину! Вместо того чтобы с самого начала создавать сильную, хорошо законспирированную военную организацию, они мололи языками, языками надеялись все отвоевать... Ну и поделом. «Поражение», «поражение» — только и слышно вокруг. А какое там, к черту, поражение? Провал, разгром! Те, на кого они рассчитывали, затюкали, выгнали их взашей, и они должны теперь, как мальчишки, оправдываться перед прибывшим из Киева представителем подпольного центра, так называемого Цупкома [1].

Совещание происходило на квартире у одного из бывших преподавателей полтавской гимназии, в его кабинете, пышно меблированном, заставленном украинской стариной. Хозяин квартиры, дородный мужчина, с перевязанной, распухшей от рожистого воспаления щекой, сам разносит гостям чай с крупинками сахарина на блюдечках. В кабинете темно от табачного дыма, ни на миг не утихает с трудом сдерживаемый гул раздраженных голосов.

Левченко не принимает участия в разговоре. Он сидит в сторонке, утонув в широком кожаном кресле, и смотрит, как лихорадочно жестикулируют тени на стенах. Над диваном, на завешенной украинским ковром стене тускло поблескивает старинная казацкая пищаль... Неплохое было оружие для своего времени... А вы, господа-добродии, и сегодня не с такой ли пищалью собираетесь на врага идти? Не с таким ли устарелым духовным оружием надеетесь выиграть историческую битву за Украину? Недаром же вас бьют. Не первый уже терпите разгром. И если вдуматься — так от кого же, от кого?

Раскрасневшаяся, возбужденная Вутанька на трибуне — к ней снова и снова возвращаются его мысли. Как она говорила, вся пылая, и каждым словом била, хлестала его по лицу... Чем больше раскрывалась с трибуны перед людьми, тем все более далекой становилась для него, недосягаемой, неподвластной ему. Где и в чем он ошибся, что не смог овладеть ее сердцем? Ведь правда же на его стороне, на его?

---

[1] Цупком — Центральный Украинский Повстанческий Комитет — руководящий петлюровский центр, возглавлявший подготовку националистических восстаний перед наступлением белополяков в 1920 году. *(Примечание автора.)*

За столом киевский цупкомовец — желчиый, приземистый крепыш во френче мышиного цвета,— выговором выдавая свое галицийское происхождеиие, громит, разносит Ганжу-Ганженко... Не скоитактировались, мол, с рядовыми делегатами, не сумели повести за собой съезд... Прохлопали, прозевали!..

В конце концов терпение у Ганжи лопнуло.

— Довольно с меня ваших нотаций! — стукнул он кулаком по столу.— Надо быть железным, чтобы молча сносить все оскорбления, которые иаиосит мне центр! Мы тут плохие, а чем вы там, в Киеве, лучше? Чем вы осчастливили Украину, иаходясь у власти? Грызней да интригами? Большевики обещаний не жалеют — засыпали народ посулами, а вы? Земли побоялись дать? Трудовым конгрессом крестьян накормили? Вот он теперь вам боком и стал, этот ваш конгресс!

Речь зашла и о ней, о Вутаньке.

— Красивая женщина,— первым заговорил левый эсер — инженер с электростанции.— С виду иастоящая украинка, да в душе, к сожалеиию, заядлой комиссаркой оказалась...

За ним наперебой зачирикали и два гимназистика, тоже участиики совещания:

— Говорят, наложница комиссарская!

— Комиссарская потаскуха!

— Вы! Желторотые! — неожидаино подал голос Левченко.— Что вы знаете? Что вы понимаете? Да как вы смеете так о ней говорить?

Задыхаясь от возмущения, он подиялся с места, и рука его инстинктивно потянулась к кобуре.

— Простите, простите,— забормотали перепуганные гимиазисты.— Мы ведь что... Мы ведь ие знали...

— Так знайте вперед: одно дурное слово о ней... и пули ие пожалею.

Все стали его успокаивать.

— Молодые, неопытиые,— лепетал хозяин.— Уж вы простите их... Они ведь вас так уважают!..

— Добродия Левченко мы должны всячески оберегать,— тоиом приказа заговорил председатель Цупкома.— Левченко — человек дела. На него не должно пасть ни малейшей тени подозрения. Центр возлагает на него особые надежды в организации нашего движения иа Полтавщине. Идея есть, люди есть...

— А оружие? — хмуро спросил Левченко галичанина.

— Оружие будет... А не будет — вилы, надежные крестьянские вилы — вот наше лучшее оружие... На вилы коммунию поднять!

— Но, кроме вил, кроме этих ваших пищалей,— Левченко пренебрежительно кивнул на стену,— мне еще современное — английское! французское! — оружие нужно!

— Будет! Я же сказал. Головной атаман сейчас об этом с Ватиканом как раз договаривается. Мы им — кардинальский престол на Украине, а они за это обещают завалить нас оружием.

— Папского кардинала на Украину? — встревожился вдруг хозяин, одной рукой поддерживая перевязанную щеку, а другой убирая со стола пустые стаканы.— Ох, нелегко будет наших полтавчан окатоличить. Упрямый народ!

— Медные лбы! — со злостью выкрикнул Ганжа.

Ему ничего не ответили.

Расходились по одному, соблюдая все правила конспирации.

Левченко должен был идти ночевать в район вокзала, к другим своим знакомым. Выйдя на улицу, он осторожно пробирался в темноте, приникая к стенам, крепко сжимая в руке заряженный браунинг. Знал — выстрелит не колеблясь, если встретится патруль и станут задерживать. А что, если бы вдруг, вместо патруля, встретилась... она? Его яркая, его смуглая, его так внезапно вспыхнувшая любовь? Как с ней бы поступил? Не знает. Наверное, выстрелил бы и в нее.

XVII

Выезжали из Криничек еще по доброму санному пути, возвращались по весеннему бездорожью: вода выступала из-под снега, заливала балки. Едва добрались домой. А дома тоже все тает, сбрасывает оковы, возрождается к новой жизни, и Данько с Васильком, почуяв весну, выползли из хаты на солнышко, прорывают под поветью канавки для первых молодых ручейков.

Будто вечность была с ними в разлуке Вутанька — увидев сына, точно опьянела: маленькое радостное су-

ществ̀о подбежало, путаясь в бабкиных лохмотьях, трепетио прижалось к колеиям:

— Мамо! Мамо!.. Угадайте, кто у нас был!

Засмеялась, обнимая сыиишку.

— Кто же у вас был?

— Угадайте!

Мальчугаи заговорщицки оглянулся на дядю. Данько в сторонке улыбался из-под шапки, опершись на лопату, как дед.

— Да ие томите! Что за сговор?

— Редкнй гость тут у тебя был, Вутанька...

Оиа даже вскинулась вся.

— Татко был! — в восторге выпалил Василько.— Татко наш был! Комиссар!

Вутаиька обмерла: не знала в первую минуту, радоваться ей или плакать. Был... Был н не застал! Был н не повидались... «Это за грех мне, за грех,— вырывалось сердце из груди,— за Полтаву, за ночь в поезде, за того баламута-военкома... Но ведь не было греха, ие было, не было!»

Известие ошеломнло ее. Душа ее полна была протеста, и горя, и отчаяиия... Стояла в оцепенении, смотрела, как по дну только что прорубленной канавки постепеино пробнрается ручеек, а где-то за спиной подала вдруг голосок какая-то весенняя птичка, н будто нздалека доносятся слова брата о нем, о Леониде... С новым бронепоездом проходил через станцию, остаиовка была у них там, из-за ремонта, что ли, и он, воспользовавшись этим, вырвался в Кринички повидаться с нею и с сыиом...

До щемящей тоски, до слез больио было ей это слышать... Шел, спешнл, надеялся, что встретит оиа его здесь своей любовью, своей нстомившейся лаской... Где ои сейчас? За балками, полными воды, за весеиними дальними бродами. Был здесь, еще позавчера дышал этим вишиевым воздухом, а теперь, когда теперь она его сиова дождется? Весна плещет капелью, журчат ручьи, сад стоит по-весеинему набухший, умытый, прозрачный...

Стайкой налетели какие-то птички-красногрудки — снегири не снегирн — и все разом сели на вишне, сверкая на солице своим ярким опереннем. Словио спелые, багряные яблоки вдруг запылали на голых ветвях! Что

за дивные красногрудки такие, из каких краев прилетели?

Сели, украсив собой весь сад, обернулись клювиками к солнцу и, попробовав голоса... запели! Самой птички почти не видно — маленькая, серенькая, невзрачная, она чуть не вся скрылась за округлым румянцем собственной грудки, роскошной, до краев налитой, переполненной песней. Пели солнцу, пели весне, пели взволнованной до слез Вутаньке... «Был! Был! Был!» — чудилось ей в их радостных, заливистых голосах. Не от него ли они? Не прощальный ли привет послал он ей с дороги с весенними этими красногрудками?

Понежились на солнышке, поцвиринькали — снялись, улетели...

Тоской сжалось сердце Вутаньки.

Взяла сына на руки и с чувством горькой потери направилась в дом.

Вошли в хату, и в хате, где гостил Леонид, еще, казалось, слышались его шаги, веяло его дыхание.

— А где же мама, Данько?

— Маме земля спать не дает...— Брат улыбнулся.— Побежала уже насчет коня договариваться на весну.

Вутанька, раздеваясь, будто новыми глазами разглядывала комнату. Во сто крат роднее стала она оттого, что недавно здесь побывал он, и живым укором откликались вещи, которых он касался... Вон там он сидел, вот здесь ходил, а из того ведра, может, воды напился...

— Какой же он? Василько, ну расскажи, какой же он, татко наш?

— Холосий татко... На руки меня брал. А на поясе у него наган вот такой больсуссий...

Ловила каждое слово о нем и все представляла, как бы это было, если б он застал ее дома. Кажется, идя на первое свидание с ним там, в таврийских степях, не жаждала его близости, его горячих объятий так, как сейчас...

Вскоре явилась и мать. С кошелкой в руке, запыхавшаяся, ноги промокли — где-то, видно, балку вброд переходила.

— Где это вы ходили, мамо? — бросилась к ней дочь.

— В поле побывала.— Достав из кошелки горшочек, наполненный мокрой оттаявшей землей, она бережно

поставила его на стол.— Набрала вот землицы на пробу, рассаду баклажан посею... Чуете, какой дух от нее идет?

По-весеннему пресно, пьяняще запахло в хате свежим разбухшим черноземом. Данько взял из горшочка комок и, разглядывая, медленно стал разминать его в пальцах. Хороша землица, сильна! Мать не могла скрыть своей радости.

— Побежала, думала, одна я такая, а там уже и Кравчиха руками снег разгребает, смотрит, не украл ли кто ее землю! — засмеялась она счастливо, застенчиво, как девушка. Переставив горшочек на окно, к солнцу, вдруг с тревогой взглянула на Вутаньку.

— А ты чего, дочка? — Только теперь она заметила, что Вутанька стоит у окна, чем-то сильно расстроенная. Загляделась куда-то за речку, разрумянилась с дороги, как калина, а на ресницах... слезы дрожат! — Дочка, с тобой недоброе что-нибудь стряслось в Полтаве?

— Да нет, все хорошо.

— Это правда,— спросил Данько сестру,— что ты там с трибуны выступала?

— Правда

Василько, забравшись на лавку, просунул голову матери под руку, заглянул в лицо.

— Мамо, а что это — трибуна? Какая она?

— Высокая она, сынок.— Вутанька обняла сына.

— Как Голтвянская гора?

— Выше... Как выйдешь, как встанешь... всю Украину видно.

— И о чем же ты там говорила, доченька, о земле не забыла сказать?

— Не забыла и о земле... Ни о чем не забыла.

— А Леонид тут кланяться тебе велел... тоже все на дорогу посматривал. И жалел очень, что так вышло, и радовался за тебя.

Василько, стоя на лавке, в наивном детском удивлении глядел на мать и никак не мог взять в толк, что у нее болит, о чем она плачет, почему большие сверкающие слезы одна за другой медленно катятся по ее пылающим, разгоревшимся щекам.

Окна давно оттаяли, в комнате полно солнца, а мама плачет... Отчего? Разве все возвращаются из Полтавы со слезами?

— Мамо, мамо! — заговорил мальчонка встревоженно.— Скажите, а там, в Полтаве... есть солнце?

— Есть, есть! — сквозь слезы засмеялась Вутанька и еще крепче прижала сына к себе, осыпая его жаркими поцелуями.

XVIII

Быстро выздоравливал Данько в уютном, тихом домашнем лазарете. Мать нарадоваться не могла: на глазах оживает сын! И с людьми стал разговорчивее, и с ней приветливее. А в первые дни, бывало, слова от него не услышишь — в родном доме, а держался, как чужой, как постоялец. Часами лежал молчаливый, погруженный в себя, даже для матери недоступный. Больше всего тревожила мать эта его задумчивость. Сядет у окна, стриженый, долговязый, костлявый после болезни, уставится в оконное стекло, и видно, что мысли его уже далеко от материнской хаты, может, снова в степях, может, снова где-то со своим суровым полком.

Праздником стал для матери тот день, когда, однажды, вернувшись с ведрами с реки, вдруг услышала, как в комнате кто-то потихоньку гудит, напевает... Сама себе не поверила — уж не послышалось ли ей? Однако сомнений быть не могло: он! Чей же еще, как не сына, этот юношески чистый, глубокий, задушевный тенорок:

Они ехали молча в ночной тишине
По широкой украинской степи...

Чтобы не вспугнуть певца, остановилась, притихла в сенях у двери, взволнованно слушая, как возвращается он с песней к жизни, к своим товарищам далеким...

С той минуты, безмерно радуясь быстрому выздоровлению сына, уже не могла освободиться и от щемящей, с каждым днем нарастающей тревоги: чуяло сердце, что, как только окрепнут у сына крылья, не удержать его дома, снова улетит в широкий свет... Что же тогда ей останется?

Вся ее радость, все ее достояние было в детях. Двоих еще маленькими похоронила, а трое, наперекор нищете, болезням, остались в живых. Со старшей — Мокриной — матери уже почти нет забот: та сама себе хозяйка, к тому же на отшибе живет, только и повидаешь, когда в цер-

ковь придет либо на сходку. С мужем Мокрниа сошлась характером — попался работящий, смирный, не драчун н не буян да, на счастье, еще с грыжей — и на войну нз-за этого не взяли: все эти годы лесником работает да деготь гонит, хоть это и запрещается. Свили себе гнездо за речкой, в лесной глушн, и хотя дети пошли у них густо, однако живут не хуже других.

А эти двое, Данько и Вутанька,— в кого только они удались! Отец, будь он жив, известно, лишь порадовался бы, глядя, какие выросли оба голосистые, буйные да непоседливые, а у матери из-за их неугомонного нрава всегда душа не на месте. Сколько тайком пролила слез ночами, когда Вутанька вернулась из Таврии ни девушкой, ни вдовой.

Богачи прохода не давали своими насмешками:

— Дождалась, мать? Надеялась на червонцы таврийские, а дочка вместо них байстрюка в подоле принесла!

Еще больше болело у нее сердце за Данька, пока он где-то там с врагами рубился. Все эти петлюры да царские генералы, все эти чужеземцы, о которых она не раз слышала на сходках, казалось, всей силой шли именно на него, на ее сына, стремясь во что бы то ни стало погубить его, молодого, расстрелять своими страшными дредноутами да еропланами... Только после того как разыскала его чуть живого в лазарете и забрала оттуда домой, почувствовала, что теперь все у нее есть: земля в поле и сын в доме.

Даже когда был маленьким, не осыпала Данька ласками так, как сейчас. Как сторожко прислушивалась она по ночам к его дыханию, как горячо молилась тайком о возвращении ему сил и здоровья! Когда в доме появилось молоко, стала щедро, несмотря на святой пост, отпаивать сына скоромным, принимая весь грех на себя. И грех в мех, и спаса в торбу, только бы сын скорее набирался сил, скорее встал на ноги!

И вот он встал. По вечерам уже молодежь забегает в хату, балалайка побренькивает, песни звенят...

В погожие дни Данько, накинув на плечи латаный материн кожух, любит похлопотать во дворе по хозяйству или, выйдя на речку, подолгу стоять с палкой на пригорке, внимательно присматриваясь к светлой, сверкающей на солнце заречной дали, чутко прислушиваясь к звонким голосам весны.

Весна в этом году пришла властно, внезапно: не подкрадывалась потихоньку, не высылала в разведку ложных оттепелей, не пятилась под ударами последних мимолетных вьюг... Вдруг прорвалась, развернулась, сразу нажала по всему фронту! Подули ветры с юга, пригрело солнце, и вот одно за другим уже рушатся на глазах белые укрепления зимы. С грохотом обваливаются ледяные стрелы с крыш, с каждым часом все звонче журчат ручьи по улицам, по огородам, по подгорью. На реке стал стрелять лед, потрескивая, набухая прибывающей водой.

За каких-нибудь несколько дней все пришло в движение, таяло, пробуждалось, овеянное теплым ветром, озаренное обильными лучами солнца с высокого весеннего неба.

В день, когда затрещал внизу, загудел, коробясь, лед, на берег Псла высыпало все село. Хотя видели ледоход каждую весну и, казалось бы, давно уже должны были привыкнуть к нему, но и ныне ждали его как чего-то небывалого. Яресько, вооруженный длинной палкой, тоже стоял со всеми на берегу, охваченный общим настроением нетерпеливого ожидания, весь в сумятице каких-то новых надежд и чаяний, как будто сегодня и впрямь должно здесь произойти что-то исключительное, необыкновенное.

Подошел Федор Андрияка с группой ревкомовцев, криво улыбнулся Яреську своей разорванной губой:

— Поперла весна, говоришь?

— Поперла...

— Как разольется, всех бандюг нам из лесу повытоняет.

— И дезертиров из каховских плавней.

— Так это, думаешь, и все? В Крыму, брат, еще осталось немало гадов на развод. Деникина, ч-чертяку, сковырнули — на его место Антанта сейчас Врангеля привезла. Говорят, будто в Севастополе уже на руках его носят, ч-чертову куклу!

Яресько вспомнил Севастополь в дни бурного крымского рейда, братание с французскими матросами, многолюдные манифестации, песни... Как эта весна, что неудержимо ломает, крушит остатки зимы, кинулись они тогда — матросы, повстанцы, рабочие — к порту, с песнями шли против дредноутов, под красными знаменами

шагали как братья... А теперь там снова подымают голову черные силы?

Река тем временем делала свое. Сначала лед медленно, будто нехотя, двинулся, затем пошел быстрее, напористее... И вот вдруг затрещало все, тесны стали берега, раскололись, разломились ледяные глыбы, полезли одна на другую, словно какая-то невиданная сила напирала на них снизу, обдавая темным клекотом бушующей воды. Казалось, некое таинство свершала природа, и люди, приблизившись к самому берегу, взволнованно следили, как буйная, весенняя эта сила пробивает себе дорогу вперед, как ползут и ползут в бурлящие водовороты разбитые льдины, отрываясь от берегов, с угрожающим шумом и треском уходя в свое далекое весеннее путешествие. На глазах рушилось все: и зимние проруби, и огромные ледяные кресты, оставшиеся от праздника крещения, и тропки, наискосок протоптанные крыничанами зимой по льду на ту сторону, в лес. Все это трескалось, рушилось, ломалось и ледяным крошевом уплывало в сторону Днепра...

Молодежь развлекалась. Какие-то парни, соревнуясь в ловкости, перепрыгивали с шестами со льдины на льдину, в притворном испуге вопили: «Тонем! Караул! Спасите!»

— А вот видишь еще ч-чертово отродье? — показал Андрияка Яреську на речку.

Данько уже смотрел в ту сторону. Девушка на льдине! Кто она такая? Словно состязаясь с парнями в смелости и отваге, она взобралась на льдину и, ловко орудуя длинной жердью, с веселым смехом плыла вдоль берега, то и дело отталкиваясь от него. Видно было, что она не деревенская: в желтых сапожках со шнуровкой чуть не до колен, в коротенькой меховой шубке, плотно облегавшей ее стройную талию. Голова открыта, без платка, длинные золотисто-каштановые косы откинуты за спину. Приблизившись к тому месту, где стоял Яресько, девушка вдруг вскинула на него глаза и, вытащив из воды жердь, протянула к берегу:

— Хватай, служивый! Хватай, а то утону!

Видя, что она озорует, Данько не тронулся с места.

— Испугался? — Девушка засмеялась и снова налегла на жердь, и ее тут же отнесло потоком. Даньку приятно было смотреть на ее смеющееся лицо. Такая

куриосая, широколицая, даже с веснушками, но... хороша! Не девчонка, а просто... черт в юбке!

— Чья такая? — повеселев, обратился Яресько к Андрияке.

— Нонна, попа нашего дочь,— пояснил Федор.— В полтавской гимназии училась, с офицерами романы крутила.

— А теперь?

— А теперь в отставке... по случаю разгрома деникинцев.— Федор громко захохотал.

— Отчаянная девка! — заговорили дядьки, стоявшие рядом.— Батюшка уже не знает, что с ней и делать... Родится же такое: оторви да брось.

Тем временем девушка, поравнявшись с другой группой, по-мальчишески оперлась на жердь и легко, одним махом перепрыгнула со льдины на берег.

Впрочем, скоро Данько забыл о чудаковатой поповне. Зрелище могучего ледохода целиком захватило его. Уже не криничанские, а откуда-то с верховьев разбитые проруби, изломанные тропки и раскрашенные свеклой снежные бабы проплывали перед глазами. Все, что создавалось в течение зимы, все, что месяцами стояло на Псле недвижимо, теперь рушилось под могучими ударами весны. Все привычное, обжитое, вместе с этими обмерзшими прорубями и извилистыми, протоптанными по льду тропинками, с огромными ледяными крестами, с неуклюжими снежными бабами, которые, посерев, подтаяв, так напоминали Даньку скифских каменных баб на степных курганах,— все это пришло в движение, подхваченное буйной силой прибывающей, несущейся с верховьев воды...

Скрежет ледяных громад, гул вскрывающейся реки будил все вокруг, отдавался эхом далеко и на той стороне, в лесах. Набухшие, озаренные солнцем леса тоже будто застыли в ожидании весеннего половодья, которое скоро зальет, затопит их сплошным радостным потоком.

Могучая картина весеннего ледохода, как она будоражила душу, будто хмелем поила Яреська...

Все эти проплывающие мимо остатки тропинок и прорубей, тяжелые ледяные кресты,— где они окончат свой путь? В прах разобьет их на крутых Днепровских порогах, бесследно растают где-нибудь под палящими лучами южного солнца? На юг, к морю! Взволнованным

взглядом смотрел Яресько на разбушевавшийся ледоход, на обломки старого зимнего уклада, проносившиеся мимо, и вместе с потоком молодых вод, вместе с неотвратимым движением весны неслись на юг и его растревоженные думы...

XIX

В Севастопольском морском соборе шло торжественное богослужение. Бледным тающим пламенем горели бесчисленные свечи, сияло старинное золото риз и киотов; ароматный дым, подымаясь из кадильниц, висел в воздухе плотным голубоватым облаком, наискось пронзенным там и тут мечами дневного света, который пробивался сквозь высокие соборные окна. Густой аромат ладана смешивался с запахом свечного чада, лампадного масла и горячими испарениями дорогих парижских духов.

Сегодня в соборе полным-полно молящихся. Бывшие сенаторы и бывшие министры, деятели Государственной думы и могущественные заводчики Юга, генералы в орденах и сверкающие бриллиантами аристократки — все те, кто после новороссийской катастрофы нашел себе убежище здесь, на последнем Арарате белой земли, собрались в этот день еще раз помолиться о своем будущем, о своем воинстве, о своем молодом вожде.

Он, их кумир и избранник, тоже был сейчас здесь, на большом соборном богослужении. С того момента, как он вошел, взволнованные взгляды знатных молящихся были уже обращены не на святых, а на него. Вот он стоит в простой черкеске, возвышаясь над своими блестящими адъютантами, суровый, замкнутый, овеянный легендами витязь-джигит их белого Арарата.

Стальной Врангель!

Никаких знаков различия не было на нем — по внешнему виду его можно было принять за простого воина. Лишь на груди, возле газырей черной черкески, скромно мерцает платиновый крест — награда, которую ему недавно вручил генерал Холман от имени «его величества короля Великобритании и императора Индии». Высокая, необычная награда. Однако никто из присутствующих здесь не мог с уверенностью сказать, за что именно ее вручили: то ли за прошлое, за бои под Царицыном, то

ли, может быть, уже за будущие победы, которых от него так ждут?

Еще совсем недавно он был в опале. Резкий, нетерпимый к промахам Ставки, он был отстранен от командования, выжит Деникиным из Крыма и где-то в Константинополе, в царьградском изгнании, терпеливо оттачивал свой мстительный клинок. Он не сомневался, что час его пробьет.

Время работало на него. Чем ниже падал престиж Деникина, тем выше возносился он, Врангель, в своем ореоле изгнанника. Разочарованное и озлобленное военными неудачами офицерство, утратив веру в старого диктатора и сваливая на него одного всю вину за бесславный конец похода, за позорный новороссийский разгром, все чаще обращало свои взоры к молодому опальному генералу. Звезда Врангеля быстро всходила над Царьградом. В конце концов тот же Деникин, который выжил его из Крыма, вынужден был собственноручно подписать приказ, согласно которому генерал-лейтенант барон Петр Врангель назначался верховным главнокомандующим вооруженными силами юга России.

Роли переменились. В то время, когда один корабль британского королевского флота принимал на борт одряхлевшего неудачника Деникина, по трапу, переброшенному с другого чужеземного корабля, на севастопольскую пристань уже сбегал упругим шагом джигита новый молодой диктатор, чтобы взять в свои руки всю полноту власти.

Взрывом бешеного, истерического энтузиазма встретил белый Крым царьградского изгнанника. После страшных ночей отступления, когда красная лавина катилась по пятам, после кошмаров новороссийской и одесской паники, обезумевшая, упавшая духом беженская масса и скопища усталых, завшивевших войск с появлением Врангеля в Крыму вдруг подняли головы, загорелись надеждой. В лице энергичного молодого полководца они увидели своего спасителя, ниспосланного им из-за моря самой судьбой. Этот поведет, этот вернет каждому из них утраченное!

Уже первые шаги деятельности Врангеля показали, что офицерские полки не напрасно в критический момент призвали его сюда. Железной рукой взялся молодой вождь наводить порядок в хаосе своего огромного крым-

ского лагеря. Не колеблясь, рубнл головы ненавистной деннкинской камарнлье, обнаглевшнм тыловнкам-казнокрадам, которые во время похода целыми эшелонами спускалн на черном рынке армейское снаряженне, вызывая ропот войск н угрозы союзников. Дошло ведь даже до того, что англнйскне наблюдатели, не доверяя больше деннкннскнм ннтендантам, сами вынуждены былн сопровождать свон поставкн непосредственно на фронт, в боевые частн. Разложенне, воровство, продажность разъедалн армию н тыл. Болезнн казалнсь нензлечимыми, безверне после разгрома — фатальным, а вот пришел он н вдохнул в них новую снлу, н словно чудом из разрозненных, потрепанных, разложнвшихся частей стали на глазах вырастать первоклассные боевые корпуса. За такого стонло возноснть молнтвы нм, подонкам всей Росснн, сенаторам без сенатов, губернаторам без губерний!

И разномастные, занятые непрерывной взанмной грызней, объедннeнные лншь смертельной ненавнстью к тем, кто вышвырнул нх сюда, на окраину нмперин, онн, собравшнсь сегодня в морском соборе, ревностно молятся о нем н на него, вождя своей ненавнстн и местн. Сейчас все здесь во славу ему — н золото рнз, н дым кадильннц, и тающие огни свечей, н даже тот невесомый клнн дневного света, который лег на плечо нзбранника с высоты соборного окна.

Молодой епнскоп, простнрая рукн вперед, торжественно приветствует его с амвона:

— Дерзай, вождь!

А он, нх угрюмый, долговязый вождь, стонт с каменным замкнутым лнцом, в упор пронизывая епископа свонм острым взглядом, н всем свонм вндом говорнт, что он готов дерзать, готов бросить вызов судьбе.

Все, кто знал Врангеля раньше, находнли, что сейчас, в Крыму, прийдя к властн, он даже помолодел, стал стройнее, чувствовалось, что весь он — порыв к действню, что он полон энергнн и решнтельности.

— Ты победншь,— убежденно напутствует епнскоп,— нбо ты — Петр, что означает камень, твердость, опора. Ты победншь, нбо сегодня день благовещення, что означает — надежда, упование. Ты победншь, ибо все мы встанем с тобой протнв каторжннков н бродяг за поруганную веру, за родную землю, за святую Русь!

Грянулн певчне, все сталн крестнться. Врангель, по-

дойдя под благословение, опустился на одно колено — суровый, спокойный, величавый — как опускались некогда его предки, средневековые бароны-рыцари, получая напутствие в далекий крестовый поход.

Торжественный миг! Крылатые, голенькие ангелочки, слетевшись в карминно-синем поднебесье купола, как живые, с детским удивлением смотрели оттуда вниз на редкостное зрелище. Все их, казалось, тешило и веселило: и долговязый коленопреклоненный диктатор, и сверкание генеральских эполет, и удивительное сборище кокетливых дамских причесок, и блеск лысин бывших министров да бесприютных губернаторов, которые, словно по команде, размашисто, ревностно крестились, хотя добрая половина из них были убежденные безбожники.

Прямо из собора главнокомандующий в автомобиле помчался на вокзал. Там, в ожидании его, уже час стояло, повзводно выстроившись у вагонов, юнкерское училище, которое сегодня отправлялось на Перекоп.

Вдоль этого эшелона из раскрытых настежь дверей «телячьих» вагонов уже были спущены доски-трапы. Выстроившиеся юнкера глядели орлами. В нетерпении, волнуясь, ожидали они приезда своего кумира, культ которого безраздельно царил в их среде. Солдат, гвардеец, он строит армию нового, гвардейского типа, смело выдвигая одаренную молодежь, ставя юную доблесть выше сомнительных заслуг астматических деникинских рептилий. При нем храбрые молодые прапорщики становятся во главе полков, и тут же летят погоны с разжалованных, заскорузлых в своей тупости полковников, которые, расплачиваясь за прошлое, вынуждены теперь с винтовкой, в «беспросветных» погонах, шагать рядовыми. Не осуждение, а лишь горячий восторг вызывали в среде юнкеров и беспощадная расправа молодого диктатора с деникинским охвостьем, и его суровые меры против «пьянства, буянства, окаянства», и даже его, известное всей армии, бешеное наполеоновское честолюбие. Нет, это совсем не то, что старая развалина Деникин, которому по прибытии в Англию английский король будто бы пожаловал за верную службу титул лорда. Дряхлый лорд юнкерам не нужен — их поведет железный барон!

Когда Врангель в белой папахе джигита появился на перроне, окруженный адъютантами и многочисленными представителями иностранных миссий, начальник учи-

лица, несмотря на свои годы, бегом кинулся к нему с рапортом.

Перрон сверкал. Яркий день слепил глаза. Весенние грачи, нарушая торжественность момеита, весело галдели над вокзалом.

Приияв рапорт, Врангель повернулся к юикерам, которые, затаив дыхаиие, восторжению ели глазами своего вождя. Он по-своему любил эту воииствеиную поросль донских и кубанских станиц. Безусые защитники казачьих хуторов и дарованных царями вольиостей, оии знают, что такое воинский долг и воинская доблесть. Разве не такие же юнкера до последней минуты отстреливались в Зимнем в роковую октябрьскую иочь? Наскоро собраиные с Кавказа, с пылающей Кубани, переправленные иа кораблях Аитаиты в Крым, они теперь доверчиво вручают свою судьбу ему, обрусевшему шведу, в жилах которого течет голубая кровь викиигов. И он, викинг двадцатого века, поведет их иавстречу славе, победам, триумфам, перед которыми померкиут подвиги его предков.

— Юикера! — молодо, сильно прозвучал его могучий голос.— Не на смерть я посылаю вас ыне, хотя твердо верю, что лечь костьми за святую Русь каждый из нас почел бы для себя самой высокой честью. Прежде чем подиять меч, нам надлежит показать России, кто мы такие, что мы несем с собой. Учитывая трагические ошибки прошлых лет, я ставлю своей целью в первую очередь навести образцовый порядок здесь, на территории, которую занимают мои войска. Будет введеиа строгая закоиность, искоренен всяческий произвол. Я превращу Крым в образец, в показательиую опытную ферму будущего иашего нового строя!

При слове «ферма» юнкерам сразу же представились богатые отцовские хутора, запахло кизячим дымом брошеиных станиц...

А вождь продолжал:

— Вас, сыиов казачества, иесомиеиио, волиует вопрос о земле. Так вот: я уже отдал приказ разработать проект нового земельиого закоиа. Мне нужен закои универсальиый, такой, который удовлетворил бы всех, чтобы даже Красиая Армия, состоящая в основном из крестьян, увидела его преимущества и переходила на нашу сторону. Наши близорукие вожди до сих пор не придавали этому значения.— Врангель нахмурился — видимо, неиа-

вистная тень Деникина мелькнула в этот миг перед ним.— Их неуклюжая программа погубила нас. А между тем, если с английскими пушками наша армия смогла дойти до Орла, то с земельным законом — я уверен — мы дошли бы до Москвы!

По правде говоря, юнкера не совсем ясно представляли этот новый закон, который одновременно удовлетворял бы всех: и богатое казачество, и одетых в красноармейские шинели крестьян, и собственников огромных поместий, отсиживавшихся сейчас в Крыму... Но тут, на перроне, в этот миг верилось им, что их вождь сумеет дать и такой невероятный, всеобъемлющий закон.

— Юнкера! — Врангель рассек рукой воздух: — Вы — надежда России! Зная вашу преданность, именно вас я посылаю на Перекоп, именно вам я доверяю главные ворота нашего крымского замка. Помните: Перекоп — это не только рубеж двух армий. Это рубеж двух миров, это та могучая крепостная стена, о которую должна разбиться и разобьется волна красного варварства. По вашим глазам я вижу — вы рветесь в бой. Однако гром еще не грянул. О марше на Первопрестольную пока разрешается только мечтать. Ждите. Недремно стойте на страже Перекопа. У вас ни в чем не будет недостатка: из Нью-Йорка, Марселя, Стамбула, Пирея уже выходят, уже идут к нам суда. Я вооружу вас до зубов, я одену вас в сталь, которой наши друзья,— Врангель выразительно посмотрел в сторону представителей иностранных миссий, — не пожалеют для нас! Пробьет час, и я брошу клич, я поведу вас вперед — с мечом в руке и с крестом в сердце.— Он перекрестился.— Всемогущий бог поможет нам!

Юнкера в экстазе троекратно прокричали «ура», а представители миссий, сбившись в кучку, о чем-то оживленно заговорили.

XX

Ночь.

Шумит разбушевавшееся море.

Массивной мрачной скалой высится дворец главнокомандующего. У парадного входа дежурит команда пулеметчиков, вооруженная новенькими «гочкисами». Темно вокруг. Лишь на втором этаже дворца в нескольких окнах еще горит свет: барон не спит.

Сидит в кресле, выпрямившись, просматривает бумаги. Изучает донесения. Подписывает приговоры. Вот приговор бывшему начальнику слащевской контрразведки. Врангель, покусывая губу, что-то вспоминает. Это тот вешатель-кокаинист? Из-за какой-то шлюхи застрелил в ресторане своего корнета?

Нервным сердитым почерком перечеркивает приговор. Пишет: «Вешал других, повесить и его!»

Донесения авиаторов... Во всей Северной Таврии ходят по степи толпы с красными знаменами — совдепия делит землю... Они уже делят, а где же его проект?

Сердито стал перекладывать бумаги. Взял в руки зеленую бархатную папку на шелковых шнурках. Вот здесь, в этой папке, мужицкая земля! Сколько жаждущих ее, сколько безземельных... Благодаря ей он склонит на свою сторону мужика, мобилизует неисчислимые мужицкие контингенты, которыми так неосмотрительно пренебрег его предшественник.

Откинувшись в кресле, с жадностью принялся читать этот долгожданный проект. Но чем дальше читает, тем больше хмурится; под сухой темной кожей лица нервно ходят желваки. Какое-то место совсем вывело его из себя. Ударил папкой по столу, нажал кнопку звонка.

В дверях появился дежурный офицер в английском, с иголочки френче, вытянулся, ожидая распоряжений.

— Сенатора Глинку!

Щелкнули каблуки.

Оставшись один, Врангель встал, нетерпеливо забарабанил пальцами по столу. Тупицы! Несчастные идиоты! Так они дают. Дают, но из рук не выпускают! Он, Врангель, в этот решительный момент идет на все, не колеблясь бросает на алтарь отечества фамильные имения своей жены — дочери известного таврического магната Иваненка, а они? Кретины! Бестии! Позор Новороссийска, видимо, ничему их не научил! Стоя на краю пропасти, рискуя потерять Россию, они все еще не могут расстаться со своими латифундиями! Немедля же он разгонит комиссию! На гауптвахту посадит их, пускай там вырабатывают земельный закон! А не сумеют, мужика, «чумазого лендлорда» позовет из волостей — пусть хоть он научит их уму-разуму!

Бесшумно открылась дверь, вкатился, выпятив круг-

лое брюшко, сенатор Глинка — запыхавшийся, растерянный, руки трясутся... Государственный муж!

Когда сенатор приблизился, Врангель хлопнул по столу бархатной папкой.

— Изволите шутить, господа?

— Я вас не понимаю, ваше прево...

— Зато я вас хорошо понимаю! Даете и из рук не выпускаете!

— Ваше превосхо...

— Молчать! Вы что? За кого вы меня принимаете, господа? Не за вождя ли тех помещичьих сынков, которые доходили с Деникиным лишь до своего имения, а потом, плюнув на святую Русь, оставались дома пороть крестьян?

Как кролик на удава, смотрел сенатор на разъяренного генерала. А тот уже широко зашагал по кабинету.

— Не ваши зажиревшие аграрии, а мужики, миллионы крепких мужиков необходимы мне для армии, которую я создаю, вы это понимаете? И что же вы им сулите? Чем надеетесь привлечь их под мои знамена? Не только дать — вы даже пообещать не умеете! Я поражен, я возмущен вашей беспечностью и нерадивостью, господа!

Сенатор наконец собрался с духом:

— Ваше превосходительство, разрешите доложить... Мы с графом Апраксиным настаивали... Но господин Налбандов принципиальный сторонник крупного землевладения.

— Выгнать вон Налбандова. Завтра же пополнить комиссию мужиками!

— Ваше превосходительство, поблизости нет мужиков, одни татары.

— Вызовите из уездов волостных старост. Три дня срока на все.

— Слушаю.

Взяв папку, сенатор попятился от стола, но у порога снова в нерешительности остановился.

— Ваше превосходительство, мне хотелось бы еще кое-что уточнить...

— Уточняйте.

— Насколько более левыми вы желали бы видеть основные наши положения?

Врангель остановился посреди кабинета. Глубокомысленно хмурясь, уставился в потолок, и на всю его долговязую фигуру как бы легла печать некоего государственного величия.

— Я ведь тоже против крайностей,— наконец сказал он.— Ориентируйтесь на золотую середину. Так, чтобы левее правых эсеров и... правее левых эсеров.

В глазах сенатора мелькнуло нечто похожее на скрытую усмешку, но сразу же исчезло. Пятясь, он так и вышел из кабинета, сохраняя на лице уважительное и серьезное выражение.

Врангель подошел к окну, рывком распахнул обе створки. Влажным ветром хлестнуло с моря, приятно освежило.

Море, ветер, мрак!

Сквозь ночную тьму, словно чьи-то недремлющие очи, кроваво пламенеют сигнальные огни на кораблях. Стальной горой возвышается «Гальвестон», за ним виднеются силуэты дредноутов «Мальборо», «Бенбоу», «Эмперор оф Индиа»... У самой пристани притаился английский крейсер, тот самый исторический крейсер, на борту которого он, Врангель, прибыл сюда из Константинополя.

Вспомнились высокие берега Босфора и константинопольские минареты, вспомнилась жена, оставленная где-то там, за морем, на турецком берегу. Как она сейчас? Спит уже, верно, в этот поздний час и в золотых своих снах видит отцовскую милую Таврию. Степи, степи, безбрежные украинские прерии, как часто они являются ей в роскошных ее грезах! Между тем степные эти имения, в которых проходило ее девичество, сожжены и разграблены, а фамильные богатые земли голытьба делит между собой. Но черт с ними, с этими землями! Скорее бы ему власть, власть — полную, венценосную! Все решит поход. Дочь некогда воинственного рода, из разбогатевшей украинской шляхты, она, его жена, тоже хочет делить с ним все трудности предстоящего похода, просит разрешения приехать сюда, к нему, «к зятю Украины», как в шутку называли его когда-то в семье. Почему же он не разрешает ей приехать, почему? Неужели и впрямь не хочет подвергать ее трудностям походной жизни, или, может, где-то в глубине души он сам не вполне уверен в счастливом завершении того дела, что предначертала ему судьба?

XXI

Чаплниская площадь — что маковое поле: цветет яркими платкамн, чабанскими папахами, красноармейскими фуражкамн... Раз праздник — так праздиик для всех: пришли хозяева, пришли и постояльцы нх — бойцы латышской части, которая из-под Перекопа отведена в Чаплнику на отдых.

Гуднт, радостно клокочет площадь. Шутка сказать — будут делить землю! Прáвда, еще неизвестно как: кто говорит — на едоков, а кто — по дворам. Раскрасневшиеся женщины-солдаткн, прослышав, что землю будут иарезать на едоков, решительио протисквваются со своими детьми вперед, держа самых малеиьких на рукáх так, чтобы они были иа глазах у комиссии. Пусть комиссня вндит этих едоков, пусть не забудет и им иарезать леннннский надел!

Тут же, иа внду у всех, перед самым крыльцом, выстроились полукругом те, что уже туговаты на ухо — древнне сухопарые деды, чаплиискне патрнархи, которые держатся с уднвительной для их лет выправкой, объясняющейся главным образом тем, что после деникннскнх шомполов старнки до сих пор еще не могут согнуться. Некоторые из них сегодня впервые после экзекуцин явнлнсь на площадь, чтобы лнчным присутствнем напомннть комиссии о себе.

Секретарь волревкома — глазастый юноша в студенческой тужурке — с крыльца громко читает декрет. Слушают его деды, слушают, опершись на костылн, фроитовики, жадио ловят каждое слово облеплеииые детьми солдатки... Их закон по душе Чаплинке, ничего не скажешь.

Не по нутру пришелся новый закои лишь хуторянам, которые, слетевшись на сходку нз своих степиых гиезд — столыпнискнх делянок,— расположились на возах и беговых дрожках в коице базара неподалеку от амбаров.

Старик Гаркуша прнехал сюда вместе со своей батрачкой. было у него намереиие заодио сбить нз подсолнуха масло. Глядя со сторонü иа хозяииа и его молодую работиицу, можно было подумать, что и на Гаркушином хуторе произошел переворот, что теперь там заправляет уже ие Кнрилл Гаркуша, а эта вот стройиая, сннеглазая наймнчка Наталка. Сам хозяин вышел на люди в какой-

то арестантской сермяге и в перемазанных навозом опорках, а батрачку вырядил в сапожки и в белый пуховый платок, какие носят лишь богатые колонистки. Как только приехали на площадь, Гаркуша отпустил Наталку к стоявшим в толпе ее чаплинским подругам, а сам, оставшись у воза, обернулся своим хрящеватым ухом к волостному крыльцу, на котором студент читал тот новый, советский закон. Пока речь шла о судьбе помещичьих да монастырских земель, Гаркуша лишь равнодушно помахивал кнутом, но, когда коснулось и таких, как он, темная кровь ударила Гаркуше в лицо: что же это творится? Выходит, что и его, Гаркушин, пай переполовинят?

Рука невольно потянулась, чтобы почесать затылок.

— Чешетесь, Кирилл Остапович? — проходя мимо, насмешливо бросил какой-то чаплинский голяк.— Хотят и вам хвост укоротить, а?

Гаркуша промолчал, угрюмо опустив голову. Ох, укоротят, видно, по самую репицу подрежут! Сегодня их сила — что хотят, то и делают. Давай разверстку, езжай с подводой, а теперь уже и кусок хотят отхватить, до земли, до земли добираются! Как от них защититься, к кому податься, откуда накликать гром на их головы? Где хотя бы Савка со своей Украиной? Мечется от одних к другим, у всех уже перебывал, но так до сих пор и не угадает, под чью руку стать... Хорошо тем сербам да французам из села Британы — они сумели устроиться — как бишь это? — «иностранноподданными», им теперь только на регистрацию ходить еженедельно... Ах, если бы и ему, Гаркуше, заполучить какое-нибудь подданство! Хоть под турка, хоть под грека, хоть под черта лысого, только бы не под голытьбу чаплинскую!

А может, еще и не отрежут? Может, признают и его за трудовой элемент? По клочочку, по лоскутику ведь собирал поле к полю, горбом своим да кровавыми мозолями наживал! Обрабатывал лучше фейнов, лучше колонистов, был сам себе агрономом, грамоту от департамента земледелия получил за племенного бугая. А теперь вот дожил. Вот тебе и сбил масло! Тут сейчас так, брат, бьют, так советский пресс завинчивают, что из тебя самого скоро масло потечет! Все им мало, этим голодранцам, уже им и Гаркушин хутор поперек горла стал! Пропади вы пропадом!

Душа его взрывалась протестом, лютой, убежденной в своей правоте ненавистью. Хотелось стать, вывернуть ладони всей площади напоказ — гляньте: в мозолях они, потрескавшиеся, черные, как подошва!.. Батрачку держит? Еще этим осмелятся колоть ему глаза? За то, что пригрел ее, чаплинскую нищую девку, за то, что от слащевских насильников у себя на хуторе спас? Сам явился сюда в лохмотьях, а ее, как куколку, привез — в сапожках, в дочерниной — во всю спину — шали...

— Наталка!

Стоит среди подруг, будто и не слышит. Тоже, видно, на землю разлакомилась, вместе со всеми вытянула шею туда, вперед... Там уже читают списки. Много же оказалось их, счастливцев, которым земля сама плывет сегодня в руки. Читают и читают... Даже со стороны нетрудно угадать в толпе того, чью фамилию называют в эту минуту: лицо его сразу становится светлее — ведь теперь он уже не бедняк, а хозяин!

— Наталка! — Приблизившись к толпе, старик нетерпеливо ткнул девушку в спину кнутовищем.

Наталка досадливо обернулась к нему:

— Чего вам?

— Что ж ты стоишь?

— А что же мне — танцевать?

Подруги, окружившие ее, засмеялись.

— Чего без толку скалите зубы? — крикнул Гаркуша на девушек и сердито дернул Наталку за руку. — Пошли!

— Куда вы меня тянете? — со смехом и возмущением оттолкнула она старика.

Гаркуша взбеленился.

— Дура ты! — захрипел он в неистовстве. — Так и будешь стоять? Это же только раз в жизни случается! Ступай же скорее, кричи, требуй! Разве ты не едок? Разве тебе не надо? Ты же чаплинская, сроду безземельная, у тебя мать нищенкой померла на ярмарке! Твое право! Пошли, вырвем, а то замотают!

— Да уймитесь вы, хозяин! — весело перебила его одна из девушек, догадавшись наконец, отчего беснуется старик. — Вы про Наталкин надел? Так ее ведь уже называли.

Гаркуша остолбенел:

— Тебя называли?

— Ну да! Наталка Троян — это ж она и есть?
— Разве ты Троян? Вот те и раз!
— Дед думал, что у Наталки и фамилии своей нет,— захохотали девушки.
— Думал, и в списки не внесут! Еще, может, от вашей и нарежут!
Сыпались шутки, хохот стоял, как вдруг откуда-то с конца площади раздался пронзительный детский крик:
— Яроплан!
Все, умолкнув, повернулись в сторону Перекопа. Темный крестик двигался в небе. Вскоре оттуда донесся отдаленный дребезжащий рокот.
Сходку пришлось прервать, однако люди не расходились; разбившись на кучки, напряженно следили за небом, за приближением рокочущей железной птицы.
— На Каховку, видно, летит, туда они часто летают!..
— Переправы разведывают!
— Вишь, нашел себе дорогу — через наши головы напрямик...
Аэроплан тем временем уже дребезжал над селом, медленно описывая круг в поднебесье и словно любуясь оттуда залитой солнцем Чаплинкой, ее белыми мазанками и яркими платками чаплинских девчат... Сейчас, когда аэроплан мирно плыл по небу, пронося над головами людей свои неподвижные колеса, мало кто из чаплинцев верил страшным слухам о том, что будто бы заграница прислала генералам в Крым какие-то новые летательные машины, которые уничтожают людей не пулями, не бомбами, а таинственными фиолетовыми лучами... Но когда аэроплан, неожиданно взревев, коршуном ринулся сверху прямо на толпу, устремив на нее быстролетный, сверкающий и все разрастающийся вихрь пропеллера, не один из чаплинцев подумал, что это как раз они и сверкают, убийственные фиолетовые лучи!
— Спасайтесь! Кар-раул!
Черный грохот среди бела дня всколыхнул Чаплинку.

XXII

Обезумевший от взрыва бомбы, Гаркуша опомнился лишь в доброй версте от села, куда он успел ускакать на своей таратайке. Остановился в придорожных бурья-

иах, обалдело оглянулся на Чаплинку. Удирая, он потерял шапку, и теперь кобыла пугливо коснулась иа старика, то ли не узиавая его без шапки, то ли просто удивляясь страииому кустику седого, развеваемого ветром ковыля на Гаркушином черепе.

Где-то в цеитре села, в том месте, где обрушилась бомба, поднимался дым, что-то горело. На околице группа красноармейцев стоя била из винтовок по удаляющемуся в иаправлеиии Крыма уже еле заметиому аэроплану.

Гаркушу охватило какое-то мальчишеское, радостное неистовство.

— Ага, поделили? Поделили? — приплясывая у воза, размахивал ои обломком измочалеиного о спиину кобылы кнутовища.— Списки иаписали, а печать пристукиуть забыли? Вот он вам и припечатал!

Вскоре на дороге появилась Наталка. Ожидая ее, Гаркуша подошел к кобыле н, стиснув зубы, прииялся покрепче затягивать рассупоннвшийся хомут.

Наталка прнбежала сердитая, запыхавшаяся.

— Нате! — броснла деду шапку, подобранную по дороге.— Бежали так, что и голову потеряли.

— А куда ж это ты запропастилась? — виновато молвил старик, так как, удирая с площади, слышал, как Наталка звала его.

— А вы будто и не зиаете... Свою шкуру скорее спасать, а меня так бросили, пускай бомбой разорвет.

— Здорово, здорово ахнуло. Куда попало? — напяливая шапку, оживлеиио расспрашивал хозяии.— Волость, кажется, горит?

— Это мешки вашн с семечками горят. Целились в волость, да в маслобойню попалн...

Гаркуша, виднмо, был иесколько разочарован этой вестью.

— А из тех никого н ие зацепило?

— Кого — тех?

— Да тех же, которые делят?

— Живехоньки! — сказала Наталка радостио и, поправнв шаль, уселась на возу.

Гаркуша тронул вожжи.

— Не забыл, не забыл Слащев о вас, наведывается в гости,— оборачиваясь в стороиу Чаплинки, сиова забубнил ои.— В прошлом году штаны шомполами

досок, а теперь, как придет, то посечет вам, граждане, и подштанники... Заранее нашивайте на задницу лемехи!

Потянулись поля. Ветер веял с моря, и, возбужденная только что пережитым, Наталка подставила ему свои раскрасневшиеся щеки. Дым над Чаплинкой рассеивается, пожар уже, верно, потушили. Не видно и того заморского коршуна в небе: вспугнув сходку, он снова ушел куда-то в сторону Крыма. До каких пор они будут тут летать? Когда уже дадут людям покой и мир? Теперь бы, кажется, жить да жить: и бедноте счастье улыбнулось — права дают, землю будут нарезать...

Земля со всех сторон подступает к Наталке непаханая, незасеянная, в курае да чертополохе, и все же до боли родная, ближе, дороже, чем когда бы то ни было... Натерпелась и земля за последние годы! Кто только не разгуливал по этим бескрайним просторам! Вдоль и поперек истоптана степь копытами, изрыта снарядами! Куда ни глянь — дикие бурьяны шелестят; солнце все выше и выше, скоро обогреет всю эту степь по-весеннему — зазеленеешь, зацветешь ты из края в край!

Где же ей, Наталке, выпадет среди этих просторов надел? Там ли, где лиса рыжим клубком метнулась, исчезая в кураях, или, может, как раз над ее нивой отзывается сейчас жаворонок с высоты?

— Так-так... Выходит, и ты, Наталка, теперь с землей,— примирительно кашлянул, нарушив молчание, хозяин.— Только как же ты думаешь обрабатывать свой пай?

— Да уж как-нибудь обработаю.

— А чем?

— Говорят, что армия поможет тяглом.

— Ну, с теми много хлеба соберете. А то, может, и собирать не придется. Ненадолго этот дележ, вот попомнишь мое слово... Не дольше ваша власть, как до пятницы.

— Долгой будет наша пятница...

— А вот увидим.

— Увидим.

Вдали уже показался Гаркушин ветряк. Ободранный, искалеченный войной, одиноко торчит он в открытой степи, подняв кверху обломок крыла, напрасно ожидая ветров, которые вдохнули бы в него жизнь. Хуторские

заунывные ветры, как они опостылели девушке в зимние жуткие ночи! Всеми голосами завывали, протяжно скулили в трубе, с грохотом рвали проржавевшую кровлю. Собаки спущены, двери на запоре, в хате тревожный мрак. В углу шепчет молитвы монашка Минодора, Гаркушина свояченица, которая, бежав из разгромленного монастыря, осела на хуторе. У окна всю ночь караулит хозяин с топором, всю ночь ему чудится конский топот экспроприаторов-лопатников, которые будто бы имеют обычай, подъехав к самому окну, требовать: «Подавай, хозяин, деньги на лопате»...

А с утра хозяина гонят в обоз, монашка садится за святое писание, и все хозяйство остается на ее, Наталкиных, плечах. Надо напоить, почистить коров и свиней, сделать все по дому. Так иной раз за целый день ничего, кроме хрюканья свиней, не услышишь.

По праздникам к Минодоре вороньем слетаются такие же попрятавшиеся по хуторам монашки, приносят разные слухи, шушукаются о приходе антихриста, который якобы сейчас тайно живет в Париже под охраной тридцати юнкеров Керенского.

Тоска, одиночество. Не с кем словом перемолвиться, за зиму смеяться разучилась. И вот теперь снова туда же? После воли и солнца чаплинской сходки — снова в свинарники, чуланы, амбары? Работай и работай, а что заработала? Даже эту шаль и то хозяин дает ей лишь тогда, когда на люди посылает, потом снова прячет в сундук, запирает на ключ. Но не вечная же она у него пленница, ведь когда-нибудь должен наступить всему этому конец! Знакомые девчата говорили уже сегодня о каком-то новом союзе, который будто бы объединит всех батраков и батрачек, объединит и будет защищать их права.

— Так-так... С землей, значит,— снова заговорил хозяин, которому Наталкина земля, видно, не давала покоя.— А может, со мной в супрягу? С половины, а? Или ты уже, может, на стороне сеяльщика себе заприметила?

— Может, и заприметила...

Отвернувшись, она улыбнулась своим мыслям. О, как часто он приходит к ней в мечтах, певучий, веселый ее сеяльщик! Вечером раскинет монашка карты — нет его, а ночью он уже является Наталке — живой, смеющийся, душа нараспашку...

«Нет, ие убнт я, Наталка, не убнт. Нельзя меня убнть».

Чаще всего вндит его таким, какнм был ои в ту прощальиую лунную иочь в Чаплинке, когда, разгоряченный ласками, обнял ее, а потом, легко вскочив на коня, в последнний раз огляиулся, в последиий раз подарил ей свою белозубую мальчишескую улыбку. Все ждет его, все верит, что раио или поздно он вернется и вызволит ее нз Гаркушниой иеволи. Его, ее веселого Данька,— вот кого бы ей сеяльщнком на свою нниву! И, словно наяву, вндит она уже, как идет и ндет ои полем — до самого края земли, и сеет, сеет... Без конца, до горизоита тянется, разворачивается нх радостная ннва!

Все ближе ветряк. Поднял в иебо торчок иедоломанного крыла, будто грозит оттуда Наталке, будто подает какой-то тайный зиак иедобрым крымскнм ветрам.

XXIII

Кто это мерным шагом идет вдоль вспаханного, весенним солицем пригретого поля и так старательно, со всего размаху бросает зерно?

Рано иа зорьке, в одно время с опытными крнннчанскими хлеборобами, вышел Яресько засевать материнскую инву. Будто н нехитрое дело, а меж тем сперва не давалось, пока дядьки-соседн, посмеявшись над ннм, не подошли да ие показали кавалернсту, как нужно стаиовиться да как руку держать, чтобы ровно ложнлось зерно.

Данько сеет, сестра бороиует.

И борону и коня пришлось занять у зятя. Славио идет работа, иравится оиа Даньку. Взмах сюда, взмах туда, полукругом ложатся в теплую влажную землю семена, остаются на пройдениом сеяльщнком путн, чтобы потом подняться здесь, зашуметь тяжелым обильиым колосом...

Людей в поле — муравейннк. На сходках все крнчали, что нечего в землю броснть, а пришла весна. каждый откуда-то наскреб кто проса, кто, гречнхн, а кто и пшеницы. Снуют и снуют в дымке по полям, вдоль большака, у опушки леса. Кажется, ннкогда еще не работалн крнннчане с такнм жаром, как в эту весну:

впервые на собственной, отвоеванной у господ земле. Женщины, проходящие дорогой с завтраком в узелке для своих тружеников, издалека кричат Яреськам:

— Бог в помочь!

И дальше, через все поле, катится вдоль леса это веселое радостное приветствие:

— ...По-мо-очь!..

В свежевыстиранной расстегнутой гимнастерке, с мешком зерна через плечо, идет и идет Данько вдоль нивы, ступая размеренно, торжественно, будто каждым шагом, каждым взмахом руки совершает какое-то священнодействие.

Вот засеет матери ниву, и тогда... На днях ходил с комсомольцами на собрание в волость и встретился там с бывшим военкомом Левченко, который после внезапного понижения в должности стал начальником всевобуча. Разговорились. Яресько расспрашивал о своем полке. Выяснилось, что его Таврийский повстанческий полк давно уже переформирован в бригаду и переброшен куда-то на запад против белополяков, но куда именно, об этом и военкомату точно неизвестно. Узнав, что парню не терпится снова сесть на коня, Левченко одобрил это намерение, но тут же и охладил: пока, мол, не рыпайся. Когда нужно будет — позовем...

Вот и сидит. А тут еще секретарем комсомольской ячейки избрали, циркуляры уже поступают к нему на тонкой папиросной бумаге, на такой тонкой, что даже махорки не держит. Раскурнвает с хлопцами циркуляры да, как застоявшийся конь, ждет боевого сигнала. А может, его и не будет? Может, вот так и замирение наступит на фронтах, и уже на другие, на трудовые дела революция позовет?

Все легче становится мешок — все меньше в нем зерна, зато все больше семян ложится в плодородную землю. Сколько он идет, все слышит, как звенит и звенит жаворонок где-то вверху, над ним; он такой же неутомимый, такой же голосистый, как и тот, которого они в прошлом году слушали в Чаплинке вместе с Наталкой. Дух перехватывает при воспоминании о ней. Не забыла ли о нем? Дождется ли его возвращения?

Дойдя до опушки, Данько снимает мешок с плеча и садится передохнуть. Солнце пригревает, всюду на опушке кучками лежит зимняя крестьянская одежда —

в одних рубашках ходят по полю сеяльщики. Пашня сверху быстро подсыхает, за Вутанькиной бороной-скоропашкой уже поднимается легкий клубочек пыли. Приблизившись к брату, Вутанька остановила коня, выбрала из зубьев бороны бурьян да комья земли и, выбросив все это на межу, подошла к Даньку.

— Устал?

— Только во вкус вошел,— закуривая, пошутил брат.— Свое засею и другим помогать пойду.

Вутанька тоже присела на меже и, в задумчивости ломая в пальцах сухой стебелек травы, загляделась на подернутые дымкой хутора, разбросанные далеко по ту сторону большака.

— Встревожили меня, Данько, вчера эти песенки зареченские... Как ты думаешь, кто бы это мог быть?

Данько молча попыхивал цигаркой. Понятна была ему озабоченность сестры. Вчера поздно вечером целой гурьбой вышли они из Народного дома. Возбужденные после репетиции, с шутками и смехом перешли греблю, толоку и остановились у самого обрыва над Пслом, там, где, как говорил дед Харитон, была для них «каша закопана». Светила луна, внизу тихо плескалась речка. Нонна-поповна, прислонившись к плечу Данька, стала медленно, нараспев читать стихи. Так хорошо было вокруг, что и по домам не хотелось расходиться. Стояли, притихнув, на берегу, как вдруг там за речкой, за лесом кто-то раскатисто запел в лугах:

Ой, яблучко,
Та й з листочками —
Прийде батько Махно
Із синочками...

Голос был незнакомый, басистый, сильный; издалека докатываясь до села, он, казалось, похвалялся силой, угрожал криничанам своей песней.

Яресько не остался в долгу. Набрав полную грудь воздуха, он ответил ему за речку тем же «Яблочком», только куда звонче:

Ех, яблучко,
Куди котишся?
Попадешся в руки нам —
Не воротишся!

Потом снова спел тот, а Яресько снова ему ответил — звонко, задорно, голосисто! — так и перестреливались они песней через речку, через лес, пока тот не умолк. Долго потом Нонна хохотала, восхищаясь этим песенным поединком. Вчера все это казалось шуткой, а вот теперь Вутанька почему-то вдруг вспомнила, заговорила об этом с затаенной тревогой в голосе. В самом деле, кто б это мог быть? Чей это голос?

Данько не хотел придавать этому значения.

— Пустяки. Стоит ли беспокоиться,— вставая, махнул он рукой.— Просто кто-то из хуторских глотку драл.

— Хорошо, если просто.

Вутанька тоже встала. Только она шагнула к коню, как по всему полю поднялась непонятная тревога: дядьки засуетились, забегали, те, кто был с лошадьми, поспешно отцепляли постромки и опрометью бежали к лесу.

«Банда!» — мелькнула у Вутаньки мысль, и в тот же миг прокатилось над полем:

— Банда! Банда!

Данько, забыв о своем мешке с зерном, стоял, напряженно вытянувшись, на меже и смотрел куда-то в сторону большака. Там, версты за две от них, из лесу уже галопом вылетал на дорогу отряд с черным развевающимся флагом на передней тачанке.

XXIV

Теперь уже было не до работы: оставив недосеянные поля, люди со всех ног бросились по домам. Заторопились домой и Яреськи.

На полпути встретила их мать, запыхавшаяся, бледная.

— Я уже думаю, не стряслось ли, помилуй бог, чего. Да еще Данько в этом галихве... Банда ж была!

— Чья? — насупился Данько.

— Да чья же... Ганнины головорезы.

Немного отдышавшись, мать повернула вместе с детьми, стала на ходу рассказывать. Налетели внезапно откуда-то, уж не с Буняковых ли хуторов, нежданной бедой свалились людям на голову. Не иначе, кто-то

указал им, потому как, нигде не останавливаясь, галопом пролетели прямо к амбарам, где в это время брали хлеб продотрядовцы, троих изрубили на месте, а их товарищей под саблями стали принуждать, чтоб зерно из сусеков, как из корыт, ели. Однако не захотели те, наотрез отказались. «Вы,— говорят,— сякие-перетакие бандюги»,— и по матери их!.. Возле амбаров как раз лежал ворох пустых мешков, свежих, новеньких, их продотрядовцы только что со станции привезли. «Это Москва столько для нашего хлеба нашила? — накинулись на них Сердюки.— Это вы вместо манухвактуры нам привезли? — и кричат своим: — А ну-ка, в мешки их, как котов!» Еще и глумиться над сердешными стали: «Говори «паляныця»!» Который, дескать, вымолвит «паляныця», того отпустим, а у кого «паланица» получается, тому тут и аминь: в мешок — и в воду... Всех до единого казнили, всех в Псел покидали.

— А Ганна? — волнуясь, спросила Вутанька: — Она... тоже?

— Ох, эта Ганна... Дивчина была как дивчина, а до чего дошла, во что превратилась! В шапке кубанской, с плеткой в руке, нечесаная, пьяная... Разлеглась в тачанке, непотребно ругается, родную мать едва узнала.— Яресьчиха на ходу утерла глаза фартуком.— Теперь Лавренчиха там волосы на себе рвет, на все село плачет да причитает, говорит: «Кабы знала, малой бы в зыбке удушила!»

Данько, шагая рядом с матерью, стал расспрашивать, чем вооружены бандиты да много ли среди них здешних, хуторских.

— Сердюки, Сердюки наши там, больше всех орудовали,— рассказывала мать.— Кооперацию разграбили, в сельсовете все вверх дном перевернули, все Андрияку искали.— Оглянувшись, мать вдруг понизила голос: — У попа, говорят, пересидел!

— Да неужто они и Федора могли бы зарубить? — невольно вырвалось у Вутаньки.— Забыли уже, как вместе на каховском шляху ноги били? Как в одном курене над Днепром ютились?

— На людей уже не похожи: морды пораспухли, глаза кровью заплыли. «Всех коммунистов,— орут,— посечем, одну чистую советскую власть оставим!»

Но больше всего потрясли Вустю не Сердюки, а то.

что она услышала от матери о Ганне. До чего же докатилась! Пьяная, окруженная головорезами, в бандитской махновской тачанке... Та самая Ганна, с которой они вместе росли, с которой когда-то делили и горе и радость. О таинственной, воспетой кулаками «банде Ганнуси» Вутанька слыхала и прежде, однако до сегодняшнего дня тень какого-то сомнения — может быть, это вовсе не та Ганна — еще жила в сердце Вутаньки. Не хотелось верить слухам, не укладывалось в сознании, что криничанская певунья, ее ровесница, и таинственная бандитка Ганна — это один и тот же человек. Теперь не оставалось места сомнениям: «Ганнуся» сама заявилась в Кринички родной матери на позор и людям на горе. До чего же ты, Ганна, дошла, с кем свою долю связала? Кажется, еще совсем недавно рядом с Вутанькой в церковном хоре чистым сопрано заливалась, а теперь, видно, и голос пропила, охрипла от кулацких вонючих самогонов...

— Та́к вот, ни за что людей замучить,— убивалась мать.— Где-то там дома, на заводах, их с хлебом святым ждут, а они и сами домой не вернутся...

Всех продотрядников Вутанька знала в лицо, еще вчера в Нардоме видела их — веселых, дружных, в фабричных кепках, и вот теперь их уже нет. Просто не верилось, что лежат они зарубленные, завязанные в мешки и брошенные на дно речки. И все это Ганна? Такой грех не побоялась на душу взять? Свалилась как снег на голову, принесла столько горя и вновь канула неведомо куда, подхваченная темными махновскими вихрями!..

Уже у самого села встретил их зять Прокоп.

— А я за конем,— сказал он, вытирая рукой обильный пот, выступивший на лбу.— Коли не догадаются, думаю, спрятать в лесу — амба! В Буняках вон, говорят, махновцы всех коней у хуторян забрали.

— Да они сами поотдавали,— буркнул Данько.

— Ну, не видал — так не говори,— предостерег Прокоп, взяв у Вутаньки повод.— А то теперь брякнешь вот так что-нибудь, а потом...

— Что потом? — ощетинился вдруг Данько.

— Ты не кричи. Ты как себе знаешь,— расставаясь с ними на перекрестке, бросил Прокоп,— а я в политику не мешаюсь: у меня грыжа.

Все село еще клокотало, взбудораженное налетом. Где-то голосили женщины, по берегу ходили мужики с длинными баграми, прощупывали дно, искали убитых.

— Теперь найдешь их,— печально сказала мать.— Выплывут, может, где-нибудь аж в Потоках.

Не доходя до дому, разошлись: Вутанька с матерью направились к хате, а Данько, передав им мешок с оставшимися семенами, повернул к реке.

Подойдя к сгрудившимся над обрывом и молча орудовавшим баграми мужикам, Данько некоторое время угрюмо наблюдал за их работой. Потом, взяв у одного из них багор, стал сам прощупывать дно возле кручи. Вытаскивал какие-то водоросли, ворочал под водой корневища вербы, шаг за шагом продвигаясь дальше: утопленных нигде не было.

А за спиной шел гомон:

— Вот вам и Ганна... Кто бы мог подумать, а?

— Ганна у них там, говорят, больше за куклу в отряде, а всем верховодит, сказывают, тот, который в хренче.

— Полюбовник он ей. или кто?

— Кой там черт полюбовник... Просто петлюровский офицер, от шляхты к банде подосланный.

— Так что же, они хотят ее из махновской да в католическую веру перетянуть?

К Яреську, все дальше уходившему с багром вдоль берега, подошел Андрияка.

— А они тут и тобой, Яресько, интересовались,— шевельнул он своей разорванной губой.— Не забыли, видать, Сердюки каховских твоих насмешек... Ну да ладно: посмотрим еще, кто будет смеяться последним!

До самого вечера мутили баграми воду в Псле. Солнце было уже на закате, когда в село прибыла из Хорошек пешая караульная рота с медными трубами через плечо — хоронить зарубленных.

XXV

Хоронили их в братской могиле, выкопанной мужиками на Голтвянской горе.

Было тепло, кругом дышала весна, прибрежные леса стояли в легкой дымке — наряжались первой зеленью.

Медленно плыли в гору на плечах криничан тяжелые гробы, обитые красной материей, а вслед за ними под звуки траурного марша толпой двигался опечаленный народ. Шли крестьяне, шли бойцы караульной роты, шла с красными знаменами молодежь окрестных сел. Всхлипывали женщины. Спотыкаясь, плелась вместе с ними и старая Лавренчиха, мать Ганны, в черном платке, завязанном узлом на темени, и тоже всхлипывала, как о ком-то близком. Утром приезжие чекисты снимали с хуторян допрос, вызывали и Лавренчиху, но отпустили ее, потому что все село видело, как ползала она на коленях перед тачанкой дочери, когда бандиты хотели поджечь амбары с хлебом, ползала и умоляла не жечь святой хлеб, чтобы не пришлось потом людям второй раз разверстку выполнять.

Плывут и плывут гробы, время от времени сменяются мужики, в молчаливой скорби влекут на костлявых своих плечах этот нелегкий, как само горе, груз. Чем ближе к месту погребения, тем печальнее музыка, тем громче всхлипывают женщины. Хотели не с музыкой — с попом хоронить, но молодежь запротестовала, и вот в первый раз хоронят без попа. Вместо него над толпой, когда уже гробы стали опускать на полотенцах в яму, вырос Федор Андрияка — мрачный, грудь нараспашку, с наганом на боку. Взмахнул пустым рукавом, нагнулся и, захватив горсть свежей земли, зажал ее в поднятом кулаке.

— Вот этой землей клянемся перед вами, братья и товарищи: отомстим за вас!

И, закусив разорванную губу, с перекошенным от ярости лицом он погрозил в сторону хуторов: хотел еще что-то сказать и не мог.

Отошел от могилы, и сразу же заработали лопаты, загрохотала, падая в яму, земля...

В тот же день в Криничках набирали добровольцев в ряды вновь создаваемого красного полка внутренней охраны. Прибывшие из уезда организаторы объяснили, что полк будет чисто классовый, создается он из уездной бедноты, из самых преданных революции людей, создается специально для борьбы с кулацкими бандами и несения внутренней охраны в уезде, а чтобы в ряды полка не проник вражеский элемент, запись во всех селах будет вестись публично, на сходках.

К месту записи собрались и стар и млад. Пришли и заречейские хуторяне. Затаив в глазах насмешку, они кучкой стали в стороне.

— Радуетесь? — закричал на них Андрияка.— Ждете, что шляхта скоро придет, навезет вам мануфактуры? Но знайте, что мы, незаможники, ждать не намерены. Довольно вам гнать из хлеба самогон да угощать бандитов! С сегодняшнего дня по всей Украине объявляем всем вам красный террор!

Молчат мироеды.

А Федор уже, размахивая кулаком, обращается к своим — к бедноте, к матерям, к молодежи, заполнившим площадь:

— Землю получили? Сколько всяких партий обманывали вас, обещали дать вам землю, а что дали? Кукиш с маком! Ни Петлюра, ни эсеры, ни меньшевистская шушера — никто дальше слов не пошел. Только мы, большевики-ленинцы, разрубили все одним ударом — роздали землю трудовому народу! Ваша она теперь, навеки ваша. Так берите же оружие и защищайте ее!

Вынесли стол, поставили на середине площади, чтобы производить запись. Среди приезжих — свой, суховщанский революционер Иван Шляховой, тот самый, что из кутузок не вылезал, что с подростков в Козельщине на свекловичных плантациях воевал со всеми приказчиками. Теперь он как начальство подошел к столу, взял карандаш, обвел глазами собравшихся.

— Записываю... Кто первый?

Воцарилась тишина. Прошла минута — молчат, прошла вторая — молчат. Шляховой, крепко сжав зубы, ждет. Вот уже со злорадством переглянулись между собой мироеды: тут, мол, разживешься, как вдруг передние задвигались, расступились, и из толпы вышел, направляясь к столу, худощавый, немного сутулящийся юноша в гимнастерке, туго перетянутой ремнем... Кто это? Яресько? Сын Матвея Яреська, которого здесь же, на площади, самосудом убили в тысяча девятьсот пятом году. Взялся рукой за стол и, хмурясь, переступил с ноги на ногу.

— Запишите.

Повеселевший Андрияка подмигнул Шляховому:

— Вот таких-то нам и надо... Кто сызмалу на заработках возле батрацких котлов рос, кого раньше вот

этн,— показал в сторону хуторян,— торботрясамн обзывалн.

Когда Яресько, записавшись, повернулся, чтобы ндти от стола, он увидел налнтые нескрываемой злобой глаза сельских богатеев. Тех самых богатеев, которые замучили его отца, тех, которые и ему самому позапрошлой ночью угрожалн из-за речкн махновскнм «Яблочком»... Пожнлые н молодые, разные буняки н огиенкн, чернобабы и лашкн... Смотрят, обжнгают его ненавндящнми глазамн: так, значнт, первым вырвался? Ну, мы же тебе этого не забудем!

А за ннм, за вожаком своим, уже подходили к столу другие сельские комсомольцы, вдовьи сыновья, вчерашние батракн. Только н слышалось:

— Левко Цымбал!

— Петро Скаженик!

— Самбур Дмнтро!

— Касьяненко Костя!

— Иван Колесный!

Разохотившись, за старшим Цымбалом, Левко, сунулись запнсываться и младшие — Степан первый н Степан второй, но по возрасту, как несовершеннолетннх, нх не взялн, посоветовали подрастн.

Сразу же после запнси в сельисполкоме добровольцам было выдано оружне — старые трехлинейные винтовкн н по пять патронов к ннм.

Вскоре Шляховой со свонми товарищамн уехал в соседнее село; караульная рота, получив новое задание, тоже покннула Криничкн, а Яресько со своей вооруженной ячейкой остался дома еще на одну ночь — назавтра им было приказачо явиться в уезд.

Мать, хотя и была на площадн в то время, когда Данько записывался, вполне осознала значение происшедшего лншь к вечеру, когда сын в первый раз вошел в хату вооруженный, словно весь дом загромоздив своей страшной с прнмкнутым штыком винтовкой. Сначала поставил винтовку рядом с ухватом, а укладываясь спать, перенес ее к постели, в изголовье.

Когда он уже лег, мать присела рядом с ним.

— Хоть бы вам командир хороший там попался,— печально промолвила она.— Чтоб хоть пожалел иногда...

— Не за жалостью едем, мамо.

— Но все же...

Она погладила его по стриженой голове. Вздохнула. И это все? Уйдет, а скоро ли вернется, да и вернется ли домой? Ведь и тех, которых банда вчера изрубила, тоже где-то не дождутся матери...

Умаявшись за день, он быстро уснул.

Мать с Вутанькой еще с часок возились — собирали Данька в дорогу. Наконец, потушив каганец, легли и они.

Разбудил их страшный грохот, будто громом ударило, гарью откуда-то потянуло — не пожар ли?

Не успели Вутанька с матерью опомниться, как Данько, схватив винтовку, уже выскочил во двор. Метнулся за один угол, за другой — нигде никого.

Белая стена хаты — в копоти, в выбоинах, изуродована взрывом. В воздухе запах гари. Сбежались встревоженные соседи, стали доискиваться следов: один нашел металлическую стружку, другой — ручку от гранаты...

— Понятно... Кто-то гранатой запустил.

— В окно, видать, метил, да впотьмах не попал.

— Чье-то счастье, видно, в хате ночевало.

Соседи посокрушались, покурили и вскоре разошлись. Мать с Вутанькой тоже пошли в хату, один Данько остался во дворе — сон как рукой сняло.

Луна уже склонялась к закату, круто повернулась Большая Медведица — было уже далеко за полночь. Поставив винтовку на боевой взвод, Данько походил по саду, выглянул на улицу, потом не спеша спустился огородами к реке. Тишина, плещет вода, где-то вдали коростель-дергач трещит... Где же притаился тот, кто послал ему гранату? Кто он? Чья это рука? Знает только, что кулацкая... Запугать хотят? Покушение не испугало Данька, оно лишь обострило в нем желание драться, драться непримиримо, насмерть. Прислушиваясь к окружающему, он чувствовал, как растет в нем то, что Андрияка назвал бы классовой ненавистью к врагам, и все крепче сжимал винтовку. В открытую не выходят, бьют из-за угла. И это ведь только начало, только записался, а сколько их еще будет, сколько еще ждет его кулацких, предательских пуль.

Туман стелется по левадам, на ветвистые вербы пала роса. Спят Криничкн. И материнскому дому, и родному селу, и амбарам с хлебом — всему нужна сейчас охрана,

все нуждается в защите. Опершись на винтовку, так и простоял Данько, как часовой, под плакучей ивой на берегу реки, пока не начало рассветать.

XXVI

Кременчугская ЧК еще зимой обнаружила у сына Огненко, бывшего петлюровского офицера, зашитую в кант, напечатанную на шелку по-украински директиву-памятку. В ней говорилось, что не следует преждевременно обнаруживать себя и что клич будет брошен из центра, когда это сочтут наиболее удобным европейские державы, которые теперь все охотнее поддерживают украинское движение.

Этой памятке тогда не придали особого значения, хотя и пустили за нее молодого Огненко в расход. Не подозревали тогда, что немало таких же памяток осталось у тех, кто успел устроиться на работу в разные советские учреждения, проник в военкоматы, либо притаился до поры, до времени на отцовских хуторах. Там, на хуторах, в отгороженных ложными стенами потайных конюшнях всю зиму жевали овес застоявшиеся кавалерийские кони, а от родительских домов были далеко прорыты подземные ходы к ямам, в которых, в ожидании удобного момента, отсиживались петлюровские кадровики. Не раз случалось, что в то самое время, когда одна невестка ставила продотрядовцам на стол жидкий кулеш, другая — за стеной — подавала в яму бандитам жареную с салом яичницу.

Весной, по мере приближения белополяков к Киеву, накалялась атмосфера, и здесь, в глубине Полтавщины, зашевелилось кулачье, стало открыто бойкотировать продразверстку, а на сходках между хуторянами и комбедовцами доходило до ножа. Только и слышно было: там изрубили продотряд, там вырезали милицию, там кого-то из чекистов посадили на кол...

Такова была обстановка, когда прозвучал клич партии: «Незаможник, к оружию!» Повсеместно начали создаваться из местной бедноты войска внутренней охраны, так называемые отряды незаможных.

Приток людей в отряды превзошел все ожидания: тысячами двинулись. Оборванные, с котомками, в домо-

тканых сорочках, все те, кого хуторские презрительно называли панской голытьбой и торбогрясами, поднялись теперь защищать от банд свою власть и только что полученную землю. Со всех волостей, по всем дорогам потянулись в уезд следы босых батрацких ног.

Добровольцами кипел-бурлил в эти дни уезд. Вместе со взрослыми из волостей толпами приходили и подростки — пятнадцатилетние и шестнадцатилетние батрацкие сыновья, становились перед комиссиями в заплатанных своих свитках и просили только одного: оружия!

— Нам ни пайков, ни обмундирования! В своем будем воевать за идею!

— Вас только зачисли,— шутили над ними на приемочных пунктах,— тогда сразу за горло возьмете: «Галифе подавай!..»

Божились:

— Вот крест, жалоб не будет!

— Сами видим, что государство наше бедное, неоткуда взять.

— А если уж все на нас истреплется, листьями грешное тело прикроем, и так будем воевать!

— Грудью да на «ура»!

Из всей массы добровольцев отбирали в первую очередь сельских коммунаров, активистов, хорошо проверенных людей, приходивших из близких и далеких сел с мандатами комбедов.

За короткое время отряд незаможных вырос в грозную силу. Этот бедняцкий, поистине классовый отряд, который тут зародился, тут и сформировался из местных бедняков, был особенно страшен кулацким бандам. Если регулярную, переброшенную сюда часть бандиты могли неделями водить за нос, то с этими, своими, было совсем иначе. Эти отлично знали местность, во всех селах у них были свои помошники, друзья, свои глаза и уши. В каком бы конце уезда ни очутился отряд, бойцы его уже знали, кто здесь чем дышит, кто где скрывается, кто тебе враг, а кто друг. Беднота считала отряд своим, и всем, чем только могла, поддерживала его: при сельисполкомах были организованы мастерские, которые занялись выделкой кож и пошивкой сыромятной обуви для бойцов отряда, а также изготовлением седел для коней — как для наличных, так и для тех, которые отряд еще только собирался раздобыть.

— Наш отряд,— говорила беднота по селам.— Босой, да наш!

— А что же, они будут наших рубить да на рожон поднимать, а мы с ними цацкаться? — возмущались бойцы отряда.— Нет, зуб за зуб! Кровь за кровь! Чтоб никто потом не сказал, что мы, украинские незаможники, не умели своих классовых врагов обуздать!

XXVII

В мае форсированным маршем с Северного Кавказа прошла через Левобережную Украину Первая Конная. Не конница — живой неудержимый ураган несся в эти дни с востока на запад, вдогонку уходящему солнцу. Сотрясались дороги от невиданной доселе силы, с утра и до ночи — карьер, карьер, карьер... В Екатеринославе мост через Днепр был разрушен, и ремонту его не видно было конца. Тогда за дело взялись екатеринославские рабочие: они решили трудиться без отдыха, круглые сутки, только бы к приходу Первой Конной мост был готов. И когда красная конница подошла к Днепру, перед ней протянулся готовый мост, и на арках его кумачом горели слова приветствий. Гудел и гудел мост под копытами буденновских коней, в полыхании знамен, в сверкании оружия проходило легендарное войско, и тысячи трудящихся города, заполнив тротуары улиц, радостно провожали красных конников в дальний путь.

Приветствовали их города, приветствовали и бедняцкие села. А войска все шли и шли в бесконечном конном строю, не останавливаясь, на галопе проходили через вишневые украинские села, и все вокруг окутывала такая пыль, что ни хат не было видно, ни садов — только мелькали, словно в облаках, распаленные лица конников да поблескивали подковы их коней.

Не успела еще улечься пыль за Первой Конной, как, воспользовавшись тем, что она ушла за Днепр, внезапно появился на Полтавщине Махно. Налетая на села и уездные городки, зверски расправлялся он с советским активом, с комбедовцами, вырубал в сельисполкомах даже сторожей и посыльных. На станции Галещина Махно неожиданным налетом разбил принадлежавший тылам Первой Конной санитарный поезд, захватил не-

сколько вагонов с оружием, предназначенным для Юго-Западного фронта.

На станции в этот день царила полная анархия, все шло кувырком. Куда ни обернись — пальба, свист, мелькают согнувшиеся в хищном порыве фигуры, прямо через рельсы туда и сюда рыскают пулеметные тачанки, наматывая на колеса разлетевшиеся по всей станции обрывки телеграфных лент... Не гудят паровозы, не идут поезда — в оба конца семафоры закрыты. Вместо гудков пьяные выкрики да ругань подымаются к небесам. Еще станция не остыла после боя, еще зияют разверстые пасти разграбленных складов, а населению уже приказано собраться к вокзалу — сам батько будет речь держать!

Было время, когда одно имя Махно действовало опьяняюще, послушать его на площадях, в степи, в лесах стихийно собирались тысячи. Было это, когда он шел со своими повстанцами против гетмана и против кайзеровских вояк, да еще когда громил в степях деникинские тылы. Теперь же пьяным махновцам приходится нагайками подбадривать, загонять дядьков на митинг.

— Не бойтесь, идите! Будет митинг с музыкой!

— Мануфактуру батько будет раздавать!

— Золотые будет разбрасывать!

На станции, как на ярмарке,— всюду тачанки, тачанки, тачанки! Полтораста будто бы тачанок здесь у Махно и на каждой — пулемет, а то и два. Кто знает, полтораста, а может, и больше, ведь они как оглашенные носятся всюду — по рельсам, по улицам, и палят, палят по каждой курице, не жалея патронов. Когда не стало по ком стрелять, с пьяных глаз открыли пальбу по небу: «По господу богу — огонь!»

Клокочет станция. Мелькают буйные махновские чубы, лоснятся раскрасневшиеся, разморенные зноем лица. Кто полуголый, кто в кожанке, кто в богатой шубе не по сезону. На одном штаны хромовые, блестящие, как у авиатора, на другом сверкает красное, как огонь, галифе. Тут уже меняются награбленным добром, там дерутся, а возле вагонов здоровенные мордастые конвойцы Волчьей сотни, из личной охраны Махно, сбившись в круг, глушат спирт прямо из горлышка аптечных бутылей.

А где же он, их самый главный? Слышали о нем мужики много, но сам он впервые залетел сюда на своих

рессорных, степных, покрытых пылью тачанках... Любопытство разбирало каждого — и боязно было и в то же время хотелось увидеть, каков он есть, этот Махно, не дающийся в руки, неуловимый, как нечистая сила, как наваждение.

Сквозь заборы и ограды, из садов и подсолнечника — отовсюду смотрели галещане, как, точно из пекла вырвавшись, влетела прямо на насыпь тачанка, яркая, пылающая коврами, которые свисали с нее чуть не до земли. Взметнув коврами пыль, тачанка лихо развернулась и остановилась с разгона у самого края насыпи, словно у обрыва, и в тот же миг, откуда ни возьмись, вырос на ней бледный, злой человечек с жесткими, будто конскими, волосами до плеч...

— Батько! Батько наш! — завопила в радостном исступлении буйная, пьяная толпа.— Ура! Ура, ура!

— Чего же вы молчите? — подталкивали махновцы крестьян, стоявших, точно немые.— Это же он и есть, батько наш, разве не узнали?

— Это же о нем поется:

Махно — царь, Махно — бог,
От Гуляй-Поля до Полог!

Громадный, разгоряченный спиртом махновец в малиновом галифе и высоких шнурованных ботинках со шпорами в такт песне стал притопывать ногой.

Царь и бог!

А он, малорослый, с горящим пронзительным взглядом, раскорячившись, стоит в тачанке, тонкие злые губы плотно сжаты, и рука угрожающе лежит на сабле, что явно делалась не для него — болтается до пят...

— Не ждали меня? — Сверкнул крупными зубами и, хищно изогнувшись, навис над толпой своими черными лохмами.— Обо мне комиссары разные враки распускают, что меня, мол, уже нет, что мне навеки амба, а я — вот он, перед вами, жив-здоров! Сын Украины! Да!

Френч на нем из нового сукна, с огромными карманами, длинный, как жупан. Весь опутан блестящими ремнями. Лицо, обрамленное длинными, как у ведьмы, волосами, худое, изможденное, жесткое, а глаза... о, эти глаза, пронизывающие насквозь, полные какой-то мрачной влекущей силы, как эти глаза умели когда-то гипнотизировать селян! По клуням, на площадях горели не-

истовым огнем, зажигали и вели за собой тысячи людей...
Почему же сейчас мужики так упрямо избегают взгляда этих глаз, их нестерпимого блеска? Или гипноз «батька» уже не действует на них?

Болтается сабля, болтается кобура с маузером, бледная рука рассекает воздух.

— Вольную, красивую жизнь дам вам, без царя, без самодержавия и без комиссародержавия — кто «за»? Абсолютно свободные союзы людей! Конец всякому гнету! Объявляю на земле начало новой эры, да! Свобода — и тольки!

Склонив головы, слушают мужики. Босые, в истлевших сорочках, а у кого и брусок торчит из кармана — видно, только что с сенокоса... Слушают внимательно, а думают... Видно, каждый о своем думает — кто о «свободе личности» да о новой Сечи Запорожской, которые сулит им с тачанки гуляй-польский батько, а кто о том, что работа в поле стоит, либо о коне, которого сегодня забрали махновцы...

Верзилы из Волчьей сотни время от времени тумаками подбадривают крестьян, обращая их внимание на оратора:

— Слышите, как режет? «Монархия или анархия — и тольки! Середины наш народ не признает: уж по природе такие мы!»

Осоловевшие, с отуманенными вином глазами, тянутся со всех сторон к батьку потные преданные морды. Атаман неутомим, раздает свободу налево и направо, корчась, словно на костре, на своей яркой ковровой тачанке. Чешет как по-писаному, а ведь из простых же простой! На глинище вырос! С малых лет у колонистов свиней пас! И вдруг — такой революционер!

— А в карты! — хвалится перед мужиками тот, который в малиновом галифе.— Еще при гетмане, когда австрийских офицеров захватил было в плен, сразу им: «А ну-ка, граждане австрийцы, кто в карты меня обыграет? Выиграет — живым отпущу!» Двое суток напролет играл! Никому не проиграл! Никого не выпустил!

Не возражают мужики. Может, оно и так. Может, в карты батько у самого черта выиграет.

— Только вы штаны потушите, штаны на вас горят...

Махновец наклонился, мотнул штаниной: и верно, дым идет из галифе!

— Цигарку, видать, невзначай сунули в карман, оно и того, загорелось.

Махновцы, сгрудившись вокруг товарища, гогочут, советуют, как тушить:

— Ляг да покачайся!

— Спирту ему туда, спирту!

А Махно, знай, витийствует. Все сильнее трясутся лохмы, рассыпавшись по плечам, все злее бьется сабля у раскоряченных ног. До тех, кто стоит поодаль, доносятся лишь отдельные слова: «Продразверстка!», «Свобода!», «Смерть!» Тем же, что притаились еще дальше, в зарослях садов и огородов, и вовсе ничего не слышно, им только видно, как все сильнее, будто в припадке, дергается маленькая фигурка на тачанке — малое да злое! Тачанка его, горящая коврами, стоит поперек путей, прямо на рельсах, не боится поездов, семафоры закрыты. Взнузданные кони все нетерпеливей мотают головами за спиной у Махно: жара все сильней, оводы жалят нещадно...

— Продразверстка! Свобода! Смерть!

Далеко видно блестящее потом, смертельно бледное лицо в темном обрамлении растрепанных волос, его болезненные гримасы. Выше взвивается зажатая в руке нагайка, и все вокруг — кони, тачанки, запрудившие площадь люди — сгрудилось, будто это лишь подставка, пьедестал для маленькой, темной фигурки, судорожно бьющейся на высокой, в ярких коврах, тачанке.

Пулеметчики, развалившись в тачанках, лениво подзуживают оттуда дядьков:

— Вот какой у нас батько... Хоть кого заворожит... Мертвого поднимет!

Угрюмо покачивают головами мужики: может, оно и так... может, и поднимет... Кто-то тяжело вздохнул. Вот повстречал сегодня дядько двоих махновцев на дороге, как раз сено вез. «А ну-ка, дядько, слезай!» Поддали воз плечами, вывалили сено: «Сено твое, а конь — наш!» — «Да на что вам такая кляча? Смотрите — пустую телегу еле тянет! Сколько ни бей, не побежит!» — «Ничего, у нас побежит!» И как сели, как гикнули, как рванули с места, так она, шельма, мотнула хвостом, кометой понеслась... Что ж это, по-вашему, по гуляй-польскому, она и есть «свобода личности»? Премного ж вам благодарны за такую свободу, на кой она леший нам нужна!

До самой темноты бесчинствовал в Галещине Махно. Отнимал коней, кормил дядек речами, а после речей возле станции по его приказу, в его присутствии гуляйпольские контрразведчики, гориллоподобные братья Задовы, изрубили группу красных медсестер, захваченных в эшелоне.

Ни зной, ни спирт не могли свалить в этот день Махно. Еще и ночью то тут, то там раздавалось между вагонами его резкое, визгливое «и тольки!» Перед тем как покинуть станцию, Махно решил оставить по себе память: щедрой рукой раздавал из вагонов оружие. Не дремали и хуторяне. Всю ночь под покровом темноты молча развозили они по хуторам сотни винтовок и запечатанные ящики патронов, полученные от их щедрого гуляйпольского «батька».

XXVIII

На пригорке, в разогретом солнцем бурьяне,— станковый пулемет, нацеленный на дорогу, ведущую к мосту. Все приготовлено, лента заложена. За пулеметом — тоже в бурьяне — в боевой готовности пулеметный расчет. Тут, в секрете у моста, их трое: Карнаух Маркиян, пулеметчик еще с царской войны, Левко Цымбал и Данько.

Посылая их в дозор, командир отряда сказал:

— Смотрите, не отдайте моста Махно. На вашей революционной совести этот мост... Да только глядите в оба, чтобы сгоряча и по своим не пальнуть: где-то тут должен пройти отряд красного казачества, посланный преследовать махновцев... Одним словом, классовое чутье само должно вам подсказать, по кому и как бить.

И вот томятся они в разогретом бурьяне, подставив солнцу свои заплатанные спины, пристально вглядываются в дорогу. А дорога бежит куда-то до самого горизонта — меж хлебов, через огороды, через овраги и лощины. Безлюдно. Изредка проедет крестьянин на возу, пастушки перегонят скотину, взовьется вихрь пыли. Еще зелено на полях, еще не позолотило их лето. Небо светлое, безоблачное, только внизу, по горизонту, темными тучами застыли вдали сады хуторян.

Жарко. Безветренно. Монотонно гудит и гудит над пулеметом пчела; в высоком бурьяне застоялись густые ароматы привядшей на солнце полыни, разомлевшей

лебеды, луговых трав Время от времени из-под моста доносится внезапный всплеск — то вскидывается рыба, и тогда Яресько косится в ту сторону: хорошо бы, разбежавшись, прямо отсюда нырнуть в речку, но... классовое чутье, как сказал командир, должно быть начеку!

— Скучно что-то так лежать,— широко зевая, говорит Левко.— Рассказали бы вы нам, дядько Маркиян, как вы женились, что ли.

— Рано еще тебе о женитьбе, подрасти малость.

— Куда уж расти! — Левко недовольно посмотрел на свои огромные, с потрескавшимися пятками ноги.

Яресько и Маркиян весело рассматривали своего товарища. Только недавно семнадцать парню исполнилось, а поди ж ты, как выгнало, и чуб такой, что на двоих махновцев хватило бы.

— Вернемся в казарму — остригу я тебя,— шутливо говорит Яресько.— А то еще за гуляйпольца примут.

— Как все-таки хорошо у нас тут...— мечтательно произносит Маркиян.— Вот я на разных фронтах побывал, всякие края видел... Есть моря на свете, есть горы, но, ей-ей, нигде нет места краше, чем у нас. Не зря же говорят — Полтавщина... Бурьян вот пахнет. А вечером — сирень да фиалка... Соловьи заливаются.

— Верно. И девчат нет нигде лучше, чем у нас,— повернулся Левко к Яреську.— Как ты думаешь, Данько?

Данько, склонившись к траве, где ползали перед ним божьи коровки, лишь загадочно улыбался. Эх, не знаешь ты, Левко, где есть девчата еще краше. Поглядел бы ты на синеоких, которым таврийский ковыль шелком под ноги стелется. Поглядел бы на глаза, которые за тысячу верст светят тебе девичьей лаской...

— Бедны мы только очень,— продолжал тем временем Маркиян.— Ну, да заставим вот мироедов потесниться — заживем тогда иначе. Богатой жизнью заживем!

— Вишь, богатеть задумал дядько, — покосился Левко на Маркияна.— А на ком же тогда, по-вашему, советская власть держаться будет, если мы все богатыми станем?

— На нас и будет держаться.

— Но мы же — власть бедных!— горячо воскликнул Левко.

— Думаешь, навеки на тебе эти заплаты?— хлопнул Маркиян Левка по плечу.— Нет, не всегда нам, брат, такими горемыками быть.

— Скорее бы только диктатурой встать над кулаком,— сказал Яресько, ие отрывая прищуреииых глаз от уходящей вдаль дороги.— А то, видишь, грозятся гады революцию на вилы подиять. А тут еще Махио, холера его прииесла... и когда уже его поймают? Никак в руки ие дается, сатана!

— Это у него, сказывают, тактика такая: иалететь, паники наделать... Больше гиком да криком берет. А как только где иа крепкий орешек наткиется, так и назад: нарочио избегает боя.

— А вы думаете, зря это мы здесь?— перешел вдруг на шепот Маркияи.— В уезде уже, видать, прослышали что-то, раз дозоры во все коицы разослали...

— В Соколке, говорят, сходку изрубил, в Галещине — сестер милосердиых...

— Совсем уж, видно, озверел. На жеищии беззащитных саблю подиял.

— Как это вчера на митииге говорила одиа?— промолвил Маркиян, припоминая.— В великих муках, говорит, рождается новый мир...

— А тот, молодой, из полтавских?— оживился при воспоминаиии о митинге Левко.— Ну прямо как будто за меия сказал. «Я, говорит, и силу и сознаиие имею! Работаю в кузиице новой жизии, товарищи. Кую и пою песню Третьему Интериациоиалу!»

— О, пыль курится...

Яресько, приподнявшись иад бурьяиом, стал из-под козырька вглядываться в дорогу.

— Ветер?

— Нет, это не ветер.

Вскоре стало ясно, что движется колоина войск. Скрылась неиадолго в балке, потом сиова показалась на пригорке, и в этот момеит — отличио было видно — развериулось над передовыми всадниками большое красное знамя.

— На-а-ши,— облегченно вздохиул Левко.— Красное казачество идет!

Стало слышио, как гудит пчела, как плещется виизу под мостом речка. Яресько замер, прислушиваясь. Почудилось ему, что ли? Будто песня откуда-то плывет.

Вначале чуть слышно донеслась издалека, с поля, потом громче и громче...

Чубарики, чубчики,
Ка-ли-на...

Уже ясно видны передовые, покачивающиеся на конях, а из клубов пыли выплывают все новые конники и тачанки.

Горит на солнце окутанное пылью красное полотнище знамени, в такт песне покачиваются в седлах поющие всадники:

Чубарики, чубчики,
Ма-ли-на...

— Эх, и поют же, черти!— восторженно сказал Левко.

Яресько весь превратился в зрение и слух. Он потянулся вперед, будто навстречу песне, и было для него в этой песне что-то по-степному привольное, буйное, что привлекало, привораживало его своей удалью и в то же время вызывало непонятную настороженность, будило тревогу. Чем-то эти «чубчики» словно бы перекликались с тем «яблочком», которое он слышал ночью в Кринничках из-за реки.

Все ближе накатывалась песня, и вот, когда она вдруг завершилась разорвавшим воздух молодецким кавалерийским присвистом, Яресько обмер! В это мгновение он все понял...

Побледнев, обернулся к Маркияну:

— Строчи!

Маркиян и Левко вытаращили на него глаза.

— Ты что — обалдел? Свои же!

— Стреляй, говорю!

— По знамени?!

Ударом плеча Яресько оттолкнул Маркияна в сторону, упал, приник к пулемету... Дрожа, вырываясь из рук, заговорил пулемет, брызнул прямо по колонне свинцом.

Ошеломленные товарищи его с ужасом смотрели, как поникло в облаках пыли полотнище знамени, как беспорядочно сгрудилась колонна, с ходу поворачивая вздыбленных лошадей, в панике рассыпалась по ложбинам, по хлебам... Уже кони все дальше уносили своих седо-

ков, уже скрылись в пыли и тачанки, а Яресько, стиснув зубы, все строчил и строчил вдогонку.

Лишь когда кончилась лента, опомнился наконец.

— Поняли, как с ними надо?— обернулся он к товарищам.

Они молча, оторопело глазели на него. В это время из ближнего овражка выскочил верхом на неоседланной лошади какой-то крестьянин и галопом помчался прямо к мосту. Подлетел запыхавшийся, босой, с путом в руке, настегивая лошадь.

— Ну и дали же вы им!— тяжело дыша, воскликнул он, обращаясь к пулеметчикам, которые, выйдя из бурьяна, стояли уже на виду.— Сам Махно их вел!

— А... а... флаг же?— разинул рот Левко.

— Вот тебе и флаг: с таким же они и в Соколку вошли,— переведя дух, рассказывал дядько.— Там как раз сходка была, о заготовке хлеба говорилось... А они под видом своих, красных казаков, подошли, оцепили сходку, послушали, а потом всех, кто за продразверстку выступал, тут же, на площади, в крошево! Весь соколянский комбед полег...

— Так это они и нас на такую приманку взять хотели?— все еще не мог поверить Маркиян.

— А я их сразу узнал,— сказал дядько.— Больше всего за нее боялся, думал, что заберут,— он похлопал кобылу по шее.— И забрали бы, если б проморгал... А то, как только увидел, сразу — в балку, в подсолнухи, спутал ее этим путом и наземь повалил... Ну, вы здорово секанули по ним,— мотнув головой, засмеялся дядько.— Один дьявол в черной бурке проскочил мимо меня совсем рядом; вся морда у него в крови. «Засада,— кричит,— возле моста! Большевики!»

Уже когда дядько уехал, Маркиян медленным, полным раскаяния жестом почесал затылок.

— Вот так-то чуть в дураках не остался! — И со зла плюнул в граву.

— В аккурат могли по нашим головам в уезд проскочить,— промолвил Левко упавшим голосом и, с уважением посмотрев на Яресько, спросил:— Скажи, ну как это ты их разгадал?

Яресько улыбнулся:

— А песня?

— Что — песня?

— Разве она ничего тебе не сказала? Эх, ты! А еще «кую и пою»,— засмеялся Яресько и, шутя, толкнул Левка в бок.

Маркиян, присев возле пулемета, уже молча набивал ленту новыми патронами.

XXIX

Так началась для Яреська новая боевая жизнь.

Тревоги ночью, тревоги и днем. А когда их нет, тогда занятия и муштровка. Яреська, как человека обстрелянного, в первые же дни назначили взводным. Своих ребят — у некоторых была пока одна винтовка на двоих (отряд еще не успели полностью вооружить) — Яресько не особенно перегружал маршировками на площади, больше заботился о том, чтобы стреляли хорошо да лучше других пели походные песни. По ночам охраняли мосты, хлебные склады, разные уездные учреждения. Когда же выпадал свободный от дежурства вечер, геройское бедняцкое войско, выстроившись в своих домотканых холщовых мундирах, лихо шагало с песнями от казармы до уездного Нардома.

Там для них время от времени устраивались представления.

Однажды вечером, сидя с товарищами в переполненном бойцами Нардоме, Яресько был прямо-таки ошарашен неожиданным появлением на сцене... Нонны-поповны. Какой-то необычной была сегодня, не такой, как всегда. Вышла на сцену в украинском наряде, золотистые косы перекинуты на грудь... Взволнованно и широко улыбнулась присутствующим. На душе у Данька стало вдруг хорошо-хорошо за нее, за Нонну, и он не отрывал глаз от девушки. Было видно, как взволнована она, как часто вздымается ее высокая грудь. Веселая, взбалмошная Нонна, почему она здесь? Как попала? Ему показалось, что Нонна увидела его и смотрит теперь со сцены прямо на него и, декламируя, обращается через головы к нему одному:

Всі до зброї!
Бийте в дзвони!
Будьте смілі,
Як дракони!

, Ей громко хлопали. До самозабвения бил в ладоши и Данько, провожая Нонну со сцены. Он гордился ею в эту минуту. Такая девушка! И сколько она стихов знает — слушал бы ее и слушал! И сейчас вот словно бы прочла мысли Данька, проникла к нему в душу и откликнулась именно тем, что ему в этот вечер больше всего хотелось услышать... Но как, как она сюда попала? Или, может, и впрямь устроилась где-нибудь секретаршей — она однажды шутя говорила ему об этом в Криничках. «Поеду, говорит, в уезд и любого вашего комиссара окручу!» По правде сказать, эта чудаковатая Нонна своими выходками, своей взбалмошностью и веселым нравом была по душе Даньку. Еще в Криничках их влекло друг к другу, но у Данька ничего серьезного и в помыслах не было. Что же случилось сегодня, здесь? Какой-то другой, какой-то более теплой, задушевной предстала она перед ним на сцене Нардома. Это ее выступление, ее взволнованность, открытая улыбка... В самом деле заметила она его в зале и улыбалась ему, или она улыбалась публике, всем?

После окончания вечера при выходе из зала Данько столкнулся с Нонной лицом к лицу. Она, видно, поджидала кого-то.

— Здравствуй, Нонна,— с неожиданной для самого себя теплотой в голосе поздоровался он.— Ты кого-нибудь ждешь?

— Жду.

— Кого, если не секрет?

Нонна улыбнулась:

— Тебя.

И взяла его под руку.

Отделившись от других, они вдвоем пошли по улице.

Пришлось Яреськовым хлопцам в этот вечер маршировать к казармам без своего командира: вопреки всем правилам военного времени он пошел провожать девушку.

Эх, эти ночи, синие полтавские ночи! Кто может устоять перед их таинственным очарованьем! Ночи, когда так опьяняюще пахнет распустившаяся сирень и в какой-то сказочной задумчивости стоят, касаясь вершинами луны, стройные, высокие тополя, которые ночью кажутся еще выше, чем днем. В лунном свете блестят листья деревьев, куда-то уходящие тропинки,

серебрнтся река между таннствеиными огромнымн купами нв, которые, склоинвшнсь ветвямн к самой воде, словио ждут, что вот-вот вынырнут из воды обнажеииые белые русалки, чтобы сесть и покачаться на ветвях, послушать соловьнные песнн. Соловьи! Неутомимые певцы весны и любви, как онн заливаются на левадах, в садах! Когда они поют, кажется, что все иа свете затнхает, н ночь тогда наполнена только нх соловьнным пеннем. Слушают это пеине и мечтательные девушки у окна, и ребята-часовые у моста, и угрюмые бородатые бандиты в лесах...

Яресько н не заметил, как оии с Нонной оказались в густых кустах буйно разросшейся персидской сиреии, на которую уже упала ночная роса. Рядом — старый, покосившийся особняк, утопающнй в зелени запущеииого, одичавшего сада.

— Вот тут я и живу,— сказала Нониа.— Снимаю комнату у одной вдовы-офицерши... Днем вндио отсюда, как вы маршнруете и играете в чехарду на плацу.

— А возле Нардома ты правда меня поджидала?

— Ну, а кого же!

— А как ты узнала, что я там?

— Сердцем почуяла,— засмеялась Нонна.— На этот раз, думаю, уж ие пропущу. Тебе что, а я вот ради тебя, можно сказать, бросила Крнничкн н отправилась сюда.— Заглядывая ему в лицо, она улыбиулась открыто и как-то даже чуть грустно.

Данько, словно иевзначай, взял в руку коиец Ноииной косы.

— Красивые у тебя косы, Нонна... Да еще ты их заплетаешь как-то по-своему, иа особый маиер.

— Можешь расплести.

— Разрешаешь?

— Другнм не разрешаю, а тебе могла бы.

— Боюсь: расплету, а снова заплестн потом не сумею.— И, в задумчнвостн выпустнв косу нз рук, спросил:— Ты тут давно?

— Да говорю же — вслед за тобой. Как иитка за иголкой. Скучно стало в Крнннчках после вашего ухода. Так скучно, что хоть вешайся. А потом — без охраны опасно,— полушутя продолжала она,— еще махиовцы, думаю, налетят да к себе захватят. В тот раз, как Ганна налетела, что я только не пережнла! По всему селу кри-

ки, вопли, а тут — Андрияка в дом. Злющий, наган отцу ко лбу: «Именем р-р-революции приказываю... спрячьте меня!» Куда же, думаю, его? За руку — да в чулан. Толкнула — сидн. Еще и старой рясой сверху прикрыла!..

— Вот это да... Ха-ха-ха! Рясой, говоришь? А ие признался, чертяка. Теперь я ему проходу не дам! — Данько громко хохотал.

— Тише, а то разбудишь мою офицершу,— говорила девушка, любуясь им, радуясь его искреннему смеху.— А из-за тебя сколько я страху иатерпелась! Ну что, думаю, если он там где-нибудь в руки им попадется, наш комсомолец певучнй,— она ласково дериула его за чуб, выбнвшнйся из-под фуражки.

Роса сверкала на кустах; нз глубины сада послышалось щелканье соловья; от казарм долетала хоровая песня — видать, хлопцы пели перед сном. Где-то совсем близко, за забором, в соседнем саду раздавался девнчнй смех, слышались поцелуи; время от времени густой юношескнй голос недовольно повторял: «Галько, ну Галько! Что ты строишь нз себя Ивана Ивановича!»

Ноина, улыбаясь, прислонилась щекой к плечу Данька.

— Скажи, Данько: я тебе нравлюсь?

Данько чувствовал, как жарко вздымается под вышитой сорочкой упругая девичья грудь, как все крепче льнет к нему девнчье, налнтое огнем тело, и сам не опомнился, как вдруг в каком-то хмельном порыве крепко прижал ее к себе и жадно припал губамн к ее губам.

— Скажн!— горячо, счастливо шептала она.— Нравлюсь? Нравлюсь?

— Да!— Опомннвшись, он порывнсто оттолкнул ее от себя.— Врать не стану... Нравишься.

— Так почему ж ты такой? И до этого все вроде избегал меня! Сколько раз в Крнннчках — я к тебе, а ты все как-то стороной, стороной... Данько! Мнлый! — глаза ее сиялн преданно, открыто, призывно.— Полюбн меня! Полюбн! На край света за тобой пойду. Все для тебя сделаю! Скажн, чтоб косы обрезала,— и обрежу! Кожанку надень — надену! Кем хочешь ради тебя стану!

От запаха сирени кружилась голова, блнзость девнчьего тела опьяняла, и Данько чувствовал, как все снльнее охватывает его сладостный дурман. Как в угаре, он кусал сорванный лнсток, смотрел куда-то вверх, на луну.

— Или я не хороша? Или — что попова дочка? — Нонна порывисто обвила его шею руками. — Так я отца упрошу! Он так любит меня, он все сделает ради меня, моей любви... Хочешь, публично от бога отречется?

Данько все молчал, и было в его молчании что-то такое, что вдруг встревожило Нонну. Страшная догадка впервые осенила ее.

— Или, может, у тебя... другая есть? — спросила голосом испуганным, упавшим.

Данько положил ей руку на плечо:

— Ты угадала, Нонна... есть.

Больше не о чем было говорить. Так они и расстались.

XXX

В казарме Яресько, как и предполагал, сразу же попался на глаза командиру отряда. Шляховой еще не спал, при свете керосиновой лампочки он вместе с несколькими бойцами возился в углу возле полученных недавно пулеметов.

— О, взводный наш возвратился, — вытирая руки паклей, поднялся навстречу Яреську Шляховой. Голова его наголо побрита, сам коренастый, крепко сбитый, с широким скуластым лицом. Как всегда, он улыбался, улыбался той своей особенной, немного исподлобья, улыбкой, которую знали все в отряде и от которой трепетали хуторяне. — Не то, брат, время ты выбрал для свиданий, — сворачивая цигарку и поглядывая на Яреська, заговорил командир. — Конечно, сейчас, когда цветет сирень, там, в садах, пахнет получше, чем в казарме. — При этих словах Данько еще острее ощутил каким спертым, тяжелым духом бьет от нар. — Но не рано ли? К лицу ли солдату революции лазить девкам за пазуху в такой напряженный момент?

Яресько молчал в смущении. Стыдно ему было. Он видел, что своим опозданием обидел командира, который только вчера, после случая у моста, перед строем ставил Яреська в пример как человека революционной совести и долга. Для Яреська Шляховой был больше, чем просто командир. Еще зимой Яресько слышал о Шляховом — он был свой, земляк, из недальнего села. С восхищением рассказывали бедняки, как он, Иван, собрав в каком-то

селе кулаков, не сдавших разверстки вместо того, чтобы долго уговаривать их, поставил на крыльцо пулемет и так секанул у них над самыми головами, что те в штаны понапускали.

Хотя по возрасту Шляховой и ненамного был старше своих бойцов, однако ему пришлось столько пережить, что иному и не снилось. С малых лет, еще от земли не видно было, пришлось вместе со взрослыми уйти на заработки, только не к Фальцфейнам он попал, как Ресько, а в Козельщину на монастырские плантации, а потом в Карловку на сахарный завод герцога Гессенского. Оттуда и пошел — по заводам да по тюрьмам... Дважды его как забастовщика по этапу пригоняли в родное село, к матери, а позднее уже сам вернулся большевиком — революцию делать.

На первой же сходке, сплотив фронтовиков, прижал к стенке местных богатеев:

— Гады, Учредительного собрания ждете, чтоб земли нам не дать?

— Теперь мы все равные,— загудели богачи.— Революция всех сравняла.

— Какие, к черту, равные! — кричал он им в ответ.— Ты столыпинец, а я пролетарий! У тебя земля, а у меня что? В кармане — блоха на аркане!

Кулачье не раз устраивало на него засады и покушения; пробовали даже при помощи красивых хуторянок переманить его на свою сторону, и сами же потом удивлялись, что ничем его не взять: предан был своему классу до конца!

И вот теперь Шляховой с улыбочками да шуточками, но крепко таки отчитал Яреська. Лучше б уж он взыскание какое-нибудь наложил, чем вот так по-хорошему да по-приятельски. А он, как назло, не отстал даже тогда, когда Яресько лег уже.

— Слыхал?— присев рядом с Яреськом на нарах, степенно говорит командир.— Из Миргорода передают, снова Христовый объявился. Там Скирда, там Коготь. — Наклонившись к плечу взводного, он вдруг понизил голос:— Пачками чека берет! Оказывается, многие из них даже в наши учреждения пролезли. Еще вчера они то украинскими левыми были, то полулевыми, а теперь, как заслышали, что «пся крев» приближается, сразу же носы в ту сторону повернули! Зимой за совет-

скую власть распинались, а на деле, видно, только и ждали, пока леса зазелеиеют...

Глубоко затянулся махорочим дымом.

— Разгорается классовая борьба, брат.

Докурив, Шляховой направился к выходу.

— Пойду караулы проверю.

Только Яресько лег, только задремал, как вдруг будто у самого его уха раздалось:

— К оружию!

Как очумелый вскочил, бросился с товарищами к пирамиде. Схватив винтовку, проталкиваясь вместе с другими к двери, выскочил из казармы во двор. Шляховой громко отдавал приказания командирам рот. Сквозь приглушеный гомон и звякаиье оружия откуда-то снизу, из темноты дальних окраин докатывались звуки перестрелки. Вслед за ними то тут, то там за садами прорывалось непонятное, воющее, раскатистое:

— ...А-а-а! А-а-а!

Что это?

Лишь потом догадались: «Слава-а-а!», петлюровский клич.

Отряды разделились на несколько частей. Та, в которую попал Яресько со своим взводом, получила задание: к мосту!

Бросились бегом. От городских партийцев, бежавших вместе с ними, узнали в чем дело.

— Кулачье взбунтовалось!

— Уезд решили захватить!

— А возглавил этих мироедов, знаете, кто? Левченко из военкомата!

— Предал, сволочь. Для отвода глаз отпросился к отцу погостить, а сам тем временем на хутора махнул! Все окрестное кулачье поднял!

Стрельба слышалась вокруг, то удаляясь, то приближаясь.

«Со всех сторон окружают»,— на бегу подумал Яресько, прислушиваясь, как в предрассветной мгле разносится вокруг угрожающее «а-а-а», потухая в одном месте и снова вспыхивая где-то в другом, на заросших густыми садами окраинах местечка. Казалось, какая-то темная сила, поднимаясь волной, подкатывается все ближе, вслепую нащупывая выход своей яростной, разбушевавшейся ненависти.

Когда приблизились к мосту, прозвучала команда:

— В цепь!

Рассыпавшись цепью и бредя по росе, они перебежками двигались к речке. В предрассветной мгле уже видны были темные опоры моста и свои часовые, которые залегли на мосту с пулеметом и изредка посылали короткие очереди куда-то за речку — в тальники, в утренний туман. Куда, по кому они бьют?

Бойцы не успели еще отдышаться, как прямо перед ними, за полоской воды, дрогнул туман, затрещал лозняк, грохнул беспорядочный, злобный рев:

— Слава-а-а!

С кольями, с вилами, с винтовками наперевес хуторяне выскакивали из засады и с разгону бросались в воду. И уже слышал Яресько их надсадное дыхание, видел, как острый рожон с размаху вгоняется в живот какому-то парню из городских и уже и себя представил нанизанным на этот кулацкий рожон. Яресько, стиснув зубы, выпускал патрон за патроном, и от его пуль падали в воду один за другим заклятые враги. На место сраженных из тальника вываливались другие, такие же обросшие, разъяренные и, тяжело дыша, шлепая по воде, брели и брели на него, как дикие кабаны из зарослей.

В суматохе боя никто и не заметил, как поднялось солнце. Самозабвенно бились красные добровольцы, но и хуторяне наседали свирепо. Когда кончились патроны, беднота бросилась врукопашную, исступленно колотила хуторян прикладами по набрякшим крутым затылкам, сталкивая их назад, в воду, а кулаки тащили их за собой, и речка уже наполнилась сцепившимися друг с другом телами. Пускали в ход кулаки, узнавая знакомых, хрипели, ощерившись:

— Ага, попался, мироед!

— Ага, попался, голодранец!

Вода уже алела от крови, а туман — от восходящего солнца. Пальба не затихала, бой все еще кипел. Пока одни дрались с хуторянами в речке и на берегу, другие с победным топотом уже неслись по мосту на ту сторону, и их молодое, дружное, все нарастающее «ура» катилось за речкой, за тальниками. Оказалось, что у мятежников там, за ивняком, стояли целые обозы. Когда Яресько примчался туда, там уже хозяйничали хлопцы,

смеялись до упаду, обнаружив подводу, нагруженную шлыками, которые хуторяне так и не успели обновить.

— Зря старались! Даром материю испортили!

Стрельба над прибрежными зарослями уже затихала, но все же часть мятежников, отстреливаясь, успела вскочить на возы и вырваться из-под удара.

— Бегут «добродии»! — кричали хлопцы вслед.— И шлыки свои забыли!

— Что же, мы так и дадим им уйти? — воскликнул Яресько.— По коням! Догнать! Не оставим на расплод!

Гнали врага до самого Орлика и Переволошиной, гнали по той самой дороге, по которой когда-то бежали из-под Полтавы к Днепру разгромленные шведы. Всю дорогу хохотали хлопцы: много, видать, было у хуторян в запасе новых шлыков: весь шлях до самого Днепра усеян был валявшимися в пыли этими пустыми петлюровскими торбами.

Три дня после того в городском саду трибунал судил захваченных левченковцев. Свыше ста пятидесяти мятежников было расстреляно, и только их вожак, бывший начальник уездного всевобуча, Левченко, успел ускользнуть [1].

XXXI

Так бывает только летом после буйного грозового ливня: над головой еще висит, раскинувшись, темная туча, а внизу, из-под нависших растрепанных ее краев, весь горизонт уже светится. Посвежевшей, первозданной голубизной проглядывает небо, и далеко на западе, в величественном хаосе туч, все ярче разгорается предзакатное могучее зарево солнца. Так и бьют оттуда, так и рвутся в простор сверкающие лучи, ливни света, озаряя землю и все, что на ней,— щедро омытую зелень деревьев, и луга с первыми копнами сена, и одинокую женскую фигуру, торопливо направляющуюся напрямик, через луга, куда-то в сторону леса. Бредет по траве, высоко подобрав юбку, и далеко поблескивают на солнце ее мокрые, сильные загорелые ноги.

Это спешит к сестре Вутанька.

[1] В двадцатых годах предатель Левченко был задержан в Днепропетровске. Его судили открытым судом и приговорили к расстрелу. *(Примечание автора.)*

Все больше очищается небо от туч, все светлее вокруг — море света, кажется, разливается в воздухе.

Над лесом тоже прошла гроза. Еще дымится на опушке разбитый молнией дуб, а свежая, обильно окропленная зелень сверкает под солнцем дождевыми каплями, и птицы щебечут, и полнозвучно падает в послегрозовую тишину звонкое «ку-ку!».

Вода теплая — Вутанька бредет по разлившимся лужам, углубляясь в лес, и так приятно, щекотно ей, что даже рассмеяться хочется, как не раз смеялась она здесь, на этой тропинке, когда бегала с подругами в канун Ивана Купалы ломать зеленые ветки и собирать цветы для венков. Теперь по этой дорожке, видно, редко кто ходит: кусты разрослись, цепляются за платье, даже страшно становится, будто рукой из-за куста кто-то схватил.

Давно уже собиралась Вутанька проведать сестру, да за домашними хлопотами все как-то не могла вырваться и лишь сегодня, когда дождь помешал работе, наконец улучила часок, побежала. Как она там в своей отдаленной лесной обители? Снова ждет ребенка Мокрина. Может, уже и разрешилась? Кого-то ей судьба на сей раз пошлет — сына или дочь? Вспомнила, как Василько, провожая, говорил: «Найдите и мне, мамо, в лесу лялю. Сестрицу в орешнике найдите — я ее на тележке буду катать». Вспомнила и улыбнулась.

Солнце пробирается в лес, сверкает мокрая зелень вокруг; серебристыми бусами поблескивает вода на огромных листьях папоротника, вьется колючая ежевика, зелеными руками сплетаются между собой кусты, и все это вместе с лоскутами синего неба причудливым узором отражается в чистых, уже успокоившихся дождевых озерцах — так и кажется, будто проглядывает из глубины иной, подводный, колдовской мир.

Уже сквозь ветки впереди забелела облитая солнцем Мокринина хата, как вдруг — что это? Во дворе тачанки, кони! Куры кудахчут, люди какие-то суетятся. Вутанька остолбенела. Бандиты? Но ведь в последнее время вроде не слышно было их поблизости! Поразогнал их Шляховой!

Прижавшись к кусту, она украдкой стала пятиться назад. Внезапно куст зашелестел где-то за спиной, и на тропинке выросли два мордастых, вооруженных до зубов бандита.

— Стой, молодка, не спеши!

Обвешанные бомбами, с ремнями наперекрест, в заломленных шапках, они медленно приближались к ней.

— Куда разогналась?

С усилием, будто не своим голосом, ответила:

— К сестре.

— Ха-ха! К сестре... Знаем мы вас!. От Шляхового, видать, подослана? На разведку пришла?

Один из них хотел схватить ее.

Вутанька, вскрикнув, выскользнула из рук и без памяти кинулась вперед, к хате.

Мокрина, переваливаясь, как утка, уже спешила через двор ей навстречу. Однако не успели они и словом перемолвиться, как бандиты уже окружили Вутаньку пьяной шумной гурьбой.

— Вот это птичка! Повезло нашим дозорным!

— Радивон, а ну, проверь, чего это она там себе в пазуху напихала!..

Какой-то кривоплечий, угреватый бандит, расплываясь в улыбке, потянулся к Вутаньке с растопыренными для объятий руками. Вутанька еле успела отскочить от него в сторону.

— Вишь, как она! — подзуживали угреватого из толпы.— Видно, не по душе ей, что от тебя самогоном разит...

— Не брешите! Какой самогон? Я теперь адиколоны пью!

Он снова двинулся к Вутаньке. Она попятилась, натыкаясь на других, в это время угреватый схватил ее за руку и с силой рванул к себе. Но тут из-за Вутанькиной спины свистнула нагайка и со всего размаху огрела угреватого по плечу. Удар был настолько неожиданным, что бандит сразу выпустил Вутанькину руку.

Банда была в восторге:

— Вот это по-нашенски!

— Еще его, ма́тинко, еще!

— По ушам его, по ушам!

Вутанька оглянулась и обмерла... Ганна! Во френче, в ремнях стоит возле тачанки, небрежно играя плетью, улыбаясь недоброй улыбкой.

— Не ожидала, подруженька, а?

На голове кубанка, из-под нее вместо кос клоком торчат сбившиеся, по-бандитски стриженные волосы...

Лицо точно заспанное, припухшее, измятое, с тенями под глазами после пьяных бессонных ночей. «Вот ты какой стала, Ганна! Вот как теперь живешь!»

— Так и живу,— как бы отвечая на Вутанькины мысли, сказала Ганна с напускной лихостью.— Дома не бываю, хлеб не покупаю.

— Даром берешь?

— А много ли нам надо? Мы не такие прожорливые, как ваша разверстка, которой люди никак брюхо не набьют. Ты, говорят, стараешься там, на себе возишь?

Почувствовав, что разговор начинает обостряться, Мокрина подбежала к Ганне, засуетилась.

— Девоньки, какие же вы, право! Не успели встретиться, уже и разлад. Может, лучше в хату зайдете, подоброму поговорите? — заглядывая то одной, то другой в лицо, улещала она.

— Что там в хате,— небрежно отмахнулась Ганна нагайкой.— К хате я теперь непривычна: лесом дышу.

Зоркий Вутанькин глаз невольно все здесь примечал. Мокрые, оседланные кони остывают возле колодца; три тачанки с пулеметами у самой хаты... Возле хлева, окруженный бандитами, возится с самогонным кубом Прокоп, Мокринин муж, какой-то растрепанный, лохматый, похожий в своей встопорщенной рубахе на сердитую наседку, которую только что спугнули с гнезда.

— Видишь, и нейтрал с грыжей пригодился,— насмешливо бросила Ганна.— Воевать не хочет — так пусть хоть самогон моим хлопцам гонит...

А бандиты там уже веселились. Одни хлестали прямо из каких-то горшков еще не остывший Прокопов самогон, другие в сторонке развлекались тем, что кормили кур хмельной бардой. То и дело раздавались раскатистые выкрики, гогот.

— Где Ганнуся пройдет, там и куры пьяные. Ха-ха-ха!

— Смотрите, петух уже шатается!

— А ну-ка, Гришка, бей его теперь! Да целься прямо в гребешок! В комиссарский его гребешок!

Мокрина в ужасе всплеснула руками, увидев, как один из бандитов уже достает из кобуры наган.

— Ей-же-ей, убьют петуха! Ганна, да что же это такое? Самогонку заставили гнать, а тут еще и петуха! Один он у меня. В селе хоть соседский прибежит, а тут и близко другого нету!

— Эй, хлопцы! — нахмурившись, крикнула Ганна своим лоботрясам.— Не трожьте петуха! Он — беспартейный!

В ответ на Ганнину шутку бандитский сброд раскатился дружным хохотом:

— Беспартейный, го-го-го!..

— Отставить, Гришка! Для партейного пулю побереги!

Вутанька, передав Мокрине гостинец от матери, наспех поговорила с ней и уже рада была бы идти, но не знала, как ей вырваться отсюда. Стояла как на иголках. Ганна, видно, заметила ее нетерпение.

— Спешишь? Верно, хочешь брату поскорее обо мне доложить? Ты бы лучше сказала ему, пускай ко мне переходит. У меня, видишь, весело. У них там Шляховой и нитки взять не позволит, а у меня на этот счет полная свобода! Хочешь — шубу тебе подарю?

— Не надо.

— Тебе таких и комиссар твой не дарил...— Ганна стала небрежно рыться в тачанке.

— Не надо, Ганна,— настойчиво повторила Вутанька.

— Ну, как хочешь.— Перестав рыться в барахле, Ганна задумчиво постучала ручкой нагайки по крылу черной, заляпанной грязью тачанки.— Где только эта тачанка не побывала... В Павлограде, была в Синельникове, до Гуляй-Поля доходила... Эх, и погуляли ж мы, Вустя, за все отгуляли!

Солнце, клонясь к западу, уже скрылось за верхушками могучих дубов, окружавших поляну. Тени легли на покрытое лужами, разбитое копытами подворье. Вутанька с настороженной улыбкой взглянула на Ганну.

— Ну, так отпустишь меня?

— Подожди, не спеши,— серьезно ответила Ганна.— Может, я еще хочу твою красную пропаганду послушать... Ты же, говорят, теперь делегаткой стала, с трибун выступаешь?

— Ганна, отпусти ты ее,— жалобно взмолилась Мокрина.

Ганна минуту постояла в раздумье.

— Ладно, идем я провожу тебя малость,— шагнула она от тачанки.— А то тут у меня такие орлы, что и на дорожке перехватят, без выкупа не выпустят.

XXXII

И вот они снова идут вдвоем по лесу, как когда-то... Совсем бы как в девичьи годы, если б не этот зеленый френч на Гание, едва сходящийся на ее полной груди, да еще плетеная эта нагайка, что, болтаясь на ходу, извивается между подругами, как живая болотная змея.

Осторожно, как по углям, ступает по тропинке Вутанька. Чувство опасности, какой-то неясной тревоги ни на минуту не покидает ее. Почему Гаина вдруг пожелала ее проводить? И вправду не хочет, чтобы пьяные головорезы перехватили Вутаньку на пути, или, может, что другое у нее на уме? Может, самолично решила свести с ней тут свои последние счеты?

— Разных я властей за это время перепробовала, Вутанька,— говорила Гаина на ходу.— И черных, и белых, и серо-буро-малиновых. Пока жива, всех властей хочу отведать. Как дикое яблоко в лесу: надкушу, попробую и брошу...

Вечерняя свежесть разливалась вокруг. Солнце, садясь, уже еле просвечивало сквозь чащу, и мокрые стволы деревьев кроваво рдели в его лучах.

— Ты давно мою мать видела? — Ганна вдруг нахмурилась, поникла головой.— Немало таскали ее там, говорят, за меня ваши чрезвычайки.

— В чрезвычайках тоже люди, разберутся, кто прав, а кто виноват.

— На меня небось всё зубы точат? Вот уж кабы попалась!.. Нет, дальше, видно, я с тобой не пойду, Вутанька...— Она машинально потрогала кобуру револьвера.— А то, чего доброго, еще в ловушку заведешь.

— Как раз, может, не завела бы, а вывела.

— Нет, меня уже вряд ли выведешь... Далеко зашла.

Свернув с тропинки, Ганна остановилась, с грустью оглядывая живописную полянку, открывшуюся перед ними. Где-то на верхушках деревьев уже пощелкивали первые соловьи.

— Расходятся здесь наши дороженьки, Вустя. Давай хоть присядем, а то ведь когда теперь встретимся снова...

Вокруг — никого. Во всем лесу — лишь птицы да их двое.

Присели на сваленном бурей дереве и только теперь

обе увидели прямо перед собой, под кустом, стайку белоснежных, в крапинках росы ландышей.

— Помнишь, Вутанька, у меня когда-то сережки такие вот были? — глядя на белые капельки ландышей, молвила Ганна.

— Как же не помнить... Еще в Каховке на ярмарке ты в них красовалась...

— Ярмарка... Ну да, «панночка в свитке», ха-ха! — невесело засмеялась Ганна.— Когда-то я красивое любила, а теперь не до красоты. Все осточертело. Ты вот и сейчас, как девушка, а меня, видишь, как на даровых харчах разнесло! Скоро парням рук не достанет, чтобы обнять свою Ганнусю...

— И правда, раздалась ты, Ганна,— взглянула на нее Вутанька,— как хуторская кулачка какая-нибудь.

— И лицо слиняло, ведь правда? Знаю — слиняло, ушла красота, не хочется на себя и в зеркало глянуть... Тошно, опостылело все! Живешь, как трава: сегодня ты есть, а завтра нет, завтра, может, где-нибудь на такой же вот полянке саблями твой Данько с товарищами порубят.

— Сама виновата, Ганна.

— Такие, как мы, всегда виноваты, Вустя. Зато и погулялось же, ох, погулялось, Вустя! Пол-Украины на тачанке облетала. Знаешь, как мы с городскими буржуями расправлялись? Выберем самых пузатых, барабаны им в руки, флаг воткнем за пояс — и шагом арш по улице с песней: «Долго мы в тюрьмах сидели, долго нас голод томил»... Идут, животы, как бочки, губы трясутся, а они в дудки дуют да про голод поют, растуды их мать!..

— Ганна! — ужаснулась Вутанька.— Как тебе не стыдно, Ганна!

— Ничего мне теперь не стыдно,— с сердцем промолвила Ганна,— и не страшно ничего... Чекисты ваши? Думаешь, из них мы штопором кишки не выматывали? Было, все было... Погуляла, а на похмелье теперь хоть и пулю в лоб! — В голосе ее слышалось и отчаяние и решимость.— Скажи, Вутанька, ты боишься смерти?

— Было бы за что отдать жизнь, Ганна... А так, на ветер...

— На ветер? А может, на бурю? Думаешь, забудет меня Украина? Думаешь, зря о Ганнусе песни поют?

— Спьяну ты хорохоришься, или... Не пойму я тебя, Ганна... Они, эти твои бандюги, хоть знают, против кого и за что, а ты? За что ты воюешь, Ганна?

Ганна задумчиво смотрела себе под ноги, ворошила плетью муравейник.

— Правду тебе сказать, Вустя, и сама не знаю, за что. Сперва за анархию — «мать порядка» была, пока с батьком не разругалась...

— А теперь?

— Теперь опять за неньку...

— Снова обманут они тебя, Ганна.

Ганна вздохнула.

— Темные мы, потому нас и обманывают. Одно только знаю: когда оружие в руках, уже нельзя не воевать. И буду воевать, буду мстить теперь до конца...

— Кому мстить? Мне да брату моему, Даньку? Или Андрияке да Цымбалу, с которыми вместе батрацкого горя хлебнули?

— Не вам, Вустя, а тем, кто из Москвы на Украину за хлебом за нашим повадился. Отвадить хочу! Вот потопила, как котят, в Криничках, передай — и дальше топить буду! Топить — и все!

— Опомнись, Ганна!

— А до каких же пор они над нами будут измываться? Мы их не трогаем, мы к ним не лезем, а они? Почему они из нас кровь сосут, чем мы перед ними виноваты? Тем, что хотим, чтоб ненька свободной была?

— Не узнаю я тебя, Ганна! — взволнованно вскочила с места Вутанька.— Чьими ты словами говоришь? Чьи мысли повторяешь? Сама погляди, кто вокруг тебя увивается. Кулацкие сынки да проходимцы разные опутали тебя, возвеличили, а сами вертят, как куклой: «Ганнуся» да «Ганнуся»! Пока одни по хуторам песни о тебе орут, другие свои насилья и грабежи твоим именем прикрывают... И на них ты свою молодость тратишь? Ради них накликаешь на себя проклятия народные!

Они медленно направились к тропинке. Слушая Вутаньку, Ганна шла рядом с ней в глубокой задумчивости.

Вышли на дорожку. Лес постепенно окутывали вечерние сумерки. От лесниковой хаты доносились отзвуки пьяной гульбы: пение, свист...

— Слышишь, как Кирюша мой высвистывает? — про-

говорила Ганна с грустью и гордостью.— Никогда уж, видно, после нас не услышит Украина такого свиста!

А когда Вутанька решила идти, кинула ей вместо прощанья:

— Брату все расскажи, чтоб совесть тебя не мучила. Передай, что видела, мол, меня и мою разведку. Только скажи, что все одно им меня не поймать. Разве что надоест — сама сдамся.

— Думаешь, прогадала бы? — остановилась на тропке Вутанька.— Вон, говорят, помилование объявили тем, кто добровольно выйдет из лесов.

— Ох, не для меня это, Вустя. Много на душу взяла.

— Не все еще пропало, Ганна. Еще не поздно вырваться. Вспомни, как мечтали мы когда-то вместе на заработках о новых, счастливых временах. Вот же они идут: земля трудовому народу, власть своя, женщина стала свободной...

— Ох, не береди ты мою душу, Вустя, а то, ей-богу... Иди. Уходи с глаз! — И она с размаху стеганула плетью по кусту.

— А то, может, передумаешь? — искренне, дружески сказала Вутанька.— Бросила бы ты их, пошли бы и пошли бы вот так сейчас — прямо к матери под окно...

— А пошла бы,— мотнула головой Ганна,— ох как бы еще пошла, Вутанька! Ну, да хватит душу растравлять... Мать увидишь — кланяйся. Пусть не поминает лихом свою дочку непутевую.

И, закрыв лицо рукой, она резко отвернулась от Вутаньки.

...Одна возвращалась Вутанька в Криничкн. Оглядываясь на ходу, она еще несколько раз видела Ганну, что, печально сгорбившись, все стояла на укрытой тенью дорожке — в раздумье или забытьи, или, может быть, в слезах.

На дворе было уже совсем темно, когда Вутанька прибежала домой Мать встретила ее у перелаза.

— А у меня тут уже вся душа переболела... Данько ведь забегал! Забежал на минутку и снова умчался.— Мать, оглянувшись, наклонилась к Вутаньке и зашептала: — Банда, говорит, Ганнина где-то снова здесь объявилась.— И, выпрямившись, вздохнула тяжко: — Господи, и когда этому будет конец?

XXXIII

Ганнина банда не знала теперь покоя. Днем и ночью металась по знакомым полтавским дорогам, рыскала по лесам и перелескам в поисках безопасного убежища, но всюду натыкалась на неожиданные засады. Таяли силы, падали кони, все уже и уже становился для Ганниных тачанок синий полтавский горизонт.

В одном из боев Ганна была ранена — пулей задело голову. Рана оказалась неглубокой, жизни не угрожала, однако, по настоянию бандитской верхушки, Ганна вынуждена была передать атаманскую власть недавно прибывшему в отряд петлюровскому офицеру, и ездила теперь в тачанке со своими дядьями Онинкем и Левонтием.

Бездеятельное положение обозной девки вызывало досаду, оскорбляло ее. Пока атаманшей была, находила забвение в разных командирских хлопотах, некогда было предаваться раздумьям, как сейчас. Голова полна беспокойных тяжелых мыслей. Кто она, куда мчат ее эти взмыленные кони с куцыми, подрезанными хвостами? Кажется, что все время гонятся за ней бойцы Шляхового и вот-вот настигнут — не проходит и дня, чтобы где-нибудь не встретили, не обстреляли их. И где бы она ни была — близко ли, далеко ли от Криничек,— не может отделаться от мысли, что это строчит по ней из пулеметов своя же беднота, что это преследует ее на всех путях неумолимая Вустина кара. В зной и пыль, через яры и буераки трясется в тачанке, как арестантка, с забинтованной головой, которая все гудит и гудит, точно с похмелья. Все чаще и чаще закрадывается в душу подозрение — не явилась ли для верховодов ее рана лишь удобной зацепкой, чтобы отстранить ее от атаманства, засадить свою Ганнусю в обоз. Сами возносили до небес, сами же и в тень оттолкнули при первом случае. Неужели и впрямь была она только куклой в чьих-то руках, как говорила ей Вустя?

Ганна заметила, что после встречи с Вутанькой в лесу стали на нее в отряде косо посматривать. Когда она, проводив Вутаньку, вернулась к тачанкам, один из бандитов нагло, при всех спросил у нее: «О чем это вы там секретничали, матинко, без нас? Не о тех ли амнистиях, которые Дзержинский всем раскаявшимся обещал?» А когда на следующий день кровью залило ей глаза

и дрогнула на ней атаманская корона, как-то сам собой выплыл на первый план этот Скиба, этот усатый петлюровский есаул в штиблетах... До сих пор его и не слышно было — и стрелял молча, и рубил молча, а тут вдруг заговорил, заплакал над Ганной крокодиловыми слезами: «Кто там против Ганнуси? А ну, заткнись! Не дадим в обиду нашу украинскую Жанну д'Арк! От всех хлопот освободим! Пока рана не заживет, пускай сидит в тачанке и ни о чем не думает — наша Ганнуся еще нам понадобится для триумфального вступления в Полтаву!»

Горько, унизительно было Ганне чувствовать себя в стороне, никому уже не страшной, под видом фальшивой заботы глумливо сброшенной с высоты власти куда-то на дно обозной тачанки. Давно ли перед ней падали ниц, песни пели о ней, а теперь вот среди юфти да вонючих смушек погребли в тачанке свою Ганнусю... И есаул в штиблетах сразу изменился — на привалах уже не замечает ее, а то и просто обходит ее тачанку, будто остерегается, чтобы вдруг не достала его своей нагайкой криничанская «Жанна д'Арк».

Сердюки — Левонтий и Оникий, считая, что виноват во всем он, этот проходимец в штиблетах, старались утешить Ганну:

— Погоди, мы еще до него доберемся, допрыгается он. У многих наших хлопцев он уже на подозрении. Не иначе, как польский сыщик, из тех, что на тайную службу к Пилсудскому пошел. Золото у наших все, знай, выманивает, а для чего бы это? Не для того ли, чтобы, когда припечет, за границу махнуть, мельницу там где-нибудь открыть либо шинок? Нет, голубчик,— угрожающе хрипели густо заросшие, мрачные Сердюки.— Пропадать — так уж пропадать всем вместе!

Полно юфти и смушек в тачанке у дядьев, полно буржуйских куниц да лисиц, и среди всего этого добра Ганна — пропыленная, измученная и равнодушная ко всему, едет неведомо куда: большие глаза ее налиты печалью. Все у нее как будто есть и нет ничего. Буржуйские меха под ногами да облако серой дорожной пыли — вот и все ее достояние!

Однажды Ганна едва не погибла вместе с дядьевыми мехами: их тачанка провалилась на мосту. Ганна еле успела выскочить в самый последний миг. Что там творилось! Дышло поломано, сбруя изорвана, одна лошадь

тонет, а другая на живот ей копытами наступает, чтобы самой спастись. Награбленные шубы и юфть плавают по воде, намокают и идут ко дну. Дядьки спасают, что можно, вопят в отчаянии, а ей, Ганне, ничего не жаль — она, выбравшись на берег, зовет свою любимую пристяжную кобылку: «Воля, Воля...» Так, не выпутавшись из сбруи, и захлебнулась в Псле ее Воля...

А бои завязываются все чаще и чаще. Шляховой да Яресько со своими хлопцами дохнуть не дают, и все отчаяннее — как по замкнутому кругу — мечется банда под синим полтавским небосводом.

После памятного разговора с Вутанькой Ганна то и дело, словно бы невзначай, ловит себя на том, что смотрит на свою ватагу уже как на чужую — будто Вутанькиными глазами. Раньше, кажется, и не замечала, сколько среди окружающих ее всякого сброда — и недовольных разверсткой хуторских сынков, и бывших стражников и тюремных надзирателей, и даже таких, которые уже успели побывать на службе у советской власти, но, в чем-то проштрафившись, вынуждены были спасаться в лесу от трибунала. Головорезы и пропойцы, привыкшие к крови, к бездомной разбойничьей жизни!

По-настоящему открылись Ганнины глаза на них во время налета на коммуну. Будто прозрела вдруг, будто впервые увидела их такими, как они есть, тех, с кем связала свою судьбу.

На высоком холме, на том самом месте, где в давние времена стояли хоромы панов Базилевских, белеют обсаженные тополями постройки коммуны «Червоні квіти». Первых господ еще при Екатерине сожгли турбаевские казаки, последних в дни революции выкурили крестьяне окрестных сел. В опустевших домах имения по почину чекистов этой весной была устроена детская коммуна.

Главари банды не раз уже порывались посмотреть поближе на коммунистический рай и жизнь «по потребностям», но Ганна, пока была у власти, все противилась этому, отговаривала своих головорезов; стыдно, мол, воевать с детьми. Теперь же верхушка, видно, решила-таки сделать по-своему.

Рано утром неожиданно свернули к коммуне. Нещадно стегая коней, как бешеные мчались по тополиной аллее, которая вела в усадьбу; Ганна только успела прочитать на арке, мелькнувшей над головой:

«Юный коммунар! Что ты сделал для раненого красноармейца?»

Когда Сердюки влетели на своей тачанке во двор, там уже шла расправа — рубили саблями воспитателей, крушили прикладами окна, выбрасывали из комнат, как щенят, насмерть перепуганных спросонья детей, зверски избивая их нагайками.

— Где касса? Где оружие?

Среди матерщины, среди хрипа опьяневших от крови бандитов то тут, то там раздавались душераздирающие детские вопли, мелькали залитые кровью личики ребят.

Соскочив с тачанки, Ганна бросилась прямо в гущу бандитов.

— Не смейте! Прекратить детоубийство!

Кто-то грубо оттолкнул ее, она в кого-то стреляла, но ее в одну минуту угомонили, ткнули лицом в тачанку:

— Не суйся, атаманша, не в свое дело!

Долго слышала она эти раздирающие душу крики юных коммунаров,— пока жить будет, видно, не укрыться ей от чистых детских глаз, налитых слезами, горящих жгучей ненавистью.

Весь день после этого она не находила себе места, не могла глядеть на толстые, в складках жира, загривки Сердюков.

На ночевку банда остановилась в лесу за озерами, неподалеку от Криничек. Тяжелый сон свалил в этот вечер Ганну, и приснились ей какие-то дивные хоромы,— будто ходит она из светелки в светелку и никак не может выбраться из них. Проснулась — кто-то храпит под тачанкой, ущербная, зловеще красная луна сквозь ветви проглядывает... Пить захотелось. Встала из тачанки, не торопясь побрела к воде.

Кто где упал, там и спят мертвецким сном, те, что сегодня детской кровью руки обагрили. Все меньше становится их, все меньше места под звездами занимает ее ватага. Темнеют тачанки, сгрудились лошади, расположась на опушке, словно растрепанный цыганский табор. Там и тут торчат часовые, под кустом возле пулемета слышен приглушенный разговор — видно, сменяется наряд. Сдает пост Остапенко, принимают Сердюки.

— За озером да за протокой получше следите,— слышен хриплый голос Остапенко.— Туда ли кто или оттуда — приказ: палить без предупреждения. В селе Шляховой со своими, так что не дремать!

Заметив Ганну, Остапенко задел и ее мимоходом:

— Не спится нашей матинке? Молодая кровь играет? — И ушел.

Было слышно, как, покряхтывая, отдуваясь, точно волы, дядья укладываются возле пулемета.

Перед Ганной раскинулся тускло освещенный луной плес озера. Звезды над головой, звезды и под ногами — в воде, между осокой и кувшинками. Наклонившись, Ганна зачерпнула горсть воды и напилась всласть. Вода холодная, ключевая — тут без числа родников, и всю эту местность, богатую родниками, изрезанную протоками, озерами и озерцами, криничане издавна зовут Холодные Криницы... Освежив лицо, Ганна присела на холмике у воды. Месячно, маревно, ясно. За плесом озера в ночной мгле тают луга; где-то в камышах покрикивает выпь.

Почему-то вспомнила Ганна, как все это началось... В тот ослепительно солнечный день она дергала конопли на хуторе у Лашков, а рядом, на леваде, Щусь купал в ставке коня. Тогда Ганна еще не знала, что этот Щусь — знаменитый махновский атаман. Для нее он был тогда только парубок — матрос богатырской силы и невиданной красоты, кудрявый, в полосатой тельняшке и в ярко-малиновом галифе... Смеясь, озоруя, купал коня, и весь ставок бурлил под ним, из берегов выплескивался... А ночью вместе с дядьями Щусь нагрянул к ней домой.. Говорят, что дядья, мол, продали ее за золото — враки! Никто бы ее не смог продать, если бы Щусь ей не приглянулся. Без памяти полюбила его... Не то, что в Дибривку и в Гуляй-Поле — на край света пошла бы за ним! И хоть он потом и променял ее в Гуляй-Поле на Таню Карманову, но вряд ли эта потаскуха, белоручка любила его так, как любила она, Ганна. Может, больше ради него и на коня села, стала для банды Ганнусей?

Мглистым маревом подернута широкая пойма, где-то, у самого горизонта, темнеет Голтвянская гора, скрывая в тени раскинувшиеся по склонам знакомые села. Днем отсюда можно увидеть Кринички. И сейчас, ночью, девка могла бы голос туда подать, если бы ждал ее там милый...

Интересно, глубоко ли тут? Бездонная, как небо, вода,

ясные звезды мерцают в ней между распустившихся лилий. Лежат, не шелохнутся на воде листья кувшинок, белеют крупные цветы лилий, таинственно притихли камыши.

И неподвижный плес, и освещенные луной кроны плакучих ив, и прибрежные кустарники — все притихло, будто завороженное, все притаилось в каком-то ожидании, полное, как в купальскую ночь, волшебных чар. Кажется, не удивилась бы Ганна, если б вдруг забурлила вода и из-под кувшинок одна за другой стали выскакивать на берег голые русалки и, греясь в лунном свете, принялись расчесывать свои длинные распущенные косы. Не испугалась бы Ганна их появления, быть может, хоть у этих холодных водяных дев спросила бы, как ей дальше жить на свете!

Что на прошлом пора поставить крест, она теперь всем сердцем чувствует. Но куда, к кому податься? Если бы можно было жить кукушкой в лесу или русалкой вон там, под водой! Нет, видно, не примут ее к себе и русалки, вон какие у них косы, а она — без косы; они холодные, а в ее жилах еще бьется горячая человеческая кровь! Прощай, бандитская беспутная жизнь! Но что же дальше? Где та тропка, что наконец выведет ее из бандитских блужданий к новой, к честной жизни? Может, это луна и расстилает дорожку между кувшинок на ту сторону? Может, встать и пойти, прямо так — через воду, через луга, объявиться, пускай судят? Тяжело провинилась перед вами, но ведь не пропащая же я, не пропащая?

Кроваво-красная луна садится в камыши; где-то уже в другом месте ухает выпь — водяной бык; заливаются собаки на хуторах... Сыро вокруг, становится все холоднее, дрожь пробегает по телу. Как там мать? Скоро троица, девчата будут убирать свои дома зеленью, посыпать полы луговой травой... А кто же ее матери хату украсит, кто ей поставит на окна горшки с мятой и любистком?

Однако что это? Ганна вдруг встрепенулась, подалась вперед, замерла, прислушиваясь. Откуда-то издалека, с заречья, донеслись чуть слышные звуки запоздалой гармоники, послышались веселые голоса, пение. Видно, это молодежь только что вышла из Нардома. Допоздна гуляют хлопцы и девчата вместе со своими постояльцами, с бойцами Шляхового... Вздохнула Ганна. Разве не могла бы и она быть сейчас там, с этой молодежью, не могла бы разве влить и свое сопрано в хор молодых голосов?.. Как

тянул ее к себе этот новый, этот страшный и в то же время такой желанный мир! Как близко он отсюда! Стоит лишь миновать эти кувшинки и лилии — и там уже начинается иная Украина, иной, их мир, жестокий, пугающий... и такой желанный. Нарастает песня, и хоть впервые слышит ее Ганна — совсем, видно, новая какая-то,— однако есть в ней для Ганны манящая сила, которая так притягивает, до боли тревожит душу и зовет, зовет куда-то! Вот чей-то девичий голос уже выводит высоко-высоко, совсем, как Вутанька... А может, это и впрямь она? Может, своей песней и вызывает из лесу Ганну к себе?

Осторожно оглянулась, прислушалась. Банда храпит за спиной, кони спокойно жуют траву... Храпят, все храпят!

Задумалась на миг и решительно махнула рукой: «А! Двум смертям не бывать!»

Через мгновение она уже стояла босая, в одной сорочке. Связала ремнем одежду, взяла в руки наган и, крадучись, стала потихоньку спускаться в воду. Ни всплеска, ни шороха... Уже умолкла гармоника, а ей она все еще слышится; уже замерла и Вутанькина песня, но в ушах Ганны она еще звенит...

Брела осторожно, чтоб не плеснуть, бесшумно раздвигала рукой лилии и кувшинки. Луна уже совсем садилась в камыши, красная, словно густой кровью налитая.

...Сердюки, дежуря у пулемета, все время дремали попеременно, а в этот миг они прикорнули оба. Только когда что-то хлюпнуло на озере, словно выплеснулась большая рыба, Левонтий, проснувшись первым, сердито толкнул брата в плечо:

— Глянь-ка! Что-то белое среди кувшинок... Не русалка ли? А ну, секани!

Струя огня вырвалась из пулемета, белое взметнулось, ахнуло и исчезло — только круги пошли по воде...

Да, двум смертям не бывать.

XXXIV

Под утро отряд Шляхового окружил Ганнину банду и, прижав ее к воде, наголову разгромил. От гибели спаслись лишь немногие бандиты, успевшие на тачанках вырваться из-под огня. После этого отряд незаможных по-

лучил новое срочное задание: сопровождать из волостей на станцию, до самых вагонов, заготовленный по продразверстке хлеб.

Третьи сутки уже не спал Яресько, мотался со своим взводом по знакомым местам.

На троицу, когда все село, свежепобеленное, стоит в зеленом убранстве, когда в каждой хате от свисающих на окна ветвей царит солнечная зеленая полумгла, а глиняный пол посыпан хрустящей травой и всюду пахнет мятой, полынью и любистком, забежал Яресько с несколькими товарищами к матери.

— Дайте хоть борща, мамо, а то, сколько рыщем по хуторам, кулачье и пообедать не дает!

— Хотя б зеленое воскресенье дома побыл...

— Некогда, мамо, эшелон на станции ждет.

— Кого ждет?

— Хлеба нашего, мамо... Да еще и с прямым назначением: для Петрограда.

— Много отправляете? — спросила Вутанька.

— Да, много. Ведь у них же там голод... По восьмушке на душу.

— Везите, везите, сыночки,— накрывая хлопцам на стол, говорила мать.— Зато и они, когда нам трудно будет, тоже помогут.

Недолго на этот раз пробыл Данько: похлебал наспех с хлопцами горячего борща, проходя садом сорвал несколько вишен (они только начинали краснеть) и помчался на выгон: снаряженный обоз уже ждал охраны.

Перед тем как трогаться им в путь, Андрияка отозвал Данька в сторону.

— Ты ж гляди, Яресько, чтобы хлопцы не дремали по дороге. А то вчера шел обоз из Манжелии, хлопцы уснули, а их в Черной Балке встречают: стой! Всем хлопцам из охраны животы распороли и зерна в кишки понасыпали! Так что гляди в оба!

Возницей подводы, на которой ехал Яресько, был давний его знакомый — Митрофан Огиенко. Постарел после того, как сына расстреляли, усы обвисли, даже за вилы не в силах был взяться, чтобы в банду к Левченко пойти, как это сделали другие богатеи, его хуторские приятели.

— Все берете, все забираете, а что дадите нам взамен? — спросил у Яреська, когда выехали в поле.

— Новую жизнь дадим,— хмуро ответил ему парень.

— Эх, голубчик... Если ваше новое и дальше будет таким, как сейчас, то... не раз еще по старому заскучаете. Уж каким оно ни было, да зато с полными сусеками.

— С полными, да не у всех.

— Удивляюсь я тебе, Данило: наш ведь ты, как есть наш, насквозь полтавский, а по какой дороге в жизни пошел?

— По той пошел, на какую такие, как вы, мироеды, меня погнали: по каховской да по батрацкой.

— Сколько в тебе лютости к нашим, к своим же полтавским людям!

— Не ко всем: за одних и умереть готов, а таким, как вы, пощады не будет.

— А мы что же? Куда нам податься? Разве ж мы не люди? Себе вы и землю, себе и права и царство свободы, а нам?! Тюрьмы да чека? Трибуналы да разверстки? Ох, кипит наша кровь, голубчик, кипит, кипит...

— Докипелась, что с кольями пошли.

— Что о том вспоминать... Мы за колья не брались.

— Зато Левченко, ваш выкормыш.

— А что же Левченко? Вот ты с ним насмерть схватился, считай, разгромил, а спросить — за что? За какую правду? Он Украину любил, а тебе разве она не дорога?

— Потому и колошматим вас, что дорога. Довольно вы из нее крови попили.

— Опять двадцать пять. В том-то и беда наша, что мы сами меж собой, как собаки, грыземся... За других душу кладете, а та, что взрастила вас, своих сынов, опять одна на произвол судьбы остается. Вот ты — чем не орел, быть бы тебе атаманом на всю Полтавщину, а ты все для кого-то хлеб выкачиваешь. Все стены поковырял.

— А вы как хотели бы? По ямам хлеб гноить, а революция пускай с голоду пухнет? Черта с два!

— Да сколько же можно выкачивать?

— Души вытрясем, а возьмем, сколько революция прикажет! Довольно с вами цацкаться! Баста!

Примолкли оба и до самой станции уже ехали молча.

На станции точно ярмарка: тянутся и тянутся отовсюду обозы — подводы, полные мешков, и над каждой подводой винтовки торчат. По всем дорогам хлеб сопровождают вооруженные бойцы отряда незаможных.

Только начали криничанские разгружаться, как подо-

шел обоз из Хмариного, и на первой подводе Яресько с ужасом увидел вместо горы мешков что-то накрытое попонами. Так и есть: из-под дерюги торчат босые батрацкие ноги... Подошла вторая подвода, и ее сразу же окружили: на подводе лежал бледный как смерть Шляховой.

— В живот его ранили,— грустно рассказывал один из бойцов, пришедших с подводами.— На хуторе Лашки случилось. Едем, слышим — стрельба, мы туда, на дворе уже никого, лежат эти двое возле коморы, на кольях скрючились, а товарищ командир меж сусек и кровью истекает... Два часа, говорит, отстреливался.

Увидев Яресько, Шляховой слабо улыбнулся.

— Подкараулили они меня все-таки... Долго охотились... Ну что же: классовая война.

Его осторожно положили на шинель, перенесли к амбарам. Побежали искать доктора.

Работа на станции между тем не прекращалась. Бойцы, сопровождавшие хлеб, теперь сами, на своих плечах, и выгружали его, носили прямо с подвод в вагоны. Пока одни были заняты здесь, другие копали за станцией под тополями братскую могилу для погибших товарищей.

Яресько был в вагоне, когда его позвали:

— Шляховой хочет тебя видеть.

Командир лежал в тени амбара уже перевязанный. При приближении Яреська его бескровное лицо чуть озарилось слабой усталой улыбкой. Резче обозначились скулы, щеки запали, широкий большой лоб, казалось, стал еще выше, упрямей.

— Вот что, брат Яресько. Как кончат грузить эшелон, бери своих хлопцев и кати... Будешь сопровождать хлеб до самого места назначения. До Питера. Прямо в руки передашь питерским рабочим...

Он передохнул. Помолчав, заговорил снова:

— Карнауха замучили. Кучеренко. Земляного Юхрема... Передай питерцам, что кровью галещанских... кобелякских... кринничанских... что кровью украинских незаможников этот хлеб добыт.

Пот густой росой выступил на его бескровном челе.

В тот же день под вечер нагруженный хлебом эшелон вышел за семафор. На паровозе, рядом с машинистом, с винтовкой в руке отправился в дальний путь Яресько.



КНИГА ТРЕТЬЯ

НА СИВАШ!



I

В полдень, в слепящий зной, несколько неизвестных кораблей, появившись в водах Каркинитского залива против Хорлов, внезапно открыли артиллерийский огонь по безлюдному степному мареву, по стайке тополей на косе, по береговым кручам, увешанным рыбачьими снастями.

Портовый ревком, полагая, что это врангелевцы собираются высадить в Хорлах десант, немедленно отправил гонца в тыл с донесением красному командованию.

Пока хорлянский гонец что есть духу мчался с пакетом на север, горстка бойцов береговой заставы готовилась к неравному бою с теми, кто явно намеревался ворваться — в который уже раз! — в тополиный порт.

А между тем и зловещее появление неизвестных кораблей в барвинковой синеве залива, и неожиданный обстрел запустелого, разрушенного войной порта Хорлы — все это было лишь демонстрацией, военной хитростью коварного врага, рассчитанной на то, чтобы отвлечь внимание красного командования и обеспечить внезапность удара совершенно в другом месте. Настоящий десант в этот день — шестого июня тысяча девятьсот двадцатого года — высаживался далеко от Хорлов, в районе села Кирилловка на Азовском море.

В этот день на рассвете прибрежные села разбудило диво дивное: *в море за туманом где-то кони ржали!* Небывалый в эту пору туман с моря накатился, и в тумане — то тут, то там — кони ржут, будто неведомая кавалерия по морю идет. А когда рассеялся туман, так похожий на пущенную кем-то дымовую завесу, стало видно множество больших и малых судов, с которых, куда ни глянь, выгружались на берег войска: это с конницей и артиллерией высаживался на сушу белогвардейский корпус генерала Слащева. На море бушевал шторм, пушки заливало водой, десантников, которым пришлось по отмели брести к далекому берегу, нагоняли и сбивали с ног морские валы; людей шатало из стороны в сторону, как пьяных; кони, которых они тащили за собой, тоже шатались, как хмельные, после долгой морской качки.

Таврия не успела и опомниться, как по ее степям «с мечом в руке и крестом в сердце» уже маршировали на север, сверкая английскими гетрами, жаждущие боя офицерские батальоны.

— Вперед, за святую Русь!

— По трупам комбедовцев и комиссаров вперед!

Кто мог остановить их, погнать обратно, сбросить в море? Местные комендантские команды? Малочисленный Мелитопольский гарнизон? Главные войска революции в это время были прикованы к Западу. Легендарные клинки Первой Конной сверкали где-то далеко за Днепром, в тылу белопольских армий. Можно ли было ожидать, что стальной врангелевский нож, который Антанта

всю весну так старательно оттачивала в Крыму, именно сейчас вонзится в незащищенную спину республики?

Десант готовился в строгой тайне. Даже десантники до самого последнего момента не знали, куда их пошлют, для какого удара их готовят. Ночью, снявшись с якоря в Феодосии, эскадра в тридцать два вымпела вышла в открытое море курсом на юг. Вышла, но куда? Знали об этом лишь секретные немые пакеты, которые получила эскадра, отправляясь из Крыма в свое слепое плавание. Странно чувствовали себя десантники в открытом море во власти этих таинственных пакетов. Куда плывут? Где пристанут? Словно какая-то сверхъестественная сила водит по морю их слепую, с невскрытыми пакетами эскадру, словно сама судьба гонит среди морской стихии их корабли, забитые вооружением и войсками. Когда скрылись из виду контуры Крымских гор, был распечатан пакет номер один. После этого резко изменился курс их судов. Ночью, по-пиратски крадучись, набрав разгон, эскадра прошла Керченский пролив, заглушив машины, чтобы не вызвать подозрения у красных застав на Таманском берегу. В Азовском море был вскрыт пакет номер два.

Кирилловка!

И вот уже от грохота дальнобойных орудий сотрясаются хаты в Кирилловке и других приазовских селах. Ревут весь день орудия, прикрывая с моря высадку десанта и расчищая для него путь на север. Одно за другим охватывает пламя таврические села, все дальше в степь углубляются отряды запыленных, томимых жаждой, кипящих ненавистью фанатиков белой идеи. До сих пор они задыхались в Крыму и теперь — то маршевыми колоннами, то рассыпаясь цепью по высоким хлебам — прорываются все дальше вперед, «к милому северу», вооруженные новыми, еще не опаленными боем «гочкисами» и «кольтами».

Вскоре десантники перерезали железную дорогу на Мелитополь, а ночью на станции Акимовка появился со своим штабом и командир десантного корпуса генерал Слащев. Самый молодой из врангелевских генералов, энергия которого, жестокость и авантюрные наклонности были замечены еще Деникиным, он в окружении возбужденных штабистов прохаживался сейчас по перрону и при багровом, жарком свете пылающих пакгаузов

диктовал свой первый приказ — воззвание к населению Северной Таврии.

«Дальнейший путь мой и моих войск объявлять не стану,— торжественно диктовал генерал, заложив руку за борт френча.— Мой путь... Вы узнаете его по заревам пожаров! Моя ночь будет полыхать для вас сплошной зарей с вечера и до утра! «Заря во всю ночь!» — вот наш девиз, девиз героев-слащевцев...»

Записывала женщина-адъютант, хрупкая красотка с офицерскими погонами на плечах. На пальцах ее при отблесках пламени холодно сияли драгоценные кольца.

— Ночь-заря... Как это мило сказано! — восторженно воскликнула она, стенографируя пышную генеральскую фразу, которая вскоре станет крылатой во врангелевских войсках.

Жутко багровело небо над целым краем. Все дальше на север растекалась по селам тревога, все глубже в степь уходили зловещие зарева, освещая путь офицерским кокардам. Ночь-заря!

II

Под утро загремело на Чонгаре, взорвало тишину на Перекопе. Ободренный успешной высадкой десанта, Врангель перешел в наступление своими ударными силами, пустив из Крыма через перешейки массы конницы, артиллерии, броневиков. Врангелевская авиация завладела таврийским небом. Красные части, стоявшие на перешейках, оказывали врагу героическое сопротивление, но и тут, как и под Мелитополем, куда рвались десантники, силы были слишком неравны. Свежие, щедро оснащенные новейшей техникой врангелевские корпуса, казалось, сметут все на своем пути. Потрепанные в боях красные войска, истекая кровью, шаг за шагом отступали на Каховку — к спасительным днепровским переправам.

На третий день наступления Врангель выпустил из Крыма своих черных демонов — Дикую чеченскую дивизию. Мчались по Присивашью и впрямь как демоны: черные бурки развеваются на ветру, в зубах кинжалы, а над головами, как вертящиеся пропеллеры, горит-сверкает сталь клинков.

Черным многотысячным топотом прогремели по перешейку, по чистым звонким солончакам, с неистовым гортанным «алла!» ворвались в полдень в присивашское село Строгановку, на скаку зарубив у дороги немого пастуха.

Первый приказ по селу был:

— К церкви! Мобилизация!

Никто из строгановских крестьян не явился на мобилизацию добровольно. Как только услышали о том, что им угрожает, сразу же бросились кто куда, а их ловили, хватали, конями сбивали в толпы и под конвоем гнали на сельскую площадь.

До неузнаваемости преображенный военным мундиром и все же сразу узнанный строгановцами молодой Фальцфейн идет вдоль шеренги и, тыча каждому в грудь нагайкой, отсчитывает:

— Один... два... три... Десятый! Ложись!

И снова:

— Один... два... три... Десятый! Ложись!

Каждого десятого тут же хватают, кладут и уже не отпускают, пока кровью не зальется.

Оленчуку не выпало быть десятым, но это его не спасло от плетей. Кому-то из офицерской комиссии при осмотре показалась подозрительной Оленчукова шея. Почему не сгибается? Контужен или просто симулирует?

Офицеры внимательно рассматривали жилистую, несогласную на мобилизацию шею Оленчука.

— Набок свернуло! В коммунистическую сторону глядишь?

И хотя он не был десятым, его тоже положили и велели задрать рубаху.

Как в далекие татарские времена, рыскают по селу всадники со связками реквизированных кожухов и домотканого полотна в седлах. Шныряют по дворам. Джигитуя, нагайками снимают головы курам, а когда слащевский аэроплан сбросил над селом предназначенные для крестьян листовки, чеченцы, развлекаясь, стали на полном скаку ловить их в воздухе на острия своих клинков.

«Дальнейший путь мой объявлять не стану... Вы узнаете его по заревам пожаров»...

По дворам летает пух, всюду раздается дикое гортанное: «Хазайка!» Буйный разгул чеченцев был в самом

разгаре, когда в Строгановку походным порядком вступил с зачехленными орудиями артдивизион капитана Дьяконова.

Знакомое село у Сиваша, вытоптанные конницей виноградники... Дьяконов едет верхом впереди своих артиллеристов и молча посматривает по сторонам. Наблюдая за тем, что творится вокруг, он все с большей тревогой прислушивается к гомону взбудораженного села. Не хлебом-солью, не радостным колокольным звоном встречают их здесь. На площади полно людей, крики, плач... Возле одного двора столпились мужики, а женщина с печальным лицом, поставив ведро на загату, подносит кружку воды то одному, то другому. Дьяконов почувствовал, что и у него вдруг пересохло во рту. Подъезжая, удивленно разглядывал крестьян. Какие-то необычные они стоят — не так давно приветливые, сейчас почему-то отворачиваются, избегают его взгляда... В ветхой одежде, в соломенных брылях, иные и вовсе с обнаженной головой, у многих на рубахах проступает свежая кровь... И вдруг... Дьяконов не поверил своим глазам: Оленчук! Оленчук дрожащей рукой берет кружку, жадно пьет большими глотками, а руки и плечи почему-то трясутся. Что с ним?

— Оленчук!

Старый батареец не спеша передал кружку товарищу и только после этого поднял глаза на офицера, на спасенное в прошлом году от расправы его благородие. Молча остановил на нем свой тяжелый, помутневший взгляд.

— Что с тобой, Оленчук?

Оленчук медленно стал задирать рубашку на спине.

— Бейте и вы!

Спина — сплошная кровавая рана... Дьяконов понял, но сам еще не хотел верить своей догадке. Неужели? Неужели снова начинается то же самое? Несмотря на строжайшее предупреждение главнокомандующего насчет произвола и бесчинств?

— Кто это его? — спросил он у женщины, раздававшей воду.

— Да это же те... ваши. Вон там за церковью свободу раздают. Молодой Фальцфейн за отобранную землю расплачивается.

Дьяконов так дернул коня, что тот вздыбился, сердито махнув на дядьков султаном своего хвоста. Горячая

пыль ударила из-под копыт, медленно оседая у мужиков на брылях, на изодранных рубашках, на плечах. Молча глотали пыль дядьки, молча глотал ее и Оленчук, в мрачной, тяжелой задумчивости глядя вслед своему так неожиданно встреченному благородию.

За церковью Дьяконов с разгона осадил коня и невольно скрипнул зубами: знакомая картина! Несколько офицеров, согнав к ограде толпу крестьян, тут же чинят над ними суд и расправу.

— Смеяться, хамье? Только хромые да кривые явились на мобилизацию!

— А сыновья где? Где фронтовики?

И вслед за этим свистящие удары плетей и приглушенный стон...

Дьяконов, пробиваясь сквозь толпу солдат, направил своего коня в самую гущу.

— Кто здесь старший?

И сразу же заметил его — в новых полковничьих погонах,— долговязого молодого аристократа с маленьким, в кулачок, лицом, в пенсне.

— С кем имею че...?

Он не успел еще договорить, как Дьяконов, наседая на него конем, со всего размаху стегнул его по шее арапником — раз! И другой! И третий! Затоптал бы, смешал бы с землей, если бы только не помешали ему. Бросились со всех сторон, гончими повисли на нем, стащили с седла и через мгновение уже обезоружили, сорвали погоны...

III

В конце огорода Оленчука, над самым Сивашом, стоит белая акация. Ни одно дерево не выдерживает в этом безводном солончаковом краю, под палящими ветрами, только она, эта жилистая акация, цепкая и колючая королева юга, веселит людской взор в присивашских убогих селах, каждую весну одеваясь пышными гроздьями цветов и каждое лето осыпая увядшими лепестками плоские, заросшие бурьяном крыши. Как верную подругу, любит белую акацию степняк. Да и как ее не любить! Наперекор суховеям и черным бурям она всюду следует за человеком, добираясь даже сюда, до

самых берегов мертвого моря, где ничего уже, кроме соли, не растет.

Оленчук, положив голову на руки, ничком лежит в тени акации. Пробрался сюда так, что и жена не услыхала, лег и словно умер в бурьянах. Слышал, как она посылала детей разыскивать отца, но не откликнулся. То ли стыдно было в таком виде показаться перед детьми, то ли и сам не знает почему, избитый, опозоренный, лежит, притаившись, на собственном огороде, как вор или дезертир какой-нибудь.

Вскоре услышал, как жена и соседка громко переговаривались через загату.

— Попало и твоему, Харитина... Хотя бы десятым был, а то всыпали только за то, что шея набок! За их него же царя пострадал!

— Ох, горюшко мое! — причитала жена.— А ведь говорили, что при этих расправы не будет. Где ж это он? Где мне его искать?

— Придет. Куда-то вдоль Сиваша побрел. Подальше от глаз... А моего деда так и не нашли. «Где спрятался? — спрашивают.— Отвечай!» Вон как, видно, с солдатами у них туго, что уже и за стариками гоняются. «Берите, говорю, тогда хоть меня вместо деда!»

Немного погодя Оленчук услышал — возвратились дети, с шумом притащили во двор пойманную где-то лошадь.

— Отведите, сейчас же отведите назад! — набросилась на них мать.— Беды из-за нее не оберешься!

— Нет, пусть, мамо, пусть. Ничего за нее не будет! — кричали дети и наперебой бросились объяснять матери, что это конь запаленный, что его теперь — только в плуг, потому как для кавалерии он уже все равно не годится...

— Беляк сам его бросил.

— Что же это за беляк такой?

— Пьяный калмычонок! Ростом не больше будет, как Грицько соседский,— оживленно рассказывали дети.— Сидит вон там над Сивашом и плачет, что «болшак» у него бога украл: «Бога нет, земля нет, одна вода, да и та соленая, матер-черт!»

С тяжелой думой прислушивался к рассказу о калмычонке Оленчук. «Бога у него украли, а здесь? Вы-то разве с богом, по-божески? Ни за что ни про что расправу над людьми учинили... Никак не поймете, почему

от мобилизацни прячемся, почему нам ваша война постыла!»

До самого вечера ребятишки его возились во дворе с коием. То кормили его с рук разным бурьяном, удивляясь, что конь оказался куда более прнвередлив, чем верблюд; то подсаживали друг друга, чтобы сесть верхом, а затем, разглядев, что коиь в коросте, сообща принялись чистить да отмывать его.

— Выведем коросту! Откормим! Будем, мамо, пахать иа нем!

Сыновья рады-радехоньки находке. В кавалерию не годится, так вот пахать на нем собнраются. И вспомиил Оленчук, как все иачалось, как первую нниву свою обрабатывал со старшнм сыном, который ушел с Кнлигеем и теперь где-то на польском фронте шляхту крошит... Длннная им досталась ннва, и лежала она так, что одиим концом упнралась в позиции белых, а другим — в позиции красных... Оленчук подходил с плугом то к одним, то к другим н спокойно закуривал и с теми и с другими. Дозакуривался! Лежит вот, нагайками исполосоваи. И за что? Упрямая шея его им не понравнлась, на мобилизацию их ие поддалась. Все тут ему припомннли: и комбед, и повстанчество, и то, что плуг свой по панской земле пустнл, что человеком себя почувствовал! И за это пороть? Да как оии смеют?

— Как они смеют? — в ярости иабросился он на жену, когда она, наконец отыскав его, приiесла ему в бурьяны полднк, потому что идти в хату он отказался.— Доколе будут они глумиться над нами? Кто и когда право такое им дал?

— Тнше, тнше, Иваи,— успокаивала его жеиа,— а то еще услышат...

— Пускай слышат,— обвел ои мутиым взглядом вокруг.— Не боюсь я их! При всех скажу! Далеко иа этом не уедут. Кишка тонка!

Покричал, побушевал и снова лег, умолк надолго. Сколько ни упрашивалн жена и дети, так и не перешел в дом, так и остался лежать здесь, на огороде, над Сивашом, на теплой потрескавшейся земле. Рапа весь деиь кипит иа Сиваше, растет соль, через день-два все дно морское до самого горнзоита станет белым, словно снегом припорошенное. Акацня, разомлев за деиь на солнце, под вечер густо и сладко запахла; душная, пьяиящая

истома, как перед дождем, разлилась, поплыла над землей.

Наступила ночь. Ныло, огнем горело избитое тело Оленчука. Но еще больнее жгла обида его возмущенную душу. Из темноты, из-за села, доносился непрерывный шум движущихся войск: шли и шли по дорогам вражеская конница, артиллерия, броневики. И так горько было Ивану, такая тяжесть навалилась на него, будто идут они, проходят прямо по его телу.

IV

Закрывались ревкомы. Толпы беженцев, семьи активистов, походные красноармейские лазареты безостановочно катились степными дорогами к днепровским переправам. Зримая смерть гналась за ними. На земле — чеченские сабли да броневики, а в небе — французские аэропланы. Рассказывали, что под Мелитополем, преследуя рассеянную по степи кавалерийскую часть, аэропланы спускались так низко, что крыльями головы с плеч сносили красным всадникам.

Территория, занятая Врангелем, все увеличивалась.

День и ночь с жестокими боями отступал по степи к Днепру отряд Леонида Бронникова, уже в ходе боев сформированный из алешковских коммунаров, матросов береговых застав и сельских ревкомовцев. Отступали шаг за шагом, неся на руках раненых, а убитых оставляя пастухам, чтобы похоронили. Шли не столько пыльными дорогами, сколько брели напрямик по хлебам; а когда ночью вражеские броневики, преследуя их, прощупывали степь прожекторами, бойцы залегали в высокой ржи, и эти минуты были для них передышкой. Жутко лежать, когда рядом враг водит по степи своими электрическими глазищами, подобно какому-нибудь фантастическому чудовищу, в поисках все новых и новых жертв.

В эти тяжелые ночи отступления, когда приходилось чуть не голыми руками сдерживать наседающего противника, Леонид не раз пожалел, что нет сейчас у него славных «сухопутных крейсеров», с которыми его колонна в прошлом году пробивалась по Правобережью и которые так честно протаранивали своими лбами путь. Тра-

гичен был их конец. Однако даже тогда, когда выяснилось, что железнодорожные мосты впереди взлетели на воздух и настало время распрощаться с бронепоездами, и гибелью своей они послужили родной колонне. Охваченные огнем, без машинистов, пущены были навстречу врагу, в самую гущу наступающих войск генерала Шиллинга. До сих пор Леонид видит, как мчатся по ночным полям его пылающие бронепоезда, как летят они на максимальной, катастрофической скорости, наводя ужас на окружающие хутора и немецкие колонии, с дикой силой гневно скрежещущего железа врываясь на занятые деникинцами станции и полустанки... А тут бронепоездов не было, тут отступающие могли прикрываться от врага лишь стеной колышущихся под ветром хлебов.

Однажды утром отряд Бронникова вышел к хутору Гаркуши. Пользуясь тем, что удалось оторваться от противника, отряд решил сделать передышку на этом хуторе. Дозорный вскарабкался на самую вершину ветряной мельницы, не раз уже служившей наблюдательным пунктом для враждующих между собой армий, которые неоднократно проходили здесь за эти бурные годы.

Выставив дозорного, бойцы всей группой расположились в тени под амбарами и, голодные, измученные, потребовали, чтобы хозяин вынес чего-нибудь перекусить.

— Что же я вам вынесу? — замялся хозяин.— Вы ведь не первые. Все идут, и всем дай, дай...

— Не скупись, хозяин, дешевле обойдется,— исподлобья бросали матросы недобрые взгляды на Гаркушу.— Небось для Врангеля уже приготовил хлеб-соль на рушнике?

— Да что вы, что вы,— засуетился хозяин, оправдываясь, а по глазам видно было, что и впрямь отгадали — уже припасены где-то в тайнике и хлеб и соль для встречи крымских гостей.

— Врангель обождет, а нам подавай все, что для него приготовил. Да поживей!

Изголодавшиеся, с волчьим аппетитом съели они и хлеб, припасенный не для них, съели и сало, которое Гаркуша с зимы прятал в чулане, и воду чуть не всю выхлебали из колодца.

«И когда уж ты забудешь дорогу ко мне на хутор? — с затаенной ненавистью мысленно обращался Гаркуша к командиру отряда, бывшему машинисту с табора Ку-

раевого.— Ты и тогда все людей баламутил, и сейчас никак не угомонишься. Собрал своих антихристов и снова куда-то ведешь их, чтоб тебе вовек не вернуться оттуда!»

Уже покидая двор, бойцы отряда заметили Наталку, которая как раз чистила конюшню, молчаливая и как будто заплаканная.

— А это дочь? — спросил один из матросов.

— Да, вместо дочери родной,— поспешил ответить старик.

— Дочь, которая батрачкой называется,— заметил кто-то из бойцов.

— Смотри, дед, не обижай ее тут,— серьезно предупредил Леонид.— Вернемся — спросим.

Когда отряд стал отдаляться, хозяин увидел, как сверкнули слезы на глазах у батрачки.

— «Товарищей» жалко стало? Горько расставаться? — издевался Гаркуша.— А не говорил ли я тебе, что так оно и будет, что власть ваша не дольше, как до пятницы!

Не отвечая старику, Наталка все смотрела вслед уходящим, смотрела до тех пор, пока они не скрылись за хутором в хлебах.

Пробившись к Днепру, отряд Бронникова получил задание занять оборону на приднепровских холмах, на которых уже прикрывали переправу другие красные части. Бронникову было досадно, что приказ о защите переправы он получает из уст Муравьева — человека, к которому до сих пор не мог преодолеть в душе враждебного чувства. Это не тот, не киевский Муравьев, о котором в армии прошла слава, как о палаче и самодуре, нет, это свой Муравьев, южный, тот самый приблудный комиссар, который в прошлом году во время отступления, растеряв свою бригаду, прибился было к их колонне, но так и не нашел общего с ними языка. Бронников слышал уже, что Муравьев снова вынырнул тут, на юге, с весьма высокими полномочиями, но все же не ожидал встретить его у каховской переправы, да еще и получать от него задание. Правда, у Муравьева хватило такта сделать вид, будто он не узнал Бронникова или просто забыл его. Желчный, злой, еще более черный, чем прежде, он теперь, стоя на понтоне, отрывисто бросал слова приказа:

— Идите. Занимайте. Прикрывать переправу до последнего.

— Когда сниматься?

— Скажем. Не раньше, чем все переправятся.

Странно все-таки: бригаду удержать не мог, а тут такими большими людскими массами распоряжается. Какие у него права на это? Какие основания? Или достаточно того, что он где-то там в эмиграции был вместе с Троцким и теперь прибыл сюда, вооруженный его всесильными мандатами? А может быть, так и надо? Может быть, он обладает какими-то неведомыми Бронникову исключительными достоинствами? И все же было досадно именно по его приказу брести к песчаным кучугурам и вести бойцов на их, возможно, последний рубеж. «Да в конце концов не ему же, не Муравьеву, ты служишь,— сердито подумал Бронников, заняв позицию в песках и взяв винтовку на изготовку.— И если даже из уст человека, неприятного тебе, исходит приказ, необходимый революции, ты выполнишь его до конца».

У переправы весь берег запружен людьми, скотом, возами. Узенькая полоска наплавного моста не успевает пропускать всех, кто непрерывно подходит сюда. Часами ждут очереди обозы, беженцы, лазареты; ревет собранная в большие стада скотина, которую пастухи по распоряжению ревкомов гонят и гонят сюда из ближних и дальних имений.

Жарко горит полуденное небо.

На холмах, в сыпучих приднепровских дюнах, в налитых зноем песчаных ямах выпало бойцам отряда Бронникова держать боевой рубеж. Жара и жара. И хотя полноводный Днепр совсем рядом, но жажда сжигала людей — только и выручали дети рыбаков, которые, несмотря на обстрел, пробирались в кучугуры, приносили воду бойцам. Бронников лежал меж раскаленных песчаных холмов, дальше всех от Днепра, однако и к нему забрел водонос — совсем маленький, быть может, только чуть старше его Василька, белоголовый, лобастый, в штанишках с лямочкой через плечо. Переднего зуба нет, шепелявит...

— Как тебя звать?

— Шашко.

— Сашко?

— Шашко.

Присев на дно ямы, мальчонка испуганно смотрит, с какой жадностью дядя матрос пьет воду из кувшина, и задумывается, становится как-то не по возрасту серьезным.

— О чем думаешь, сынок?

— Война да война... Мама говорит, что, школько я живу на швете, война идет.

— Скоро кончится. Разобьем мы их, и тогда уже будет иначе... В школу пойдешь.

— А за что вы ш ними так долго воюете, дядя?

Как ему ответить на это? Потому ли, что так чистосердечно спросил мальчонка, потому ли, что это была единственная живая душа, которую он встретил здесь на холмах за весь день, только Леониду вдруг захотелось открыться, рассказать все о себе этому незнакомому хлопчику...

— Хочешь, Сашко, я расскажу тебе об одном мальчике?

И в приливе внезапной, давно не испытанной нежности Леонид стал рассказывать ему о мальчике с Кинбурнской косы, как этот мальчик, едва став на ноги, уже помогал ватаге рыбаков, отцу и братьям тащить неводы из моря, а потом видел, как однажды ночью тут же, возле рыбацкого костра, жандармы топтали ногами отца, допытывались, где его сын. Позже увидел он и того, кого искали жандармы,— своего старшего брата моряка. Под усиленной охраной вели его вместе с товарищами матросами по улицам Очакова, и все знали, что повели их на расстрел...

— За что же их? — ужаснулся Сашко.

— За то, что не потерпели издевательств у себя на корабле, бросили за борт офицеров, отреклись от царя и, подняв над своим кораблем красный флаг, много дней ходили, непокоренные, под этим флагом по морю. Подрастал мальчик, стал потом сам черноморским матросом и тоже не захотел терпеть бесправия и обид. Все больше становилось таких, которые не хотели терпеть издевательств над собой, искали лучшей доли для себя, для таких, как твои мама и дедушка, и вот за это началась и идет теперь великая борьба. И хотя, быть может, кадеты не раз еще будут здесь у Днепра и немало поляжет отважных бойцов на этих берегах, но кончится тем, что

наш, наш будет верх, Сашко! Когда вырастешь, уже не будешь ты знать ни жандармов, ни батрачества, ни нищеты: жизнь твоя будет светлой и радостной, ну как... пасха. Может, даже на этих вот холмах, на горячих этих песках сыпучих, где мы с тобой сейчас изнываем от жары, где только чахлый молочай растет, поднимутся тогда сады зеленые, вырастет город чудесный, ну вот, как в сказках бывает...

Вздохнул Леонид, обнял мальчика так, словно вместе с ним обнимал и своего Василька и мечту свою далекую.

А переправа гудела, содрогалась под тысячами ног. И хотя с правого берега уже подводили под настил моста бикфордовы шнуры, бойцов, которые прикрывали переправу, это не пугало: они знали, что после того, как переправа примет всех, перейдут по гулкому настилу и они, лишь после того шнур будет зажжен.

Со стороны степи все ощутимее надвигалась угроза. Несколько раз конные разъезды противника появлялись на горизонте, но, встретив огонь с холмов, снова откатывались назад. Под вечер подошли броневики, выкрашенные в мышино-пепельный цвет, сливавшийся с цветом поблеклой, выгоревшей степи, и стали поливать холмы пулеметным огнем. Все ближе повизгивали пули в раскаленных песках, все чаще то тут, то там раздавался вскрик, горячая кровь обагряла песок...

Вечером, когда над плавнями показалась полная луна и у переправы никого больше уже не осталось, Бронников дал команду сниматься с позиций и спускаться к Днепру. Они отступали последними. Отстреливаясь от наседающего врага, глубоко увязая в песке, отряд разомкнутой цепью двигался вниз, к воде, к переправе. Были уже совсем близко от моста, первые бойцы уже готовы были ступить на деревянный настил, как вдруг на реке что-то ярко сверкнуло, загрохотало, точно гром,— чья-то нетерпеливая рука на том берегу подожгла бикфордов шнур!

Мост рушился на глазах у бойцов. Бронников смотрел, как гибнет, разваливается на куски единственная дорога на ту сторону, и кровь тяжко ударила ему в виски: что же это такое? Как могли забыть там о них, последних, кто, весь день сдерживая врага, самоотверженно прикрывал эту переправу? Гады! Ведь кто-то же отдал этот приказ?.. Встретит — расстреляет на месте.

Однако сначала нужно переправиться, добраться туда! Днепр разлился здесь, как море, еле виднеются бериславские ветряные мельницы, выстроившиеся в ряд на гористых кручах противоположного берега... А враг тем временем наседает все сильнее, пули все чаще вжикают у самых ушей, пощелкивают по вербе, и скошенные ими листья сыплются на бойцов, на залитую лунным сиянием днепровскую воду.

«Как же теперь?» — читает Бронников в глазах бойцов немой вопрос и тут же подает команду:

— Вплавь!

Должно быть, никогда еще не был таким широким Днепр, как в эту июньскую, озаренную луной ночь, когда вместо плавучего моста перед отрядом легла на ту сторону лишь дрожащая лунная дорожка! Уцепившись за какие-то доски, обломки, тяжело дыша, люди плыли с оружием на шее, с оружием в высоко поднятых над водой руках. Их сносило течением; на целую версту, если не больше, растянулся переплывающий отряд на светлой водной равнине. А вслед им откуда-то с кучугур уже строчили вражеские пулеметы, и вода вокруг вскипала от пуль. Не один боец глотнул днепровской воды, не один пошел ко дну, запутавшись в лозняках и подводных корневищах плавней. Всю ночь длилась эта нелегкая переправа по зыбким серебристым дорожкам, постланным луной перед Бронниковым и его бойцами через Днепр!

После ночной купели отряд сильно поредел, а те, кому суждено было уцелеть, тяжело дыша, усталые, мокрые, выбирались на берег в Казачьем.

Утреннее солнце встретило их уже на бериславской горе. Отсюда далеко видны были таврийские просторы, пожухлая степь за Каховкой, буйно-зеленые плавни понизовья, а между ними — широкая днепровская синь, похожая на пролитое на землю небо. В густых зарослях вербы на каховском берегу то тут, то там белели рыбацкие хатки. С тоской и болью посматривал в ту сторону Бронников, ведя своих бойцов по высокому берегу. Как там Каховка? Как там сейчас его юный друг, который вчера приносил ему воду в раскаленные пески? Широкое течение Днепра пролегло между ними, нет больше мостов, и никто не может сказать, сколько это продлится.

V

Суд над Дьяконовым происходил на станции Ново-Алексеевка; тут же ему пришлось ожидать и утверждения смертного приговора, сидя под стражей в душном станционном пакгаузе, который контрразведчики превратили в место заключения.

Узников с каждым днем становилось все больше. Здесь полно было разных спекулянтов, которые саранчой налетели из Крыма на дешевые таврийские продукты; каждый вечер у порога совершал молитву старый богомольный татарин; по углам теснились темными кучками крестьяне — молчаливые, упрямые, которых никакой силой не удавалось затащить на мобилизационные пункты, невзирая на все усилия врангелевских «охотников за мужичьими черепами».

Целые дни мужики только и делали, что попыхивали цигарками, молча подпирая спинами стены пакгауза, и только по ночам начинали о чем-то перешептываться по углам, поблескивая огненными глазками самокруток. Своими секретами они не делились ни с кем из арестованных, в том числе и с Дьяконовым, хотя и знали, за что он был осужден. Для них он все еще оставался где-то на той стороне, пусть и без погон, пусть в вылинявшем, потертом, но все же английском френче. А он думал о них неотрывно, с болью, и в каждом из них, темных, непоколебимых в своем упорстве, для него было что-то от Оленчука.

С тех пор как судьба свела его в Чаплинке с Оленчуком, с тех пор как постоял он вместе с дядьками простым молотобойцем у наковальни и отведал их мужицкого хлеба, его уже не покидало ощущение, что какой-то частичкой души он принадлежит этим людям и не может оставаться равнодушен к ним, как это было раньше. Пока жизнь вплотную не столкнула его с Оленчуками, он даже не подозревал, что в их среде, где руки в мозолях, где хлеб достается так тяжко, он может встретить людей большого сердца, кристальной честности, с подлинно мудрым пониманием жизни. И хотя из-за глубокой разницы во взглядах и убеждениях они с Оленчуком оказались в разных лагерях, он и сейчас не чувствовал ни неприязни, ни враждебности к людям этого, оленчуковского, склада, и когда они сторонятся его, шепчутся

ночами о чем-то по углам, как видно что-то замышляя, ему по-настоящему становится обидно от этого недоверия к себе. Разве он не желает им добра? Разве он им враг?

Весной, подхваченный вихрем неистового экстаза, вызванного Врангелем в Крыму, он снова оказался в войсках, оказался с твердой верой в то, что наконец армия и родина нашли для себя достойного вождя. С радостью, с полным самоотречением отдал он себя делу, целиком подчинив свою волю железной воле правителя. Понятия вождя и родины для него теперь слились воедино. Он не раз слышал выступления Врангеля перед войсками, сам был в числе тех, кто самозабвенно кричал молодому вождю «ура», когда тот, меча громы и молнии на деникинскую астматическую камарилью, обещал создать на новых основах великую народную армию, которая не будет знать поражений и с помощью которой он утвердит на родной земле право и закон по образцу великих западных демократий. За таким вождем, за такие идеалы стоило идти в бой. И сейчас, когда врангелиада распростерла свои победные крылья, он, Дьяконов, даже приговоренный к смертной казни, все же радуется ее успехам: Ave, Caesar, morituri te salutant![1]

Правда, то, что в первые же дни наступления он увидел в Строгановке, потрясло его до глубины души, ему показалось, что, вопреки всем надеждам, снова возвращаются кошмары деникинских времен. До сих пор жжет его исполненный невыразимого укора и осуждения взгляд обливающегося кровью после экзекуции Олейчука; однако во всем этом — Дьяконов уверен — нет, нет вины вождя: все эти бесчинства могли твориться только вопреки его воле!

Как-то часовые бросили в пакгауз курчавого молодца со звонкими кавалерийскими шпорами, буйного, шумного, очевидно, он был изрядно навеселе.

— Встать, камышатинки! — крикнул он с порога, увидев мужиков.— Васька Лобатый перед вами!

Крестьяне не шевельнулись.

— Сидите? Ну и сидите! Ждите своей очереди! От-

[1] Здравствуй, Цезарь, обреченные на смерть приветствуют тебя! *(лат.)* (Восклицание римских гладиаторов, с которым они перед боем проходили мимо ложи Цезаря).

сюда, между прочим, вам одна дорога: в Геническ, да на баржи, да в море, на самое дно — там ваша мужицкая правда лежит! Что же касается меня, то я тут долго не задержусь,— пьяно разглагольствовал новоиспеченный арестант.— Кутепия меня не выдаст! Сам генкварт поручится за Ваську Лобатого, будьте уверены!

Солнце лишь сквозь щели пробивалось в помещение, в пакгаузе стояла полутьма. Привыкнув к ней, Лобатый стал внимательно разглядывать арестованных. Вскоре он уже приставал к татарину:

— Перекрестись, мурзак! А ну перекрестись, тогда сразу выпустят! У нас бог добрее твоего аллаха! И вас, пискулянты,— прошелся Лобатый между спекулянтами,— тоже выпустят, только на взятку не поскупитесь. А вот вы, мужички,— при этом он, остановившись перед мужиками, насмешливо повел шеей так, будто она была в ярме,— вы еще тут попаритесь! Если не сделаете вон там, в углу, подкоп и не удерете ночью, то с вами у нас еще будет серьезный разговор!

Крестьяне молчали. Они, видимо, схвачены были где-то прямо в поле, во время работы: большинство из них — босые, в пропотелых, пропитаных пылью рубахах, кое у кого полевые жбанчики с водой при себе.

— Вашу линию мы знаем,— скалил зубы Лобатый.— Никакая мобилизация вас не берет. Навоевались, да? Своими ушами слышал на одной вашей сходке: «К красным не пошли, потому что хлеб нужно убрать, а к вам не пойдем, хотя и уберем».

Заметив в сторонке под стеной Дьяконова, Лобатый, удивленный, обрадованный, направился к нему.

— Здорово, станичник! За что удостоился?

Он присел возле Дьяконова, протянул портсигар с крымскими папиросами. Узнав, за что его собрат сюда попал, Лобатый даже присвистнул от удивления.

— За мужиков заступился? Ха-ха! Неужто идейный?

— А ты разве нет?

— Я, брат, свои идеи в Новороссийске растерял. При посадке на пароход некуда их было взять; теперь без лишнего багажа живу!

— А сюда за что?

— Самовольные реквизиции, буянство и окаянство и всякое такое прочее... Одним словом, как раз то, против

чего ты взбунтовался. Ну да ничего: выйдем отсюда вместе.

— Ты так думаешь?

— Не сомневаюсь. Сейчас не такое время, чтобы нами разбрасываться. Куда же вождю без нас? Ведь мы самые надежные кони в его колеснице!

— По твоему мнению, приказы верховного против мародерства, против бесчинств...

— Ха-ха! Все это для отвода глаз! Для прессы и для Европы! Это лишь поначалу верховный готов был пускать в расход нашего брата чуть ли не за каждое выбитое в ресторане стекло. Сейчас все пойдет иначе, каждый из нас *там,* в бою, нужен.

— Для меня, кажется, бои кончились.

— У тебя смертный приговор? Не волнуйся — вождь помилует. Он к нам, к молодежи, добр — то, что правой подписывает, левой...— Васька, осклабясь, сделал рукой в воздухе крест.

Дьяконову это показалось циничным, такого неуважения к своему кумиру он не мог потерпеть и тут же выразил Лобатому свое возмущение. Лобатый громко расхохотался.

— О, да ты и впрямь такой? «Святая Русь»? «Поруганные свободы»? Да брось ты все эти штучки! Живи, пока живется. Гуляй, пока гуляется.

— Это и вся твоя философия?

— А что? Хоть день, да мой!

— Если только ради этого, то стоит ли тогда и жить?

Лобатый покачал кудрявой головой.

— Точно такой же, как ты, был у меня брат — первопоходник. Не думал о себе, все в высоких сферах витал, а когда бежали со станции Лозовой, большевистским снарядом обе ноги ему оторвало. Думаешь, остановились, подобрали? Так и бросили в поле со всеми его идеалами воронью на съедение. Вот она, наша жизнь! А другие тем временем не зевают. Знаешь, сколько их, бывших героев, сейчас в Крыму по тылам окопалось? Пока мы тут степную пыль глотаем, они по ресторанам шампанское с фунтоловками глушат. О фунтоловках слышал? Это, брат, птицы — ого! Из лучших дворянских родов, только валютой берут! За один поцелуй — фунт стерлингов, ни копейки меньше!

Слушая Лобатого, его хмельные разглагольствования, Дьяконов как бы снова окунался в тяжелую, угарную атмосферу деникинских времен. Не хотелось верить, что такие, как этот хлыщ, как чеченцы, как те помещичьи сынки, что срывают злобу на крестьянских спинах, и составляют основу, костяк снаряженных в поход легионов его любимого вождя. Шомпола... Реквизиции... Валюта... «Хоть день, да наш!..» Нет, не о том мечтал его вождь, сатанинским усилием воли выковывая стальные свои корпуса, готовя к новому походу на север сто тысяч «рыцарей Белой Лилии на Руси»!

Арестованные все прибывали и прибывали. Вскоре пригнали еще крестьян. Вслед за ними часовые втолкнули в пакгауз целую толпу женщин, обвиненных в том, что они якобы, сговорившись между собой, сообща скрывали по погребам красноармейцев, а затем помогали им возвращаться через линию фронта к своим. Над женщинами только что состоялся суд, все они были еще возбуждены после судебной процедуры и... явно удовлетворены приговором.

Одна из них, тетка Варвара, как называли ее товарки,— бывшие фальцфейновские батраки и сезонники легко могли бы узнать в ней маячанскую атаманшу, стригальщицу овец,— оказавшись в пакгаузе и по-хозяйски оглядевшись по сторонам, весело бросила перед собой торбу с харчами.

— Вот тут хотя бы передохнем в тени да прохладе. Спасибо вам, часовые,— повернулась к двери.— Спасибо вам, судьи!

Женщины, пришедшие с ней, громко захохотали.

— Чего вы хохочете? — спросил кто-то из угла.

— Да как же,— ответила за всех тетка Варвара.— Осудили! Двенадцать лет каторги дали.— Она снова повернулась к двери, за которой скрылись часовые.— Да за двенадцать лет двенадцать раз трава на ваших костях в степи вырастет!

От ее слов мороз прошел по коже Дьяконова. Смех, веселое возбуждение, уверенность осужденных в призрачности приговора — в этом было что-то удивительное и тем сильнее потрясало его, что им казалось вполне естественным.

Развязав свои узлы, женщины стали перекусывать хлебом с брынзой. Дали по кусочку и офицерам.

— Ешьте, а то, говорят, вы совсем там отощали на крымских харчах,— подтрунивали тетки.— Заграница не очень-то накормит.

Через некоторое время вошел начальник охраны, скуластый верзила, перетянутый ремнями, в блестящих крагах. При его появлении тревожный шепот пробежал среди арестованных. «Это который на расстрел берет!» Ни на кого не глядя, начальник стражи гнусавым, равнодушным голосом вызвал офицеров — Дьяконова и Лобатого. Вас, мол, господа офицеры, приказано перевести в другое место, подвергнуть строгой изоляции. Дьяконов в этом увидел мало утешительного для себя, а Лобатый, наоборот, обрадовался, таинственно шепнул ему на ходу:

— Вот увидишь, это к лучшему!

Вышли из пакгауза. Горячим степным воздухом овеяло Дьяконова, и солнце ударило в глаза, на миг совсем ослепило. Небо от жары было белесым, точно покрыто полудой, и степь вдали колыхалась, как дым.

VI

Штабной поезд Врангеля в эти дни стоял в Мелитополе, в городе прославленных украинских черешен, раскинувшемся в широкой приазовской степи среди разных колонистских дорфов да фельдов, которые чем-то — не голос ли предков? — трогали готское сердце барона.

Врангель переживал сейчас медовый месяц своих побед. Вся слава его предков, героев рыцарских походов, отважных сподвижников шведских королей, меркла перед его собственной молодой славой... Свершилось! Одним ударом поверг себе под ноги целый край... Перед авангардами его войск уже маячат терриконы Донбасса, шрапнельные снаряды рвутся в небе над Синельниковом, боевые полки его вышли к Днепру — от устья до самой Каховки. Никогда еще не верил он так горячо в свое избранничество, в свой счастливый жребий, как сейчас! Да, он рожден быть вождем, рожден управлять людскими массами! Он выкует из этого хаоса все, что пожелает, как выковал из деникинского вшивого сброда свои железные корпуса. Давно ли шумели о том, что он замышляет авантюру, что из ста шансов на победу у него не более одного. Один! Но он верил в этот один свой

шаис и потому пошел ва-баик, и потому одерживает победу. Даже скептически настроенная Европа, которая еще совсем недавио называла его смелые замыслы не иначе как l'aventure de Crimée [1], теперь признает его достойным того, чтобы делать на него ставку. Те, кто еще иедавно подозревал его в притязаииях на вакантный царский престол, сегодня признали в нем подлиииого и единственного защитника демократии.

Его провозгласили непобедимым. В высших офицерских кругах — в своих штабах и военных иностранных миссиях — вдруг заговорили о том, что он, Враигель, н раньше не знал поражений н что только случайное стечение обстоятельств помешало ему тогда, прн Деникине, вступить с героями первопоходниками в Москву. Сейчас о нем пишет уже вся европейская пресса, его стратегический талант признают блестящим, из Франции собирается в Мелитополь специальная миссия, чтобы на месте изучить его опыт в операции по разгрому Жлобинской конницы. Да, это слава, которой он так долго ждал, это полнота власти, которой он наконец достиг.

В свою незаурядность он верил давно, но только Крым, распущенный, разложившийся, развращенный Деникиным Крым, с его взяточничеством и казнокрадством стал для него тем пробным камнем, на котором он проверил себя, свои возможности, железную волю, наконец, свое право управлять жизнью огромных человеческих масс. Большевики что-то там болтают *о народовластии.* Все это фикция, не больше. Когда требуют интересы дела, он сам, не колеблясь, готов отвести глаза наивной общественности заманчивыми картинами будущей демократии. Но в душе он был и остается верен убежденню: вожди рождались и будут рождаться, чтобы управлять: так водится от первобытных племен; и точно так же от древних племен, от неандертальского человека материал для творчества вождей — людская масса. Без вождя она, как глина без скульптора,— ничто. Особенно же в этой стране, которая начала свою историю с того, что позвала к себе правителей с севера, чтобы они «владели и княжили». На протяжении всей своей истории этот народ знает только две крайности: пугачевщину, вспышки разгульной дикой анархии, которая ныне, в двадцатом

[1] Крымской авантюрой *(франц.).*

столетии, достигла своего апогея, либо то, что сейчас у него: сплоченные единой волей и безоговорочно единой воле подчиненные стальные корпуса. Сегодня он может гордиться этими корпусами перед Европой, перед Америкой — перед всеми.

Он овладел краем, где вволю хлеба для его армии, союзники в изобилии снабжают его вооружением, следовательно, остается теперь одна забота: пополниться людьми. Он пошлет своих эмиссаров в Турцию и на Балканы, погонит их на Мальту и на остров Лемнос со строгим приказом ко всем этим обленившимся «гостям английского короля» — эвакуированным туда офицерам и казакам — немедленно возвратиться в Крым для пополнения боевых полков. Союзники обещают перебросить через Румынию бредовскую армию [1], которая сейчас где-то там формируется под польским орлом... Но главная его надежда была и остается на здешнюю мобилизацию. Мужики и мужицкие сыновья — вот за счет кого должна его армия разрастись до колоссальных размеров.

Пока с этим обстоит неважно. «Охота за мужицкими черепами», как называют у него в штабе мобилизацию, покамест не дала желательных результатов. Отовсюду поступают донесения, что крестьяне упорно уклоняются от мобилизации, на пункты сбора либо вовсе никто не является, либо нарочно посылают таких, которые непригодны к военной службе. Канальство! Пусть бы уж голытьба: она если не у Буденного, так у Махно, но удивительно, что и зажиточные к нему не идут. Чем это объяснить? Недостаточно верят в него, что ли?

Чтобы почувствовать, чем дышит крестьянство, Врангель решил лично поехать в одно из сел под Мелитополем. Выезжая из города, он имел неосторожность захватить с собой в автомобиль двух местных земцев, которые оказались нестерпимо болтливы и всю дорогу без умолку твердили ему о том, как опостылела народу большевистская анархия и как он, народ этот, жаждет для себя твердой руки...

Когда проезжали через какое-то село, где он сделал краткую остановку, чтобы показаться народу, его окружили греки-колонисты и засыпали жалобами на само-

---

[1] По заданию Врангеля генерал Бредов формировал на территории Польши так называемую Третью армию. *(Примечание автора.)*

вольные реквизиции лошадей, на грабежи и беззакония, которые якобы чинят его солдаты при попустительстве старших командиров. Реквизиции, бесчинства, грабежи! Горько и досадно было ему обо всем этом слышать! Разве для того выгнал он из армии генералов-грабителей, таких, как Покровский и Шкуро, чтобы другие, подобные им, заняли их место? Нет, за это он будет карать беспощадно. Он не допустит, чтобы повторилось то, что разъело деникинскую армию!

Первое, с чем обратился Врангель к крестьянам на сходке, был вопрос: слышали ли они о его новом земельном законе?

Крестьяне загудели в ответ, что, дескать, не слышали. Кто-то вроде видел этот закон в напечатанном виде в Мелитополе, но так и не купил, потому что очень дорого стоит: сто рублей за штуку [1].

Задав крестьянам несколько вопросов, на которые они отвечали весьма неохотно, Врангель произнес перед собравшимися пламенную речь. Говорил страстно, вкладывая душу в свои слова, искренне веря, что именно он и является защитником интересов крестьянства; а они слушали его и... молчали. И когда кончил, тоже молчали. Что-то грозное, непонятное было в молчании этой взъерошенной, загорелой, темной толпы. «Народ безмолвствует»? Но почему же, почему?

Когда уже шел к автомобилю, на ходу уловил словно невзначай оброненное кем-то из толпы:

— Казав пан, кожух дам... [2]

А в тон ему, еще мрачнее:

— Та й слово його тепле [3].

В подавленном настроении уже без земцев возвращался со сходки в Мелитополь, в свою черешиевую столицу. Почему-то врезалось в мозг это непонятное: «Казав пан, кожух дам...» — и не оставляло его всю дорогу. Что бы они могли означать — эти слова? К кому они относятся? Не его ли земельный закон крестьяне имели в виду?

---

[1] Суть врангелевского земельного закона сводилась к тому, что земля крестьянам передавалась за крупный выкуп. Закон этот был направлен против интересов трудового крестьянства. *(Примечание автора.)*

[2] Обещал пан, кожух дам...

[3] Что ж, и слово его греет.

Таково было настроение Врангеля, когда, возвратившись в свой штабной поезд, он узнал, что из Севастополя прибыл с миссией адмирал Мак-Келли.

VII

Визит главы американской военной миссии был неожиданным для Врангеля и, по правде говоря, не слишком в данное время желательным. Атмосфера еще раскалена после боев, еще столько всюду жалоб, нареканий, а он уже тут как тут — примчался по горячим следам. Врангель и до сих пор не мог освободиться от неприятного осадка, который остался у него на душе от последней встречи с Мак-Келли в Севастополе. Это было в день, когда поступила радиограмма о том, что красная конница на киевском направлении прорвала фронт польской армии и что для войск маршала Пилсудского создалось катастрофическое положение. Мак-Келли, прибыв тогда к Врангелю, недвусмысленно дал ему понять, что Верховный совет союзников уполномочил его скоординировать действия Крыма и Варшавы. В весьма грубой форме он стал требовать, чтобы Врангель немедленно выступил в поддержку полякам. И хотя это полностью совпадало с планами и желаниями самого Врангеля, однако Мак-Келли счел возможным прибегнуть даже к угрозам, сказав, что если крымская армия не выступит немедленно, то всем кораблям, которые направляются сейчас в Крым с боевым снаряжением, он даст по радио указание повернуть в другие порты — в румынские или польские. «Выходит, мы для Пилсудского, а не Пилсудский для нас»,— бросил тогда Врангель обиженно, и они расстались, исполненные неприязни друг к другу.

С чем же на этот раз прибыл к нему этот дерзкий янки, этот непоседливый адмирал, забравшийся так далеко на сушу?

Врангель, запыленный с дороги, весь покрытый липким потом, не успел еще привести себя в порядок, как адмирал Мак-Келли появился в салоне штабного вагона, свободно и непринужденно поздоровался, сияя своей простецкой панибратской улыбкой. Врангель терпеть не мог этой улыбки, как и самого янки с его небрежно-развязными манерами и амикошонством, но на то он,

Врангель, и врожденный аристократ, чтобы уметь в подобных случаях скрыть свои подлинные чувства.

— Чем могу служить? — с безукоризненной вежливостью спросил он гостя по-английски.

Адмирал, веснушчатый свежевыбритый здоровяк с румяным моложавым лицом, запросто усевшись на широком кожаном диване и взяв из хрустальной вазы несколько крупных черешен, положил ногу на ногу и стал есть.

— Тут чудесная черешня, генерал,— сказал он.— Годилась бы даже на экспорт.

— Не любовь ли к черешням привела вас сюда?

— Не только. Решил на месте ознакомиться, стоит ли нам рисковать тем, чем мы рискуем. И я не разочаровался, генерал: этот край стоит того, чтобы ради него ставить наш капитал на карту. Таврийские прерии, Донецкий бассейн, Екатеринослав с его промышленностью — эти три штата имеют мировое значение по производству угля, железной руды и хлеба. С точки зрения транспорта, путей сообщения их очень легко связать с цивилизованным миром. Все эти богатства можно ежегодно вывозить отсюда сотнями тысяч тонн.

— Это старая зона французского влияния, адмирал.

Мак-Келли усмехнулся:

— Она легко может стать зоной влияния американского!

Закурив сигару, глава миссии стал расспрашивать Врангеля, как осуществляется земельная реформа и как местное население относится к его армии. Всем этим, мол, настоятельно интересуется Вашингтон и хочет иметь информацию из первых рук. Потом выразил свое удовлетворение развертыванием военных операций и даже отпустил похвалу по адресу самого Врангеля.

— Теперь нам видно, что мы и наши союзники не ошиблись, когда остановили свой выбор на вас, генерал, разыскав вас там, в Константинополе, на глухих задворках событий.

Кровь ударила Врангелю в голову, в глазах потемнело от этой неслыханной дерзости. Его историческое изгнание? Было грубой бестактностью со стороны главы иностранной миссии напоминать сейчас ему, властителю Крыма, верховному главнокомандующему Юга России, о тяжкой опале, о позорных константинопольских днях,

навсегда ушедших в прошлое с той минуты, как его принял на борт «Эмперор оф Индиа»...

А Мак-Келли, видно, и не заметив, как он оскорбил своего собеседника, уже говорил что-то о мистере Керенском и о том, что не случайно этот незадачливый премьер в трудную минуту был вывезен из Петрограда на автомобиле именно американского посольства, под защитой американского флага.

У Врангеля руки сами сжимались в кулаки. Этот наглый янки, как никто, умел разбередить самые чувствительные его раны. Сейчас Врангель всем существом ненавидел его, этого одетого в адмиральскую форму торгаша, никогда и не нюхавшего настоящей войны, не способного прикончить врага своим декоративным кортиком. Он знает, что привело сюда этого предприимчивого янки. На нью-йоркской бирже агенты Мак-Келли еще с весны скупают для своего шефа акции донецких шахт, никопольских марганцевых рудников, тех самых рудников, которые Врангель должен добыть для него своей кровью, кровью своих героев.

Заложив руки за спину, Врангель нервно шагает по салону. Самый вид гостя уже раздражает его. Развалился на диване, сосет свою сигару, свежий, румяный, как младенец: у него есть время позаботиться о себе, каждый день играет в гольф, а он, Врангель, ночей не досыпает, и черкеска на нем пропиталась пылью, и весь он обветрился и почернел, почернел не сейчас, а еще где-то там, в калмыцких степях, когда с упорством фанатика водил свою Кавказскую армию на штурм, на поражение, на гибель... А ты? Испытал ли ты, как идут на тебя в атаку красные матросы, как сеют смерть из пулеметов шахтеры, как орудует клинками у вахмистра Буденного донская казацкая голь? Злоба спазмой перехватывает Врангелю горло. Торгаши! Маклеры! Барышники! И его, витязя белого Арарата, вождя, столько совершившего и с таким блеском побеждавшего сейчас, они смеют попрекать задворками событий!

— К вашему сведению, адмирал: на задворках событий я никогда не был,— останавливаясь перед Мак-Келли, четко произнес Врангель.— Даже тогда, когда я был в изгнании, когда союзники без всяких на то оснований обвиняли меня в германофильстве, я был на своем посту. Именно поэтому полки позвали меня в Крым.

Мак-Келли понял, что перехватил.

— Поверьте, генерал, я вовсе не хотел вас обидеть,— Мак-Келли окутался дымом сигары.— Но оставим это. Расскажите лучше, как ваши легионы? Надеюсь, полны боевого энтузиазма?

— О моих легионах нечего беспокоиться,— ответил Врангель, хмурясь.— Единственно, чего им не хватает, господин адмирал, это тех обещанных боевых грузов, которые мы все еще не можем сполна получить от союзников.

Мак-Келли недовольно поморщился, как всегда, когда речь заходила о поставках.

— Генерал, после первых успехов вы уже становитесь вымогателем. Мы дали вам новейшее вооружение, пушки, снаряды к ним, аэропланы. У вас их сейчас больше, чем у всех красных дивизий, с которыми вы тут имеете дело...

— И все же этого недостаточно! Вы помните, адмирал, в каких масштабах шло снабжение моего предшественника.

Врангель на мгновение умолк. Быть может, у него перед глазами как раз промелькнул огромный ярко раскрашенный плакат деникинских времен: английский Томми стоит в Новороссийском порту, широко расставив ноги, а за ним на море виднеется множество пароходов... Потоком текут из этих пароходов на берег пушки, паровозы, различное снаряжение... Все это Томми щедро бросает добровольцам Антона Деникина. Так было!

— Для моего предшественника союзники не жалели ничего,— продолжал Врангель,— все сыпалось на него, как из рога изобилия, а мне из-за каждого патрона, каждого снаряда приходится кланяться, пить горькую чашу унижений.

— Каждому из нас что-нибудь приходится пить,— сказал Мак-Келли, довольный собственной остротой.— И не прибедняйтесь, генерал: то, что вам полагается, вы получаете. Не далее как на прошлой неделе наш «Честер-Велси» доставил вам сорок тысяч шрапнельных снарядов, «Сангомон»— партию динамита, даже наша миссия Красного Креста вместе с медикаментами транспортировала вам из Нью-Йорка четыреста пулеметов и два миллиона патронов к ним.

— Но ведь и у меня потребности все возрастают и будут расти дальше, союзники должны учесть это. Мне нужны будут танки, мне понадобится вдвое больше аэропланов, а у меня даже для тех, которые имеются, не всегда хватает горючего. Сейчас двести моих аэропланов застряло где-то на египетских аэродромах в Александрии и Абукире, и никак их оттуда не вырвешь.

— Вы должны быть готовы к худшему, генерал. Вы знаете, какая кампания поднимается против вас во всем мире. Нам от собственных американских докеров приходится скрывать, какие грузы мы вам отправляем. Не от хорошей жизни ящики с пулеметами идут к вам на суднах Красного Креста под видом медикаментов. И если наши поставки на некоторое время сократятся или вовсе приостановятся — ведь у нас приближаются выборы в конгресс, и мы не можем не считаться с общественным мнением,— пусть это вас не застигнет врасплох. То, что у вас есть, вы должны расходовать с максимальной целесообразностью.

Что это? Нотация? Предупреждение? Врангель готов был вспыхнуть, ответить резкостью, но Мак-Келли, словно разгадав его намерение, властным движением руки остановил его.

— Будем откровенны.— Лицо адмирала вдруг стало черствым, глаза колючими.— Мы, американцы, не любим бросать деньги на ветер. Мы желаем, чтобы каждый наш патрон был под нашим контролем. И пусть будет вам известно еще одно, генерал: мы не потерпим, чтобы ныне, как некогда при Деникине, военное снаряжение союзников налево и направо раскрадывалось вашими интендантами или, что еще хуже, целыми эшелонами попадало в руки к большевикам.

Лицо Врангеля потемнело.

— Что вы хотите этим сказать?

— Вы приняли энергичные меры к прекращению тыловой распущенности, взяточничества, спекуляции, казнокрадства, всего того, что погубило вашего предшественника. Но окончательно ли уничтожен злокачественный микроб? Не захватили ли вы его в Новороссийске на корабли вместе с остатками разбитых войск? Я вынужден предупредить вас о некоторых серьезных симптомах. Дельцы, подобные барону Тимроту, который в свое время обокрал наш американский Красный Крест,

снова поднимают голову. Вам уже известно об этом скандальиом случае с грузом колючей проволоки, предназначенной для перекопскнх укреплений?

Врангель насторожился.

— Проволоку, которая была направлена для такнх важных укрепленнй,— Мак-Келлн встал,— ваши ннтенданты якобы «забыли» выгрузнть нз трюмов в Крыму, отправили иазад в Константииополь, и там она теперь распродается!

Врангелю, который иичего еще ие слышал об этом случае, только и оставалось пообещать, что он иазначит строжайшее расследование.

Адмирал плотнее натянул на лоб фуражку, поправил кортик, собрался уходнть. Врангель проводил его до дверн. О, с каким наслаждением приказал бы ои чечеицам своего конвоя показать этому расфуфыренному вояке дорогу, чтобы он вверх тормашками полетел из вагоиа, но...

— Гуд бай, генерал.

— Гуд бай, адмнрал! — И он по-солдатски четко звякиул шпорами.

VIII

«На юг! На Враигеля!»

«Смерть чериому барону!»

Пожалуй, со временн иезабываемого октябрьского штурма страна ие переживала столь мощного революционного подъема, как в эти летиие дин двадцатого года. Врангелевскнй удар в спину революции, угроза Доиецкому бассейну заставилн всех по-иовому оценить крымскую опасность. По всей республнке — от пролетарских центров до самых глухих сел — прокатнлась волна добровольного вступлення в Красную Армию. Многие съезды и конференции в полиом составе уходили иа фронт. По зову партии, охваченная революционным энтузиазмом, молодежь эшелонами двинулась на юг.

Одним из таких эшелонов с полтавской молодежью отправился на новый фронт и Данько Яресько.

Красные добровольцы!

По дороге их всюду встречали музыкой и знаменамн, на перронах станций стнхнйно возникали митинги, которые заканчивались записью новых и новых добровольцев.

Из всех речей, которые пришлось услышать в эти дни, в душу Яреська почему-то больше всего запали слова, сказанные на одном из митингов пожилой женщиной-работницей, чем-то очень напомнившей ему мать:

— Не жалея сил, мы будем трудиться для фронта! А вы до зимы должны вернуться победителями, иначе трудовая республика вас не примет!

...Эшелон, переполненный людьми, еле ползет: ему, кажется, невмочь тащиться от семафора к семафору. Паровозы старые, сменяются редко, вагоны продырявлены махновскими пулями... Задорные, лихие добровольцы висят на подножках, теснятся в тамбурах, до хрипоты дерут глотки, распевая всю дорогу песни и в вагонах, и наверху, на крышах вагонов.

Вот так — с песнями, сквозь бурю митингов и проводов — добрались до Синельникова. Тут пришлось задержаться дольше обычного: вся станция была забита эшелонами Уральско-Сибирской дивизии, которая после разгрома Колчака перебрасывалась на запад, на польский фронт.

Уральско-Сибирская справедливо считалась одной из лучших частей молодой Красной Армии. Родиной дивизии были Кизеловские копи на Урале, а кизеловские шахтеры — ее первыми бойцами, ее революционным боевым ядром. Как могучие реки берут начало из маленьких родников, так и дивизия эта зародилась из малого, из тех первых уральских рабочих дружин и шахтерских отрядов, которые под натиском колчаковских полчищ вынуждены были в трескучие северные морозы сняться с родных мест и — полураздетые, кое-как вооруженные — отходить по старинному Верхотурскому тракту в Уральские горы. Отступали все выше, отступали, точно в небо, и там, на занесенных снегом, покрытых дремучими лесами вершинах Урала, дали врагу первый победный бой.

Это было началом, это было на заре их славы. Из тех, кто были там рядовыми, вырастут потом командиры рот и батальонов, родятся в горниле боев политруки и комиссары, командиры полков и артдивизионов. В непрерывных боях дивизия не раз испытает горечь тяжелых потерь, и все же силы ее будут расти и расти; враг не раз сочтет ее окруженной и уничтоженной, рассеянной в тайге, потопленной в болотах, а она возродится снова

и снова. Фабрично-заводское население Урала будет считать дивизию своей, Чусовая, Чердынь и Усольские заводы образуют в ней своего рода боевые землячества.

Во всем будет чувствовать дивизия нехватку, но только не в людских резервах. Пойдет по Уралу — и пополнится уральцами; пойдет по Сибири — пополнится сибиряками — смелыми таежными партизанами. Суровый край, где человек с малых лет привыкает к трудностям, с детства приучается выслеживать зверя и воевать с природой, весь этот край станет для дивизии могучим, неистощимым резервом.

После разгрома Колчака дивизия получит передышку. Отложив винтовки, бойцы примутся за учебу. Будут ремонтировать разрушенное железнодорожное полотно Сибирской железной дороги. Станут добывать уголь в Черемховских копях...

Оттуда, из вечных сумерек тайги, из шахтных подземелий,— прямо в край слепящего, невиданной силы солнца! После суровой природы Прибайкалья, после полутьмы теплушек такой блеск, такая роскошь, такая ослепительная мощь украинского лета! Все, что открывается вокруг, вызывает любопытство и удивление. Белые хаты? Тополя? Сады? А почему эти сады в красном, словно в запекшейся крови?

Были среди северян и такие, которые отродясь не видывали арбуза, не пробовали на вкус спелой вишни. После уральских горных «увалов» и вечной тайги для них необычными были и просторы украинской степи, и степное яркое небо, что так и горит над тобой от разлива света, необычными были тут и ночи — мягкие, бархатные, исполненные невыразимого очарования...

На паровозах, на крышах вагонов еще видны неубранные пулеметы — последние сутки эшелоны двигались при усиленных дозорах: были предупреждения о возможных налетах банд.

Станция бурлит народом. Всюду гомон, суета, пробегают озабоченные политруки с пачками свежих листовок, спешат бойцы, позвякивая котелками, кого-то разыскивают вестовые.

У куба с кипяченой водой — толчея, столпотворение, не пробьешься. Яресько со своей полубосой командой тоже тут. Чтобы напиться, нужно хорошенько поработать плечами. Самым пробойным из их команды ока-

зался Левко Цымбал: не успели хлопцы оглянуться, как он — ну совсем верблюд, со своей деревенской торбой на спине — уже протиснулся в самую гущу, уже с кем-то сцепился там; на него набросились со всех сторон:

— Куда прешь, махновец?

Зажатый в толпе, потряхивая давно не стриженным чубом, он пытается что-то объяснить, но это только поддает жару:

— Он еще и огрызается!

— Заткните ему глотку прикладом!

Увидев, что товарищ попал в такой переплет, Яресько опрометью бросился ему на выручку.

— Что вы, черти, на своего навалились? — ринулся он в толпу.— Для беляков приклады приберегите!

Когда выяснилось, что перед ними свой, из полтавских добровольцев, из тех, которые на Врангеля идут, сибиряки сразу стали добрее, развеселились.

— Не серчай, дружок,— успокаивали они Левка Цымбала.— Это нас чуб твой подвел: уж больно на махновский смахивает.

— Да ведь и Гуляй-Поле где-то здесь, сказывают, рядом.

А через каких-нибудь полчаса они уже все вместе — и сибиряки, и полтавчане — сидели гурьбой в тени пристанционных тополей, дружно угощались душистыми дынями-скороспелками, которые принес взводный Старков — живой, разбитной синеглазый парень.

— Ешьте, ребятки! — вывалил он дыни прямо в кружок.— Поправляйтесь!

Среди тех, кто угощался дынями, с особенным аппетитом уплетал их здоровенный круглолицый детина, над которым все время посмеивались товарищи, называя его земляком Гришки Распутина.

Полтавчане посмотрели на него с интересом: так ли это?

— Ну да,— не стал возражать боец.— Мы с ним из одного села, из Покровского, это на тракте от Тюмени к Тобольску... Только у меня с тем «святым старцем» программа в корне разная. Еще сызмальства я натуральной контрой считал и его и матушку царицу, которая к нему приезжала...

— Ну, а ты, Ткаченко, почему перед земляками не признаешься? — весело подзуживал взводный другого

своего бойца, неразговорчивого, задумчивого и уже пожилого мужика.— Расскажи им про свой курень, а?

Ткаченко, поглаживая усы, сдержанно усмехнулся. Что же, было. По милости адмирала Колчака пришлось и ему надеть английскую шинель: сразу же после тифа был мобилизован и зачислен в 1-й украинский «имени Тараса Шевченко» курень... В курене собрались стреляные хлопцы: фронтовики, пленные красноармейцы, одним словом, люди, которые не раз до того под красными знаменами ходили...

— Было это, помнится,— спокойно рассказывал Ткаченко,— в пасхальные дни в одном селе Самарской губернии. Как раз на кладбище крестьяне поминки справляли, и наши хлопцы, забежав сюда, стали, как цыгане, хватать у теток из рук куличики и крашеные яйца. Пришлось выставить часовых с винтовками для охраны порядка на кладбище, да только они, начав дележку, не помирились между собой и подняли такую ругань в бога и Христа, что поп бежал с кладбища, оставив все свои куличи. Вот смеху-то было!.. А вечером офицеры велят нам занимать позицию — позицию против красных, которые стояли в соседнем татарском селе. Вот тут и показал себя наш имени Тараса Григорьевича курень! По своим стрелять? Не будем! Все сотни разом взбунтовались, офицеров, которые лютее, подняли на штыки, а сами — шагом арш! — с красными знаменами туда, к своим.

— Так что и на консерву ихнюю не позарились? — смеялись бойцы.

А взводный Старков, наклонившись к Яреську, объяснил:

— Это Колчак все заманивал нас к себе американской консервой. Бывало, как сыпанет на головы с аэропланов листовок да банок с консервами: у вас там, дескать, голодуха, «и-го-го» едите, а у меня, мол, жизнь райская... А мы консерву поедим, листовку скурим и снова: «Марш, марш вперед, рабочий народ!..»

Яресько уже знает о Старкове, кто он такой и откуда: пока тот бегал за дынями, товарищи рассказали о нем. Сын шахтера и сам шахтер с Кизеловских шахт, тех самых, где дивизия зарождалась. Еще подростком бросился «в кипящий котел революции». Рассказывали, как он, этот невидный собой Старков, во время одного тяже-

лого боя в сибирских болотах выручил целый батальон, добровольно вызвавшись прикрывать его пулеметом... Яресько, глядя на него, думал: «Хорошо бы иметь себе такого товарища в бою». По всему видно, любят его во взводе. Даже старшие по возрасту безоговорочно слушаются его, но слушаются, чувствуется, не только потому, что он командир над ними — дружат они между собой, взводный и его подчиненные. Для каждого из них Старков — и командир и близкий человек. Если надо по делу кого послать, то прикрикнет и поторопит, а если нужно, то и сам за дынями для товарищей сбегает... Ростом невысок, но такой живой, такой ловкий крепыш, что вряд ли и двое с ним справятся — выскользнет, увернется из рук. Лицо худощавое, землистое, наверно от въевшейся угольной пыли, а глаза синие и ласковые, как у девушки. Просто удивительно, как это у человека, выросшего на шахтах, под землей, могут быть такие нежные, такие небесно-синие глаза!

— У вас тут житуха!..— доверчиво говорит Старков, обращаясь к Яреську.— Вишни вон там ведрами продают. Крупные, сочные. Дынь, абрикосов, фрукты всякой — горы... Все растет, все вызревает: юг!.. А я, веришь ли,— голос его дрогнул,— вырос и не видел, как это сад цветет... Только из песен и знал.

— Так зато ж у вас тайга!

— О, тайга у нас могучая, это верно... Когда гнали Колчака, в лесных чащобах на такие селения натыкались, что тамошние не знали, какая и власть на свете...

— Да, много вы прошли, браты, везде побывали,— задумчиво сказал Яресько.— Теперь еще вот за нашу Украину придется постоять. Врагов тут столько навалилось, что без вас нам, пожалуй, и не управиться.

— Вы что, на Пилсудского идете?— спросил Левко Цымбал Старкова.

— Да сначала был такой приказ, а теперь, может, придется на Врангеля поворачивать: здорово гад нажимает...

По перрону торопливым шагом идет группа военных. По особой подтянутости, по суровой напряженности озабоченных лиц можно догадаться, что это командиры. В центре уверенно шагает крепко сложенный мужчина

среднего роста, с коротко подстриженными усами, в военной фуражке, посаженной плотно, по-рабочему. Он на ходу что-то говорит товарищам, то и дело взмахивая рукой.

— На телеграф командиры наши завернули...

— Может, с Ильичем будут разговаривать?

— Как знать... Сказывают, потому и задержали нас, что нового распоряжения ждем.

Некоторое время бойцы посматривают на эшелоны, застывшие на рельсах.

— Куда все же отсюда наша путь-дороженька ляжет? — озабоченно произносит Старков, не отрывая глаз от сверкающих на солнце рельсов.— От суровых берегов Байкала и до... до?..

Раскаленные на солнце рельсы, паровозы, платформы — все пышет зноем. Дремлет на платформах артиллерия. Низкорослые сибирские лошади тоскливо ржут в вагонах, почуяв поблизости, за станцией, настоянную травами степь, и волю, и простор...

IX

Вскоре и в вагонах запахло степью...

Пока паровозы набирали воду и перекликались, маневрируя где-то на стрелках, в эшелонах устроили нечто вроде летучего субботника. Пример подали синельниковские девчата, пришедшие вечерком к эшелонам с вениками, ведрами и охапками свежей степной травы.

— А ну, шахтеры,— смеясь, подступали к вагонам девчата,— как вы тут поживаете? Давайте мы прибраться вам поможем ради субботы!

— Чтоб нас вспоминали да злее панов били!

Предложение девчат пришлось бойцам по душе.

— Ну что ж, уборка так уборка,— обратился к своим взводный Старков, во всю ширь раздвинув дверь вагона.— Верно, ребята? — Вылинявшая фуражка уже сидела на нем как-то залихватски.— А ну, давай сюда швабру да кипяток! Смерть блохам и шляхте!

И, засучив рукава, он первым принялся скрести и мыть пол в своем вагоне. Это всех разохотило. Глядя на взвод разведчиков, взялись и соседи-артиллеристы, за-

кипело дело у саперов, и через каких-нибудь полчаса по всем эшелонам уже шла уборка, мелькали веники в руках раскрасневшихся бойцов и девчат. Всюду стоял незатихающий гомон, шутки, смех.

Еще не погасла в степи вечерняя заря, а вагонов уже не узнать: полы вымыты, прошпарены кипятком и, как в доме у хорошей хозяйки, посыпаны свежей степной травой.

Под высокими тополями пристанционного скверика в этот вечер на все лады заливалась голосистая гармонь. То полтавскими напевами, то уральскими страданиями будоражила она сердца чувствительных синельниковских девчат, мечтательно склонившихся друг другу на плечо. Бойцы и командиры, те, что шли на шляхту, и те, что на Врангеля,— все смешались тут. За спиной гармониста, словно охраняя его со всеми его думками и страданиями, выстроились только что прибывшие московские курсанты.

Когда же гармонист неожиданно ударил «казачка», из толпы в центр круга, откуда ни возьмись, вихрем вылетел гибкий и на диво легкий паренек из добровольцев. Рукой придерживая фуражку, он чертом пошел по кругу.

— Шире круг!

И толпа качнулась, раздвинулась.

— Еще шире!

И круг стал еще шире.

Было здесь на что заглядеться и синельниковским девчатам, и крепким сибирякам, из которых не один в эту минуту чувствовал себя увальнем. Тут и впрямь сам черт шел по кругу! Земли не касался, а дымилась земля, сам по воздуху плыл, а из-под ног пыль столбом. По чабанской сыромятной обуви его можно было принять за степняка, а по упругости и легкости он больше походил на горца. В гимнастерке, в ремне... Кто такой? Толпа затаила дыхание.

— Ух, сатана! — наблюдая за танцором, негромко переговаривались бойцы.

— Этот докажет!

А танцор, «доказав» свое, уже снова, застенчиво улыбаясь, стоял в группе товарищей, разгоряченный, веселый, и было слышно, как взводный Старков удивленно-радостно обращается к нему:

— Ну, брат Яресько, не знал я, что ты такой мастак... Не «казачок» — огонь!

Железнодорожник, который недавно расспрашивал о начдиве, тоже внимательнее стал присматриваться к молодому добровольцу, будто не ожидал, что тот так ловок плясать.

— Да ты, брат, любого махновца переплясал бы!

— А вы что, дядьку, видели махновца?

— Что махновцев — самого батька ихнего видел, как вот тебя.

— Где же это вас с ним судьба свела?

— Да здесь же, на станции. Еще когда в красных комбригах ходил.

Заинтересованные сибиряки окружили железнодорожника.

— А каков же он из себя, этот Махно?

— Да такой... Крутой... Наши рабочие и телеграфисты как раз несколько месяцев без жалованья сидели. Семьи голодают, пайков никто не выдает. Железной дорогой все пользуются, а рабочим платить некому. Давай, думаем, обратимся еще к Махно. Послали к нему целую депутацию с жалобой: «Батьку, помоги! Распорядись выдать харчишек, что ли. Вся железная дорога голодает...»

— Ну и как, выдал?

— Держи карман шире!.. «Мы не большевики, говорит, чтобы кормить вас от государства...» — «Но ведь дороги, говорим, телеграф...» — «Ну так вы с тех и требуйте, кому служат ваши дороги да ваш телеграф. А мне ваши дороги ни к чему: мои тачанки и без рельсов пройдут, куда захочу...»

Где-то поблизости запахло офицерским табаком.

— Славный табачок... Крымский! — повел носом Яресько.— У кого это там?

Молодой красноармеец с забинтованной головой охотно угостил Данька своим деликатным табачком. По всему было видно, что боец из тех, кто уже понюхал врангелевского пороха. Таких тут было немало. С лазаретами или по какой-либо другой оказии прибыв с юга, они принесли с собой горячее дыхание близких боев; курили они офицерское курево, их даже узнавали по запаху дыма: не едкой батрацкой махоркой дымили,

а небрежно попыхивали через губу легким дымом дорогих крымских табаков.

Яресько разговорился с этим раненым. Сладко затягиваясь, Данько все расспрашивал, в каких тот бывал боях, где ранен, что там и как там. Хотя и смешно было надеяться, но сердце все-таки ждало: а вдруг удастся услышать что-нибудь о знакомых степных местах, о близких людях и о той, которая милее и ближе всех,— о его синеокой любви... Однако у бойца только и было на языке, что броневики, аэропланы, отступления да наступления...

— То мы от них бежим, то они от нас. Под Ореховом по двенадцать раз в день ходили мы в атаки на них. Броневиков у них тьма! Конницы — черным-черно! Да еще французские аэропланы с неба помогают... Под Мелитополем, говорят, нашим кавалеристам крыльями головы сбивали...

Невеселые вещи рассказывал раненый, и, хотя не всему верили бойцы, все же чувствовалось, что там и впрямь ад.

И хотя там был ад, и все небо в шрапнели, и смерть подстерегала на каждом шагу, никто, однако, не думал о смерти, наоборот, все рвались именно туда, где она разгуливала, где вся степь охвачена огнем атак, И когда поздней ночью подали наконец эшелон в ту сторону, красные добровольцы бросились брать его штурмом.

Яресько со своими хлопцами раздобыл себе «плацкарту» под звездами, под открытым небом — на крыше вагона.

— Вы не очень скучайте там по нас! — бросил ему снизу Старков, стоявший на перроне в толпе провожающих.— Вы одной дорогой, мы другой, а там, глядишь, где-нибудь еще и встретимся!

— Счастливо вам!

— Счастливо и вам!

Мощный крик паровоза заглушил их голоса.

По боевому маршруту идет эшелон, боевой клич бросают в темноту паровозы. И уже новую, услышанную от уральцев, песню заводят пулеметчики, пристроившиеся на тендере:

Белая армия, черный барон
Снова готовят нам царский трон. .

Ветер свистит в ушах, врассыпную разбегаются деревья, и уже подхваченная всем эшелоном песня мощно бьется под звездным небом, все дальше врываясь в степные просторы:

...От тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней!..

X

На крышах вагонов в эту ночь никто не спал. То пели, то гуторили, то дремали беспокойно, все время опасаясь, чтобы, уснув, не вылететь, как говорится, за борт.

Чем дальше продвигались в степь, тем все тревожнее становилось вокруг: эшелон шел по махновским краям. На одном из перегонов из степной темени неожиданно вынырнул отряд конницы и, не отставая от эшелона, вскачь помчался наперегонки с поездом — не приближаясь и не отдаляясь. Кто они, эти черные далекие всадники, летящие на горизонте? Махновцы? Или, может, местная батрацкая молодежь, которая тоже поднялась в поход и на кулацких реквизированных лошадях мчится теперь бить барона? На всякий случай по эшелону была выставлена усиленная охрана. Московские курсанты, ехавшие на той же крыше, что и Яресько со своими полтавчанами, все время не отрывали глаз от степи — они залегли у пулеметов, как перед боем.

Высокими снопами искр поезд пробивает тьму, и все дальше в степь летят за огненным столбом темные вагоны с кучками людей на крышах и далекие неизвестные всадники, растянувшиеся по горизонту в том же направлении, что и эшелон. Глубокая ночь, ничуть не похожая на те белые, напоминающие рассвет петроградские ночи, которые Яресько недавно видел, когда привез питерцам эшелон с хлебом. Сейчас, хотя степь была окутана тьмой, где-то там, впереди, уже чувствовался еще не родившийся, но уже трепещущий рассвет.

На зорьке повеяло прохладой, и люди, чтобы согреться, еще плотнее прижались друг к другу. Левко Цымбал полами своей свитки прикрыл сразу нескольких соседей, пустившихся в дорогу в одних рубашках.

Рядом с Яреськом, натянув кепку до самых ушей, горбится в пальто сухощавый человек преклонных лет — один из тех гражданских, которых при посадке в Синельникове хлопцы приняли было за мешочников и едва не спустили с крыши. Уже тут, в дороге, выяснилось, что эти пассажиры вовсе не мешочники, а петроградские и московские инженеры, которые с мандатом Ленина едут в Александровск обследовать Днепр и его пороги. Странно было среди курсантской и добровольческой молодежи, рвавшейся в бой, видеть этих сугубо гражданских, мирно настроенных и погруженных в себя людей, которые от самой Москвы пробираются всеми способами до порожистого Днепра искать и обмерять место для будущей электростанции...

Глядя на инженеров, нахохлившихся в темноте, Ресько почему-то вспомнил екатеринославца продотрядника, который зимой ночевал у них в Криничках. С какой верой и убежденностью говорил он тогда о появлении первых электрических ласточек в республике и о той большой электрической весне, которая рано или поздно наступит... Электрическая весна! Тогда это звучало сказкой; однако не сказкой, видно, и не пустой выдумкой был тот разговор, если уж в такое грозное для республики время едут люди от Ильича, чтобы под самым носом у Врангеля обследовать и измерять Днепровские пороги...

— И вы сами видели его? — оживленно расспрашивали бойцы инженеров.— Какой же он, наш Ильич? Как его здоровье?

Один из кремлевских курсантов рассказал, что он тоже видел Владимира Ильича. Вместе с ними, с курсантами, Ленин носил бревна на субботнике...

— Дело было так: в начале весны решили мы очистить кремлевскую площадь от всякого хлама — там кучами были свалены доски, бревна, камни. По примеру московских рабочих устраиваем субботник. Только выстроились утром на площади против казарм, смотрим — к нам направляется Владимир Ильич. Подошел, по-военному отдал честь и обращается к командиру: «Товарищ командир, разрешите присоединиться к вам для участия в субботнике». Командир на мгновение даже вроде растерялся, а потом говорит: «Становитесь, Владимир Ильич, на правый фланг». Владимир Ильич быстро про-

шел на наш правый фланг и стал в шеренгу... Ребята, которые с ним бревна носили, старались на себя больше тяжесть взять, чтоб Ильичу было легче. А он это заметил и погрозил им пальцем. «Вы, говорит, не хитрите».

— А то еще был такой случай,— вмешался в разговор другой курсант.— Один из наших бойцов стоял в Кремле на посту и вдруг почувствовал себя плохо. Ильич, заметив это, сам вынес ему из кабинета стакан горячего чаю. «Выпейте, говорит, это поможет».

Яресько лежал, слушал разговоры товарищей о Владимире Ильиче и думал о нем так, будто и сам близко знал его в жизни, будто и сам не раз ощущал на себе его теплый взгляд и, заболев, принимал стакан горячего чаю из рук Ильича. Как просто, с какой лаской в голосе называют его хлопцы: Ильич! Наш Ильич! Когда все голодают, и он на восьмушке хлеба живет. Когда все выходят на субботник, и он наравне с курсантами идет бревна носить... «Если бы все люди были такими, как Ильич! — думал Данько.— Станут ли такими когда-нибудь?»

Все заметнее рассвет. Степь вокруг становится все светлее, просторнее, шире. Давным-давно уже отстали, оставшись за горизонтом, конники, пытавшиеся обогнать эшелон. Пахнет летней степью, росами, стерней... В дальних ложбинах тают седые туманы, в небе на востоке все выше разгорается заря...

Утро республики!

И хотя впереди была неизвестность, хотя где-то там, в степях, он, криничанский коммунар, мог в любую минуту и голову сложить, в груди у него билась радость и бурлило то хмельное, окрыляющее чувство, от которого хотелось петь, и казалось, что утро это никогда не кончится, что, пока он будет жить, вокруг так же, как сейчас над степью, будет становиться все светлее и светлее.

XI

Южная опасность все больше привлекала к себе внимание страны. Политбюро Центрального Комитета партии вынесло специальное решение о выделении врангелевского фронта в самостоятельный фронт. Незадолго



перед этим Центральный Комитет в письме, разосланном всем партийным организациям страны, предупреждал, что внимание партии в ближайшие дни должно быть сосредоточено на юге, что массы добровольцев и мобилизованных должны отправляться прежде всего на Крымский фронт, хотя бы даже и в ущерб другим фронтам.

Значительная часть прибывающих на юг свежих сил сосредоточивалась на правом берегу Днепра, в районе Берислава — Каховки. В эти дни здесь можно было ви-



деть на крестьянских подворьях и красных латышских стрелков из Латышской дивизии и прибывших по партийной мобилизации коммунистов откуда-то из Витебска или Орла; по Бериславу маршировали только что сформированные свежие части из рабочей и батрацкой молодежи, которая рвалась сюда со всех концов республики с таким настроением, что хоть небо штурмовать.

На станции Апостолово разгружалась артиллерия и, совершая напряженные переходы, быстрым маршем двигалась к Днепру, чтобы, заняв позиции на берислав-

ском берегу, нацелить стволы на ту сторону, в занятую беляками каховскую степь.

Еще беляки продвигались вперед во всех направлениях, стремясь расширить занятую территорию, а партия в это время уже разрабатывала план далеко идущего контрнаступления против Врангеля. В соответствии с директивами Центрального Комитета партии шестого августа И. В. Сталин, как член Реввоенсовета Республики и член Реввоенсовета Юго-Западного фронта, подписал директиву о переходе правобережной группы войск в решительное наступление, о форсировании в ночь на 7 августа Днепра на большом его протяжении.

С вечера перед форсированием тысячи бойцов запрудили бериславский берег, занялись последними приготовлениями. Проверяли оружие, все карманы и подсумки набивали патронами, примеряли только что полученную обувь, а тот, кому не хватило казенных лаптей, тут же шил себе постолы из конской кожи, чтобы не порезать ноги о жесткую таврийскую траву. Армейские понтонеры готовили средства переправы. С наступлением темноты к берегу табунами стали прибывать верткие душегубки, разные дубки и байды, которые днепровские рыбаки гнали и гнали из плавней на помощь войскам.

Комары тучами висели над людьми; дымом бы их разогнать, однако в эту ночь запрещалось зажигать огонь, не курили цигарок, ни один рыбацкий костер не вспыхнул на Днепре, как обычно бывало в такие августовские ночи. «Ничем не прояви себя, ходи тихо, как линь по дну!» — таков был приказ в эту ночь. Звенят комары, вскидывается рыба, идут приглушенные разговоры. Вполголоса, словно враг мог услышать через всю днепровскую ширь, прибывшие бойцы расспрашивают рыбаков о здешних местах, впервые узнают, что здесь, где расположен Берислав, когда-то была турецкая крепость Кизикермаи, а весь Днепр был тут перегорожен тяжелыми железными цепями, чтобы запорожские «чайки» не могли прорваться на простор в Черное море. Подойдет, звякнет носом о цепь — и уже в крепости тревога, уже палят турки по всему Днепру из крепостных пушек. Но какими цепями ни запирали они Днепр, запорожские «чайки» все же гуляли и по Черному морю, и в Стамбуле появлялись у султана под самыми окнами.

— А что эти башибузуки нам приготовили? — посматривали бойцы в темноту на противоположный берег, занятый противником. — Тоже, видимо, пальнут из всех батарей, как только услышат.

— А мы постараемся, чтобы не услышали...

В полночь пехота стала грузиться на паромы. Не ожидая, пока паромы тронутся, всплеснул веслами легкий рыбацкий флот, и, оторвавшись от берега, бесшумно рванулись, понеслись во тьму легкие душегубки, байды и дубки с бойцами-разведчиками и с пулеметами на носах. В ночной тишине, в таинственном молчании плавней слышно было лишь, как поскрипывают весла в уключинах.

Врангелевцы, не подозревая о наступлении красных, как раз в эту ночь выслали свой десант с левого берега. Оба десанта — и белый и красный — встретились в плавнях. Завязался жестокий бой. Кончилось тем, что красные штурмовики, дружным натиском перебив и пустив на дно внезапно встреченных белых десантников, быстро достигли каховского берега, очищая на своем пути плавни от вражеских застав.

Пока в плавнях шли бои, понтонеры уже налаживали постоянный мост, притащив катером наплавную его часть. Она была заблаговременно подготовлена и теперь быстро наведена взамен той, которую взорвали во время отступления. Вскоре по мосту уже двигались и пехота, и конница, и артиллерия.

В эту ночь форсирование Днепра велось на широком фронте — от Берислава и до Херсона. К утру херсонская группа заняла Алешки; другие части, форсировав Днепр, заняли Казачьи Таборы, Британы. Одновременно врангелевцы были выбиты из района Большой Каховки, и Сталин, который в это время находился на станции Лозовая, телеграфировал В. И. Ленину:

«Седьмого утром наши части форсировали Днепр, заняли Алешки, Каховку и другие пункты на левом берегу, есть трофеи, которые подсчитываются. По всему Крымскому фронту наши перешли в наступление и продвигаются вперед».

К вечеру Леонид Бронников, комиссар вновь сформированного полка, был со своими бойцами далеко в

степи за Каховкой, преодолев те самые песчаные кучугуры, на которых он два месяца назад держал на левом берегу свой последний рубеж.

Поспешность, с которой врангелевцы отступали в степь, казалась Бронникову подозрительной. Он опасался ловушки. Не заманивают ли нарочно, чтобы затем окружить, вырубить в открытом поле? Мысль об этом все время не давала Бронникову покоя, тем более что высокие подсолнухи и кукуруза мешали вести наблюдение. Стерня, бахчи, подсолнухи и снова то же самое: бахчи, подсолнухи, стерня... Чтобы не быть застигнутым врасплох, Бронников еще в селе приказал бойцам запастись лопатами: в случае чего, в степи можно будет быстро окопаться.

Врага, однако, не было видно, и бойцы уже стали успокаиваться, как вдруг несколько передовых застыло на месте.

— Гляньте, товарищ комиссар!

Один из разведчиков передал Леониду бинокль. В подсолнухах, за лощиной, виднелись замаскированные бронемашины. То тут, то там среди подсолнухов темнели офицерские фуражки. Бронемашины внезапно открыли огонь. Их пулеметы, как ножом, скашивали стебли подсолнухов и кукурузы, в которых залегли красноармейцы.

С наступлением сумерек кое-кто, напуганный сильным огнем, стал пятиться назад.

— Ни шагу назад! Окапываться! — скомандовал Бронников.

И вот в тот самый момент, когда первый боец вогнал свою лопату в землю, тут, в степи под Каховкой, и родился Каховский плацдарм.

XII

Известие о возникновении Каховского плацдарма застало Врангеля в Керчи, куда он прибыл, чтобы лично руководить подготовкой десанта на Кубань. Высокую фигуру главнокомандующего видели то в порту, то еще чаще на горе Митридат, с которой он рассматривал в бинокль синеющий вдали за морским проливом кубанский берег.

Кубань, Кубань... Та самая Кубань, которая еще совсем недавно считала его заклятым врагом казачьей независимости, которая не могла простить ему того, что он еще при Деникине разогнал ее казачий «парламент», теперь она привлекала его как земля обетованная, порождала в сердце самые радужные надежды. Каждый день после обеда смотрит он на нее в бинокль с горы древнего Боспорского царства!

Людей, пополнения, солдат! Живых штыков, живых сабель — вот чего ему сейчас не хватает больше всего. В поисках людских резервов послал он на Дон отряд полковника Назарова, чтобы тот попробовал поднять станичное казачество. Послал гонца в Гуляй-Поле, к батьку Махно, предлагая свой союз «украинским повстанцам», а их бандитскому батьку на выбор — генеральский чин либо гетманскую булаву. А теперь вот по настоятельному совету американской военной миссии готовит десант на Кубань. Для него не является тайной, почему американцы так заинтересованы в этой операции. С захватом Кубани они надеются овладеть Северным Кавказом, где больше всего сосредоточено капиталовложений их монополий. Глава их миссии адмирал Мак-Келли по натуре оптимист, он, как и Врангель, твердо верит в успех и на банкетах уже в шутку величает себя «почетным казаком станицы Старочеркасской».

Двенадцать тысяч десантников под командованием генерала Улагая Врангель решил бросить туда, на Кубань. Десантные войска состоят в основном из офицеров. По его, Врангеля, замыслу, войска десанта должны стать лишь костяком новых формирований, кадрами той великой «народной армии», о которой он мечтает с первого дня прихода к власти. Он все сделал для того, чтобы помириться с кубанцами. То, за что он еще вчера вешал, сегодня сам дает, преподносит широким жестом. Автономии хотите? Даст вам автономию! Парламент? Даст и казацкий парламент! Щедрый вождь, он сейчас даст вам все, только бы склонить на свою сторону ваши контингенты, только бы казачество стало под его знамена. Он знает, что погубило Деникина — тупое великодержавничество, «единая неделимая», неумение найти общий язык с окраинными народностями... Он, Врангель, не повторит этой фатальной ошибки. Уже заключил

соглашение с казачьими атаманами Дона, Кубани, Терека. Пообещал им полную независимость внутренней жизни. Однако пьяницы атаманы — это только казачья верхушка, с нею сторговаться нетрудно, главное, как поведут себя рядовые казаки. Ведь не за счет атаманов, а за счет этих крепких, жилистых рядовых должны в конечном итоге вырасти его легионы. Агентура сулит верный успех: Кубань ждет его. Передают, что достаточно будет его войскам высадиться, и станицы встретят их колокольным звоном. Твердо веря в успех дела, он, главнокомандующий, уже заранее назначает атаманов в еще не завоеванные станицы: ведь будут же они завоеваны! Ему нравится, что и высшие офицеры его тоже не сомневаются в счастливом завершении операции и, отправляясь в десант, забирают с собой даже семьи. Туда идут рядовыми и командирами рот, а оттуда будут возвращаться, развернув свои роты в полки, а батальоны в дивизии. То, чего не дала ему Таврия, не дали упрямые украинские села, даст ему богатая, недовольная большевиками Кубань.

Погруженного в такие мысли застала Врангеля на горе Митридат весть о том, что красные части, неожиданно переправившись через Днепр, зацепились на клочке земли под Каховкой... Это было как гром среди ясного неба. Если другие не сразу успели оценить всю степень опасности, то сам он с полуслова понял, что это означает. Тет-де-пон. Большевистский плацдарм на левом берегу, в семидесяти километрах от Перекопа! Трамплин, с которого красный тигр сможет в любой момент сделать прыжок на Перекоп! Это было ужасно, это могло разрушить все его планы. Пока плацдарм не будет уничтожен, его, Врангеля, армия будет связана, скована, не говоря уже о том, что нечего и думать о соединении с войсками Пилсудского. Уничтожить. Уничтожить немедленно, любой ценой!

Он стал быстро спускаться с горы, мрачный, раздосадованный, не зная, на ком выместить свою злость. Тет-де-пон! И кто допустил? Слащёв. Этот непризнанный гений, этот давнишний его соперник, который после падения Деникина тоже целил в диктаторы — в военной верхушке его имя тогда называлось наряду с Врангелем... До сих пор Врангель терпел его. За решительность, за рвение прощал ему и пьянство, и скандалы, и

даже то, что вместе со своими кокаинистками он будто бы возит в штабном вагоне бразильского попугая, которого сам научил кричать «барон дуррак»... Никто не скажет, что Врангель мстит ему. Он дал ему корпус, послал в десант, доверил, наконец, Каховку и вот теперь получил от него сюрприз...

— И как он мог?

Начальник штаба Шатилов, еле поспевая за Врангелем, пожимает плечами:

— Слащев намеревался специально заманить их подальше в степь, чтобы потом отрезать от Днепра и истребить.

— Лавров захотелось? Почему же не истребил?

— Когда кинулся, было уже поздно.

— Что значит поздно?

— Окопались.

В словах начальника штаба ему чудится попытка оправдать Слащева, и это еще больше его раздражает.

— Сместить! — нервно бросает он на ходу.— Прогнать в резерв!

Прогнать Слащева, который имеет столько сторонников в офицерской среде... Шатилов разрешил себе выразить удивление:

— Несмотря на его популярность в войсках?

— Плевать на его популярность! В войсках популярен должен быть только один человек — я.

Бронированный автомобиль в тот же день вынес их за город. Мчались на Симферополь. Врангель велел гнать вовсю. Нужно было поскорее тушить пожар, поскорее исправлять положение, создавшееся по вине Слащева. Выскочка! Молокосос! Полководческих лавров захотелось, играл с огнем, вот и доигрался. Однако нет худа без добра: у красных появился тет-да-пон, зато навсегда избавился он теперь от Слащева — безо всяких выгонит из армии, умалишенным его объявит, душевнобольным. В тыл, в Константинополь загонит он его! Войскам не нужно двух вождей! То, что история доверила ему, Врангелю, он не намерен делить ни с кем!

В Симферополе настроение главнокомандующего было окончательно испорчено незначительным на первый взгляд инцидентом. При выходе из машины он случайно

встретил идущего с каким-то священнослужителем знакомого жандармского полковника, которого, как помнилось ему, он недавно направлял на позиции. Спросил, где тот служит.

— Пребываю в распоряжении генерала Слащева.

Самое имя Слащева взбесило Врангеля. Еле сдерживая себя, он повернулся к Шатилову:

— Есть такая должность — «пребывать в распоряжении Слащева»?

— Нет, конечно, — откликнулся Шатилов.

— Кроме того, — растерянно забормотал полковник,— я еще пребываю в распоряжении епископа Вениамина.

— В таком случае, где же кадило?— поднял брови Врангель.— Вам нужно кадило в руки! — И, обернувшись к страже, добавил: — Снять с него погоны! Кадило ему дать!

Даже в штабе долго не мог успокоиться.

— Подумать только, какая наглость... Дворянин, потомок старинного рода и по тылам слоняется!

Зато потом отвел душу разговором со Струве, с этим седовласым, всегда неопрятно одетым стариканом, своим министром иностранных дел.

Белый дом решил наконец открыто оказать энергичную поддержку Крыму. Только что по радио передана нота государственного секретаря Кольби, в которой перед лицом всего мира заявляется, что США никогда не признают Советское правительство. Как это кстати именно сейчас!

— Поручите нашему представителю в Вашингтоне выразить нашу искреннюю благодарность американскому правительству за этот шаг... Что из Парижа?

— С часу на час ждем официального подтверждения: Франция признает наше правительство де-факто.

Все это были весьма важные, весьма утешительные вести: союзники верят ему, верят в него; жаль только, что этот каховский нарыв появился так некстати...

К удивлению своих штабных, Врангель тут же приказал всю конницу Барбовича — пять тысяч сабель — немедленно снять из-под Серогоз и бросить на Каховку, на ликвидацию плацдарма.

XIII

Оборонные работы на плацдарме были в самом разгаре — тысячи людей, сверкая голыми спинами, еще только начинали рыть траншеи и окопы для стрельбы, еще из плавней только подвозили свежие ивовые колья для проволочных заграждений, еще все здесь было незакончено, разрыто, похоже на огромный, необозримый субботник, когда со степи на плацдарм внезапно налетела врангелевская бронекавалерия.

Сочетание первоклассной конницы с массой бронемашин создавало такую силу, перед которой, казалось, устоять невозможно. Казалось, все будет сметено с лица земли вихрем взметнувшихся для рубки сабель, стальным ударом броневиков... Однако защитники плацдарма не дрогнули перед этим черным шквалом.

— По кавалерии противника залпами! Пли! — покатилось по плацдарму из конца в конец.

Отбитая, рассеянная лавина атакующих, отпрянув, бросилась на другие участки, искала стыков, слабых мест и, видимо, находила их, прорывалась в тыл, ибо грохот и шум боя уже поднимался за спинами тех, которые непоколебимо стояли в траншеях.

Бой начался на рассвете и длился уже бесконечно долго, солнце поднялось высоко и выпило в степи августовскую росу, а кони все еще носились по полю, клинки сверкали, снаряды разрывали землю и кровь лилась.

Положение защитников плацдарма с каждым часом ухудшалось. Таяли патроны. В траншеях было полно раненых. На руках у Яреська умирал его товариш Мишка Перелаз из Хоришек, рядом бойцы делились последними патронами, и самому Яреську уже нечем было стрелять — кучи пустых гильз валялись под ногами. Бой не затихал ни на минуту, весь плацдарм словно горел, в раскаленном воздухе стоял неумолчный гул, а где-то сзади уже слышен был топот вражеской конницы, пролетающей через окопы с яростным криком: «На переправу!»

Изошел кровью, в последний раз вздохнул на руках у Яреська товарищ, промолвив одно только слово:

— Передай...

Что он хотел передать? Кому?

Яресько и Левко Цымбал осторожно кладут его на дно чадного солдатского рва, где уже немало лежит отстрелявшихся навеки.

Из степи, то скрываясь в складках местности, то снова появляясь, приближаются броневики. Вот один взобрался уже на окоп первой линии и начал оттуда поливать пулеметным огнем. Пули ложатся совсем рядом с окопом Яреська. Кто-то вскрикнул, повалился на дно траншеи... Убит или ранен? Слышно, как невдалеке суровыми голосами перекликаются между собой латыши:

— Патронов!

— У кого есть патроны?

Затянутое пылью небо, горячий воздух,— от солнца или от пальбы? — кучи пустых гильз под ногами... Так, значит, это он и есть — конец всему? Вот здесь, в выжженной степи под Каховкой, на разрытой, угарно горячей земле плацдарма?

Яресько смотрит на свой штык. Сверкающий тульский штык — вот все его достояние и надежда. Остается им теперь лишь голое отчаяние — удар в штыки, а там — почти верная гибель под саблями, под копытами, под тяжелыми броневиками. И вот в этот, казалось бы совершенно безвыходный, момент вдруг пронеслось откуда-то со стороны Днепра, невыразимо радостным криком прозвучало среди бойцов:

— Сибиряки!

— Сибиряки идут!

— Блюхер привел!

Казалось, уже одна эта весть способна была удесятерить силы защитников плацдарма, одна способна была спасти им жизнь! Появление свежих войск, боевой натиск уральцев и сибиряков решил судьбу плацдарма: бронекавалерия была отбита.

На поддержку артиллерии, которая била и била по противнику, из-за Днепра — не в первый ли раз за время боев? — поднялись в небо красные аэропланы и, догоняя рассеянную в степи врангелевскую конницу, сыпали им на головы тучи острых металлических стрел, выкованных в недалеком тылу на екатеринославских заводах специально для борьбы с конницей противника. Стрелы были небольшие, однако с лету они смертельно ранили людей и лошадей. Преследуемый огнем артиллерии, мечась под железным дождем свистящих стрел, сыплющих-

ся на конницу с неба, противник быстро откатывался в степь.

— Вперед! Крой вперед! — неслось над усеянной стрелами степью, по которой уже наступала красная пехота.

Яреськовым хлопцам из пополнения, да и ему самому, казалось, что теперь уже всё: будут гнать без памяти, загонят на край света. Однако в первом же селе пришлось задержаться: навстречу им под натиском белых откатывался какой-то полк, с тревогой передавали, что один из батальонов этого полка только что был окружен в поле вражеской конницей и вырублен до последнего человека и что беляки, подтянув значительные резервы, снова пытаются зайти в тыл, отрезать красных от плацдарма.

Всем имеющим оружие — независимо от того, к какой части они принадлежали,— приказано было немедленно занимать оборону по околице села. Винтовки убитых (а их оказалось немало) роздали местным крестьянам, многие из которых наравне с красноармейцами тоже заняли оборону по огородам. Из степи, отстреливаясь, все время отходили к селу то большими, то меньшими группами красноармейцы разных частей и приносили страшные вести: врангелевцы добивают раненых, давят броневиками нашу пехоту в степи.

На все село один колодец. Возле него — столпотворение. Бойцы, сменяясь, вертят ворот, и ведра, тяжело покачиваясь, безжалостно разливая воду, поднимаются вверх. Делят чуть ли не по глотку: люди и кони не пили с утра.

Уже под вечер со степного кургана в село перебрались пулеметчики со станковым пулеметом, валясь от усталости добрела пешая разведка какого-то полка, прискакало несколько всадников на низкорослых алтайских конях. В одном из них Яресько узнал взводного Старкова. Окликнул.

Оба обрадовались, увидев друг друга.

— Вот так встреча! Вот где судьба нас свела! — воскликнул Старков.

Привязав своего коня неподалеку под деревом, Старков прилег рядом с Яреськом.

— Хороший скакунок,— похвалил Яресько.— Твой или тут уже где-нибудь подхватил?

— Это моего товарища конь, он в конной разведке был,— с грустью пояснил Старков.— Подумать только: Сибирь прошел — ни разу нигде не задело, с Байкала вот куда добрался, а тут...— Он тяжело вздохнул.— Картечью вон там, за курганом... В сердце, наповал. Мы с ним еще с Урала были дружками, вместе воевать начинали. Словно вчера было, помню: метель, пурга, а наш рабочий отряд отступает по тракту в горы, к вершинам Урала, чтобы Колчак не достал... Какие холода стояли! Ветер бьет, мороз обжигает, а мы полубосые, в шахтерских курточках на «рыбьем меху»...

— У нас говорят — «ветром подбиты».

— Во-во! Ветром подбиты, на рыбьем меху...

В это время под свист пуль из степи прискакало еще несколько всадников, прибежала гурьба потрепанных пехотинцев, которые, утолив жажду, сразу же стали присоединяться к лежавшим в цепи. Среди тех, кто, прибежав, занимал неподалеку оборону, внимание Яреська привлек маленький, юркий китаец, промчавшийся перед ним и залегший в картофельной ботве лицом к степи. Он тут же стал заряжать винтовку. При этом он все время живо поводил глазами, словно бы присматриваясь, куда, в какую именно сторону лучше пальнуть.

— Китайчонок этот тоже из нашей дивизии,— промолвил Старков.— Даром что маленький, а в бою никогда не подведет.— И обратился к китайцу: — Жарко, товарищ Ли?

Не успел тот ответить, как по селу стала бить артиллерия. Один из снарядов разворотил сарай — жутко заревела скотина.

— Это они нас хотят в чистое поле выбить,— прижимаясь к земле, промолвил кто-то из бойцов.

— А шиш с маслом! — заметил на это Старков и обернулся к Яреську: — Как это по-вашему будет «шиш с маслом»?

— Не знаю,— потер лоб Яресько.— Наверное, «дуля с маком».

— Ну вот они и получат у нас шиш с маслом да дулю с маком,— сказал Старков и вдруг умолк, прислушиваясь: — Слышишь?

Где-то на противоположной окраине села лихорадочно застрочили пулеметы, послышалось далекое, приглушенное расстоянием «ура».... Трудно было разобрать,

кто именно кричал: ведь и те и другие могли кричать «ура».

Несколько снарядов один за другим громыхнули на огородах, совсем уже недалеко от залегших в цепи. Загорелась солома, под которой разместились раненые. Санитарки, ухаживавшие за ними, с помощью крестьян бросились оттаскивать раненых в глубь огородов, подальше от соломы, от пожара.

Взрывы грохотали один за другим. В воздухе густо жужжали пули. В предвечерней степи появились зловеще мечущиеся силуэты броневиков. Все ближе и ближе сверкали-вспыхивали огоньки выстрелов. Из глубины огородов, словно прямо из пылающей соломы, выскочил совсем молоденький боец-татарин без картуза и опрометью бросился к лошади сибиряка.

— Стой! Ты куда? — окриком остановил его Старков.

— Товарищ командир... Беляк уже в селе... Бронемашин гуляй по дворам... Всю нашу восьмую роту беляк руби, руби!

Страшный грохот заглушил его слова: снаряд попал прямо в пылающую скирду, пламя, разметанное взрывом, поднялось еще выше, осветило все вокруг, и вместе с клочьями огня, вместе с вихрем разметанных во все стороны искр бесследно исчез и он, этот перепуганный паренек татарин, который, видно, впервые участвовал в бою. Убежал? Погиб? Впрочем, думать о нем было некогда: Яресько, Старков и все лежавшие рядом с ним уже дружно открыли огонь по вечерней степи, по ее мягким пепельно-серым сумеркам; видно было, как белые, сгибаясь за бронемашинами, бросками приближаются к селу. Стрельба трещала уже где-то в селе, пули посвистывали со всех сторон.

В тот момент, когда Яресько заряжал винтовку, за спиной у него послышался какой-то шелест в картофельной ботве. Оглянулся — на четвереньках подползает крестьянин, запыхавшийся, взъерошенный, с проседью уже — видно, хозяин этого двора.

— Хлопцы, вы ежели что... У меня есть погреб потайной... Сам от кадетов скрывался и вас спрячу! А пока что возьмите который вот эту тыкву, может, пригодится...— И, пошарив в ботве, дядько протянул Старкову большую бомбу, которая и в самом деле смахивала на тыкву.

Старкова это, видно, взволновало.

— Скажи на милость! — обратился он к Яреську.— А ведь поговаривал кое-кто: хохлы, мол, такие-сякие, сплошная махновщина. А я вижу — добрый, душевный у вас народ!

Пули свистели все чаще, кольцо, видимо, смыкалось, и чей-то командирский голос уже отдавал приказ перебежками пробираться на западную окраину, быть может, оттуда удастся под покровом ночи пробраться к своим...

— Подожди, браток, коня надо захватить,— бросил Старков Яреську и, вскочив на ноги, кинулся через огород к коню. Но не успел он пробежать и десятка шагов, как из-за пылающей скирды соломы прямо на него вылетел броневик. На какое-то мгновение они словно окаменели друг против друга, освещенные жарким пламенем,— человек и броневик. Потом Старков как-то странно наклонился, словно решив прямо головой нанести удар в броню, и рванулся вперед; в руках у него сверкнула бомба... Вот он размахнулся и с силой бросил ее. Грохнул взрыв, сорвав со скирды целую тучу горящей соломы, пепла... Когда пепел рассеялся, броневик уже стоял как-то торчком, а Старкова не видно было вовсе, только потом заметили его — он лежал темным бугром в картофельной ботве среди развеянного пепла, среди гаснущих на картофельной листве искр.

Яресько и дядько подбежали к нему.

— Умираю... Умираю! — корчился он, хватаясь за грудь, и, заметив над собой Яреська, вдруг крикнул с силой: — Бери коня! Спасайся! Передай... за революцию Старков... — И затих,— затих навеки...

— Беги! Я похороню,— крикнул дядько Яреську, и Яресько, подлетев к коню, быстро отвязал его, вскочил в седло.

Он уже был за садами в степи, когда перед ним неожиданно, словно из-под земли, снова вырос тот мечущийся паренек татарин. Он что-то кричал, размахивая руками. Яресько придержал коня.

— Чего тебе?

Боец подбежал ближе:

— Возьми меня!

Их, видно, заметили и откуда-то секанули по ним

пули засвистели у самых ушей. Раздумывать было некогда.

— Хватайся за стремя!

Боец ухватился.

— Не отставай!

Данько пустил коня в карьер.

На западе еще не совсем стемнело: было видно, как и там, на линии горизонта, на фоне еще алеющего неба разгуливают броневики. Пули с раздражающим звуком пронизывали степь во всех направлениях, и, может, потому она, эта родная чабанская степь, показалась Даньку какой-то незнакомой, он мог бы даже заблудиться в ней, но по еще не потухшему свету заката нетрудно было определить кратчайший путь в сторону Днепра, к плацдарму.

Товарищ, вцепившийся в стремя, бежал быстро, но, не будь его, можно было бы мчаться вдвое быстрее, можно было бы уже выскочить из-под пуль, которые жужжат, и жужжат, и жужжат в воздухе. Однако ведь не бросишь его, не бросишь!

Время от времени наклонялся к нему:

— Выдержишь?

Тот в ответ только кивал головой: дескать, выдержу, гони.

Мчались изо всех сил, но пули летели еще быстрее, все время то ниже, то выше посвистывая над степью.

Под пение пуль, под свист воздуха в памяти Данька почему-то возникла Каховка, залитая солнцем ярмарка, и в людской толпе — слепой лирник, который пел-рассказывал «Думу про трех братьев Азовских»: думу о том, как бежали они степью от татар к реке Самарке и как бросили в пути меньшего брата, который вот так же цеплялся за стремя...

> Коні за стремена хапає,
> А словами промовляє:
> «Не хочете мене між коні узяти,
> Возьміть мене постріляйте-порубайте,
> А звіру та птиці на поталу не подайте».

С тех пор Данько никогда больше не слышал этой думы и сам ее не пел, но сейчас, в этой вечерней степи, под скрежет врангелевских броневиков она почему-то вспомнилась и не покидает его, словно в воздухе звенит,

далекая, задумчивая легенда. Она, кажется, наполняет собой всю степь, подернутую вечерней дымкой...

> Будемо тобі верховіття у тернів стинати,
> Будемо тобі на признаки на шляху покидати...

— Выдержишь?

И снова кивок головы.

Так, не споткнувшись, и промчался он степью у стремени Яреська до первых окопов плацдарма.

А на рассвете снова была атака, шли на восток по скупым августовским росам, и, выбив врангелевцев из села, красные бойцы принесли спасение тем, кого еще можно было спасти. Укрытые населением раненые красноармейцы по всему селу выбирались из погребов, спускались с чердаков, вылезали из соломы, которую врангелевцы, разыскивая красноармейцев, всю ночь прощупывали саблями и пиками. И даже если кого-нибудь настигла в соломе острая пика или сабля, он, стиснув зубы, молчал, терпел до последнего, чтобы не выдать себя и товарищей.

Спасенные, вызволенные радостно бросались теперь навстречу своим. Не бросился только навстречу Яреську взводный Старков, синеглазый уральский шахтер, который, умирая, передал ему своего коня и тем самым, быть может, спас его от сабли беляка... Там, где упал Старков, на припорошенном пеплом картофельном поле, только кровь впиталась в землю да мрачно чернел на погребе, возвышаясь над степью, обгорелый вздыбленный броневик.

XIV

Бои в этом районе теперь не прекращались ни днем, ни ночью: то враг бросался штурмовать плацдарм, то, наоборот, защитники плацдарма, вырвавшись на простор, отгоняли противника далеко в степь, снова потом возвращаясь под натиском его превосходящих сил в траншеи и окопы плацдарма, под укрытие укреплений, которые тут беспрерывно строились и строились.

Возникновение каховского плацдарма, этой постоянной угрозы Перекопу, заставило Врангеля прекратить

наступление на Донецкий бассейн и лучшие свои силы бросить против Каховки. Но хотя он и перебросил сюда, сняв с других участков фронта, вслед за бронекавалерией Барбовича знаменитую свою корниловскую дивизию и другие части, ликвидировать каховский тет-де-пон так и не удалось. Потери были угрожающие. Сейчас, как никогда, он ощутил потребность в большой, подлинно неисчерпаемой армии.

Но где же она?

Кубань не оправдала его надежд. Сначала все как будто предвещало успех десанту генерала Улагая. Высадившись под прикрытием корабельной артиллерии в станице Приморско-Ахтарской, войска его десанта, разбившись на три колонны, повели энергичное наступление в глубину Кубани. В первые же дни были заняты станицы Тимашевская, Брюховецкая, открылась возможность идти на Екатеринодар, который был недостаточно прикрыт красными войсками. Однако, выполняя твердое указание Врангеля, генерал Улагай вынужден был временно прекратить наступление, чтобы провести мобилизацию среди населения захваченных станиц. Но тут, как и в таврийских селах, крымских пришельцев ждало горькое разочарование. Трудовое казачество не захотело признать Врангеля своим вождем, не пожелало пополнять его поредевшие в боях части. Так и не развернулись роты в полки, а полки в дивизии. Под ударами красных войск, которые вскоре перешли в наступление, десантники вынуждены были сдавать станицу за станицей, с каждым днем все быстрее откатывались к морю, к своим кораблям. В конце августа последние корабли Улагая, покинув кубанские берега, двинулись снова на Крым. Кубань не приняла их, отвернулась от них. Весь белый Крым уже признал это, не хотел признавать один только Врангель. В то время когда в Керчи с кораблей выгружали остатки его так бесславно вернувшегося десанта, он в своих интервью иностранным корреспондентам объяснял терпеливо, с внутренней убежденностью, что его десант не разбит — он сам отозвал его с Кубани, поскольку этого, дескать, требуют другие, далеко идущие стратегические замыслы.

После неудачи на Кубани, после того как на Дону такая же участь постигла полковника Назарова, послан-

ного туда с большим отрядом, а возвратившегося в Крым лишь со своим ординарцем, проблема пополнения армии людьми встала перед Врангелем еще острее. Ищущий, голодный взгляд его обратился снова на север, на Украину. По почину самого Врангеля в Крыму в это время все шире рекламировался якобы установленный им дружеский контакт с «повстанческой армией батька Махно». На самом же деле ни один из многочисленных гонцов, которых Врангель одного за другим посылал в Гуляй-Поле, до сих пор не вернулся. В чем дело? Где они застряли? Из Парижа быстрее доходят вести, чем из Гуляй-Поля!

XV

Среди ослепительной необозримой степи вдруг вишневые сады, словно кровью обрызганные.

Зеркало воды сверкает в широкой балке.

Подсолнухи — выше соломенных и черепичных крыш...

Это Гуляй-Поле.

Прогуливаются по центральной улице городка девчата в пестрых лентах, грызут семечки, перешучиваются с чубатыми махновскими «сыночками», которые не снимают своих хромовых кожанок даже в такую жару. Сверкает оружие, горят ленты, широкие гармонии то тут, то там наяривают «Яблочко» — махновский гимн. С тех пор как стало Гуляй-Поле махновской столицей, «степным Махноградом», здесь отвыкли работать, перешли на легкий хлеб: словно контрабандистское гнездо, Гуляй-Поле живет теперь военной добычей своих «сыночков» — пьет, гуляет, прогуливая награбленное барахло, каждое воскресенье играет гульбища-свадьбы.

У кого ж это сегодня такая пышная свадьба? Бубны звенят на все предместье, песни разносятся по садам — это батько Махно женит одного из ближайших своих людей, телохранителей, Агея Шинкаренко, взводного из Волчьей сотни.

Двор гудит под каблуками. Круг, на котором танцуют, все время поливают водой: горячая земля сохнет, и вскоре из-под каблуков уже снова разлетается пыль, тучей окутывая танцующих. Раскрасневшиеся лица, мокрые чубы, однако никто не сдается — кто попал сюда,

танцует до упаду. Тяжело, как сбруя иа конях, позвякивает оружие иа таицорах, притягивают взгляд красные вышивки широких полотняных рушников иа свадебных дружках...

Таким же рушником повязан через плечо и сам батько-атаман. Впрочем, он не таицует, сидит в хате и молча пьет. Хата богатая, когда-то его, глииищанского голодраица, сюда бы и на порог ие пустили, а сейчас вот посадили в красном углу, под свадебиым деревом, и сам хозяин в рубахе с вышитой маиишкой предупредительно суетится перед ним, собственноручно подиосит закуски:

— Кушайте, кушайте, Нестор Иваиович!

Хозяии из тех разбитиых гуляй-польских подводчиков, которые до революции разбогатели на торговле хлебом и перед войиой уже настолько почувствовали свою силу, что ие разрешили железнодорожную станцию строить в самом Гуляй-Поле, а отодвинули ее от местечка подальше, в степь, чтоб зарабатывать на перевозках хлеба...

— Кушайте, кушайте, Нестор Иванович!

Этот мироед-подводчик чем-то неуловимо похож на другого такого же кулака, скопидома Кирика Васецкого, который после тысяча девятьсот пятого года выдал жандармам на расправу гуляй-польских юных анархнстов. Возвратившись с каторги в семиадцатом, Махно прежде всего пожаловал в гости к этому Кирику, вывел его на улицу и тут же перед домом уложил навеки носом в пыль.

Он любуется собой: пришел с каторги, разметал врагов, до основаиия повырубил вокруг Гуляй-Поля колоиистов, у которых с малых лет батрачил, телят да свиней пас. О, это беспросветное сиротское детство, без боли не может он вспомииать о нем! Голова упала иа руки, Махно склонился над столом в глубоком раздумье. Свииопас у богатых колонистов... Еще и от земли тебя ие видно, а ты уже в иеволе, кто-то уже помыкает тобой! Все лето кслешь ноги по чужому жнивью, и как ноги в язвах все лето кровоточат, так детская душа кровоточит от повседневных обид и надругательств. Не оии ли, эти детские обиды, и искалечили тебе душу, не тогда ли еще накапливалась эта горькая, ненасытная жажда мести, которая и до сих пор жжет, не дает тебе покоя?

Видит себя юным террористом на суде: подросток, приговоренный к повешению. Он не сомневался тогда, что царь повесит его, не простит ему отчаянных, безумно смелых его экспроприаций. Выручила молодость — смертный приговор заменили пожизненной каторгой.

Колодник... вечная каторга, вечная неволя... Темнота и смрад тюрьмы, где запахи ароматной степи и блеск гуляй-польского солнца ему только грезились во сне! Не там ли за одиннадцать лет разучился смеяться, радоваться, как все люди, так что на эту махновскую свадьбу уже ничего не осталось? Вспомнилось, как пытался зубами перегрызть кандальные цепи в Акатуе. Забившись в угол, он, подобно затравленному упрямому зверьку, грызет и грызет по ночам железо. А когда попытка бежать провалилась, захирел, пал духом, конец бы ему, если б не революция...

Семнадцатый год! Из карцера — прямо в Гуляй-Поле! Свобода, как степь!

Можно ли от нее, от вольной воли, отучить когда-нибудь человека? Не за одиннадцать — за сто одиннадцать лет? Чтобы человек совсем забыл об этом, чтобы перестал стремиться к ней, к безграничной, как небо, свободе?

«Нет такой силы, чтоб от воли отучить,— сказал ему однажды в степи старый пастух.— Как орла не отучишь летать, так человека не отучишь стремиться к этому...» Да, к ней, к свободе, всегда будет порываться человеческая душа! За свободу, не за что иное, он со своими «сыночками» бьется — так по крайней мере кажется ему. Но почему же так тяжко становится иногда на душе? Почему и сейчас вдруг начинают вставать перед его затуманившимся взором то перекошенные ненавистью лица казненных продотрядовцев, то крестьяне комбедовцы, зарубленные где-то на сходке, то галещанские красные медсестры, чьи предсмертные крики и до сих пор звучат у него в ушах: «Так вот какова твоя свобода? Будь же ты проклят с нею вместе, палач!»

Но прочь, прочь с глаз гнетущие, как бред, картины!

Ура, ура, ура!
Мы підем на врага!
...За матінку Галину,
За батька за Махна!

Он привык уже к тому, что его повсюду зовут батьком. Вспоминает, как повстанцы впервые нарекли его этим именем в Дибривском лесу. Было это сразу же после того, как он с первыми своими партизанами разгромил в колонии Блюменталь гетманскую стражу и батальон австрийских войск. Ни одного из захваченных гетманцев не оставил тогда в живых. С австрийскими же солдатами, которые сдались ему в плен, он поступил иначе: напоил пьяными и отправил всех пешком на станцию с приказом, чтобы немедленно убирались прочь с Украины. Каждому из австрийцев выдал на дорогу по пятьдесят рублей деньгами и по бутылке водки, чтобы они и там, у себя в Вене, вспоминали Гуляй-Поле.

То была — он это сейчас чувствует — лучшая пора его жизни. С каждым днем росло его войско, к признанному всеми батьку, которому еще и тридцати не было, присоединяются отряды Щуся, Белаша, Удовиченко... На подступах к Екатеринославу его многотысячная повстанческая армия вступила в бой с петлюровцами и вместе с рабочими екатеринославских заводов выбила «добродиев» из города. Это принесло ему, пожалуй, самую большую славу в народе. Вскоре он уже «комбриг Третьей Заднепровской», и Дыбенко от имени красного командования жмет ему руку, поздравляет с присвоением высокого революционного чина... Но в городе грабежи, «сыночки» перепились, распоясались... Екатеринославский ревком хотел обуздать их, но где там!

— Уздечку?

— Мы стихия!

— Мы по вашему же лозунгу: «От каждого по способностям, каждому по потребностям», ха-ха-ха!

Ему, батьку Махно, было приказано унять свою буйную степную вольницу. Но разве мог он ее унять, утихомирить, да и хотел ли? Что осталось бы от него самого, если бы он пошел против этой разбушевавшейся силы-стихии, которая сделала его атаманом, которая поставила его своим верховодом? Впервые тогда закралось в его душу сомнение: кто кого ведет? Он ли ее или она, эта буйная стихия, влечет его за собой? Видно, все-таки она, ибо он не смог противостоять ей: разругавшись с красными, снова ушел в степь, пугая детей по селам грохотом тачанок да черным вихрем своих знамен: «Смерть комиссародержавию! В крошево комбедовцев!»

Растаяла тогда его армия. Впоследствии не раз будет происходить это с ней: то вдруг подымется прибоем до неба, то осядет, растает до горстки ближайших сторонников с десятком тачанок...

Ура, ура, ура!
За батька за Махна! —

до хрипоты орут за окном братья Задовы, «короли сифилиса», заправилы его махновской контрразведки. Если нужно кого-нибудь потихоньку убрать, «украсть», Махно поручает это им. На Елисаветградщине, объединившись с Григорьевым, прибрал Григорьева. Позже, заключая договор с Петлюрой, имел тайное намерение расправиться и с Петлюрой, но, к сожалению, не удалось, хотя для этого и была создана им специальная террористическая группа. Не желает он иметь на Украине соперников-атаманов: хватит с Украины и его одного. Его нынешняя любовница, гуляй-польская учительница, говорит, что он в последнее время стал слишком уж недоверчив, всех подозревает, всюду мерещатся ему происки чекистов, всюду слышатся сговоры соперников — претендентов на его атаманскую власть. Может, и в самом деле он преувеличивает окружающую его опасность? Но если бы он не был таким зорким и осторожным, давно бы его уже съели! Раз и навсегда установил для себя правило не доверять до конца никому — ни мечтателям-набатовцам, ни ближайшим боевым сподвижникам, с которыми вместе закапывал ночью бочки с золотом в Дибривском лесу. Особенно же не доверяет он женщинам — всяким бродячим девкам, которых всегда полно в Гуляй-Поле. Цыганка ворожея, повстречавшаяся недавно в степи, сказала, что погибнет он от женской руки,— какая-то подосланная чекистка-актриса подаст ему бокал с отравленным вином... Вот почему он теперь в три шеи гонит из Гуляй-Поля актрис и, боясь отравы, крайне подозрительно принимает женские ласки.

Хочется еще пожить. Цистерны спирта стоят на станции — подходи и пей, кому не лень... В тупиках накопилось множество вагонов, груженных разным добром: сахар, сукно, мануфактура. Кажется, только бы и веселиться. Почему же так горько, так неспокойно на душе? Смерти, конца боишься? Пока не был атаманом, пока не имел в руках безграничной власти, никогда столько не думал о себе, не трепетал за свою жизнь, не знал страха.

Тюрьма научила не дорожить ни своей жизнью, ни чужой. А сейчас, укладываясь спать, выставляет усиленную охрану, верный Али всю ночь, как пес, неотлучно сидит на пороге, глаз не сомкнет. Чем дальше, тем все гуще окружает себя частоколом доносчиков, все бдительнее подбирает любовниц, все строже отбирает телохранителей в состав личной охраны — своей доверенной Волчьей сотни... А как же иначе? Ведь он теперь — батько-атаман, вождь! За ним охотятся, да! Он величина! Да! Его жизнь теперь, быть может, стоит нескольких тысяч простых, обыкновенных, рядовых жизней. Громкая, молодецкая, точно буйный посвист в степи, она, его жизнь, обрела и славу и всемирную ценность, она сейчас позарез нужна массам таких... таких, как кто?

— Кушайте, кушайте, Нестор Иванович.

Кто это? Снова этот коршун, этот подводчик со своим жареным поросенком на тарелке, с сальной улыбкой на губах...

— Брысь!

— Кому это вы?

— Тебе говорю: брысь!

Гады, подумать не дают! Им веселье, а кому-нибудь, может, уже и похмелье. Почему-то очень не по себе; может, вместо актрисы-чекистки кто-нибудь другой сегодня уже подсыпал ему яду? Каким словом вспомнит о нем Украина, когда погибнет он, пропадет? Или, может, жизнь его, как черный метеор, как эта лакированная черная тачанка, что степью промчится — и ветер за ней пыль развеет? Во дворе бубен гудит, дрожит земля — гуляют его «сыночки». Перед этим сто двадцать верст отмахали, чтоб только поспеть домой к воскресенью. Это так уж у них повелось: где бы ни были, в каких бы краях ни рыскали, а на праздник, на воскресенье — хоть гром с неба — хлопцы его должны быть в Гуляй-Поле. Вражеские заставы прорвут, коней загонят, только бы примчаться в субботу вечером под сень родных садов — кто к девушкам, кто к женкам, а кто к гуляй-польским проституткам... А к кому сам он мчится сюда, к кому спешит?

Душно становится жить, ох, как душно!.. Куда ни мчится на своей тачанке, всюду преследуют его призраки тех, кого зарубили топорами его «сыночки», кому повыворачивали руки, повыкалывали вилками глаза... Вопиют замученные дети, обесчещенные девушки, незаможники

и продагенты с распоротыми животами, в которые «сыночки» насыпали зерно... Бои, грабежи, разгул... Всю весну и лето в рейдах, кочует, как половец; и сам никогда не знает, где будет ночевать, куда двинется завтра и послезавтра его буйная республика на тачанках. Раньше хоть в гуляй-польских оргиях находил забвение, теперь ему уже тоскливо и здесь. На чужой свадьбе гуляет, чужую водку пьет... Нет ни родных, ни близких. Пустырем стоит тот двор, где он родился, на том месте, где когда-то стояла отцовская халупа, теперь одна лишь крапива растет, выше него, Махно, вытянулась!

Пальцы впиваются в длинные космы, в горле застревает горячий клубок... Однако ко всем чертям эти терзания! Махно не сдастся, вам понятно? Да! С грохотом сбрасывая посуду, встает и, твердо ступая, чтобы не покачнуться, выходит из хаты. Солнце так и слепит. Пьяные морды, мокрые чубы, рушники на плечах. Разноцветные ленты в косах девчат.

— Батьку, просим!

— Для батька, играй!

А он, не обращая внимания на музыкантов, уже встретился взглядом с седым худущим волкодавом, который лежит у амбара на цепи. Пес, а глаза умные, как у человека, кажется, хочет что-то сказать батьку. Махно неторопливо идет на него.

— Батьку, покусает!

Умолкла музыка, замер весь двор.

— Батьку, не подходи!

— У него клык такой — человека растерзает!

А Махно словно не слышит предупреждений. Заложив руки за спину, шаг за шагом приближается к амбару. Присел перед псом, и так сидели они какое-то мгновение друг против друга, будто молча советовались о чем-то. И пес, который другого порвал бы в клочки, горло перегрыз, тут даже не зарычал. Притих, как загипнотизированный... Махно не спеша спустил его с цепи, взял за ошейник и, ни на кого не глядя, повел в дом.

Посадил его за столом рядом с собой.

— Угощай, хозяин, и его: я для вас свободу стерегу, а он — амбары.

Так и сидели мрачно вдвоем — он и тощий цепной пес, пока вдруг не раздался за окнами топот — въехали во двор тачанки.

XVI

Там, где только что плясали, где земля гудела под каблуками, уже стоит несколько запыленных тачанок с пулеметами, направленными во все стороны, даже в окна хозяина. Загорелые хлопцы из полевого дозора выволакивают из передней тачанки опутанного вожжами толстяка офицера. Грузный, бритоголовый, глаза завязаны, рот заткнут какой-то портянкой... На плечах сверкают полковничьи погоны. Плотной толпой окружили его гуляющие махновцы. Что за птица? Каким ветром занесло его сюда? Разве не слыхал он, что в Гуляй-Поле погоны таким, как он, гвоздями к плечам прибивают. Махновская республика без погон живет!

Так с завязанными глазами и вытолкнули его в круг.

— Танцуй!

Офицер упирается.

— О, да он еще и не желает,— поддает ему коленкой под зад кто-то из махновцев.— Спотыкаешься? Подкуем!

— Гвоздями пристегните ему погоны к плечам, тогда сразу затанцует.

Из хаты неторопливо вышел Махно.

Старший из дозорных — рыжебровый матрос с вылинявшей едва заметной надписью на бескозырке «Дерзкий», схватив офицера за рукав, потащил его к Махно.

— Гостя вам, батьку, привезли! Посланец от черного барона.

Рот заткнут — не приказал освободить. Глаза завязаны — не велел развязать.

— Чего он хочет?

— Врангель, говорит, союз предлагает с Гуляй-Полем заключить. Украину, говорит, вам отдаст.

— Нам дареной не нужно,— обозлился Махно.— Она и так наша!

— Не к лицу нам, батьку, с беляками союзиться,— загудели в толпе.— Не раз уже видели мы, что они с Украиной творят.

— С генералами пойдем — мужики от нас отвернутся!

Отвернутся — это он хорошо понимает. Пока шел против Деникина, его войско словно на дрожжах росло, а как только повернул против красных, сразу растаяло,

один этот гуляй-польский «гордый район» верным ему остается...

— Батьку, может, глотку ему откупорить? Может, послушать желаете?

— А что мне его слушать? — Махно сердито встряхнул своими маслянистыми жесткими космами.— С Григорьевым в союзе был, с Петлюрой был, с красными был! А с беляками не был и не буду!

— Верно, верно! — вырвалось из крепких глоток «сыночков».— Не желаем за барона свою грудь под пули красным подставлять!

Схватив вожжи, которыми офицер был связан, Дерзкий посмотрел на Махно.

— Куда прикажете, батьку?

Махно резким движением руки показал вверх, на толстый сук колючей акации.

— Туда!

Махновцы захохотали.

— Наверх! Поближе к пророку Илье, который по небу на своей тачанке раскатывает!

Через минуту во дворе уже снова ударили бубны: свадьба продолжалась...

XVII

В степи близ Каховки тысячи людей под палящими лучами солнца копают землю, строят плацдарм.

С каждым днем все больше в степи становится разрытой земли, все гуще колючая проволока, которой опоясывают этот клочок отвоеванной у врага земли.

Внешняя линия обороны тянется степью верст на сорок, глубина плацдарма — от внешней его линии до Днепра — достигает двенадцати верст. Вся эта отбитая у белых территория с селами Софиевкой, Любимовкой, Большой и Малой Каховкой, с нивами и приднепровскими виноградниками, степными курганами и разбросанными по полю копнами хлеба называется теперь плацдарм. Все это нужно защитить, удержать, отстоять во что бы то ни стало. Как только перестрелка затихнет или отодвинется дальше в степь, сразу же закипает работа — роют окопы, траншеи, волчьи ямы для танков, подвозят колючую проволоку, затесывают ивовые колья,

срубленные в плавнях. От широкой днепровской синевы, над которой возводятся дополнительные переправы, от душных плавней, где рубят дерево для плацдарма, и до просторов сухой, знойной степи — везде напряженно трудятся люди. Работают бойцы, работают командиры, все население приднепровских сел поднято на ноги и тоже брошено на строительство оборонных укреплений красного плацдарма. Идя по степи сквозь этот кишащий людской муравейник, уже и не разберешь, где здесь бойцы, а где местные крестьяне; одинаково сверкают, лоснятся потом обнаженные спины, одинаково энергично орудуют лопатами огрубелые, натруженные руки. Мужчины роют землю, женщины разносят еду, и даже детвора весь день таскает вдоль окопов ведра с водой.

Все пьют, пьют, пьют...

— Ну как: «Кую и пою»? — подтрунивал Данько над Левком Цымбалом, который, покрякивая, прокладывал рядом траншею в сухой, словно зацементированной земле.— Не угрызешь? Тут, брат, земелька твердая: это мы с твоим отцом когда-то ее так утоптали... Вон по той дороге Гаркуша гнал нас из Каховки на Асканию.

Не разгибаясь, орудует лопатой молодой Цымбал. Кажется, всю свою ненависть к мировой буржуазии и ее черному барону он вкладывает в эту работу.

— До воды докопаешься, пока выроешь «для стрельбы стоя со дна окопа»,— подпускают хлопцы шпильки в адрес Левка, намекая на его огромный рост.

Растет парень, как на дрожжах: давно ли, кажется, из дому, а уже рукава коротки и из штанов вырос — едва колени прикрывают. А ноги... Товарищи дразнят, что на такую лапу, как у Левка, во всей Красной Армии обутки не сышешь. Не раз уже земляки подзуживали, чтобы он померялся силой с латышами, которые любят в свободное время заняться французской борьбой, собирая вокруг себя толпу зрителей.

Левко все глубже вгрызается в землю. Только тогда и оторвался он от работы, только тогда и разрешил себе выпрямить спину, когда услышал веселые голоса каховских молодок, которые с кошелками приблизились к окопам.

— Латыш, кваску хочешь? — обратилась к Левку одна из них — чернявая, бойкая — и первому подает ему кружку с холодным квасом. Она почему-то принимает

Левка за латыша, видно, потому, что рослый такой да суровый.

Хлопцы шутят:

— У нашего латыша только зубы да душа!..

— А что еще нужно? — защищает молодка Левка.— Лишь бы душа, лишь бы сердце... «Хоть под лебедою — абы, сердце, с тобою»,— и так улыбается парню, что у того даже уши краснеют.

Разговорившись, хлопцы узнали, что молодица эта — вдова, сама и хлеб косила; вон там вдали, по ту сторону дороги, ее копны стоят... жалуется, что не с кем перевезти и смолотить этот хлеб.

— Вот как плацдарм достроим, тогда поможем и вам,— обещает ей Яресько.

— Хорошо, буду ждать,— говорит она, снова улыбаясь Левку.

— Ей-же-ей, у нее на нашего Левка виды,— переговариваются хлопцы, оставшись одни.— Чего доброго, еще и красную свадьбу здесь на плацдарме сыграем.

Данько в краткие минуты перекура задумчиво поглядывает в степь: отсюда ведь рукой подать до Наталки. А она там и не догадывается, что он так близко, что он уже под Каховкой — день хода от Чаплинки — землю долбит, оборонные позиции против врага возводит. Это здесь он впервые и увидел когда-то Наталку среди каховских песчаных кучугур, на краю ярмарки, когда она, худенькая, грустная, сидела с кружкой воды у изголовья умирающей матери. Как давно все это было! Так давно, что даже и не верится — было ли на самом деле. Конечно, трудно и сейчас, но как-то совсем по-другому трудно, так как теперь ты знаешь, ради чего приходится переносить все лишения, знаешь, что скоро им конец и совсем другая жизнь ждет тебя завтра...

Однажды Даньку пришлось присутствовать на большом красноармейском собрании, которое устроено было как раз на том месте, где когда-то происходили каховские «людские» ярмарки. Присев с хлопцами на песчаном холме, Яресько внимательно слушал оратора. Перед красноармейцами выступал Леонид Бронников. Говорил он о прошлом этого края, о тысячах и тысячах батраков-сезонников, которые ежегодно весной шли сюда на каховские «людские» ярмарки продавать помещикам свои мозолистые руки. О черных бурях говорил. О лету-

чих песках, которые на своем пути сметают все живое... О том, как паны грабили народ трудовой. В те времена ни во что не ставили трудящихся — их уделом были надругательства, бесправие, издевка.

Не захотел народ больше жить такой жизнью, поднялся против неправды, и ничто теперь не может остановить его, а народ этот — мы!

Данько радостно вздрогнул при этих словах, оглянулся на товарищей — мы!

Словно другими глазами смотрел он теперь на своих боевых друзей, расположившихся по холмам, словно иначе посмотрел и на себя: «Мы! Никакая сила уже не вернет нас к старому! Станем новыми людьми, как сказал Леонид».

— И хотя гремят еще в степи бои и рвутся снаряды, но, думая о завтрашнем дне, мы уже и тут, на плацдарме, должны учиться. Революции нужны сознательные бойцы, революция — это не только освобождение из-под классового гнета, это великий свет для трудового человека, и потому сегодня мы бросаем клич: «Террор темноте!»

«Террор темноте!» Под этим лозунгом в ближайшие же дни была развернута на плацдарме среди красноармейцев работа по ликвидации неграмотности. Не хватало тетрадей, не было грифельных досок — писали мелом на лопатах. Объявил террор своей темноте и Левко Цымбал. В детстве не во что ему было обуться, и потому он не мог зимой бегать в школу. Как почти все в его семье, даже фамилии не умел нацарапать. Зато сейчас на плацдарме Левко набросился на азбуку с голодной, ненасытной жадностью.

— Не я буду, если не избавлюсь от своей темноты!

Он оказался одним из лучших учеников в том кружке, которым стала руководить молодая учительница Светлана Мурашко, недавно прибывшая на плацдарм с херсонской агиткультбригадой. Не обычные были перед ней ученики.

— Учите нас, учите! — требовали настойчиво.— Хоть линейкой по ушам, только бы выучили! К черту темноту! Грамотными хотим ворваться в Крым!

— Штыками распишемся на спине барона!

Нелегко давалась хлопцам наука, нелегко было им зубрить азбуку в этой беспокойной степи, где шальные

пули жужжат во время занятий и боевым тревогам нет конца... Учиться в этих условиях удавалось только урывками. Однако не бросали — с охотой учились красные бойцы. Вгрызались в азбуку так же настойчиво, как вгрызались в твердую, неподатливую землю плацдарма. И, наверное, самым счастливым в жизни учительницы Светланы Ивановны был тот день, когда, подходя к своему «классу», она увидела поднятые над окопами лопаты, и на каждой из них была жирно выведенная мелом буква, из которых слагалось:

«Мы не рабы!»

XVIII

Артиллерия бьет под Каховкой, а на Гаркушином хуторе стекла звенят. Все лето на хуторе толкутся разные штабы. Одни со двора, другие во двор. Однако, несмотря на войну, которая гремит вокруг, несмотря на то, что неясно еще, чья возьмет, привычная работа на хуторе не прекращается. Целыми днями старик с Наталкой молотят хлеб на току. Хлебом-солью встречал Гаркуша кадетскую власть. На самую вершину ветряка взбирался, выглядывая крымчаков из-за Перекопа. Но когда они пришли и, не удовольствовавшись хлебом и солью, съели кабана и всех индеек, заплатив за это какими-то ничего не стоящими бумажками, старик заметно охладел к ним. «Видно, правду говорит Савка: не наша это власть... Пока не будет своей Украины, будут обдирать хутор как липку».

Врангелевцы хотели было назначить Гаркушу волостным старостой, но он отказался, сославшись на немощность: уже, мол, ноги не носят. На самом же деле к тому были другие причины: не совсем доверяет он этой кадетской власти, какой-то непрочной, недолговечной кажется она ему. «Болтают о Москве, а сами Каховку, которая под боком находится, не могут взять».

— Когда уже вы с этой каховской болячкой разделаетесь? — не раз с упреком обращался он к штабистам, имея в виду плацдарм.— Офицерские полки, а с какими-то голодранцами не можете справиться.

Штабной писарь, которому известно кое-что о Гаркушиных семейных тайнах, не упускает случая уколоть старика:

— А сыны ваши где? Тоже ведь скрываются от нашей мобилизации! Пусть уж голытьба бойкотирует, но вы же столыпинцы! На ваших сыновей, можно сказать, вождь все надежды возлагал...

И тут же нудно и пространно начинает перечислять все, чем белый вождь облагодетельствовал и еще облагодетельствует таких, как Гаркуша. Дает им и то и се...

— А Украину он нам даст?

— Украину? — врангелевец пожимает плечами. Потом начинает рассказывать, что из Парижа в Крым на днях по приглашению главнокомандующего прибыли представители какого-то «Украинского комитета» и что будто бы вождь сам лично ведет с ними переговоры...

— И на чем же они там сговорились?

— Ну, об этом еще рано...

«Ну, а ежели рано, ежели Украину не даете, то и я не дам же вам ни сыновей, ни коня, ни сала!»

И стал Гаркуша припрятывать от них, не хуже чем от красной продразверстки прятал. Что днем смолотит на току, ночью закопает. Где-то позакапывал и Наталкин хлеб, выросший на ее ревкомовском наделе.

— Твой? А зачем он тебе? У меня будешь жить, у меня и есть будешь.— А заметив, что батрачка недовольна, добавил с издевкой: — Или, может, побежишь в батрацкий союз жаловаться на меня?

Не к кому было бежать девушке. Далеко тот, который мог бы ее защитить от кулацких издевательств. Вот уже больше года о Даньке ни слуху, ни духу. Ворожея, раскидывая карты, говорит, что его нет уже в живых, однако девушка не хочет верить этой черной, зловещей Минодоре, девичье сердце не хочет смириться с тем, что «кости его — видишь — уже белеют где-то в степи!»

А когда стало известно, что красные, переправившись через Днепр, закрепились на этом берегу под Каховкой и врангелевцы никак не могут сбить их назад, Наталка словно ожила — только и прислушивалась, что на той стороне. Как загремит под Каховкой, как зазвенят на хуторе стекла, девушке кажется, что это он, Данько, ей оттуда весточку подает: приду, мол, приду. По настроению штабистов она безошибочно угадывала, что происходит на плацдарме. Как переболела у нее душа, когда однажды в небо поднялись аэростаты, а по

тракту на Каховку помчались броневики и штаб с хутора быстро направился на конях и в легковых автомобилях туда же. «Завтра, папаша, будем в Каховке,— на прощанье заверили хозяина беляки.— Большевистскими трупами запрудим Днепр». А вскорости они стали возвращаться оттуда не похожие на самих себя. Туда шли, как на прогулку,— в английских новеньких френчах и французских галифе, а оттуда возвращались поникшие, растрепанные, покрытые пылью и кровью... Хорошенько, видно, всыпали там! Все на сибиряков валили. Якобы тьма-тьмущая прибыла их в подкрепление плацдарма.

— Вы бы газов на них попросили из-за границы,— советовал белякам Гаркуша, которому слухи о бесстрашных сибиряках тоже теперь не давали покоя.

Бои под Каховкой не прекращались. Тучами шла туда конница с желтыми ленточками наискосок на кубанках, шли броневики, артиллерия... Разные слухи доходили с плацдарма: то красные белых разобьют, разгонят, размечут по степи, то, наоборот, беляки окружат красную пехоту где-нибудь на открытом месте и изрубят саблями, броневиками передавят.

Случалось, приводили на хутор захваченных в плен красных бойцов, жестоко истязали их, допрашивая, ножами до кости вырезали звезды на лбах. А ночью выводили в степь (хозяин просил, чтобы во дворе не расстреливали), и тогда доносились оттуда далекие предсмертные возгласы расстреливаемых: «За нас отомстят! Да здравствует коммунизм!»

Однажды, когда уже совсем стемнело, на хутор привели десятка полтора захваченных в бою раненых бойцов. Несмотря на то, что они едва держались на ногах, беляки выстроили их под окнами штаба.

Конвоиры говорили, что среди пленных будто бы есть важный комиссар, только не знают, который именно.

Молодой однорукий генерал-осетин, появившись перед строем, скомандовал:

— Кто из вас комиссар, три шага вперед!

И после какой-то минуты раздумья шеренга вдруг качнулась и одновременно вся сделала три шага вперед.

На ночь их бросили в сарай, так как сейчас офицерам было не до них. В доме в эту ночь шла попойка.

офицеры обмывали чин, только что полученный одним из их компании. Удостоенный нового звания герой (товарищи называли его «бронегероем») сидел за столом на почетном месте, рядом с одноруким генералом. Курчавый бронегерой был еще совсем молод, с его пучеглазого лица все время не сходило напряженное, торжественное выражение, будто он вот-вот рявкнет «ура» и прямо из-за стола бросится в атаку. Был тут среди офицеров и полковой священник, краснощекий здоровяк в рясе, над которым офицеры всегда подтрунивали; правда, он не сердился на них за это и перед боем давал каждому из них целовать руку. Сейчас эта рука привычно и умело разливала по стаканам игристое крымское вино, которое специально для обмывания чина привез только что прибывший из Крыма вояка; он, кажется, в боях еще и не бывал, но вел себя тут как человек обстрелянный и с весом. Лысоватый, с неприятным, следовательским прищуром глаз, он и за столом только то и делал, что набрасывался на каждого присутствующего с неизменным вопросом: «Как мужики? Главное, как мужики к нам относятся?»

Подавая на стол, Наталка незаметно, но внимательно прислушивалась к их разговорам, хотя и не все в них понимала. Священник, подвыпив, говорил о каком-то чуде, которое якобы должно произойти по воле всевышнего в помощь белому воинству. Прибывший из Крыма рассказывал о том, что там, к сожалению, неспокойно, рабочие в севастопольском порту взорвали склады с американским снаряжением, а двум американцам средь бела дня на Графской пристани какие-то матросы побили морду. Представ потом перед военным судом, они оправдывались тем, что избили этих двоих по ошибке, якобы приняв американцев за англичан, хотя, впрочем, они вовсе не жалели о своей оплошности.

Когда было уже изрядно выпито и охмелевший священник затянул старинную казацкую песню, а бронегерой вступил в горячий спор с военным прокурором о новом, только что введенном Врангелем ордене Николая-чудотворца, к столу пригласили и Гаркушу. Пригласил его лысоватый, чтобы, как он выразился, услышать от старика «мудрый голос самого населения». Больше всего крымчака интересовало, как проводится в этих местах врангелевский земельный закон.

— Закон? Это вы так величаете тот книксен, который сделал наш вождь в сторону крестьян? — с улыбкой заметил однорукий генерал.

Крымчак ждал ответа Гаркуши. Старик же, хотя и хорошо знал, с каким возмущением Чаплинка встретила врангелевское покушение на ее земельные наделы, решил об этом лучше умолчать.

— Об этом нам еще рано разговаривать,— ответил он крымчаку теми же словами, которыми отвечал ему штабной писарь на вопрос об Украине.— Вот вы, как бывалый человек, лучше скажите мне: можно ли простому хуторянину, такому, скажем, как я, податься в какое-нибудь иностранное подданство? К примеру, как вон те колонисты живут на нашей земле, а законы над ними не наши...

— Вишь, куда загнул старик! — засмеялся, наполняя стаканы, молоденький офицер с тоненькими усиками.— А в какое же вы подданство хотели бы?

— Да нам в какое угодно,— сказал Гаркуша, набивая рот собственной индюшатиной,— только бы не в чаплинское да не в каховское.

— Отец Пансофий! — обратился вдруг из угла к полковому священнику мрачный, уже, видно, совсем опьяневший офицер.— Вы хорошо помните апокалипсис?

— Помню...

— Не правда ли, там весьма точно определена наша судьба? — Офицер встал и глубоким, каким-то нутряным голосом произнес: — «Приидут с севера сонмы варваров и загонят вас на полуостров, подобный Синайскому, и будет то конец всему, конец двухтысячному царствию Христа...»

— Этого нет в апокалипсисе!

— Нет? — удивился офицер.— А могло бы быть! — и он как-то через силу захохотал.

Речь зашла о красных, защищающих плацдарм, о каком-то мистическом экстазе, которым они якобы охвачены, о распространенном в красных войсках удивительном пристрастии к самопожертвованию во имя своей коммунистической идеи.

— Лежит разрубленный надвое,— рассказывал бронегерой,— станешь ему на грудь ногой, а он тебе в ответ: «За революцию умираю! Рад умереть за нее...» Вы понимаете, рад!

— А с этими, которые в сарае,— улучив момент, осторожно напомнил Гаркуша,— вы их в Крым отправите или как?

Услышав о пленных, лысоватый сорвался с места.

— Так у вас тут добыча есть?

— Да еще и не простая: комиссары...

— Прикажите привести. Хочу на живого комиссара вблизи посмотреть!

По приказу генерала в комнату ввели одного из пленных. Высокий, немолодой уже, с сединой на висках. Видно, рабочий. Сутулясь, остановился возле печи. Наталка с ужасом смотрела из сеней на его руки, безжалостно скрученные за спиной колючей проволокой, черные от запекшейся крови.

Лысоватый выскочил вперед:

— Ты кто?

Пленный молчал.

— Сознавайся, кто из вас комиссар.

Измученное лицо пленного было непроницаемо.

— Молчишь? — истерично выкрикнул лысоватый.— Но ты еще не знаешь, какую мы цену предложим тебе!

Пересохшие воспаленные жаждой губы пленного тронула едва уловимая усмешка.

— Какую?

— Твоя собственная жизнь! Разве мало, а?

Пленный выпрямился, мотнул головой.

— Жизнь коммуниста не покупается и не продается. Она принадлежит не ему.

— А кому? — с любопытством подошел к допрашиваемому священник.

Пленный обвел взглядом присутствующих.

— Тем, кто восстал против вас. Кто разобьет вас!

Лысоватый выхватил револьвер, но генерал не разрешил стрелять.

— Уведите! Мы с ним утром поговорим. Он еще начертит нам схему каховских укреплений.

Однако утром им так и не пришлось поговорить...

Офицеры спали в эту ночь как убитые. Спали, где кого сон свалил: тот на лавке, тот склонившись на стол, кто-то храпел и под столом.

А тем временем из чулана исчезли две кварты хозяйского самогона, такого, что от спички горит.

— Старшие пьют да гуляют, а вы чем хуже? — говорила Наталка, угощая самогоном часовых у сарая.

Часовые попались не из тех, кто отказывается от угощения. Не много прошло времени, как они уже пьяно храпели, обняв свои винтовки, а из потихоньку открытой двери сарая осторожно выходили арестованные, переступали через уснувших стражей и бесшумно исчезали один за другим в степи. Утром старый Гаркуша нашел возле ветряка лишь обрывки окровавленной колючей проволоки, которой скручены были их руки...

В тот же день конные конвоиры погнали степью на Чаплинку Гаркушину батрачку, на которую пало подозрение, что она ночью, умышленно опоив стражу, выпустила из сарая пленных.

XIX

Как морские валы во время шторма разбиваются о скалы, так одна за другой разбивались белогвардейские атаки о неприступный Каховский плацдарм. На других участках фронта — от Донецкого бассейна и до Днепра — бои шли с переменным успехом; можно было даже представить их перед союзниками как незаурядные победы: был взят Александровск, на несколько дней захвачено Синельниково, передовые врангелевские разъезды с высоких курганов уже видели трубы екатеринославских заводов.

И только этот каховский тет-де-пон висел на Врангеле, как проклятье. Врангель болезненно переживал неудачу атак на плацдарм. Он сам ревниво следил за всем, что там происходило. В штабном поезде не раз врывался он ночью к телеграфистам, оглушая их своим громовым:

— Что в Каховке?

После неудачных атак на плацдарм и понесенных тяжелых потерь настроение в белых полках было подавленное. Не одному белому рыцарю эта широкая украинская степь с древними скифскими могилами — свидетелями побоищ прежних времен — казалась в эти дни тем последним полем боя, откуда им не уйти.

Чтобы поддержать упавший дух своих войск, Врангель учредил новый орден Николая-чудотворца и пер-

выми удостоил этой награды «ратных орлов своих» — корниловцев. По этому поводу решено было устроить парад корниловских полков. Местом для парада командование избрало большое прифронтовое село Чаплинку.

Корниловцы знали, что Врангель благоволит к ним: он сам с гордостью носит звание почетного корниловца, но для чего понадобился ему этот парад — парад измученных, оборванных, обозленных после неудачных атак героев? Чтобы поддержать дух поредевших офицерских рот? Или, может быть, у вождя есть какие-то другие, свои, тайные соображения и расчеты? Судя по всему, парад должен был быть торжественным, помпезным. Ходили слухи, что вместе с главнокомандующим сюда прибудут высшие чины ставки и постоянно находящиеся в Крыму представители военных миссий Америки, Англии, Франции, Сербии, Японии, Польши...

— Инспектировать едут? — с озлоблением говорили в полках участники каховских атак.— Что же, покажемся им, пускай увидят, чего нам стоила Каховка с ее колючей проволокой.

В полку, где после помилования служили разжалованные в рядовые Дьяконов и Лобатый, весть о параде была принята как насмешка.

— Пойдем, покажемся твоему Цезарю,— говорил Лобатый Дьяконову, зная, что он, Дьяконов, после того как Врангель отменил ему смертный приговор, стал с еще большей преданностью служить своему кумиру.

Их полк в упорных неоднократных попытках овладеть Каховским плацдармом поредел едва ли не на половину. Не раз и не два бросались офицерские роты на всё укреплявшиеся позиции ненавистного тет-де-пона и, ничего не достигнув, обливаясь кровью, откатывались назад. Многих потеряли навсегда; были случаи, когда не успевали подбирать раненых, и они потом версты ползли степью по направлению к Перекопу. Наконец эти бесплодные, выматывающие атаки были прекращены. В полку в связи с этим поговаривали, что Врангель якобы решил подождать прибытия танков.

— Давно бы пора,— сказал на это Васька Лобатый.— А то уж больно дешевы стали под Каховкой ландскнехты ее величества Антанты.

Был он в эти дни не в духе, обзывал себя и всех батраками Антанты, и, когда поредевший в боях полк, заняв

позиции в степи, начал окапываться, Васька хоть и взял лопату в руки, однако больше сбивал ею головки подсолнухов и, лузгая семечки, мрачно издевался над теми, кто неумело и упрямо вгонял непривычными руками лопату в затвердевшую за лето таврийскую землю.

— Ройте, ройте, ваши благородия,— насмешливо бросал он Дьяконову и другим.— Только долго ли будете вы здесь владеть и княжить?

Дьяконов предпочел бы не слушать его мрачных пророчеств, ибо, как это ни странно, Васька Лобатый, этот пьяница, скандалист и циник, не раз уже оказывался прав, как оказался он прав еще тогда, когда, находясь под арестом в Ново-Алексеевском пакгаузе, уверял Дьяконова, что Врангель неминуемо выпустит их, так как ему без них не обойтись: «Мы ведь лошадки для его колесницы!»

И верно, немного времени пришлось им ждать, оба они оказались — не важно, что без офицерских чинов, не важно, что рядовыми в пехоте, но зато в каком! — в «первом из первых», в овеянном славой белом корниловском полку!

Теперь вот должны вывести их на парад. По правде говоря, после непрерывных боев их полк своим внешним видом меньше всего подходил для того, чтобы маршировать по плацу. Однако, когда специально прибывшие интенданты попытались ради такого случая по возможности принарядить белых героев, Васька Лобатый наотрез отказался менять свои боевые рубища на что-либо иное:

— Не селезень я, чтобы прихорашиваться! Пусть видит вождь, как общипали под Каховкой ратных его орлов!

И даже обычно сдержанный Дьяконов присоединился к недовольным:

— Без комедий! Какие есть.

— Не нам краснеть за наши дыры и прорехи,— решили командиры.— Пусть ее величество Антанта краснеет.

И когда настал этот день, корниловцы, прямо из окопов, появились на чаплинской площади такими же, какими были и там, в боях: оборванные, грязные, заросшие щетиной, озлобленные на всех и вся. В своих изодранных

на колючей каховской проволоке мундирах они были непохожи на самих себя, однако шли четким строем, с высоко поднятыми головами, которые они с достоинством несли напоказ своему вождю и иностранным миссиям... К месту парада корниловцы прибыли точно в назначенное время — к четырем часам дня, но здесь им пришлось ждать: главнокомандующий с гостями был еще где-то в пути. Впрочем, всех предупредили, что он может появиться с минуты на минуту, и поэтому выстроенные полки, не расходясь, ожидали его приезда на чаплинской ярмарочной площади.

— Чем не Марсово поле? А? — повернувшись к Дьяконову, язвил Лобатый.— Когда-то тут ярмарочные прасолы баранами торговали, а сейчас мы будем держать парад перед высокочтимыми господами атташе... М-да.

Вооруженный с ног до головы, он стоит впереди Дьяконова и впрямь как разбойник в своей пестрой одежде: чуб из-под картуза свисает почти до глаз, вместо рубахи какая-то клетчатая ковбойка с черными погонами корниловца, на ногах не сапоги, не краги, вместо них поверх узкого галифе натянуты серые английские носки... Всю дорогу от окопов до Чаплинки перед глазами Дьяконова мелькали в клубящейся пыли эти английские носки, и он уже не может смотреть на них без раздражения.

Ждать пришлось довольно долго. Когда уходили из степи, еще ярко светило солнце, а тут уже и тучами небо стало затягивать, и ветер, поднявшись, погнал над площадью пыль...

XX

Приезда главнокомандующего ждали в этот день и на Перекопе. Здесь, на Турецком валу, по указаниям и под наблюдением французских военных инженеров все лето проводились работы по укреплению фортификационных сооружений. Западная печать сообщала, что на Крымском перешейке, на этой ключевой позиции, может быть возведена крепость, не уступающая по значению Гибралтару или Суэцу. В спешном порядке строилась специальная железнодорожная ветка, чтобы доставлять из глубины Крыма к Перекопскому валу строительные материалы, стальные балки и крепостную артиллерию.

Строительство железной дороги длилось уже много недель, однако работам еще не видно было конца.

Среди массы людей, согнанных сюда для работы, был с подводой и Оленчук. Несколько раз он пытался отпроситься домой — недалеко ведь! Не отпускают даже и на воскресенье. Уже и лошадь пала, а он все тянет лямку; уже и рубаха на нем изорвалась, а сменить не пускают — хоть пропадай.

Насыпают насыпь для полотна. За старшего здесь ротмистр Гессен, крикун и грубиян из немецких колонистов. Оленчуку он даже ночью снится с оскаленными зубами. Кажется, он забыл все слова человеческого языка за исключением брани и окрика «П'шол!»

Железная дорога должна пройти по целине, испокон веков непаханной. Земля как камень. Для насыпи выбирали грунт лопатами с обеих сторон, предварительно подняв его плантажными плугами. В плуги запрягали по две-три пары волов. В один из дней волов не оказалось: их послали на станцию перевозить какие-то срочные грузы — колючая проволока прибыла, что ли. Но как же без тягла?

— Канат! — приказал Гессен.

Принесли канат.

— Кто умеет управлять плугом? — обратился он к землекопам.

Плугом управлять? То есть пахать? А кто же из них, хлеборобов, этого не умеет?

Вызвался какой-то старовер агайманский с дремучей, всклоченной бородой; уверенно подошел, стал к чапигам, не смутился, что новый плуг, заграничный — из тех, которыми землю под виноградник подымают. Однако кого же запрягать? Волы до сих пор не возвратились со станции. А Гессен, тыкая нагайкой, зачем-то отсчитывает, отделяет от толпы десятка три самых мускулистых, выстраивает в два ряда... Что это он надумал?

Оленчук оказался впереди, за ним еще мужики, а дальше татары с Армянского базара, старообрядческая молодежь, которой вера запрещает брать оружие в руки... Переминаются с ноги на ногу, ничего не понимают. Вернее, понимают, но еще не верят, даже мысль такую боятся допустить...

— Канат на плечи!

Как лунатики, как те, которых заставляют самим себе рыть ямы перед расстрелом, нагнулись, берут на плечи крепкий манильский канат.

— П'шол!

Какое-то мгновение они стоят еще неподвижно, слóвно не слышат команды, словно не в силах осознать, что это относится к ним, что это именно их, людей, впрягли в плуг и собираются на них пахать!

Свист нагайки приводит их в себя.

— Сыновей красным отдали? А? П'шол!

Согнувшись, как бурлаки, пошли. Лбами вперед, стиснув зубы так, что темнело в глазах. Казалось, не столь тяжело спине и рукам, сколько сердцу... Огненный клубок ворочался в груди Оленчука, жег острой болью и стыдом. Лучше бы убило где-нибудь там, в Карпатах, чем дожить до такого позора. Дождался, что на тебе, как на скотине, землю пашут! Выть, зверем выть хотелось. От боли, от несправедливости, от обиды. Не посчитались и с возрастом его, не постыдились набросить веревку на его натруженную, за батюшку царя свернутую шею. Самой тяжелой работы не боялся Оленчук; горы труда переворотил, горы соли из Сиваша на себе переносил, еще и сейчас не иссякла его сила. И не тяжесть этой египетской работы гнетет его, гнетет то, что за человека тебя не считают. Кое-кто из младших пытался шутить, но и в шутках звучала только горечь. Кто-то мрачно ругался, кто-то проклинал Гессена, придумавшего такое поругание, а Оленчук только сопел, отмеривая впереди шаг за шагом, роняя себе под ноги слезу за слезой.

Во время передышки с возмущением заговорили о том, что Гессен не имеет права так с ними обращаться, что нужно выделить депутацию и подать жалобу начальству. Выделить депутацию, однако, не пришлось: пронесся слух, что сам Врангель должен проехать здесь с иностранными гостями, следовательно, он лично все увидит и задаст, кому следует, взбучку.

С того момента, когда со стороны Симферополя на дороге появилась вереница автомобилей, ротмистр Гессен мог уже не подгонять своих пахарей: их словно кто-то сразу подменил — сами тянули так, что жилы трещали, всю силу своей злости вкладывали в этот натянутый манильский канат. Пусть видит белый правитель, на ком здесь пашут, кого здесь вместо скотины запрягают в плуг.

Взъерошенный, в истлевших лохмотьях, выпятив костлявую загорелую грудь, Оленчук шел прямо на Врангеля, шел, обезумевший от обиды, и всем своим упрямым страдальческим видом взывал к правителю: смотри! Смотри, как здесь строится для тебя дорога!

Врангель сидел в передней машине, и автомобиль его летел, казалось, прямо на Оленчука, однако так и пролетел не остановившись. Мчась мимо бурлацкой ватаги пахарей, вождь равнодушно скользнул по ним суровым, хозяйским взглядом.

И это все?

Потом, когда верховный уже вышел из автомобиля и в окружении своих блестящих гостей и адъютантов встал на валу, он подозвал Гессена к себе. Ротмистр бросился бегом. Хорошую, видно, получил взбучку, так как вернулся он еще более свирепым, чем обычно.

Остановившись, пахари ждали, что он скажет, надеялись, что хоть теперь наконец услышат от него приказ выпрягаться, сбросить лямки прочь. . . Но вместо этого — даже ушам своим не поверили! — снова раздалось знакомое, только еще более разъяренное:

— П'шол! Саботажники! Ковыряетесь, ковыряетесь, а работы не видно!

Оказалось, что выволочка ему была, да только не за то, что предполагали пахари: главнокомандующий был недоволен, что медленно подвигается работа. Нужно проложить каких-нибудь двадцать верст железной дороги, а до сих пор еще и половины не сделано. «Быстрее! Не терять ни минуты!» — такой приказ прозвучал из уст самого верховного.

И снова струной натянулась лямка, снова шагает впереди продубленный солнцем и ветром Оленчук.

Немалое расстояние между ними — между крестьянином и правителем: огромные кучи колючей проволоки и сгруженных под валом строительных материалов разделяют их, а кажется Оленчуку, будто нет между ними ничего, будто сходятся они вплотную, глаза в глаза — крестьянин и диктатор, и между ними завязывается немой, недобрый разговор.

О л е н ч у к. Высоко стоите, ваше превосходительство, на весь край аксельбанты ваши сверкают, но не принесет вам добра ваше величие.

В р а н г е л ь. Почему?

Оленчук. Вот вы промчались мимо нас, даже не заметив нашей обиды и горя. Темные мы, грубые, одежда на нас истлела, и вши с нас сыплются, а все же мы... тоже ведь люди.

Врангель. Странные разговоры заводишь ты, Оленчук. Не к лицу тебе это. Из таких, как ты, всегда выходили хорошие, крепкие солдаты, артиллеристы, саперы, пластуны. Возможно даже, что в прошлую войну ты был в числе тех, которыми я командовал. Я вижу, что сейчас тебе нелегко, тянешь так, что даже ребра выпирают, но поверь, если бы не такое время, я охотно облегчил бы твою участь.

Оленчук. Заниматься нами у вас всегда не хватает времени.

Врангель. Да, идет сражение, в котором решается все, и думать я сейчас могу только об одной ответственности — о своей ответственности перед историей: я ее сын и избранник.

Оленчук. Ты сын, а мы, выходит, пасынки? Нас — в плуги?

Врангель. Напрасно волнуешься, Оленчук. Со временем я обещаю подумать и о вас.

Оленчук. А может, хватит? Может, довольно уже, чтобы кто-то о нас думал? Не лучше ли будет, если мы сами о себе подумаем?!

Врангель. Без таких, как я, вам ничего не достичь. Нас единицы, а вас без числа. Вас целые туманности. Но вы только тогда чего-то стоите, когда чья-нибудь могучая воля объединяет вас, чей-нибудь разум поднимает и ведет вас за собой. Запомни это, Оленчук.

Оленчук. Нас без числа, это правда, ваше превосходительство, и вы привыкли считать нас только полками, батальонами и эскадронами, по шинелям да портянкам... А думали ли вы когда-нибудь, что под каждой шинелью — сердце, а под каждой солдатской шапкой — ум человеческий?!

Врангель. Что за тон, Оленчук? Я тебя не узнаю. Комиссаров наслушался? Не забывай, однако, что я могу тебя в бараний рог... В два счета. И настоящее и будущее твое в моих руках!

Оленчук. А ваше?

Врангель. Мое — в божьих!

Оленчук. Вот как? Впрочем, слыхал я, будто бы у вас теперь мода такая пошла — блюдечко по ночам вертеть, разных духов загробных на совет вызывать; говорят, будто сами наполеоны вам голос с того света подают.

Врангель. Тебе этого не понять.

Оленчук. Не знаю, что они вам пророчествуют, все эти духи потусторонние, а я, хотя и не дух, хотя и не колдун, что умеет будущее предсказывать, все же скажу: не вечно вам стоять на этом высоком валу перекопском. Еще узнаете вы гнев народный, и изгнание, и чужбину...

XXI

В Чаплинке напротив церкви, перед полками, поставлен аналой, подсвечники, все необходимое для молебна. Многочисленное духовенство, занятое последними приготовлениями, видно, неспокойно — волнуется за успех парада: то один, то другой из церковнослужителей тревожно поглядывает на помрачневшее небо, быстро заволакивающееся тучами.

— Боятся раскиснуть наши благочинные,— злорадно говорил Лобатый.— Хотя бы добрый дождь шпарнул на их мундиры!

— Нет, с этакого дождя не бывает,— услышал вдруг Дьяконов где-то позади себя спокойный, рассудительный голос.— Сухая гроза...

Оглянулся. Какой-то крестьянин в чабанской шапке с мальчиком пошел, прихрамывая, за спиной выстроенного полка. Оба на ходу поглядывают куда-то вверх, на клубящиеся тучи, на далекие предвечерние молнии.

Сухая гроза... Далеко на горизонте уже несколько раз полыхнуло и впрямь как-то сухо, беззвучно: пых-пых! Словно отсветы далеких небесных батарей.

Дьяконову хотелось бы знать, кто он, этот крестьянин, который прошел, прихрамывая, за их спиной. Кажется, кто-то знакомый — не Кулик ли? А может, другой кто-нибудь из тех, с которыми знался, с которыми курил, когда стоял молотобойцем в паре с Оленчуком у наковальни... При воспоминании о кузнице волна какого-то далекого тепла нахлынула на Дьяконова, и ему вдруг стало неловко, он и сам не знает отчего. По временам

ему кажется, что он кого-то обманул, надул, но кого же? Не самого ли себя? Где-то там, за церковью, расположена кузница, в которой он стучал молотком прошлой весной. Быть может, именно в этом — в том, что он стоял у наковальни в восставшей Чаплинке и копался рядом с Оленчуком на его присивашском винограднике не как офицер с подчиненным, нет, а как человек с человеком! — как раз и заключалась та простая подлинная правда, которая ему еще и до сих пор видится то в одном образе, то в другом. «Продана ваша армия». Чей это голос? Оленчука? Он тогда резко возразил ему. «Мы не от Антанты — мы сами по себе. Хотим такую жизнь завоевать, чтобы на прошлую не была похожа, да и на вашу...» И что же у него осталось от прошлых убеждений, чем вооружена сейчас его душа? «Святая Русь»? Широкая демократия, которую вождь сулил им в первые дни своего прихода к власти?

— Демократия, ха-ха! И ты веришь? — хохочет Лобатый, когда заходит об этом речь.— Штык, а не демократия! Штык и намыленные веревки для всех, кто не согласен, чтобы вождь сам думал за них!

Что же остается? Голос чести? Доблестно стоять до конца, не покидая борта гибнущего «Титаника»? Во всяком случае думать о чем-то другом, искать чего-то другого сейчас уже, видимо, поздно...

— Р-р-равняйсь!

Пружиной вскинулось тело.

Замерли выстроенные полки.

По дороге от Перекопа, растянувшись длинной лентой, мчатся автомобили. Несутся навстречу тучам пыли, навстречу взвихренной соломе и листьям, которые ветер гонит по степи прямо на них.

На полной скорости автомобили влетают в Чаплинку, пугая людей резким металлическим криком сирен. Впереди мышиного цвета «фиат» главнокомандующего. Весь кортеж машин останавливается возле церкви. Дьяконов, вытянувшись, видит, как из первого автомобиля выходит главнокомандующий, за ним генералы Шатилов, Кутепов и какие-то незнакомые чины в иностранных мундирах. Из других машин выходят тоже иностранные гости, те, кого судьба вынудила наконец покинуть непробиваемые каюты своих дредноутов и всерьез заинтересоваться какими-то там чаплинками,

каховками, алешками... Длинный путь проделали они и, изрядно наглотавшись степной пыли, не спеша утираются теперь платочками, сгрудившись у церковной паперти.

Тем, кто стоит ближе к автомобилям, слышно, как представители миссий, здороваясь с начальником дивизии, громко называют свои фамилии:

— Адмирал Мак-Келли!

— Полковник Кокс!

— Полковник Уолш!

— Капитан Вудворд!

— Майор Этьеван!

— Майор Такахаси!

И еще, и еще... Самоуверенные, держатся независимо, на лицах, в жестах выражение спокойного превосходства. Свысока поглядывают на все окружающее: на выстроенные полки, на хоругви, на чаплинскую деревянную церквушку, которая, видимо, кажется им очень экзотической.

В душе Дьяконова поднимается какое-то недоброе чувство против этих лощеных атташе, против их элегантных, таких неуместных перед истерзанными полками мундиров и даже против их фотоаппаратов, так бесцеремонно наведенных на старые добровольческие части. Лобатый, когда на него наводят аппарат, умышленно начинает яростно чесаться. Дьяконов понимает его: сейчас он и сам сильнее, чем когда бы то ни было, чувствует себя... ландскнехтом.

Врангель, окруженный густой толпой мундиров, русских и иностранных, направляется к аналою. Начинается молебен. Торжественные речитативы молитв то и дело нарушаются сухим щелканьем фотографических затворов. Не только иностранные корреспонденты, но и представители миссий жадно ловят на пленку то мрачно застывшие перед ними полки — «старинные русские полки!», то духовенство в живописных нарядах, то народ. Народ представлен здесь главным образом оборванной чаплинской детворой, которая, подобно воробьям, расселась на деревьях и наблюдает за церемонией оттуда, с высоты колючих чаплинских акаций.

Молебен приближается к концу, хор корниловцев поет «Спаси, господи», все присутствующие опускаются на колени. Дьяконов слышит, как всхлипывает у него за

спиной старый корниловец Малашевский, весь в ранах ветеран полка. Дьяконову тоже тяжело, спазмы сжимают горло. Такая минута! Вся площадь будто опустела в один миг, будто полегла под саблями: все стоят на коленях, покорно склонив головы, словно перед неизбежностью своей судьбы; слышно, как ветер лопочет в хоругвях, да разрывает душу хор корниловцев своей трагической молитвой.

Представители миссий, как и все остальные, тоже стоят на коленях. Вот Мак-Келли... Вот сверкает очками в роговой оправе японец... Какая сила, какая неизбежность, будто подкосив, поставила их на колени здесь, в пыли чаплинской ярмарочной площади? «Стойте, стойте! — с болью и надрывом звучит в душе у Дьяконова какой-то недобрый внутренний голос.— Впервые стоите вы на коленях на этой несчастной, истерзанной, так обильно политой кровью земле...»

Когда хор стихает, откуда-то сверху, с акаций, доносится удивленно насмешливое:

— Ванька, Ванька, посмотри на того японца: в окулярах, а не видит! Коленями в коровий кизяк угодил!

— Вот кого хотел бы я сейчас заснять в этом виде... В назидание потомкам,— едко говорит Лобатый, обращаясь к Дьяконову, который не отрываясь глядит все туда же, в сторону согбенных, склонивших колени в пыль и навоз чаплинской площади генералов и высоких гостей — представителей «ее величества Антанты».

XXII

Небо темнеет, все ниже нависают взбаламученные темно-бурые космы туч над площадью, над вытянувшимся перед полками вождем. Чем ближе вечер, тем явственнее, тем грознее на клубящемся горизонте немые небесные вспышки.

Врангелю нравится эта торжественная церемония в бурых тучах пыли, что гонит по степи ветер, при вспышках далеких молний; импонирует вождю и этот хор мрачных корниловцев, выстроившихся для своей трагической молитвы под темным, низко нависшим небом. Вождь готов верить, что сама природа жаждет принять

участие в происходящей церемонии, возводит над ним и его войсками свой грозно величавый храм...

Врангель время от времени испытывал настоятельную потребность в парадах. Они подымали его настроение, он молодел душой, когда взводы и роты проходили мимо него, печатая шаг, повернув к нему решительные, отупевшие от напряжения лица. На плац-парадах он, как нигде, верил в свою избранность, в то, что его жизненное предначертание — быть вождем. Однако на этот раз назначить в Чаплинке, в прифронтовой полосе, корниловский парад Врангеля побуждали и чисто практические мотивы. Привлечь к своим войскам внимание союзников, подстегнуть всех этих людей, от которых зависят поставки,— вот чего в первую очередь хотел достигнуть главнокомандующий своим необычным парадом. И то, что потрепанные в каховских атаках «боевые орлы» — корниловцы решили выйти на парад прямо из окопов, решили в своем неприглядном виде продефилировать перед иноземными атташе и представителями иностранной прессы, не только не встретило возражений со стороны главнокомандующего, но, наоборот, вполне отвечало его замыслам и могло только способствовать достижению поставленной цели. Чем хуже, тем лучше!

Дело в том, что в последнее время поставки военного снаряжения из-за границы заметно сократились. Причины... Главная из причин — все возрастающее международное движение протеста рабочих и докеров против военных поставок, против каких бы то ни было военных поставок в Польшу и Крым. Вся Европа бурлит. В городах возводятся баррикады. В Ирландии — красная гвардия, в Лондоне рабочие лидеры грозят в случае интервенции против Республики Советов организовать Советы в самой Англии. На американском континенте положение осложняется еще и тем, что в Соединенных Штатах в самом разгаре предвыборная кампания — конгрессменам приходится маневрировать между двух огней... Но ведь и он, Врангель, не может ждать! Говорят, завтра. А ему не завтра, а сейчас нужны танки, побольше новых мощных танков, чтоб стереть с лица земли этот ненавистный — он может стать смертельным — каховский тет-де-пон. А ему даже для тех танков, что у него есть, не хватает газолина, и аэропланы тоже стоят без горючего, привязанные веревками в степи...

Разговоры с Мак-Келли становятся чем дальше, тем резче. Последний — накануне отъезда сюда — был уже просто нестерпим. Как уверяет глава американской миссии, рабочие Чикаго, Сиеттля и других городов, возмущенные нотой Кольби, угрожая стачками и созданием, как в Англии, «Комитетов действия», требуют, чтобы ни один патрон не был послан в белый Крым.

— А обращение к морякам всего мира не допускать перевозок оружия?! Думаете, нью-йоркские докеры остались к нему глухи? — с раздражением говорил Мак-Келли.— Они суют палки в колеса не хуже других, уверяю вас! С «Вестмаунта» уже перед самым выходом в море выгрузили назад боеприпасы, а «Истерн Виктор» сможет выйти в Крым только на следующей неделе...

— А придет когда? — не сдержавшись, крикнул Врангель.— Когда меня уже разгромят?

Мак-Келли на этот выкрик только пожал плечами. Так пусть же смотрит теперь, пускай из первых рук узнают заокеанские толстосумы, в каких условиях сражается тут горстка «рыцарей белой идеи», противостоя опасности, угрожающей всем им. Глядя на свое выстроившееся словно для встречи с суровой неведомой судьбой войско, глядя на иностранцев, хозяйским глазом обозревающих его овеянные боевой славой полки, Врангель не мог спокойно думать о Мак-Келли и всех тех, что стоят за ним. «Презренные, тупые барышники! Торгуются из-за каждого патрона, из-за каждой пары сапог. А разве только для себя, разве не ради них ходят в атаки и умирают на каховских проволочных заграждениях его доблестные воины? Так хоть вооружите же их не торгуясь, снарядите по-королевски! Жалко денег, а нашей крови не жалко? Погодите, господа! Еще вспомните меня! Еще, может быть, сведет вас судьба один на один с разлившимся по земле красным потопом! Не раз еще тогда вспомните меня и этот мой последний белый Арарат!»

Церемониальный марш открыла знаменитая офицерская полурота. Что это? Врангель чуть ли не вскрикнул от боли при ее приближении. Как поредела! Ведь еще недавно видел ее полностью укомплектованной, а сейчас... и это всего вас осталось для предстоящих атак?

Четко, стройными рядами проходят оборванные, нахмуренные полки. Смотрят исподлобья почему-то не

столько на вождя, сколько на иностранных атташе, обступивших его. Проходят, словно интернированные, словно арестанты, как бы намеренно рисуясь своим запущенным видом, как бы испытывая болезненное наслаждение в том, чтобы на глазах у всех, как некогда юродивые на папертях во время великой смуты, раздирать свои раны, срывать струпья. Пускай кровоточат — глядите! Не прячем своих болячек, своей озлобленности, своего неверия и отчаяния...

Врангель это слышит. Парад обреченных? Ошибаетесь, господа! Еще не все потеряно, нет! Он еще вырвется за Днепр в тылы красных, на соединение с Западом, он еще удивит мир блеском своей стратегии...

И снова слышит разговор среди журналистов об этих его славных офицерских ротах: что-то в них, дескать, есть неестественное. Нонсенс. Офицер, мол, потому и офицер, что он окружен в бою солдатами, что он в центре подчиненных. А эти бессолдатные офицерские роты, на них лежит печать чего-то трагического, какой-то обреченности... В самом деле, где же его армия? Та большая *народная* армия, которую он надеялся собрать здесь, в украинских степях? Украина наотрез отказала ему в этом, донские станицы тоже не откликнулись, не поднялась на зов его и Кубань... Сегодня по пути сюда он сделал страшное для себя открытие: оголенный тыл! За всю дорогу от Джанкоя до Перекопа и от Перекопа сюда не встретил живой души. А это же основная магистраль, идущая к его передовым позициям. Случись это в недавние времена, в ту войну, на такой дороге с войсками не разминуться бы: скачут, бывало, без конца вестовые, стрекочут мотоциклисты, тысячами ног пылят резервисты, новобранцы... Сейчас пусто... безлюдно за спиной его войск. Только вихрь переметнется через дорогу, да пастухи там и сям маячат в степи, но ты не их вождь, и они не твое войско.

Зато Красная Армия, кажется, не знает, куда девать свои пополнения. Сколько уже перебито, сколько перемолото, а они все идут и идут. Падает сотня, а родит тысячу. В чем дело? И все же, господа, унывать еще нет оснований. Вы еще увидите, что будет с красными, когда он начнет громить их тылы. В конце концов разве дело в количестве? Армии их превратятся в толпы, если пу-

стить на них танки, которых они боятся и с которыми они совершенно не умеют бороться...

Через площадь уже идет на рысях кавалерия, любимая его кавалерия, что ходит в атаки, как на праздник,— с папиросой в зубах. Придерживаясь традиции, она и сейчас мчится через площадь, сжав в зубах папиросы, лихо распустив чубы, только почему же в глазах всадников вместо веселья и удали какая-то тяжелая, злобная муть?

— А где броневики? — подойдя к Врангелю, холодно осведомляется полковник Кокс, недавно прибывший из Соединенных Штатов.

— Какие броневики? — делает удивленный вид Врангель, хотя он ждал этого вопроса.

— Я имею в виду те броневики, которые вместе с конницей участвовали в штурме каховских укреплений. Или, может быть, их успели уже растерять?

Дивизия действительно имела на вооружении немало броневиков, но их, как и артиллерию, корниловские командиры с согласия главнокомандующего нарочно решили на парад не выводить. В их расчеты совсем не входило показывать здесь самое ценное, чем снарядили их союзники. Наоборот, чем хуже, тем лучше!

— Броневики ремонтируются,— сдержанно ответил американцу Врангель.— Сегодня вы их не увидите, как не увидите и тех давно обещанных танков, которых мы так терпеливо ждем.

— Танки будут,— сухо заверил полковник.— Были бы экипажи.

Для завершения парада иноземным гостям был приготовлен сюрприз — джигитовка с «умыканием» казаками девушки-невесты.

Чаплинские оборвыши, еще выше взобравшиеся на деревья, чтобы увидеть все, вдруг закричали на всю площадь:

— Девчат везут! Наталку, Гаркушину наймичку! И тех, что за частушки в холодной сидели.

— Вон казаки уже ставят их в хоровод!

Нервно защелкали фотоаппараты. Казаки-джигиты, мчась, на полном скаку подлетают к построенным в хоровод девчатам, и вот уже один из них, перегнувшись, на скаку выхватывает девушку из круга и мчится с ней дальше, куда-то в степь.

— Наталку схватил! — кричат с деревьев ребята.— В кучугуры помчался!

За похитителем с диким гиком и свистом понеслась, стреляя в небо, погоня. А вслед им — и похитителю, и похищенной, и погоне — в полном восторге стреляли фотоаппаратами иностранцы, стреляли до тех пор, пока казаки не скрылись в потемневшей, затянутой пылью степи.

XXIII

Плацдарм жил своей жизнью: строили, совершенствовали линию обороны, учились, помогали населению. Сколько ни воевали, а руки как-то все больше тянулись к работе, чем к войне.

Воспользовавшись передышкой, красноармейцы добровольно вызвались помочь крестьянам быстрей убрать урожай, из-за непрестанных обстрелов так и неприбранный и дожидавшийся дождей в копнах, разбросанных по полям плацдарма.

— Все на субботник помощи землеробу!

И вот уже видишь латыша высоко на возу, старательно укладывающего снопы, видишь сибиряков, которые подают ему, подцепив на вилы, сразу чуть не полкопны, видишь, как какой-нибудь горожанин, смеясь, везет скособоченную, криво наложенную арбу, а целый взвод красноармейцев, окружив ее, дружно поддерживает хлеб плечами. Всюду по дворам, по околицам Каховки, Большой и Малой, вершат вдовам стога, на токах гукают цепы, среди молотильщиков по колени в свежесбитой соломе опять-таки красноармейцы, и вот уже дядько селянин, подозвав своего молодого напарника, какого-нибудь металлиста или рудокопа, сроду не державшего цепа в руках, неторопливо растолковывает ему, как надо этим инструментом орудовать, чтоб попадать по снопам, а не дядьку по лбу.

Дождалась помощи и та молодица, что в первые дни строительства плацдарма все носила хлопцам холодный квас и, приняв тогда Левка Цымбала за латыша, почему-то выделила его среди всех прочих. Дусей звали эту молодицу. И вот для этой Дуси в одну из ночей Цымбалу и Яреську выпало возить снопы. Копны ее стояли далеко в степи, и днем это место все время простреливa-

лось; даже ночью подъезжать туда было не совсем безопасно. На их счастье, ночь была темная и ветреная, с запоздалым громом и зарницами с вечера; ожидали, что ветер нагонит дождь, а его так и не было, только вихри сухой пыли носились по степи. В такую ночь за шумом ветра врагу не слышно было ни дробного постукивания колес, ни храпа коней, и можно было, подъехав незамеченными, вытащить копну у врангелевцев из-под самого носа.

Снопы на возу укладывал Данько, Левко с Дусей подавали. Много не накладывали, так как ветер рвал солому, и Дуся боялась, что как налетит, как ударит, так и воз перевернет.

За первую половину ночи успели сделать две ходки, и все пока было в порядке, если не считать того, что порывами ветра несколько раз подымало у Дуси юбку, и Левко, глядя на эти ветровы проказы, хохотал на всю степь. А уже после полуночи в степи заметно посветлело — верно, месяц за тучами поднялся,— и стало все виднее кругом.

Однако не возвращаться же было назад... Только остановили они воз у копны и стали накладывать, как вдруг где-то совсем близко в степи дробно застучал пулемет, джикнула в воздухе пуля, вторая, третья... Шальные или в самом деле заметили и стреляют по ним? Во всяком случае пришлось остановить работу и переждать. Все трое примостились тут же под копной: Яресько с одной стороны, Левко с Дусей — с другой, за снопом. Они же придерживали за вожжи и лошадей, чтоб, испугавшись, случаем не ускакали.

Стрельба вспыхивала то в одном, то в другом месте. Несмотря на поздний час, Данько знал это, тысячи людей сейчас не спят, застыли у пулеметов, лежат в дозорах, прислушиваясь сквозь ветер, сквозь звон сухих стеблей, не дрожит ли у Перекопа земля под тяжестью этих таинственных новых чудовищ — танков, которые беляки все грозятся пустить на плацдарм... Шумит ветер, теребя на возу снопы, а небо все в летящих облаках, то сизых, то почти голубых: сквозь них все сильнее просачивается свет луны, угадываемый где-то там за ними...

Из-за снопа до Яреська явственно доносится взволнованный, страстный шепот Дуси, которая, обрадовав-

шись, как видно, перестрелке, решила сама наконец открыться Левку в своих чувствах.

— Милый,— слышится ее шепот,— милый, милый...

Даньку нравится этот рвущийся наружу жаркий огонь женского сердца, эта пылкая смелость любви, с какой молодица тянется к своему избраннику.

— Отпросился бы ты у командира, пришел бы ко мне хоть на часочек,— почти песней звучит ее полушепот там, за снопом.— Я б тебе и голову помыла, и чуб твой расчесала бы, замараха ты мой хороший!

Слышно, как Левко довольным баском возражает: медведь, мол, никогда не умывается, а здоров...

Она смеется:

— Придвигайся поближе ко мне...

— Так я ж уже близко.

— Еще ближе!

— Ха-ха! А не боишься — как обниму?

— Обнимай!

Увлеченные друг другом, они, должно быть, совсем уже забыли о Даньке, обо всем окружающем, не слышат, как постреливают белые. Шутят, смеются, играют, как дети. «Обними меня, обними!» — слышен ее бесстыдный, жадный и радостный голос, и тело ее, кажется, пышет огнем сквозь снопы; вслед за возней сочный звук поцелуев, обрывающийся возгласом Левка: «Т-пру, дьяволы!» Это он на лошадей, которые никак не привыкнут к стрельбе и, пугаясь, то и дело дергают вожжи, мешая им целоваться.

Теперь влюбленные уже договариваются о будущем. Только белякам крышка — так и поженятся. Дуся готова бы и сейчас, не откладывая ни на день, однако Левко бубнит, не соглашаясь:

— Пока Перекоп не будет наш, ты и не думай. А то мировой пролетариат мне этого не простит.

— Простит, простит,— смеется она.

И снова трещат снопы, играют, борются, резвятся, вся копна ходуном ходит не так от ветра и бури, как от их возни, и опять все завершается звуком поцелуев, и опять лошади, пугливо дергая вожжи при посвистывании пуль, не дают им доцеловаться.

Нестерпимо сладко слушать Даньку, как они блаженно безумствуют, слышать их влюбленный шепот, смех, возню и особенно это жаркое «обними, обними!»

Нестерпимо, а в то же время слушал бы и слушал без конца эту буйную радость чужой любви, слушал бы, как прекрасную песню, под которую и своя любовь становится еще дороже, еще желаннее... Где Наталка? Кажется, встал бы и сквозь посвист пуль, сквозь колючую проволоку и окопы, сквозь вражеские заставы пошел и пошел бы разыскивать ее, свою синеокую... Ночь гудит ветром, тучи над степью летят, сквозь их клубящиеся седые пласты луне никак не пробиться. И так же, как луна, что только угадывается за тучами, чудится Даньку где-то там и Наталка и кажется иногда, что вот она уже выплыла из светлой бездны и, на какой-то миг застыв, улыбается ему оттуда.

Стрельба тем временем утихла, и ветер словно бы улегся — над степью простерлась тишина, вокруг потемнело, как это бывает перед рассветом. Данько поднялся из-под копны.

— Будет вам миловаться,— окликнул он влюбленных.— Пора за работу.

Дуся живо, как девушка, вскочила и заговорщицки счастливо улыбнулась Даньку, а за ней не спеша выбрался из-под копны и Левко.

Не успели они уложить и десятка снопов, как снова поднялась невдалеке пальба, запели пули, и они, бросившись в снопы на арбу, ударили по лошадям.

Остановились в балочке, где пули уже не могли их достать. Стрельба не утихала.

— Опять кто-то через фронт переходит,— высказал догадку Левко, прислушиваясь.

Последнее время редко выпадала ночь без того, чтобы не являлся кто-нибудь оттуда, с белогвардейской стороны, на плацдарм красных. Проберутся то бедняки селяне, которых непомерное горе пригнало сюда, то связные от крымских партизан или несколько красноармейцев из захваченных в плен, которых не успели расстрелять... Кто-то, верно, пробовал счастья и сегодня...

В степи со стороны позиций послышался неясный гомон. Скоро в предрассветной мгле показалась большая группа людей: красноармейцев, селян, женщин, которые шли с кошелками, как на базар... Впереди вели кого-то под руки. Когда подошли поближе, Яресько разглядел, что ведут девушку, видно только что раненную: лицо

бледное, голова бессильно склонилась на плечо какому-то старику крестьянину с растрепанной седой бородой.

Вот еще ближе. Но что это? Даньку показалось, что он теряет рассудок...

— Наталка!

Она подняла глаза. Крик рвался из этих глаз — больших, испуганных.

Бледная, оборванная, косы распущены. Что с ней? Откуда она здесь?

— Намучились мы с нею,— произнес старик, останавливаясь у воза.— Прямо под пули идет, хотела, чтоб убило.

— Это все их джигитовка,— прибавил другой.— «Умыкнули», сволочи, для забавы иностранцев.

Нестерпимо больно было Даньку глядеть на нее. В глазах — страдание. Губы искусанные, в запекшейся крови... Пока женщины перевязывали Наталку, Данько смотрел ей в глаза, где не было сейчас ничего, кроме горя, смотрел, и — измученная, несчастная — она словно еще дороже становилась ему. Когда перевязали, сам помог поднять ее на арбу, сам уложил на снопах и, встав в передке, взялся за вожжи.

В Каховке, когда сдавал ее в лазарет, его спросили, кто она.

Ответил неожиданно для самого себя:

— Жена моя, разве не видите!

XXIV

Все короче становились дни, холоднее ночи. Все чаще осенними тучами заволакивало таврийское небо. Седые заморозки на рассвете, дыхание северных ветров напоминали обоим воюющим лагерям о неотвратимом приближении зимы. Еще одна военная зима? С голодом, холодом, тифами? Нет, это было выше сил растерзанной, разоренной гражданской войной страны. Народ, Ленин требовали от своей армии, чтобы еще до зимы с войной было покончено.

Южный фронт получал все новые и новые пополнения. На Каховском плацдарме было уже тесно от войск. Массами шли красные добровольцы, прибыла на плацдарм сформированная в Казани Ударная огневая

бригада, хорошо экипированная, хорошо оснащенная, с минометами, огнеметами, которых раньше здесь не было.

«Ударники» выделялись среди других не только своими новыми шлемами с ярко-красной звездой, но и хорошей выучкой и крепкой товарищеской спайкой, несмотря на то, что у них в бригаде было полное смешение языков: там можно было услышать русских, украинцев, татар, вотяков, чувашей...

Осенью красные войска Южного фронта уже имели значительный перевес в живой силе, в пехоте. Однако Врангель по-прежнему еще сохранял преимущество в кавалерии, бронейвойсках, в частности в танках — этом новейшем и грозном оружии, которым он надеялся в конце концов сломить Каховскую оборону. Чтобы ликвидировать перевес Врангеля в коннице, в конце сентября было принято решение перебросить с Польского фронта на Южный Первую Конную армию, поскольку в это время с Польшей уже велись мирные переговоры.

Тринадцатого сентября Первая Конная двинулась походным порядком на юг. Ей предстояло преодолеть расстояние почти в семьсот километров, пройти эти сотни километров по разбитым осенним дорогам с разрушенными мостами на усталых от беспрерывных переходов лошадях, к тому же пройти как можно быстрее. Сам Ленин в эти дни следил за переходом Первой Конной и призывал для ускорения марша принять все меры, «не останавливаясь перед героическими».

С того дня как Первая Конная двинулась Правобережной Украиной на юг, тревога не покидала белые штабы. Врангель и его генералы отлично понимали, кто идет против них: лучшая конница мира. Не трудно было догадаться, какой опорой явится для Первой Конной Каховский плацдарм, если до ее прихода его не ликвидировать. Врангель не терял времени. Пользуясь тем, что державы Антанты опять усилили свою помощь поставками новейшей боевой техники, а также пополнив свои корпуса переправленными из Франции военнопленными, белый вождь решил одним молниеносным ударом покончить с красными на юге, разгромить их раньше, чем здесь появятся первые эскадроны Ворошилова и Буденного.

Поскольку неоднократные попытки взять Каховку в лоб не увенчались успехом, Врангель решил уничтожить Каховский плацдарм другим способом. Замысел его состоял в том, чтоб повторить маневр красных и создать у них в тылу, по ту сторону Днепра, свой плацдарм. С лихорадочной поспешностью разрабатывался белой ставкой план Заднепровской операции, признанный истинным стратегическим шедевром Врангеля. Разработанный во всех подробностях, план этот не оставлял места для сомнений в его успешном осуществлении: первым ударом отрезают Каховский плацдарм от его тылов, а затем двойным натиском — с тыла и с фронта — ликвидируют его, превращают в братскую могилу. Окружив и уничтожив красных у Днепра, врангелевские корпуса соединяются в районе станции Апостолово и оттуда развивают удар на запад, в глубину Правобережной Украины, навстречу западным союзникам — Пилсудскому, Петлюре или кому бы там ни было.

Уже наступала осень. Пожелтели плавни днепровские. Днепровские плавни — это целый край с прибрежными лесами, заливными лугами, с тихими озерами, заводями и протоками, где еще запорожцы ловили бреднями рыбу, и от самых названий которых — «Скарбное», «Подпольная», «Базавлук» — веет тайной давних запорожских легенд...

Широк и чист тут Днепр, и в самом деле точно небо разлито по земле. Море — рукой подать, и течет он неторопливо, величаво, разливаясь тысячей рукавов, застаиваясь в лиманах и заливах, омывая плавни, и песчаные мели, да в кудрявых столетних вербах острова. Полно тут рыбы, видимо-невидимо дичи. До середины лета стоит в плавнях днепровская вода, а когда спадет, на удобренной плодородным илом земле крестьяне разводят огороды, и растет здесь тогда картошка — из каждого куста по ведру выкапывают, наливаются тыквы, что и не обхватишь. Осень в плавнях тихая, спокойная. Беззвучно роняют вербы пожелтевший лист на чистые, неподвижные плесы. Густо синеет небо и вверху и внизу. Не слышно ни голосов людских, ни птичьих песен в зарослях, хотя птицы, отяжелевшие за лето, спускаются здесь целыми стаями, чтобы перед отлетом на юг отдохнуть на плавневых, далеких от гула войны озерах. Но вот война ворвалась и сюда, на десятки верст затре-

щали вдоль Днепра плавни, подиялись среди ночи птичьи стаи, напугаиные гомоном людей и коискнм ржаиьем... В ночь иа девятое октября в районе Ушкалка н Бабиио через Днепр виезапно переправнлнсь два врангелевских корпуса — коииый и армейский — и сразу же повели иаступлеиие в направлении стаицин Апостолово. Днем раньше в райоие острова Хортицы иа правый берег переправилнсь три белые дивнзии и, отброснв выставлеииую для прнкрытия стрелковую днвизию красиых, стали развивать удар согласио поставленной задаче. Вскоре на правом берегу Диепра, в тылу красиых войск, враигелевцы уже имели плацдарм глубиниой в двадцать с лишиим верст.

Два плацдарма образовалось теперь: один на левом берегу Диепра — красный, другой — иа правом — белый. Примерио равные по значению, так как каждый из инх угрожал всему тылу противника. Какой нз иих выстоит, какой дольше удержится? Это теперь зависело уже от того, чьн нервы окажутся крепче... Кровопролнтные, жестокие завязались бои. Над плавиями и по всему Задиепровью, от Хортнцы до Никополя и ниже ие смолкал гул каиоиады.

Одновремеиио с ударом по Заднепровью врангелевцы повели иаступлеиие и в лоб на Каховку, бросив иа защитников плацдарма свою самую грозную снлу — танки.

XXV

Впервые шли танки по этой земле. Шли старинным перекопским трактом, тем самым, по которому гиали когда-то с Украины полоиян татары; кошевой Иван Сирко с запорожцами вызволеииых плеииков по нему из ханской иеволи выводил; по соль здесь ходили в Крым чумаки и, скошенные чумой, умирали в степи иа безводье у шляха, обратив глаза к иебу, к орлам.

Старинным этим шляхом грохочут теперь танки от Перекопа на север. Стальные громыхающие чудовища, они движутся в степь, как воплощеиие самой войны, ее слепой все подмииающей под себя силы. Сторонятся их чабаны в степи. Напуганные громом, люто лают иа иих чабаиские помощиики — овчарки. Вечером таики входят в Чаплинку, и гудит под нимн земля, н звенят по всему

селу стекла, и, испуганно выглядывая из окон, матери открещиваются, как от нечистой силы, от насланных сюда панами стальных этих страшилищ. В Чаплинке танки делают остановку. Выстраиваются возле церкви, на той самой площади, где недавно происходил парад, служили молебен и в тучах поднятой ветром пыли стояли, преклонив колени, корниловские полки, врангелевские генералы и иноземные атташе. Молились и вымолили: вот они, стальные горы, здесь на площади,— такая заденет хату, так и хату развалит, не то что солдатский окоп.

Экипажи сплошь офицерские, одеты в хром, держатся самоуверенно, высокомерно. Перед тем как двинуться дальше, раскупоривают шампанское, весело чокаются...

— До завтра в Каховке!

Распив шампанское, разбегаются по танкам, исчезают в их бронированных чревах и выводят их снова на шлях, чтобы, нестерпимо проскрежетав через село, вонючим чадом прочадив поля, явиться на рассвете в осенией, первым инеем посеребренной степи под Каховкой.

На плацдарме, несмотря на ранний час, никто не спал.

Танков еще не было видно, но по отдаленному грозному гулу, что все явственнее надвигался из глубины подернутой предрассветной мглой степи, тысячи притаившихся в окопах бойцов догадались: это они!

— Танки! Танки! — тревожным перекликом прокатилось от передовых позиций до запасных, от запасных до Днепра, до самых переправ.

Черные дни переживал плацдарм. Каждый из бойцов знал, что опасность теперь удвоилась. Ждать нападения теперь приходилось не только со стороны Перекопа, но и оттуда, из-за Днепра, где сейчас ведутся ожесточенные бои с врангелевцами, которые несколько дней назад форсировали реку и громят теперь красные тылы. Известия, одно тревожнее другого, доходили оттуда. Часть войск, в их числе Латышская дивизия, была снята с плацдарма и брошена куда-то под Никополь в поддержку полкам, ведущим борьбу с переправленными Врангелем через Днепр корпусами. Между двух огней оказался плацдарм. О возможности танковой атаки бойцы давно уже были предупреждены. Командиры и комиссары, в большинстве своем и сами не видевшие

танков, рассказывали о них бойцам, учили бороться с ними. Могучее чудовище, это так, но слепое. Броня на нем в палец, а то и больше, но и в броне есть щели... Правда, хотя знали бойцы и о толщине брони, и о уязвимых местах, и о «мертвом пространстве» возле танка, где его огонь тебе уже не страшен, однако когда эти стальные громады двинулись из степи на линию укреплений, не у одного из бойцов пробежали мурашки по телу.

— Спокойно, товарищи, спокойно! — услышал позади себя Яресько голос комиссара Огневой бригады, который, проходя по траншее от бойца к бойцу, казалось, передавал каждому из них часть своего спокойствия и уверенности.

А танки уже грохочут и там, и там, уже видно, как один из них, переваливаясь, утюжит окопы первой линии, давит, подминает под себя, как паутину, проволочные заграждения, ведя по плацдарму пулеметный огонь. За танками идет пехота. Один из танков берет направление сюда, тяжело переваливаясь по неровностям, по земляным волнам, как невиданный наземный дредноут.

— Товарищ взводный! — горячим шепотом обращается к Яреську боец-новичок из последнего пополнения.

— Что такое?

— Страшно! Задавит он нас!

— Без паники, товарищи! — опять слышен где-то за спиной тот же твердый, хотя и несколько взволнованный, голос комиссара.— Отступать нам некуда. Победа или смерть!

«Победа или смерть!» — кричит все существо Яреська сквозь намертво стиснутые зубы.

Танк идет прямо на него. Уже видно, как работают его стальные мускулы, как он загребает перед собой землю, точно живое существо, все давя, подминая траву, проволоку заграждений, валы окопов... Преодолевая бруствер перед Яреськом, танк всей своей тысячепудовой стальной массой вздыбился над ним, навис над окопом, заслонив все небо... Жуткий миг! Кажется, не только над его, Данька, жизнью вздыбился, но и над Наталкой, и над всем плацдармом, над Каховкой, над Днепром нависла эта громада! Слепая, черная, дышащая чадом железная гидра! Ударила угарным жаром,

заскрежетала стальными зубами, и посыпалась земля и уже не стало Яреська, и только после какого-то долгого мига небытия снова блеснуло рассветное небо над ним — танк прошел через окоп... И не опомнился Яресько, как вместе с толпой бойцов, в безудержной решимости кинувшихся сзади на танк, кошкой вскарабкался, подтянутый гусеницей, на стальное чудовище и он... Товарищи здесь уже воевали. В не чующем страха исступлении колотили прикладами, рубили лопатами, загоняли штыки в щели, стреляя куда-то внутрь, в мотор.

От страха уже не осталось и следа, души полны были лютой жаждой поскорей распотрошить эту гору стреляющей стали, которая еще мгновение назад стояла, вздыбившись, нависнув над всем плацдармом, а сейчас уже была взнуздана ими, прибрана к рукам; они чувствовали в себе сейчас такую силу, что, казалось, могут растоптать ногами, разгрызть зубами эту где-то на заводах Рено выкованную им на погибель сталь. Били, кричали, смеялись от злобной радости. Наконец облепленный бойцами танк, отчаянно скрежетнув, дернувшись вперед, назад, точно в судороге, вдруг остановился, заглох. Сразу стало тихо; наклонившись к люкам, бойцы прислушались, что там, внутри.

— Вылазь! — вдруг стукнул прикладом в броню тот самый боец, который только что в окопе признался Яреську, что ему страшно.

— Вылазь! — закричали и другие.

У самых Яреськовых ног сталь распахнулась, и показались оттуда, из бронированной ямы, сперва руки, загрубелые от работы на рычагах, потом глаза, побелевшие от страха, и по-офицерски подкрученные усики...

По всей степи, на десятки верст шел бой с танками, с белой пехотой, следовавшей за ними. В порыве бесстрашия кидались бойцы из окопов с гранатами в руках на громыхающие железными гусеницами танки, которые расстреливали их в упор. Артиллеристы соперничали в храбрости с пехотой. Несколько танков, прорвавшись в глубь расположения до самой Каховки, были вскоре подбиты огнем артиллерии, которую бойцы перетаскивали на руках, чтобы удобнее было бить по подвижным целям. От гула орудий, стрелявших и с той и с другой стороны, не слышно было людских голосов, дрожала земля.

Ко второй половине дня плацдарма уже было не узнать: проволочные заграждения порваны, сломаны, окопы засыпаны, позиции разрушены. Всюду, по всему плацдарму, следы танковых гусениц. А танки? Где они? Один провалился в баню солдатскую, другие темнеют то тут, то там, разбросанные по полю, застывшие и уже не страшные.

Пройдет несколько дней, их перетащат из степи в Каховку, и бойцы на досуге будут фотографироваться на них, одни стоя, другие — разлегшись в свободных, веселых позах людей, отдыхающих после тяжелой работы. Снимется там с товарищами и Данько Яресько.

XXVI

«Доктор индусской философии и египетских тайных наук!

Великий провидец и повелитель духа после поездки по многим странам вернулся на последний островок белой земли. Он не дилетант — состарился и поседел, прорицая судьбу людей и наций. Он предлагает открыть вам прошедшее, настоящее и будущее!»

Дочитав объявление, Врангель откинул газету, прикрыл в задумчивости глаза. Прошедшее, настоящее и будущее... Больше всего его волнует сейчас будущее... Что открыл бы ему, что подсказал бы сейчас этот «великий провидец и повелитель духа»? Штабной поезд медленно движется ночными полями на север. Снова бессонная ночь, полная тревог, недобрых предчувствий и ожидания... Что там за Днепром? Как под Каховкой? Прорвались ли танки к переправам? Все еще ничего определенного, все еще качаются чаши весов. Долго вынашивал он идею этого комбинированного удара. От того, падет ли под его атаками Каховка, от того, как будет разворачиваться операция за Днепром, зависит в конечном итоге его будущее. Последние донесения, полученные оттуда, пока еще далеки от того, на что он надеялся. Не может он никак понять, в чем причина его последних неудач, хотя, собственно, и неудач-то как будто не было. Странное создается положение: он все время наступает, каждый раз как будто одерживает по-

беды, и в то же время силы его явно тают и тучи сгущаются над головой.

До сих пор шел по жизни уверенно, целеустремленно. Еще в молодости, на великосветских балах в Санкт-Петербурге, он выделялся среди ровесников не только ростом и бравым видом, но и той жаждой деятельности, огромным запасом энергии, которая всегда таилась в нем. Может быть, это бурлило в нем честолюбие, как говорили иные? Но разве не помогало оно ему ступенька за ступенькой упорно подниматься вверх, к цели? Молодецкий штандарт-юнкер конной гвардии... Там он вскоре надел черную папаху забайкальского казака.

Но вершиной его, его апофеозом, стал, конечно, Крым. После новороссийской катастрофы основная масса разгромленных деникинских войск с помощью флота союзников была переправлена в Крым, куда еще раньше через перешейки отступили остатки слащевского корпуса. С Кавказа в те напряженные дни были перевезены тысячи офицеров и белоказаков. Все решалось теперь на морских путях: одни корабли перевозили в Крым живую силу, спасая ее от окончательного разгрома, другие в это же время везли из-за границы боевое снаряжение. Но если Антанта при помощи своего флота могла спасти белые войска от физического уничтожения, то спасти их духовно, превратить деморализованный, разложившийся сброд в первоклассную современную армию мог только человек с задатками полководца, вождя. Вот тогда-то могучие вершители судеб обратили свои взоры на него: молодой, полный энергии генерал, не ведавший со своими казаками поражений, один он способен в этот критический час занять место старого, сокрушенного неудачами Деникина. По правде говоря, главы иностранных миссий, от которых в конечном итоге и зависело его назначение, с самого начала видели в нем не столько Цезаря, сколько отважного авантюриста. Но что с того? Разве все великие полководцы не были в какой-то степени авантюристами? Как он верил в себя тогда! Сам верил и вдохнул эту веру в тех, кого готовил в поход. Вспоминает он экстаз, который охватил в те дни белые войска. В церквах звучат многолетия Петру и армии. Смотры, молебны, трубный глас Вениамина в севастопольском соборе: «Ты победишь, ибо ты Петр!», «Правь нами, ибо ты божией милостью данный нам дик-

татор!» За короткое время превратил Крым в вооруженный баронский замок. «Я выкую здесь прообраз сильной обновленной России!» Тридцать тысяч штыков! Пятьдесят тысяч сабель! Броневики! Аэропланы! Для первого удара это был такой кулак, перед которым, казалось, не устоять никакой силе. До сих пор у него перед глазами перекопские валы, где он производил смотр войскам перед наступлением, и щиты с огромными надписями: «Перекоп — ключ к Москве!»

И хотя самолюбие его нередко страдало от того, что его регламентируют, что его подгоняют, что боевые действия его войск ставят в прямую зависимость от положения дел на Западном фронте у Пилсудского, он, вырвавшись на просторы Северной Таврии, упоенный радостью первых побед, уже верил тогда, что он господин положения, что сила его будет все возрастать в боях и власть шириться без предела! Первым его разочарованием был отказ таврийских крестьян пополнять его армию. Вторым разочарованием — Кубань. За ним не пошли. На его призыв не откликнулись. Но почему, почему? Это осталось для него загадкой.

За лето корпуса его были обескровлены в боях. Наступления его были мощны, но конвульсивны, как судороги. И вот сейчас эта заднепровская операция, что она принесет? Из последних сил протягивает руку на Запад: встретит ли она там дружеское пожатие или так и повиснет в воздухе?

Убавляются, тают день ото дня его войска, а там... числа им нет, бесконечным их пополнениям. Первая Конная на него идет. А что будет, когда придет и двадцать тысяч сабель ее засверкают здесь, в таврийских степях? Неужто за зиму оттеснят его снова за Перекоп? Ну и что же! Ведь сидел же хан после разгрома Золотой Орды в Крыму сто лет, живя набегами. Почему же не пойти по его стопам?

Странно, что их все еще не удается сломить. Неужто и в самом деле большевиков силой меча не одолеть, как недавно сказал Ллойд Джордж? Союзники в последнее время, в особенности Америка, резко усилили помощь Крыму. Хуже всего было месяц назад, когда в Соединенных Штатах как раз шла предвыборная кампания и шефы его под нажимом рабочих масс вынуждены были временно отказаться от поставок оружия в Крым. Впро-

чем, он и сам отлично понимал, что открещиваются от него только для видимости, с целью отвести глаза избирателям. Сейчас дело наладилось, грузы идут полным ходом. На его стороне мощнейшая техника, блестящие стратеги, его окружают первоклассные мастера военного дела, а у них? Вахмистры и вчерашние каторжники командуют армиями! И все же как ни дерутся его офицерские полки, какое оружие ни пускают в ход, так ничего и не могут поделать с этой необъяснимо живучей людской массой, с этой мужицкой и босой армией.

Все лето работал с колоссальным напряжением воли, загонял себя и всех своих приближенных, а каковы плоды? Далеко ли он ушел со своими войсками? Достиг ли той безграничной власти, о которой так жадно мечтал? Чем дальше, тем все яснее, что события разворачиваются независимо от его воли и желаний, что власть его как вождя, вместо того чтобы шириться, наоборот, все сужается, все меньше остается людей в ее орбите. Еще весной не сомневался, что он сердце и мозг неисчислимых человеческих масс, что он и только он управляет ими и без него они ничто. Однако в последнее время иной раз кажется ему, что если он кем и управляет, то скорее штабами, чем массами, а может быть, даже и не штабами, а штабом, ближайшим своим окружением — адъютантами и конвоем. До чего же так можно дойти? Вот и сейчас где-то там бьются его корпуса, история творит свое дело, а он, «божьей милостью диктатор», как может он изменить ход событий? Не существенней ли там сейчас штык рядового красноармейца, чем его цезарская воля?

На столе перед ним поблескивает амулет, полученный сегодня при весьма таинственных обстоятельствах. Во время остановки на одной из станций внимание его привлек шум на перроне. «Я тот, кого ждет мир! Я Мессия!» — услышал он выкрики какого-то неизвестного, которого задержали адъютанты, когда он пытался прорваться к штабному вагону. Приказал узнать, чего он хочет. Выяснилось, что неизвестный хочет вручить ему, главкому, пакет. Это был небольшой замшевый мешочек, в котором оказался золотой, похожий на миниатюрный глобус шарик с четырехлистником наверху. Стоит нажать на его лепестки — и весь шарик, как апельсин, раскрывается на несколько долек, и в каждой из них.

внутри, на вороненой стали, изображен какой-то знак. Очевидно, это масонский амулет.

Придвинув его к себе, нажимает пальцем на лепестки и, когда шарик раскрывается, снова начинает внимательно разглядывать эти таинственные знаки, которые днем так и не разгадал. Что они должны означать? Епископ Вениамин, который тоже едет с ним в штабном поезде, уверяет, что это происки дьявола и что золотое это яблоко немедленно надо выкинуть вон. Кто он такой, этот неизвестный? Сумасшедший? Или в самом деле какой-нибудь провидец? «Я Мессия... Я тот, кого ждет мир!»...

Устал. Обволакивает тяжкая дрема, сами собой слипаются веки. Совершенно явственно слышит сквозь дремоту, как кто-то склоняется над ним, шепчет: «Думаешь, ты хозяин? Ты не хозяин, ты ведь только ландскнехт!» И в то же время слышит, как идет поезд, и уже во всем этом поезде, несущемся ночными полями неведомо куда, их осталось только двое: он и матрос. Где он встречал этого молодого матроса? Да это же тот самый, которого он случайно видел, когда его рубили казаки под Мелитополем. Уже обливающийся кровью, кричал он тогда казакам и ему, Врангелю, вслед его автомобилю: «Рубите, так вашу перетак, и все же вам скоро каюк! Историю вам не остановить!»

Тряхнул головой, пытаясь отогнать кошмар, но через мгновение тот же матрос уже опять перед ним. Чувствовал, как на этот раз сам его рубит, сабля насквозь пронзает тело, он падает, а через миг снова встает и смеется, живой...

Удар буферов. Поезд останавливается. Где это они? Какая-то глухая степная станция. Вскочив с места все еще под гнетущим впечатлением кошмара, спешит в оперативный отдел. Здесь почему-то сбились все: генералы, радисты, даже епископ Вениамин, этот «разбойник в рясе», как его окрестил еще Деникин... При появлении Врангеля все сразу умолкают, бледные, невольно вытягиваются перед ним.

— Что случилось?

— Трагическое известие. Только что получено из-за Днепра. В бою под Шолоховом погиб генерал Бабиев...

Бабиев! Возникло на миг смуглое лицо бесстрашного осетина, однорукого витязя, еще совсем недавно на его именинах с таким огнем плясавшего лезгинку. Со

смертью Бабиева, как гласит депеша, «конница лишилась сердца»...

— Войска наши вынуждены оставить правый берег, сейчас отходят назад...

«Отходят». Он хорошо представляет себе, что значит «отходят» в такой ситуации: не отходят, а наперегонки бегут к переправам, кавалерия давит пехоту, бросают в плавиях орудия, пулеметы...

Спрашивает о положении под Каховкой, интересуется судьбой танков.

— Ваше высокопревосходительство... Танков у нас больше нет.

Танков нет... Убит Бабиев... Конница лишилась сердца! Да разве только конница лишилась его?

Все, кто стоял тут перед ним, увидели, как вдруг поник головой их вождь, сгорбился, постарел на глазах.

XXVII

Словно по мосту, перекинутому в будущее, идут они, спускаясь с бериславских высот по понтонам через Днепр на левый каховский берег. Идет самая лучшая конница мира, перед которой после семисотверстного тяжелого перехода, после лесов и болот Замостья, после крепостных стен Дубно и холмов Новоград-Волынска расстилается ныне в предрассветной осенней мгле гладкая, как море, таврийская степь.

На каховском берегу, у самой переправы, окруженные командирами, стоят Ворошилов и Буденный. Оба в шапках, в полушубках: холодно. Внимательно следят за бесконечным движением конных полков, что текут и текут через Днепр по узенькой ленточке понтонного моста. Вот прошла Четвертая дивизия Тимошенко. За ней к мосту приближается славная Четырнадцатая во главе с Пархоменко. Впереди — молодой начдив, в бекеше, с усами запорожца, на тонконогом, похудевшем за время перехода скакуне. Следом за ним под кумачом боевых стягов идут герои краснознаменцы. Недавно, во время марша на пути с польского фронта, в селе Знаменка дивизию встретил Михаил Иванович Калинин и за победы над белополяками вручил эти боевые знамена и награды отважнейшим.

Оглядывая колонну краснознаменцев, Ворошилов встретился с кем-то взглядом, улыбнулся.

— Дома значит, товарищ Килигей?

— Почитай, что так, товарищ Ворошилов,— отозвался смуглый краснознаменец в высоком шлеме.

У него, как и у многих других, видно, не зажила еще рана, и из-под шлема белеет повязка.

Проходит конница, серым простором раскидывается перед ней плацдарм, о котором не раз уже слышала по пути и который такой дорогой ценой удерживали здесь для нее на протяжении почти двух месяцев.

Становится все светлее, и небо низкое, осеннее в степи за Каховкой словно подинмается над Килигеем, открывая глазам широкий, с детства знакомый простор. Войска все дальше уходят в степь.

Едет Килигей знакомыми местами, где прошла его молодость, где в бурях революции подымал народ против Антанты. По всем селам тут знают его, «защитника труда», как знают и многих из его бойцов, с которыми ходил он штурмовать греческие корабли. Немало бывших его повстанцев и до сих пор с ним. С какой гордостью возвращаются они в родной край! Тогда отступали партизанским отрядом в чабанских папахах, теперь возвращаются в высоких буденновских шлемах. Больше года ждали их матери, жены да невесты и наконец дождались, хотя и не совсем еще: дети по селам еще не знают, что отцы их уже здесь, так близко...

— Товарищ командир, может, и правда нынче дома ночевать будем? — весело обращается к Килигею его вестовой, сын Оленчука.

— Ну, хлопче, дома подождут. Больше ждали...

Вся степь говорит с ним: и ветром, и тучами, и древними курганами, и рваной колючей проволокой да разрытыми траншеями с пересекающими их следами танков.

Конница шла на восток, а глаза Килигея все обращались направо, где прятались за горизонтом Чаплинка и Хорлы, родной тополиный порт. Как терзали этот край, сколько пришлось ему вытерпеть за эти годы! Дредноуты и сверхдредноуты подходили с моря к этим побережьям, обстреливали из тяжелых орудий, высаживали десанты... Танки и броненосцы, попы и зуавы — все было пущено в ход. Менялись мундиры, менялись лица, вместо обманутых Антантой чернокожих сенегаль-

цев и мелких, похожих на подростков греков в бой вступали другие — черные бароны и бледные юнкера, однако суть борьбы остается все той же: против наемной, против чужой армии идет народная вооруженная сила, прославленная конница республики, под копытами которой гудит таврийская степь.

Вспоминает Килигей, какое горячее волнение охватило его, когда узнал, что Первую Конную перебрасывают на Южный фронт. Перед выходом на марш всю ночь беседовал с земляками конармейцами, и ясно стало, что главное желание, которым они жили, которое их единило,— быстрее покончить с фронтами! Не допустить еще одной зимней кампании!

А в дороге, когда на одном из митингов Калинин передавал им привет от Ленина, они услышали те же слова: не допустить еще одной военной зимы! Килигей даже переглянулся с товарищами: как он, Ильич, угадал их мысли, их желания? Угадал именно то, чего они всего сильнее жаждали... Казалось, все время, что они были на марше, за каждым их переходом, за каждым шагом неотрывно следил зоркий прищуренный ленинский глаз. Нестерпимо трудно было им идти. По осеннему бездорожью, на конях, падающих от истощения и усталости. И все-таки даже в пути использовали каждую возможность, чтобы учиться, ликвидировать неграмотность, принимали участие в субботниках на железной дороге.

И вот теперь с полками Первой Конной Килигей снова в той самой степи, откуда уходил с небольшим партизанским отрядом. Только было тогда раннее лето, а теперь глубокая осень. Рубцов на теле прибавилось да седины в усах, зато душой словно бы помолодел. Сколько уж бьется, а не покидает его вера в то, что каждым ударом сабли он приближает что-то долгожданное, выстраданное, прекрасное. Что это будет? Мир? Счастливая жизнь всего народа? Конец неправды в мировом масштабе? Знает только: что-то прекрасное, за которое он так упорно боролся каждым ударом своей сабли, сейчас ближе, чем когда бы то ни было. Занятый этими мыслями, он в то же время командирским оком оглядывает товарищей, внутренне проверяя и себя, все ли в порядке, все ли готово для последнего боя. Да, все. Конь крепок, шашка наточена, в сердце отвага и решимость.

XXVIII

Гудит ветер в голых ветвях асканийских парков. Убого одетый пожилой человек стоит на опушке, печально склонившись, разглядывая что-то у своих ног. Что он разглядывает?

Еще вчера, видно, подымалось здесь дерево, шумело ветвями на ветру, а сейчас — только пенек с прожилками — кольцами отложившихся лет.

Из степи мчится группа всадников. Кумачовый значок, развеваясь, трепещет высоко над ними на конце пики. Подъехав, всадники остановились перед человеком.

— Аскания Нова?

— Да.

— А вы кто?

— Садовник здешний. Мурашко. А вы?

Всадник, говоривший с ним, отрекомендовался:

— Мы конармейцы. Это вот товарищ Буденный. Это Шпитальный — мой ординарец, а я Ворошилов.

Глаза садовника глядели все так же грустно, и Ворошилов, заметив это, кивнул на свежий пенек:

— Жалко?

Мурашко, подняв голову, прямо посмотрел ему в глаза.

— Жалко.

Он еще не рассказал им, каких трудов стоило вырастить этот единственный живой оазис в открытой степи. Еще не слышали они от него о тысячах батраков, что копали здесь пруды, сажали и поливали эти деревья, своими телами прикрывали их от ударов черных бурь. Об этом Мурашко расскажет им потом, но сейчас по самому его тону, по одной этой печали в глазах они узнали, как ему больно и как он огорчен. На дрова, на костер, видно, пошло дерево для какого-нибудь эскадрона, что грелся здесь ночной порой.

— Кто-нибудь из наших? — неодобрительно спросил Ворошилов.

— То-то и обидно, что из наших. О тех и говорить бы нечего, после них — хоть потоп, а то ведь хозяева должны бы задуматься, прежде чем рубить.

— Привыкли хлопцы, что панское,— заметил ординарец.— Пощады не дают.

— А привыкать надо к другому,— сурово глянул на него Ворошилов.— Пора привыкать, что наше это теперь, народное достояние.— И обернулся к Буденному: — Я думаю, хорошо бы, Семен Михайлович, Первой Конной взять шефство над этим таврийским оазисом.

— Сам степняк,— кивнул Буденный,— знаю, что значит вырастить дерево в степи.

Уже отъезжая, Ворошилов обернулся к Мурашко, сказал подбодряюще:

— Сегодня же выдадим охранную грамоту на Асканию Нову. Веточки никто не тронет. Будут шуметь тут ваши парки еще не одно поколение...

Пустив коней вскачь, они всей группой понеслись в глубь поместья.

А в степи со стороны Каховки уже снова трепещут высоко в воздухе кумачовые значки на пиках: оттуда идут все новые и новые войска.

По всей таврийской степи сверкали в эти дни сабли конармейцев: разворачивалась битва, равной которой еще не знал этот край. Задача заключалась в том, чтобы отрезать белые войска от перешейков, окружить и уничтожить их здесь, в просторах Северной Таврии. Выполняя эту задачу, дивизии Первой Конной стремительно двигались на восток, прорываясь на Ново-Алексеевку, на Геническ.

Ударные силы врангелевских войск в это время сосредоточивались в районе Серогозы — Агайман. Появление Первой Конной у них за спиной было полной неожиданностью: в белых войсках многие верили слухам, что Первая Конная погибла в боях с белополяками, потонула в болотах Замостья и Волыни. И вот внезапно пронеслось среди войск:

— Буденновцы в тылу!

Сперва не верили!

— Откуда? С неба?

— Не с неба, а из Каховки!

Белому командованию удалось все же избежать паники. Более того, разведав, что дивизии Первой Конной, двигаясь на восток, все более отдаляются от Каховского плацдарма, Врангель отдал приказ захватить Каховку, отрезать войска Первой Конной и уничтожить ее, пользуясь своим преимуществом в вооружении,

в частности в бронесилах и аэропланах, которых Первая Конная не имела здесь совсем.

В чрезвычайно трудных условиях пришлось конармейцам вести бои. Крупные соединения врангелевской конницы, пробивая себе путь броневиками, нанося аэропланами удары с воздуха, с озлоблением и упорством обреченных рвались с севера к крымским перешейкам. Невозможно было разгадать, в каком месте налетят, на кого обрушат свой бронированный удар.

Один из самых упорных боев красным конникам пришлось выдержать в селе Отрада, куда из Аскании Нова переместился полевой штаб Первой Конной. Тучи вражеских войск, при поддержке артиллерии и броневиков, неожиданно двинувшись с севера, стали обходить село. Создалась угроза полного разгрома находившихся здесь частей Первой Конной. Бои завязались на улицах села. Части Особой кавбригады и дивизиона Реввоенсовета Первой Конной, которые лично водили в атаки Ворошилов и Буденный, до позднего вечера сдерживали в неравной борьбе натиск все сильнее наседающих вражеских войск.

Никому в этих боях не было пощады. Казалось, сошлись равные силы и пока не вырубят друг друга до одного — этой сече не завершиться. Рубились в степи, рубились на улицах сел, который уже день не расседлывая коней, не выпуская сабель из рук. Начальники и комиссары дивизий наравне с рядовыми бойцами ходили в атаки, не жалея жизни, чтобы только преградить врагу путь к перешейкам.

Наконец первый этап борьбы был закончен. Вся огромная территория Северной Таврии, захваченная в течение лета противником, после многодневных боев была очищена. Только часть вражеских войск успела прорваться за перешейки и укрыться в Крыму. Противник понес в этих боях огромные потери. Было захвачено около двадцати тысяч пленных, свыше ста орудий, почти все обозы и огромное количество боеприпасов — десятки тысяч снарядов и миллионы патронов. В районе Геническа и Салькова передовые части Первой Конной, окружив армейские тылы противника, захватили вместе с ними и несколько чинов американской миссии, пребывавших при белых войсках якобы для борьбы с мародерством.

XXIX

Вскоре после того как белые войска отступили в Крым с намерением там зимовать, Врангель в сопровождении представителей иностранных военных миссий инспектировал укрепления Турецкого вала на Перекопе.

Огромный старинный вал, возведенный в незапамятные времена руками рабов и упоминаемый еще Геродотом, сейчас весь был начинен бетоном и сталью, а глубокий ров-канал перед ним, по которому когда-то в древности будто бы ходили даже корабли, был заминирован фугасами, опутан непроходимой чащей колючей проволоки. Проволочными заграждениями было покрыто все перекопское предполье. Растянувшись почти на одиннадцать верст в длину, вал пересекал перешеек от моря до моря, наглухо закрывая северные ворота в Крым.

Несколько часов высокое начальство обследовало мощные укрепления. Предусмотрительно нагибаясь, шныряло по соединительным ходам, придирчиво осматривало многочисленные пулеметные гнезда, бойницы блиндажей, артиллерийские площадки... Грозные жерла орудий направлены на север, в открытую таврийскую степь, по-осеннему серую и неприветливую. Дно рва — все в колючей проволоке. Она тянется вдоль всего вала,— от заводей Сиваша до Перекопского залива, поблескивающего сталью на западе. Там ряды заграждений с суши переходят в море и скрываются где-то в воде. В открытой степи ни души, лишь там и тут торчит согнутый ветром стебель подсолнечника, артиллеристы поясняют: «Это для пристрелки... Мы их называем «вехи смерти».

Во время осмотра прислуга вся на местах, в боевой готовности. Странная это была прислуга! Обязанности рядовых пулеметчиков выполняли здесь юнкера и офицеры, наводчиками у тяжелых орудий можно было увидеть даже стариков в полковничьих погонах. Мрачные, заросшие стояли, вытянувшись по-солдатски, всем своим видом показывая, что они здесь не командиры, а простые номера. Чтобы спросить их о чем-нибудь, не приходилось вызывать переводчика: почти все они свободно могли ответить по-английски или по-французски.

Странные были и гости. Большинство из них вовсе и не чувствовало себя здесь гостями. Экзаменовали, как

дома. Не церемонясь, отстраняли офицеров-рядовых, становились сами к бойницам, примериваясь, проверяя, как и куда будет вестись отсюда огонь.

То тут, то там устраивали испытания батарей, и тогда тяжело ухали многодюймовые орудия и далеко на горизонте — в степи или на Сиваше — подымался высоко в небо буро-черный фонтан огня, грязи и дыма.

Осматривали все по-хозяйски, хозяйский тон слышался даже в похвалах заморских гостей, в коротких репликах, с которыми они обращались то к прислуге, то к Врангелю, то — чаще всего — к французским военным инженерам, руководившим здесь всеми фортификационными работами.

— Вот он, господа, наш вал смерти,— заговорил Врангель, когда гости, облазив укрепления и изрядно намерзшись, собрались наконец в блиндаже командного пункта.— Теперь вы сами видите, что ключ спасения от большевизма не в Париже, не в Лондоне, не в Нью-Йорке, а здесь, у нас, на этом вот валу. Тут мы намерены зимовать.

— Под такой крышей, черт возьми, можно сто зим зимовать! — воскликнул адмирал Мак-Келли, задрав голову и с довольным видом разглядывая стальные балки перекрытий.— Вас защищает лучшая в мире американская сталь! Бьюсь об заклад, господа, что такую сталь не перегрызут самые зубастые армии большевиков, несмотря на весь их фанатизм...

— Я считаю, что для защиты Крыма сделано все, что в силах человеческих,— сказал Врангель, обращаясь к седому, уже в летах генералу Фоку — руководителю фортификационных работ, и тут же от имени белых войск выразил ему благодарность.

Принесли коньяк. Зябко потирая руки, представители миссий столпились вокруг полковника Уолша, главы английской миссии, который самолично взялся раскупоривать бутылки.

Когда рюмки были наполнены, Врангель взял инициативу в свои руки.

— За лучшую в мире американскую сталь,— угрюмо обратился он к Мак-Келли, потом взглянул на остальных.— За ваше здоровье, господа. За тех, чей вечно деятельный ум воплотился в несокрушимой мощи этих укреплений: за адмирала Сеймура, за генерала Кейза, за

графа де Мертеля и особо за вас, наш дорогой Фок.. Россия никогда не забудет, чем она обязана своим верным союзникам.

Выпили, и беседа сразу оживилась.

— Новый Верден,— слышались возгласы среди гостей.— Эти форты, блокгаузы, бетонированные блиндажи — великолепны!

— А непроходимая сеть проволочных заграждений! Фугасы! Одних пулеметов сколько на валу!.. Нет, господа, никогда им не одолеть этой стены!

В оживленной беседе не принимал участия только начальник японской военной миссии, майор Такахаси. Он был здесь впервые и сейчас, сгорбившись в углу, быстро записывал что-то в свой блокнот.

— А ваше мнение, майор? — подойдя к японцу, спросил его генерал Фок.

— То, что я сегодня здесь увидел... колоссально,— закрывая блокнот, ответил Такахаси.— Это настоящее чудо военного искусства. На открытой долине такой вал, такая масса огня, первоклассные фортификационные сооружения! Никакой армии в мире — и даже большевистской — не под силу их взять,— и, минуту подумав, прибавил: — по крайней мере в лоб...

— А обойти их невозможно,— заметил Врангель, который, очевидно, прислушивался к их разговору.— На Чонгаре у нас укрепления не хуже, а даже лучше. Единственно, где противник мог бы прорваться в Крым, это на Арабатской стрелке. Но, как вы знаете, Арабатская стрелка...

— Хэлло, джентльмены,— перебивая Врангеля, весело крикнул от стола Мак-Келли.— Пью за новый Верден! Пью за нашего современного хана!

Врангеля передернуло. Грубая бестактность этого наглого янки резнула его, ударила по самому больному месту.

— Хотя, говоря по правде,— разглагольствовал между тем адмирал,— я до сих пор толком не знаю, кто они были, эти самые ханы?

— Так назывались когда-то местные крымские вассалы турецких султанов,— объяснил полковник Уолш, наливая себе из бутылки коньяк.

Врангель еле сдерживал ярость. Выходило так, что он, заняв на Турецком валу позиции бывших крымских

ханов, играет ту же, что и они, вассальную, холопскую роль!

— Однако и за Арабатскую стрелку мы спокойны,— раздраженно продолжал Врангель, обращаясь главным образом к Такахаси, который слушал его с явным интересом.— На всем своем протяжении она надежно прикрыта огнем с моря...

— Там и мышь не проскользнет,— прохрипел полковник Уолш, потягивая коньяк и прислушиваясь одним ухом к разговору.— Корабли британского королевского флота имеют на этот счет твердый приказ. Стрелка под нашей опекой.

— Но есть еще Си-Ваш? — подняв очки, японец вопросительно посмотрел вверх на долговязого Врангеля, потом на Мак-Келли.

Мак-Келли даже улыбнулся. Как неосведомлен этот желтый самурай!

— Вариант с Сивашом безусловно отпадает,— небрежно махнул рукой Врангель.— Только армия, решившая покончить самоубийством, способна полезть в его трясины...

— Но говорят, что иногда Си-Ваш замерзает? — не унимался японец.

— Если это и случается, то раз в сто лет,— успокоил его Врангель.— Сама природа здесь на нашей стороне.

Вышли из блиндажа и стали в бинокли разглядывать Сиваш, его сизо-стальную водную гладь. Там и сям темнеют кустики камыша, отмели, косы... Море! Гнилое непроходимое море... Бескрайние трясины, ил, болото... Чуть мерещатся по ту сторону за сивашскими водами раскинувшиеся по побережью убогие села, облитые холодным вечерним солнцем. А за ними — от перешейка и до самого горизонта — степи и степи. Точно полигон, плоские, безлюдные, загадочные...

— Прерии...— проговорил Мак-Келли, передавая бинокль японцу.— Того и жди, что вылетят оттуда ватаги краснокожих.

Такахаси долго не опускал бинокль.

Красное, воспаленное, садилось солнце. Японцу не понравилось это солнце и взвихренная пылающая корона вокруг него.

— Ждать циклона,— сказал японец, когда корона солнца коснулась линии горизонта.

— Ветер! Скифский ветер! — сердито произнес полковник Уолш, подымая воротник шинели.— Не довольно ли на сегодня, господа?

Уже смеркалось, когда участники инспектирования спустились вниз, к своим автомобилям. Отсюда, издали, еще раз окинули взглядом мощный темный вал, таинственно протянувшийся через весь перешеек. Пятнадцать метров в ширину, двадцать — со дна рва в высоту... Семнадцать рядов колючей проволоки, без числа пулеметов, пушек, бомбометов... Кое-что, конечно, надо еще здесь доделать, надо довести, наконец, железнодорожную колею до самого вала, в целом же осмотром все остались довольны.

Грандиозно. Неприступно!..

Вал смерти!

Ол-райт!

XXX

Разумеется, ни генерала Врангеля, ни его высоких иноземных советников не могло интересовать, что думает о Сиваше и об укреплениях Турецкого вала Иван Иванович Оленчук, строгановский житель. Смешно было бы признанным военным специалистам считаться с соображениями, да и с самим существованием какого-то там Оленчука.

А между тем Оленчук существовал. Пускай не какой-нибудь известный стратег, а все же старый солдат и активный деятель строгановского комбеда. Тот самый, что отдал сына в красные войска и которому за это беляки, ворвавшись в Строгановку, сочли нужным расписать спину.

Все лето врангелевцы гоняли присивашских селян с подводами в Крым. Гоняли и Оленчука. Кормил блох по татарским хуторам, на себе таскал плуг на постройке железной дороги от Юшуни к Перекопу и в то же время наблюдал за приготовлениями, что велись на перешейке. Видел, как подвозили и устанавливали на валу огромные пушки, попы их потом кропили святой водой, видел, как, подымая пыль, носились туда и сюда в блестящих автомобилях заморские гости и разные специалисты. Как-то под Армянском, остановившись у обочины, они и Ивановы лохмотья щелкнули аппаратом, пожелали рас-

смотреть поближе чабанские заскорузлые его постолы и даже сбрую на лошадке, показавшуюся им чудно́ю.

С хохотом допытывались:

— Скажи, «экспроприировал экспроприаторов»? Ну? Говори, не стесняйся!

А чаще равнодушно проезжали мимо, ибо таких, как он, обтрепанных, густо загорелых подводчиков да извечных грабарей было здесь много. Рабочим скотом считали их господа тут, на Перекопе. Дошло до того, что на них пахали. Но и в ярме каждый из них исподлобья поглядывал иа вал и примечал про себя, что там делается.

Все на Перекопе было тщательио размерено, все предусмотрели стратеги и фортификаторы, все рассчитали. Забыли только, что есть на свете Оленчук, продубленный, пропеченный сивашскими ветрами крестьянин, который вырос на этой земле, оросил ее своим потом и чувствует себя законным хозяином этого края. С ним стратеги должны были бы посчитаться!

...Вскоре после того, как красные части вступили в Строгановку, Оленчук был вызван в штаб.

Всякие догадки строил Оленчук, шагая улицей следом за штабным посыльным. Не знал еще, зачем зовут его в штаб, но предчувствие чего-то важного, необыкновенного уже бродило в нем, радостно тревожило душу. Может, с сыном встретится? Передавали знакомые люди из Аскании, что видели его там, прошел с конармейцами.

«Передайте отцу,— крикнул,— что живой я, на Чонгар иду!»

Суровая присивашская осень гудит ветрами. Как жестокие сквозняки, со свистом несутся они из степи и, влетая в разлогую низину Сиваша, на всем ее просторе гонят воду все дальше от берега, в море, оголяя болотистое дно. Небо клубится тучами, земля под ногами тверда, скованная ранним морозом. Грохочут, как по граниту, обозы и орудия, звонко цокают лошадиные подковы.

В селе уже полно войск. По огородам связисты, перекликаясь, торопливо тянут куда-то к Сивашу провод. Везде по дворам стоит гомон, из труб валит дым: в хатах готовят бойцам ужин. Уже греются по строгановским закуткам, набившись по целому взводу в хату, а из степи все идут и идут новые пехотные колонны — замерзшие, обледеневшие, с развернутыми знаменами.

Никогда еще Строгановка не видела такой массы войск; радовалось сердце Оленчука этакой силе. Однако для чего же все-таки вызывают его в штаб? Попробовал дорогой расспросить посыльного, но тот оказался не из разговорчивых.

— Там скажут.

Часовые у штаба расступились перед Оленчуком, без задержки пропустили его внутрь.

Зашел, с порога поздоровался.

— Добрый вечер!

— Вечер добрый!

В комнате, уже тронутой сумерками, видны фигуры военных. Должно быть, идет какое-то совещание. Несколько военных сидят вокруг стола, другие стоят рядом, склонившись над разостланной картой. Прибыли сюда, видно, совсем недавно, не обжились еще: шинели, не уместившиеся на гвоздях, брошены прямо на подоконники.

Перешагнув порог, Оленчук заметил, что все взгляды разом обратились на него, на его нескладную фигуру в новых постолах, в бараньей шапке, в кожушке. На миг воцарилась тишина.

— Проходите сюда,— раздался низкий спокойный голос.— Вот стул, садитесь...

Оленчук, сняв шапку, молча сел на указанное ему у стола место.

Внесли лампу, большую, с чисто протертым стеклом. Стали видны серьезные, сосредоточенные лица. Который же из них старший? Тот ли худощавый в очках или этот, что сидит напротив, широколобый, смуглый, с русыми пушистыми усами?

— Оленчук... Иван Иванович? — первый нарушил молчание широколобый.

— Верно, Иванович.

— Я Фрунзе, командующий Южным фронтом.

— Слышал про вас,— сказал Оленчук.

Фрунзе наклонился над картой.

— Скажите, Иван Иванович... вы хорошо знаете Сиваш?

Оленчук точно ждал этого: ни один мускул не дрогнул на его широком, вспаханном морщинами, густо загорелом лице. Хорошо ли он знает Сиваш? Вся жизнь его прошла на Сиваше, вдоль и поперек исходил он это

мертвое, Гнилое море... Еще мальчишкой бегал с ребятами на ту сторону разорять утиные гнезда по пустынным кручам Крымского берега, на так называемой Турецкой батарее. Позднее, взрослым уже, не раз ходил через Сиваш в Крым на ярмарки да на подработки в тамошние имения. Многие годы потом собирал соль. Насквозь пропитался сивашской рапой, сгребая ночами соляную наледь — скупые, убогие дары Гнилого моря...

— На Сивашах родился, на Сивашах, видно, и помру, товарищ Фрунзе.

— А как сейчас Сиваш? Вода в нем идет как будто на убыль?

— Вчера еще был полон воды, а сейчас ветер с запада поднялся, сгоняет понемногу. Такой, коли ночку подует, к утру одна грязь останется.

— Кстати, какой ширины, вы считаете, в этом месте Сиваш?

— На версты не мерил, врать не хочу. Думаю, верст десять будет.

Фрунзе высыпал на стол несколько спичек, склонился над картой, стал мерить.

— По прямой восемь верст.

Оленчук не стал спорить: восемь так восемь.

Фрунзе в задумчивости слегка постукивал пальцами по карте.

— Вы знаете, товарищ Оленчук, что через перешейки путь в Крым для Красной Армии закрыт,— сказал он и взглянул на Оленчука серьезно и доверчиво, как на человека, вполне способного понять его мысль и перед которым незачем таиться.— Мы могли бы провести наши войска вот здесь,— он показал на карте,— через Арабатскую стрелку, как это сделал уже когда-то — в тысяча семьсот тридцать втором году — фельдмаршал Ласси. То был блестящий маневр. Ласси незамеченный провел свои войска через Стрелку и, переправившись на полуостров в устье Салгира, вышел в тыл крымскому хану, стоявшему с главными силами на Перекопе. Но для нас и Стрелка закрыта: на всем своем протяжении — а длина ее свыше ста верст — она простреливается с моря кораблями противника. Итак, у нас остается,— прибавил он, все так же внимательно глядя на Оленчука,— вы сами понимаете что.

Оленчук кивнул: да, он понимает.

— Нас интересуют броды через Сиваш, которые вы знаете лучше других, ведь правда?

Оленчук не спешил с ответом, понимая, что от его слова, от его совета сейчас слишком много зависит. Кому, как не ему, Оленчуку, было знать скрытые сивашские ходы, никем не исследованные, не нанесенные ни на одну карту. Надо и вправду вырасти на Сиваше, чтобы каким-то тончайшим чутьем угадывать их в самую темную ночь, бредя с мешком соли на плечах между трясинами, между островками чахлого камыша на отмелях, шаг за шагом пробираясь среди бесчисленных гнилых ям, песчаных наносов и черных коварных омутов. Упорно в течение всей жизни изучал Оленчук нрав удивительного моря. Иногда оно радовало его солью, белеющей до самого горизонта, сияя под солнцем, точно покрытое нетронутым первым снегом. Иногда же, в жару, прибрежные села проклинали сивашское бескрайнее болото, задыхаясь от горячего смрада мертвых, гниющих в воде водорослей, что нагнало ветром из Азовского моря...

Тысячами капканов, множеством коварных ловушек подстерегает Сиваш человека, а самые опасные из них — черные гнилые омуты, так называемые чаклаки. Едва заметные среди камышовых зарослей, кипят и кипят они день и ночь, вечно клокоча подземной водой, неутомимо выбрасывая из таинственных глубин ил и песок и снова втягивая их в свою хлипкую, гнилую бездну. Ночью без привычки чаклаков не заметишь. Горе тому, кто отважится двинуться через Сиваш, не зная бродов! Не один уже ушел с головой в смрадную вязкую трясину. В такую пору, как сейчас, Сиваш еще опаснее: когда ветер угонит воду и морозом сверху прихватит топь, кажется, можно по ней пройти, а ступишь — уйдешь с головой. Нет дна у чаклаков, ненасытны их пасти: попадись один — проглотят одного, попадись армия — проглотят и армию... Было над чем задуматься Оленчуку, прежде нежели ответить на вопрос командующего.

— Или, может, Сиваш и впрямь непроходим, как считает белое командование?

— Это как для кого: для одних непроходимый, а для других...

Под самыми окнами процокали копыта. Дежурный,

появившись в дверях, доложил, что прибыли Ворошилов и Буденный.

Следом вошли и они и, поздоровавшись со всеми, тоже присели к столу.

— Совещание продолжается,— с шутливой ноткой в голосе провозгласил Фрунзе.— Тут и от инфантерии, и от кавалерии... Мы вот с товарищем Оленчуком насчет сивашских бродов советуемся.

— Так, значит, броды есть? — дружески обратился к Оленчуку Ворошилов.

— Если поискать, то найдутся,— ответил Оленчук.

— Конь пройдет? — спросил Буденный.

— Насчет коня не скажу, а человек пройдет.

Фрунзе молча переглянулся с Ворошиловым.

Худощавый в очках медленно водил карандашом по карте.

— До чего же бездарен царизм: даже путной карты Сиваша не мог нам оставить.

— На карте все не уместишь, товарищ,— заметил Оленчук.— Больно их там много — гиблых мест.

— Карта, даже самая лучшая, не заменит практического опыта народа,— убежденно заговорил Фрунзе.— Нам, товарищ Оленчук, нужны сейчас люди, которые в совершенстве знают Сиваш, умеют ориентироваться на нем не только днем, но и ночью, в абсолютной темноте. Одним словом, нам нужны проводники. Кого бы вы нам посоветовали?

Задумался Оленчук. Бывший солдат, он понимал, что значит пойти проводником, какая ответственность ляжет на человека, который возьмет это на себя. Не одного, не двух перевести — перевести надо армию. Судьбу стольких людей, жизни тысяч и тысяч сынов революции должен будет взять на свою совесть.

Заметив его раздумье, Фрунзе встал из-за стола.

— Тем, в Крыму, помогает буржуазия всего мира,— заговорил он.— На них работают лучшие военные специалисты. Весь огромный опыт империалистической войны они вложили в укрепления Чонгара и Перекопа. Врангель все свои расчеты строит на них. Наша же армия, армия рабочих и крестьян, рассчитывает только на себя, на поддержку народа. В данном случае для нас много значит мнение, разум и опыт простого трудового человека, опыт таких, как вы, Оленчук, солевозов,

батраков, чабанов. Поэтому-то именно к вам мы обращаемся за советом: кто бы мог? Кому мы можем доверить перевести наши войска на ту сторону?

Оленчук тоже поднялся, крутоплечий, взъерошенный, медно-красный от лампы.

— Что ж, коли надо, то... я поведу.

В комнате, казалось, легче стало дышать. Все повеселели, заговорили.

— Сразу видно солдата,— заметил один из штабных, стоявший у окна.— Ведь вы тоже были в свое время на фронте?

— Пришлось. Все Карпаты облазил.

— Семья большая? — спросил Ворошилов.

— Полна хата мелюзги... А старший где-то у вас, в Первой Конной.

— Значит, орел! — сказал Буденный и засмеялся.

Фрунзе подошел к Оленчуку.

— Считаю лишним предупреждать вас, Иван Иванович, что разговор у нас тут шел о делах абсолютно секретных.

— Насчет этого будьте спокойны, товарищ командующий... Самому ведь первым идти.

— Верно. Значит, договорились. Будьте дома и никуда не отлучайтесь.

Уже надевая шапку, Оленчук вдруг спохватился.

— Записку бы мне какую-нибудь... Чтоб с обозом не погнали.

— Ладно,— улыбнулся Фрунзе.— Это я вам сейчас устрою.

Присев к столу, написал:

«Иван Иванович Оленчук занят по делам службы.

Команд — юж Фрунзе».

XXXI

Сосредоточенный, задумчивый вышел Оленчук из штаба. Была уже ночь. Ветер разгулялся холодный, пронзительный. Налетая порывами из-за строений, подталкивал Оленчука в спину, и ноги сами несли его к Сивашу.

Село полно было гомона войск. На окутанных тьмой

улицах не прекращалось движение — грохотали повозки с патронами, спешили куда-то верховые, пробираясь между только что прибывшими пехотными частями, которые останавливались тут же, прямо на дороге, видимо в ожидании дальнейших распоряжений. Во всех подветренных уголках темнели кучки людей, поблескивали огоньки цигарок. А дороги, уходившие из Строгановки на север, в ветреные темные поля, сотрясались от непрестанного грохота колес, от тяжелого топота марширующих из степи колонн: оттуда все прибывали и прибывали новые части.

Медленно, уверенным шагом шел Оленчук мимо остановившейся колонны, прислушиваясь к гомону красноармейцев.

— Говорили, море, а где оно? — звучал в темноте молодой голос.

— Где все эти золотые пляжи да буржуйские дворцы?

— Зуб на зуб не попадает, а ему пляжи подавай,— смеясь, отвечал другой.— Сперва через Сиваш переберись.

— А что такое Сиваш?

— Трясина, болота бескрайние, вот тебе и Сиваш...

Какой-то боец, пряча уши в воротник и пританцовывая на месте, попросил у Оленчука прикурить.

— Дозвольте, папаша...

Оленчук усмехнулся в темноте. «Эх, не знаешь ты, сынок, что за папаша стоит перед тобой...»

На всех и на все смотрел сейчас Оленчук глазами проводника. Перед ним были не просто тысячи бойцов, а близкие, дорогие ему люди, которых он поведет по топкой трясине ночного Сиваша и рядом с которыми, может быть, и сам сложит голову где-нибудь там, на Крымском берегу. Никто еще не знал о поставленной перед ним задаче, об историческом совещании, в котором он только что за одним сто́лом с народными полководцами принимал участие, для всех этих бойцов он всего только обыкновенный крестьянин, местный житель, усатый «папаша» в чабанской шапке, а он, между тем, был уже во власти предстоящего ему подвига, и все окружающее воспринималось им как-то по-новому, и все эти тысячи бойцов, скопившиеся сейчас в селе, стали уже для него, как собственные сыны, которых предстоит

ему вести. Думал ли он, сивашский соленос, что его житейское, на протяжении десятилетий копившееся знание тайн Сиваша окажется так необходимо для всего народа?

Не заметил, как очутился на берегу Сиваша. Днем, когда нет тумана, отсюда видны справа Перекоп, а по ту сторону — чуть темнеющая полоска Крымского берега. Сейчас просторы Сиваша были скрыты мраком, туманом, обложены с неба тяжелыми осенними тучами. Шумят на ветру знакомые островки камыша. Оленчук спустился с берега; тускло сереет под ногами ровное оголенное дно. Отсюда воду уже согнало, сверху тину успело прихватить морозом, однако только ступи — нога проваливается, глубоко вязнет в топкой грязи... Трудной будет дорога на ту сторону, даже если знаешь Сиваш как свои пять пальцев. Но ведь не отказываться же было ему там, в штабе! Известное дело, дома жена и куча детей, которых не хотелось бы оставить сиротами, но разве не за их счастье он и поведет через Сиваш войска?

Поднявшись на бугор, он пристально вглядывался в ту сторону, в ночную темь, куда ветер гнал низкие клубы туч. Иной, новой мерой мерил он сейчас и ночную ширь Гнилого моря, его косы, отмели, путаные броды, хоженые-перехоженные за нелегкую жизнь. Отныне не издавна знакомым соляным промыслом лежал перед ним Сиваш, а огромным бродом для его армии.

Мысль его снова и снова возвращалась к тем, с кем он навеки связал свою судьбу, с кем разделит свой будущий путь. Полностью до конца принадлежит он отныне им, а они ему. Там, где по хатам сейчас ужинают красноармейцы, веселые, беззаботные, ничего не подозревающие, он уже среди них. Где оборванные, полубосые, чтоб согреться, пританцовывают в колоннах, и там он с ними, в колоннах. И даже с теми, что приближаются сейчас гулкими промерзшими полями к Строгановке, уже идет он, Оленчук, холодным, ветреным полем.

XXXII

Передовые части сибиряков и уральцев еще несколько дней назад, преследуя отступающего противника, с ходу атаковали перекопские позиции, пытаясь на плечах бе-

лых ворваться в Крым. Атакующие прорвались к самому Перекопскому валу. Было это ночью, местность вокруг незнакомая. Об укреплениях противника никто точного представления не имел, и все же войска с ходу пошли на штурм, настолько велик был их порыв, жажда не дать врагу укрепиться в Крыму на зиму. Однако в ту ночь ворваться на вал не удалось, и, когда стало ясно, что такими силами его не взять, войска, понеся большие потери, вынуждены были отойти назад, в степь.

Санитарные пункты и полевые штабы сбились на хуторе Преображенском, в нескольких верстах от Перекопа, неподалеку от залива. Когда-то здесь была одна из резиденций Фальцфейнов, стоял помещичий дом, окруженный серебристыми тополями, под тяжелыми черепичными крышами горбились саманные батрацкие казармы, за которыми до самого моря расстилались виноградники. Зная, что хутор переполнен красными, противник из Перекопского залива нещадно громил его огнем тяжелых морских орудий. С корнем выворачивало деревья, рушились дома, живьем погребая под развалинами раненых.

Без устали молотила вражеская артиллерия и по городку Перекоп, даром, что от него осталась только куча развалин, белеющих в степи перед валом, словно гора перемытых дождями костей... Города нет, все разбито вдребезги, разрушено дотла, однако артиллерия все бьет и бьет, зная, что и там, в развалинах, скрываются смельчаки разведчики. Из-за кое-где уцелевших печных труб, из-за чудом сохранившейся из всего города уездной тюрьмы, из-за каждого камня настороженно следит чей-то глаз, изучает мрачные, нависшие над степью вражеские укрепления.

С севера тем временем все прибывают новые красные части, идут пополнения, подтягивается артиллерия. Присивашские села в эти дни забиты войсками. Но не только села наводнили они, и в открытой степи перед Перекопом всюду войска, войска, войска. Одни, оттянутые на север, за сферу артиллерийского огня противника, терпеливо учились брать с ходу проволочные заграждения, резать и рвать колючую проволоку, другие, что поближе, прижатые огнем вражеской артиллерии к земле, лежали, раскиданные по всей степи, целыми днями не имея возможности поднять голову, и только тысячами зорких

глаз следили за ощетинившейся бесчисленным количеством стволов твердыней, которую им предстояло взять.

В один из этих дней красное командование предложило белым войскам сдаться и выслать для переговоров парламентера. В ответ на это белые открыли с Перекопского вала еще более яростный огонь, однако в назначенный для переговоров час огонь вдруг прекратился и с вала в сопровождении солдата-трубача с белым флагом спустился, направляясь в степь, высланный для переговоров офицер.

Это был недавно восстановленный в своем прежнем чине капитан Дьяконов.

Навстречу ему из степи, тоже с трубачом, приближался красный парламентер.

Перед тем его вызвал начдив Блюхер. Объяснив суть дела, откровенно предупредил об опасности:

— Скорее всего тебя убьют еще на полдороге. Пойдешь?

— Пойду!

Два человека сближаются среди перекопской степи на виду у двух притаившихся, готовых к поединку армий. Два смертельно враждующих стана тысячами глаз следят за каждым их шагом, пока они сходятся на поросшем бурьяном пригорке. Сошлись, остановились друг против друга, трубачи застыли поодаль.

Казалось, ждали от них чего-то сверхъестественного, превышающего человеческие силы. Может, и в самом деле договорятся? И не выть больше снарядам в воздухе, не стонать раненым, перестанет витать смерть над этим полем, не прольется больше человеческая кровь? Разве не может так быть? А вдруг эти трубачи с блестящими трубами только и ждут, чтоб обернуться и возвестить каждый своему войску радостную весть?

Хмурое поле под низко нависшими тучами. Дует резкий ветер Сиваша, развевая белый флаг парламентера.

О чем они там говорят? Говорят или, может быть, остановившись, только разглядывают друг друга?

А они и в самом деле стоят и смотрят. Направляясь сюда, Дьяконов ожидал увидеть грозного комиссара с железной «рабоче-крестьянской» челюстью, а к нему легким шагом приближался худощавый юноша в пло-

хонькой шинельке, в суконном шлеме, с малиновой звездой во весь лоб. Кто он? Латыш или полтавец, вятский или, может, туляк? Что привело его сюда, какая сила втянула в могучий водоворот революции? И какие у него основания, какое право диктовать сейчас свою волю им, последним защитникам Арарата?

Плохо, почти по-летнему одетый, в разбитых на марш ботинках, юноша старается не показать, что ему холодно, но тело, пронизанное стужей, само ежится, лицо до слез нахлестало ветром, и все же веселое оно какое-то, кажется улыбающимся, хотя он и не смеется. Что у него на уме? Что означает эта внутренняя скрытая улыбка — улыбка молодого сфинкса?

— Кто вы?

— Я красный парламентер. А вы?

— Я белый парламентер. Что вы имеете мне передать?

— Вот приказ: гарнизону Перекопа сдаться.

Дьяконов молча взял приказ.

— Мы не кровожадны,— продолжал юноша в шлеме.— Красноармеец страшен врагу в бою, а лежачего мы не бьем. Если сдадитесь, мы обещаем вам жизнь.

Он говорит твердо и убедительно. Лицо у него открытое, вызывающее доверие. Дьяконов ловит себя на том, что в нем растет какой-то почти болезненный интерес к своему противнику. Странная ситуация: за спиной у Дьяконова высятся лучшие в мире укрепления с тысячами бойниц, со стальными блиндажами, укрепления, воплотившие в себе мысль лучших военных инженеров Европы, воплотившие опыт грозного Вердена; а что за ним, какая сила поддерживает его, этого пронизанного ветром красного парламентера? Голая степь за его спиной, никаких укреплений, и все же не Дьяконов ему, а он Дьяконову диктует здесь волю свою и своих войск.

— Не секрет, крови пролито много, но это необходимость заставила нас, большевиков... А сейчас, если сложите оружие, всему шабаш!

Где оно, войско? Ни одной души не видно в степи, хотя их там, Дьяконов знает, без числа. Серые, незаметные, лежат на серых, открытых ураганному огню просторах перекопских равнин. Пока ничем не обнаруживают себя, не поднимают головы под нацеленными на

ших с вала жерлами орудий и только тысячами глаз сторожко следят за этим своим посланцем, что открыто стоит перед валом, говорит от их имени.

— Революция великодушна. Не война наша цель, а мир, чтобы новую жизнь строить.

Уже можно бы идти, пакет уже был у Дьяконова в кармане, а он все не находил в себе силы двинуться с места. Ему хотелось еще что-нибудь услышать от этого юноши в шлеме и в обтрепанной шинели, хотелось спросить о чем-то очень важном, может быть, самом важном в жизни...

Однако не Дьяконов к нему, а он первый обратился к Дьяконову с этим самым важным:

— А вы? Знаете ли вы, за что воюете?

В страстной его интонации Дьяконов ясно услышал наивное желание тут же на месте распропагандировать его, белого парламентера, не ожидая капитуляции Перекопа.

— За что? Ради чьей выгоды кровь свою льете? — горячо повторил он.

— Я не уполномочен говорить с вами на эту тему.

Красный парламентер улыбнулся.

— А я с вами уполномочен говорить обо всем, что подскажет совесть моя большевистская. Побьем мы вас, что бы там ни было,— побьем, если не сдадитесь! — сказал он с гордым и радостным вызовом и, переведя взгляд на вал, прибавил: — На что надеетесь? На укрепления эти? Неприступные, думаете? Нет для нас неприступного!

— Почему? — невольно вырвалось у Дьяконова.

— Народ за нас. Сотня упадет, а поднимется тысяча!

Дьяконов смотрел на него и чувствовал, какая сила, какая необоримая вера бьет ключом в этом юноше. Безоружный, почти босой, полураздетый, один подставил грудь всем бойцам вала, а, видно, чувствует себя тверже тех, кто укрылся там, на валу.

— Можно убить меня, но идею нашу, то, что таится вот здесь,— он стукнул себя в грудь,— не убить никому!

Вечерело, еще ниже стало осеннее небо над Перекопом, когда парламентеры под пение труб двинулись каждый к своим. Шли и, подняв трубы, на ходу трубили трубачи, и напряженно прислушивались к этим звукам

войска, пытаясь по тембру угадать, что они вещают. Может, и в самом деле перестанет литься кровь? Не нужны станут сразу ни колючая эта проволока, которой опутано все поле, ни заложенные в землю фугасы, ни жерла орудий расставленных по всему валу батарей.

Все отдаляются друг от друга парламентеры, все отдаляются, тонут в вечерней мгле трубачи. Уже почти не видно их в ранних осенних сумерках, и звуки труб едва слышны над огромным перекопским полем, где сквозь завывание ветра уже и не разберешь: то ли все еще трубят, расходясь в разные стороны трубачи, возвещая каждый своему войску свою суровую и тревожную правду, то ли трубит и свищет пронзительный ветер, гоня по степи перекати-поле куда-то в темные бездны Сиваша.

А когда совсем стемнело, ударили огнем батареи с Турецкого вала и мощные прожекторы, рассекая простор, метнули из-под туч свои голубые мечи куда-то в глубину притихшей, заполненной войсками степи.

XXXIII

Седьмого ноября, в третью годовщину Октябрьской революции, во всех присивашских селах, запруженных войсками, и в разбросанных по открытой степи красноармейских частях проходили летучие митинги. Выступающие давали клятву ознаменовать славную годовщину новой победой, водрузить над Крымом красное знамя. Повсюду в войсках царил такой подъем, так хотелось поскорее покончить с войной одним ударом, что командирам стоило усилий сдерживать бойцов от преждевременного выступления, от немедленной атаки Перекопа.

И хотя не был еще оглашен боевой приказ, каждому бойцу ясна была стратегия и направление основных ударов — одни штурмуют твердыню в лоб, другие бредут в обход через Сиваш. Третьего пути нет.

— Мы это Гнилое море своими телами устелим, а Крым будет наш,— грозя кулаком в сторону Сиваша, возбужденно кричал на митинге в Строгановке молодой боец с забинтованной рукой; он, как и многие другие раненые, отказался идти в лазарет.

После митинга до самого вечера в селе играли гармони, звучали песни, бурлило народное гулянье.

Оленчука с Фрунзе видели в этот день над Сивашом. Сперва стояли на холме у пологой впадины — спуска к Сивашу, а потом подкатила к ним тачанка, они оба уселись и поехали вдоль Сиваша в направлении Владимировки.

О чем мог идти у них разговор, какие были меж ними тайны между простым таврийским чабаном и известным всей стране полководцем красных войск? Может быть, Оленчук делился со своим собеседником мыслями, рассказывал о своей жизни, убогой радостями, богатой горем, трудной трудовой жизни простого человека. Может быть, наоборот, Фрунзе рассказывал ему, Оленчуку, о себе, о юности, прошедшей на баррикадах да в царских тюрьмах, о бессонных ночах в Николаевском каторжном централе, о ссылке и побеге потом через дремучую тайгу.

Фрунзе был одним из тех новых народных полководцев, выдвинутых революцией, которые, оказавшись на высших постах, всегда помнили, что каждый из них прежде всего коммунист, революционер. Свою военную работу Фрунзе не представлял себе без теснейшего контакта с трудовым населением тех мест, где приходилось действовать его войскам, в трудные минуты он искал поддержки именно здесь, в самой гуще народа. Так было на Восточном, когда в критический момент все трудовое население окрестных губерний было поднято на защиту Волги. Так было в Туркестане. Так и здесь. Именно эта черта, свойственная не столько полководцам, сколько революционерам, и свела его в присивашском селе с Оленчуком.

Едут они в тачанке вдоль осеннего Сиваша и, не думая о разнице в званиях и чинах, об условном расстоянии, которое, казалось бы, должно было отделять крестьянина от полководца, чувствуют себя просто — два равных человека, и серьезная, вдумчивая идет меж ними беседа.

Рассказывал Оленчук, а Фрунзе больше слушал, лишь изредка прерывая вопросом то о том, то о другом неторопливую Оленчукову исповедь.

— С детства мы, бывало, растем, как трава, мрет нас половина, а когда подымемся, царь с радостью забри-

вает нас в солдаты, и мы становимся тогда пластунами, гусарами, артиллеристами, кавалеристами... Нам не жалеют «георгиев», нам не жалеют похвал, но самого дорогого — воли, свободы жалеют: для ярма наши шеи, говорят, больно подходящие... Так, бывало, задергают, так взнуздают, что уже и пашут на тебе, а ты только сопишь, словно и не человек ты. А потом разогнешься, оглянешься — да нет, человек все-таки!

А вышли мы, строгановские, из казаков Сечи Запорожской. Как раздавала земли Катерина, нам Гнилое это море отдала, и мы назвали его Сивашами, потому все оно от соли сивое, когда ветер из него воду сгонит.

Вот тут и живем. Хату мою вы видели — из лебеды да глины, ни дать ни взять чабанский курень на берегу Сиваша. Так и живем из рода в род здесь, на юру над Гнилым морем. Ветром одеваемся, небом укрываемся...

Как песня, как дума тоскливая, течет рассказ, а Фрунзе слушает, и уже не полководец армий он в эти минуты, а рядовой боец великой ленинской партии, революционер, что жизнь посвятил борьбе за счастье народное. Тюрьмы, ссылки, каторжные централы — все ради этого. Вспомнил последнюю свою встречу с Ильичем в Кремле. Столкнулись на лестнице, Ильич как раз куда-то спешил.

— Значит, едете, молодой комфронт? Счастливо! Счастливо! — и крепко пожал руку на прощанье. Уже спускаясь по лестнице, Ильич еще раз обернулся, прищурился: — Советуйтесь с народом! Прошу вас. Советуйтесь как можно чаще!

Глубоко запали в душу эти слова, запечатлелись в ней, как памятка: *советуйтесь с народом.*

— А что у нас была за жизнь, товарищ Фрунзе... Повезешь, бывало, соль в Чаплинку или в Каховку, продашь, напьешься, набьешь кому-нибудь морду или тебе набьют... Только всего и было нашей радости. И овец пас по имениям, и колодцы пробивал, и соль собирал. Из лета в лето ноги в язвах: бродишь босой по соленым лиманам...

— Соляные промыслы были здесь, что ли?

— Главные промыслы это там, дальше, их крымские купцы арендовали. А мы здесь у себя больше ночами

да тайком, потому и за соль стражники ловили... Каторжный промысел. В жару рапа, как в чане, кипит. Ноги тебе разъест, руки разъест, а ты все бродишь, лазишь по кипящим лиманам, потому как это твой хлеб.

Льется и льется печальная дума Оленчукова, и в ответ ей отзывается в душе Фрунзе все пережитое в тюрьмах, выношенное на этапах, передуманное в ссылке. Никогда не бывал в этих краях, не видел, как жили здесь, собирая соль, эти люди — изгнанники на родной земле, но кажется, и не зная их, не раз уже думал о них, о горькой их доле...

«Советуйтесь, чаще советуйтесь с народом...»

Уже здесь, на Южном, получил от Ленина телеграмму: «Помните, что надо во что бы то ни стало на плечах противника войти в Крым. Готовьтесь обстоятельнее, проверьте — изучены ли все переходы вброд для взятия Крыма». Ленин, вождь мирового пролетариата, среди бесчисленных важнейших дел находит время подумать о том, изучены ли броды через Сиваш... Да ведь и верно — одной красноармейской храбрости, готовности идти через топи и болота Сиваша здесь недостаточно. Здесь надо́ поставить на службу революции всю силу народной мудрости, весь житейский опыт таких вот, как он. Фрунзе взглянул на Оленчука.

— А во Владимировке, в других селах, как вы думаете, удастся найти нам проводников?

— Насчет этого не сомневайтесь, Михаил Васильевич. Для Красной Армии проводники везде у нас найдутся, от Чонгара и до Перекопа. Это кабы для белых довелось, так для них у нас нету. Прошлый год, еще как только начали французы первые укрепления возводить на перешейке, интересовались ихние спецы Сивашами тоже. Расспрашивали мужиков: не замерзает ли, мол, зимой да есть ли надежные броды, по которым можно было бы войском пройти... Так толком ни до чего и не допытались.

— Не выдали, значит, тайну? — улыбнулся Фрунзе.

— Для сынов своих, для своего, для народного войска люди тайну берегли.

— Многие, выходит, знают?

— Старые люди рассказывают, что броды эти сивашские еще запорожцам известны были. От них,

должно, и нам в наследство перешло. Из колена в колено передавалось, пока не дошло до сего дня, чтобы сынам нашим, чтоб войску народному послужить... Так что в проводниках, Михаил Васильевич, недостатка не будет.

— Но мы в проводники не каждого возьмем. Тут нам нужны люди особо надежные.— И, близко наклонившись к Оленчуку, Фрунзе спросил: — Знаете, кого поведете?

Оленчук пожал плечами:

— Бойцов, конечно.

— Не просто бойцов. Доверяем вам самое дорогое, что у нас есть,— цвет Красной Армии. Лучших из лучших поведете, штурмовую колонну коммунистов.

— Что ж, товарищ Фрунзе,— сказал после паузы Оленчук,— что вам дорого, то и нам дорого. Как и вы, мы тоже твердо за Ленина стоим. Впервой, можно сказать, родную власть узнали и «владеть землей имеем право», как это в Интернационале поется.

Все дальше и дальше катится степью вдоль Сиваша тачанка. Вода спала, и Гнилое море оголило дно, сереет, покрытое соляным налетом, под которым застыла вязкая крутая топь. Слушая Оленчука, Фрунзе в то же время не отрывает взгляда от просторов Гнилого моря, в которых чудится ему что-то тревожное. Бескрайнее поле неразгаданных загадок и нераскрытых тайн, до самого горизонта раскинулось оно. По зыбкому, гнилому дну этого моря должны пройти его дивизии на ту сторону, а что там? В живом воображении Фрунзе уже встают берега мертвого полуострова, опутанные проволокой, все лето укреплявшиеся противником; подымаются высокие земляные брустверы, и, повернув жерла, целятся со всех этих далеких крымских холмов и круч навстречу его штурмовикам мощные батареи...

XXXIV

К вечеру Оленчук вернулся домой. Вошел в хату и, глядя на жену, первым делом спросил:

— Где дети?

Жена рылась в сундуке. Обернулась удивленная, насторожилась·

— А что?

— Да так... Ничего.

По голосу его, глуховатому, суровому, жена сразу догадалась: случилось что-то. Что-то важное на сердце принес. Допытываться, однако, не стала.

— Побежали к соседям на гармошку,— ответила и, оставив открытый сундук, стала собирать ужин.

Иван, скинув кожушок, опустился на лавку.

— А постояльцы где?

— Тоже там... Веселятся, аж хата ходуном ходит.

Подав ужин, жена снова занялась сундуком.

— Будет и у нас лазарет, Иван.

— Лазарет? — Спрашивая, он, видимо, думал о чем-то своем.— Какой лазарет?

— Прибегал Вдовченко из ревкома, сказал, чтоб готовили хату... Так вот я на холст гляжу. Как думаешь, Иван, сгодится на бинты?

Стоя у сундука, жена перекинула через плечо полотнище домотканого небеленого холста.

— Собиралась детям сорочки к пасхе пошить, да когда еще та пасха? А их же надо будет чем-то перевязывать. Правда, толстое, грубое, да зато чистое...

В суровой задумчивости смотрел Оленчук на холст в руках жены, с которой столько лет делил радость и горе. Не знаешь еще ты, Харитина, кого будешь перевязывать... Может, обовьешь чистыми своими полотнами и самого хозяина, пробитого пулями, изрешеченного картечью... А может, и вовсе останешься с детьми на старости лет вдовою...

— Ты что ж молчишь, Иван? — подошла к нему жена.— Вчера молчал и сегодня сидишь, как туча! Чего они хотят от тебя там в штабе? Отчего ты такой?

Иван точно пробудился от сна, улыбнулся каким-то своим мыслям.

— Не-ет, не знает еще фон барон Оленчука,— заговорил как бы сам с собой.— Думает, верно, что Оленчукова спина — это ему доска грифельная... чтоб по ней вечно шомполами писать... А может, хватит? — И прибавил, бодро потирая руки.— Давай-ка ужинать, Харитина...

Он и не заметил, что кулеш давно уже стынет перед ним на столе.

Мигал каганец. Стекла дребезжали под ветром. Тоскливо пела в трубе осень.

Только взялся за ложку, как с грохотом отворилась дверь, и веселой толпой вместе с постояльцами ввалилась в хату детвора своя и соседская.

— Тату, а мы стих знаем! — подлетел к столу Мишко, средненький, и выпалил одним духом:

Ми стали волі на сторожі,
Її не зрадимо ніде!

А Кирилко, младший, вынырнув из толпы красноармейцев, живо добавил:

Тремтіть, недобитки ворожі,
Червона Армія іде!

Смеялись постояльцы, смеялась и мать у печи, переводя взгляд с одного звонкоголосого вояки на другого: они так и летали по хате в своих крылатых лохмотьях.

Не успел Оленчук и несколькими словами перекинуться с постояльцами, как в окно кто-то громко, настойчиво постучал.

— Кто там? В хату заходи!

Вбежал штабной посыльный, бойкий парнишка с карабином на плече.

— Пошли, батя! Ждут вас.

Все, примолкнув, недоуменно и уважительно следили за хозяином. Не спеша поднявшись, Оленчук надел кожушок, натянул шапку, взял в углу посох.

Дети, почуяв что-то, облепили его:

— Тату, куда вы?

Он положил ладонь на голову младшему.

— Не закудакивайте.

Уже с порога обернулся еще раз, встретился взглядом с женой. Она, все поняв, молча перекрестила его на дорогу.

У Сиваша уже стояла штурмовая колонна. Шелестело в темноте развернутое знамя. Вверху над головами бойцов темнели длинные, с пучками камыша на концах, еще днем заготовленные вехи.

Было около десяти вечера. Сиваш потонул в густом холодном тумане. Секла лицо, била в глаза острая, как осколки стекла, ледяная крупа. Кое-где в сплошной стене штурмовиков — конца ей не видно — тлели огоньки самокруток, время от времени освещая строгое худое лицо, поднятый воротник, натянутый на уши шлем.

— Товарищ комиссар! — звонко доложил посыльный.— Проводник прибыл.

— Здравствуйте, товарищ Олейчук... Вот мы и опять встретились. Не узнаете?

— А вы кто?

— Я — Бронников Леонид, старший колонны. Вы готовы?

— Готов.

Комиссар повернулся к бойцам.

— Бросайте курить, товарищи. Передайте по колонне: двигаться будем без огня, без шума. Проверить все на себе. Поправить ножницы, гранаты, чтоб ничто не стукнуло, не брякнуло...— И, обращаясь к Олейчуку, скомандовал: — Проводник, вперед!

Олейчук двинулся вперед. Слышал, как где-то совсем над его головой хлопает по ветру знамя. Слышал, как вдруг глухо и мощно, точно из-под земли, возник, нарастая, знакомый торжественный мотив...

Это есть наш последний
И решительный бо-ой...

Под это пение колонна стала спускаться с берега на дно Сиваша.

XXXV

Сколько раз доводилось Леониду Бронникову слышать «Интернационал», но сейчас, когда его, отправляясь на Сиваш, запела в темноте хриплыми, простуженными голосами штурмовая колонна коммунистов, пролетарский гимн прозвучал для Леонида как-то особенно проникновѐнно и взволновал его, как никогда.

С ним, с «Интернационалом», с самых юных лет связал Леонид неспокойную свою судьбу. От подпольной матросской группы на корабле с ночными тайными беседами в кубрике; от дружбы с херсонскими портовиками, которые спасли его от неминуемой каторги, отправив своего юного друга в далекое плавание, откуда он, очаковский парень, беглый военный матрос Леонид Бойко, вернулся уже профессиональным революционером Леонидом Бронниковым; через скитания кочегаром на иностранных лайбах; через водяные стачки в фальцфейновских степях; через революцию и фронты — до этого по-

следнего решительного штурма. Нет, если бы ему пришлось начинать жизнь сначала, он снова начал бы ее так же!

Отзвучала песня, и слышно уже, как шуршат на ходу шинели, как глухо шаркают в темноте тысячи ног по подсушенному морозом морскому дну.

— Тут и артиллерия пройдет,— говорит кто-то из идущих впереди.— Твердь.

— Покуда твердь,— отзывается на голос проводник,— а там захлюпает.

— Рыбачили?

— Рыба здесь не живет, товарищ. Соль собирал. Ничто не выдерживает, одна соль только и родит. А уж как и она не уродит, да как хлеба не наменяешь, тогда зубы на полку.

— Нелегко, видать, и вам здесь кусок хлеба доставался.

— Ой, нелегко, товарищ. А вы сами откуда будете?

— Я питерский. Путиловец.

— Давно, верно, дома не бывали?

— Третий год как не видел семьи.

— Теперь уже скоро...

— Нужно, чтоб скоро. Как можно скорее нужно.— Собеседник Оленчука, наклоняясь на ходу, глухо, простуженно кашляет.— Сегодня письмо получил, товарищи с завода пишут: «Ждем к зиме тебя домой, товарищ Капитонов» (это фамилия моя Капитонов). К зиме... Тут, брат, догадывайся сам. Разруха, блокада, а если сверх этого тяготы еще одной военной зимы... Нет, пора кончать!

«Пора, пора!» — откликается и в душе Леонида. Это чувство, которым живет здесь каждый в колонне, было самым пылким желанием и его, Леонида, ибо знал, что за этим последним боем откроется совсем новая жизнь, вольно вздохнут люди, и там, если он доживет до тех дней, можно будет жить только радостью мирного труда, там можно будет ему больше никогда не разлучаться с женой и сыном... Кринички! Весенние в вишневом цвету Кринички, как далеки они отсюда, от этого осеннего, тревожного, чавкающего под ногами Сиваша.

Все меньше кажутся далекие огни костров, разложенных на оставленном берегу. Это маяки. Знает Бронников, что их разожгла армия специально для них, для

красных своих авангардов, чтобы легче им было ориентироваться в Сиваше. Знает, что не одной строгановской колонне светят этой ночью маяки, зажжены они и в соседних селах, так как, кроме штурмовой колонны, вышедшей только что из Строгановки, параллельно ей движутся сейчас во тьме Сиваша штурмовики других красных дивизий, и впереди, палкой прощупывая дно, идут такие же, как Олейчук, проводники из местных жителей. Промелькнули в памяти Леонида трагические картины прошлогоднего херсонского отступления, разбранные колонистами пути, недовольный гул и брожение среди бурлящих повстанческих масс... Мог ли думать тогда этот самый Олейчук, трясясь незаметным обозным в отступающих войсках, что пройдет год — и станет он проводником железных регулярных частей и первый пойдет с ними через Сиваш?

Шагая впереди, Олейчук все чаще останавливается, чтобы сориентироваться. Потом, словно оправдываясь, говорит, обращаясь к Бронникову:

— Верите ли, товарищ комиссар, никогда еще так не боялся ошибиться, потерять дорогу, как в этот раз... Сам заблудишься, так сам и пропадешь, а заблудиться с вами, когда тебе доверено такую силу вести,— не простят тебе промаха ни дети, ни внуки, весь народ тебя проклянет.

Уже растаяли, скрылись в тумане строгановские костры-маяки; холодный мрак окутал колонну со всех сторон. Под ногами все сильнее чавкает, дно прогибается, точно дышит Сиваш.

Треть пути прошли они почти по твердому грунту, и только здесь началось то, за что, собственно, Сиваш и назван Гнилым морем. Илистое дно запружинило под ногами, со всхлипом уходит верхний пласт в гнилые подгрунтовые впадины и снова подымается. Дышит трясина. Захлюпала мертвая, никогда не замерзающая топь; густо раскинулись по серому дну черные, как деготь, таинственные омуты чаклаков.

— Берегись! — бросает то и дело Олейчук, петляя между чаклаками и прощупывая палкой дно, и его «берегись!», глухо повторенное за ним, передается дальше по всей колонне.

Двигаются теперь значительно медленнее, забирая то влево, то вправо. Ноги все чаще проваливаются, вяз-

нут по колена в густой холодной грязи. Чавкает и чавкает без конца зыбкая, засасывающая топь. Каждый шаг дается с трудом, все тело напряжено. Бронников чувствует, что в сапогах у него уже полно ледяной воды, грязи. Натруженные, потертые ноги нестерпимо щемят от соляной рапы. Штаны и шинель — все уже мокрое, тяжелое, липкая рапа ползет по телу все выше, даже волосы уже слиплись на голове.

На холод, на мороз, от которого колом становится одежда, уже никто не обращает внимания. Бойцы расстегнулись, бредут, обливаясь потом, тяжело, надрывно дыша. По двое, по трое несут на руках пулеметы.

Через каждые сто шагов ставят веху. Все меньше вех в колонне, все больше остается их на пройденном пути. Вехи — это для тех, кто вскоре двинется через Сиваш следом за ними, за высланной вперед штурмовой колонной, где собраны самые отборные, выдержанные бойцы, гранатометчики и резальщики проволочных заграждений, которые должны, пусть ценой жизни, проложить проходы для главных сил. Бронников мысленно видит за собой все вехи, расставленные по дну Сиваша, представляет, как пойдут по ним — а может быть, и идут! — артиллерия, конница, массы войск, запрудившие Строгановку и другие присивашские села. Сознание того, что он со своими товарищами сейчас прокладывает путь для целой армии, держит Бронникова все время в возбуждении, в состоянии крайнего напряжения и предельного подъема всех физических и душевных сил.

Впереди неизвестность, опутанный колючей проволокой полуостров, ливень огня, под которым, может быть, и сложат они свои головы, все эти идущие первыми, но сильнее смерти, сильнее всех тревог, навязанных мрачным видением вражеского берега, было чувство гордости за товарищей по колонне, за роль, что выпала на их долю в эту историческую ночь. Это все идут товарищи его по партии, идут те, у кого есть нечто более дорогое, нежели собственная жизнь. Бывшие каторжане, подпольщики, пролетарии, крестьяне, матросы, они посвятили себя одному делу — добыть счастье народу. Отсюда их бесстрашие, отсюда готовность, презирая смерть, брести этим ночным болотистым, непроходимым Сивашом. Все

лето бнлись в степях, н страшиы были врагам их штыки, но еще страшиее — их вера, целеустремленность, боевой порыв нх сердец!

— Товарнщн, яма!

— Тону!

— Затягивает!

— Руку, товарнщи!

Кого-то вытаскнвают, до кого-то уже не дотянуться. Стонт лншь сбнться в стороиу на иесколько шагов, и человек проваливается по самую шею. Пришлось взяться за рукн н двнгаться дальше плотнымн рядамн, поддерживая друг друга.

Внезапно где-то справа зловеще мелькнул в тумаие голубой невесомый луч прожектора. Коснулся тучи и сразу погас. После этого окружающнй мрак стал еще гуще.

Вскоре прожекторы прорезали тьму сразу в иескольких местах, слева и справа, иервно перебегая в тумаие, шаря по самому дну Сиваша.

Штурмовикн былн к этому готовы. Мгновеиио прнселн, замерлн группами, кто где стоял. И когда одии из прожекторов, блуждая, добрался сюда, прощупывая, нет ли живого человека иа Сиваше, кучкн бойцов в его жутком свете можио было прниять за островкн камыша да темные пятна чаклаков.

Прожектор переметиулся в сторону, н снова нз уст в уста побежала команда:

— Вперед!

Неожиданно наступило безветрне, ио, кроме Олеичука, иикто этого не заметил. Проводиика затншье встревожило. «Не повернул бы после этого ветер, не погнало бы воду с Азова...»

Было уже за полночь, когда колоииа, мииовав полосу трясины н чаклаков, нзмученная, облеплеиная грязью, выбралась накоиец снова на более надежный, прочный грунт.

Двинулись почтн бегом с вннтовкамн наперевес.

— Да скоро ли, наконец? — в нетерпении спрашнвалн Оленчука.

— Уже близко...

И вдруг, словио при вспышке молнни в воробьиную ночь, людей на миг ослепило сиянне прожекторов, наведенных откуда-то прямо на ннх — бледных, заросшнх,

забрызганных сивашской грязью. Темнота расступилась, открыв вправо и влево контуры береговых круч и совсем близко густой частокол бесчисленных проволочных заграждений, покрывавших все побережье. Это уже был Крым.

— В цепь! — пронеслось по колонне.— Резать проволоку!

Комиссар Бронников с гранатой в руке, обгоняя Оленчука, успел бросить ему:

— А вы возвращайтесь! Вам еще других переводить!

И побежал. Усылая Оленчука из-под огня, командир, очевидно, и мысли не допускал, что сам он тоже не заговорен от пуль, что опасность грозит и ему. Кинулся вперед так, точно ждала его там, на Литовском полуострове, не война с колючей проволокой, с тысячами смертей, а только тяжелая срочная работа, которую он должен выполнить во что бы то ни стало, оставаясь при этом живым и невредимым. И — странно — Оленчуку в эти напряженные секунды и в самом деле верилось, что все они, кого он вел и кто в полный рост ринулся теперь вперед, так в полный рост и пройдут под прожекторами сквозь проволоку, сквозь огонь Литовского полуострова и ничто их не коснется.

Огненным ливнем ударило с круч, все гуще звенели в воздухе пули, ухнул первый снаряд, подняв со дна Сиваша фонтан грязи, но никакая сила уже не могла остановить штурмующих, что могучей волной накатывались из фантастически освещенного прожекторами Сиваша и бурей неслись вперед.

Оленчук не узнает штурмовиков. Вместо измотанных, смертельно усталых бойцов, только что изнемогавших в трясинах Сиваша, мимо него сейчас лавиной несутся как будто другие, словно окрыленные люди. В длинных шинелях и высоких шлемах, они кажутся сейчас какими-то великанами в мертвенно-голубом сиянии прожекторов...

— Вперед! Вперед!

Падают под пулями и снова встают в полный рост, в смертельной решимости бросаются на штурм береговых укреплений, пробивают проходы гранатами, оглушая все побережье дружным кличем:

— Даешь Крым!

XXXVI

Весть о том, что колонны коммунистов, перебравшись ночью через Сиваш, прорвали береговые укрепления Литовского полуострова, вызвала переполох в белых штабах. Перебрели море, заходят в тыл! Чтобы ликвидировать прорыв, Врангель вынужден был повернуть лицом к полуострову две дивизии из-под Перекопа, бросить сюда лучшие свои резервы. Жерла орудий с Перекопских позиций тоже были повернуты на Сиваш. Красные полки, двинувшиеся вслед штурмовым колоннам, могли идти по открытому дну уже только перебежками, глохли от адского грохота тяжелых снарядов, что рвались и рвались по всему Сивашу, вскидывая к небу огромные столбы грязи. Вряд ли кто знал и когда-нибудь узнает, сколько их, безыменных героев, в эти часы штурма вместе с артиллерией, лошадьми, вместе с винтовками и пулеметами навеки погрузились в бездонные трясины Сиваша.

Наступил день восьмого ноября — первый день боев уже по ту сторону Сиваша, на крымской земле.

Данька Яреська этот день застал в открытой перекопской степи, на заброшенном чабанском стойбище, где в ожидании атаки нашли себе приют бойцы одного из батальонов 455-го стрелкового полка.

Холод пробирал до костей: при полном бесснежии температура спускалась ниже десяти градусов. Много было в эти дни обмороженных. Тысячи тех, кому выпало маяться в открытой степи, с завистью поглядывали на далекие, оббитые ветрами присивашские села: там человечье тепло, там можно было бы обогреться. В степи даже бойцы-сибиряки, привыкшие к суровым северным зимам, больше всего страдали именно от лютой этой холодины, от бесснежной черной таврийской зимы, с ее пронзительными буранными ветрами.

В таких условиях это полуразрушенное чабанское стойбище оказалось для красноармейцев просто находкой. Яреське здешние места знакомы давно, знакомо ему и это стойбище, среди чабанов называвшееся когда-то табором Пекельным. Еще батрача у Фальцфейнов, он не раз, спасаясь от буранов, забредал с отарой сюда, в отдаленный степной табор, где были тогда огромные загоны для скота и теплые печи в землянках для батра-

ков и чабанов, чтоб могли они отогреться здесь после целодневных блужданий на стуже, в открытой степи. За годы войны стойбище разрушилось, пришло в запустение, кошары растащили, землянки развалились, остались только кучи глины да часть плетеных загородок, под которыми укрылись, прижавшись друг к другу, Яреськовы однополчане.

Скорей бы уж атака на вал! Этим чувством полон каждый боец. Знают, что вся страна в эти праздничные революционные дни смотрит на них, ожидает от них последнего удара. Знают, что товарищи их уже бьются на Литовском, переправившись ночью по ледяным болотам Сиваша. Весь день и здесь гремит артиллерия. Первые волны атакующих, прижатые к земле ее ураганным огнем, лежат уже где-то перед самым валом. И дальше вглубь вся степь полна ими, как птицами осенью перед отлетом.

— Товарищ комиссар, когда же мы? — в нетерпении спрашивают красноармейцы своего комиссара Безбородова, в прошлом ивановского ткача.

— Выдержка, выдержка, товарищи,— говорит он, переходя от бойца к бойцу, проверяя, наточены ли ножницы, в порядке ли оружие.

— А правда ли, товарищ комиссар,— обращается к Безбородову молодой боец Ермаков,— что товарищ Фрунзе наш земляк, что он тоже не то ивановский, не то шуйский?

— Слышал и я, что он наш, из нашей красной губернии,— улыбается Безбородов.

Присев неподалеку от Яреська, комиссар некоторое время наблюдает, как этот бывший чабанок, окруженный товарищами, молча складывает небольшой костер из кизяка и стеблей бурьяна.

— Сразу видно чабанского умельца,— замечает комиссар, тепло глядя на Яреська.— Немало, видно, товарищ Яресько степных огоньков тут пораскладывал?

— Да пришлось,— отвечает Данько и, растянувшись на земле, принимается старательно дуть в чуть живой костерок.

— Только дым разгоняйте, чтобы противник не заметил,— посоветовал бойцам Безбородов и сам стал отгонять дым рукой.

Взметнулись первые язычки пламени, и вот уже со всех сторон навалились на него дрожащие от холода бойцы, ловя слабое тепло.

Шутя стали припоминать, где и кому из них жарче всего пришлось, и кто-то из ветеранов полка рассказал, как они еще в Оренбургских степях с Блюхером, на охваченном пламенем поезде от белоказаков к своим пробивались. Двигались так: впереди платформа с тюками ваты, за ней паровоз и сзади опять платформа с ватой.

— А беляки бьют, вата загорелась, ветер раздувает огонь. Что делать? На ротном одежда тлеет, а он: «За мной, товарищи!» — и на полном ходу из огня да под откос, а мы всей командой за ним. Блюхер тоже недалеко от нас с «гочкисом» в цепи лежал. Отбивались, пока подмога не подоспела.

Кое-кто из бойцов тем временем, приноровившись, стал жарить над огнем где-то раздобытый ячмень.

— Бери! Черный рис! — трясет перед Яреськом жестянкой с подгорелым ячменем знакомый китаец.

С аптекарской точностью он отмерил горсть ячменной поджарки Яреську, насыпал подряд другому и третьему.

— Бери и ты! — говорит китаец, обращаясь к комиссару, который, стараясь не показать, что он голоден, с равнодушным видом ждал, пока очередь дойдет до него.

Повеселели от этого угощения, едят, губы черные, хрустит у бойцов на зубах горелый перекопский рис.

Однако недолго наслаждались они прикрытым шинелями теплом. Начался обстрел, стали ложиться в степи снаряды, и костер пришлось погасить...

Съежившись, лежит среди товарищей Яресько на холодной, мерзлой, содрогающейся от канонады земле. Еще год назад, когда он носился здесь по степи с Килигеевыми повстанцами, была у них только одна пушка с тремя снарядами, и они, как малые дети, которые играют в войну, били из нее по этой вон перекопской колокольне... То была пристрелка. И Хорлы, и первый тогдашний «с воловьими батальонами» штурм Перекопа, и крымский рейд — все это была только пристрелка перед несравненно более тяжелыми боями, которые теперь и начались. Странно складывается его, Яреська,

судьба. Столько прошел дорог, и вот снова он лицом к лнцу с Перекопом, только все тут теперь словно по-нному: и степь, и тучи, и Турецкнй вал, по-тнгрнному вытянувшийся иа горнзонте через весь перешеек. Есть в нем что-то таинственное, что-то такое, что привлекает, приковывает к себе взгляды бойцов.

Когда после ожесточенных боев за плацдарм, степямн, что все лето и осень былн однннм необъятным полем сражения, полки впервые подошли сюда, и сталью блеснули впереди осенние воды Перекопского залива, и увндели они вал, Яресько всем своим существом понял, что иет отсюда пути назад, что здесь можно только умереть или победить. Четырехсаженная стена. Ненсчислимое множество пулеметов. Орудня крепостные... И все это против человека, который придет из открытой степн...

Немеют руки, коченеют иоги, кровь застывает в жилах. Кажется, что и земля здесь зябнет, что и ей холодно. Весной теплая, вся в цветах, сейчас она даже трескается, схваченная ранним сухнм морозом. Пролетают снежинки. Прнпомнились почему-то Яреську цветущие степи ковыльные, весеннне, и еще острее почувствовал, как холод иголками пронизывает его насквозь. Долго ли еще мерзнуть? Скорей бы уж атака!

Встанут и пойдут они серой осенней этой степью, что простерлась здесь до моря, а там — до самых Снвашей. Прншлось ему походить с чабанской герлыгой по этой степн и в жаркий зной, и в осеннне бураны, когда перелетные птнцы, замерзая на лету, падалн прямо на головы чабанам. Черные бури вспомнил: ходнлн с хоругвями днем, при солнце, а точно иочью. Тоскливые высвнсты сивашских ветров, сколько переслушал он нх по таким вот чабанскнм стойбищам, н вот снова корчится от стужн в родной степн в своей ветром подбитой шннели. Ну что ж... Холод? Перенесут! Голод? Вытерпят! Ведь это ж в последний раз! Потому что ие будет больше, ие должио уже быть после этого штурма ин батрачества горького, ни черных бурь, ин матерннскнх слез!

Хоть бы уж скорее! Никакая сила не остановнт их в этом последнем штурме. Кажется, со всего света собралнсь такие же, как ои, гонимые н бесправные в прошлом, а теперь готовые на все ради новой жизни. Сибнряки. Ивановские ткачи. Красные латыши, которых

революция привела сюда от берегов Балтики. Китаец, побратавшийся с такими же, как он, беднякамн Полтавщины. Это все людн, у которых не было жнзни. Не потому, что онн ее не любили, а потому что нм не давалн жить. Терпелн долго, но осточертело наконец, и вот теперь поднялись, чтобы добыть все, что принадлежнт человеку по праву, н никакая снла не остановнт их на этом путн.

Посиневшне от холода, они, как только прекращается обстрел, вскакивают, начннают греться, кто как может. Тот приплясывает на месте, тот, разгоняя кровь, машет-бьет руками, точно крыльями. Кое-кто совсем без шинели — плечн прнкрыты мешковнной, на ногах какое-то тряпье...

Свистит и свнстит у Яреська над ухом. Ветер лн сквозь кураи рвется или тоскливо напевает кто-то рядом? Звенит железо о железо. Оглянулся — прнкрывшись свиткой, молча точат Левко Цымбал топор, а Ермаков лопату: рубнть ночью колючую перекопскую проволоку. То тут, то там перекндываются словечком бойцы, обмениваются адресамн. Тот, слышь, с Урала, тот нз Иванова, тот из Чернигова, тот из Смоленска. А почему ж китайчонок сидит такой грустный, никому не дает своего адреса?

— Тебе-то куда пнсать? — обращается к нему Яресько.

— Обо мне, если что... товарищу Ленину напиши.

— Кому, кому? — переспрашивают те, что не расслышали.

— Ленину, вождю мировой революцин.

Уже смеркалось, когда в расположение полка приехал Фрунзе.

Здороваясь с Безбородовым, он вдруг задержал его руку в своей, внимательно посмотрел в лицо, мужественное, с запавшими щеками, с сединой на висках...

— Ванюша?

— Товарищ Арсенний?

Они крепко обнялись.

— Вот где довелось встретнться,— взволнованно произнес Фрунзе.— Не блнзкий путь от ивановскнх подвалов до твердынь Перекопа.

— От первых баррикад до штурма последней цитадели контрреволюции...

И сразу же перешли к делам насущным.

— Как бойцы, товарищ Безбородов? Как настроение?

— Люди рвутся в бой.

— Много обмороженных?

— Процент небольшой, но есть... Обносился народ. Видите, в рубище?

Для Фрунзе это не было неожиданностью. В других частях, где ему пришлось побывать сегодня, положение не лучше. Везде в отрепьях народ. Полубосых видел, обмороженных, посиневших от холода, как и эти вот. Интендантские базы остались далеко позади. Даже то, что есть, не подвезти никак. И все-таки, несмотря на это, не слышал нигде ни одной жалобы. Сотнями подают заявления в партию, горят желанием немедленно ринуться в бой, чтобы взять перекопские укрепления, порадовать своих родных в тылу, победой отметить третью годовщину революции.

Бойцы тесным кольцом обступили командующего.

Фрунзе смотрел на них, и теплое братское чувство переполняло его сердце.

— Как живется, товарищи?

— Хорошо. Живем, не горюем!

— Холодно?

— Да, покусывает. Кабы дрожать не умели, так уже позамерзли бы.

И смеются. Зуб на зуб не попадает, а смеются. Странно было слышать смех этих полубосых, съежившихся от холода людей, что, прижимая к себе винтовку, поцокивая зубами, греют друг друга собственным теплом... Что мог им сказать командующий? Как мог укрыть от лютого ветра, что бритвой режет в этой открытой приморской степи?

— Нелегко. Трудно. А надо, товарищи...

— Понимаем, Михаил Васильевич... На зиму затягивать никак нельзя. Спешить приходится.

— Слышите? Бурлит Литовский полуостров. Еще с ночи там бьются ваши товарищи, чтоб легче вам было штурмовать укрепления отсюда в лоб. Надеюсь, до утра красное знамя будет водружено на валу!

— Водрузим, товарищ комфронт!

— Так и Ленину передайте: хоть гром с неба, а вал будет наш!

Уже прощаясь, Фрунзе снова подошел к Безбородову.

— Ну, Ванюша, желаю успеха. С таким народом... ничто нам не страшно.— И, обращаясь к бойцам, громко сказал: — До завтра! До победы, товарищи!

XXXVII

Ночью после объезда частей командующий прибыл в Строгановку, в штаб Пятнадцатой дивизии.

На околице, над самым Сивашом, прилепилась оббитая ветрами мазанка. Гудят голые акации, похаживают в темноте, ежась от холода, часовые. То и дело хлопает перекошенная дверь; в мазанке, как в улье, гул голосов. Многочисленные телефонные провода — одни тянутся откуда-то из степи, другие — снизу, с Сивашей — сходятся пучком к освещенному окну, скрываются в нем.

В хате полно военных, глаза у них красные от бессонницы. Чадят каганцы, пол покрыт сивашским илом, нанесенным сапогами штабных.

Фрунзе присел к столу, слушает информацию начштаба о положении на Литовском полуострове.

Положение тяжелое. Противник наседает. Потери огромны. В штурмовых колоннах погибло больше половины. Части Пятнадцатой, Пятьдесят второй и Пятьдесят первой дивизий, днем продвинувшиеся было вперед, сейчас снова прижаты к самому Сивашу. Не хватает патронов, нет даже пресной воды для питья. Ни патронных повозок, ни кухонь переправить на полуостров не удалось: все вязнет в болоте...

Не успел еще начштаба закончить свой рапорт, как на пороге неожиданно вырос бледный, весь заляпанный сивашской грязью боец-телефонист.

— Товарищи... Море! Море идет на нас!

Фрунзе встал, окинул телефониста суровым взглядом.

— Без паники! Докладывайте, в чем дело.

Связист, видно, только сейчас заметил Фрунзе.

— Ветер повернул, товарищ командарм... Вода поднимается, заливает броды!

В сопровождении работников штаба Фрунзе вышел из комнаты.

Беспредельная тьма пронизана свистом ветра. Как

над кратером вулкана, багровеет небо над Перекопом. Левее, где-то над Литовским, тоже поднимается зарево: горит Караджанай. Сиваш тонет во мраке, не видно, есть там вода или нет, но по морской влажности воздуха, которым тянет оттуда, можно догадаться, что вода и в самом деле приближается.

— Сперва было по щиколотку,— взволнованно рассказывает на ходу телефонист,— потом по колени, а теперь некоторые уже по пояс стоят в воде, держат провод на руках.

— Почему на руках?

— Вода соленая, разъедает изоляцию...

— Подвесить на шестах.

— Нет шестов, товарищ комфронт. Вместо шестов рота связи поставлена на Сиваш.

Представил Фрунзе, как часами стоят на ветру в ледяной воде его телефонисты, растянувшиеся цепочкой через покрытый водой Сиваш, держа в окоченелых руках нитку провода.

В сопровождении штабных Фрунзе спустился на дно Сиваша. Там, где вчера было еще сухо, сейчас хлюпает вода. Где-то в темноте за камышами натужно фыркают кони, слышится шум голосов, ругань: артиллеристы вытягивают увязшую в болоте пушку.

Фрунзе, взяв правее, вскоре выбрался с товарищами на песчаный горбок — еще не залитую полоску брода. Здесь было видно, как наступает вода. С каждым порывом ветра волна набегает все дальше на запад, все больше захлестывает брод. Если так будет прибывать, к утру вода покроет Сиваш до самого перешейка.

Скрывая тревогу, штабные ждали, что скажет командующий. Каждому было ясно, чем это грозит. Скоро зальет все броды, полки Пятнадцатой, а потом и Пятьдесят второй будут отрезаны там, на Литовском. Без патронов, без пищи, без воды... Какой же выход предложит комфронта? Может быть, даст приказ спасаться, пока не поздно, переправиться через Гнилое море обратно?

— Нет, только вперед! — произнес Фрунзе, как бы отгоняя собственные сомнения. И тут же распорядился: — Вызвать кавалерию! Бросить на Сиваш Повстанческую группу. Пускай, пока еще возможно, немедленно переправляются на ту сторону на поддержку товарищам...

— Что передать Пятьдесят первой?
— Пятьдесят первой еще раз подтвердить приказ: немедленно атаковать Турецкий вал в лоб, взять любой ценой.
Через несколько минут от штаба уже мчались во всех направлениях верховые; летели по проводам иа Перекоп, обгоняя наступающее море, приказы командующего:
«Сиваш заливает водой. Положение угрожающее. Немедленно идти на штурм!»

XXXVIII

В Строгановке ревком ударил в иабат. Все село было поднято на ноги.
— Все на Сиваш! Море гатить! — покатилось из края в край села по ночным улицам, по дворам.
Срывали двери с хлевов и сараев, валили плетни, ворота, калитки. Все складывалось на возы, ничего не жалела Строгановка для родного войска. Скоро загрохотали в темноте, спускаясь к Сивашам, крестьянские подводы, нагруженные деревом, соломой, камышом, хворостом, камнями, загомонили, поспешая туда же, мужики, женщины, подростки с лопатами в руках.
Иван Оленчук прибыл к броду во главе целого обоза, поднял всех жителей своего конца — от старого до малого — спасать броды.
Вторую ночь уже не спит Оленчук, вторую иочь ие просыхает на нем тяжелая, пропитанная сивашской рапой одежда. Несколько колонн перевел он за это время на Литовский полуостров, под артиллерийским огнем пересекая Гнилое море туда и назад. Когда переводил последних, Сиваш уже заливало водой, большую часть пути пришлось брести по пояс, и немалого труда стоило ему угадывать в темноте затопленные броды. Если бы ие вехи, расставленные штурмовой колонной, так и самого бы уже, верно, проглотили чаклаки. В селе много раненых, переправленных с той стороны. Несут и несут их иа носилках через Сиваш. Невольно приглядывается к ним Оленчук: не встретится ли кто знакомый из штурмовой колонны. Не встречаются. Нет среди раненых ни комиссара Бронникова, ни путиловца, ни другого кого из тех первых, коммунистов. Говорят, что большинство из них

полегло на заграждениях, а кто и ранен, не хотят уходить в тыл, остаются на Литовском до последнего.

Опасным, гибельным стал Сиваш, когда броды скрылись под водой. Сколько идешь, только и слышишь в темноте тревожные крики людей, что, застряв с орудиями и патронными повозками, из последних сил бьются, вытаскивают из трясины обезумевших коней. А там, еще где-то дальше, во мраке тоже мучаются люди. «Тону, братцы, спасите!» — вскрикнет и уже провалился, ушел в илистый омут, нет уже его. А обстрел все сильнее. Раненые падают прямо в воду, в соляное болото Сиваша. По силе ветра, разгуливающегося все больше, по тому, как напористо прибывает вода, видел Оленчук, что это еще не конец, что угроза не только не миновала, а, наоборот, с каждым часом растет. Уже выбираясь из Сиваша, поделился своей заботой с телефонистом, сказал, чтобы немедленно доложил в штаб: дело плохо, надо спасать броды. И вот — тревога...

Тревога застала Оленчука босым возле печи. Насквозь промокший, измученный долгой ходьбой, он как раз сидел, подсушиваясь у огня, когда село подняло брошенный ревкомом клич: «Все на броды!»

Имея на руках справку от командующего, к тому же только что вернувшись с Литовского, Оленчук мог бы остаться дома. Раненые бойцы, тесно уложенные на соломе по всей хате, для которых жена грела и грела воду в печи, так и считали, что хозяин не преминет воспользоваться своей предоставленной ему как проводнику привилегией, но, к их удивлению, Оленчук, услышав тревогу, сразу стал собираться.

— Куда, хозяин?

— А туда,— он наматывал на ноги еще сырые портянки.— Слышите — море прудить.

— Вы же только что вернулись... Обсушитесь хотя, согрейтесь в хате.

— Ой, и не говорите, товарищ,— вмешалась Харитина. Вы его еще не знаете Разве он в такую ночь усидит дома? Другой бы мышью притаился...

— Будет, старуха,— поднялся Иван.— Чья тропинка, тот ее и спасать должен.

И вот спасает. Коченея в ледяной воде, забивает обухом колья, распоряжается, как старшой среди строгановских своих земляков.

— Дядько Иван, это не тот лес, что вы раздобыли на стропила?

— Тот самый. Давай, клади его сюда.

И кленовые брусья, которые годами берег для новой хаты, ложатся вдоль гати на дно Сиваша.

Все прибрежные села вышли в эту ночь на работы. Растянувшись далеко во тьму Сиваша, трудятся плечом к плечу селяне и армейские саперы, роют вдоль бродов канавы, возводят дамбу из грязи, укрепляя ее соломой, камышом, камнем... Работа еще в самом разгаре, а по незаконченной гати, по настланным через Гнилое море крестьянским калиткам и дверям уже двинулась кавалерия в ночную, хлещущую ветром тьму.

XXXIX

Надвигается, низко стелется по степи черная туча. Нет, это не туча — конница по степи идет. Вот уже слышно звяканье уздечек, бряцанье сабель. Чернее ночи развеваются в воздухе знамена. Глухо гудит земля под копытами коней. Яростный ветер нещадно треплет буйные, годами немытые махновские чубы.

Махновцы тоже идут на Сиваш [1].

Кому из них нужен этот поход? Кого из них обрадовал лютый атаманский свист, условный знак тревоги, что поднял их из теплых хат и вывел, как на добровольную расправу, сюда, в ночное гудящее поле? Ни батько Махно, что прыгает сейчас на костылях в своей гуляй-польской столице, ни Каретников, который их ведет, ни сами хлопцы — никто из них не хотел этого похода. Не хотели — и все же идут. Есть что-то такое на свете, проти-

[1] В сентябре, когда врангелевцами были заняты Александровск, Синельниково и Гуляй-Поле, махновцы, расположившись в это время в районе Старобельска, решили предложить Украинскому Советскому правительству свои услуги по борьбе с Врангелем. Из Старобельска в Харьков была послана правительству телеграмма о готовности махновской армии прекратить военные действия и заключить с советской властью союз. Предложение было принято. Махновцы соглашались в оперативном отношении подчиняться красному командованию. На семьи махновцев распространялись льготы, которыми пользовались семьи красноармейцев. Согласно договоренности, махновская конница должна была принять участие в штурме Перекопа. *(Примечание автора.)*

виться чему выше их сил. Как человека, что попал на самую быстрину и, как ни барахтается, не может выплыть, так и их подхватило каким-то могучим водоворотом, каким-то неодолимым течением и тянет, влечет даже туда, куда и не хотели бы! В первый раз, укротив в себе дух бесшабашной вольницы, которая ни с чем, кроме собственных желаний, не считалась, идут воевать за то, что им не любо, идут штурмовать холодный осенний Сиваш, это бескрайнее Гнилое море, где, может, и коней своих потопят и сами с головой провалятся в трясину...

Стужа осенняя бьет им в лицо. Ночь расстилается перед ними, кажется, нет ей конца.

— Эй, Каретник, куда мы идем? Может, вернемся, пока не поздно?

— Вернемся? А куда?

«Куда-а-а?..» — несет ветер над степью, над темной массой конницы.

Через некоторое время уже в другом месте перекликаются всадники:

— Сотник Дерзкий, это, кажется, твои края?

— А что?

— Чертям да ведьмам тут только жить... Ветрище какой...

— Ох, ветрище!..

А сотнику Дерзкому, который едет, накинув на себя мохнатую кавказскую бурку, и все вглядывается в темноту, этот край предстает в ином образе — в солнце слепящем, в весеннем цветении, в смелом и радостном, как сама молодость, рейде на Хорлы... Что это были за дни! Как трясли там степные повстанцы продажные души «ишаков Антанты», в каком восторженном опьянении шли тогда — с голыми руками! — на дредноуты, не подпуская их к тополиному порту, к светлым таврийским берегам... Почему жаль ему сейчас всего этого, почему грусть и тоска все время томят грудь тупой непонятной болью? Тысячу раз рисковал головой, а что добыл, кроме этой наполненной ветром бурки? Может, напрасно отвернулся от брата тогда, при отступлении с бронепоездами на север, может, брат вернее дорогу выбрал? Как далеко разошлись с тех пор их пути! А сейчас будто сближаются вновь, на болотистом сходятся Сиваше: прослышал уже, что брат Дмитро в составе Первой Конной снова здесь, в родных степях... Что сказал бы отец, ста-

рый Килигей, если бы увидел их вдруг обоих разом перед собой! Где был ты, а где ты? Пока сабля одного где-то под самой Варшавой сверкала, ты в Гуляй-Поле самогон глушил да с пьяными шлюхами на тачанках раскатывал!

Куда же теперь? Вину искупать идешь? После гуляйпольских гульбищ в вечную, может, купель непролазных трясин Сиваша? А если перебредешь, то там, за Сивашом, что? Что там взору откроется? Кому рай коммунистический, а кому Крым с табаком да винными складами?

Над Перекопом не утихает канонада. Небо то пригаснет, то снова вспыхнет, как над пеклом, как над разверстым жерлом вулкана. Мощные прожектора то упираются в тучи, то, опускаясь, неслышно прощупывают Сиваш. Свищет ветер, и кони, запрудившие степь, кажется, сами, вопреки воле всадников, мчат в эти бескрайние болотистые просторы, за которыми неизвестность...

XL

— Товарищ комфронт, Повстанческая группа прибыла!

В подчеркнуто четком фельдфебельском рапорте слышится насмешка. Фрунзе внимательно разглядывает прибывших. При тусклом свете, пробивающемся из окон штабной хибарки, видны выступающие из темноты покрытые пеной конские морды, что грызут и грызут удила, пытаясь выплюнуть их. Над ними во тьме чуть вырисовываются неприветливые, настороженно подозрительные, по большей части молодые лица Чубы, оружие всех видов, поблескивающие кожанки, надутые ветром бурки — так вот какова она, эта неприкаянная кулацкая вольница, никем еще не прибранная к рукам, степная махновская стихия?

Тот, что привел группу, отдав рапорт, так и остался в седле. Один из главарей, один из ближайших сподвижников Махно. Папаха лихо заломлена набок. Подкручивая ус, ждет, каков будет приказ, и в полутьме кажется, что на губах его притаилась под усами умная, насмешливая улыбка.

Обращаясь к нему, Фрунзе четко излагает задание

немедленно, пока еще можио, пока не совсем затопило броды, всей группой идти через Сиваш...

Верховые, стоящие впереди, прикидываются, что из-за ветра не расслышали:

— Куда, куда?

Фрунзе повторяет громче:

— На Сиваш!

И, как от выстрела, сразу все забурлило.

— Мы стихия!

— Нас сюда революционная мечта привела, а вы нас на Гнилое море хотите загнать?

— Не будет этого, не будет!

Шум в темноте нарастает. Брань, матерщиna...

— Слышите? На море гонят!

— Гонят, где море самое глубокое!

— С конями, с тачанками в трясину!

Из тьмы, сквозь ветер, доносится возмущеиный миогоголосый шум.

— Потопить хотят!

— Дураков нашли!

— Своих сперва пусть пошлют.

Фрунзе был к этому готов. Сдерживая себя, сообщил, что лучшие его части уже там, они уже вторые сутки дерутся на Литовском.

Махновцы на миг притихли. Наконец кто-то из иих нашелся:

— То пешие!

И снова загудело в темноте:

— Пешим можно! А конница через Сиваш ие пройдет!

Фрунзе предвидел и это.

— Полчаса назад,— жестко возразил он,— через Сиваш пошла Седьмая кавалерийская. Пошла и прошла. Или, может, у вас кони не такие, как у них?

Уж этого, видно, ни Каретников, ни другие верховоды не ожидали. Седьмая кавалерийская пошла, значит Сиваш для конницы проходим, отговариваться больше иечем...

Фрунзе тем временем еще энергичнее настаивал:

— В последний раз предлагаю: либо на Сиваш, либо мы отмеияем соглашение.

На мгновение все застыли. Черные дула пулеметов, притаившиеся на тачанках, смотрели из темноты прямо на Фрунзе. Слышно было, как хлопает ветер башлыками

и полотнищами анархистских приспущенных флагов. Потом разом люто рванулись вверх оскаленные, разорванные удилами конские морды и, покрывая свист ветра, раскатисто, бесшабашно прозвучало в ночи:

— Прямо на море — марш!

С тяжким топотом проносится мимо Фрунзе гуляйпольская вольница, исчезает во мраке, точно навеки проваливается в темную таинственную пасть Сиваша...

«Чем, какой силой заставил ты их идти? — думал Фрунзе, глядя махновской коннице вслед.— Стальной волей своей? Но воля и у них такая, что удила перегрызет! Нет, не тем ты их взял, не тем победил... Правда революции на твоей стороне — это она их одолела, она своей силой заставила их идти штурмовать этот гиблый, ненавистный им Сиваш!»

От Перекопа докатывался гул орудий, все чаще вспыхивают на Турецком валу огни батарей, лихорадочно шарят по степи и выше по движущимся тучам прожекторы, точно и там, в тучах, отыскивают бойцов...

Значит, снова пошли на штурм. По всей степи перекопской идут сейчас в атаку, катятся волна за волной, тысячами живых тел бросаются на колючую проволоку...

— Товарищ комфронт! — окликнули его.— Важное донесение.

Фрунзе вернулся в штаб.

— Полки Пятьдесят первой и Огневая ударная бригада,— докладывали ему оттуда, с Перекопа,— под ураганным огнем противника, неся огромные потери, одолели все семнадцать рядов проволочных заграждений и даже прорвались в отдельных местах на вал. Однако закрепиться не успели. Сплошным пулеметным огнем, бешеной контратакой свежих офицерских частей были снова отброшены назад. Залегли перед валом. Сто пятьдесят вторая бригада погибла почти вся. Большинство командиров и политработников, которые, встав в цепь, вели атакующих, пали смертью героев.

Тяжко опечаленный, застыл Фрунзе у стола. Целая бригада полегла, каких людей теряем, а сколько еще их ляжет до утра! Лучшими своими сынами жертвует в эту ночь партия, лишь бы не допустить еще одной военной зимы. Но что же делать, что же делать? Тяжело вздохнув, передал:

— Идти на третий штурм!

XLI

Непроглядную темь степей перекопских, где под каждым кураем ждет призыва к атаке боец, третий раз рассекает клич: «На штурм!»

Подымаются, разворачиваются в цепи, идут.

Наклоняясь против ветра, напрягая взор, вглядывается Яресько в зловещий мрак перед собой. Что там за ним? Неприступная твердыня, говорят? Стеной пушечные стволы и пулеметные дула? Что ж, он пойдет и на них. На пушки, на пулеметы, на колючую проволоку, которой опутано там все поле.

Встает перед глазами изможденное тяжелым трудом лицо матери, что из далеких Криничек словно смотрит сейчас на него, как он поднялся здесь и идет, может, в последнюю свою атаку. Словно что-то хочет сказать ему скорбный ее взгляд. «Вы что говорите, мамо?» — «Иди!» Видит сестру, и она говорит: «Иди!» Видит дивчину нареченную, и она говорит: «Иди, иди!»

Идут быстро, но команда: еще ускорить шаг.

— Скорее! Скорее! — звучит в темноте голос комиссара Безбородова.

Они знают, почему скорее. Сиваш заливает водой. Их товарищей вот-вот отрежет на Литовском.

Слева и справа ветер свистит в штыках. Не видно Яреську во тьме, сколько их идет, но чувствует, что нет им числа, что вся степь заполнена ими, теми, что идут штурмовать. Нет больше для них ни холода, ни голода, есть только одно — жажда немедленного яростного удара: «Даешь вал!»

Безмерно гордым чувствует себя Яресько за этот необозримый людской поток, словно он сам их собрал, сам поднял и сам ведет штурмовать ненавистную твердыню горя и бесправия. С каждым шагом растет его сила. Чувствует, что если даже пуля пронзит его и упадет он, то и мертвый поднимется, и мертвый пойдет дальше вперед. Ведь это идет он войной на неправду людскую. На батрачество свое горькое. На вечную материнскую печаль. На каховские невольничьи ярмарки, на черные бури, что днем заслоняют солнце!

Вдруг впереди все осветилось от земли и до неба. Десятки прожекторов на валу ударили лучами, ослепляя наступающие войска и в то же время освещая им

путь. Длинные языки пламени вырвались с батарей. Тяжелые снаряды с грохотом рвут мерзлую землю. Столб огня взметнулся перед самым Яреськом, ослепил нестерпимым блеском, и вот уже со злобной силой откинуло его куда-то назад, уже его нет. Убит или жив? Ранен или контужен? Еще в голове звенит и все тело словно чужое, а он, вскочив, подобрав свою или не свою винтовку, уже догоняет волну атакующих.

— Даешь вал!

Освещенная, как днем, степь бурлит лавами наступающих. Все вокруг клокочет и ревет. Волна за волной идут за броневиками, поблескивают штыки, сколько видит глаз, сколько захватит в степном просторе луч прожектора. Передние уже достигли вала, уже где-то там слышен их исступленный крик: «Даешь!» И видно, как сверху потоком льется на них огонь. Внезапно из земли, точно из самых клокочущих недр ее, вырывается пламя, камни — это первые атакующие напоролись на заложенные в землю перед валом фугасы. Туда! Туда! Уже видит Яресько, как, сбрасывая на бегу шинель, кидается вперед комиссар Безбородов, бегут бойцы, срывает с себя шинель и Яресько, и легко становится ему, словно ветром несет его вперед. Добежав до сплетения колючей проволоки, бросает на шее шинель и по ней перепрыгивает дальше и снова в темноте натыкается на заграждения. Скрежещут ножницы. Тяжело дыша, бойцы лихорадочно режут проволоку, пробивают проходы. Вспышки ракет на миг выхватывают из мрака тысячи путающихся в проволоке, ожесточенно работающих людей, которые рубят ее лопатами, рвут штыками, готовы зубами грызть. У Яреська руки уже залиты кровью: колючей проволокой порезал их до кости, ноги тоже изрезаны, все тело, кажется, разорвано у него, жжет, горит, но, прорываясь сквозь проволоку по кучам трупов, он вместе с живыми рвется все дальше и дальше. Сплошным ревом бушует степь, стоны, предсмертные крики прорезает неутихающее: «Вперед!»

— Вперед! — само рвется из груди Яреська.

Вот уже он на дне рва, где с каждой минутой все больше и больше набирается атакующих. Отсюда, со дна, отвесная стена вала пугает своей высотой, кажется, подымается она — обледенелая, крутая — куда-то к самым облакам.

Не успели еще передохнуть, как кто-то уже снова командует:

— Вперед, товарищи!

Безбородов это или уже кто-то другой во главе штурмовой цепи, которую он сюда привел? Начинают карабкаться по крутизне на вал. Изрезанными, липкими от крови руками Яресько хватается в темноте за мерзлую, обледенелую землю, за какие-то выступающие камни, проволоку. Срывается, скатывается назад, чтоб сразу же, с еще большей яростью кинуться на обледенелую стену, цепляясь, взбираться все выше и выше. Весь крутой подъем облеплен людьми. То тут, то там вспыхивает короткий бой — атакующие штыками выбивают из укрепленных гнезд противника. Раненые с предсмертным криком валятся назад, на дно рва, откуда навстречу им поднимаются другие. Бойцы разных рот, разных полков, все они уже перемешались между собой. Кто-то подает мысль попробовать пробраться по дну рва направо. Где-то там кончается же вал и начинается море, может быть, удастся обойти укрепления морем? Наскоро подбирается группа охотников, и вот она уже движется по дну рва туда, где должен окончиться вал и где он через некоторое время действительно кончается, но за ним колючие проволочные заграждения, которые уходят куда-то далеко в глубь залива, в море. Уже бойцы забрели по пояс, а колючей проволоке нет конца, уже ледяная вода им по грудь, а в ней все еще тянется в море та же колючка. Не останавливаясь, бредут все глубже в воду бойцы, кончатся же где-нибудь эти заграждения, они все-таки обойдут их, чтобы с моря, с тыла кинуться на противника.

Все выше взбирается на вал Яресько с атакующими. Будет ли когда-нибудь конец этой обледенелой громаде? Где ее вершина? Кажется, в самые тучи поднимается она, но он взберется и туда!

Еще из глубины степи катятся и катятся освещенные прожекторами волны атакующих, еще все поле перед валом пылает огнем, кричит живой болью повисших на проволоке, а откуда-то сверху, точно с темного неба, уже звучит, передается по фронту:

— Рота Четыреста пятьдесят пятого на валу!

— Рота Четыреста пятьдесят шестого на валу!

— Ударники на валу!

И так через весь перешеек, сквозь грохот битвы, до самой штабной мазанки, что всю ночь светит оконцами в ветреной тьме над Сивашом.

Работники штаба стоят вокруг Фрунзе, а он напряженно вслушивается в донесения оттуда.

— Так... так... так,— приговаривает он, слушая Пятьдесят первую, а усталое лицо его все светлеет.

Вот уже трубка выскальзывает у него из рук, он даже покачнулся, кажется, сейчас упадет со стула, но через мгновение порывисто встает, точно помолодевший.

— Товарищи, поздравляю вас,— голос у него срывается от волнения,— передать всем... полкам на Литовский полуостров, крестьянам на броды... товарищу Ленину передать: ворота в Крым распахнуты. Планы Антанты биты. На Перекопском валу поднят красный флаг.

XLII

Известие о падении Перекопа потрясло весь мир. Неприступный белый Верден, который, рассчитывали, может держаться годы, пал за три дня.

Дальнейшие события развернутся с головокружительной быстротой. В последующие дни Иркутская прорвет Чонгарские укрепления, враг будет выбит из Юшуньских позиций и в прорыв ринутся героические полки Первой Конной и других соединений красной кавалерии, которые погонят по крымским дорогам отступающие к южным портам врангелевские полчища.

Паника охватит отступающих: побегут, как обезумевшие, потеряв волю к сопротивлению, бросая оружие, срывая с себя погоны. Будет отдан приказ топить в море все: технику, артиллерию, обозы, конный состав, и полетят с крымских обрывов в Черное море огромные обозы вместе с лошадьми, станут сбрасывать с круч на дно морское автомобили и грозную антантовскую артиллерию на тракторной тяге, казаки станут пристреливать коней.

Так, наконец, наступит тот день, когда капитан Дьяконов, оказавшийся на борту одного из многочисленных, набитых разгромленными войсками кораблей, увидит, как убирают поспешно трапы, связывавшие его с родной землей...

Поверженный, агонизирующий Крым, лучше бы его

не видеть! Город уже ничей. Черным дымом заволокло небо: горят склады в Южной бухте. По городским улицам и пристаням бродят тысячи загнанных, измученных лошадей, которых пожалели или не успели пристрелить. Много дней не расседланные, тоскливым ржанием призывают тех, кто, бросив их, нашел себе последнее пристанище на переполненных, готовых к отплытию судах. Скоро они отчалят и пойдут холодным осенним морем неведомо куда. Далеко не всех могли вместить корабли. Серые толпы озлобленных, разочаровавшихся «рыцарей белой идеи» теснятся на берегу, в возмущении и отчаянии посылают своему вождю проклятия. Дьяконов слышит все эти выкрики, адресованные тому, кто был его кумиром, и сам уже не находит в своем опустошенном сердце ничего, кроме тупого отчаяния, разочарования и проклятий. Крах. Потерпели крах все его идеалы, напрасна была его преданность, его беззаветное служение тому, кому так верил и кто его так жестоко обманул. Мог ли подумать, что все так трагически кончится, когда в бурлящей толпе офицеров, подхваченный волной белой истерии, встречал здесь, на этой же пристани, нового, только что прибывшего из Турции избранника!.. Вот он, думалось тогда, тот, кто воскресит в войсках белую идею, очистит ее от позора, от тех преступлений, какими она запятнала себя в руках Антона Деникина. И что же? Кем он оказался, этот их новый диктатор? Рубя головы деникинской камарилье, не замечал, как вокруг него еще обильнее растет уже своя, врангелевская, камарилья, этот смертоносный микроб наемных, обреченных армий. Кричали о святой Руси, а оказались просто наемным войском, ландскнехтами, которые с чужим оружием в руках, с чужими советниками при штабах слагали свои головы в боях за чужое дело. Сколько таких, как он, лежит сейчас там, на Перекопе, на Юшуни, где собирались зимовать. Держались до последней возможности, но какая сила могла удержать разбушевавшийся людской океан, что под лучами прожекторов несся из степи без конца, без края в фанатическом своем экстазе, словно и в самом деле охваченный мистическим революционным энтузиазмом, о котором сейчас говорит вся Европа...

Один за другим отчаливают корабли, выходят в открытое море. Постепенно отдаляются, тают в холодной осенней мгле родные, так бесславно брошенные берега.

Никогда уже тебе не увидеть их. Для чего ж были годы солдатчины, окопов, крови, за что горел ты в жару степных атак и шел на гибель в ночи ожесточенных героических штурмов? Чтоб дымом развеялись все твои иллюзии, чтоб так вот уползали морем в неизвестность караваны обреченных бесприютных кораблей? Что же теперь? Этот холодный ветер осенний, куда он погонит твои корабли, какие гавани их примут? Пустынные острова Эгейского моря? Бельгийские шахты? Или снова с винтовкой в иностранные легионы усмирять непокорные племена где-нибудь в африканских пустынях?

Слышно, как кто-то истерически рыдает в группе офицеров. Никто не обращает на него внимания. Все провожают взглядом родные берега.

Прощай, прощай все. Из трюма передают, что застрелился какой-то юнкер, пустил пулю в лоб прапорщик из кубанцев... Что ж, может быть, это и выход?

Сумерки спускаются на море. Скрылись, растаяли берега. Не отходя от борта, Дьяконов нащупывает в кармане револьвер. Рука сама подносит его к виску...

Звучит еще один выстрел.

XLIII

Яресько дошел с наступающими войсками только до Симферополя. Там пришлось задержаться: разоружали махновцев, а потом в жизни его и вовсе произошел крутой поворот — в числе лучших бойцов-перекопцев Яресько был отобран для направления в Харьков, в школу красных старшин.

Ранним утром едет с товарищами — будущими курсантами по дороге, ведущей на Перекоп. По обочинам — брошенные орудия, зарядные ящики с перерубленными постромками, патронные двуколки, разбитые артиллерией бронемашины. На полях покрываются инеем закоченелые окровавленные трупы. На погонах у многих еще можно разобрать то «М», то «Д»: марковцы, дроздовцы... У кое-кого из рядовых погоны пришиты к шинели проволокой, чтоб в панике не срывали, когда красные нажмут...

Шляхом перекопским без конца движутся войска —

те сюда, те туда. Кавалерия, обозы, пехота. Люди почернели от бесконечной усталости, но у всех, как и у Яреська, приподнятое, радостное настроение. Сокрушена последняя баррикада белого мира. Крым очищен. Красные авангарды успели только увидеть, как ушли за горизонт последние корабли, переполненные врангелевскими беженцами. То, за что так долго боролись, наступило наконец: открыта дорога к мирной жизни, не будет еще одной трудной военной зимы. Как тогда, во время первых боев, когда все небо звенело жаворонками и они, таврийские повстанцы, гуляли с Килигеем по степи, выкуривая интервентов, и, казалось, была во всем мире только воля и весна — так хорошо было у Яреська на душе и сейчас. Наталка уже в Чаплинке, ждет его. Он едет учиться, станет командиром. Только устроится и ее в Харьков заберет. Какая широкая, большая жизнь открывается впереди!

Там, слышно, пущена еще одна домна, там задымил трубами еще один завод... Не за горами тот час, когда и по селам радостные матери будут встречать бойцов-перекопцев, что героями вернутся домой. Заживет народ! Терпко-радостное ощущение утра жизни, ее беспредельности обнимает, свежестью обдает Яреська.

На Перекопе, там, где дорога пересекает вал, красноармейская застава проверяет проезжающих.

Подозрительно оглядывают и Яреська с товарищами на их загнанных, еще забрызганных сивашской грязью махновских лошадках. К седлам у хлопцев приторочены огромные тюки желтого крымского табаку — это, видно, и вызвало особую настороженность бойцов заставы.

— Кто такие?

— Разве не видите, кто? — Яресько коснулся рукой красной звезды на шлеме.

— Табак?

— Что ж табак? Путь дальний, вот и запаслись... В Харьков отбываем, в школу красных командиров.

Откуда-то сверху вдруг раздался строгий голос:

— Кто старший?

Яресько поднял голову и глазам своим не поверил: в длинной кавалерийской шинели с малиновыми петлицами-«разговорами» во всю грудь стоял на валу Дмитро Килигей. Еще больше почернел, обожжен ветрами, брови раскосматились...

— Дмитрий Иванович, не узнали?

— О! — кустистые брови Килгея поднялись в изумлении.— А ну, мотай сюда!

Передав коня товарищу, Яресько через минуту уже был на валу. Словно отец на сына, смотрел Килгей на бывшего своего повстанца. Изменился, возмужал, только по этой улыбке, открытой, душевной, и узнать можно.

— Какими судьбами?

— Да вот же, посылают учиться на краскома,— взволнованный встречей, не мог скрыть радости Яресько.— А вы?

— А меня здесь комендантом Перекопа поставили, махновцев вылавливать.

— Мы с ними в Симферополе тоже было схватились. Анархия склады грабить начала...

— Вот-вот, «борцы за идею». Бесчинствуют, мародерствуют. В Саках комбрига Латышской зарезали. Ну, мы с ними еще поквитаемся...

Они медленно шли по гребню вала. Со звоном рассыпались под ногами кучи стреляных, покрытых окалиной гильз, пасти развороченных блиндажей ощерились бетоном, оголенными металлическими прутьями. Везде в беспорядке валялось ломаное оружие, пустые коньячные бутылки, консервные банки и покрытые инеем, в окровавленных английских шинелях трупы офицеров. Неподалеку жители присивашских сел уже разбирали укрепления на топливо и на постройки: получили на это разрешение командования.

— На совесть потрудились инженеры Антанты,— сказал Килигей, с усилием отгибая стальной прут, мешавший им пройти.— Все свое умение пустили в ход, все у них пристреляно и размерено было, в одном только просчитались...

— В чем?

— Не учли, на что способен народ, когда он за права свои поднимется.

Приблизившись к северному краю вала, Килигей кивнул куда-то вниз:

— Ишь какие индюки!

Яресько тоже поглядел туда. Там, на дне рва, между кучами колючей проволоки под охраной красноармейских штыков стояли толпой задержанные махновцы.

В красных башлыках, в черных кавказских бурках, они и в самом деле были похожи на индюков.

— Это когда же вы их столько?

— Да вот утром уже. Свежаки.

Разглядывая махновцев, Яресько вдруг почувствовал себя как-то неловко. Что такое? Со дна рва из толпы махновцев, задрав голову, на него пристально смотрел Дерзкий.

— И Антон здесь?

— Да вот и его по-родственному пришлось заарканить... Раздуло всех от барахла, так что уж не подлететь. Из-за барахла не успели и за своим вожаком выпорхнуть.

— А были такие, что и выпорхнули?

— Передо мной, говорят, проскользнуло их тут через перешеек немало. Пристроились ночью к нашим обозам и — догоняй их теперь.

Словно чувствуя, что речь идет о них, махновцы поглядывали снизу неприязненно, диковато, точно звери из клетки. Курили. Некоторые изредка невесело пересмеивались меж собой, должно быть перекидываясь хмурыми шутками. И снова опускали в задумчивости чубатые головы. О чем думали они сейчас, сбившись под конвоем на дне колючего перекопского рва? О том, быть может, что не придется уже им гулять по степям в неуловимых тачанках, как тем, что, облетев весь Крым с его минаретами, успели проскочить через перешеек обратно на Украину, к своему гуляй-польскому «батьку». Взятый в клещи красными войсками, в одну из глухих осенних ночей выскользнет Махно из Гуляй-Поля с чужим, выкраденным паролем, пойдет в свой последний разбойничий рейд. Год еще будет кружить он по разным губерниям, пока в августе двадцать первого не пробьется с горсткой самых отчаянных к румынской границе, чтобы склонить буйные чубы на милость румынского короля. На этом закончится их путь. Увидит потом еще Сахара эти черные махновские тачанки, на границе африканских пустынь будут рыскать они, покрывая себя позором службы в иностранных легионах, под чужим небом сражаясь... За кого? За что?

— А это, Яресько, навсегда запомни...

И оба они, Килигей и Яресько, перевели взгляд туда, где перед ними простерлась вдаль бескрайняя перекоп-

ская равнина. Впервые спокойным было таврийское небо, что еще несколько дней назад гудело снарядами, свистело пулями и шрапнелью. Спокойно, неподвижно лежат по всей степи погибшие герои. Множество их висит на проволоке. Где-то там и комиссар Безбородов, и Левко Цымбал, и тысячи других... Как рвались вперед, так и застыли в вечном порыве, окаменевшие, скованные морозом на колючих заграждениях. Конца не видно раскинувшимся по полю серым шинелям. Сколько их тут? Должно быть, за все три русские революции не пролилось крови столько, сколько пролилось ее за трое суток здесь, под Перекопом. Сознательно, почти на верную смерть шли самые отважные — штурмовики-коммунисты, резальщики проволоки, гранатометчики, которые должны были проложить дорогу другим. Не счесть, сколько их тут пало. Те, кто подымался им на смену, видели их смерть, но это их не страшило. Не потому не страшило, что не дорога была им жизнь, а потому, что желание победить было в них сильнее страха смерти. Шли в трясины Сиваша, брели в темноте по соляным ледяным лиманам, бесконечными штурмовыми лавами рвались вперед по твердой, развороченной снарядами земле перешейка. Никто их не гнал, никто не заставлял — сами стремились в атаку, чтобы все решить в бою, шли на проволоку, чтобы перегрызать ее, ступали на фугасы и взлетали в воздух, отдавая жизнь во имя своей высокой мечты. Как сама революция, всем существом устремлены были в будущее, штурмуя обледенелый неприступный вал! Был он для них словно бы последней преградой на пути к чему-то неизведанному, сказочно прекрасному.

«За счастье народное...»

Бескрайнее перекопское поле боя под небом осенним с тысячами полегших в вечном порыве, навсегда окаменевших в штурме,— через всю жизнь понесет Яресько это суровое зрелище в сердце своем.

1953—1957

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ОЛЕСЬ ГОНЧАР

Тринадцатого октября 1920 года в киевской газете «Коммунист» было опубликовано обращение Ленина «К незаможным селянам Украины». «Товарищи! — писал Владимир Ильич.— Царский генерал Врангель усиливает наступление на Украину и Россию. Поддержанный французскими капиталистами, он продвигается вперед, угрожая Донецкому бассейну и Екатеринославу. Опасность велика. Еще раз помещики пытаются вернуть свою власть, пытаются вернуть себе земли и снова закабалить крестьян!.. Пусть же все и каждый встанет грудью на защиту против Врангеля! Пусть все комитеты незаможных селян напрягут, как только можно, свои силы, помогут Красной Армии добить Врангеля. Пусть ни один трудящийся крестьянин не остается в стороне от рабоче-крестьянского дела, не останется бездеятельным или равнодушным. Товарищи! Помните, что дело идет о спасении ваших семей, о защите крестьянской земли и власти.

Все на помощь Красной Армии!

Смерть помещикам-угнетателям!» [1]

В октябре того же года врангелевские войска потерпели сокрушительное поражение у Каховки. А в ночь на седьмое ноября Красная Армия начала решающий штурм Перекопа, прорвала мощные укрепления и сбросила Врангеля в Черное море — принудила разбитые врангелевские войска к паническому бегству через Черное море за границу. Буквально через три дня после героического перекопского штурма врангелевский фронт был окончательно ликвидирован.

Вместе с тем была сорвана последняя попытка внутренней контрреволюции вернуть власть, взятую рабочим классом и крестьянством в Октябре 1917 года. Это была поистине великая победа ре-

[1] В. И. Ленин. Сочинения. Изд. 4, т. 31, стр. 289—290.

волюционного народа. Великое историческое значение этого события состояло в том, что разгром врангелевского фронта открыл возможность перейти к новому этапу в развитии советского общества. «...Во что бы то ни стало в кратчайший срок раздавить Врангеля,— говорил об этом Владимир Ильич,— так как только от этого зависит наша возможность взяться за работу мирного строительства» [1].

«Последней страничкой гражданской войны» назвал В. Маяковский свое стихотворение, в котором с большой силой был выражен смысл и пафос этой победы. «Слава тебе, краснозвездный герой»,— обращался он к участникам сражения, сокрушившим «твердыни Крыма», «по трупам пройдя перешеек», взявшим Перекоп «чуть не голой рукою». Ленинская мысль об историческом значении этих боев была так поэтически выражена Маяковским:

Не только тобой завоеван Крым
и белых разбиты орды,—
удар твой двойной:
завоевано им
трудиться великое право.
И если
в солнце жизнь суждена
за этими днями хмурыми,
мы знаем —
вашей отвагой она
взята в перекопском штурме.
В одну благодарность сливаем слова
тебе,
краснозвездная лава.
Во веки веков, товарищи,
вам —
слава, слава, слава!

Да, навеки вошли эти события в летопись первой в мире победоносной социалистической революции. И еще долго взгляд историков и писателей будет обращаться к этим событиям, чтобы воссоздать для потомства как можно более верную и впечатляющую их картину, до конца разгадать и объяснить секрет победы почти безоружных людей над вооруженными до зубов защитниками последнего оплота российской контрреволюции.

Яркими красками, полными жизни и движения картинами уже и сейчас выделяются в художественной летописи этих событий — советской исторической романистике — страницы и главы, вписанные в нее широко известным украинским прозаиком Олесем Гончаром, автором дилогии, состоящей из романов «Таврия» и «Перекоп».

[1] В. И. Ленин. Сочинения. Изд. 4, т. 31, стр. 307.

Эта дилогия общепризнана как значительное явление в развитии советской историко-революционной прозы. Особенно велико ее значение в украинской литературе, в развитии украинского историко-революционного романа. В художественной летописи революционных событий на Украине, созданной творческими усилиями таких романистов, как Юрий Яновский («Всадники»), Олекса Десняк («Десну перешли батальоны»), Семен Скляренко («Путь на Киев»), Юрий Смолич («Рассвет над морем»), был резко бросавшийся в глаза пробел — за пределами украинского историко-революционного романа осталась легендарная, воспетая в боевых песнях о гражданской войне Каховка, а вместе с нею и перекопский штурм.

Романы Олеся Гончара «Таврия» (1952) и «Перекоп» (1957) заполнили этот пробел, образно дорисовали яркую картину участия украинского рабочего класса и крестьянства в революции и гражданской войне. Вместе с тем романы Гончара стали новым шагом в развитии украинского историко-революционного романа, его изобразительных средств, его поэтического языка.

1

Автор названных романов Александр (Олесь) Терентьевич Гончар родился 3 апреля 1918 года в селе Суха на Полтавщине. В 1933 году он закончил семилетку и некоторое время работал в редакции районной газеты. В 1935 году по путевке райкома комсомола был принят в Харьковский техникум журналистики, а окончив его (1937), сотрудничал в харьковской областной молодежной газете «Ленінська зміна». На страницах газеты «Комсомолец Украины» осенью 1937 года были напечатаны первые его рассказы. Их появление в печати стало тем событием, которое окончательно укрепило автора в выборе жизненного пути.

Не малую роль в этом должен был сыграть и Харьковский университет, где с осени 1938 года учился Олесь Гончар. Студенты гордились литературными традициями Харьковского университета. Гордость эта была постоянным ферментом литературно-творческой активности университетской молодежи. С Харьковом связано творчество Григория Сковороды — автора «Харьковских басен» и других литературных и философских произведений, которые содействовали зарождению новых направлений в украинской общественной мысли и художественной литературе на пороге XIX века. Здесь издавался в 1816—1819 годах первый на Украине журнал «Украинский Вестник». Здесь, в Харькове, творил первый прозаик новой украинской литературы — Григорий Квитка-Основьяненко. В Харьковском университе-

тете учился, а затем преподавал выдающийся баснописец П. Гулак-Артемовский. Здесь же воспитывались и формировались основные кадры так называемой «Харьковской школы романтиков». Поэты Николай Костомаров, Михаил Петренко были студентами Харьковского университета, а Амвросий Метлинский затем и преподавал в его аудиториях.

Литературные традиции, оживленная деятельность печатных органов и крупной писательской организации — все это, несомненно, стимулировало творческую активность начинающего писателя и благотворно сказывалось на развитии его таланта.

Вот как рассказывает об этом сам Олесь Гончар в ответ на нашу просьбу поделиться воспоминаниями о харьковском периоде его жизни:

«Я очень любил и люблю Харьков, не знаю даже почему. Может быть потому, что там много голодалось, впервые любилось, и что для меня этот город — столица юности, город больших жизненных открытий, чудесных друзей и светлых надежд... Припоминаю, как Харьков поразил меня и своей индустриальной мощью, и красным трамваем (впервые увиденным здесь), и зданием Госпрома, и памятниками Каразину в Блакитному (этот памятник, как известно, позже был «репрессирован» и выкраден ночью); город рабочих, студенчества, бурлящий город труда сам будил в душе желание трудиться много, неутомимо. Я был из тех студентов, которые не вылезали из библиотек, учился жадно, и, конечно же, Харьков как культурный центр Слобожанской Украины, его яркое далекое и недалекое прошлое меня глубоко интересовали. В университете, когда я в нем учился, еще как бы жил дух Потебни, Багалея... Преподавателей еще и при мне было много чудесных, таких, что и в тяжелых условиях культа, после волны террора 1937 года поддерживали в университете его славные гуманистические традиции. Мне посчастливилось слушать там и А. И. Белецкого и Л. А. Булаховского (он мою курсовую лингвистическую работу напечатал в «Научных записках») и других преподавателей, знающих и влюбленных в свое дело тружеников»[1].

За годы университетской учебы, внезапно прерванной в июне 1941 года, О. Гончар написал еще тринадцать рассказов и новелл и одну повесть, которые хотя и не завоевали начинающему писателю видного места в литературе, однако же привлекли к нему внимание читателей и литературных кругов Харькова. Один из рассказов — «Орля», получил вторую премию на областном конкурсе произведений оборонной тематики.

[1] Из письма автору данного послесловия от 17 сентября 1962 года. Публикуется впервые.

Тогда еще трудно было по первым рассказам и новеллам предвидеть будущее этого таланта, предугадать в нем автора трилогии «Знаменосцы», дилогии «Таврия» и «Перекоп», романа «Человек и оружие» и даже позднейших новелл, которыми Олесь Гончар прочно завоевал признание и в этом жанре. И все же было в них что-то обещающее. По крайней мере, такой тонкий и чуткий художник, как Юрий Яновский, заметил, почувствовал это. «Имя Гончара,— вспоминает он,— вошло в мою память еще в довоенные годы, когда в мои руки попал один из его ранних рассказов. Мне показалось, что у него есть что-то свое, не похожее на других, но что — еще трудно было распознать. И я, оказывается, не ошибся. «Знаменосцы» — ярко свидетельствуют об этом».

Теперь, присматриваясь к этим рассказам и новеллам и сравнивая их со зрелыми произведениями писателя, значительно легче определить, что именно было своим в этих ранних, часто еще подражательных произведениях. Поэтичность — вот слово, которым можно с наибольшей точностью назвать то, с чем входил Олесь Гончар в украинскую художественную прозу малых жанров. В лучших из его ранних новелл она была сродни поэтической атмосфере рассказов и новелл Михаила Коцюбинского, хотя каких-либо совпадений в мотивах, а тем более сюжетах в них нет. Она сказывается и в лиричности повествования, а более всего во влюбленности в прекрасное, в умении видеть и утверждать его как неотъемлемое качество и достоинство жизни и прежде всего — человека.

Украинский писатель Никита Шумило — автор критико-биографического очерка об Олесе Гончаре, отмечая «удивительную поэтичность» ранних произведений писателя, справедливо считает, что лучшими из них были новеллы «Черешни в цвету» (1938), «Иван Мостовой» и уже упомянутый рассказ «Орля». В первой из этих новелл белогвардейцы, проходя через село, срубили черешни в саду Амвросия Поликарповича, «мирного и незлобивого» мечтателя, влюбленного в природу. Бессмысленная жестокость белогвардейцев заставляет садовника по-иному отнестись к борьбе двух миров, от которой до сих пор он стоял в стороне. По-новому, как-то более содержательно раскрывается теперь перед ним и красота природы. Вот его взгляд упал на срубленные черешни, которые он осторожно сложил, «как раненых», посредине двора. «Они тоже цвели. Срубленные черешни цвели смелым, гордым цветением, будто смеясь над смертью».

Позже Амвросий Поликарпович стал колхозным садовником. Его стараниями колхоз утопает весной в «молочных озерах» цветущих черешен. Но память его навсегда сохраняет образ тех, которые и смертью своей, казалось, возвещали радость жизни и торжество прекрасного в ней.

Как-то созвучна этой и вместе с нею очень характерна для раннего (да и только ли для раннего!) творчества Гончара вторая из названных новелл, где больной колхозный кузнец Иван Мостовой приходит ночью в кузницу, чтобы еще раз взять в руки молот и испытать (пусть ценой последних минут жизни) радость труда.

«Гончар любит писать красивых людей»,— отмечает украинский критик[1]. Это сказано по поводу его романов. Но это верно не только применительно к зрелому, но и к раннему творчеству писателя. В этом наиболее определенно сказалась гуманистическая природа той поэтичности, которая составляет характернейшую черту художественной манеры писателя от его ранних новелл и рассказов до романа «Человек и оружие», написанного, как и «Знаменосцы», о войне, в которой Олесь Гончар участвовал и как писатель, и как воин.

2

В первые же дни войны Гончар, подобно его героям в романе, пошел в составе студенческого батальона добровольцем на фронт. Сначала рядовой, курсант пехоты, а затем сержант-минометчик одного из гвардейских полков, он участвовал во многих боях, дважды был ранен, трижды награжден медалями «За отвагу», солдатским орденом Славы и орденом Красной Звезды.

Лирическое начало, такое характерное для творчества и личности молодого писателя, получив в героизме и патриотических подвигах советских людей новые могучие стимулы, уже как бы не могло ограничиться выражением в прозе. Так родились военные стихи Гончара. Так стал он поэтом.

Его поэзия безраздельно посвящена темам и настроениям, порожденным войной. Стихами звал он в бой советских воинов («Будь беспощаден»), выражал их гордость выпавшей им миссией освобождения родины от захватчиков, мира — от фашистской чумы («Пехотинец», «Братья»), их веру в победу и страстную мечту вернуться к созидательному труду («Мастер»). Суровым интонациям и мотивам мужества как бы вторят здесь лирические голоса и мотивы любви к родине, образ которой проносит поэт и герои его стихов через все освобожденные страны и земли («Дума про Батьківщину», «Моя ти зоре», «Ніч у Карпатах», «Спека в горах», «Землячка»).

Моя ти зоре, румунські гори
Стоять кругом, кругом.
А думи вільні, в думи хвильні
Витають десь поза Дніпром,—

[1] М. Логвиненко «Эпическое мастерство писателя». «Советская Украина», 1961, № 4. Стр. 150—152.

пишет он в Румынии, и веет от этих стихов грустью разлуки с родиной (а одновременно — и с любимой). В другой раз его мысли о родине звучат более мажорно:

Здрастуй, мій сонячний краю,
Ти снишся мені і тут,
Серцем щодня я літаю
До тебе, туди, за Прут.

Временами можно согласиться с поэтом, что его «слово в бою огрубело», как огрубел в почти сверхчеловеческих испытаниях и его герой («Рыцари»), но чаще стихам Гончара (особенно тем, в которых господствует дума о родине) свойственна лирическая сердечность, мечтательная задушевность.

Прошло почти двадцать лет с тех пор, как были написаны эти стихи. Но и сейчас они перечитываются не без волнения. В них затронуты те «вечные мотивы», которые во время войны зазвучали с новой эмоциональной силой, чувства и понятия, казалось стершиеся или, по крайней мере, поблекшие, вдруг приобрели какую-то особую, хочется сказать — изначальную свежесть.

И, однако же, самые сильные стихи Гончар написал о другом: о ратном подвиге как труде тяжком, возможном только на высшем накале чувств.

Впряглись у зброю, немов у плуги,
Тягнем до неба, потом облиті,—

пишет он о походе через Карпаты («В горы»).

Батьківщино, для нас підійми
Чорну хмару далеку.
На безводді потріскались ми,
Ніби камінь у спеку,—

читаем в другом стихотворении («Спека в горах»), отличающемся еще большей суровостью ритма и переживаний.

Героям Гончара не свойственны рисовка, красивая поза. Но именно из такого понимания войны (в дальнейшем оно углубится) рождаются возвышенные интонации, возникает романтический пафос именно этих, самых суровых стихов. Показательны в этом отношении последние строфы стихотворения «Рыцари»:

Не у сталевім сяйві лат,
Як рицарі століть далеких,
Йде, матюкаючись, солдат,
Розхристаний, в небезпеки.

І тільки вірність в серці чистім,
Як давні рицарі, несем
В непроходимості багнисті
По трасах, мощених вогнем.

Сурова романтика образов уже цитированного стихотворения «В горы»:

Угору та вгору, один за одним,
Тисне нам сонце тяжко на плечі.
І сонце здіймаєм! Катовані ним,
Його ми возносим, його ми предтечі.

Доля стихов в творчестве Гончара сравнительно невелика. Но очень важно значение звучащих в них мотивов, строй их образов. Все это важно для дальнейшего творчества писателя, все это еще откликнется в нем, поможет Гончару-прозаику подняться к новым высотам художественной правдивости, реализма.

Во время войны Гончар не писал ничего, кроме стихов. А после войны к поэзии больше не возвращался. В этом выразились поиски главного призвания, а вместе с тем — поиски формы, наиболее соответствующей природе творчески выношенного содержания. И дело не только в том, что достижения Гончара в поэзии военных лет были довольно скромны, а прежде всего в том, что вынесенные из войны думы и впечатления требовали бóльшего простора и свободы, чем давала поэзия человеку, не ставшему полным хозяином ее формы.

К уже изведанным темам, рожденным событиями и впечатлениями войны, Гончар стремился подойти с такой стороны, с какой они раскрылись бы еще глубже, с теми художественными средствами, с которыми их можно было представить еще ярче. В этих творческих поисках он обратился сначала к уже испробованному им жанру новеллы. Но, расставшись со стихами, Гончар не расстался с поэзией. Внимательные критики справедливо заметили, что его первые послевоенные новеллы близки к произведениям поэтических жанров[1].

Это по преимуществу лирические новеллы, где «субъективные» элементы повествования не только очень значительны, но и часто преобладают над объективными, где главное место занимают не столько картины, сколько настроения.

Очень характерна в этом отношении новелла «Модри камень» (1945), едва ли не лучшая к тому же в этой тематической группе

[1] Н. Шамота. «Олесь Гончар». Предисловие к двухтомнику избранных произведений О. Гончара. (См. Олесь Гончар. Твори, том I Киев, 1957, стр. XIV).

новелл Гончара. Ее центральный сюжетный эпизод — встреча советского разведчика со словацкой девушкой Терезой в тылу врага — как бы омывается, как остров морем, со всех сторон лирическими потоками. Это и лирическое вступление от рассказчика, в памяти которого вновь и вновь вырастает трагически прекрасный образ горянки-словачки. Это и лирико-драматический эпилог, где образ, живущий в памяти рассказчика, как бы материализуется, в беседе с погибшей Терезой ведется так, как если бы она ожила и еще глубже, чем при действительной встрече, раскрыла прекрасную душу и любящее сердце.

Романтическая условность воображаемого диалога, его столь романтически возвышенный стиль не повторяются нигде в других новеллах Гончара, и все же именно здесь впервые с такой силой проявилась самая существенная черта его индивидуальной манеры. Это еще одна, наиболее четко выступившая грань все той же поэтичности, которой отличались лучшие из его ранних новелл и рассказов. Первые же новеллы послевоенного времени показали, в каком направлении развивается талант Гончара-прозаика. Стало ясно, что по своему поэтическому мышлению, художественному языку он в основном романтик. Мы говорим *в основном* для того, чтобы не сказать *только, исключительно*. У Гончара есть новеллы, отличающиеся *строго* реалистической образностью («Весна за Моравой»). Но обычная для него настроенность в романтическом ключе сказывается и в таких его новеллах. Главное своеобразие их — романтика подвига, поэзия подвига [1].

Проходя мимо обстоятельств будничных, Гончар-новеллист останавливает свое внимание на самых ярких проявлениях духовной красоты человека, в особенности — воина («Весна за Моравой»). Вот почему так редки в художественном языке Гончара приземленные, так сказать, грубо реальные детали, вот почему так естественно его обращение к образной символике (новелла «Горы поют»). Весь строй образной речи, приподнятой, подчеркнуто эмоциональной, продиктован здесь возвышенностью темы. Герой его новелл, так сказать, «вписывает» свою борьбу в общую картину борьбы народов всей Европы за освобождение от фашизма. Как освободителя ждут его и так его принимают соседние народы, которым он возвращает свободу, отвоеванную его ратным трудом и подвигом, его оружием. К тому же во всех этих новеллах, написанных сразу после войны, рассказчик (его образ явно автобиографичен) повествует, оглядываясь на войну из первых дней мирного времени, с той высоты, на ко-

[1] В. В. Фащенко. «Новелла Олеся Гончара». Автореферат диссертации. Одесса, 1957, стр. 8.

торую его, как и всех советских воинов, подняла завоеванная победа.

Такой кругозор и такое самосознание, вся эмоциональная и интеллектуальная атмосфера воспоминаний о подвигах — все это просит возвышенного слова, романтически яркого образа. Вот почему, когда полк советских воинов запел в Карпатах государственный гимн, «...долина подхватила его тысячами голосов, загремела, запела от края до края. Величественная мелодия, быстро нарастая и крепчая, со сказочной неимоверностью разворачивалась гармоническим морем». И бойцу Светличному, самозабвенно поющему в этом могучем хоре голосов, представляется, что «его песня звучит не только здесь, в этом высокогорном лагере: она теперь — везде, везде... На север и на юг, во всех странах, где теперь стоят лагерями советские полки, гремят в этот вечерний час величавые хоры победителей. Как сторожевые посты родины, как гиганты-часовые, перекликаются они друг с другом через горы и долы, сверяют свои сердца сигналом гордой музыки, паролем торжественной песни. И Светличный уже ясно слышал эти далекие братские хоры, которые гремели где-то у горизонта, как золотые громы» («Горы поют»).

3

Новеллы Гончара хорошо передали мироощущение советского воина. Но впечатления писателя, прошедшего дороги войны от их трагического начала до победоносного конца, были сложны и многогранны. Размах событий был столь величествен, что даже самая талантливая новелла могла по своим жанровым возможностям представить лишь более или менее значительный их осколок. Вероятно, у каждого советского писателя, видевшего на войне столько, сколько видел Олесь Гончар, возникало желание, как выразился однажды А. Сурков, «обо всем рассказать по порядку». А чтобы осуществить это желание, надо было обратиться к жанрам с такими широкими возможностями, которые соответствовали бы эпическому размаху совершившихся событий. Думается, что именно так можно представить себе те творческие побуждения, по велению которых Олесь Гончар — до сих пор поэт и новеллист — стал романистом.

Новое произведение было задумано им как трилогия, позже получившая название «Знаменосцы». На ее страницы он вывел более семидесяти героев, развернул гигантскую панораму боев и сражений заключительного этапа войны. И все это нарисовано здесь с той силой жизненной достоверности, за которой угадывается огромное богатство наблюдений, непосредственное участие писателя в изображенных событиях, в делах своих героев. Олесь Гончар прошел пле-

чом к плечу со своими героями весь путь через Румынию и Венгрию, через Альпы и голубой Дунай до златой Праги. И, как справедливо замечает Н. Шумило, вдохновленное всем этим творческое воображение писателя уже тогда рисовало образы Брянского и Шуры Ясногорской, Черныша и Хомы Хаецкого, память художника фиксировала благородные поступки прототипов Сагайды и Сиверцева, Васи Багирова и братьев Блаженко. Однополчане Олеся Гончара вошли в его личную жизнь как самые дорогие, самые близкие люди, и написать о них книгу стало для него жизненной необходимостью, делом совести и чести [1].

Писать трилогию Гончар начал сразу после демобилизации из армии в 1945 году. Тогда он жил в Днепропетровске, где завершал в университете прерванную войной учебу. Здесь была написана (одновременно с новеллами «Модри камень» и «Весна за Моравой») первая часть трилогии — роман «Альпы». Следующие романы — «Голубой Дунай» и «Злата Прага» Гончар писал уже в Киеве, куда переехал в конце 1946 года в связи с поступлением в аспирантуру Академии наук УССР. Год за годом — роман за романом. В 1948 году, когда вышла заключительная часть трилогии, Олесь Гончар уже был широко признанным писателем. Его имя называлось в первой пятерке советских романистов, все три романа были отмечены Государственными премиями [2].

«...Вы не должны быть забыты никем... Потому что вы шли в авангарде человечества и без вашей жертвы не было бы ничего... Человечество подхватит вас, как песню, и понесет вперед...»

Так думает герой трилогии Черныш о своих товарищах, павших в боях за освобождение народов Европы от фашистского порабощения. Но в этих словах выражена и авторская позиция, определившая весь творческий замысел трилогии от ее возвышенного пафоса до средств его художественного воплощения. Все три романа вместе звучат как героическая поэма об отваге и человечности, простоте и величии, подвиге и бессмертии участников великого освободительного похода Советской Армии в глубь Западной Европы, которым завершилась Отечественная война.

Три романа — три этапа этого похода через Румынию, Венгрию и Чехословакию. Каждый роман в отдельности — это как бы особая грань великой освободительной миссии Советской Армии. В «Альпах» обнищавшее и забитое румынское крестьянство, ограбленное своими

[1] Микита Шумило. «Олесь Гончар». Киев, 1950, стр. 13—14.

[2] «Альпам» и «Голубому Дунаю» присуждена Государственная премия второй степени за 1947 год. «Златой Праге» та же премия за 1948 год.

и иноземными хозяевами, слышит из уст советского воина: «Что вы гнетесь... Выпрямитесь — и пошли с нами!» Не менее символичен и другой эпизод этого же романа, где советский разведчик освобождает от цепей прикованного к пулемету хорвата — смертника. Раскованный народ сначала робко, а затем все более уверенно распрямляет согбенную спину и поворачивает оружие против своих подлинных врагов и угнетателей.

В романе «Голубой Дунай» венгерский художник Ференц, потрясенный разбоем и мародерством фашистов в столице своей родины, обращается к советским воинам с просьбой.

«Спасите,— говорит он тихо и торжественно.— Спасите Будапешт. Кроме вас... больше некому».

И, кажется, его устами говорит вся мыслящая Европа, признавшая в советском воине подлинного защитника и спасителя ее культуры от варварства.

В романе «Злата Прага» «вековой бастион славянства на Западе — чешская красавица — столица» радостно и торжественно чествует советскую армию-победительницу:

«Триумфально празднует Прага, поет, звенит, упиваясь радостью весны и победы... В этот день она была действительно золотой. Словно все предыдущие весны, украденные у нее оккупантами, сейчас возвращались к ней с утроенной звонкостью, роскошью солнца, половодьем музыки... Знамена, музыка, песни, объятия...»

Так от романа к роману утверждается и крепнет та поистине новая и единственно справедливая философия войны, которую так четко формулирует безыменный рядовой великой армии-освободительницы в заключительной части трилогии, мирно беседуя при этом с товарищем за чашкой молока:

«Не только ненависть, но и любовь движет армии вперед... Прежде всего любовь! Тяжелая и трудная любовь, засвидетельствованная нашей кровью... Любовью ко всем угнетенным, ко всем трудящимся людям на земле... Ею мы сильны... сильнее любой другой армии..»

В исторической действительности истинность этой философии подтверждена полным разгромом фашистских планов порабощения мира, цветами и контурами новой политической карты Европы, наконец она записана на скрижалях истории кровью миллионов героев.

В трилогии Гончара — одном из лучших художественных достижений многонациональной советской романистики о Великой Отечественной войне — она утверждается волнующей силой и яркостью художественных образов.

В единстве с философией войны выступает логика развития человеческого характера, подвергающегося испытаниям войны.

«Я уверен,— говорит герой трилогии Евгений Черныш,— что, если бы наши матери увидели, какими становятся их сыновья на войне, они бы не узнали нас... Они и не представляют себе, что тут происходит с человеком, какую сложную, какую страшную эволюцию успевает он пройти».

Исходный этап этой эволюции с потрясающей правдивостью раскрыт в более позднем романе «Человек в оружие». В трилогии представлены те ее завершающие этапы, на которых герои-воины поднялись к самым высоким вершинам человеческого духа, все глубже и полнее осознавая свою благородную и гуманную общечеловеческую миссию.

Направление этой эволюции обозначено в рассуждениях лейтенанта Сагайды в третьем романе.

«Было время,— думает он,— когда тебе, грубому, мстительному, озлобленному личными утратами, хотелось все вытоптать в этих иноземлях, ты не видел перед собой ничего и никого, кроме врагов. С хмурым недоверием смотрел ты на тех, кто тебя приветствовал. В их приветствиях тебе слышалась неискренность и виноватая предупредительность перед твоей силой. Упрямый в своей ненависти к врагам Отчизны, ты с постоянным подозрением проходил среди чужих людей, как сквозь колючий терновник, полагаясь только на себя, на товарищей, на оружие.

«Любовь движет армии вперед...» Кто это сказал? Где? А-а... Те философы... Здорово... В самом деле, как подумать, черт возьми, так это же счастье — любить людей!.. Конечно, сто́ящих. Конечно, настоящих. Таких, как вот... эти,— Сагайда восхищенно посмотрел на своих однополчан, дружески беседовавших, шутивших, собираясь группами вперемежку со словаками, возле каждого двора. Некоторые уже в свежезеленом, только что полученном обмундировании, другие еще в прошлогоднем... Обтрепавшиеся в походах обмотки, выгоревшие, вылинявшие гимнастерки, простые, открытые лица... Однако глядишь на них и насмотреться не можешь... Едва ли не впервые Сагайда взглянул и на себя, и на своих товарищей такими глазами... Кажется, нигде еще он не чувствовал так глубоко свое значение и свою роль освободителя, как здесь, на этой словацкой земле, где его ждали «шесть долгих-долгих лет...»

Художественно эта эволюция запечатлена в индивидуальных характерах. Сагайда мог бы отметить ее не только в себе, но и в своем друге Черныше. Раньше других ее общий смысл раскрывается перед

Брянским. Это он подлинный автор крылатой истины — «любовь движет армии вперед», это от него она пошла к солдатам и, глубоко запечатлевшись в их сердце, зазвучала как безыменная, всенародная. Проходят эту эволюцию, поднимаясь все выше, ступень за ступенью, братья Роман и Денис Блаженко, связист Маковейчик, Хома Хаецкий и многие другие. Проходят каждый по-своему, в соответствии с индивидуальными чертами характера.

Едва ли не наиболее обстоятельно она прослеживается в образе Хомы Хаецкого, этого украинского побратима Василия Теркина. Сначала неопытный и робкий, он мужает в походах и сражениях, и, кажется, с каждым днем все яснее проступают в нем лучшие черты и качества духовного облика советского человека, советского характера. «Чем дальше, тем меньше,— отмечает писатель,— сушил он себе голову домашними делами... Во всем этом он целиком полагался на свою Явдошку. А его самого все больше захватывали европейские и международные дела. Хома был так ими озабочен, будто сам готовился завтра-послезавтра стать дипломатом».

Показателен один эпизод в конце второго романа: у костра среди минометчиков сидят лейтенант Черныш и майор Воронцов. Прихлебывая чай прямо из закоптелых котелков, присутствующие ведут спокойную, видимо давно начатую беседу.

« — Знаете, как об этом сказал Михаил Иванович? — говорил майор.— Вы, говорит, явитесь домой новыми людьми с мировым именем. Людьми, которые осознают свое непосредственное участие в делании мировой истории.

— Слышишь, Роман,— толкнул Хома земляка.— Творец мировой истории!

А они нас трактовали как низшую расу...»

Почти все герои Олеся Гончара немного философы. Такие разговоры между ними часты. Все вместе они создают один из главных мотивов трилогии, ее философский план, который постоянно сопутствует художественному решению, так сказать, панорамической задачи. Глава за главой, роман за романом развертывается эта движущаяся панорама неудержимого наступления, стычек, артиллерийских «дуэлей», боев, сражений. В трилогии нет ни одного эпизода, который не двигал бы ее событий вперед. Внутренний ритм повествования характерен той же стремительностью, которая присуща изображаемому наступлению и о которой однажды сказано в трилогии: «Все гремело, спешило, рвалось на Дунай».

Казалось бы, трудно сочетать эту стремительность с философической раздумчивостью. Однако же Гончару удалось найти, художественно открыть (и в этом еще одна победа его таланта, его мастерства) внутреннюю связь этих столь разнообразных «стихий». Она —

в единстве патриотического пафоса, одинаково присущего как подвигам советских воинов, так и философской мысли, помогающей глубже постичь духовные побуждения героев.

Исключительно велика в этом отношении композиционная роль образа героя трех романов — Евгения Черныша. Его индивидуальная судьба, эволюция его духовного мира и отношения к войне, рассказ о его воинских подвигах, исследовательских поисках наибольшей эффективности минометного обстрела, о его дружбе с лейтенантом Брянским, о любви к Шуре Ясногорской — все это составляет наиболее четко прослеживающуюся в трилогии «сквозную» нить беллетристического повествования. Вместе с тем в лице Черныша все не только его личное, но и все отразившееся в трилогии и судьбах ее героев находит наиболее близкого автору истолкователя, «философа».

Вот однажды Черныш подрывает фашистский танк двумя гранатами, брошенными с явным риском для жизни. За проявленный при этом азарт и нарушение приказа командира роты ему полагается, пожалуй, взыскание. Но, как говорят, победителей не судят. «Счастье его, что подорвал,— говорит командир роты.— А если бы промахнулся, то... был бы ты бедный, Черныш». И вместо выговора слышим вопрос, звучащий не только в устах командира, но и для всей трилогии в обычном философском тоне:

«— Скажи, ты задумался над своим поступком?..

Черныш думал об этом. В самом деле, что понесло его в ворота, где он очень просто мог потерять голову? Официального приказа у него не было, даже наоборот. Честолюбие? Нет, ради честолюбия он никогда не согласился бы рисковать жизнью. Чувство мести? Черныш знал, что чувство мести у солдата на фронте немало значит. У одного фашисты сожгли хату, у другого дочь увезли на каторгу, третьего самого гноили в концлагерях. Все это много значило. Но разве только это? Семья Черныша жила в Средней Азии и оккупации не знала. Его дом не сожгли враги. Его мать не испытала обид от иноземцев. Значит, не личная месть погнала его с гранатами к воротам. Это было что-то другое, более значительное и более высокое. Черныш знал, что только он, только такие, как он, способны уничтожить этот танк. Он знал, что от этого зависит очень многое для других людей, неуничтоженный танк через некоторое время ворвется в другой квартал и будет крошить все на своем пути...

В тот момент он и в самом деле не думал лично о себе: будет он жить или нет. Какая-то прекрасная сила направляла его руку и диктовала каждый шаг».

Все эти и другие раздумья идут не только от Черныша. Они вместе с тем и авторские. Их значение не только в том, что они

помогают понять психологические «пружины» отдельного подвига, но и в том, что в них выражается уже комментированная выше философия войны Это индивидуальное выражение общего, преломление всеобщего смысла совершающегося — в индивидуальности, в отдельном характере.

На все изображенное в трилогии автор как бы смотрит глазами героя. Многое здесь как бы проведено через сердце лейтенанта Черныша. Строем его души в значительной степени определяется сгущенно эмоциональный «ключ» и возвышенно-романтический стиль всего повествования.

«По сути, мы имеем перед собой,— пишет о трилогии Л. Новиченко,— оригинальный образец романа-поэмы, своеобразного лирико-романтического эпоса высокой образной концентрации» [1]. Вот этот лирико-романтический стиль большого эпоса о войне, романтический способ изображения событий войны, поступков и переживаний героев — все это убедительно психологически мотивировано, в высшей степени художественно оправдано соответствующим строем души героя.

«Ты слишком романтик», — говорила мать своему «до самозабвения горячему» сыну. Это материнское определение характера подтверждено каждым шагом героя, каждым его взглядом и помыслом.

Замполит полка, Герой Советского Союза Воронцов, представлялся ему до встречи «не иначе, как в гордой воинственной позе впереди пехоты, с пистолетом в руке и газетами, торчащими из карманов».

Эта склонность видеть все в романтическом свете не покидает его и во время первого боевого «крещения». «Вообще все, что творилось вокруг в этом гремучем хаосе, не пугало его и воспринималось им до сих пор скорее не как война, а как стихийное явление, как, например, землетрясение или смерч в азиатских пустынях». Управляя стрельбой минометной батареи, «Черныш передавал и передавал короткие цифры, которые ему хотелось петь».

Романтическая склонность видеть мир предпочтительно в одеждах красоты и величия сохраняется у героя до конца, несмотря на все суровые испытания войны, которые, как говорит однажды Брянский, делают воинов и черствее и мудрее. Не остается в стороне от этого процесса и Черныш. Однако же эта его романтичность становится как будто еще глубже и убежденнее. В соответствии с этим в его глазах и весь мир после каждой новой победы как бы становится и шире, и чище, и еще прекраснее. «Мир,— отмечает он в

[1] Л. Новиченко. «Про творчість Олеся Гончара». (См. Олесь Гончар. Твори (в четырех томах). Том I, Киев, 1959, стр. XIII.)

один из таких моментов,— успокоенный, до опьянения прекрасный, раскинулся на все четыре стороны от них. Далеко направо сияли под утренним солнцем величавые вершины гор».

Таким он представляется Чернышу. Но это представление находится в полной гармонии с авторским. Достаточно напомнить те детали пейзажа, которые даны в трилогии непосредственно от автора.

Например, рассказ об отваге и человечности Казакова (эпизод с прикованным к пулемету хорватом) заканчивается такой, пожалуй, традиционно романтической, строчкой: «Орлы клекотали, величаво паря над глубокими ущельями».

Дважды звучит полное символического значения сравнение бойцов с соколами. Явно романтична фразеология авторских размышлений о завтрашнем дне той степи и поля, где сегодня развернулась танковая битва: «Эпос, зараставший степными буйными травами! Пропетый в придунайских степях зимой тысяча девятьсот сорок третьего года советскими пушками, советскими людьми».

Можно было бы десятками выписывать характернейшие эпитеты авторского повествования, чтобы показать романтически яркое, золотое и багряное буйство цветов или, по выражению Гончара, «поющих красок» и солнечного света в трилогии. Верно, что читая ее, «просто забываешь, что это прозаическое произведение. Трилогия читается как героическая поэма» [1].

Однако можно ли объяснить стиль «Знаменосцев» лишь романтичностью мировосприятия, хотя бы и одинаково свойственного автору и герою трилогии? Нет, такое объяснение было бы односторонним и недостаточным.

Нельзя забывать о морально-эстетической природе того человеческого материала и тех событий, которыми заинтересовался художник. То, о чем пишет Гончар в «Знаменосцах», возвышенно само по себе, то есть и в жизни, а не только в романтических представлениях писателя или его героя; те, кого он изображает, достойны героического эпоса.

«Говоря о стилевых течениях нашей литературы,— отметил Олесь Гончар, выступая на Третьем Всесоюзном съезде советских писателей в защиту романтики,— хочется подчеркнуть, что романтика — не прихоть писателя, а его мировосприятие, выражение его творческой индивидуальности». Она, романтика, имеет право на свое место в литературе, потому что «способна выразить правду народной души, правду национального характера» [2].

---

[1] М. Шумило. Цитированный очерк, стр. 22.

[2] Третий Всесоюзный съезд писателей СССР. Стенографический отчет. М., 1959, стр. 34.

В «Знаменосцах» ярко проявилось полное единство объективного и субъективного, действительности и ее индивидуальной художественной интерпретации.

Гончар показал события и героев такими, какими они были на самом деле. Он не приукрасил, не «возвеличил» их. Нет, он сумел верно увидеть, открыть под заношенной фронтовой шинелью возвышенную душу советского бойца, за простотой народного слова услышать возвышенный строй его мыслей и побуждений.

«— Это уже атака? — спрашивает однажды Шура Ясногорская.

— Атака, атака,— отвечает ей капитан Чумаченко, глядя в бинокль.— Артподготовка кончилась, люди встали, продвигаются, почему же не атака!.. Хлопцы идут, как боги!»

Так говорит не юноша Черныш, а «пожилой, высокий мужчина... с седыми висками». Человек, убеленный сединами и умудренный годами сурового жизненного опыта. И все же — бойцы — «как боги». Это зависит уже не от качества восприятия. Таковы они были и на самом деле.

«Тяжело, товарищ Хаецкий»? — спрашивает однажды Воронцов.

И Хома отвечает (без какого бы то ни было желания сказать красиво):

«Ой, товарищ замполит... Так тяжко, как будто всю землю на плечах держишь».

Не ясно ли, что такое самосознание не может обойтись без большой доли романтических средств в образном воплощении.

Между «натурой», прототипами героев и средствами их художественной типизации в трилогии Гончара нет никакого противоречия. Ему не надо было «поднимать» своих героев, ставить их на котурны. Задача состояла в том, чтобы верно показать вполне объективные преимущества советского человека, те, которыми он располагает, потому что, по меткому выражению Хомы Хаецкого, «академию социализма прошел», а другим ее еще лишь предстояло пройти.

«Образ комиссара Воронцова написан почти с натуры,— свидетельствует сам О. Гончар,— я сохранил даже его имя. В нем настолько были воплощены лучшие черты советского человека, что при создании этого образа я не нуждался в домысле»[1].

Было бы ошибкой думать, что и в создании других образов роль художественного вымысла столь же мала. И все же свидетельство это очень показательно для понимания единства «натуры»

[1] Альманах «Радянська Буковина». Черновцы, 1957, стр. 234.

и стиля ее художественного воплощения. Романтика в трилогии Гончара — это правда о советском человеке-воине, показанном «в состоянии высшего напряжения его физических и духовных сил»[1].

5

Когда-то Ленин назвал «очень своевременной книгой» «Мать» Горького. Вспоминая об этом, Горький отмечает: «Это был единственный, но крайне ценный для меня его комплимент». Ленин объяснил, в чем именно состояла эта своевременность: «...много рабочих участвовало в революционном движении несознательно, стихийно, и теперь[2] они прочтают «Мать» с большой пользой для себя»[3].

В чем же своевременность трилогии О. Гончара, уже не однажды отмечавшаяся в критике?

Написанная сразу после войны, она, пожалуй, более чем какой-либо другой украинский роман, помогала советскому народу осознать свою великую историческую заслугу и, что особенно важно, современную роль в исторических судьбах всего человечества. Победа, завоеванная такой страшной ценой, не только давала советскому народу *право* на ведущую роль в жизни народов, но и налагала на него моральную *обязанность* заботиться о мире и торжестве справедливости на всем земном шаре, ответственность «за Россию, за народ и за все на свете» (А. Твардовский). Мысль об этом особенно настойчиво звучит в двух последних романах трилогии. Ее великолепно выражает простой советский солдат Хома Хаецкий.

«Итак,— обращается он к воображаемым министрам в зале заседаний венгерского парламента,— фашистов мы выперли за Дунай. Места для вас свободны. Будьте ласковы, мерси, занимайте... Но знайте, что теперь Хома не хочет, чтобы вы снова гнули фашистскую политику и загибали ее на войну. Разве напрасно я всю Мадьярщину до самого Дуная своими окопами перекроил? Разве напрасно не вернулись в нашу Вулыгу Олекса, и Штефан, и кум Прокоп? Нет, ой нет!.. Теперь я буду внимательно к вам прислушиваться. Не захотите жить мирно да ладно — будет вам горько, как сегодняшним фрицам!»

«Знаменосцы» помогают глубже познать советского человека в его лучших качествах. Чтение этой книги наполняет сердце гордым

[1] Олесь Гончар «Нестареющая тема». «Литературная газета», 25 мая 1948.

[2] То есть сразу после революции 1905 года.

[3] М. Горький. Собрание сочинений. т. 17, М., 1952, стр. 7.

и радостным волнением, счастьем познания прекрасного в людях я, укрепляя исторический оптимизм читателя, несомненно, настраивает его на героический лад. «Да, я видел этих людей, встречался с ними,— может сказать читатель трилогии,— я давно их знал, знал, что они вообще не плохие люди, даже хорошие, но я не видел, что они удивительно, волнующе, потрясающе хороши! Так вот какие они — люди! Вот как надо смотреть на людей и на мир! Читаешь, и тебя охватывает радость открытия. Читаешь, и будто сам очищаешься от мелочности и становишься выше. Ведь радостно жить с такими людьми! Для таких людей хочется сделать что-то неимоверно хорошее, для них и жизнь отдать не жаль»[1].

6

Романы трилогии принесли Олесю Гончару общенародную и, можно сказать, мировую известность. (Трилогия переведена почти на все языки народов СССР, на которых печатается художественная литература. Она издана также на китайском, корейском и большинстве европейских языков.) Яркая индивидуальная манера, в которой написаны романы, дала основание нашим критикам безоговорочно объявить Гончара писателем лирико-романтического склада. «Он занял свое место,— пишет украинский критик М. Логвиненко,— в строю советских писателей романтического направления, певцов эпической народной героики»[2].

Гончар подтвердил правомерность такого определения рядом выступлений в печати, речью на Третьем Всесоюзном съезде писателей СССР и, наконец, написанной после «Знаменосцев» повестью «Земля гудит» (1947) — о героических подвигах подпольной молодежной организации «Непокоренная полтавчанка» на оккупированной фашистами украинской земле. Повесть близка «Знаменосцам» и атмосферой моральной чистоты[3], и идейной насыщенностью жизни героев, и, наконец, средствами типизации характеров, романтических по внутренней структуре и стилистике их художественного воплощения.

«Честь человека — превыше всего»,— таков девиз Сережи Ильевского. Но так думают и другие герои повести, это лежит в основе их душевного строя. Юношески яркий, бескомпромиссный патриотизм не позволяет им принять оккупацию, примириться с жизнью в фашистском ярме. Без колебаний идут они на борьбу, объединив-

[1] М. Шумяло. «Олесь Гончар». Киев, 1950, стр. 60.
[2] «Советская Украина», 1961, № 4, стр. 150.
[3] Этим она также близко напоминает «Молодую гвардию» А. Фадеева, под значительным влиянием которой написана.

шись в подпольную организацию. Неравенство сил, не останавливая их, содействует рождению романтической приподнятости самосознания, окрашивает мир и людей в резко контрастные тона, сгущает и делает резче эмоции и всем этим оправдывает пафосно приподнятую, романтическую стилистику мышления, языка героев и авторского повествования. Вот как выражаются средствами этой стилистики переживания главной героини, когда ее арестовывают немцы и она уходит, сознавая, что больше не вернется в этот мир.

«— Не провожайте меня,— просила она родителей.— Я скоро вернусь.

Она стала медленно спускаться по ступеням.

Ступила раз и остановилась.

Ступила второй и ласково оглянулась на родных.

Ступила третий и глянула назад.

С каждым шагом вниз сад прыгал вверх и подрастал. Ноги ее приставали к ступеням, как если бы были окованы железом, а ступени намагничены.

Ступила еще ниже, а сад поднялся снова над нею, так что солнце закрылось росными папахами проса, купины роз дымились внизу, сад стоял по пояс в этом цветистом, пахучем дыму.

Еще ниже...

Будто входила в новое бытие, в белые чистые владения вечности».

Стилистика таких эпизодов повести заставляет вспомнить прозу Коцюбинского, в особенности произведения последнего периода, когда он, по свидетельству Горького, «настраивался на героический лад». Кстати, еще раз напомним, что проза Коцюбинского была самой большой творческой школой Олеся Гончара. С нее он начинал. Об этом свидетельствуют не только его новеллы, но и его небольшое исследование, с которым он выступил в печати еще как студент Харьковского университета: «О неполных и одноэлементных предложениях в произведениях М. М. Коцюбинского». «Как стилист,— писал он там,— Коцюбинский не имеет себе равных в украинской прозе... Его стилистическая система отличается исключительным богатством средств передачи наисложнейших человеческих мыслей и переживаний»[1].

Этими своими достоинствами проза Коцюбинского, его школа сохранила свое влияние и на автора «Знаменосцев», повести «Земля гудит», а также нового романа «Человек и оружие», ознаменовавшего вместе с тем новый этап в творческом развитии писателя.

---

[1] «Учені записки» № 2 Харьковского государственного университета имени А. М. Горького. Харьков. 1940, стр. 171.

Появлению романа (1961) предшествовал период серьезных творческих раздумий писателя. Они отразились в его выступлениях на съездах, в литературно-критических и публицистических статьях. Как бы подытоживая свой творческий опыт и стремясь рассмотреть его в аспекте традиций украинской и всей советской литературы, Олесь Гончар посвятил ряд выступлений судьбам украинской художественной прозы и проблемам развития романтического направления в ней. Особенно примечательной была его уже упоминавшаяся речь на Третьем Всесоюзном съезде писателей СССР.

Пафос ее — в защите романтики от пренебрежительного отношения к ней и даже третирования ее некоторыми критиками и писателями. «Для того,— говорил Гончар,— чтобы показать человечеству красоту нашего народа, всемирно-историческую значимость его самоотверженного труда, нам нужна литература большой интеллектуальной глубины, литература необычайной свежести и яркости». Успехи такой литературы он связывал с наследием романтических традиций и использованием творческого опыта советских писателей, «тяготеющих к романтическим краскам и образам», в особенности опыта Юрия Яновского и Александра Довженко. Здесь видел он убедительное доказательство жизнеспособности и плодотворности романтического искусства, его возможности выразить правду народной души, национального характера.

«Тарас Бульба,— говорил он,— тоже необычен, высоки и торжественны его слова, но разве в этом не проявляется национальный характер и дух народа? Всемирно известные «Всадники» Яновского написаны на самом высоком регистре, но разве это лишает произведение жизненной правды?» Ратуя за разнообразие и богатство «стилевых течений нашей литературы», Гончар отвергал «псевдоромантику» и, наоборот, поддерживал романтику, «сердцем рожденную для выражения героического начала нашей жизни, оптимизма советского человека, его устремленности в будущее».

Правда, при этом было допущено некоторое противопоставление романтической и реалистической манер беллетристического повествования. «Одному по душе вольный, широкий полет, другому — пристальное, аргументированное исследование действительности»,— говорил он там же.

Можно подумать, что «пристальное, аргументированное исследование действительности» исключает самую возможность «вольного широкого полета», возможность их единства.

Надо ли напоминать все, что много раз повторялось в нашей критике о единстве реализма и романтики в искусстве социалистического реализма? Может быть, лучше будет обратиться к творчеству самого Гончара, особенно его «Знаменосцам», где это

единство сказалось с большой убедительностью и плодотворностью.

Правомерные и полезные в споре выступления Гончара на съезде и в печати вместе с тем важны для выявления его собственных творческих позиций. Очень важна в этом смысле, в особенности при анализе романа «Человек и оружие», также его статья «Нестареющая тема», написанная в защиту темы Великой Отечественной войны в нашей литературе.[1] Она важна не столько защитой самой темы, сколько раздумьями о самом главном в задачах романиста, берущегося за ее разработку. Гончар призывает романистов сосредоточить внимание «не на «баталиях» да «викториях» как таковых, не на внешних проявлениях деятельности солдата, а прежде всего — на самом солдате, офицере, полководце. «На них, на их внутренний мир, на осмысливание ими своих поступков ложится ярчайший свет литературы»,— заявляет он, ссылаясь на опыт советской прозы о войне и считая характерными в этом отношении «Звезду» Э. Казакевича и «Ночь полководца» Г. Березко.

Сказанное здесь — хороший авторский комментарий не только к «Знаменосцам», но также и к позднейшему роману Гончара «Человек и оружие».

И в новом романе Гончар остается верным не только излюбленной теме, но и своей манере: и здесь в центре его внимания внутренний мир воина, раскрывающийся очень характерным для Гончара способом — преимущественно через осмысление героями своих поступков, в их «философствованиях». Это в свою очередь определяет исключительно важную роль внутреннего монолога в системе художественных средств и композиции романа (кстати заметим, что вся последняя треть романа — внутренний монолог героя, попавшего в окружение и мысленно беседующего, как бы «пишущего» письма своей возлюбленной).

И все же роман «Человек и оружие» знаменует новый этап в творческом развитии Гончара, в эволюции его индивидуальной манеры. Написанный через пятнадцать лет после войны в годы решительного развенчания культа личности и переоценок некоторых продиктованных этим культом представлений о ней, изображающий не триумфальное ее завершение, а первые месяцы трагических потерь и отступлений, роман этот отличается значительно большей сдержанностью автора в использовании средств лирической патетики. В нем преобладают строгие, суровые тона и краски. Своими стилевыми чертами, отношением к войне, мерой правдивости в отображении событий, аналитической мыслью и моральной атмосферой

[1] См. «Литературную газету», от 25 мая 1948 г.

роман Гончара стоит в ряду таких новых произведений о Великой Отечественной войне, как роман «Живые и мертвые» К. Симонова, повесть «Последние залпы» Ю. Бондарева, «Пядь земли» и «Южнее главного удара» Г. Бакланова, «Третья ракета» В. Быкова и другие.

В критике уже отмечалась принадлежность романа к этой группе произведений, однако новые черты его сравнительно с трилогией «Знаменосцы» выяснены недостаточно, а в некоторых статьях и рецензиях они и вовсе игнорированы.

Сюжетный стержень романа — история добровольческого студенческого батальона, сформированного в первые дни войны и сразу же попавшего в боевые действия. Богдан Колосовский, Андрей Степура, Мирон Духнович, Славик Лагутин, Павел Дробаха, Спартак Павлущенко и другие — рядовые этого батальона — могли быть сокурсниками Брянского и Черныша. Они так же храбры и самоотверженны. Историки по образованию, они так же склонны к философским раздумьям и обобщениям, особенно к попыткам осмыслить происходящее в широких исторических аспектах. Благодаря этому духовные горизонты романа как бы раздвигаются, его события и идеи как бы приобретают историческую перспективу.

При всем этом сразу бросается в глаза, что герой, избранный автором на ту роль, которую в композиции «Знаменосцев» играет Черныш, сдержаннее и строже, эмоции его иной тональности, точно так же и авторское зрение отмечает в происходящем многие такие стороны и явления, которые оставались мало замеченными или, по крайней мере, не акцентированными в «Знаменосцах».

Дело отнюдь не только в количестве смертей на страницах романа (из всего батальона остается в живых только Богдан Колосовский), а в том, как видит их автор и его герои, как представляет он духовную эволюцию героев в условиях войны, как изображает он теперь войну, с какими историческими и моральными критериями подходит он к ней. Словом, все дело в том, каков пафос романа и как он художественно реализован в нем.

За мир, против бесчеловечной жестокости и варварства войны борется этот роман. «Я думаю,— говорит один из воинов-философов в романе,— что рано или поздно человечество в конце концов придет к отрицанию войн. Они станут для него черным прошлым, как, скажем, работорговля или обычаи каннибалов».

Война — это варварство, несовместимое с современным уровнем духовного развития человечества. «Дико», думает героиня романа, что в наше время «столько коварства, жестокости, вероломства вокруг». «Дико» — этим словом не однажды передают герои романа свое ощущение войны, свое представление о ней, как о некоем анахронизме в жизни человечества. «Так дико все обернулось,— думает

об этом студентка исторического факультета на строительстве противотанковых рвов,— не ольвийские раскопки ведем, а степь раскапываем против танков... Достичь то, что достигнуто человечеством, и вот теперь, после этого, снова назад? К пещерам, к пирамидам из человеческих черепов. Этот цивилизованный бандит, который пролетел сегодня здесь... чем он лучше батыева башибузука, хоть и явился не на монгольском коне, а на современном летательном аппарате? Варвар он, трижды варвар!»

Страшные разрушения несет война человечеству. Горестными раздумьями об этом полон роман. «Вот она, твоя Украина, вот такой ты видишь ее,— с болью в сердце думает об этом студент и поэт Степура.— Не песня, которая еще недавно звучала над этим краем, над его садами и лугами в лунные ночи, а великое горе народное разливается теперь всюду по селам». С тяжким страданием и гневом воспринимают герои гибель Днепрогэса — «символа новой Украины, творения новой социалистической цивилизации».

Но, пожалуй, самым страшным разрушениям подвергается мир человеческой души, даже сформировавшейся на самых гуманных представлениях. «Неимоверно быстро война переделывает человека на свой лад,— отмечает однажды Богдан Колосовский.— Еще «Илиада» звучала в наших ушах, а мы уже готовы были убивать».

Заслуга Гончара-гуманиста состоит здесь в решительности, с которой он говорит всю правду о том, как искажает война самое человеческое в человека.

Что же тогда? Не браться за оружие? Как решается проблема, звучащая в заглавии романа?

Герои Гончара взялись за оружие с твердым сознанием, что иначе поступить не могут. Не могут потому, что не способны «жить на положении подневольных у завоевателей», потому что в них живет властное чувство любви к своей советской родине, которое они почитают высшим и неотъемлемым признаком также современного, нового человека и которое оскорблено и возмущено посягательствами и вторжением иноземцев. «Это, как любовь к матери, никогда не исчезает»,— говорит мужественный Степура и вскоре подтверждает это своей героической смертью.

Под влиянием этих побуждений и чувств, без которых, по мнению Мирона Духновича, «душа человеческая стала бы бесцветной и убогой», даже дед Лука, принявший было учение Толстого, полностью отрешается от непротивленчества. И он, в первую мировую войну стрелявший только вверх («людей убивать вера моя тогда не позволяла»), теперь считает, что за оружие надо браться, и осуждает тех, кто хочет отсидеться в тылу.

И все же высшее «оправдание» войны — в отрицании ее силой оружия. Надеждой, что это — последняя война, живут воины-герои Гончара. Волнующе сильно и убежденно звучат последние строки романа. Это мысли, которыми делится с людьми Богдан Колосовский в неотосланном, записанном лишь в сердце письме из окружения: «Но, даже погибая, будем верить, что после вас будет иначе, *и все это больше не повторится,* и счастливый человек, разряжая последнюю бомбу в солнечный день победы, скажет: это был последний кошмар на земле».

Погибая почти двадцать лет назад, герои Гончара и оружием, и смертью своей утверждали идею самую актуальную, самую современную и ныне. В речах многих делегатов Московского конгресса по разоружению, в речи Н. С. Хрущева еще раз прозвучали мысли и идеи, за которые они, герои романа, шли на смерть.

Гуманистическая мечта, окрылявшая героев, их пламенный патриотизм и беззаветная отвага до самопожертвования — все это те морально-этические категории, те высшие проявления человеческого духа, которые у Гончара находят обычно романтическое выражение.

Есть эти стилистические средства и в романе «Человек и оружие», но совсем в иной пропорции, в другом отношении с основными стилистическими пластами в образной системе романа, в его поэтическом языке.

Вот как, например, картины гибели, смерти героев отличаются от тех, которые обычны для трилогии «Знаменосцы». «Боец,— рисует Гончар в «Знаменосцах» убитого Гая,— лежал, вытянувшись во весь рост, и только теперь все увидели, как он был хорош, стройный, широкогрудый — настоящий красавец. И шелковые белесые брови лежали на задымленном лице, как две полоски ковыля, степной певучей травы. Боец и теперь доверчиво и несколько удивленно смотрел в чистое небо, а его глаза были синее неба, прозрачные, как камень сапфир. И удивительнее всего было то, что в руке боец еще сжимал синие васильки».

Мы нарочно цитируем это место в почти буквальном переводе, чтобы продемонстрировать весь комплекс средств, к которым обращается (в духе национальных романтических традиций) Олесь Гончар.

Иные средства, но из того же стилевого арсенала берет он, живописуя смерть Брянского: «Старший лейтенант лежал на правом боку, откинув голову и подавшись всем телом вперед, *как птица в полете.* Он напряженно вытянул руку вдоль камня... В руке застыл пистолет. *Брянский лежал, как живой, крови не было на его белом лице,* глаза были не закрыты, а только слегка прищу-

рены, как тогда, когда он смотрел в бинокль и командовал». А несколько позже — «Брянский лежал на палатке, белый, спокойный, с ясным челом и, сверкая при луне орденами, как бы слушал, что говорят о нем».

Почти так же изображена смерть Кармазина. «Лежит, как живая, неимоверно белая, неимоверно спокойная» Шура Ясногорская, «в венках, которые забыла снять перед боем», смотрит «неподвижным, навсегда остановившимся взглядом. Вот-вот шевельнутся полураскрытые уста, оживут в улыбке...».

И только однажды во всем романе у смертельно раненного пулеметчика «меж пальцев выпирают кишки», что заставляет видящих это «невольно содрогнуться».

Совсем не так красиво и романтично выглядят мертвые в романе «Человек и оружие». Окровавленные, искромсанные и изуродованные осколками мин и снарядов, погибшие самим видом своим говорят, как ужасен облик войны, как ужасающе жестока и бесчеловечна она своим «отрицанием» доброго, сильного, гармоничного, прекрасного. Раненый Духнович видит вокруг себя на месте перевязки «искалеченные ноги, искалеченные руки, искромсанные плечи, изуродованные, в промокших кровью бинтах лица», чей-то «ужасающе распоротый живот...» В первом же из описанных боев лейтенанту Панюшкину пуля раздробила череп и «брызги мозга и крови засыхали на его русом чубе»

Ранен Андрей Степура, человек «богатырского здоровья», и кровь «хлещет из него, как из вола». «Внутренности все разорваны, грудь разорвана, а сердце могучее бьется, не хочет умирать. Хрипит, хватает ртом воздух. Помутневшие глаза блуждают...» Как в этой картине смерть «отрицает» силу, так в другой она «отрицает» красоту. Славик Лагутин «корчится с распоротым животом, изорванным легкими», «кричит нечеловеческим криком всю дорогу» в лазарет, «корчится на дне кузова, извивается судорожно, блюет кровью», и товарищам его «было так противоестественно... видеть возле себя обессилевшее, изувеченное тело товарища — стройное юношеское тело почти античной красоты...»

Не ради желания напугать читателя выписывает Гончар эти вызывающие содрогание подробности. Да и герои его не похожи на героя андреевского «Красного смеха», духовно надломившегося от ужасов войны. Герои Гончара мужественно идут даже на смерть. «Степура пошел на подвиг сознательно: с поднятой в руке тяжелой гранатой он бросился наперерез танкетке и ударом гранаты остановил ее...» Так же сознательно идет на подвиги и смерть Духнович. Гранатой он взрывает огромный склад бомб. «Идите! Я догоню!» —

кричит он своим товарищам, заведомо зная, что никогда не увидит их.

Автор вместе с Богданом Колосовским любит этих людей, они вызывают в нем чувство восторга и преклонения. Как и Степура, он видит в них людей «крепкого народного склада», сам называет раненых «людьми с домешкой железа и стали», вместе с Духновичем восхищается силой того «горения», с которым эта молодежь покидала райком комсомола, записавшись в добровольческий батальон. Но все это освещено в романе другим светом, написано строгими и даже суровыми красками. Герои романа, даже говоря о самых возвышенных побуждениях, как бы боятся возвышенного стиля, романтической фразы. Например, Мирон Духнович высказывает пренебрежение к «высокому штилю» даже тогда, когда по-своему формулирует общую для всех героев, центральную для всего романа и, несомненно, возвышенную идею отрицания войны силой оружия: «Как и всякая комаха, я,— говорит он,— конечно, хочу жить, хочу суетиться на планете еще некоторое время, но если бы это нужно было для окончательного уничтожения войн — простите мне высокий штиль — ей-ей не пожалел бы для этого своей маленькой сумбурной жизни».

В последнем «письме» Богдана Колосовского на «большую землю» говорится: «Мало у нас оружия, но самое закаленное оружие — в нас самих, в нашей воле, в наших сердцах».

Роман Гончара глубоко раскрывает секреты этого закаленного оружия, рассказывает о его силе и исторической роли на том самом трудном, трагическом этапе войны, о котором наша литература до XX съезда партии не могла по известным причинам рассказать всю правду. Но значение романа отнюдь не только в восстановлении исторической правды. «Человек и оружие» — глубоко современный роман, действенно участвующий в борьбе за мир.

7

Годы, отделяющие роман «Человек и оружие» от трилогии «Знаменосцы» и повести «Земля гудит», были для Гончара годами широких творческих поисков, стремлений выйти за пределы темы, ставшей, казалось, единственной темой его творчества. На этом пути естественно было обратиться непосредственно к современности, что и сделал Гончар. Поездки в братские социалистические страны дали ему материал для двух книг очеркового жанра — «Встречи с друзьями. Очерки о Чехословакии» (1950) и «Китай вблизи» (1951). В ответ на призыв партии создать произведения о героях колхоз-

ной деревни, о мастерах советских урожаев была создана повесть «Никита Братусь» (1951).

В этой повести Гончар рассказал о колхознике-мичуринце Никите Братусе, вырастившем на голом острове прекрасный сад. Но главное ее содержание, как и повести «Пусть горит огонек» (1954), — рассказ о духовном богатстве советского человека. Никита Братусь — человек большой мечты. Он, как и его единомышленники, мечтает превратить в цветущий сад весь засушливый юг Украины, сделать, как говорит поддерживающий его секретарь Центрального Комитета, всю Украину «республикой-садом, цветущим, самым убедительным опытным полем коммунизма».

Человек нового мировоззрения, Никита Братусь глубоко понимает преимущества колхозного строя, смело и уверенно глядит вперед. Окрыленный мечтою, он хочет, чтобы она (эта или другая) окрыляла и других людей. «Есть люди, — говорит он, — как горные орлы, с большим радиусом видения. А есть, к сожалению, еще и такие, к которым надо подходить с садовым ножом и беспощадно прививать им «высокую мечту».

Наиболее значительные произведения в творчестве Гончара пятидесятых годов — это романы «Таврия» и «Перекоп». Обращение к темам этих романов отнюдь не было для писателя уходом от современности.

Романы «Таврия» и «Перекоп» — романы о героической роли украинского народа в революции, о его союзе и дружбе с русским народом в борьбе за сохранение и утверждение завоеваний революции.

Связанные общностью темы и судьбами героев, они образуют известное художественное единство, в котором «Таврия» выглядит своеобразным прологом к почти вдвое превосходящему ее роману «Перекоп». Но дело, конечно, не в размере: в «Таврии» развернута предыстория подлинно исторических событий второго романа, вместе с тем в ней показано детство и молодость героев, ставших главными в романе «Перекоп». Только вместе с романом «Перекоп» приобретает жанровую определенность и роман «Таврия», который вне этой связи, пожалуй, трудно было бы безоговорочно отнести к историческим романам. Его связь с романом «Перекоп» помогает яснее почувствовать дыхание истории в нем.

В романе «Таврия» нет подлинно исторических героев. К нему не приложимо классическое определение жанра, согласно которому исторический роман это такое единство исторической правды и художественного вымысла, которое дает возможность читателю увидеть «пред собою, как живые, личности, знакомые ему из истории и изобра-

женные здесь в очаровании поэзии...» [1]. И все же его связь с романом «Перекоп» не только сюжетная. В «Таврии» показано историческое, дореволюционное прошлое украинского народа, вызревание тех сил в нем, которые действовали в революционном взрыве 1917 года, представлена та логика развития действительности и классового самосознания украинского народа, которая вела к неотвратимому революционному конфликту. Всем ходом сюжетного развития романа утверждается, что Октябрьская революция должна была произойти и что только она сделала возможным осуществление народной мечты, народных стремлений к лучшей жизни, все проявления которых душил и подавлял капитализм.

Географические центры событий романа — Каховка и Аскания Нова.

«На юге и юго-востоке,— писал В. И. Ленин,— образовалось множество рабочих рынков, где собираются тысячи рабочих и куда съезжаются наниматели... В Таврической губернии особенно выдается рабочий рынок в местечке Каховке, где прежде собиралось до 40 000 рабочих»[2].

На этот рынок бредет из Полтавской губернии пешком, «разбивая ноги до крови», толпа героев «Таврии». Картинами этого похода полтавской бедноты, открывающими роман, Гончар сразу устанавливает связь своего произведения с классическими традициями украинской прозы, с повестью о роли первой русской революции в жизни украинского крестьянства, о его участии в ней. Такая же толпа бредет на первых страницах «Fata morgana» М. Коцюбинского: «Грязной, разъезженной дорогой тянутся люди на заработки. Идут и идут, черные, понурые, мокрые, несчастные, как калеки-журавли, которые отстали от своего ключа, как осенний дождь. Идут и пропадают в серой неизвестности». В тех же интонациях, теми же красками живописует такой поход и Гончар: «Брели, согнувшись под торбами, истощенные, худые, почерневшие...»

В этой толпе и юный Данько Яресько, и его сестра, бойкая, неунывающая певунья Вутанька, и красавица Ганна Лавренко с двумя дядьями, и по-крестьянски мудрый вожак всей ватаги Нестор Цымбал. Всем им предстоит пройти через рынок капиталистической работорговли в Каховке, которая станет для них горнилом первой закалки, местом, где они впервые почувствуют себя частицей обездоленного народа, осознают свою принадлежность к классу и свои силы для борьбы. С этим новым и неожиданным приобретением,

[1] Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений. М., 1934, т. I, стр. 530.

[2] В. И. Ленин. Сочинения. Изд. 5, т. 3, стр. 238—239.

делающим их духовно богаче и сильнее, они прибудут в Асканию, нанятые «единокровным» украинцем, Гаркушей, холуем Фальцфейнов, этих пришельцев, капиталистов-колонизаторов. Здесь, нещадно эксплуатируемые, обсчитываемые при получках, обиженные в еде и даже воде для питья, они окончательно поймут, кто их враг, и в братском единстве с братьями по классу — орловскими крестьянами восстанут и против иноземных, и против «единокровных» угнетателей и эксплуататоров. Русские рабочие-большевики Привалов и Бронников станут их организаторами и руководителями на этом новом пути. Все это и сам переживет Данько Яресько. В этой атмосфере будет складываться, формироваться тот мужественный и пламенный «краснозвездный герой», каким он пройдет по страницам романа «Перекоп». Здесь в Аскании Нова, войдет в сердце Вутаньки Яресько вместе с любовью к большевику Бронникову новая правда, новая вера, которая сделает ее еще прекраснее в романе «Перекоп». Ганна Лавренко совершит здесь свою первую трагическую ошибку, которая надломит ее и толкнет к новым, в романе «Перекоп» — уже роковым заблуждениям.

В сложном переплетении событий и судеб вырисовываются сюжетные линии отдельных героев, выделяется одна из них (Данька Яресько), связывающая даже разрозненные эпизоды и сюжетные ответвления романа в композиционное единство.

Полны захватывающего интереса индивидуальные судьбы и соответствующие им сюжетные линии в романе. Ярки и прочно запоминаются образы героев. Но едва ли не самое важное и исторически значительное в романе — развитие того коллективного образа, которым до конца остается ватага полтавцев-«заробітчан» и в котором художественно символизирован украинский народ, украинский национальный характер в его революционном развитии накануне войны и революции (события романа происходят в 1914 году). Из людей, связанных лишь общей долей (вернее — недолей), формируется крепкий коллектив, сцементированный сознанием общности классовых интересов и готовый к борьбе. Роман завершается забастовкой в необозримой латифундии Фальцфейнов; и забастовка эта происходит, как говорит об этом ее участница Вутанька, «по-заводскому».

В конце романа его герой Данько Яресько, столь важный во всей композиции, чувствует, что с того времени, как оставил он Кринички, родное село на Полтавщине, «кое-чему в самом деле научился от добрых людей. Знающие учителя попадались на его пути... Каждый учил по-своему, но все вместе словно поднимали и укрепляли его, наливая своей силой, настраивая его на героический лад». Все это написано не ради одного героя. Это можно было бы сказать и о коллективном образе романа — образе народа.

В этом, можно сказать, национальном духе осмысливаются и национальными художественными средствами выписываются полные красноречивой и поэтической символики пейзажи в романе: «...звезды, усеяв небо, дрожат, налитые светом, словно слезы девушек-таврвчанок... Изредка сорвется какая-нибудь и летит в темные просторы степи, чтобы потом стать где-то одиноким чабаиским огоньком. Горит Волосожар. Млечный Путь зврастает кустистой молочной порослью. Могуче пролег он через все небо, широкий, свободный, нехоженый, хоть сейчас иди по нему...»

Столь же красноречива и символична в романе мечта напоить водой засушливую Таврию, превратить жаркие степи южной Украины в цветущий, как оазис Аскания Нова, сад счастливой народной жизни. Герою романа, мечтателю-агроному Мурашко, не удается осуществить эту мечту. Не находит он поддержки ни у Фальцфейнов и подобных им, ни у царского правительства. Только, когда эта мечта станет частью общенародного дела, а также, как Мурашко, интеллигентные мечтатели-одиночки соединят свои усилия с народом, в народной силе найдут себе опору, по-новому зазеленеют степи для человека, для народа, для его счастья. С этой мечтой об иной, лучшей жизни входят герои «Таврии» в новый роман Гончара — «Перекоп».

Еще более интересны судьбы героев «Таврии» в романе «Перекоп». Возмужавшие за годы, разделяющие события двух романов, они становятся участниками бурных событий большого исторического значения, делают историю с оружием в руках.

Данько Яресько теперь отважный воин, участник многих сражений. Пылкий, пламенный характер его переплавляется в этих сражениях, закаляется в классовых боях. Вутанька Яресько, вернувшаяся в Криннички уже женой Бронникова, матерью его сына, становится сельской активисткой и вместе с Цымбвлом отправляется на съезд Советов в Полтаву. Выросшая духовно, осознавшая все значение революции в жизни народа и своей собственной судьбе, она выступает против украинских сепаратистов, за государственное единство с русским народом. «Ватагами набирали нас,— говорит она с трибуны съезда,— свои же земляки в Каховке, гоном гнали в степи, продавали Фальцфейнам в неволю. Если бы не революция, так и косы поседели бы на чужих, на каторжных работах. И вот теперь, когда наконец расправляем мы крылья, снова вернуться к старому? Силы свои разделить, родное красное войско разорвать на части, чтобы враги передушили нас поодиночке? Нет, вместе до сих пор были, вместе будем и дальше, как Ленин нас учит!»

Возросшей ролью в борьбе, в народной жизни определяется новая роль Вутаньки Яресько в композиции. В «Таврии» она — значи-

тельный, ярче многих других выписанный характер, но ее судьба не образует большой, самостоятельной сюжетной линии. В композиции «Перекопа» она делит с братом ту роль, которая в «Таврии» принадлежала ему одному. Она становится здесь тем образом, с помощью которого автор ведет сюжетное развитие от фронтовых событий в мир большой политической жизни народа, Украины, всей советской страны и тем самым широко раздвигает границы романа.

Широко, многоводно течет новый роман Гончара, явно превосходя предшествующий богатством и драматизмом событий, исторической их достоверностью и реализмом образов, характеров. В изображенных исторических событиях участвуют кроме героев вымышленных также, говоря словами Добролюбова, «личности», знакомые читателю из истории: Фрунзе и Буденный, с одной стороны, Врангель, генералы-интервенты, кулацкий «батько» Махно — с другой. Таким образом, роман «Перекоп», а вместе с тем и его «пролог» — роман «Таврия» приобретают все признаки и черты романа исторического. Правда, в подлинно исторических персонажах автора интересует только собственно историческая сторона их жизни. Автор «Перекопа» не делает нас «свидетелем домашнего быта, семейных тайн» исторического лица, не «вводит нас в кабинет и спальню» его, не показывает его нам «в халате с колпаком». Этих жанровых признаков исторического романа, когда-то сформулированных Белинским, в романе Гончара нет или почти нет. И дело отнюдь не в том, что у большинства его исторических персонажей не было тогда ни кабинетов, ни халатов, ни даже спален. Дело не только в том, что Фрунзе, Буденный — воины, полководцы, люди походного образа жизни.

Нет, романист сосредоточен на изображении таких событий, на таком бурном и коротком отрезке времени, в который вся жизнь подобных персонажей была целиком и безраздельно отдана решению задач исторических, военных.

Надо ли видеть в отсутствии интереса писателя к приватной жизни исторических персонажей его заслугу, достоинства романа? По крайней мере, относить это к его недостаткам и видеть в этом просчеты романиста нет никакого основания. Все это не было ему необходимо для решения его художественного замысла, для создания широкого, свободного панорамического романа о ликвидации последнего военного оплота контрреволюции и роли украинского народа в этих исторических событиях.

Панорамический роман. У него за последнее время появились противники, которые, как верно пишет один из участников своеобразной дискуссии по этому поводу, спешат «объявить его

устаревшим, не созвучным современности»[1] отдают предпочтение тем писателям, которые «отказываются от широкой панорамности, непосредственного включения исторических событий в художественную ткань, ограничиваются сравнительно узким участком действительности, выдвигают на первый план нескольких героев, отдавая им все свое внимание, пристально всматриваясь в душевные движения личности»[2]. Такой тип романа они противопоставляют панорамному, между тем как задачи борьбы за художественные богатства и многообразие советской литературы требуют развития, совершенствования и одной и другой его формы, а еще больше — сочетания достоинств обоих типов романа в едином художественном «сплаве». Творческие поиски Гончара-романиста шли именно в этом направлении. В романе «Перекоп» широкая, «движущаяся панорама» исторических событий имеет передний, «крупный план». На ней можно рассмотреть не только движение масс, «множеств», как в «Падении Даира», во и то, что в произведении Александра Малышкина почти начисто отсутствовало,— рельефно выступающие фигуры отдельных героев, проследить их движение вдоль всей обширной панорамы, и не только как перемещение во времени и событиях, но и в процессе духовной эволюции, во всем богатстве душевных движений яркой, неповторимой личности. Иначе говоря, в композиции романа «Перекоп» сочетаются изображение огромных народных масс, их движение, изображение народа и народной борьбы со «скрупулезным исследованием» внутреннего мира отдельных, индивидуализированных героев.

Вот почему в романе «Перекоп» следует видеть не только перекличку и связь с «Падением Даира» по теме, но и своеобразную творческую «полемику», которую из пятидесятых годов, опираясь на весь творческий опыт советского исторического романа, ведет Гончар с талантливым предшественником, создавшим свое произведение в 1920—1921 годах, когда советский художественный эпос еще лишь рождался.

Дилогия Гончара — произведение глубоко народное, национальное в самом полном и широком значении этого понятия. И прежде всего потому, что ее главный герой — украинский народ показан на главных магистралях истории, в революционном развитии национального характера. В романе «Перекоп» образ народа неизмеримо богаче, чем в «Таврии». Богаче потому, что выросло авторское мастерство

[1] В. Пискунов. «Юрий Смолич». М., «Советский писатель», 1961. стр. 173.

[2] В. Пискунов. «Юрий Смолич». М., «Советский писатель», 1961, стр. 172.

художественно-исторического письма, а в особенности потому, что и сам народ неизмеримо обогатился опытом социалистической революции и каждодневно рос в событиях гражданской войны. Группа героев, олицетворявших украинский народ в «Таврии» и перешедших в этой роли в роман «Перекоп», пополнилась теперь образом революционера-большевика, вожака и командира красного партизанского отряда — Дмитра Килигея. Характеристика и предыстория этого героя в романе столь многозначительны, что их нельзя отнести только к нему одному. Она вместе с тем дает верное представление о национальном характере украинского народа с той стороны, с которой он раскрылся в революции, в сложных процессах революционной эпохи.

«Еще молодым парнем пришел он из степной Чаплинки на работу в Хорлы, да так уже потом и не разлучался с горьким грузчицким хлебом... На фронте служил в кавалерии, получил Георгия за солдатскую доблесть, а вернувшись с румынского фронта домой, первым взялся с товарищами наводить новые порядки, создавать ревком. Верят ему товарищи, как себе: из тех он, что головы не пожалеет, только бы революция жила!»

Продолжая эту характеристику, Гончар не случайно прибегает к таким обобщенно многозначительным выражениям, которые относятся не столько (и тем более — не только) к отдельной личности, сколько к народу: «Менялись власти. Крутыми поворотами шла жизнь. Гетман Павло Скоропадский не нашел с Килигеем общего языка...» [1]

Образами Килигея и Баржака — руководителя восстания таврийских крестьян против белогвардейских властей — автор как бы дорисовывает портрет украинского народа на новом этапе его истории, вносит в этот портрет те черты, которые были как-то недостаточно прорисованы автором «Таврии».

Значительный рост мастерства писателя заметен и в реализме отдельных образов. Значительнее психологические мотивировки, точнее детали, ярче портреты, глубже характеристики и вообще — крепче, увереннее кисть художника.

В «Перекопе» нет и следа той преувеличенной заботы о занимательности, которая заметна в «Таврии» и за которой чувствуется боязнь писателя, впервые взявшегося за разработку сюжета, почерпнутого в прошлом. Здесь нет таких экстравагантных (и недостаточно убедительных) эпизодов, как попытка Фальцфейна жениться

[1] Не менее показателен в этом отношении воображаемый разговор крестьянина Оленчука с Врангелем, где Оленчук говорит не столько за себя, сколько за народ и от его имени.

на батрачке Ганне Лавренко или выдача ее замуж за негра. В романе «Перекоп» даже «исключительные» судьбы оказываются вполне обусловленными типическими обстоятельствами и глубоко мотивированы психологически.

Так, «исключительна» и здесь судьба Ганны Лавренко. Она теперь атаманша кулацкой банды — Ганнуся. Но в ее судьбе нет ничего невероятного. История гражданской войны на Украине знает таких атаманш. Одну из них — Марусю хорошо запомнили украинские крестьяне-бедняки. Она тоже, как и Ганнуся, была в союзе с Махно и также воевала тогда «за анархию — мать порядка», а потом окончательно отпочковалась от «батька» и, кажется, уже совершенно сбившись с толку, то расправлялась (как и Ганна) с «буржуями городскими», то чекистам «штопором кишки выматывала».

Но дело, конечно, не только в исторических аналогиях, а в том, что автору удалось здесь столь убедительно показать те обстоятельства, под влиянием которых именно так сложилась жизнь Ганны Лавренко, так верно нарисовать образы двух ее родственников, давно мечтавших дорваться до наживы и все время толкавших ее в пропасть, так глубоко мотивировать ее выбор жизненного пути в политической сумятице периода гражданской войны, что все рассказанное о ней не вызывает ни малейшего сомнения в достоверности. Запоздалое разочарование Ганны, ее попытки порвать с бандой и трагическая гибель ее от руки тех же, кто ее толкал на этот путь,— все это выписано с той художественной смелостью, которая позволяет отнести эти эпизоды к лучшим из трагических страниц советской романистики.

С той же силой и тем же трагическим накалом написан финал судьбы белого офицера Дьяконова. «Потерпели крах все его идеалы, напрасна была его преданность, его беззаветное служение тому, кому так верил и кто его так жестоко обманул» (речь идет о Врангеле). В состоянии «тупого отчаяния», не желая бежать за границу с этой, как он теперь думает, «врангелевской камарильей», не мысля жизни без родины, которую он действительно любил, Дьяконов кончает самоубийством. Многими чертами и переживаниями этот образ невольно вызывает в памяти образ Рощина из трилогии Алексея Толстого. С непреклонной художественной логикой Гончар доказал возможность и такого варианта в развитии людей этой категории.

На том же пути одерживает автор художественную победу, создавая образ Махно, развенчивая этого кратковременного кумира кулацкой контрреволюционной стихии.

Отказ от экзотики, экстравагантности и прочих искусственных, нарочитых приемов занимательности — все это говорит о росте мастерства писателя, его требовательности к себе, об углублении

его реализма. С большой силой сказалось это и во всем стиле романа «Перекоп». В этом романе Гончар с большим успехом преодолевает самый существенный и почти «традиционный» недостаток повествовательной манеры в украинской исторической романистике — чрезмерное увлечение средствами патетики, переходящей в худших образцах в декламационность.

Исторической прозе Гончара свойственна та сдержанность в использовании средств лирической патетики, которую мы отметили в романе «Человек и оружие». При этом ограничивается не лирика, а именно патетика. По-прежнему лиричен пейзаж. Автор романа тонко чувствует то мягкое очарование как бы задумчивой украинской природы, которое когда-то так великолепно передал Шевченко в стихотворении «Садок вишневий коло хати» и других пейзажных картинках Украины. Не без связи с традициями Шевченко (его поэзия вообще немало способствовала воспитанию поэтического восприятия природы украинцами) входит в роман, например, песенно-поэтический образ тополей, столь же национально характерный для украинской поэзии, как образ березы—для русской: «Тополя, тополя... Есть что-то грустное в их задумчивых силуэтах, есть что-то девичье-беззащитное в их тополиной стройности... Нежные, песенные деревья, где берут они эту мощь, эту упругую силу, чтобы противостоять вечным ветрам и бурям?»

Лирический стиль пейзажных зарисовок сказывается и в ритмической организации фразы, в ее ритмомелодике, не вызывая при этом впечатления искусственности, нарочитости.

В таких своих выражениях лирика оказывается вполне уместной рядом с картинами и образами, которые написаны очень строгими и суровыми красками. Так, сразу за только что цитированными лирическими строчками идет полный внутренней тревоги рассказ о приближении эскадры интервентов, об их грабительских намерениях. В характеристику этих намерений входят совсем не подходящие для патетики «огромные амбары и лабазы». А вслед за этим выступает цитированная предыстория Дмитра Килигея, где романтическая лексика уже и совсем не имеет места.

Экспрессивно, ярко, картинно выписаны некоторые батальные эпизоды, особенно те, в которых участвует все еще юный, хотя и сильно выросший Данько Яресько: «Словно ветром вынесло Яреська в первых рядах атакующих на высокую гулкую эстакаду, и, с грохотом промчавшись по ней, конь его встал на самом краю. Разгоряченный, так бы и мчался дальше, но дальше было море, по-весеннему сияющее, голубое!»

Вряд ли можно не заметить, как это не только красиво, картинно, романтично, но и психологически верно. Ведь речь идет об от-

важном, пламенном бойце-энтузиасте, недавно севшем на боевого коня и участвующем в первом настоящем бою, молниеносном налете степной «партизанской вольницы» на черноморский порт.

А главное — все остальные подробности боя и даже участия самого Данька Яреська в нем выписаны просто и точно, с употреблением лексики обыденной и даже сниженной. Пароход с зерном — «неуклюжий», даже «пузатый», ручные гранаты называются «лимонками» и даже «гусаками», Данько «швырнул» и своего «гусака» «в самую гущу чужих матросов, метавшихся на палубе».

А вот еще одна пейзажная картинка, тоже лирическая, с характерными романтическими аксессуарами: «Была ночь, лунная, ясная, с ветром. То ли эта светлая, бескрайняя ночь, то ли густые, волнующиеся под ветром хлеба... так изменили облик родных мест — только все, к чему с детства привык глаз, предстало сейчас в лунном сиянии, каким-то непохожим на себя, все было проникнуто суровым очарованием, точно люди вдруг очутились где-то среди взволнованного незнакомого моря...» А дальше не обошлось и без «призрачного сияния луны» и тому подобных, типично романтических «деталей» пейзажа. Но тут же на этом, влюбленным глазом художника увиденном фоне: «Баржак едет впереди колонны нахмуреный, губы его горько сжаты. Изредка оглядывается: за ним *сутулятся* в седлах конники, идут тачанки, *тянется* шляхом между хлебов артиллерия — добытые в Крыму французские гаубицы».

Не трудно заметить ритмическое единство обеих зарисовок, но вся натура второй из них проста, обыденна, не только лишена романтических интонаций (о том и говорить не приходится!), а даже снижена, приземлена: всадники «горбатятся», артиллерия не мчится, не несется с устрашающим грохотом, а «тянется».

Сохраняется в романе и выступает одним из значащих элементов в его стиле поэтическая символика. Иногда она носит обобщенно-философский характер: Оленчук и Дьяконов, думая каждый о своем, невесело смотрят через Сиваш на Перекоп, как в свое будущее. В других случаях она более лапидарна и конкретна — «гвоздя посей — и те взойдут. «Оставь борону среди поля — и та корни пустит»,— думает Данько о плодородии украинской земли.

Глубокое знание необъятных богатств национального поэтического языка, умное, с большим и точным, все растущим чувством художественной меры использование их в дилогии, особенно в ее последнем историко-революционном романе «Перекоп»,— все это те первостепенные достоинства стиля исторической прозы Олеся Гончара, которыми она завоевывает и покоряет сердце читателя. Рома-

ны «Таврия» и «Перекоп» уже выходили в ряде центральных и республиканских издательств как на русском, так и на других национальных языках. Будем надеяться, что новое издание романов Гончара завоюет ему новые тысячи читателей, которых увлечет не только богатство исторического содержания, но также в высшей степени поэтический стиль, в котором душа, национальный характер украинского народа сказались так же верно, как в том революционном энтузиазме, с которым сыны украинского народа участвовали в героическом штурме Перекопа.

В тематически богатом и многожанровом творчестве Олеся Гончара не все равноценно. Художественное превосходство его романов над стихами, рассказами и новеллами вполне очевидно. Но есть у всех этих произведений одно общее достоинство: правдивость, благородное уважение к правде.

Олесь Гончар мог бы вслед за Тарасом Шевченко сказать с гордостью своей музе:

Ми не лукавили з тобою,
Ми просто[1] йшли. У нас нема
Зерна неправди за собою.

И это достоинство особенно драгоценно и должно быть поставлено в заслугу писателю потому, что Олесь Гончар сохранил его и в те годы, когда истина часто становилась жертвой самоутверждения и славы того,

...чей только бровн малый знак
Закон. Исполни долг суровый
И что не так —
Скажи, что так...[2]

Трилогия Гончара о Великой Отечественной войне (при всей прикрепленности ее пафоса и в особенности эмоционального строя именно к первым годам послевоенного времени) несет чистую, ничем не замутненную правду и о войне, и о подлинно народном осознании ее исторических результатов и последствий. Именно поэтому новые произведения о тех же событиях, написанные после освобождения нашей литературы от ограничительных догм и ложных побуждений, порожденных культом личности Сталина, ни в какой степени не отрицают трилогию Гончара ни как художественное целое, ни как правдивое историческое свидетельство. Вот почему между трилогией «Знаменосцы» и романом «Человек и оружие» видим не столько

---

[1] То есть прямо.
[2] А. Твардовский. «За далью — даль».

различия, сколько единство, и не в частностях, а в самых главных качествах, определяющих отношение современного читателя и критики к обоим произведениям.

Это же можно сказать и об историко-революционных романах Гончара. Задуманные и частично написанные в то время[1], когда искажением картины целых исторических эпох (в особенности эпохи и личности Ивана Грозного) оправдывались жестокие методы того же самоутверждения Сталина, когда обязательно было приписывать ему решающую роль во всех событиях гражданской войны и представлять его едва ли не единственным героем всей послеоктябрьской истории нашей родины, исторические романы Гончара несут ленинскую правду о нашей революции.

М. ПАРХОМЕНКО.

[1] Работа над романом «Таврия» была закончена в 1951 году.

КРАТКИЙ ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

Атагас — старший пастух.

Байстрючка — незаконнорожденная.

Барда — гуща, остатки от перегона хлебного вина из браги; отходы винокуренного производства.

Барыльце — боченочек.

Бонитёр — специалист, который оценивает качество и классифицирует овец.

Брыль — соломенная мужская шляпа с большими полями.

Гайдук — выездной лакей.

Глечик — кувшин.

Гребля — здесь: гать, насыпь.

Добродий — господин, сударь.

«Дум-дум» — разрывные пули; впервые были применены англичанами в англо-бурской войне.

Кагат — куча.

Комора — амбар для зерна.

Кошара — сарай, загон для овец.

Криница — родник, источник, ключ.

Куманец — кувшин для вина.

Курень — шалаш, изба.

Кусок — здесь: часть отары.

Кучугуры — песчаные холмы.

Лантух — мешок.

Мажара — большая телега с решетчатыми боковыми стенками.

Макитра — большой глиняный горшок.

Манильский канат — канат из манильской пеньки (волокна, извлекаемого из многолетнего тропического растения).

Незаможник — бедняк.

Обножки — обножная овечья шерсть, т. е. плохая короткая шерсть с ног овцы.

Опошнянцы — жители Опошни, старинного широко известного центра народной украинской керамики и ткачества.

Паляница — хлебное изделие определенной формы, преимущественно из пшеничной муки.

Пахта — побочный продукт, получаемый при сбивании сливок в масло. В основном идет на корм скоту.

Поветь — помещение под навесом на крестьянском дворе.

Пол — здесь: настил из досок вместо кровати.

Постолы — род самодельной обуви из сыромятной кожи.

Рапа — вода, насыщенная солью, крутой рассол.

Рундук — род большого ларя с поднимающейся крышкой; прилавок; возвышение.

Рядно — груботканое покрывало.

Саман — кирпич-сырец из глины с примесью навоза, соломы.

Сапетка — высокая плетеная корзина.

Свитка (свита) — верхняя народная мужская и женская одежда из домотканого сукна.

Серяк — верхняя теплая одежда из толстого серого сукна, армяк.

Сполох — тревога.

Стричка — лента.

Хабар — взятка.

Чапига (чапыга) — деревянная часть плуга.

Череда — стадо крупного рогатого скота.

Чубук — здесь: черенок винограда для посадки.

Чувал — большой мешок.

Чумарка — поддевка.

Шлык — форменная шапка петлюровских войск, с длинным, свисающим набок колпаком.

Шматок — кусок.

Щирый — здесь: истинный, настоящий.

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Терентьевич ГОНЧАР

«ТАВРИЯ. ПЕРЕКОП

Приложение к журналу
«Дружба народов»

М., «Известия», 1963, 768 стр. с илл.

Редактор приложений Б. Яковлев

Редактор В. Харькова

Художественный редактор В. Селиванов

Технический редактор Н. Карнаушкина

Корректоры Л. Сухоставская,
М. Федотова

●

Подписано в печать 4/III 1963 года.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумажн. л. 12.
Печ. л 24. Усл. печ. л. 39,36. Уч.-изд.
л. 41,12. Звк. 2044. Тираж 150.000 экз.
Цена 1 руб. 38 коп.

●

Набрано и сматрицировано в типографии «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени
И. И. Скворцова-Степанова.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР». Москва,
Пушкинская пл., 5.



